М. Н. ПОКРОВСКИЙ

РУССКАЯ ИСТОРИЯ

3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА.

ПОСОБИЯ ДЛЯ ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ.
ИСТОРИЯ. ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ.

Богданов, А. Краткий курс политической экономии. Ц. 1 р. 75 к.
Его-же. Начальный курс политической экономии. Печ. нов. изд.
Виппер, Р. Древняя Европа и Восток. Ц. 90 к.
Его-же. Краткий учебник истории средних веков. Ц. 80 к.
Его-же. Учебник древней истории. Ц. 1 р. 20 к.
Его-же. Учебник новой истории. Ц. 1 р. 30 к.
Вольфсон, М. Б. Очерки обществоведения. Ц. 2 р. 20 к.
Его-же. Элементарный курс политической экономии. Печ.
Гурвич. Основы советской конституции. Печ.
Жаринов, Д. А. и Никольский, Н. М. Древний мир. Часть II. Греция. Ц. 1 р.
Замысловская, Е. За последние сто лет. Ц. 1 р.
Ее-же. Учебник русской истории. Ц. 80 к.
Звягинцев, Е. и Бернашевский, А. Века и труд людей. Выпуск I. Печ.
Коваленко, П. Книжка политической грамоты. Печ.
Коваленский, М. Вчера и завтра. Как и откуда взялась новая Красная Россия. Ц. 1 р.
Его-же. Русская история. Часть I. Ц. 1 р. 30 к. Часть II. Ц. 1 р. 50 к.
Его-же. Хрестоматия по русской истории. Том I. Ц. 1 р. Том II. Ц. 1 р. 50 к. Том III. Ц 2 р. Том IV. Ц. 2 р. 75 к. Том V. Ц. 2 р. 25 к.
Крепостное право. Сборник рассказов для детей.
Левин и Юргенс. Хрест[illegible]ономии. Часть I. Часть II, вып. I.

[illegible]. Ц. 60 к.

[illegible]сии. Печ.

[illegible]ТЕРАТУРЫ.

[illegible] 90 к.
[illegible] чтения. Ц. 1 р. 20 к.
[illegible]ика. Часть I. Первоначальные [illegible]нологии и синтаксиса Ц. 50 к.
[illegible]са. Ц. 60 к.
[illegible]атия для взрослых „Громкая [illegible]. Ц. 2 р.
[illegible] Ц. 60 к.
[illegible]р-литературная хрестоматия. [illegible] II. Древняя русская пись- [illegible] 2 р. 50 к. Часть IV. Девят-

[illegible]. и др. Наш мир. Книга [illegible]Часть II. Ц. 2 р. Часть III.

[illegible]. Ц. 10 к.
[illegible]га. Ц. 80 к. Вторая книга.

[illegible]книга для чтения. Ц. 70 к.
[illegible] к.
[illegible]тики (морфология и синта-

Его[illegible] курс нового правописания. Ц. 12 к.

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ
НЕ ПОЗЖЕ
ОБОЗНАЧЕННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Pokrovskiĭ, Mikhail Nikolaevich

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

Russkaia istoriia

РУССКАЯ ИСТОРИЯ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

Кабинет
Аграрн. отношен
И. И. Э.

Том III

3654

Издание седьмое

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 1924

Ленинградский Гублит № 8706. Гиз. № 7622. Тираж 20.000 экз.

Типо-литография „Красный Печатник". Ленинград, Международный, 75.

947
P761RA
t.3-4

ГЛАВА XI.

Монархия XVIII века.

1. Бироновщина.

Верховный тайный совет был низвергнут шляхетством Казалось бы, с его падением давно подготовлявшаяся дворянская реакция должна была найти свое политическое завершение: власть должна была перейти в руки того класса, который при Петре должен был поступиться ею в пользу коалиции крупных землевладельцев с владельцами торгового капитала. Это было бы до такой степени естественно, что многим историкам кажется, будто именно так и случилось. Собравши воедино кое-какие меры императрицы Анны, шедшие навстречу пожеланиям шляхетских проектов 1730 года, выводят заключение, что Анна, не согласившись поделиться с дворянами властью, вознаградила их за то уступками в социальной области. Облегчена была будто бы воинская повинность — как тем, что было сформировано два новых гвардейских полка, Измайловский и Конный, так что для дворянской молодежи очистилось больше места в гвардии, где служить было приятнее, нежели в армейских полках,—так и тем, что был учрежден кадетский корпус, откуда молодых дворян выпускали на службу прямо офицерами. Самая служба стала легче и притом ограничена известным сроком—впрочем, как признают все историки, ограничена, пока что, на бумаге. Отменен указ о майорате, будто бы чрезвычайно стеснявший дворянство. Ссылаются и на новый порядок взимания подушной подати, платившейся, как мы знаем, за крестьян их помещиками и потому интересовавшей последних не

менее, чем первых. Эта ссылка есть уже чистое недоразумение. Анна закрепила тот способ сбора подушных, какого с колебаниями держались верховники. Констатируя неуспех меншиковской меры 1727 года—передачи сбора подушных из рук военного в руки штатского начальства,—благодаря которой „многая на крестьянах доимка запущена", что будто бы и самим крестьянам „к большему разорению, а не к пользе произошло", именной указ 31 октября 1730 года категорически восстановляет петровские порядки, предписывая „тот с крестьян *подушный сбор положить на полковников с офицеры*, попрежнему дяди нашего и государя определению..." До 1735 года по всей России действовала „экзекуция для сбора подушных денег", правившая их с такой свирепостью, что правеж этот в памяти масс остался едва ли не самым ярким признаком „бироновщины". На самом деле, инициативе, кажется, именно Бирона принадлежит состоявшаяся в январе названного года отмена „экзекуции" [1]). Но мотивы одного, современного этой мере, проекта указа свидетельствуют, что и тут нельзя видеть победы дворянской политики. Нам известно, говорит императрица в этом замечательном проекте, что доимка учинилась „как от слабости и попущения будучих на штабных дворах офицеров, *так и от некоторых бессовестных помещиков*", которые „происком своим с начала 1724 года никогда сполна, а иные и ничего не платили, и все оные не столько старание имели ту государственную подать исправно платить, сколько *нерассудно крестьян своих многими излишними работами и положенными оброками отягощать, не чиня им в нужный случай никакого вспоможения*, от чего крестьяне их пришли в худшее состояние..." Опубликовавший этот проект исследователь справедливо догадывается, что кабинет министров „задержал указ, боясь раздражить свое сословие". Тем более, что у этого сословия было уже достаточно поводов к раздражению. Донесения иностранных дипломатов и бумаги кабинета министров весьма согласно и основательно разрушают предрассудок насчет того, будто бы

---

[1]) См. *В. Строев*, „Бироновщина и кабинет министров" М. 1909, стр. 108 и сл.

воинская повинность шляхетства стала при Анне легче. По поводу образования Измайловского полка—якобы „популярной" шляхетской меры—вот что писал английский резидент Рондо: „Ее величество формирует новый гвардейский пехотный полк, который имеет состоять из двух тысяч дворян; полковником же его назначается генерал-майор граф Левенвольд; *все офицеры набираются из ливонцев или иноземцев*—это будет так называемая лейб-гвардия ее величества. То будет третий гвардейский полк после Преображенского и Семеновского; но так как предполагают, что этот полк станет любимым полком государыни, *гвардейцы двух прежних полков очень недовольны*. Каковы будут последствия этого шага, покажет время: полки Преображенский и Семеновский—сильные полки; в составе их семь тысяч человек, из которых некоторые принадлежат к знатнейшим русским фамилиям..." В другом донесении Рондо прибавляет маленький штрих, дополняющий физиономию новой „лейб-гвардии ее величества": „около 800 человек этого полка уже прибыли *из Украйны*", пишет он. Таким образом, не только офицерский корпус измайловцев, но и состав солдат должен был представлять известное этнографическое своеобразие. Как и два его старших товарища, новый полк возник в ответ на потребности внутренней, а не внешней политики: то была попытка создать *своих* преторьянцев, так как петровские не внушали более доверия. Но гвардия, провозгласившая Анну самодержавной императрицей, состояла именно из преображенцев и семеновцев они должны были теперь убедиться, как странно намерены с ними расплачиваться за их услугу. То, что на первый взгляд кажется отражением „шляхетской" политики, на самом деле, при ближайшем рассмотрении, оказывается шагом, направленным чуть не прямо против шляхетства 1730 года, которое это хорошо поняло: о недовольстве преображенцев и семеновцев Рондо говорит не один раз. Едва ли не такой же иллюзией, в смысле удовлетворения шляхетских требований, был и кадетский корпус. В его стенах могло найти себе место лишь ничтожное меньшинство дворянских „недорослей": подавляющее большинство должно было начать службу, по петровскому обычаю, рядовыми, и при том не столько в гвардии, сколько в

армии. В бумагах кабинета министров анненских времен сохранилось несколько списков „недорослей", призываемых на службу. В одном из них на одного счастливца, попавшего в кадеты, приходится пять менее удачливых товарищей, отосланных в военную коллегию „для определения в полки в солдаты". В другом на четырех гвардейцев приходится 38 человек, которым пришлось начинать „солдатскую науку" в глухой армии. Не один раз встречаются требования о пересмотре списков отставных чинов, с целью призыва обратно на службу тех, кто еще к ней годится: имелись в виду едва ли не те, кому слишком легко были выданы указы об отставке в меншиковский период тайного совета. Можно думать, что воскрешение таких „петровских традиций" не слишком обрадовало старых петровских служак, и что не один из них по этому поводу вздохнул о верховном тайном совете, при всем пренебрежении к интересам мелкого дворянства, до таких мер не доходившем. Но был пункт, где посаженной шляхетством императрице удалось побить рекорд не только тайного совета, но, что было труднее, начальника тайной канцелярии, преемницы знакомого нам преображенского приказа. В 1736 году в военном суде разбирался один из так хорошо знакомых всем временам и всем поколениям русского общества интендантских процессов: для целого ряда офицеров тогда, как и теперь, оказывалось гибельным прикосновение к промышленному миру—они не могли увидеть подрядчика или мануфактуриста без того, чтобы не взять с него взятки. „Фергер и криге-рехт", действуя по всей строгости петровского артикула, приговорил злосчастных офицеров к наказанию кнутом, вырезанию ноздрей и ссылке „в вечную работу на галеры". Но начальник тайной канцелярии, страшный Андрей Иванович Ушаков, одно имя которого доводило тогдашних дворян до озноба, а дам — до обморока, в числе других сенаторов, пересматривая приговор, сжалился над своей братией и предложил заменить кнут и каторгу разжалованием в солдаты. Императрицу страшно возмутило такое слабодушие ее заплечных дел мастера, и она положила резолюцию, одинаково грозную и для подсудимых и для помирволившего им сената. „Учинить во всем по сентенции

военного суда, — написала Анна на приговоре (т.-е. бить кнутом и рвать ноздри). — А представленный от военной коллегии и от сената резон для облегчения приговоренного им штрафа, а именно, будто оные впервые сию продерзость учинили, *не токмо неприличный, но и удивительный*. Оные впервые в воровстве пойманы, а не впервые и не один раз, но сие свое воровство через многие годы, не престаючи, продолжали. А что по конфирмации сената, сверх от оного апробованного облегчения, и полученных взятков с них не взыскивать (сенат предлагал взыскать только убытки казны), и то еще удивительнее того,— разве нагло нашу казну разворовать не в воровство вменяется?" [1]).

Этот случай—один из массы, без сомнения—объясняет нам, почему „бироновщина" на несколько поколений осталась пугалом для русского дворянства в самых медвежьих углах. Били жестоко—не менее жестоко, чем при Петре—и били всюду и всех: если не кнут, то правеж за неуплату подушных почти всякий дворянин если не испытал на себе, то видел своими глазами на себе подобных. Что тот, кто дал имя этому режиму, не был характерным его представителем—так утверждают новейшие исследователи, готовые приписать фавориту Анны Ивановны чуть не ангельскую кротость, хотя современники сохранили нам достаточно образчиков, по крайней мере, грубости Бирона,—от этого жертвам „бироновщины", было, разумеется, не легче. И отмена существовавшего больше на бумаге указа о майорате всего меньше могла, конечно, уравновесить в глазах дворянства тот гнет, который обрушился на его плечи после 1730 года. Оно должно было увидеть, что, сбросив верховников, оно не избавилось даже от верховного совета, как учреждения. Всего через несколько месяцев после переворота верховный тайный совет вновь воскрес под именем кабинета ее величества, официально учрежденного указом 6 ноября 1731 года, фактически же существовавшего уже в первый год царствования Анны.

---

[1]) Сборник Рус. Истор. Общ., т. 117-й, стр. 51 — 52. Напечатанный текст не передает орфографии императрицы Анны, которая и здесь была верна петровской традиции. „Апробуется" она писала так: „опробуэца"

Неоднократно цитированный нами английский дипломат совершенно определенно указывает цель этого учреждения еще в мае 1730 года: изъять из ведения сената, формально только-что восстановленного во всех своих правах и прерогативах, наиболее важные дела. Русские современники, писавшие о кабинете по свежим следам, вполне подтверждают эту оценку, „По учреждении сперва верховного совета, а потом кабинета—*ибо хотя имена разные, а действо почти одно в обоих было*—сенат остался уже не в такой силе, как прежде было...", говорит одна докладная записка, представленная императрице Елизавете Петровне. Как и верховный совет, кабинет фактически заменял императрицу—указ, подписанный двумя кабинет-министрами (всех было три), имел такую же силу, что и высочайший указ. Для довершения сходства двое первых кабинет-министров и взяты были из числа верховников: Головкин и Остерман. Третий был кн. Черкасский—лидер шляхетства 1730 года, но лидер лишь номинальный декоративная фигура во главе дворянских петиционеров, он остался такой же декоративной фигурой и в новом учреждении. От верховного тайного совета это последнее на практике, конечно, очень отличалось—не к своей выгоде. Когда вы от протоколов и журналов верховного совета переходите к кабинетским бумагам—и те и другие изданы в одном и том же сборнике русского исторического общества,—вас поражает картина политического измельчания и опошления. Там была яркая, определенная, сознательная политика; здесь—жизнь со дня на день, куча бюрократических мелочей, среди которых невозможно уловить никакой определенной политической линии. Рядом с такой финансово-экономической катастрофой, как восстановление соляной монополии, стоят розыски мужика, который „умеет унимать пожар", и заботы о родившейся в Москве мартышке: императрица непременно требовала доставить ей в целости и мать, и новорожденного. Не мудрено, что найти юридическую формулу для этого учреждения было еще труднее, нежели для верховного тайного совета; но ежели взять для сравнения крепостную „контору" большой барской вотчины, смысл кабинета императрицы Анны будет нам очень понятен.

Эта реакция феодальной простоты после буржуазных замашек правительства Петра давала себя чувствовать в домашнем быту еще сильнее, нежели в официальной жизни. После царя-плотника и царя-солдата Анна была первой представительницей того типа коронованного помещика, который так надолго удержался в России. Между подданным и холопом для нее было так же мало разницы, как между камердинером или управителем и министром. Андрей Иванович Ушаков был начальником тайной политической полиции, но он же был и чем-то вроде главного швейцара императорского дворца. Приводили сказочницу во дворец—Анна любила на сон грядущий слушать рассказы о разбойниках,—ее прежде всего направляли в „дежурную, к Андрею Ивановичу"; нужно было наказать дерзкого придворного (осмелился побрезговать ее величеством)—гневный голос имератрицы звал того же „Андрея Ивановича". Коренное дворянское развлечение, охота вошла в честь при русском дворе еще с Петра II; Анна, несмотря на свой пол, явилась и здесь ревностной продолжательницей традиции если не своего дяди, то своего племянника; следом за нею московские дамы и девицы стали учиться стрелять, и императрица живо интересовалась их успехами. Но предметом барской потехи были не только звери, а и люди. О шутах, переполнявших двор Анны Ивановны, слишком хорошо известно, чтобы стоило распространяться на эту тему. Наличность в их среде отпрысков старинной знати уже современников наводила на мысль, будто здесь было не без политической аллегории: Анна хотела, видите ли, унизить в их лице те „боярские фамилии", которые собирались ограничить ее власть в 1730 году. Едва ли такие мысли приходили в голову самой императрице: она просто тешилась тем, что ей попадало под руку, когда она приходила в шутливое настроение. То это была старуха-сказочница, которую не женски сильная рука Анны трясла так, что ей „ажно больно было"; то доставалось какой-нибудь не в добрый для себя час попадавшей на глаза императрице челобитчице, иногда вовсе не простого звания. „Приехала одна знатная полковница в Петербург бить челом о заслуженном мужа ее жалованьи, которого было с 400 рублев, и

видя, что нигде определения сыскать не может, намерялась просить самое государыню в надежде той, что ее давно знает, и, долго ища случая, улучила видеть, и как ее государыня спросила, давно ли она приехала, то она доносила свою нужду и просила с челобитною о решении; то де государыня сказала ей: „ведаешь, что мне бить челом вам запрещено", тотчас велела ее вывести на площадь и, высекши плетьми, деньги выдать, и как ее высекли, то, посадя в карету, хотели везти к рентерее, чтобы деньги выдать, но она, бояся, чтобы еще там не высекли, оставя деньги, уехала домой" [1]).

У сердитой барыни, как водится, был немец-управитель. И современники, и история долго ошибались насчет его имени: считали им Бирона, а на самом деле душою анненского режима был Остерман. Бирон состоял лично при особе императрицы, и состоял настолько неотлучно, что уже одно это мешало ему фактически быть министром, чем он не был к тому же и номинально: в состав кабинета он никогда не входил. Несколько преувеличивая свое порабощение, курляндский герцог впоследствии даже нехождение в церковь по праздникам объяснял тем, что, как „всякому известно, ему от ее императорского величества блаженные памяти никуды отлучиться было невозможно". Скорее Анна не считала возможным отлучиться от своего фаворита. „6 июля (1731 года) государыня должна была обедать у Михаила Гавриловича Головкина,—писал своему министру английский резидент,—но обер-камергер имел несчастие, сопровождая ее, упасть с лошади и вывихнуть себе ногу, и она вернулась с ним во дворец. Этот

---

[1]) См. у г. *Строева*, назв. сочин., стр. 40—41. Из одного тогдашнего следственного дела. Прелестную жанровую картину из придворной жизни времени Анны Ивановны сохранили записки княг. Дашковой. „Императрица изъявила желание видеть русский танец и приказала четырем из первых петербургских красавиц исполнить его в своем присутствии. Мать кн. Дашковой, замечательно грациозная плясунья, была в числе этой партии; как, однакож, они ни желали угодить царской воле, но, испуганные строгим взглядом государыни, смешались и позабыли фигуру танца; среди общей суматохи императрица встала с кресел и, приблизившись к ним с полным достоинством, отвесила каждой по громкой пощечине и велела снова начинать, что они и исполнили, чуть живые от страха"

случай вызовет, конечно, у вашего превосходительства то же размышление, которое он вызывает здесь у каждого: странно, что ее величество не доехала к графу Головкину и не обедала у него только потому, что граф Бирон не мог обедать с нею". Как бы то ни было, что Бирон мало интересовался русскими внутренними делами, и если вмешивался энергично в политику, то только внешнюю (гораздо более доходную, как скоро увидим), это едва ли подлежит сомнению. Функции управителя и фаворита при Анне отнюдь не смешивались. Но это не значит, чтобы условное имя „бироновщины" было просто недоразумением: не Бирон делал то, что окрещено этим именем, но для него это делалось, ибо в нем был весь смысл существования хозяйки и госпожи всего и всех. Когда мы читаем у того же английского дипломата, что „двор на зиму (1731—1732 года) переберется в Петербург, так как фавориты надеются там избежать ежедневно раздающихся жалоб, находят и жизнь там менее опасною, чем здесь, так как всегда есть возможность помешать приезду недовольных в Петербург", то это бироновщина, ибо вся система этой политики диктуется соображениями личной безопасности Бирона. „Ваше превосходительство не может вообразить себе, до какого великолепия русский двор дошел в настоящее царствование, несмотря на то, что в казне нет ни гроша, а потому никому ничего не платят, что тоже много содействует общим жалобам,—продолжает свой доклад тот же беспристрастный свидетель анненского царствования.—Не взирая на недостаток в деньгах, огромные суммы тратятся придворными на великолепные костюмы для маскарада, предположенного здесь в непродолжительном времени; кроме того, из Варшавы со дня на день ожидается прекрасная труппа актеров, присылаемая королем польским для развлечения ее величества, все мысли которой отданы удовольствиям и заботе о том, какими бы богатствами и почестями осыпать графа Бирона и как обогатить его брата" [1]). У Анны была одна забота—дать; как достать то, что дается, об этом заботилась не она и не тот, разумеется, кому давали, а люди менее видные и более

[1]) Сборн. Русск. Ист. Общества, т. 66-й, стр. 272—273.

деловые. Как мы уже упоминали, Остерман был первым из них. Сравнение этого фактического правителя России семьсот тридцатых годов с его предшественниками из верховного тайного совета дает точь-в-точь такое же впечатление, как сравнение бумаг этого учреждения с бумагами кабинета, непременным членом которого во все царствование Анны был Остерман. Любопытно, что он был уже и в совете, и многие шаги буржуазной политики верховников номинально связаны с его именем: он был, например, председателем „комиссии о коммерции". Но в кабинетских делах мы не найдем никаких следов того, что предлагала эта самая комиссия в дни верховного совета: лучшее указание на то, что душою экономической политики этого последнего был, во всяком случае, не Остерман. Этот неудавшийся школьный учитель справедливо пользовался репутацией самого хитрого и ловкого интригана, какого только можно было найти при тогдашних европейских дворах. Он превосходно знал бюрократическую рутину, но в нем не было ни крупицы настоящего политического деятеля, и он сам себе выдал свидетельство о бедности по этой части, оставив известный проект „о приведении в благосостояние России [1]). Когда ему пришлось формулировать свои политические взгляды, он не нашел у себя ничего, кроме полузабытых обрывков школьной морали: „страх Божий; милосердие и снисходительство; любовь к правосудию"... Дальше идет перечисление мелких бюрократических приемов, как завести порядок в делах, и мелких уловок, как привлечь на свою сторону тех или других влиятельных чиновников. Забота о распространении школ является единственным живым словом в этой части канцелярской программы, а наивные мечтания о торге с иностранными государствами ружьями, которые изготовляет тульский завод, исчерпывают всю „экономическую политику". Перечислить все мелочи оказался, однако, бессильным даже этот, живший исключительно мелочами, ум, и каталог благополучия российского государства остался недоконченным. Любопытно, что в бело-

[1]) Этот проект и дополняющая его черновая „записка для памяти" напечатаны в Архиве кн. Воронцова, кн. 24-я.

вом тексте эти мелочи, хоть несколько осмысливающие голые фразы о страхе Божьем и любви к правосудию, вовсе отсутствуют: обобщить их автор не сумел, а перечислить их все постеснялся, щадя свою высокую читательницу (правительницу Анну Леопольдовну). В результате получился документ, своею высокопарной бессодержательностью выделяющийся даже в литературе русских официальных проектов.

Но если деятели бироновщины сами не умели возвыситься до политических обобщений—и тем дали потомству случай оценить всю разницу между ними и людьми такого калибра, как Дм. Голицын [1]) или хотя бы даже Меншиков—это не значит, чтобы в их поведении не было никакой общей политической линии. Ее давала обстановка, независимо от того, сознавалась она, или нет. Ища этого общего в политике своих врагов-правителей, русские дворяне времен Анны—совершенно так же, как впоследствии крепостные мужички их внуков—видели все зло в немецком происхождении Остермана, Бирона и их компании: „немец-управитель", известно, всегда „отчаянный грабитель" В виду тенденции новейшей историографии просто-на-просто устранять из поля своего зрения национальные конфликты, вместо того, чтобы объяснять их, сводя к социальным, приходится очень подчеркнуть, что борьба с бироновщиной, как с „немецким игом", вовсе не выдумана позднейшей литературой, как нередко бывает в подобных случаях. Субъективно, идеология русского шляхетства около 1740 года носила, несомненно, резко выраженный националистический характер—это факт, не менее осязательный, нежели, например, шовинизм английской буржуазии в дни войны с бурами. „Немецкую партию" сочинил не XIX век, как кажется некоторым новейшим историкам о ней весьма дружно говорят, со слов русской публики современные иностранные дипломаты. „Надменность и наглость, с которою ведут себя теперь при здешнем дворе

---

[1]) Без которого они все же не могли обойтись до своей окончательной опалы в 1737 году. Д. М. Голицын нередко появляется на заседаниях кабинета в качестве консультанта по иностранной политике.

курляндцы и лифляндцы, увеличивают почти до невероятной степени ненависть к ним московитов; и самые благоразумные поэтому начинают опасаться, как бы их (mm. les courlandais) не постигла когда-нибудь та же катастрофа, которая случилась некогда с поляками, которые властвовали над Россией, как теперь эти": такие слова были написаны немного больше, чем через год после воцарения Анны, и не квасным русским патриотом, а французским резидентом при русском дворе, делавшим своему двору чисто деловое сообщение. И такой отзыв не один—разговоры о „господстве иностранцев" составляют нечто вроде припева ко всем доношениям Маньяна, а на этих донесениях строилась вся политика французского кабинета относительно России; спекуляция на оскорбленное национальное чувство русского „народа"—т.-е. русского дворянства—широкой полосой входила в эту политику, о которой нам еще придется говорить: и ее удача, успех *французской* кандидатуры цесаревны Елизаветы, сама по себе достаточно доказывает, что правительство Маньяна строило не на песке. Просто отмахнуться от этого факта, заявив, что русско-немецкий антагонизм не играл никакой роли при Анне, конечно, очень облегчает задачу историка; но это равносильно, в то же время, отказу понять то, что творилось в России в 1730 годах. Приходится искать объективных оснований для русско-немецкой вражды, и мы без большого труда находим их в донесениях коллег Маньяна, английских представителей—Рондо и Финча. Их еще более деловые сообщения освещают нам экономическую базу „бироновщины". „Иноземное иго", о котором толковали русские патриоты того времени, в переводе на экономический язык означало господство западно-европейского капитала над русской внутренней и внешней политикой при Анне Ивановне,—господство настолько прямое и бесцеремонное, что ничего подобного этому мы не найдем в предшествующую эпоху. Но история как бы нарочно постаралась демонстрировать, что „национальное чувство" в качестве „голоса крови", так сказать, здесь не-при чем—иностранцы, в жертву которым немецкое правительство приносило русские интересы, были как раз не немцы, а *англичане*. Бирон служил не тем, кто говорил на од-

ном с ним языке [1]), а тем, кто ему больше и лучше платил.

Экономические основания для того, чтобы „иноземное засилье" приняло в России того времени форму „английского засилья", были вполне достаточные. „До очевидности ясно,—говорит одна современная записка (английская,—этим объясняется ее тон),—что торговля с Великобританией в течение многих лет была и поныне продолжает быть для России более выгодною, чем торговля со всякой другой европейской нацией; по нашим расчетам одна торговля с нами доставляет ей более дохода, чем торговля со всеми прочими европейскими нациями, вместе взятыми: великобританские подданные вывозят две трети всей вывозимой пеньки, более половины всех вывозимых кож, столько же льна, более трех четвертей всех полотен и, по крайней мере, столько же железа, весь поташ, большую часть ревеня, рыбьего клея, щетины, воска и проч., и за три четверти этих товаров в течение последних лет платили и поныне платят русскими деньгами. И вся эта масса русских продуктов, исключая кожевенного товара, ввозится в Великобританию". Но англичане, естественно, считали для себя не очень выгодным такое положение вещей: им было бы больше расчета ввозить в Россию, в обмен на сырье, свои *товары*. Если бы при этом цены на эти последние и на русские продукты установились достаточно для англичан выгодные, Россия экономически попадала бы в разряд английских колоний. В правление верховного тайного совета, покровительствовавшего туземной буржуазии, дело шло, однакоже, как раз наоборот: „хотя,—продолжает цитируемая записка,—в Англию русских товаров ввозится и теперь почти столько же или даже сполна столько же, как и в предыдущие годы, вывоз из Англии в Россию за последние десять лет уменьшился, по крайней мере, на половину". Англичане видели этому две причины: во-первых, конкуренцию прусских и голландских мануфактур, во-вторых, перенесение торговли из

[1]) Немецкий язык был тогда чем-то вроде официального языка высших петербургских сфер: вновь назначенный английский посланник первым делом начал в Петербурге учиться по-немецки, „хотя это и трудно в моем возрасте". прибавляет он.

Архангельска на Балтийское море. С 1724 года пруссаки сделались постоянными поставщиками сукна для русской армии: косвенное, но очень яркое доказательство краха, постигшего петровские суконные мануфактуры. Из Голландии, главным образом, шли те фабрикаты, что служили для меновой торговли с Персией,—их ввозили туда в обмен на вывезенный шелк-сырец. Замена же Архангельска в деле английского вывоза—не Петербургом, как бы мы ожидали, а Ригой—невыгодна была в том отношении, что на рижском рынке приходилось расплачиваться наличными деньгами, тогда как в Архангельске торговля была меновая. Это положение вещей намечало, таким образом, три основные линии английской торговой политики: устранение прусской конкуренции, воскрешение на Балтийском море добрых старых обычаев Архангельска—и, в качестве венца всех успехов, захват в свои руки вывоза шелка из Персии. При Бироне Англии суждено было иметь триумф на всех этих трех полях битвы,—не исключая и последнего.

Уже в апреле 1732 года, когда новое правительство только что уселось прочно в седле и начало пользоваться своим успехом, Рондо мог писать своему начальству в Лондоне: „касательно затруднений, с которыми связана была торговля великобританских купцов в течение многих лет, ее величеству (императрице Анне) угодно было приказать, дабы министры ее рассмотрели статьи переданной мною записки и выполнили мои желания, насколько окажется возможным без ущерба интересам России и подданных ее величества". Какого рода директивы даны были коммерц-коллегии, видно из того, что она легко и скоро согласилась на *все* английские требования. Могу, кажется, утверждать, что вряд ли найдется в России другой пример такого быстрого успеха подобных переговоров,—восклицает с чувством законной гордости английский резидент.—Это убеждает меня, что здесь у нас много друзей, помогавших исходу дела, столь выгодного для торгующих в этой стране подданных его величества" (короля английского). Счастливый дипломат не мог выразиться осторожнее; французский агент, сообщая об одной из прежних английских неудач в другом подобном деле, был откровен-

нее и грубее: „эта *милость*,—говорит он о сохранении поставки сукон за пруссаками,—стоила весьма дорого, так как ее можно было приобрести лишь при помощи значительных денежных сумм, розданных как обер-камергеру Бирону, так и графу Левенвольду и прочим фаворитам". Приобретение „милости" и англичанам, впоследствии, обходилось недешево; об одном из них сам английский консул высказывал опасение, как бы смелый купец не разорился: „такие, как уверяют, огромные суммы пришлось ему выдать, чтобы провести контракт". Но англичане знали, что делали, ведя борьбу до конца на этом аукционе. Им удавалось добиваться „милостей" уже совсем необыкновенных. В мае того же 1732 года фельдмаршал Миних (кто бы подумал, что знаменитый генерал так заботился о мирной коммерции?) велел внезапно произвести обыск в домах иностранных купцов, проживавших в Петербурге, с целью открытия контрабанды. При этой внезапной ревизии английские коммерсанты оказались чисты, как голуби: у них ни кусочка не нашлось, не снабженного надлежащим таможенным клеймом; английский консул сообщал об этом не без умиления—и с искренней жалостью добавлял, что, вот, у пруссаков и голландцев, кажется, не так хорошо—„найдено много неоплаченных товаров". Само собою разумеется, что английский представитель не отказался принять официальное участие в протесте всех иностранных дипломатов против набега фельдмаршала на торговые склады. Но фельдмаршал не только не рассердился за это на англичан (честные торговцы, но и добрые товарищи при этом—военный человек должен был особенно это оценить), а и счел долгом специально наградить английскую добродетель, проведя с чисто военной быстротой контракт на поставку одной английской компании поташа, золы, пеньки и сибирского железа (казенных товаров) по баснословно дешевой цене. На несчастие Миниха, он не поделился с Левенвольдом,—и тот намекнул Анне Ивановне, что она теряет на этой сделке не меньше 180 тысяч рублей (около полутора миллиона золотом). Миних был очень сконфужен, а сделка немедленно кассирована; но так как англичане, не жеманясь, тотчас же накинули

3654

от 8 до 20% на условленную ранее цену, то казенные товары остались все же за ними.

Мы видели еще раз, как условно название „бироновщины": во всей этой истории имя курляндского герцога никем и не упоминалось, а между тем какая она характерно-„бироновская". Быть может, однако же, просто размеры этого дела, крупного, но еще не вполне „государственного" по своему масштабу, ставили его ниже внимания фаворита Анны Ивановны. Для нас не ясна его личная роль в истории с сукном, которое, в результате всех перипетий, попало-таки в английские руки, хотя и не прямо: в качестве посредника к делу успел примазаться голландский купец, чуть ли не специально для этого принявший, впрочем, английское подданство. Это очень огорчило патриотическое сердце сэра Клавдия Рондо,—и в припадке досады на неуклюжесть своих земляков, давших выхватить у себя добычу из-под носу, он обмолвился несколькими откровенностями, от которых, без сомнения, воздержался бы в спокойную минуту. Благодаря этому мы узнаем, что хотя вообще английские сукна были и лучше прусских, но специально в Россию англичане норовили сбыть всякую дрянь, подмоченную и залежавшуюся. Надежды Рондо, что, наученные опытом, англичане теперь поостерегутся, повидимому, не оправдались, и русское правительство от английского не раз вынуждено было снова обращаться к прусскому сукну, которое хотя по существу тоже никуда не годилось, как свидетельствовал сам кабинет министров, но зато было так подкрашено и подклеено, что хоть на приемке имело приличный вид. Но главной целью английских домогательств было все же не сукно и не поташ с пенькой, а—читатель, помнящий историю торгового капитализма в России, уже догадался об этом—торговля с Персией. Сменивший Рондо Финч едва ли и приехал в Россию не с двумя главными целями: открыть персидский транзит через Россию английским купцам и получить некоторое количество русских штыков на английскую службу. Последнее, конечно, носило форму союзного договора между двумя великими державами; первое было облечено в более скромную форму привилегии, данной императрицей частной компании, но, следя шаг за шагом

за хлопотами Финча, с трудом представляешь себе, что было важнее. Речь ведь шла не о том только, чтобы вывозить шелк-сырец из Персии: это было лишь начало; через Персию англичане надеялись, с одной стороны, наводнить своими товарами всю среднюю Азию, с другой—проложить себе путь в Индию, которая тогда стояла на распутьи и могла так же легко сделаться французской, как и английской. Переговоры об этих важных делах Финч вел с Бироном лично (для того и понадобился ему немецкий язык), и герцог курляндский оказался куда податливее, нежели упрямые московские бояре XVII века, так неумолимо отстаивавшие от всей Европы русскую монополию на персидский шелк. За ничтожную пошлину образованная в Англии „персидская компания" получила возможность расположиться на Волге и Каспийском море, как у себя дома. Не нашли нужным выговорить даже пользование русскими судами и русскими матросами: в Казани было выстроено, средствами тамошнего русского адмиралтейства, но по английским планам, особое судно, годное как для Волги, так и для Каспийского моря, ставшее собственностью английской компании и снабженное английским экипажем. Таможенный контроль по отношению к этому судну в Астрахани был сведен к такому минимуму, что оно весьма свободно могло возить контрабанду, уклоняясь от платежа даже той ничтожной пошлины, которая была выговорена трактатом. Не мудрено, что английский посланник был преисполнен живейшей благодарности к русскому правительству (трудно было быть щедрее и великодушнее!)—и расплатился с ним за это чрезвычайно оригинально. Через него бироновское правительство—уже лишенное, к огорчению Финча, своего номинального главы, но, под управлением Остермана, не менее еще „бироновское"—получило первые и чрезвычайно обстоятельные сведения о заговоре, угрожающем его существованию. То, что даже и после этого заговор удался, принадлежит к числу самых любопытных эпизодов не одной русской истории.

Заговор носился в воздухе все время царствования Анны. Правительство, вышедшее из государственного переворота, могло быть сильным, только верно соблюдая молчаливый договор с теми, кто этот переворот устроил

в его пользу. Но мы знаем, как оно было далеко от этого. Шляхетство медленно приходило к сознанию, что его обманули, что его использовали „курляндцы и лифляндцы". Но было настолько ясно, что рано или поздно это будет понятно, что нетерпеливые люди спешили использовать оппозиционное настроение шляхетства раньше, нежели оно успело сложиться. Одно донесение голландского посланника из Москвы, от 6 января 1731 года [1]), показывает нам неудачный финал заговора, сложившегося в Москве меньше, чем через год после патетических сцен „восстановления самодержавия". Во время одной из почти ежедневных поездок Анны в Измайлово, под одной из придворных карет, ехавшей непосредственно перед каретой императрицы, внезапно осела земля; в провале увидали „бревна, отрывающиеся и падающие друг на друга вместе с огромными глыбами камней, нагроможденных по бокам". К счастию для Анны Ивановны, технические средства, которыми располагали эти отдаленные предшественники народовольцев, были далеко ниже поставленной ими себе задачи: мина без пороха действовала так медленно, что пассажиры кареты успели из нее выскочить без всякого вреда для себя. Тем не менее императрица немедленно вернулась во дворец. Последовали, разумеется, аресты, но открыть, видимо, ничего не удалось; придворные сплетни приписывали дело первой жене Петра, монахине Евдокии Лопухиной. Но последующее донесение уже самого Маньяна ясно показывает, что не было надобности искать заговорщиков так далеко. Вот целиком это донесение—как нельзя более выразительное в том, что оно говорит о настроении верхних слоев русского общества на другой год после воцарения Анны. „Судя по тому, как продолжают говорить о недовольстве, выказываемом повсюду русскими вследствие злоупотреблений милостями царицы со стороны Биронов и братьев Левенвольде, весьма вероятно, что это и заставляет здешнюю государыню более всего оставаться в своей столице, для предупреждения, быть может, беспорядков, которые

---

[1]) Оно в качестве любопытного документа было переслано Маньяном своему правительству—и потому напечатано среди французских бумаг. Сб. Р. Ист. Общ., т. 81, стр. 156 и сл.

могли бы быть вызваны ее отсутствием... Здесь уже не скрывают, что нынешние фавориты являются для русского народа еще гораздо более ненавистными, чем были Долгоруковы в последнее царствование, и что, кроме нововведений и новых обычаев, вводимых фаворитами как при дворе, так и в войске, путешествие, задуманное царицею, удобно только для них одних; что касается других русских вельмож, обязанных следовать за царицей, то, так как они по большей части уже вполне почти разорены роскошью, к которой их обязывают, эта поездка была бы для них разорительнее четырехлетней войны с турками... Так, можно сказать, думают русские в настоящее время, и это дает место среди них ропоту, который, может быть, был бы опаснее, чем он есть в действительности, если бы недовольные не были лишены, как оно есть на самом деле, руководителя, способного вызвать тревогу при дворе, и если бы, кроме того, *царица не полагалась до такой степени на свою гвардию*“ [1]).

Итак, бироновщина уже на второй год своего существования „сидела на штыках“... Необычайно яркую картину настроения, переживавшегося теми, кто, казалось, так твердо занял престол, дает рассказ того же автора о способе, каким Анна обеспечила престолонаследие за своей, т.-е. старшей, линией дома Романовых, потомками царя Ивана Алексеевича. Самая пылкая фантазия может себе представить при этом обстоятельстве — дворцовые интриги, бурные заседания высших государственных учреждений, может быть, подтасованные их решения, но не то, что происходило в действительности. „В ночь с прошлого четверга на пятницу (дело было в декабре 1731 года) царица повелела своему оберкамергеру (Бирону) призвать майора гвардии Волкова и предписать ему собрать к четырем часам утра все три гвардейских полка перед входом во дворец. Майор, встревоженный тем, какое обстоятельство могло вызвать подобное распоряжение среди ночи, стал просить обер-камергера открыть ему причину, но последний ответил ему, что и сам ее не знает и не советует ему вдобавок итти за объяснениями к царице. Волков по-

---

[1]) Ibid., стр. 159—160.

винovался. В четыре часа войска стояли под ружьем, а на рассвете царица призвала в свои аппартаменты членов своего совета и главных офицеров своей гвардии и обратилась к ним с речью, содержавшею вкратце следующее: для предупреждения беспорядков, подобных наступившим по смерти ее предшественника, царя Петра II, и столь противных древним заветам русского правительства, что следствием их чуть не явилась окончательная гибель государства, она, царица, полагает, что в этом случае нет более верного средства, как назначить себе преемника при жизни". Вслед затем, сначала приглашенные высшие чины, а следом за ними и вся гвардия присягнули новому наследнику—не столько назначенному, сколько, употребляя военное выражение, „обозначенному", ибо он еще не родился... Им должен был стать несчастный Иван Антонович, политическое существование которого началось, таким образом, под штыками, покончившими с его физическим существованием впоследствии. На редкость „военный" царь—хотя он ни разу в жизни не был на плацпараде! И для дополнения военного характера всего события, оно закончилось арестом генерал-фельдмаршала, последнего уцелевшего представителя фамилии Долгоруких, князя Василия Владимировича.

Определенные признаки брожения не только при дворе, а и в более широких кругах, можно было заметить уже к осени 1732 года. „На сих днях в разных местах появились пасквили,—доносил 23 сентября этого года саксонский резидент,—в крепость заключены различные государственные преступники, между которыми не мало священников; третьего дня привезли еще из Москвы трех бояр и одиннадцать священников; все это держится под секретом. Главная причина народного неудовольствия то, что возобновили взимание недоимок, от которых должны были отказаться царица Екатерина и Петр II". Другие донесения прибавляют еще кое-какие мотивы „народного недовольства" — в особенности натуральные повинности, при помощи которых строились не только крепости, а и дворцы Анны Ивановны. Отнимая рабочие руки у помещиков, правительство сильно озлобляло последних; читатель не забыл, конечно, что „народ" иностранных дипло-

матов это и есть „шляхетство". С формальным заговором, однако же, курляндское правительство встретилось не раньше 1738 года. Он связан с именем Долгоруких и известен исключительно со слов иностранцев: русские документы о нем молчат, и русские историки, начиная с Соловьева, не видят во всем деле ничего, кроме сплетни, пущенной в ход бироновцами для того, чтобы оправдать перед европейским общественным мнением „всенародное" истребление несчастной семьи; на самом деле, новая опала Долгоруких объясняется исключительно мстительностью Анны и Бирона. Психологически не совсем понятна месть, отложенная на семь лет: придумать сплетню было ведь так же легко в 1732, как и в 1738 году. Гораздо труднее было обставить дело так, чтобы сплетня подходила к событиям не только 1738, а и 1741 года, оправдавшим именно то, что в рассказе иностранцев кажется всего невероятнее. Вот этот рассказ в существенных чертах: возмущенные разорением страны и господством немцев, „некоторые из значительнейших русских фамилий" стали „искать наиболее подходящих средств, чтобы освободиться от ига чужеземцев и ввести в России, при помощи революции, новую форму правления. Князья Долгоруковы, Нарышкины и Голицыны составили с этой целью неудавшийся заговор, пытаясь возбудить всеобщее волнение и заставить взяться за оружие подданных, принадлежавших к их партии; *рассчитывая на поддержку со стороны Швеции,* они хотели, таким образом, устранить царицу, принцессу Анну (мать будущего императора Ивана) и супруга ее, принца вольфенбютельского, равно как и всю семью герцога курляндского, истребить, кроме того, немцев или прогнать их из страны. Еврей Либерман, придворный банкир и фаворит герцога курляндского, должен был быть предан в руки разъяренной черни. *Согласно этому невыполненному замыслу принцесса Елизавета должна была быть провозглашена императрицей*". Какая дичь, скажет всякий, дойдя до места, где говорится о „поддержке Швеции". Но в 1741 году Елизавета стала русской императрицей именно при содействии Швеции, *которого она сознательно и настойчиво добивалась,* восшествие ее на престол сопровождалось националистической реакцией, и, в частности, ее правле-

ние ознаменовано резкими проявлениями антисемитизма—до тех пор настолько чуждого русским официальным кругам, что крещеный еврей мог быть царским министром и одним из „верховных господ“. Чтобы сочинить сказку, которая *два года спустя* сделалась правдой, нужно было, или чтобы „сказочники“ были гениальными людьми—но именно это качество всего труднее было бы найти у бироновцев,—или, чтобы история подарила нас случайностью, которая бывает раз в две тысячи лет: но наличность такой случайности, нужно, конечно, доказать сначала. По обязанности историка в случае нескольких возможных объяснений выбирать наиболее простое и правдоподобное,—приходится остановиться на том, что в процессе Долгоруких мы имеем первую вспышку того, можно сказать, международного заговора, который тянулся около пяти, может быть, лет и закончился событием 25 ноября 1741 года—появлением ночью во дворце цесаревны Елизаветы в качестве „капитана гренадерской роты“. Самым же невероятным во всей истории являются не те, отмеченные нами, подробности, которые внушили недоверие к рассказу русским историкам,—а то, что в последний год заговор был „открытой тайной“, известной всем и каждому: но у бироновцев было так мало гениальности, что даже при такой обстановке они не сумели с ним бороться.

Зависимость курляндского правительства от Англии не могла ограничиться одной экономической областью. Как ни велики были интересы английских купцов в России, они были ничтожны сравнительно с интересами всемирной английской торговли—сравнительно с задачей создания колониальной британской империи, задачей, падавшей именно на те годы, середину восемнадцатого столетия. В наши дни трудно себе представить, чтобы серьезной соперницей Англии на этом пути могла быть Франция: так кажутся несоизмеримы силы этих двух держав на море. Но этой несоизмеримости не было еще даже в первые годы XIX века, до Трафальгарской битвы, а за семьдесят лет перед Трафальгаром колониальное расширение Англии на всех пунктах земного шара наталкивалось на энергичное и иногда успешное противодействие французов. Белый флаг с лилиями попадался везде на дороге красному ан-

глийскому: в Северной Америке, в Ост-Индии, в Африке, на Средиземном море—и даже в России. Но Россия после Петра была не только рынком: это была крупная военная держава, имевшая и свой флот—в нем, правда, англичане не нуждались—и сухопутную армию, в которой бедная солдатами Англия нуждалась всегда. Наем на английскую службу русских штыков стал хроническим явлением в начале XIX века, в дни наполеоновских войн. В половине предыдущего столетия предпочитали нанимать прусские штыки: Фридрих II всю семилетнюю войну провел при помощи английских субсидий. Но и русскими уже не брезговали—и первый случай найма мы имеем как раз в дни бироновщины: пребывание Финча в Петербурге кончилось (уже после смерти Анны) заключением союзного договора России с Англией, предоставлявшего в распоряжение английского короля корпус русского войска, при чем не нашли нужным даже определить, против кого. Указать противника, ненавистью к которому должны были проникнуться сердца русских солдат, любезно предоставлялось Георгу II. Не нужно, впрочем, думать, что этим делалось какое-нибудь исключение для англичан: за несколько лет раньше правительство Анны Ивановны на таких же любезных условиях предоставило 30.000 русского войска австрийскому, в те времена еще „германскому" императору. Чтобы достигнуть этой цели, императорский посланник роздал Бирону и его коллегам, во-первых, все те подарки, которые предназначались для Долгоруких, но прибыли уже после смерти Петра II и восшествия на престол Анны (их оценивали в 100 тысяч тогдашних рублей), а к этому еще не одну сотню тысяч флоринов наличными деньгами. Подписание русско-английского трактата дало повод к сцене, не менее выразительной. „8 ноября, отправляясь к графу (Остерману) для обмена ратификаций, — рассказывает Финч,—я захватил с собой и вексель Лаутера на 1.500 фунтов на имя его сиятельства, написав на обороте перевод на его банкира, Вольфа, живущего с ним дверь о дверь, дабы графу, для получения денег, оставалось только подписать свою фамилию. „Ваше сиятельство,—сказал я ему,—не раз говаривали мне о своем желании посетить меня в Англии и провести там остаток

дней философом (в часы грустного настроения граф действительно высказывал мне эту мысль). Как ни мало вероятно осуществление такой мечты, в случае ее осуществления, однако, вам пришлось бы, прежде всего, подумать о фунтах стерлингов; поэтому, повинуясь приказаниям короля, позволяю себе просить вас, не разрешите ли мне, вместе с благодарностью его величества, вручить вам от его имени вексель в 1.500 фунтов, которые сосед ваш, Вольф, выплатит вашему сиятельству немедленно, как только вы подпишете передаточную надпись?" Остерман тогда, после падения Миниха, чувствовавший себя некоронованным императором России, не стал марать руки о такую ничтожную сумму (1.500 фунтов—6.000 рублей по тогдашнему курсу: англичане, действительно, пожадничали, но ведь договор был *уже* заключен...) и отказался.

В ту минуту, когда происходил этот любопытный разговор, деньги оказались бы выброшенными в форточку всего через три недели некорованным императором чувствовал себя французский посланник, маркиз Шетарди. Что Франция не могла потерпеть русско-английского договора, это разумелось само собой. Помешать заключению такого договора было главной задачей предшественника Шетарди, Маньяна. Сначала, повидимому, французы имели в виду бороться на равном оружии и действовать подкупом. В этой плоскости шли разговоры французского резидента с Минихом. Всего легче, повидимому, было удовлетворить самое императрицу Анну: для этого казалось достаточным признать за ней императорский титул (для французского правительства она была по старому только „царица"). Услыхав такое предложение от Маньяна, Миних пришел в чрезвычайное оживление, четыре раза повторив, что императрицу ничто не может сильнее побудить к заключению союза с Францией, нежели этот акт вежливости; при этом фельдмаршал „двигался на своем стуле с необыкновенно сильными проявлениями радости". Если бы к этому еще послать несколько кусков хороших вышитых обоев (роскошь, тогда только что начавшая входить в моду в русских барских домах)—то дело относительно Анны было бы совсем в шляпе, по мнению Маньяна. Но окружавшие императрицу „курляндцы и лифляндцы" были людьми более практи-

ческими: им нужны были „экю", о которых так часто и с такой тоской говорит в своих донесениях французский резидент; а по этой части не только англичане, но даже имперцы были куда сильнее бедного представителя Людовика XV. Французское министерство иностранных дел дрожало над каждым грошем и неумолимо держалось при этом бюрократической отчетности, совершенно немыслимой, когда речь шла о „секретных фондах". Вместо того, чтобы тратить сотни тысяч на подкуп русских министров, французский кабинет предпочел дать сотни экю на.. литературную борьбу с ними. В 1736 году в Париже появилась книжка под напоминавшим известное юношеское произведение Монтескье заглавием: „Lettres moscovites". В основу ее легли воспоминания некоего Локателли (в книжке не названного): по всему судя, то был один из мелких французских шпионов, появление которых в России того времени было более, чем естественно. Сам военный, он особенно близко интересовался положением русской армии, и большая часть „писем" посвящена рассуждениям на ту тему, что „московиты" на войне никуда не годятся и бояться их нечего. Быть может, это было и так, но нельзя не заметить, что при данной обстановке невольно вспоминается басня о лисице и винограде. Приключения Локателли кончились для него плачевно: он был арестован в Казани и после продолжительного пребывания в русских тюрьмах выслан за границу. Описанию московитских жестокостей, которое, нужно сказать, мало трогает под пером такого автора, посвящена другая половина книжки. Но всего замечательнее в ней ее послесловие: „издатель" воспоминаний французского шпиона, человек, повидимому, превосходно осведомленный в русских делах, по поводу описанных Локателли порядков делает ряд жестоких выпадов против „министров иноземцев", управляющих Россией, обещаясь заняться систематическим разоблачением их подвигов в специально издаваемой для того газете. Неожиданный предшественник Герцена в 1736 году! Рядом с этим—и здесь мы имеем самую интересную страницу всего памфлета—„издатель" является горячим сторонником кандидатуры на престол цесаревны Елизаветы Петровны, единственной, по его

мнению, законной наследницы, угнетаемой и преследуемой будто бы правительством императрицы Анны.

Все перечисленные черты автора послесловия: ненависть к „немцам", преданность Елизавете, осведомленность в русских делах, давали бы, казалось, возможность назвать определенное имя—автором мог бы быть *Волынский* или кто-нибудь из его „конфидентов". Памфлетов они, вообще, не были чужды: очень известна тенденциозная переделка кем-то из кружка Волынского полоцкой летописи, переносившая борьбу с немцами в XIII век, при чем курляндцы были заменены „поморянами". Соседство с французским шпионом не должно удивлять: „патриотизм" тех дней был совсем особенный—не видела же Елизавета ничего зазорного в том, что на русский престол ее посадят шведы. Гипотезе о родстве „московских писем" с кружком Волынского противоречит хронология: в 1736 году Артемий Петрович был еще в прекрасных отношениях с „немцами" и делал карьеру при Бироне. Как раз в это время он был назначен обер-егермейстером—не пустой титул, если мы припомним, какой страстной охотницей была Анна. Волынского откинула в оппозицию неудачная конкуренция с Остерманом. Возможно, что тогда он в самом деле втянулся в заговор, не им начатый, но где, конечно, с распростертыми объятиями приняли такого влиятельного союзника. Вполне возможно, однако, что Волынского лично притянули к заговору и сделали его вождем просто для того, чтобы убрать с дороги Остермана единственную крупную фигуру: насколько дело Долгоруких трудно объяснимо на одной личной почве, настолько гибель Волынского легко поддается такому объяснению. Внешние подробности трагедии слишком хорошо известны из учебников, чтобы стоило их передавать вкратце, и недостаточно интересны, чтобы стоило ими заниматься детально. Но, оставив в стороне личность Волынского, самое дело 1740 года, захватившее массу крупных лиц—таких, как президент коммерц-коллегии Пушкин, например—не могло быть отражением только личных дрязг между членами кабинета. По словам английского резидента,—и тут дающего самые толковые сведения,—не было почти знатной семьи, которая не была бы затронута следствием; Петро-

павловская крепость была переполнена арестованными, которых свозили со всей России. Это был новый „провал" заговора, притом гораздо более опасный, чем дело Долгоруких: чтобы воскреснуть, заговор должен был питаться из очень широких общественных слоев. Но питательная среда была настолько хорошо ему обеспечена, что падение Волынского даже не затормозило дела сколько-нибудь серьезно [1]).

Быть может, лучшим доказательством того, что Волынский не был чужд подготовлявшемуся перевороту, служит тон, каким отзывается о несчастном кабинет-министре человек, который ради этого переворота, главным образом, и был послан своим правительством в Россию. Послушать маркиза Шетарди, так не было человека менее его интересующегося делом Волынского и менее его понимающего. С неподражаемой наивностью маркиз передает официальную версию, какую давало русское правительство,—и ни звука о какой-либо подкладке, о том, что французский дипломат о чем-нибудь догадывается. Негодование по поводу того, что есть такие дурные люди, как Волынский,—и только... Скорее всего так можно было держать себя (что донесения иностранных дипломатов читаются, это знали хорошо они все) именно относительно попавшегося и потому страшно опасного теперь сообщника. Бог знает, что он может наговорить под пыткой... Но Волынский не выдал на пытке даже имени Елизаветы, которое с долгоруковского процесса было у всех на устах, не говоря уже о более интимных подробностях. Впервые в Петербурге узнали эти интимные подробности лишь после смерти Анны, как мы знаем, из английского источника. 14 апреля 1741 года Финч передал Остерману следующую депешу английского министра иностранных дел, лорда Гарингтона:

---

[1]) О деле Волынского см. очерк проф. *Корсакова* „А. П. Волынский и его конфиденты", в „Русской Старине" 1885 г., октябрь—перепечатан в сборнике „Из жизни русских деятелей XVIII века". Проекты Волынского, которым придает такое значение проф. Корсаков, теперь, когда мы знаем, какую обширную литературу проектов оставили современники Петра, ничего исключительного собою не представляют. О Волынском, как представителе „шляхетских" взглядов, см. ниже, отдел „Теория сословной монархии".

„В секретной комиссии шведского сейма решено немедленно стянуть войска, расположенные в Финляндии, усилить их из Швеции еще 12.000 человек, снарядить со всевозможною поспешностью пятнадцать военных кораблей и все галеры. Франция для поддержки этих замыслов обязалась выплатить два миллиона крон. *На предприятия эти комиссия ободрена и подвинута известием, полученным от шведского посланника в С.-Петербурге Нолькена, будто в России образовалась большая партия, готовая взяться за оружие для возведения на престол великой княжны Елизаветы Петровны* и соединиться с этой целью со шведами, едва они перейдут границу. Нолькен пишет также, что весь этот план задуман и окончательно улажен между ним и агентами великой княжны с одобрения и при помощи французского посла, маркиза де-ла-Шетарди, что все переговоры между ними и великой княжной велись через француза-хирурга, состоящего при ней с самого ее детства. Вы легко поймете, насколько для общего дела и в видах охранения свободы Европы (!) важно, по возможности, предупредить успех подобных замыслов, долженствующих отдать весь север во власть Швеции, а, следовательно, поставить его в полную зависимость от Франции, так как великая княжна может удержаться на престоле единственно при ее помощи“...

Английская депеша совершенно точно устанавливала „соотношение сил“ в заговоре: его инициатива шла, действительно, не от Франции, как следовало по логике вещей, а от Швеции. С французским проектом в данном случае было то же, что со многими другими французскими проектами; практический смысл он получил в руках не французов. Депеши самого Шетарди вполне подтверждают английскую версию: и у него на первом плане Нолькен со ста тысячами экю [1]), тогда как сам французский посланник ссудил Елизавету всего двумя тысячами рублей, да и то заняв их у одного из чиновников своего посольства, который выиграл их в карты. Все позднейшие россказни о шестистах тысячах дукатов, которых будто бы

---

[1]) Французская монета, по тогдашнему курсу 6 ливров— немного менее тогдашнего рубля.

стоило Франции воцарение дочери Петра Великого, не находят себе никакой опоры в документах. Восстановление на престоле „истинной наследницы" взяла на себя та самая держава, с которой Петр воевал всю жизнь, у которой он отнял восточный берег Балтийского моря: и Швеция затеяла все предприятие с исключительной целью—получить отнятое обратно. Это составляло самую пикантную сторону готовившегося переворота. Нолькен настойчиво требовал у Елизаветы Петровны письменного обязательства дать Швеции территориальное вознаграждение в случае удачи. То, как вела себя цесаревна в этом деле, показывает, что с 1730 года она многому научилась. Искуситель не мог от нее добиться не только подписи на бумаге, но даже сколько-нибудь определенного словесного заявления. В беседах с Нолькеном и Шетарди Елизавета выражала свои чувства вздохами, взглядами, улыбками, покачиваньем головы, но говорила чрезвычайно мало и в самых общих выражениях. При этом поддержку Швеции она ценила необычайно высоко и не решалась сделать сколько-нибудь серьезного шага, пока стокгольмский кабинет определенно и официально не заявит себя ее союзником. Только обещанием шведского манифеста в соответствующем духе Нолькену удалось выманить у нее нечто более уловимое, чем взгляды и улыбки. 9 сентября 1741 года в руках у шведского посланника был, наконец, документ, где было черным по белому написано, что Елизавета обязывается в случае своего воцарения: 1) вознаградить Швецию за все издержки (по ведению войны с Россией); 2) платить Швеции субсидии в течение всей своей жизни; 3)предоставить шведам все преимущества, предоставленные (правительством Анны) англичанам; 4) отказаться от всех договоров и конвенций, заключенных Россией с Англией и австрийским домом, и никогда не вступать в союз ни с кем, кроме Франции и Швеции; 5) *отстаивать, наконец, при всяком случае интересы Швеции и выдавать для этой цели шведам секретно, без ведома нации, всякие суммы,* в которых у этой державы может встретиться надобность. Едва ли нужно обращать внимание читателей на то, что русская история знает мало более скандальных договоров: особенно хорошо

последний пункт, которым Елизавета обязывалась обманывать свою „нацию", русский народ, в пользу его исконного неприятеля. Но формально цесаревна и здесь сумела удержаться на границе приличия,—правда, уже на самой границе, так что дальше итти было некуда. Во-первых, обещания территориальных уступок (для шведов, повторяем, в них было все дело) нет и здесь. А главное—и на этой бумаге, написанной, конечно, не ее рукой, не стояло ее подписи; по ней „присягнули" за Елизавету камер-юнкер Воронцов и (упоминавшийся в английской депеше) ее врач, Лесток; но такая „клятва" едва ли имела какое-нибудь значение с точки зрения международного права. Словом, франко-шведская союзница заранее принимала все меры, чтобы обмануть своих „друзей", как только представится к этому физическая возможность. А возможность предстивилась скорее и легче, чем, конечно она сама могла ожидать.

Английский донос, повидимому, отдавал заговорщиков с руками и ногами правительству Анны Леопольдовны—номинальной регентши при номинальном императоре одного года от роду. Фактически Елизавета и ее союзники были в руках Остермана. Когда Остерман попал в руки дочери Петра, та знала, что с ним делать, и неудавшийся правитель России умер в Березове. Но когда эту счастливую позицию занимал сам „величайший русский дипломат", он совершенно не знал, как ему поступить. Из чрезвычайно сбивчивых объяснений его на допросе [1]) можно понять только одно: по поводу „извета" Финча—тотчас же нашедшего себе подтверждение с разных других сторон—при дворе много толковали и, в конце-концов, пришли к весьма неопределенному решению—„наблюдать". Но наблюдали за Елизаветой давно; уже в январе этого года за ней была организована форменная слежка, доставлявшая аккуратно сведения, кто приходил к цесаревне, и куда она ездила. Ни малейшей попытки пойти дальше этого не было сделано. Заговор рос, как снежный ком, в него

---

[1]) Напечатаны в исторических бумагах, собранных К. И. Арсеньевым", Сборник отдел. русск. яз. и слов. Академии Наук, т. IX.

скоро было посвящено около трети всех гвардейский офицеров (54 из 160, по донесению Шетарди от 27 июня—за *полгода* до переворота!), а Остерман все „наблюдал"... Можно думать, что у великого человека петербургских канцелярий просто нехватало духу тронуть гвардию' силу которой он знал и перед которой чувствовал себя совершенно беспомощным. Муж правительницы, по его совету, делал чрезвычайно жалкие попытки „перекупить" кое-кого из заговорщиков. Те деньги брали, но тотчас же с хохотом несли их показывать матушке-цесаревне, куме чуть не всего гвардейского Петербурга. Фельдмаршал Миних, придя раз в новый год поздравить Елизавету Петровну, „был чрезвычайно встревожен", увидав, что весь дом великой княжны наполнен гвардейскими солдатами он с четверть часа не мог притти в себя, а это просто кумовья пришли поздравить свою куму. А когда те же гвардейцы пришли поздравлять „правительницу" Анну Леопольдовну, та спряталась от них за часовых и боязливо выглядывала оттуда на эти совершенно чужие ей лица. В этих двух анекдотах—все „соотношение сил" низвергавших и низвергаемых. Остерман имел основание быть осторожным...

Но мы были бы несправедливы, если бы отнесли столбняк остатков бироновщины в эту трагическую для них минуту только к их личной трусости. Бироновщина давно и неудержимо разлагалась. Хронологическая последовательность фактов была такова: 17 октября 1740 года умерла, от каменной болезни, императрица Анна. „Не бойся"—были последние сознательные слова, которые слышал от нее ее фаворит. Совет был кстати—Бирон был в жестокой панике, и паника была основательна. В противоположность Меншикову, который стал хозяином положения именно в ту минуту, когда его покровитель умер, курляндский герцог после смерти своей покровительницы чувствовал себя в положении рыбы, вытащенной на песок. Настаивая на том, чтобы его назначили регентом, он руководился не жаждой власти, а просто инстинктом самосохранения. Не только *под* ним почва тряслась—заговоры Долгоруких и Волынского были уже совершившимся фактом,—но и на своих он не мог положиться.

В предсмертных судорогах он цеплялся за расположение тех, кто все царствование Анны был для него просто предметом эксплоатации. Сбор подушной подати снова (уже в который раз) был передан в руки помещиков, при чем сама подать уменьшена на треть, не считая прощения недоимок. Была обещана уплата полностью жалованья петербургским чиновникам и офицерам (оно при Анне платилось не очень исправно) и, по крайней мере, в половинном размере, провинциальным. Масса галерников (часто сосланных за долг казне) были выпущены из тюрем. Но он сам не верил в эффект всех этих мер. Сообщив об этих милостях, французский посланник прибавляет: „питейные дома, которые были закрыты в течение нескольких дней, теперь снова открылись. Шпионы, которых там держат, ежедневно хватают и ведут в тюрьму всех тех, кого раздражение или водка побуждает отважиться на малейшее неосторожное выражение. Так как гвардии не доверяют, вызвано шесть батальонов (армейских), а также двести драгунов". „Прибегать к таким предосторожностям тем более, может быть, благоразумно, что брожение среди народа весьма сильно,—прибавляет Шетарди:—гвардейские солдаты говорят смелей, чем когда бы то ни было, и им не смеют ничего сделать". Едва ли это было злословие по адресу Бирона: лично против него сторонники Елизаветы Петровны пока ничего не могли иметь, ибо Бирон в числе других заискивал и перед нею, назначив ей ежегодную пенсию в 50 тысяч рублей (около 400 тысяч золотом). Удар пришел, однако, не оттуда, откуда его ждали: „народного восстания", хотя бы при участии одной гвардии, не потребовалось. Один из членов бироновского же правительства, Миних, с несколькими гренадерами, оказался достаточно силен, чтобы произвести „государственный переворот": в ночь на 9 ноября (1740 г.) герцог был арестован. Совершенно не видно, чтобы его счастливым соперником руководили какие бы то ни было политические соображения: он просто хотел сесть на место Бирона, воображая, что при своей популярности между солдатами он будет на этом месте прочнее. К его удивлению, когда его самого вскоре садил с этого места Остерман, гвардия не шелохнулась: ей нужен был

совсем не Миних. Но это был в то же время единственный бироновец, умевший хоть разговаривать с солдатами. Победитель всех своих коллег, оставшись один у власти, оказался в том трагически-беспомощном положении, какое мы видели...

Для солдатской массы уже переворот 9 ноября был сделан в пользу Елизаветы: в казармах толковали, что Миних-де для этого и арестовал герцога. Когда выяснилось, что номинально последнего заменила Анна Леопольдовна, гвардейцы были жестоко разочарованы. А маломальски наблюдательным людям стало ясно, что для низвержения остатков бироновского правительства вовсе не нужно ни шведского флота, ни французских миллионов,— довольно немного решительности и одной роты гренадер Шведский проект пришел слишком поздно для Швеции, и если Елизавета за него уцепилась, то, главным образом, потому, что у нее самой решительности было немногим больше, чем у ее противников. Как известно, гренадерам пришлось взять инициативу на себя, и роль Елизаветы в ночной операции 25 ноября 1741 года была более декоративная. Так как шведы перед этим только-что допустили себя разбить в Финляндии, то Елизавета с большим основанием могла впоследствии утверждать, что ничем им не обязана. Гренадеры имели сердце более благодарное. Конечно, они слишком хорошо помнили северную войну, чтобы примириться со шведами. Но когда несколько из них, порядочно выпивши, пришли раз во дворец и застали там маркиза де-Шетарди, они, облобызав ручку императрицы, пожелали непременно поцеловаться и с французским посланником: он был теперь тоже их кумом. „И он поцеловался с этими янычарами", со скрежетом зубов писал об этом факте английский посланник: ему его ставка казалась окончательно проигранной. Последствия не замедлили обнаружить, что он очень ошибался.

2. Новый феодализм.

„Третьего дня вечером,—писал своему начальнику злосчастный Финч, с небольшим чере зтри недели после вступления Елизаветы на престол, — государыня, присоединив

к 141 гренадеру еще сколько нужно других людей для комплекта в 300 человек, образовала из них лейб-компанию, в которой все нижние чины объявлены поручиками, капралы и сержанты — капитанами и майорами, а шесть человек, на долю которых выпали главные хлопоты при последнем перевороте,—подполковниками. Офицеры еще не назначены; определено однако, что прапорщики лейб-компании имеют пользоваться чином бригадира, два подпоручика — чином генерал-майора, а поручики — чином генерал-лейтенанта армии. Расквартирована лейб-компания будет в домах, нарочно для нее купленных государыней вокруг дворца. Капитаном ее будет сама царица. Она заказала себе гренадерскую шапку и мундирную амазонку и станет во главе лейб-компанцев, как только обмундировка их будет закончена". В знак особенной милости, образчики этой обмундировки, занимавшей такое важное место в предпринимавшейся новой государыней важной мере, были показаны игравшим с нею в карты иностранным дипломатам — в том числе и Финчу: об его доносе уже знали, но старались соблюсти внешние приличия и продолжали его принимать. То же соблюдение внешних приличий заставляло позаботиться и еще кое о чем, кроме обмундировки. Разговаривая с теми же дипломатами по поводу нового мундира, Елизавета Петровна добавила, что намеривается „мало-по-малу из теперешнего состава лейб-компании удалить наиболее развращенных и пьющих (их там немало) и современем устроить так, чтобы весь отряд состоял из одних дворян (хотя и теперешние все возведены в дворянство)". Но лейб-компанцев гораздо легче было украсить цветным сукном и золотым шитьем, нежели какими-нибудь буржуазными добродетелями, вроде трезвости и воздержанности. Когда одного запьянствовавшего гренадера из императрицыной роты его начальство посадило под арест, его товарищи, как один человек, объявили бойкот императорскому двору, и никто из них во дворец в этот день не явился. Елизавета, узнав об этом, „немедленно и очень любезно приказала освободить арестованного и простила его". „Замечательное поведение гренадер должно вызвать на размышления,—замечает по этому случаю Финч. — Они явно сплотились в строгий союз, дабы

стоять одному за всех и всем за одного, что, пожалуй, не позволит ее величеству осуществить предположенное удаление наиболее распущенных из их среды. Пожалуй, и объявленное прощение было вызвано не столько милосердием, сколько страхом; она (ее величество), пожалуй, признает себя зависимой от них; здешняя знать, по крайней мере, чувствует их господство над собой".

Елизавету Петровну так принято изображать доброй русской барыней. Она, действительно, находила такое же удовольствие „быть постоянно окруженной толпой холопов", как и „менять свои туалеты по 4 и по 5 раз на дню": и то и другое засвидетельствовал хорошо ее знавший человек, маркиз Шетарди. Смешно было бы отрицать в Елизавете генерические черты того типа, первый образчик которого на русском престоле явила императрица Анна. Но жанровая сценка, которую нарисовал нам только-что неудачливый противник счастливого маркиза, показывает, что в области генерических черт у нее, пожалуй, еще больше было сходства с ее матерью: как и Екатерина Елизавета была, прежде всего другого, „полковницей". Эту параллель можно бы провести до мелочей,—до любви к венгерскому, например, столь прочной и интенсивной, что, по словам того же французского дипломата (который был для Елизаветы, кажется, кое-чем больше, нежели просто „представителем дружественной державы"), ничем нельзя было лучше угодить новой царице, как подарив ей хороший запас этого вина доброй марки. Или до любви к „развлечениям", опять-таки столь интенсивной, что только богатырское здоровье дочери Петра, не подточенное притом хроническим недугом, как у ее матери, позволило ей продержаться двадцать лет, вместо двух лет царствования, которые судьба послала Екатерине I. Ни одно царствование, не исключая Екатерины II, не поддается до такой степени превращению в chronique scandaleuse, как это: не предполагая состязаться со специалистами этого жанра, мы не будем пускаться в подробности интимной жизни Елизаветы Петровны [1]). Отметим только, что черт

[1]) Недаром «La dernière des Romanov» является, несомненно, лучшим томом в длинной серии трудов Валишевского, посвященных XVIII веку. Нам случалось читать, что теперь и эту книгу перевели

сходства с казармой или с лагерем в придворном быту ее времени гораздо больше, нежели типичных черт помещичьей усадьбы. Последняя, прежде всего, нечто неподвижное, веками вросшее в землю: владелец если и выезжал из нее, то только по крайней необходимости. Почитайте записки Екатерины II: перед вами картина какого-то кочующего табора. „Зеркала, постели, стулья, столы и комоды перевозились из зимнего дворца в летний, оттуда в Петергоф, и даже ездили с нами в Москву"... Жили в наскоро построенных деревянных домах, где зимою вода текла со стен, и куда людей набивали, как селедок в бочку. Великая княгиня (тогда единственная на всю Россию), жена наследника престола, должна была спать в проходной комнате, через которую поминутно бегали ее камерфрау и просто горничные, в количестве семнадцати душ набитые в комнате рядом, не имевшей другого выхода, как через великокняжескую спальню. Ассенизационные приспособления при этой женской казарме живо напоминают реалистическое описание русского бивуака в известной сцене „Войны и Мира". Но этим неудобства не исчерпывались: „ко мне набиралось оттуда столько всякого рода насекомых, что я, бывало, не могла уснуть от них", жалуется Екатерина. Нередко эти эфемерные постройки рушились— и только по счастливой случайности от одной из таких катастроф уцелела русская династия. Еще чаще они сгорали, как груда щепок, раньше, чем успевали опомниться: от большого московского дворца Елизаветы в ноябре 1753 года через три часа ничего не осталось, кроме кучи угольев.

Елизавета так привыкла к деревянным домам, что с трудом представляла себе другие: когда ей донесли о лис-

---

по-русски: не видав перевода, мы не можем ручаться за его полноту. Когда-то Валишевский удостоился очень сурового отзыва со стороны одного весьма известного историка-материалиста: писания Валишевского были охарактеризованы, как лакейские сплетни. Может быть, суровый критик вспомнит, что всего в девяностых годах прошлого столетия гораздо менее жестокую, по своей правдивости, «Историю Екатерины II» Бильбасова пришлось издавать в Лондоне? Разрушать официальный обман, гипнотизировавший ряд поколений, всегда дело полезное,—между прочим, именно с точки зрения материалистического понимания истории: нигде исторический идеализм не чувствует себя так уютно, как под благодетельным покровом этого обмана.

сабонском землетрясении, первое, что ей пришло в голову— это послать португальскому королю лесу на постройку нового города. Ее с трудом убедили, что, пока придет русский лес, португальцы давно успеют отстроиться. Но императорскому лагерю не всегда хватало даже этих деревянных бараков, и тогда двор размещался, как армия на походе, в палатках. Когда императрица „ходила пешком" из Москвы к Троице (эта экспедиция, обыкновенно, продолжалась целое лето), мы всего чаще встречаем ее в этом солдатском помещении. В палатке происходила и знаменитая сцена с ежом, которого императрицын шут принес показать своей госпоже, чем напугал ее до полусмерти. Так как императорский испуг—дело серьезное, то шутом и ежом занималась впоследствии тайная канцелярия... Приехала императрица в Ревель — бал устраивается в ее палатках; а так как во время бала полил, как из ведра, дождь, то скоро полностью была воспроизведена знакомая нам картина петровского праздника в Летнем саду. Промокшие гости могли, по крайней мере, утешать себя тем, что традиции преобразователя не забываются его дочерью. В Рогервике двор опять стоит в палатках, поставленных прямо на жесткие голыши прибрежья: у Екатерины четыре месяца потом болели ноги от ходьбы по этим голышам. Другой раз она сильно простудилась, потому что в ее палатку набралось по щиколотку воды. Для лагерной жизни короткое платье лучше подходило, нежели пышные дамские „робы" того времени: и если мы так часто встречаем Екатерину, на страницах ее записок, в мужском костюме, то причиной этого было не одно кокетство—соображения практического удобства требовали того же. Военному быту соответствовали и военные нравы: в записках Екатерины карты встречаются не реже, чем они встречались бы в воспоминаниях какого-нибудь гусарского поручика. В Козельске (куда судьба ни заносила императорский лагерь) „в большой зале, занимавшей середину дома, постоянно с утра до вечера шла игра в фараон и по большой цене, зато в остальных комнатах была теснота". Чтобы великая княгиня могла держаться на соответствующей ее званию высоте, ей выдавались специальные суммы „для игры в фараон" — суммы, довольно зна-

чительные: однажды упоминается 3.000 рублей, не меньше двадцати—двадцати пяти тысяч золотом. „На другой день по приезде нашем в Катеринеталь (в Ревеле) придворная жизнь пошла прежним, обыкновенным порядком, т.-е. в зале, занимавшей середину двухъэтажного дома и составлявшей переднюю комнату императрицы, с утра до поздней ночи происходила карточная игра, довольно значительная... Я наравне с другими играла в фараон, которым обыкновенно занимались все любимцы императрицы, если не уходили в покой ее величества, или, лучше сказать, в ее палатку. Эта большая и великолепная палатка была разбита возле ее комнат..." Итак, даже когда были комнаты, предпочитали жить в палатке: правда, комнаты „были очень малы". Но на тесноту вообще, как мы видели, не обращали внимания [1]).

Елизавета Петровна, может быть, очень хотела бы видеть вокруг себя лакеев, но в казарме и лагере чаще поневоле видишь солдат: а солдаты с первых же шагов показали, что с ними нельзя обращаться, как с лакеями. Гвардейское шляхетство твердо решило не повторять ошибки 1730 года и, заняв престол своим человеком, не выпускать этого человека из-под своего наблюдения. „Интересы", которые таким наблюдением охранялись, пока дело шло о лейб-компании, были, конечно, весьма примитивные. Но за буйной и пьяной шляхетской молодежью стояло старшее поколение, для которого опыт бироновщины тоже не прошел даром. „Сенат, составленный из русской знати, начинает приобретать большой вес и старается возвратить ее царское величество к старорусским взглядам", доносил (от 8 июля 1742 г.) преемник Финча, сэр Кириль Уэйч. Полгода спустя он говорит даже, что сенат „покушается на прерогативы" императрицы. С целью будто бы отпарировать эти покушения, последняя организует „новый совет или кабинет из 6—7 лиц". На таких воззрениях английского представителя,

---

[1]) Мы далеко не исчерпали, само собою разумеется, бытового содержания записок Екатерины. Это, как известно, их самая сильная сторона: что касается рассказа о личных отношениях автора, то тут мы имеем в «записках» не историю, а роман и притом весьма тенденциозный.

повидимому, сказалась некоторая удаленность его от придворных центров, слишком естественная после инцидента с Финчем. Елизавета долго после не могла переносить англичан. Как-то она залюбовалась большим портретом Петра, висевшим в одной из комнат дворца. „Какой художник его писал?“ спросила она. Ей назвали английское имя. Она поспешно отвернулась и пошла прочь: с тех пор портрет ей перестал нравиться. От более близкого к делам Шетарди мы знаем, что совет—не в виде учреждения, таким он никогда не сделался, а на правах домашнего кружка „ближайших сотрудников“—существовал уже через месяц после переворота. В него входят более влиятельные сенаторы (в их числе мы встречаем и обломок верховного тайного совета, в лице фельдмаршала князя Вас. Влад. Долгорукого, освобожденного Елизаветой из Шлиссельбурга, и бывшего лидера шляхетства 1730 года, кн. Черкасского, ставшего при Елизавете великим канцлером): но их близость к императрице так же мало стесняла сенат, как учреждение, как наличность кабинета из лидеров большинства палаты общин мало стесняет эту последнюю. Кабинет стесняет не парламент, а личную власть. Сенат Елизаветы Петровны больше подходил, по своему политическому значению, к верховному тайному совету, нежели какое бы то ни было другое учреждение раньше или после. Вассалитет феодальной монархини, провозгласив ее государыней (в самом буквальном смысле этого слова: как известно в манифестах о вступлении на престол Елизавета Петровна писала, что она приняла правление по прошению всех своих верноподданных, „*а наипаче лейб-гвардии нашей полков*“), стал вести себя, как вел всегда и везде всякий вассалитет: в лице наиболее крупных сеньеров он взял управление в свои руки. После полувекового перерыва Россия стала, наконец, опять той „дворянской Россией“, какую мы видели накануне Петра.

В чем заключалось это, теперь уже действительно дворянское, управление Россией, начавшееся 25 ноября 1741 года, в день вступления Елизаветы на престол, и оборвавшееся 6 ноября 1796 г., почти ровно через пятьдесят пять лет, в день смерти ее невестки? В нем легко подметить две полосы: одну, когда просто выполняется

программа 1730 года, не та, какая в довольно туманном виде носилась в голове литературных представителей движения, а та, которая была доступна и понятна каждому среднему „шляхетному", и которая вся сводилась к избавлению шляхетства от тягостей, наваленных на него службою торговому капиталу. Эта полоса охватывает царствования Елизаветы и Петра III; ее кульминационным пунктом является манифест о „вольности дворянства" 18 февраля 1762 года. С этого момента пассивная оборона может считаться достигнувшей своей конечной цели: „тягости" с шляхетства все стряхнуты. Но одержанная социальная победа пробуждает дремавшие еще в 1730 году политические инстинкты. Дворянство скоро не довольствуется фактическим приспособлением к своим нуждам обломков петровских учреждений, как это было с елизаветинским сенатом. Оно хочет организовать все государство заново—и по-своему. У него теперь оказывается, действительно, программа: правда, и теперь не особенно стройная, но во всяком случае гораздо более детально разработанная, нежели в 1730 году. Выполнение этой программы и споры около нее наполняют вторую полосу дворянской политики—межевыми камнями этой полосы можно поставить 1767 год, год созыва екатерининской комиссии, и 1785 год, издание жалованной грамоты дворянству. Но в тот момент, когда, казалось, остается только „увенчать здание", обнаружилось, что под ним уже нет фундамента. Пугачевский бунт наметил первый сдвиг почвы—и с тех пор непрерывно тряслось то там, то сям. Пришлось строить спешно новую оборонительную систему, чтобы защищаться уже не от деспотизма сверху, а от революции снизу. В этой лихорадочной работе были брошены, мало-по-малу, за борт все „заветы" предшествующего поколения: а когда система при Николае Павловиче была закончена, то оказалось, что ею нечего оборонять, ибо те „ценности", во имя которых велась вся работа, к сороковым годам XIX века не стоили уже ни гроша. Надо было начинать всю стройку сызнова,—получились реформы Александра II.

Изучение последовательных этапов дворянской политики XVIII и первой половины XIX веков составит содержание ряда ближайших глав „Русской истории". В настоящей

главе мы не будем выходить из пределов первой полосы первого периода этой политики (1741—1796 г.г.). Но прежде чем говорить о том, чем она была, излагать ее *положительное*, с точки зрения дворянских интересов, содержание, приходится сказать несколько слов о том, чем она *не была*: эта отрицательная ее сторона тесно связывает ее с предыдущим периодом. Иначе читатель может подумать, что 25 ноября 1741 года было в самом деле какой-то катастрофой, что одна Россия провалилась в преисподнюю, а другая внезапно возникла на ее месте. Ничуть не бывало: в известном смысле—и притом в *главном* ее смысле—„бироновщина" непрерывно продолжала существовать во все царствование Елизаветы. До тех пор, пока она не задевала чувствительно интересов дворянства, на нее просто не обращали внимания. Только изведав на опыте семилетней войны, к каким последствиям она может привести, ей положили конец—переворотом 28 июня 1762 года.

Мы видели, что дворянская оппозиция при Бироне шла под *национальными* лозунгами: „против немецкого ига". Мы видели также, что у этой субъективной стороны дворянского движения были известные объективные основания: „немцы" были на жалованьи заграничного капитала, и продавали ему русские интересы и русские штыки по мере спроса. Мы видели также, что, собственно, национальность „немцев" была здесь ни при чем: курляндец Бирон продавал Россию не своим соотечественникам, но англичанам. После 25 ноября 1741 года у власти должны были стать „чисто русские" люди: в смысле национальности это, действительно, и было так. Черкасские и Трубецкие, Куракины и Нарышкины, Головин и Бестужев, Ушаков, Чернышев, Левашов—эти имена членов императорского совета 1741 года говорят сами за себя. Но вот странно: иностранные агенты хлопочут больше не около них—за некоторыми исключениями,—а около не занимавшего никакого почетного поста человека с иностранным именем. И этот человек, врач Елизаветы Петровны, *француз* Лесток, скоро благополучно ставит внешнюю политику России на те *английские* рельсы, с которых она чуть-чуть не соскочила благодаря глупости правительницы Анны Леопольдовны и трусости Остермана. Приглядимтесь поближе

к деятельности этого Лестока—или, лучше сказать, к деятельности английских дипломатов по отношению к этому Лестоку: мы увидим очень знакомую картину. Меньше, нежели через год после торжества „национальных начал", вот что писал своему министру преемник Финча: „не стану беспокоить вас подробным рассказом обо всем, что я предпринимал со времени своего приезда к русскому двору для приобретения дружбы и доверия Лестока. Не жалея ни здоровья, ни денег, я провел с ним несколько ночей, играл с ним на большие суммы, чтобы приобрести его расположение и, наконец, нашел случай... внушить, что для него и почетно и выгодно будет воспользоваться своим влиянием на советников ее царского величества для поддержки мероприятий, угодных его величеству (Георгу II английскому). Он дал мне всевозможные уверения, что впредь будет держаться поведения, направленного к поддержанию теснейшего союза между королем и царицей. Чтобы поддержать Лестока в таком расположении, выгодном для службы королевской, я предложил ему, именем его величества, пенсион, который он и принял с готовностью, не допускающей сомнения в его намерении оказаться достойным милости, которую король разрешил мне оказать ему". В Лондоне не особенно доверяли хирургу Елизаветы Петровны,—не в силу его французского происхождения, а так как знали, что он получает пенсион и от Франции. Английским министрам казалось невероятным, чтобы один и тот же человек мог служить сразу двум, враждующим между собою державам, не обманывая одной из них. Но Кириль Уэйч, к тому времени уже достаточно осмотревшийся в Петербурге, смотрел на вещи шире. Он вполне допускал, что Лесток, может быть, обманывает обоих своих давальцев, но что, тем не менее, при некоторой ловкости каждый из них может извлечь из него свою долю пользы. „Очень вероятно, что Лесток получает пенсион от Франции,—писал он,—но вне сомнения, что он на-днях же был мне очень полезен для ускорения подписания нашего контракта". И он настоял на том, чтобы этому полезному человеку дали пенсию (правда, не очень щедрую: 600 фунтов, т.-е. около $2^1/_2$ тысяч рублей тогдашних, в год, да еще взяли при этом нечто вроде

расписки...). Притом же Уэйч — недаром „просвещенный мореплаватель"—был слишком осторожен, чтобы держать свой корабль в такое бурное время на одном якоре, у него было их несколько. Еще раньше, чем Лестока, он отметил будущего руководителя иностранной политики при новом царствовании. „Братья Бестужевы достойны получить осязательные доказательства (some sensible proof) милостивого расположения к ним его величества,—писал он еще в июле 1742 г.—Поведение их всегда оставалось неизменным, всегда было направлено к утверждению теснейшего союза морских держав с Россией. И они, полагаю, не стеснятся принять милость от короля, так как его величество не может потребовать от них взаимно ничего, что бы не соответствовало их собственным взглядам, а также действительным, несомненным выгодам российской империи". Но час фавора Бестужевых еще не пришел— поэтому с пенсионом для них решено было обождать. Тем не менее один из братьев, скоро ставший очень знаменитым, Алексей Петрович, уже тогда занимал весьма крупный официальный пост: был вице-канцлером, товарищем министра иностранных дел, а фактически министром, так как номинальный канцлер, князь Черкасский, не знавший иностранных языков, притом старый и больной, мог только носить титул, но ничего не делал. Что такой важный чиновник, державший в руках все дела, мог на эти дела иметь меньше действительного влияния, нежели придворный доктор императрицы—это, конечно, необычайно характерно для елизаветинского режима. Но англичанин брал вещи такими, каковы они есть, и в то время, как доктору платили постоянное жалованье, притом за полгода вперед, министр иностранных дел получал сдельно и лишь в случае удачи. Убедившись, что „вице-канцлер хорошо служит королю и раз чуть было не поплатился за расположение к благому делу", решено было выдать и ему 8.000 рублей единовременно. Бестужев закапризничал,— стал толковать, что он без разрешения императрицы не может взять денег, и такою добродетелью сначала поставил было втупик Уэйча. Тот никак не мог понять, что же, собственно, Бестужеву нужно? Ларчик скоро открылся просто: неподкупный человек желал иметь на 1.500 рублей

больше. Английский дипломат не без брезгливости сообщает об этой мелочности „хорошо служившего" английскому королю русского министра [1]). Впоследствии англичане, однако, привыкли к изворотам Бестужева, постепенно дошедшего до такой виртуозности, что он брал взятки не только с разрешения императрицы (Елизавета знала, что ее министры берут, и раз, в сердцах, сказала это в глаза Бестужеву), но, можно сказать, ее руками. Операция обставлялась так: Бестужев „закладывал" свой дом английскому консулу; „заем" был, разумеется, фиктивный—фактически деньги шли из секретных фондов английского кабинета. Но императрице, улучив добрую минуту, обыкновенно за столом, после нескольких бокалов шампанского или венгерского, кто-нибудь из друзей канцлера докладывал, что тот дошел до крайней нужды—даже дом, где он живет, в сущности уже не его. Елизавета была женщина добрая, хотя и вспыльчивая; снести такой нищеты своего верного слуги она не могла,—кабинет получал приказание выдать Бестужеву потребную сумму на выкуп его дома. История умалчивает, получал ли что-нибудь из этой суммы английский консул: надобно думать, что он был бы крайне изумлен, если бы ему стали возвращать „долг". Бестужев же получал вдвойне—и притом лойяльность его была гарантирована настолько прочно, что в нее верили не только многие современники, но даже и профессора истории XIX века [1]).

Бестужев называл свою политику—не относительно дома, разумеется, а относительно Англии—„системой Петра Великого". На самом деле она гораздо больше заслуживала названия системы Бирона, первого покровителя Алексея Петровича, который в кабинете Анны сел на место

---

[1]) См. депешу Уэйча от 3 мая 1743 г. Сб. Р. Ист. Общ., т. 99 стр. 340.

[1]) *Бильбасов*, „История Екатерины II", т. I, стр. 71 примеч. Автор приводит этот факт, ничтоже сумняся, тотчас после того, как он присоединился к мнению Екатерины II о „неподкупности" Бестужева. Чего стоит мнение Екатерины по *тако му* вопросу, мы сейчас увидим. Наивность же самого Бильбасова как не надо лучше демонстрирована Валишевским, которому, впрочем, не трудно было это сделать. См. „La dernière des Romanov", p. 117 ssq.

Волынского. Результаты 25 ноября 1741 года в области внешних отношений были быстро стушеваны: почти ровно через год, 30 ноября 1742 года, между Россией и Англией был подписан „союз дружбы, единения и обоюдной защиты, с принадлежащими к нему сепаратными и секретными статьями". Елизавета Петровна могла сколько угодно не выносить звука английского имени и уверять, что все английское „будет ей всегда противно": она была такою же союзницей Георга II, как и обе Анны, императрица и правительница. В борьбе английского и французского капитализма, которая составляет основной фон всей международной политики первой половины XVIII века, и тот эпизод, который разыгрывался за кулисами петербургского двора, разрешился в пользу Англии. Недавний „кум" лейб-компанцев, второе лицо при дворе после императрицы („первый поклон отвешивают еще Елизавете, а второй уже, конечно, французскому посланнику", ядовито замечал один не французский посланник), маркиз Шетарди, скоро оказался в самом комичном положении „неприятного иностранца", высылаемого из России без права обратного въезда. Для достижения такого блестящего результата Бестужеву достаточно было показать императрице расшифрованную с большой ловкостью его агентами переписку ее французского „друга". Она нашла там такие выражения о своей особе, что в себя не могла прийти от негодования, тем более, что характеристика была верная [1]). Нужно прибавить, что в не менее комическое положение попала и Швеция, так рыцарски обнажившая меч на защиту прав дочери Петра: вместо обратного получения, в награду за рыцарство, провинций, отнятых у нее Петром, она должна была (по миру 1743 года) уступить России еще добрую полосу своей финляндской территории. Ибо, вступив на престол, Елизавета немедленно позабыла с таким трудом вытянутые у нее обещания, а так как на поле битвы шведам не везло, то трудно было их напомнить. Англичане, постепенно возвращая себе все позиции, занятые при Анне и чуть не потерянные в 1741 году, одно-

---

[1]) Она напечатана теперь (быть может, не без пропусков), с подлинника в 105-м томе СборникаРусс к. Истор. Общ., стр. 233 сел.

временно могли себя утешить, что и привилегия одевать „национальную" армию Елизаветы Петровны осталась за ними, как и в дни „немецкого ига". В конце 1743 года был подписан контракт с английскими купцами „на обмундирование трех гвардейских полков, полков артиллерии, флота и всех армейских полков". Контракт был пятилетний. „Это очень важно,—прибавляет, сообщая новость, Уэйч,—так как мы за это время из году в год будем в состоянии продавать русскому правительству на пятьдесят тысяч фунтов стерлингов одного грубого сукна, не считая лучших сортов и тончайшего сукна, отправляемого через Россию в Персию". Персидская английская компания также продолжала действовать при Елизавете, но не дала тех выгод, каких раньше от нее ждали.

У этих успехов английской дипломатии была, однако, оборотная сторона: они внушили победителям такую уверенность в себе, что те стали считать себе дозволенным все, раз дело шло о России. Не говоря ни слова своей союзнице, Англия заключила (5 января 1756 года) наступательный и оборонительный союз с Пруссией, с которой у России с 1750 года были прерваны всякие дипломатические сношения. Надо иметь в виду, что русско-английский союз был направлен, главным образом, против Пруссии; что Фридрих II был, можно сказать, „персональным" неприятелем Елизаветы Петровны, не терпевшей его, если это возможно, еще больше, чем англичан: она называла его „Шах-Надиром прусским" и с ужасом говорила, что прусский король, кажется, и в церковь не ходит; что, наконец, в это самое время Австрия, днем с огнем искавшая союзников против Фридриха, была в Петербурге наготове с баснословными, по своей соблазнительности, предложениями: Елизавета просила 4 миллиона флоринов субсидии и получила два. Так как от субсидий в карманах фаворитов и министров императрицы всегда оставалось достаточно, это могло быть уравновешено лишь исключительными щедротами английского кабинета, который как раз теперь, взяв на содержание прусскую армию—первую армию в Европе,—стал скупиться на приобретение русской. Англичане везде предпочитали первый сорт. И вот—такова объективная сила денег!—англофильское правительство

(канцлером продолжал оставаться Бестужев) принимает участие в семилетней войне, последнем эпизоде великой колониальной борьбы Англии и Франции,—на стороне последней и против первой. Казалось, что было за дело русским помещикам и крестьянам, что где-то, на берегах реки св. Лаврентия, в Канаде, солдаты в синих мундирах обменялись выстрелами с солдатами в красных? Да что было до этого за дело и помещикам и крестьянам прусским? И тем не менее стоило начаться англо-французской войне, началась русско-австрийская, а за нею и русско-прусская. Мы не будем входить в подробности этой войны—первой большой европейской, в какой, после 35-летнего промежутка, приняла участие Россия. Но чтобы закончить характеристику „бироновщины после Бирона", нельзя не сказать несколько слов о том способе, каким Англия и в этом случае ухитрилась все-таки обеспечить свои интересы.

„Около Троицына дня (1755 года—следовательно, за год до начала войны) прибыл в Россию английский посланник кавалер Уильямс,—рассказывает в своих записках Екатерина II.—В свите его находился граф Понятовский, поляк, отец которого держал сторону Карла XII, шведского короля. Императрица приказала отпраздновать именины великого князя в Ораниенбауме. К нам съехалось много народа; танцовали в той зале, которая при входе в мой сад, и потом в ней же ужинали; посланники и иностранные министры также явились. Помню, что за ужином английский посланник, кавалер Уильямс, был моим соседом, и мы вели с ним приятную и веселую беседу: он был умен, сведущ, объездил всю Европу—с ним нетрудно было разговаривать". Разговор шел впрочем не о всей Европе, а только о графе Понятовском. По случайности, как раз около этого времени Екатерина узнала, что прежний предмет ее внимания, Сергей Салтыков—после рождения Павла Петровича вынужденный покинуть Россию—ведет за границей очень рассеянную жизнь и „волочится за всеми дамами, какие ему попадаются". Женское самолюбие Екатерины было задето, в сердце ее чувствовалась пустота,—красивый и обаятельный польский граф, приехавший в Петербург в свите английского посланника, стал в

великокняжеском дворце желанным гостем. Надежда Уильямса, что Понятовский „будет иметь успех в России", исполнилась очень быстро: впрочем, английская дипломатия и гораздо раньше, еще в дни Уэйча, имела ясное представление о политической роли, какую может сыграть в России „красивый молодой дворянин". Только, держа на жалованьи русского министра иностранных дел, англичане пренебрегали этим средством, предоставляя им пользоваться более бедным—или более скупым—французам. Оценив Понятовского, нельзя было не почувствовать благодарности и к Уильямсу, виновнику его появления при петербургском дворе. Английский „кавалер" был притом не только интересный собеседник. Екатерина была страшная мотовка, как ни старается она замаскировать этот факт в своих мемуарах; в деньгах она постоянно нуждалась—просить же их у императрицы было не всегда удобно, вернее, всегда неудобно. Елизавета принималась в этих случаях ворчать и распространяться об ее собственной бережливости, когда она была цесаревной (в действительности, она была в те времена в долгу, как в шелку, несмотря на то, что и Анна и Бирон были к ней щедрей, чем она к своей невестке.) Можно себе представить приятное удивление великой княгини, когда она узнала от Уильямса, что под руками есть отличный способ „перехватить" в критическую минуту: все у того же волшебника, английского консула. Факт этих „перехватываний" удостоверен документально; самый крупный—из известных—заем в 44.000 рублей (более 350 тысяч на тепер. зол. деньги) относится к ноябрю 1756 года, когда война была уже решена, и русский главнокомандующий, приятель Екатерины, Апраксин, уже отправился к армии. А 18 декабря Уильямс [1]) вот что писал своему кабинету: „посылаю вам самые верные известия, которые только удалось мне получить относительно планов, касающихся русской армии. Они были сообщены мне здешним лучшим моим другом (ma grande amie), великою княгиней. Она имела весьма

[1]) Так как война шла, формально, с Пруссией, а не непосредственно с Англией, то дипломатические сношения с последней не прерывались. Это было очень удобно англичанам...

продолжительный разговор с фельдмаршалом Апраксиным в ночь накануне его отъезда в Ригу, и то, что я пишу вам теперь, есть только точный список того письма, которым ее высочество почтила меня на другой же день". 7 января депеша Уильямса была в руках Фридриха II,—а 8 русский операционный план был сообщен фельдмаршалу Левальду, командовавшему против Апраксина. В утешение читателя мы можем только прибавить, что этот акт—находящий себе вполне определенную квалификацию не только в международном, но и в уголовном праве—практических последствий не имел. На практике русская армия обошлась без всяких операционных планов. Прошло чуть не полгода раньше, чем Апраксин, очень не хотевший воевать, собрался, наконец, перейти прусскую границу. К этому времени вся обстановка настолько изменилась, что планы, составлявшиеся осенью предшествовавшего года, никуда более не годились [1]).

Русское дворянство, тысячами клавшее свои головы в бессмысленной, с точки зрения его классовых интересов, войне против Пруссии, никогда не узнало, кто играл его головами. Но тягости пятилетней (для России) войны нельзя было не почувствовать. Ко времени смерти Елизаветы положение было таково, что всякое разумное правительство поспешило бы как-нибудь выпутаться из дела. Когда мы читаем, что за январскую треть 1760 года жалованье войскам удалось выдать только в половинном размере, да и то медными деньгами,—а чтобы добыть эти последние, пришлось переливать пушки в монету,—знаменитая фраза Елизаветы Петровны о распродаже ее бриллиантов и туале-

[1]) См. для всего этого инцидента *Бильбасова*, т. I, стр. 318 ссл. и приложение III—стр. 453 ссл. Бильбасов, конечно, отчаянно защищает свою героиню и храбро обвиняет Уильямса во лжи. Но аргументы его не сильнее, чем в деле с Бестужевым. Что изложенный Уильямсом, со слов Екатерины, план был „нелепостью"—очень возможно: но мало ли в нашей военной истории нелепостей еще больших? А что Уильямс медлил с его сообщением полтора месяца (главный козырь историка Екатерины II), так тот сам объясняет причину чего Б. не заметил. „Я все еще надеюсь добыть инструкцию, данную Апраксину,—пишет У.,—мне обещали уже два раза, но эти обещания еще не исполнены". Подлинная инструкция была бы куда ценнее дамского письма: было из-за чего подождать.

тов, если понадобится, на нужды войны, перестает казаться только фразой. Но если императрице приходилось подумывать об отказе от привычной для нее роскоши (при дворе ее времени принято было переодеваться 3—4 раза в день, при чем сама Елизавета Петровна редко надевала вторично однажды виденное публикой платье: так что цифра 15.000 платьев, о которой говорили современники, не покажется фантастической), то для дворянства, благодаря той же войне, начинало не хватать необходимого; если бы не отсрочка платежей в основанный Елизаветою дворянский банк, большая часть его клиентов осталась бы без имений. По этому положению заемщиков банка, составлявших привилегированное меньшинство помещиков, можно судить о положении большинства. Причина была та же, что и во время петровских войн: годами не живя в имении, офицер или солдат-помещик поневоле запускали хозяйство. А к исполнению воинской повинности тянули почти так же неукоснительно, как и при Петре: требовали даже старых, больных, даже никогда, фактически, военными не бывших—например, горных офицеров отправляли в действующую армию. Рекрутские наборы следовали один за другим, отбирая у владельцев крепостных деревень лучшие рабочие руки. Манифест о вольности дворянства—дело рук, в действительности, елизаветинского министра Воронцова (Петр III к изданному им манифесту не имел в сущности никакого отношения)—был не только логическим завершением дворянского царствования: это было слишком естественное стремление разредить сгустившуюся атмосферу. Работа упраздненной одновременно тайной канцелярии была лучшим барометром—и барометр этот показывал бурю.

Когда Петр III, под влиянием личных симпатий к Фридриху II, поспешил заключить мир, этому, в сущности, все очень обрадовались. „Негодование" же он вызвал не этим, а намерением начать новую войну против Дании из-за Голштинии. Сопоставление фактов не оставляет ни малейшего сомнения, что непосредственный толчок к гвардейскому мятежу 28 июня 1762 г. дало именно это. Когда 3 июня высочайшим повелением были прекращены отпуска и всякие другие „отлучки" людей от полков—знак

близкого похода—по Петербургу толпами ходили гвардейцы, „почти вьявь" ругая Петра III. В это же время вербовка заговорщиков Орловыми начинает итти особенно бойко,— и только с этого времени самый серьезный человек заговора, Панин, серьезно за него принимается. Он понял, что груша созрела... Чем ближе поход, тем настроение острее. 26 июня был заготовлен провиант для гвардии от Петербурга до Риги. В тот же день вечером один капрал Преображенского полка спрашивает поручика Измайлова: „скоро ли свергнут императора?" 27 июня „преображенский солдат, вышед на галлерею, зачал говорить, что когда выйдет полк в Ямскую, в поход в Данию, то мы спросим, зачем и куда нас ведут, оставя нашу возлюбленную матушку государыню, которой мы рады служить". Гвардии переворот помешал выступить, но двинутые ранее армейские полки, не дожидаясь приказаний, повернули к своим квартирам, как только узнали о низвержении Петра [1]). Судьба этого злосчастного государя становится нам понятна только в связи с его не менее, чем он сам, злосчастной внешней политикой.

До тех пор, пока дворянство не почувствовало внешней политики на своих боках, оно не имело поводов в нее вмешиваться. Если мы хотим найти дворянскую реакцию в царствование Елизаветы, мы должны ее искать в политике внутренней. Здесь картина получается совершенно отчетливая: шляхетство, наконец, добилось своего. Елизаветинский сенат, как уже давно заметили исследователи, был центром дворянского режима. „Без преувеличения, правление Елизаветы Петровны можно назвать управлением важнейших сановников, собранных в сенат", говорит Градовский: и „нельзя не согласиться, что сенат неуклонно вел подчиненное ему сословие к свободе, рядом практических мер" [2]). Градовский совершенно справедливо отмечает, что такое значение сената было тесно связано с сосредоточением в столице массы дворян: сенат был орудием социальной политики гвардии, как лейб-компания —орудием ее придворного влияния. Возрождающийся

[1]) *Билльбасов*, II, стр. 2, 3, 6, 15 ссл. 36.

[2]) «Высшая администрация России XVIII стол. и генерал-прокуроры». Сочинения, т. I, стр. 193 и 221.

феодализм нашел свой центр, составленный, как и все феодальные центры, из представителей вассалитета не по избранию, а по положению. В сенат вошло все, что было повиднее среди шляхетства: „звание сенатора сделалось важнейшим отличием и ставится впереди всех других званий сановника. Петр Иванович Шувалов назывался просто сенатором Шуваловым". Особенно характерна для елизаветинского сената его власть над армией. „Обе воинские коллегии были обязаны строгою отчетностью пред сенатом в денежных суммах, находившихся в их распоряжении... По его (сената) распоряжению формируют новые полки. Он заботился об образовании молодежи, приготовляющейся к военной службе... Укомплектование полков и наборы вполне находятся в его распоряжении... Обмундирование и продовольствие армии находилось под его руководством, так что генерал-крига-комиссары, кажется, имеют дело больше с ним, чем с военною коллегиею; точно то же следует заметить и об вооружении армии. Образцы оружия обыкновенно присылались в сенат, который уже распоряжался о сделании оружия по этому образцу для всей армии... Общий бюджет армии составлялся в сенате, который, по представлению воинской коллегии, распределял сумму на военные расходы" [1]). И в этой области классовое значение сената успело сказаться достаточно рельефно. Рекрутчина брала у помещиков много рабочих рук: сенат заботился, говоря словами одной записки Петра Шувалова, о сохранении в рекрутских наборах такой пропорции, чтобы и армия была укомплектована, „число же народа, прежде в то употребляемое, сим способом оставшееся, умножало б народ к земледелию". И если в проведении этой политики сенат, по словам той же записки, обнаруживал некоторую вялость, то он, во всяком случае, чрезвычайно энергично боролся с попытками крепостных самовольно поступать в армию,—попытками, которые петровским законодательством прямо поощрялись. Опираясь на петровские указы, дворовые „порознь и целою толпою" стали подавать Елизавете просьбы о принятии их в военную службу. „За таковое их вымышленное и противное

---

[1]) Ibid., стр. 207—208.

указам (!) дерзновение учинено им на площади с публикою жестокое наказание; которые подавали челобитные не малым собранием, тех били кнутом, и пущие из них заводчики сосланы в Сибирь на казенные заводы в работу вечно; а которые подавали челобитные порознь, тех били плетьми, других батогами и по наказании отданы помещикам" [1]). В то же время для самих дворян служба всячески облегчалась. При Елизавете было отменено драконовское правило Петра, согласно которому недорослей, не явившихся к смотру, отдавали „вечно" в солдаты и матросы. Одновременно с этим при Елизавете окончательно укореняется обычай, не нашедший себе выражения в законодательстве, но который для дворян был полезнее всех писаных законов по этой части: обычай записывать в службу детей. Фактически дети, разумеется, не служили и нередко на руках у няньки уже пробегали первые ступеньки иерархии. Пяти- и семилетние капралы и сержанты к началу их действительной службы бывали уже офицерами, и пожелание шляхетских требований 1730 г., чтобы дворянских детей в нижние чины не отдавать, осуществлялось при помощи такого обходного движения без дальних хлопот и без помощи кадетского корпуса.

Но настоящей сферой дворянской политики сената должны были стать финансы: мы видели, что подушная подать являлась своего рода барометром, по которому сейчас же можно было узнать, от чьего имени действует правительство. При Елизавете этот барометр неизменно показывал для дворянства „очень ясно"—и даже с наклонностью к „великой суши". Именно, донесения иностранных дипломатов от самого начала царствования сохранили нам чрезвычайно любопытный проект—совершенного уничтожения подушных путем замены их увеличением соляного налога, который, будто бы, предполагалось отдать на откуп Демидову. Последний обещался доставлять ежегодно не меньше, чем давала подушная подать. В такой чистой форме проект не осуществился, но стремление к упразднению номинально крестьянского, а на практике дворян-

[1]) Из журналов сената у *Соловьева* (изд. «Обществ. Пользы», кн. V, стр. 158—159.)

ского налога (упомянутый нами иностранный дипломат необычайно точно определяет подушные, как „подать, платимую каждым помещиком со своих крестьян") составляет постоянную тенденцию финансовой политики Елизаветы, притом тенденцию сознательную. Душа этой политики, тот же П. И. Шувалов, писал сенату в 1758 году: „народ есть главная сила государственная, и потому *надобно желать, чтобы народ, положенный в подушный оклад, от сего платежа совсем был свободен*". Это звучало очень красиво—и как нельзя быть больше отвечало интересам помещиков. На практике возможно было, конечно, не достижение идеала, а только более или менее близкое к нему приближение. При вступлении Елизаветы на престол подушный оклад уменьшен на 10 копеек на два следующие года—1742 и 1743, что должно было оставить в карманах помещиков около миллиона рублей (9—10 миллионов золотом). В 1752 году подушный оклад вообще был уменьшен на $3^1/_4$ копейки, а манифестом 15 декабря этого года прощена вся недоимка подушного сбора с 1724 по 1747 год—более двух с половиною миллионов рублей (20—25 золотом). Не совсем грамотно, но очень велеречиво манифест мотивировал эту высочайшую милость тем, что „империя так силою возросла, что лучшего времени своего состояния, какое доныне не было, несравненно превосходит в умножившемся доходе государственном"... Несравненно больше значения, нежели все частные льготы, имела мера принципиальная—назначенная, в самом начале царствования, по представлению сената, новая *ревизия*. Мотивировка ее не оставляет ничего желать по своей социальной выразительности. Сенат просил императрицу учинить ревизию „*для удовольствия всех помещиков* и пресечения доныне происходящих непорядков и в платеже отбывательства и запущения впредь доимок... и на будущее время производить ее через 15 лет, чем все непорядки... пресекутся, *а бедные и неимущие помещики*, кои сами и жены и дети в доимках под караулом содержатся и помирают, *от такого бедствия свободятся*". Даже крупнейшая финансовая реформа царствования—уничтожение в 1753 г. внутренних таможен—рассматривалась проводившими ее с той же точки зрения. Ее инициатор, все тот же Шувалов, начинал с указания на

то, какие обиды терпит от устаревшей таможенной системы *крестьянство*; интересы буржуазии, которые нам кажутся естественно господствующими в подобного рода перевороте, для него стоят на втором плане, и не видно даже, чтобы главный из этих интересов, развитие внутренней торговли, им отчетливо сознавался. Главная выгода, какую извлечет из реформы купечество, по мнению Шувалова, — это то, что оно избавится от таможенных должностей. Зато он много распространяется о тех мытарствах, которые приходится испытывать крестьянину, везущему „на продажу от Троицы в Москву воз дров". Но дрова эти чаще всего были барские—или из вырученных за них денег крестьянин должен был заплатить барский оброк...

Естественно является вопрос—кто же расплачивался за все эти льготы в пользу шляхетства, льготы, которые должны были образовать порядочную брешь в государственном бюджете: одно упразднение внутренних таможен должно было уменьшить доходы казны на миллион почти рублей. Тот же „народ", о котором так заботился Шувалов, но только в иной форме. Упразднение внутренних таможен было покрыто огромным повышением внешних таможенных пошлин—в $2^1/_2$ раза. Правда, что до нормы петровского тарифа 1724 г. и теперь дело далеко не дошло—и что большую часть заграничного привоза все еще составляли если не предметы роскоши, то, во всяком случае, предметы потребления высших классов. Но эти последние жили или крестьянским трудом или крестьянским оброком. Рост этого последнего в елизаветинское царствование достаточно показывает, что положение „народа" не облегчалось с облегчением платежей, падавших так или иначе на помещика. Возьмем один пример: в Загарской волости, Московского уезда, крестьяне платили своему барину в 1740 гг. 300 рублей оброку, в начале 1750—уже 2,300, в 1766—3.900 р.[1]). Но и все другие финансовые эксперименты Шувалова и руководимого им в этой области се-

[1]) *В. И. Семевский*, „Крестьяне в царствование Екатерины II", изд. 2-е, т. I, стр. 57. Детально хозяйственные условия эпохи будут рассмотрены в одной из следующих глав, в связи с экономическим переворотом половины XVIII века.

ната сводились к такому же переложению податного времени с плеч дворянства на плечи других классов—и в первую голову крестьянства. Грандиозный проект отдачи сей соли в России на откуп одному лицу, Демидову, не осуществился, но это не помешало правительству Елизаветы при помощи более мелких мер жить на счет того же соляного налога. Тенденция и здесь была настолько же сознательная, как в деле уменьшения подушной подати. Уже в 1745 г. Шувалов, со ссылками на всевидящее око, отца отечества, матерь отечества и тому подобные возвышенные предметы, начал подходить к вопросу, как бы это открыть в государстве „такой пункт, который бы во время надобности бессумнительно доход государственный умножил"—притом такой, который „умаления себе вовсе иметь не может, но будет единое обращение циркулярное бесконечное". Суть этих витиеватых рассуждений сводилась к тому, чтобы увеличить продажную цену вина и, в особенности, соли: вместо прежних различных по разным местностям цен, от $3^1/_2$ до 50 коп., за соль была назначена однообразная цена—в 35 коп. за пуд, от чего Шувалов ожидал увеличения соляного дохода слишком на миллион рублей. Этот миллион можно было добыть или этим путем, или повышением цены на вино—коренную, так сказать, казенную монополию: иначе пришлось бы увеличить подушную подать, как объясняет Шувалов,—а это, мы знаем, „исключалось условиями задачи". В конце концов, пришлось прибавить и на вино, и на соль. От увеличения цены на соль, по словам кн. Щербатова, для этой эпохи уже современника, уменьшилось потребление соли, и развились болезни. Повышение цен на вино сделало более выгодной тайную продажу его; финансовая политика вынудила Шувалова на полицейские меры, очень выразительно изображенные тем же Щербатовым. „При милосерднейшей государыне учредили род инквизиции, изыскующей корчемство и обагрили российские области кровию пытанных и сеченных кнутом, а пустыни сибирские и рудники наполнили сосланными в ссылку и на каторги, так что считают до 15.000 человек, претерпевших такое наказание". Зато, благодаря увеличению соляного налога, можно было осуществить ту сбавку подушных на $3^1/_4$ копейки в год, о

которой мы говорили выше. А увеличение дохода от винной монополии дало еще более блестящие результаты: от продажи вина удалось съэкономить 750.000 рублей, на которые был основан первый в России *дворянский банк*.

Как видит читатель, в министре финансов Елизаветы Петровны (Петр Шувалов фактически был им) мы имеем родоначальника того направления, которое для нашей дворянской политики стало классическим. Знакомый с новейшими фазами этой политики ищет еще одного: бумажных денег, *ассигнаций*. Бумажек Шувалов не любил, усматривая „от подделывания банковых билетов опасность,—и бумажками вместо денег народу не только дики покажутся, но и совсем кредит повредится, потому что при употреблении банковых билетов в торгах всякие помешательства и обманы могут происходить". Он нашел более безопасным средство более национально-русское: медные рубли. Правда, сравнительно с попыткой времен царя Алексея то, на что пошел Шувалов, было лишь полумерой. Чеканить прямо медные целковики при Елизавете не решились, ограничившись номинальным удвоением цены обычных медных денег,—вместо 8 рублей из пуда стали чеканить монеты на 16. Смысл меры, однако, и теперь был тот же самый. „Все усилия сената были направлены к тому, чтобы удержать серебряную монету в казне, оставив для народного обращения одну медную, которая была отдана в его полное распоряжение,—говорит Градовский.—Серебряную монету приказано было выменивать из обращения по установленной цене, а все, имеющие ее, должны были являться с нею; за утайку было положено наказание. В судебных местах серебряную и золотую монету велено было обменивать на медную для произведения выдачи, „дабы золотая и серебряная монета в казне всегда оставалась, а медная циркуляцию иметь могла". Вообще на все казенные расходы сенат приказывал употреблять медные деньги, „всемерно стараясь удерживать золотую и серебряную монету в казне". Золото и серебро положительно считались казенною принадлежностью; за тайную их сплавку сенат грозил жестокими наказаниями[1]). И результат был приблизительно

[1]) Цит. соч., стр. 195. прим. 1.

тот же, лишь менее грандиозный, чем в середине XVII века „пятикопеешники медные привел ходить в грош,—говорит о Шувалове кн. Щербатов,—и бедные подданные на капитале медных денег, хотя не вдруг, но три пятых капитала своего потеряли". Если прибавить к этому тучу казенных монополий: смоляную, поташную, табачную, рыбную и т. д., то сходство елизаветинской России с дворянской Россией XVII века будет весьма полным. В царствование Екатерины II туземному капитализму приходилось начинать приблизительно с того же, с чего начала петровская Россия [1]).

Буржуазные наслоения первых лет XVIII века были смыты теперь основательно—и старый социальный материк должен был выступить наружу. Если при елизаветинском дворе феодальные черты уже били в глаза, то елизаветинская деревня дает столь ярко-феодальную картину, что аналогичной мы не найдем, пожалуй, и в предшествующем столетии,—правда, не найдем, быть может, только по недостатку данных. Елизаветинский дворянин был таким „государем в своем имении", каким был разве московский боярин до Грозного. Центральная власть, еще недавно, при Петре, довольно энергично вмешивавшаяся во внутренние отношения вотчины, незаметно отходит в сторону. Указ 1719 года, предписывавший отдавать в монастырь „под начал до исправления" тех дворян, которые разоряют крестьян своих вотчин, был, собственно, единственной юридической сдержкой помещичьего произвола на весь

[1]) Само собою разумеется, что монополии елизаветинского времени фактически были в руках разного рода „верховных господ"—ловля рыбы на Белом море была, например, „на откупу" у самого Шувалова. Торговля хлебом тоже была монополией, как и при царе Алексее,—и вот какой документ по ее поводу приводит Градовский. В 1757 г. гр. Воронцов писал Шувалову: „злоключительное мое состояние, которое я от великих долгов имею, вашему п-ству совершенно известно; ежели вы по милости своей не испросите прошению моему от Е. И. В. позволения о выпуске до 00 тыс. четвертей хлеба, мне никогда из горестного состояния выйти не можно; я слышу, что от сената уже некоторым купцам дозволено отсюда хлеба выпустить: не лучше ли бы было, чтобы я сей милостью пожалован был? На сих днях минет срок по векселю заплатить барону Вольфу (мы его знаем: это английский консул) 25 т. рублей"...Дальше Воронцов обещает Шувалову половину барышей...

XVIII век,—но и о ней „предшественники Екатерины II повидимому, совсем забыли“ [1]). Зато с необычайной последовательностью практика этих „предшественников“ проводит точку зрения на крестьянина, как „подданного“ своего барина. Уже один из указов конца петровского. царствования делает вотчину чем-то в роде маленького самостоятельного государства, требуя от ушедшего в город на заработки крестьянина паспорта, выданного помещиком и визированного, так сказать, представителями центральной власти—земским комиссаром и полковником. В случаях недальней отлучки или когда правительство по тем или другим причинам желало облегчить крестьянский отход—так было, например, по отношению к судорабочим—визы правительственных агентов не требовалось, и достаточно было разрешения одного помещика: точно так-как и теперь в пограничных местностях, для облегчения сношений упрощают паспортные формальности. Елизаветинский закон (1760 г.), предоставивший помещикам право налагать на своих крестьян одно из самых тяжких уголовных взысканий—ссылать их в Сибирь,—был одним из дальнейших шагов на пути этого распыления государственной власти между отдельными землевладельцами. Как бы для того, чтобы подчеркнуть суверенный характер помещичьего господства, на решение барина в этом случае не полагалось апелляции: в то же время, чтобы барин не потерпел материального ущерба от результатов своей расправы, сосланный засчитывался ему в рекрута. „Вследствие позволения, данного дворянству, произвольно, по своему усмотрению, отправлять в ссылку ему подвластных при чем суд даже не может спросить о причине ссылки и исследовать дело, ежедневно совершаются самые возмутительные дела,—писал Екатерине II новгородский губернатор Сиверс в 60 годах.—Все, кто не годится в рекруты вследствие малого роста или другого какого недостатка, должны отправляться в ссылку в зачет ближайшего рекрутского набора, а зачетные квитанции многие продают. Признаюсь, не проходит дня, чтобы мое сердце не возмущалось против подобной привилегии. Какая по-

---

[1]) *Семевский*, цит. сочин., стр 379.

теря для войска и для земледелия! К тому же, Сибири достигают сравнительно немногие, если принять во внимание огромное расстояние и убыль ссылаемых на пути. Мне кажется, что дворянство могло бы удовольствоваться правом отправлять в ссылку в зачет рекрут виноватого, изобличенного в довольно тяжелом преступлении. Если же помещик захочет кого-нибудь сослать по собственному усмотрению, то мог бы сделать это без зачета в рекруты". Как видим, екатерининский губернатор был очень скромен— он не притязал на лишение государя-помещика права ссылать своих подданных в Сибирь, а только желал бы, чтобы тот пользовался этим правом без ущерба для дворянского государства в целом. Помещичьи права, юридически, были ограничены лишь в одном пункте: *права* жизни и смерти над своими крестьянами помещик никогда не получил. Попытки, нужно заметить, были в этом направлении: в проекте уложения, составленном при Елизавете, предполагалось подвергать помещика судебному преследованию за убийство крепостного лишь в том случае, если он совершил это убийство лично, притом не случайно, а с заранее обдуманным намерением. Если крепостной умирал от последствий жестокого наказания, назначенного барином, но исполнявшегося другими людьми (крепостным кучером, например), проект возлагал ответственность на этих последних. Это было почти восстановление знаменитого правила Двинской грамоты XIV века: „а господин огрешится, ударит холопа на смерть, в вину ему того не ставить"—только в более лицемерной форме. Проект не стал законом, может быть, просто потому, что в глазах Европы—с нею как раз в это время начинают считаться—было бы уже очень зазорно, а между тем практической надобности в таком самообнажении вовсе не было: на практике помещики запарывали своих крестьян на смерть чуть не ежедневно, и никто з это не вмешивался. Даже когда свирепые наказания не вытекали естественно из уголовной юрисдикции помещика, а являлись просто любительским мучительством, на них смотрели сквозь пальцы: дело об известной „Салтычихе" начиналось двадцать один раз без всякого результата. Когда уже дело рассматривалось в юстиц-коллегии, челобитчики на Сал-

тыкову, ее крепостные, были, по распоряжению сената наказаны плетьми: так строго сенат соблюдал правило, неоднократно подтверждавшееся в течение XVIII века,— что на барина государю бить челом нельзя. За границу помещичьего государства центральная власть могла проникнуть или по собственному почину, или по почину самого помещика; но для подданных этого последнего государство кончалось его барином—итти дальше без позволения барина они не смели.

Нравы маленького государства, меньше подвергавшегося влиянию наносных буржуазных тенденций, чем большая царская вотчина, лучше сохранили до-петровскую старину. Это сказалось, прежде всего, на названиях. Из иностранных терминов сюда проник только *бурмистр*,—а то мы встречаем „земских", „целовальников", „приказную избу", совсем как в Московской Руси XVII века. Еще более духом XVII века веет на нас от помещичьей уголовной юстиции: *помещичьи судебники* (таких, как известно, дошло несколько от XVIII века), особенно более ранние из них, как судебник Румянцева, относящийся к 1751 году, не знают еще наказания розгами, а говорят только о батогах. Розги в то время были если не заморским, то вообще иноземным новшеством, усиленно пропагандировавшимся у нас остзейскими помещиками, считавшими это наказание более, если можно так выразиться, гигиеническим: боль такая же, а для здоровья не так вредно, как палки (батоги). Едва ли где-нибудь в официальной практике можно было встретить в то время „рогатину", применявшуюся на одном уральском заводе: тяжелый железный ошейник, с рогами до одного аршина во все стороны и с железным висячим замком, который бил заключенного в „рогатину" по спине. Пытка в государственной практике начала отмирать в то время: ее применяли теперь только при политическом розыске да при следствии по важнейшим уголовным делам. В одном случае, запрещая употреблять пытку при маловажных преступлениях, елизаветинский сенат высказался даже принципиально против нее. В помещичьем государстве пытка продолжала процветать, и находились особые любители заплечного мастерства,—которые в свое время, вероятно, не ударили бы

лицом в грязь перед самим „князем-кесарем", Ромодановским. Уже в начале царствования Екатерины один орловский помещик, Шеншин, устроил у себя в деревне форменный застенок со всеми приспособлениями — дыбой, клещами и т. д.; притом это было учреждение таких размеров, что далеко не всякая воеводская изба XVII века могла бы похвастаться подобным: у Шеншина „работало" иногда до 30 человек палачей и их помощников. Не хуже Преображенского приказа! Пытали не только крепостных, но и свободных: однодворцев, канцеляристов, даже священников; на пытке одного купца и сорвалось все дело: купец пожаловался, и, так как он был не крепостной, начался процесс. Поводы к помещичьей пытке тоже живо напоминают годуновские времена: священника Шеншин пытал, подозревая в том, что тот давал его дворовым „чародейский корень", чтобы извести барина. Другой помещик пытал своего крестьянина, его жену и сына по подозрению в том, что они его испортили. Любители пытки были, сравнительно, редкостью, но это отнюдь, однако, не были какие-либо изверги, резко уклонявшиеся от нормального типа. Бить крепостного считалось настолько нормальным делом, что этим не гнушались представители тогдашней интеллигенции, притом—что особенно интересно—они сами потом рассказывали о своих подвигах, как о деле вполне обычном. Болотов, автор известных мемуаров и автор книжки „Путеводитель к истинному человеческому счастию", изданной Новиковым, сам рассказывает, как он истязал своего крепостного столяра, подвергая его сечению в несколько приемов—чтобы не засечь до смерти,—а в промежутках держа его на цепи. Он довел этим самого столяра до самоубийства, одного из его сыновей до покушения на самоубийство, а другого до покушения на убийство самого Болотова: но даже этот трагический исход не навел Болотова на мысль, что он совершил нечто ненормальное; напротив, ненормальными людьми, „сущими злодеями, бунтовщиками и извергами" оказались у него замученные им крепостные,—хотя он сам признает, что раньше сыновья столяра были хорошими работниками.

В литературе главное внимание долго было обращено на уголовную юстицию государя-помещика: в этом нельзя

не видеть отзвука старой, еще до-реформенной точки зрения на помещичьи неистовства, как на „злоупотребление" крепостным правом. Так живучи однажды установившиеся взгляды: самое „право" давно осуждено, а историки задним числом все еще хлопочут доказать, что им „злоупотребляли"! Благодаря этой односторонности очень плохо изучено до сих пор законодательство маленького феодального государства вне уголовной сферы. Мы очень хорошо знаем, сколько палок или розог отмеривали помещичьи судебники согрешившим крепостным, как были устроены помещичьи застенки и тюрьмы, но у нас есть лишь очень отрывочные сведения о влиянии помещиков, например, на развитие наследственного права в русской деревне. А такое влияние было. В „приказчичьей инструкции" гр. Шереметева (1764 г.) очень детально устанавливаются правила крестьянского раздела после смерти главы семьи. К сожалению, мы не можем судить, насколько эти правила являются измышлением барина, насколько они просто отражают господствовавшие в его деревнях обычаи. На счет помещика, повидимому, должна быть отнесена одна тенденция—стремление возможно затруднить дробление крестьянских тягол, до объявления „выморочными" участков, которым не отыскивалось наследников ближе правнучат: выморочные земли шли помещику. Как царь XVII века, так и помещик XVIII давали своим крестьянам жалованные грамоты на владение землями. Таков, например, один „указ" того же Шереметева своему крепостному Сеземову: „покупным тобою на мое имя... недвижимым имением (таким-то) тебе *и установленным по тебе наслѣдникам* владеть дозволяю, чего ради для владения и дан сей указ". В купленном Сеземовым „недвижимом имении" были и крепостные: „той вотчины между крестьян *суд и расправу иметь ему*, Сеземову", говорит другой документ, вышедший из шереметевской канцелярии. Шереметевские крестьяне приобретали себе крепостных на барское имя еще в 1718 г.: внутренний строй маленького государства оказывался, таким образом, довольно точной копией большого. Мы сравнивали выше кабинет министров Анны с вотчинной конторой огромного имения: наблюдения над тем, как управлялись вотчины гр. Орлова, навели одного

современного нам писателя на ту же параллель с другого конца. Крепостные приказчики, сидевшие в главной конторе Орлова, были „в миниатюре скорее государственными людьми, нежели агрономами... Они докладывали о деле вместе со своим проектом резолюции, подписанным ими единогласно или с мнениями и представлениями, а граф, по рассмотрении всего дела и мнения конторы, возвращал их в контору со своим утверждением или с измененными приказами". Такие конторщики и взятки брали не хуже современных им министров: после них оставались состояния в десятки тысяч рублей, хотя жалованье они получали грошовое [1]).

3. Теория сословной монархии.

Новый феодализм не мог ограничиться одной социальной областью—у него должен был оказаться и свой политический аспект. Должна была выработаться политическая теория, логически обосновывавшая распыление власти между помещиками. Должны были явиться попытки организовать этих маленьких государей, хотя бы для того, чтобы изо дня в день отстаивать их интересы перед лицом большого государя, который—за это были порукой царствования Петра I и Анны—так же как и в дни верховного тайного совета, мог оказаться орудием социальных сил, дворянству чуждых. Правда, как мы скоро увидим, с каждым десятилетием становилось яснее, что опасность эта назади: экономика, чем дальше, тем больше ручалась за то, что самодержавие впредь будет верно служить интересам помещиков. Но уроки экономики всегда учитываются задним числом. Люди, посадившие на русский престол ангальт-цербстскую принцессу, ставшую Екатериной II, хорошо помнили если не Петра, то Анну. Мы очень ошиблись бы, если бы подумали, что они считали дворцовый переворот будничной вещью, которую можно устраивать каждый день. С другой стороны, не только

---

[1]) См. *В. И. Семевский*, „Крестьяне в царствование Екатерины II", 2-е изд., т. I, стр. 241. Большинство предыдущих цитат заимствовано оттуда же.

лейб-компания, но и елизаветинский сенат были слишком импровизациями, чтобы на них можно было рассчитывать как на постоянное средство. Особенно после того, как закон о вольности дворянства должен был, рано или поздно, разрушить старый организационный центр—дворянскую гвардию. Без этой демократической нижней палаты всероссийского „шляхетства" верхняя палата, сенат, грозила весьма быстро выродиться в довольно точную копию верховного тайного совета. Опасность обнаружилась, можно сказать, на другой же день после переворота 28 июня. Один из его не-военных вождей, Никита Панин, оказался очень не прочь воскресить традиции Дмитрия Голицына. Составленный им проект „императорского совета", непременного и постоянного „сотрудника" императрицы, без участия которого ничто не могло ни до нее дойти, ни от нее выйти, до такой степени напоминал учреждение, упраздненное в 1730 году, что один из критиков проекта выразил довольно резонное недоумение по поводу нового названия. Почему бы не назвать новый совет просто „верховным тайным советом", по старому?—не без яду спрашивал этот критик. Екатерина чувствовала себя так мало еще прочной на престоле, что соглашалась даже и на это, и манифест, превращавший панинский проект в закон, был ею уже подписан. Критика ее ободрила, а, может быть, отчасти и раскрыла ей глаза,—и у нее хватило духу разорвать подписанный ею документ. Но дело было не в нем, а в существовании той социальной группы, которую при Петре называли „верховными господами", и в олигархических тенденциях этой группы. Нужно было не то что уничтожить ее—это было социально невозможно, а политически не важно дворянству: пусть верховники делят пирог между собою, но нужно раз навсегда помешать им ломать по-своему жизнь дворянской массы. Их деспотизму—гораздо больше, чем личному деспотизму Екатерины, которая вовсе не была страшна, как и не может быть страшна отдельная личность классу—нужно было положить тесные пределы. „Система основательных прав" должна была послужить плотиной, сидя за которой, маленький государь мог забывать о существовании большого вплоть до очередного паводка—уплаты подушных

или рекрутского набора. И плотина, конечно, должна была быть настолько прочна, чтобы паводок не мог ее разрушить. О грунтовых водах, которые могли подточить все сооружение снизу, тогда еще мало думали, хотя их напор давал себя чувствовать год от году сильнее. Когда пришлось выбирать между произволом сверху и революцией снизу, выбрать пришлось все же произвол, обеспечив только его классовую, с дворянской точки зрения, доброкачественность. Но пока суровая необходимость выбора еще не была перед глазами, отчего было не помечтать о том, чтобы довести до конца дворянскую вольность, превратив отдельные и казавшиеся случайными завоевания в стройную систему?

Самооборона дворянства от натиска сверху начинается, как и следовало ожидать, одновременно с самым натиском: первую попытку формулировать дворянские привилегии мы находим у одного из прожектеров петровских времен, знакомого нам Феодора Салтыкова. В своих „пропозициях" он предлагает, во-первых, закрепить за дворянством, исключительное право на землевладение: „ежели кто будучи из простых чинов, придут в богатство, и тем не покупать дворянских стяжательств, сиречь вотчин, понеже оное надлежит дворянам". Это была обычная практика XVII века, но при Петре слишком склонны были от нее отступать, и, несмотря на „пропозицию", Петр создал юридически не-дворянское землевладение, разрешив покупать вотчины к фабрикам купцам. Отмена этого разрешения при Петре III (указом 29 марта 1762 г.) была крупным успехом шляхетских интересов: как видим, однако, этого успеха пришлось дожидаться долго. Наплыв в ряды служилого сословия демократических элементов (чего стоили одни прибыльщики, так легко превращавшиеся в губернаторов!) заставлял поставить вторую перегородку: у Салтыкова мы впервые встречаем мысль, ставшую очень популярной впоследствии, что дворянином нужно родиться—или стать в исключительном порядке, в силу особого высочайшего пожалования, но нельзя выслужиться в дворяне в обычном порядке службы. Мысль эта пока выражена у него весьма осторожно: она сводится к требованию от новых дворян специальных жалованных

грамот, к строгому контролю дворянских списков и т. под. Лишь в 1730 году шляхетство, в проекте Татищева, поднимается до более редикальных мер, прямо требуя очищения своих рядов от вкравшихся туда инородных элементов: татищевский проект настаивает на приведении в известность „подлинного шляхетства", отделив от него шляхетство, происходящее от солдат, гусар, однодворцев и подьячих. Но Салтыков прекрасно понимал, что одними юридическими перегородками не многого достигнешь, и что при новых условиях дворянство лишь тогда сохранит командующую позицию, когда оно станет экономически и культурно сильнейшим элементом. Отсюда, во-первых требование заведения училищ с необычайно широкой программой, куда входили и богословие, и поэтика, и артиллерия с фортификацией, и „мусика, пиктура, скульптура и миниатюра", не считая иностранных языков, а равно, „для обороны собственной и для изящества: на лошадях ездить, на шпагах биться, танцевать". Хотя Салтыков и называет свои училища „всенародными", но из контекста совершенно ясно, что предназначались они для дворянских детей,—при том обоего пола: параллельно с мужскими он проектирует устройство и женских школ, с несколько иною, разумеется, программою—фортификации или „на шпагах биться" девиц не предполагалось учить, зато развитие „изящества" должно было быть предметом особого внимания. Экономическую силу дворянства Салтыков рассчитывал обеспечить майоратом, настоящее значение которого, в его английском образчике, он, в противоположность Петру, представлял себе вполне отчетливо. Петр ухватился за форму, но, как мы знаем, влил в эту форму совершенно своеобразное, „истинно-русское" содержание.

Даже и майорат Салтыкову пришлось однако же замаскировывать финансовыми выгодами, которые сулит будто бы это учреждение государству. О политических привилегиях дворянства он прямо не решался говорить,—слишком уж это пошло бы вразрез с господствовавшими при Петре тенденциями. Начавшаяся в последние годы петровского царствования дворянская реакция делала людей смелее—и уже „кондиции" верховников, отражая

в этом пункте желания всей дворянской массы, вводят гарантию личных и имущественных прав дворянина от произвола сверху: „у шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать". Слабая политическая сознательность шляхетства и отсутствие всякой организации у него позволили „курляндцам" разорвать вместе с остальными кондициями и этот пункт без всякого сопротивления с чьей бы то ни было стороны. Но идея продолжала жить и вспыхивала при каждом удобном случае. Ее отзвуки слышатся в деле Волынского. „Вот как польские сенаторы живут,—говорил он в ряду других своих вольных речей,—ни на что не смотрят, все им даром! Польскому шляхтичу не смеет и сам король ничего сделать, а у нас всего бойся". И он, как Салтыков, исходил от конкретных порядков той или другой знакомой страны: Салтыков—Англии, Волынский—Польши. Когда в 60 годах вопрос был снова поставлен на очередь, налицо, к услугам дворянских идеологов, была уже стройная теория, обобщавшая все порядки всех дворянских стран: в 1748 году вышел „Дух Законов" Монтескье.

Проводником влияния Монтескье на дворянскую идеологию в широкой публике принято считать „Наказ", данный Екатериной II известной „комиссии" 1767 года. Едва ли с каким-нибудь фактом из нашей истории XVIII века связано больше предрассудков, нежели с этой комиссией и ролью в ней Екатерины. Во-первых, самый созыв ее представляется началом какой-то новой эры: приступая к чтению подлинных документов, вы больше всего будете поражены тем, что это необыкновенное событие никакой сенсации среди современников не произвело. И это просто потому, что ничего принципиально нового в затеянном Екатериною предприятии для этих современников не было. Недостатки Уложения царя Алексея отчетливо сознавались еще при Петре, и над „сочинением" нового уложения работали комиссии уже с 1728—1729 годов, при чем члены этих комиссий выбирались, „согласясь губернатором обще с дворяны". Эти полувыборные комиссии корнями непосредственно восходили к земским соборам XVII века—и шляхетство относилось к ним с таким же равнодушием, как в свое время к этим последним.

Комиссия 1767 года отметила собою не какой-либо новый шаг правительственной политики, а огромное повышение сознательности в дворянской массе: дворянам теперь было что сказать, и они заговорили так дружно, так обстоятельно и определенно, что правительство Екатерины II несколько даже этого испугалось. Наша литература, в оценке результатов комиссии, довольно прочно усвоила себе мнение, высказанное биографом ее „маршала" (председателя) А. И. Бибикова: „должно признаться чистосердечно, предприятие сие было рановременно и умы большей части депутатов не были еще к сему приготовлены и весьма далеки от той степени просвещения и знания, которая требовалась к столь важному их делу". Но это было мнение правительственных кругов, фактическим агентом которых в комиссии был Бибиков. И его биограф тут же, сряду, проговаривается о другой причине роспуска комиссии: „*некоторые* же из них (депутатов), увлеченные вольнодумием, *ухищрялись уже предписывать законы верховной власти*". Это объяснение гораздо ближе к делу. Сравнивая наказы, какими снабдили дворянские общества своих уполномоченных, со знаменитым „Наказом" императрицы, читатель задним числом переживает чувства, вероятно, испытанные самим автором этого последнего наказа: чувство стыда за человека, который выступил, чтобы учить других, и которому эти другие показали, что они лучше его знают дело. „Ограбившая президента Монтескье", Екатерина кокетливо называла свою книжку „ученическим произведением": она и не подозревала, сколько жестокой правды в таком отзыве. Удивительнее всего, что такие историки, как Соловьев, могли целыми страницами цитировать „наказ", как произведение самой императрицы, написанное лишь „под влиянием" Монтескье и Беккариа. Это совершенно то же самое, что сказать, что составленный студентом к экзамену конспект профессорского курса есть произведение, написанное „под влиянием" данного профессора. Возьмите, для примера, главу XI, трактующую о самом животрепещущем вопросе эпохи—о положении крепостных. Она была предметом особого внимания императрицы и дошла до нас в двух редакциях: более полной, исправленной рукою Екатерины и оставшейся в

рукописи, и сокращенной, которая была напечатана. Соловьеву это дает повод показать на примере, как либеральные мечты императрицы блекли в удушающей атмосфере ее крепостнического двора. Вот что она хотела—и вот что позволили ей не сделать, а только сказать! В крепостничестве приближенных Екатерины едва ли можно сомневаться: но, цензуруя XI главу наказа, они руководились едва ли своими крепостническими вожделениями, а, вернее всего, просто элементарными требованиями литературного вкуса. В краткой редакции остались и характеристика рабства, как неизбежного зла, и обидное для помещиков напоминание о знакомом нам указе Петра I, и весьма скользкая по тогдашним временам фраза о „собственном рабов имуществе". Вычеркнуты же были бесчисленные примеры германские, македонские, афинские, римские, ломбардские, из „законов Платоновых" и иные, выписанные великой императрицей из XV книги „Духа Законов" с прилежанием гимназистки, конспектирующей первую серьезную книжку, которая попала ей в руки. Насколько конспектирующая вникла в смысл конспектируемого покажут два образчика. Говоря о законе Моисеевом, фактически позволявшем убивать раба, только не сразу, Монтескье восклицает: „что за народ, у которого гражданский закон должен был быть в противоречии с законом естественным!" (Quel peuple que celui où il fallait que la loi civile se relâchat de la loi naturelle!). Екатерине понравилась фраза. Но как же выразиться непочтительно о „законе Моисеевом": ведь это священное писание, ни более, ни менее... Она сейчас же нашлась: слова Монтескье о евреях она применила к... римлянам. Правда, римлян автор „Духа Заканов" ни в чем подобном не обвиняет, и еврейский хвост, приделанный к римской голове, производит впечатление большой неожиданности: но зато уцелел звонкий конец периода,—а православному духовенству не на что пожаловаться. Другой пример еще лучше. Говоря о вредном влиянии вольноотпущенников в древнем Риме, Монтескье делает из этого вывод, что не следует сразу, одним общим законом, освобождать большое количество рабов. Пример, который он приводит, говорящий о влиянии вольноотпущенников в народном собрании,

обращение к „хорошей республике“ (bonne république)—весь контекст, словом, не оставляет ни малейшего сомнения, что это место „Духа Законов“ имеет в виду демократическую республику, подобную античным. Можно себе представить, какие большие глаза сделал бы „ограбленный“ Екатериною „президент“, если бы он имел возможность прочесть § 277 „Большого Наказа“: „Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великого числа освобожденных“. Эта фраза стоит в обеих редакциях (в окончательной она составляет § 260): окружавшие Екатерину помещики, вероятно, хорошо видели, что фраза ни к селу, ни к городу—но она так приятно звучала для помещичьего слуха...

Среди 28 §§, составляющих первоначальный текст этой главы, только два, оба заключающие в себе конкретные примеры—один знакомую нам ссылку на указ Петра, другой, изображающий судебные порядки Финляндии,—не представляют собою перевода или пересказа соответствующих мест „Духа Законов“. Критикуя императрицу, ее крепостники-придворные критиковали, в сущности, „президента Монтескье“: немудрено, что он местами показался им чересчур либеральным. Зато в нем должны были найтись места, весьма приятные для дворянского самолюбия—но не очень удобные для самого „автора“ Наказа. Автор „Духа Законов“, как известно, очень считался с требованиями современной ему французской цензуры: он отнюдь не хотел принадлежать к тем памфлетистам, которые гнили в гюрьмах „возлюбленного“ короля Людовика XV. Для этого бывший президент Бордосского парламента был слишком большим барином. Ради цензуры, как это доказано новейшими исследованиями, он не стеснялся даже вставлять в свои писания отдельные благонамеренные фразы, явно противоречившие общему строю его мыслей [1]). Ради той же цели он, сторонник аристократической конституции тогдашнего английского типа, за образец благоустроенной монархии взял не Англию, а Францию,—но, путем идеализации старых феодальных обычаев, вымерших еще до

[1]) Об этих так называемых cartons Монтескье см. *Vian*, «Histoire de Montesquieu, p. 259 et suiv.

Людовика XIV, настолько приблизил ее к любимому своему типу, что эту искусственную Францию и Англию оказалось возможным поставить за одну скобку. Францию же натуральную и неприкрашенную, классическую Францию „старого порядка", он изобразил под видом „деспотии", перенеся место действия на далекий восток. Французская публика XVIII века не хуже умела читать между строк, чем русские читатели Щедрина сорок лет назад. Приемы Монтескье на его родине никого не ввели в заблуждение, но коронованную составительницу конспекта к „Духу Законов" они подвергли жестокому испытанию. Ей очень нравилась эта книга, которую она, как трогательно сама признавалась в известном письме к д'Аламберу, „переписывала и старалась понять". Но она не меньше любила и самодержавие,—а Монтескье говорит о нем так дурно и так неблагозвучно его называет! Но Екатерина и, тут, в конце концов нашлась. Монтескье говорит, что в большой стране *неизбежно* должен быть деспотический режим: а Россия очень большая страна,—значит, деспотизм в ней извиним. Против географии не пойдешь. И, в назидание русским медведям, вслед за элементарными географическими сведениями о размерах российской империи выписываются соответствующие места из „Духа Законов". Но автор рисует деспотию очень черными красками—в ней господствует страх, у подданных нет чувства чести и тому подобное. На это Екатерина никак не была согласна: в ее деспотии ничего подобного не будет. Установив с географической непреложностью, что в России никакой образ правления невозможен, кроме самодержавного, Наказ, характеризуя российское самодержавие в деталях, без всякого зазрения совести „грабит" те главы Монтескье, которые трактуют о монархии, т.-е. о монархии ограниченной, конституционной. Как тут не вспомнить милую русскую интеллигентку 1905 года, пытавшуюся составить „свою" программу, выбрав „лучшее" из программ всех партий, ожесточенно боровшихся между собой?

Так, чисто-литературным путем, в Наказе очутились две главы, III и IV, несомненно, стоявшие в противоречии с „существующим в российской империи образом правления". Первая из них освящала политические претензии дворян-

ства, как *непременного* участника в управлении. В монархической схеме Монтескье дворянство есть „посредствующая власть", pouvoir intérmédiaire, настолько необходимая, что без нее нет и монархии, как ее понимает „Дух Законов": „без дворянства нет монарха, а есть деспот". Екатерина воздержалась от цитирования этой последней опасной фразы, но послушно скопировала все остальное, что говорил ее профессор о „властях средних". Она сохранила буквально даже форму слов Монтескье, говоря от первого лица все, что он говорит от себя. Так как от читателя „Наказа" этот плагиат был скрыт, то раболепная типография, набирая „я", „меня" крупным шрифтом, как подобает лицу государыни, не подозревала, что она возвеличивает этим какого-то не совсем благонадежного французского литератора. Но тут оказалась пикантность двойная: и сама Екатерина, копируя пассаж о „средних властях", не подозревала, что в него вставлен один из cartons, имевших целью надуть французскую цензуру и несколько замаскировать резко конституционный характер всего этого рассуждения. Но carton был рассчитан на то, что понятливый читатель сумеет его вынуть и добраться до истинного смысла. Переводя это место буквально, Екатерина невольно посвящала русского читателя в такие секреты, которые считались официально запретными даже для читателя французского. Недаром Никита Панин, принадлежавший, вероятно, к понятливым читателям Монтескье, говорил по поводу Наказа об „аксиомах, способных опрокинуть стены". По существу, он был, вероятно, очень доволен этими стенобитными „аксиомами", а в особенности его должна была удовлетворить глава IV. Идеализируя старую Францию, Монтескье находит одну из сдержек монархического произвола в старом французском парламенте, регистрировавшем новые законы,—при чем он мог отказаться, в теории, от регистрации закона произвольного, нарушающего старинные „привилегии" подданных короля,—и делавшем „представление" монарху в случае, если его распоряжения противоречили законам старым. Как „власти средние" были пережитком средневекового вассалитета, физически необходимого сюзерену, а потому и юридически делившего с ним власть, так парламент старого порядка был рудимен-

том собрания крупнейших из этих вассалов, королевской *курии*, строго охранявшей неприкосновенность феодального контракта. В XVIII веке ни то, ни другое не имело реального смысла, что Монтескье, конечно, прекрасно понимал, но перед ним стояла задача—найти *легальные* формы для обуздания королевского произвола; старый французский парламент помогал замаскировать настоящую сдержку, какою был бы парламент английский. В русской истории курии соответствовала боярская дума, но дворянская революция XVI—XVII веков настолько потрясла ее, что буржуазному режиму Петра удалось снести старое учреждение без остатка. Дворянской реакции елизаветинского времени пришлось творить сызнова: роль совета крупных вассалов стал играть сенат. Сенат и явился в Наказе тем „хранилищем законов", которому в схеме Монтескье соответствовал старый парламент. „В России сенат есть хранилище законов" (§ 26), „Сии правительства (сенат и „власти средние"), принимая законы от государя, рассматривают оные прилежно и *имеют право представлять, когда в них сыщут, что они противны Уложению*" (§ 24). „*Сии наставления* возбранят народу презирать указы государевы, не опасаяся за то никакого наказания, но купно и *охранят его от желаний самопроизвольных и от непреклонных прихотей*" (§ 29).

В стене самодержавия была проделана настолько крупная брешь, что позднейшее, при Павле Петровиче, превращение Наказа в „запрещенную книгу" более, чем понятно. Но если мы присмотримся к непосредственному влиянию литературных упражнений императрицы на дворянскую массу, мы увидим, что впечатление от изданной по высочайшему повелению конституционной брошюры было довольно слабое. Дворянство тоже читало Монтескье—и, кажется, задача „понять" его далась дворянству лучше, нежели его государыне. Мы увидим несколько ниже, что на той же основе крупнейший дворянский идеолог эпохи, князь Щербатов, сумел развить политическую теорию такой смелости и широты, что дальше этого шагнули только декабристы, оказавшиеся, благодаря этому дальнейшему шагу, уже на чисто-революционной почве. Но декабристы имели перед собою новую „стену", в которой заново при-

ходилось пробивать брешь. Перед екатерининскими же дворянами, в сущности, и стены-то никакой не было: фактически захват власти шляхетством уже совершился при Елизавете—оставалось найти юридические формулы и административные рамки для того, что было уже фактом. Меньше всего приходилось ломать в центре: при распылении власти влияние центра на местные дела сказывалось довольно слабо, а поскольку такое влияние все-таки было, елизаветинским сенатом дворяне были довольны. Эта инстанция казалась им как бы само собою разумеющеюся—естественной вершиной дворянского „корпуса". „Всеподданнейше просим,—говорили боровские дворяне в наказе своему депутату,—чтобы по сочинении, при помощи божией, Нового Уложения дозволено было дворянам, через всякие два года, в городе или где заблагорассудят, но в своем уезде, съезд иметь и на оном рассуждать и рассматривать, *все ли в уезде в силу законов исполняется* и не бывает ли кому от судебных мест, от квартирующих и проходящих полков и команд, или от кого бы то ни было какого утеснения, и ежели усмотрят, что происходить будет к ущербу казенному или к неисполнению законов или к утеснению дворян и крестьянства, в таком случае всемилостивейше дозволить помянутому собранию прямо от себя, выбрав депутата, чрез оного с верным и ясным доказательством, *представить в правительствующий сенат*".

Гораздо больше интересовало и гораздо хуже, с дворянской точки зрения, было организовано местное управление, с которым крепостная вотчина ведалась непосредственно. В нашей учебной, а отчасти и ученой, литературе не вполне определенно, но довольно упорно подразумевалось, что дворянское самоуправление XVII века [1]), замаскированное новой, иноземной терминологией, благополучно дожило до екатерининских времен—так что как будто, дворяне 1767 г., требуя этого самоуправления, ломились в открытую дверь. Правда, *губные старосты* были уничтожены Петром, но вместо них явились выборные дворянские *ландраты*, а позже *комиссары*, с очень сходными функциями, только имена были другие. Новейшие исследования пока-

---

[1]) См. о нем „Русская история", т. II, стр. 109 и сл.

зали, что на самом деле буржуазный шквал, пронесшийся над Россией в начале XVIII века, потряс основания дворянской организации гораздо серьезнее. Старые ученые основывали свое мнение на *букве* петровского законодательства: но, чрезвычайно характерно, здесь буква оказалась гораздо консервативнее содержания. Петровский указ 20 января 1714 г., предписывавший „*ландраторов выбирать* в каждом городе или провинции *всеми дворяны* за их руками", на деле, как убедительно доказал проф. Богословский, никогда не исполнялся. Ландратов *назначали*,—и притом не всегда из среды местного дворянства,—de jure сенат, а de facto местный губернатор; и здесь, таким образом, то, что потеряло дворянское общество, перешло к „верховным господам". Вполне в согласии с этим и обслуживал ландрат не интересы местного населения, а нужды центра: главной его функцией была финансовая, и сменил он не губного старосту, а воеводу [1]). В еще большей степени финансовым агентом центральной власти был *земский комиссар* 1719—1724 годов, назначавшийся камер-коллегией. Но, в отличие от ландрата, эта последняя должность пережила весьма любопытную эволюцию: земский комиссар после введения подушной подати [2]) действительно стал выборным, притом едва ли не по инициативе дворянства. Только-что названный нами исследователь опубликовал одно челобитье новгородских дворян 1719, как он думает, года, намечающее целый план сбора подушных при участии местных помещиков. Во главе этого дела в уезде, по дворянскому проекту, должен был стать обер-комиссар, а под ним „земляные комиссары" из местных дворян, по их выбору, и перед ними ответственные. О выборном комиссаре, впрочем, глухо упоминали и более ранние указы Петра—1718 года, но тогда это опять был глас вопиющего в пустыне; а в 1723 году переписчики уже „понуждают" дворян к выборам. Одновременно с этим земский комиссар становится полицейским органом в самом широком смысле этого слова: он должен смотреть и за тем, чтобы

---

[1]) *М. Богословский.* „Исследования по истории местного управления при Петре В.". „Журн. Мин. Просв." 1903 г., № 9.

[2]) Фактически она начинала собираться в 1724 году.

крестьяне снимали хлеб косою, а не серпом, и за тем чтобы служивые люди брили бороды, и чтобы никто не уклонялся от исповеди и причастия. Правда, все это больше на бумаге—на деле главной заботой и выборного комиссара, как раньше назначенного, был сбор податей; а тут он, при петровской системе, совершенно стушевывался перед полковым начальством, в руках которого был сбор подушных. Он и жил, обыкновенно, при полковом дворе, и был, в сущности, делегатом *местных* помещиков при комиссаре полковом. Но не нужно забывать, что и этот последний был тоже своего рода выборным дворянским агентом: он выбирался только не местными дворянами, а полковым офицерством [1]).

Таким образом, вместо непрерывной линии, ведущей в московскую Русь, в качестве антецедента екатерининских „реформ" приходится отмечать первые поступательные шаги дворянской реакции в последние годы Петра I. И не случайно, быть может, екатерининские дворяне сохранили в своих проектах петровскую номенклатуру. „На том же собрании,—продолжает цитированный нами выше боровский наказ,—дозволить дворянам между собою выбрать *ландрата* и от всякого стана, которые *дистриктами* переименовать, дистриктного *комиссара*..." Память о том, что не удалось, но чего уже желали при Петре, была крепка еще в 1767 году. Но большинство не хотело останавливаться на исторических реминисценциях и шло дальше. Почему только низшие ступеньки областной администрации должны замещаться дворянскими уполномоченными? „От прежде бывших времен и доныне из правительствующего сената в города определяются воеводы, — писали козельские дворяне,—а к их должности принадлежащих качеств правительствующему сенату, за множественным числом оных, определяемых в воеводы, знать невозможно, но не благоволено ли будет *отдать выбор воеводы дворянству того города*, чтобы они выбирали из своих сотоварищей..." Коломенские дворяне были смелее и откровеннее. „К исполнению правосудия по законам и *для искоре-*

---

[1]) См. того же автора: „Областная реформа Петра В." М. 1902, особ. стр. 404—443.

нения лихоимства потребны добросовестные и помнящие свою присягу, беспристрастные городские правители, кои бы собою своим подкомандующим примером были,—говорил их наказ.—К достижению же таковых кажется ближайший способ: 1) *повелено б было в городах воевод и товарищей воеводских из дворян того уезда выбирать дворянству...* 2) воеводам быть по два года, а по прошествии оных сменять другими из того же уезда по дворянскому выбору" [1]). Тульские дворяне находили, что новый правитель и звания прежнего сохранить не должен: „И того градоначальника и его товарища,—писали они,—не бесполезно будет от ее императорского величества высочайшей власти *назвать не воеводой*, а нижние чины не подъячими, дабы чрез то не только удержать всякого градоначальника в своей не зазорной поступи, но и память многих бывших в сем звании нарушителей благоденствия загладить". Но передав в руки местных помещиков уездную администрацию до самой ее верхушки, почему не передать в их руки и местный суд? Скромнее других в этом отношении были костромские дворяне. Судиславское [2]) дворянство выражалось так: „весьма бы для дворянства способно и полезно было, если бы ее императорское величество, милосердная мать отечества, соизволила повелеть для дворянства учредить словесный суд и по оному определить того уезда из дворян, выбрав обществом, судью, и к нему, по таковому же выбору, определить же из дворян четыре персоны помощников... А суд дозволить им производить в нижеследующих делах, а именно: в ссорах, драках, в потраве хлеба и лугов, в порубке лесов, в перепашке земель и в других случающихся просьбах (*окроме криминальных и разыскных дел*), для того, дабы дворяне, не имея себе убытка и приказной волокиты, могли получить себе вскоре и малое удовольствие, сочтя за большое; ибо из дворян многое число таких, которые приказных порядков не знают, а другие и грамоте вовсе не умеют" [3]). Здесь, как видим, дворян-

---

[1]) Сб. Русск. Истор. Общ., т. IV, стр. 266 и 329; ср. 484, т. VIII, стр. 484, 517, 522.

[2]) Судислав, тоже уездн. город, в нынешней Костромской губ.

[3]) По словам биографа А. И. Бибикова, треть костромских дворян не знали грамоты.

скому судье отводилась компетенция позднейшего мирового или земского начальника: уголовные дела („криминальные и разыскные") должен был ведать кто-то другой. Калужское и медынское дворянство, напротив, главную цель своего суда видело в том, чтобы *„разбои, кражи*, наглости и всякие непорядки предварительно отвращены и сокращены были". Совершенно естественно, что калужане не довольствовались переходом в дворянские руки одних низших судебных инстанций. „Чтобы на учрежденный дворянский суд апелляцию просить от каждого уездного города прямо в *губернских городах в учрежденном же дворянском суде*, также избранием общим дворянским", ходатайствовали они. В этом губернском суде центральная власть была бы представлена одним губернатором, который в нем должен был председательствовать, „яко поверенная особа от высочайшей власти ее императорского величества", апелляционной же инстанцией для губернского суда был бы только сенат или юстиц-коллегия. Перемышльские и воротынские дворяне (нынешней Калужской же губернии) желали, чтобы и местная прокуратура была выборная: на местах получался, таким образом, сомкнутый фронт дворянских учреждений, противостоявших непосредственно центральной власти, тоже дворянской—но в состав которой местные помещики не желали мешаться. Картина „средних властей, поставленных между государем и народом", была столь полная, что более полной не представил бы себе и Монтескье. И в то же время картина была глубоко национальной. Ни в каком литературном позаимствовании никому не пришло бы в голову упрекнуть хотя бы суздальское „благородное дворянство" как оно само себя именовало, жаловавшееся на отмену пыток и смертной казни, отчего „некоторые, не видя самим смертоубийцам достойного, по делам их, истязания, *чинят* не токмо посторонним, *но люди и крестьяне своим помещикам и помещицам смертные убийства* и мучительные при том наругания", и требовавшие „таковым злодеям *приумножить истязания*". Или галичских дворян, желавших, без дальних рассуждений, просто восстановления губного сыска, как он практиковался при Грозном. „По смертоубийственным, такоже татиным и

разбойным делам, на что свидетельства нет,—писали галичане,—и по тому производятся суды, не повелено ль будет оное отставить, а учиня, *на кого в оных делах будет челобитье, сделать повальный обыск*, и ежели тот в повальном обыске одобрен не будет... таковых пытать, а не судом производить" [1]).

Мы напрасно стали бы объяснять подобного рода вожделения невежеством захолустного дворянства: те же самые галицкие дворяне очень обстоятельно развивают в своем наказе мысль о необходимости дворянских училищ в провинциальных городах. Губной сыск, конечно, был бы направлен не против дворянства: первая из сейчас приведенных двух цитат ясно показывает, к какому классу общества принадлежали „злодеи", которым нужно было „умножить истязания". Кнут и плети предназначались для людей „подлого состояния", которым и по мнению тогдашней интеллигенции естественно было быть битыми, как мы видели на примере Болотова. Иное дело люди благородные. „Мы, быв обнадежены беспримерного милосердия опытами нашей всемилостивейшей государыни, яко то избавлением от смертной казни и впавших в важные преступления ее подданых,—писали калужане и медынцы,—препоручаем вам, почтенному господину депутату, в учрежденной комиссии представить, чтобы *все дворянство, яко род из подданных ее императорского величества удостоившийся особливой высочайшей милости*, благоволения и доверенности, как в важных государственных делах, так во всяком состоянии, *везде и всегда, избавлен был бы всякого телесного и бесчестного наказания и пыток, а потому смертной казни*" [2]). Капорское дворянство, представителем которого в комиссии был Григорий Орлов, шло еще дальше и подбиралось к „действительной неприкосновенности личности", исключительно дворянской, конечно. „Сделано бы было положение... дабы *дворянин*, действительно владеющий своим имением, без предводителя и других ему в помощь назначенных, *никогда и ни по какому делу арестован не*

---

[1]) Сб. Р. Ист. Общ., IV, стр. 247. 281 сл., 289, 292, 436; VIII, стр. 533, XIV, стр. 493.

[2]) Ibid., IV, стр. 288, ср. стр. 462—463

был, в деревнях своих находящийся". И все дворянские пожелания прямо и просто резюмирует кашинский наказ (нынешней Тверской губернии): „живущий дворянин в уезде не зависим бы был ни от кого, кроме того уезда дворян, и чтобы воеводская канцелярия и ниже другие какие правительства не могли дворянина собою к суду призвать, или к должности определить, или по какому делу взять". Дворянство должно было стать сословием *политически привилегированным*.

Наиболее полное и обстоятельное изложение дворянских требований содержал в себе, как известно, *ярославский* наказ—в большей своей части произведение лучшего публициста эпохи, кн. М. М. Щербатова. Его публицистическая деятельность и выразилась, главным образом, в этом наказе, да в „голосах", которые он по разным случаям подавал в комиссии: более обширные публицистические работы его (вроде знаменитого рассуждения „О повреждении нравов в России") увидели свет лишь много лет после его смерти. По ярославскому наказу можно видеть, как представляли себе положение своего сословия наиболее сознательные его члены. О необходимости экономического базиса для дворянских привилегий подумывали уже довольно давно, как мы видели; но Федору Салтыкову, вероятно, и во сне не приснилась бы смелая картина, нарисованная Щербатовым. Ярославский депутат (Щербатов как раз и был им,—так что это был, в сущности, наказ самому себе) должен был прежде всего другого, разумеется, стараться „дабы право иметь деревни и земли одним дворянам российским оставлено было, яко более всех рождением своим и воспитанием пристойным владеть другими подданными ее императорского величества". Отсюда следовало, что он должен был бороться против права земельной собственности для купцов. Правда, закон Петра I, позволявший купцам покупать имения к фабрикам, был отменен Петром III; но это касалось лишь будущего,—уже купленные или пожалованные вотчины оставались за фабрикантами. „Того ради, не соблаговолено ли будет, по рассмотрении, в противность законам (!) купленные ими деревни у них взять с нужными распорядками, дабы их по милосердию в убытке не оставить", просили ярославцы.

Работа на купеческих фабриках после этого должна была вестись вольнонаемными рабочими, что, в массе случаев, должно было сделать дальнейшее существование фабрики невозможным. Но ярославские дворяне не имели оснований особенно об этом заботиться: они ничего не возразили бы против того, чтобы взять почти всю обрабатывающую промышленность и добрую половину торговли на себя. Относящееся сюда мнение ярославского наказа настолько любопытно, что стоит его привести целиком. „Колико дворянство не утруждено службою своею государю,—писал Щербатов,—однако не меньше имеет старания и о домостроительстве, помышляя, что домостроительство партикулярных людей делает их изобилие, а обилие партикулярных сочиняет обилие государства. И как оно из древних времен имеет право пользоваться винною скидкою для поставки государю, которое право и ныне еще им (дворянам) вновь милосердием нашей всемилостивейшей государыни подтверждено; а как мнится нам, что сие право, особливо дворянству, не от чего иного начало свое имеет, как от того, что вино из продуктов земли, которой единые дворяне владетели, сидится, то по тому же резону мнится, что и фабрики, сочиняющие изо льну и из пеньки, и из прочих земляных и экономических произращений, равным же образом дворянам должны принадлежать. А понеже уже многие купцы, за неразличением сего права (!!), вступили в сии фабрики и уже великие капиталы положили, то оные у них оставить им и потомству их, с некоторым небольшим и им нечувствительным платежом корпусу дворянства в число платежа подушных денег за крестьян, а впредь такие фабрики оставить так, как вино, единым дворянам“ [1]). Итак—земля дворянская и все, что в земле, тоже дворянское; рассуждая по этой логике, нетрудно было бы доказать, что и всю металлургическую промышленность нужно также предоставить „дворянскому корпусу“: металлы ведь извлекаются из земли, стало быть, они, как и земля, должны принадлежать „единым дворянам“. И, как полагается публицисту XVIII в., это дворянское право Щербатов рассматривает как право

---

[1]) См. Сочинения кн. *М. М. Щербатова*, т. I, стр. 17.

естественное: оно только „не различалось“ до сих пор, а существовало испокон, как и право дворян курить водку. Но это еще не все: „право торговли вне государства“ тоже должно стать неотъемлемым дворянским правом; как купцы будут вести заграничную торговлю, когда они не знают ни арифметики, ни иностранных языков? А что оптовую торговлю хлебом нужно оставить дворянам, это совершенно ясно: ведь хлеб из земли, а крестьяне, у которых покупают хлеб купцы—дворянские крепостные; выторговывая у них на хлебе, купечество, в сущности, залезает в дворянский карман. Но всего лучше заключительный пассаж всего этого отдела: после длинного рассуждения о том, как вредны кабаки в деревне, вы ждете что Щербатов закончит решительным требованием—уничтожить это пагубное учреждение. Не тут-то было. „И так, не соблаговолено ли будет, по исчислению, сколько на те в господских деревнях построенные питейные дома выходит вина, пива и меду, *отдать тем самым господам на откуп*...“ Даже пьянство станет безвредно, когда откупа—почти крупнейшее капиталистическое предприятие того времени—станут дворянской привилегией!

Ярославский наказ представляет собою один из характернейших памятников того экономического сдвига, какой испытало крепостное хозяйство во второй половине XVIII века. Позднее мы подробнее займемся этой весной помещичьего предпринимательства [1]). Пока для нас важны те политические выводы, которые делал Щербатов из доминирующего положения „дворянского корпуса“ в центре народного хозяйства. В самый наказ, по самому характеру этого официального документа, эти выводы вошли в минимальном объеме. Экономически привилегированное дворянство и во всех других отношениях должно быть „отличено от простых людей“: дабы дворянин не лишился „знатных мыслей“, он должен был быть избавлен от телесного наказания, как в дисциплинарном порядке, в военной службе, так и по приговорам уголовного суда; не совсем ясно Щербатов требует на последнем *защиты* (только для дворян, разумеется) и права отвода

---

[1]) См. следующую главу „Русской истории“.

судей. Предварительное заключение для дворян если и допускается, то в самых мягких формах: „чтобы каждый (дворянин), в каком бы преступлении ни явился, ожесточительным образом прежде изобличения его содержан не был“ [1]). А так как привилегии лишь тогда ценны, когда они доступны не всякому, то, повторяя в более расширенной форме татищевские требования 1730 г., ярославские дворяне ходатайствовали „не соблаговолено ли будет право достигшим в офицерские чины дворянского как имени, так и прочих дворянских прав, отменить (которое по нужде прежних обстоятельств было дано), *какой бы чин ни имели*, дабы достоинство дворянское, которое—яко и блаженной и вечной славы достойной памяти Петр Великий в табели о рангах изъясняется—единственно жаловать государю надлежит, не было уподлено чрез какие другие происками учиненные происхождения“. Нужно сказать, что после указа 18 февраля 1762 года требование это было более логично, нежели при Анне Ивановне: раз служба не являлась более отличительным признаком дворянина, не было основания делать дворянами всех, кто служил. В одном из своих „предложений“ (поданном в комиссию 12 сентября 1767 г.) Щербатов подробно развил эту мысль, что дворянином нужно родиться, а нельзя сделаться—разве уже в виде редчайшего исключения,—призывая на помощь и „Наказ“ самой Екатерины, и „славного римского писателя Варрона“, и барона Пуфендорфа И сохранение дворянства по службе в жалованной грамоте 1785 года вызвало у Щербатова ряд саркастических замечаний, показывающих, как горько было ему видеть крушение его надежды. Говоря о праве на потомственное дворянство тех, кто получил орден Георгия или Владимира, он припоминает такие анекдоты: „я слышал, не помню как, что одному был прислан орден георгиевский с прописанием его знатного дела, но он с трудом его принял, говоря, что он тогда и в армии не находился, а другой получил, сказывают, орден за потеряние пушек в

---

[1]) Ibid., стр. 20. Наказ говорит в данном пункте о „подданных“ вообще, но из контекста ясно, к какому именно разряду подданных все относится.

Польше. Владимирский орден не лучше же, кажется, раздаваем. Третьяковский украл деньги у своего благодетеля, и когда дело было гласно, орден Владимирской получил; найду я и других воров, о которых сами начальники доносят, а однако ордены получают; и потому можно ли дворянину *не жалованному, но рожденному*, без прискорбия видеть, что воровством и происками сии равны делаются с теми, которых кровь в непрерывное течение многих веков лилась за отечество?" [1]).

Итак, экономическое преобладание дворянства гарантируется его правами и преимуществами. Но чем будут гарантированы эти последние? Гласно, вслух, в комиссии или вне ее это не было сказано; но отсюда не следует, чтобы об этом не думали—и то, как формулировал правовое положение российской монархии тот же Щербатов в одном из тех произведений, которые появились в печати только в наши дни, может считаться каноническим изложением русского „монаршизма" второй половины XVIII века. Неосторожные цитаты „Наказа" коронованной поклонницы Монтескье развернуты здесь в целую систему норм, *о раничивающих императорскую власть*. Но менее ядовито, чем Монтескье, охарактеризовав „деспотичество", и с не меньшею ловкостью, нежели он, перенеся его за тысячи верст от русских пределов, Щербатов продолжает: „понеже Российская империя есть монаршического правления, яко и сама ее величество в Наказе своем изъясняется, что „надлежит иметь хранилище законов, ибо законы в нем должны твердо пребывать под сению монаршей власти". Каковы сии законы должны быть? Я, первое, считаю, что понеже *монарх несть вотчинник*, но управитель и покровитель своего государства, а потому и должно быть некиим *основательным правам*, которые бы не стесняли могущества монарха ко всему полезному государству, но укрощали бы иногда беспорядочные его хотения, по большей части во вред ему самому обращающиеся. В числе сих прав необходимо должно поместить твердое основание и положение о порядке наследства на престол... Хранение

---

[1]) „Примечание верного сына отечества на дворянские права на манифест". Сочинения, т. I. стр. 330.

владычествующей веры и пребывание государя в оной и в гражданских законах должно составить ненарушимое положение... Права издания законов, разных налогов на народ, переделания монеты,—вещи, которые по непостоянству вещей человеческих иногда пременяются,—то, по крайней мере, порядок произведения сего в действо на непоколебимых основаниях должен быть утвержден; равным образом суд и право себя защищать... наконец, *право именования дворянского*, по их разным степеням, *ненарушимо в монаршическом правлении поставлено быть должно*. Но недовольно сие словами или грамотою какою утвердить: надлежит, чтобы поставлены были и наблюдатели о сохранении оного. Тако, держася слов ее императорского величества, надлежит иметь „хранилище законов". А что в России хранилище законов? Сие есть сенат. Надлежит оный не токмо снабдить довольно основательными государственными правами о его могуществе, но также и наполнить такими людьми *в силу ж основательных прав*, чтобы препорученный ему закон в силах был охранять" [1]). Из этого можно видеть, что и состав сената предполагался независимым от „беспорядочных хотений" монарха. Как Щербатов надеялся этого достигнуть, здесь он не сказал. В его утопии „Путешествие в землю Офирскую г. С., швецкого дворянина", при „вышнем правительстве" Офирской земли имеются выборные депутаты, от дворянства и от купечества. Но дворянские депутаты представляют каждый только дворянское общество своей губернии; до вседворянского парламента щербатовская конституция не доходила.

Пока учительница дворянства „усиливалась понять" монархическую теорию „Духа Законов", у ее учеников готова была своя теория, не менее стройная, чем у Монтескье, но приспособленная к русским условиям. Теория эта, в смысле логического совершенства, далеко оставляла за собою тот жалкий „плагиат" (подлинное выражение самой Екатерины), который носил название „Большого Наказа". Но автор последнего, теоретически отстав от своей публики, далеко не лишен был практического здравого смысла. Ека-

[1]) Ibid., стр., 390 сл.—«Размышления о законодательстве вообще.»

терина не могла не видеть, что „основательные права“ и политические гарантии интересуют лишь ничтожное меньшинство сознательных дворян, что серая дворянская масса гораздо больше хлопочет о социальных преимуществах и об укреплении своих позиций на местах, нежели о дворянской конституции. Чтобы помешать дворянским лидерам распропагандировать эту серую массу, комиссия была закрыта на середине своих занятий,—наскоро выбранным предлогом была начавшаяся в 1768 г. турецкая война. А затем, большая часть практических пожеланий дворянских наказов были попросту превращены в законы,—что в истории получило пышное название „реформ Екатерины II“. По положению о губерниях 1775 года, уездная полиция была отдана выборному от дворян капитан-исправнику, были созданы дворянские суды, не только в уезде, но и в губернии (верхний земский суд), были удовлетворены даже второстепенные требования дворянства—учреждены, напр., дворянские опеки, о которых много толковали наказы 1767 г.,—дворянский предводитель занял определенное место среди губернской администрации. Изданная в 1785 году „Жалованная грамота дворянству“ обещала, что „благородный“ без суда не будет лишен ни дворянского достоинства, ни чести, ни жизни, ни имений; что он будет судим только своими равными; что его не коснется телесное наказание; что с дворянами, служащими в нижних чинах, будут поступать во всех штрафах так, как с обер-офицерами; что благородный имеет право покупать деревни устраивать в них фабрики и заводы, торговать оптом сельскими продуктами, вести заграничную торговлю: было разъяснено, что право собственности на земли распространяется и на „недра той земли“,—так что упущенные Щербатовыми его наказе минералы не ушли-таки от дворянских рук. Наконец, подтверждено было собранию дворянства дозволение делать представления и жалобы чрез депутатов их, „как сенату, так и императорскому величеству на основании узаконений“. Но чем и как будут гарантированы все эти права и преимущества—жалованная грамота молчала. Казалось бы рано или поздно, дворянство должно было заинтересоваться этим вопросом, как заинтересовался им кн. Щербатов. Но обстоятельства сложились так, что инте-

ресы дворянства направились совсем в другую сторону—и Щербатову суждено было стать не вождем дворянского движения, а только теоретиком неосуществившейся конституции [1]).

4. Денежное хозяйство.

Лет двадцать тому назад историк русской культуры, желая наглядно изобразить своему читателю разницу натурального и денежного хозяйства, противопоставил русского помещика начала XIX века, от которого мало было доходу московским лавкам и магазинам, потому что все у него было свое, а не покупное, современному предпринимателю, вынужденному „обращать свой товар в деньги и деньги опять в товар", чтобы существовать и пользоваться достатком. Насколько первый мог „с философским равнодушием созерцать окружающее", настолько второй зависит от покупателя и от обмена. Картинка как и вся книга, хорошо кристаллизовала *обычное* мнение о предмете: так именно всегда и все представляли себе эволюцию русского хозяйства на протяжении двух последних веков. Уже несколько лет, как это представление начало сдавать перед другим—при чем, как всегда бывает, быть-может, несколько даже перегнули палку в противоположную сторону: стали говорить „о дворянской буржуазии" XVIII века и рисовать екатерининскую Россию чуть не капиталистической страной. Чтобы найти равнодействующую между двумя крайностями, лучше всего обратиться к современникам. Русские помещики начала прошлого века отнюдь не были безгласными: они говорили—и писали—о своем экономическом положении весьма словоохотливо. Найдем ли мы в их рассуждениях „философское равнодушие" или сознание своей зависимости от покупателя и от обмена? В 1809 году—эпоха, как видит читатель, как раз та, которую выбрал наш историк русской культуры—некий коллежский

[1]) В настоящем очерке нашли себе место только *дворянские* пожелания, высказывавшиеся в комиссии 1767 г.: дворянство было *решающей* общественной силой. Не дворянские депутаты (в комиссии были представлены все сословия, кроме крепостных крестьян) могли говорить, но никто не обязан был их слушать.

секретарь Михаил Швитков представил Вольному Экономическому Обществу сочинение „о двух главных способах, назначенных к лучшему деревнями управлению". Общество наградило сочинение золотой медалью и напечатало его в своих „Трудах": мы имеем, стало-быть, основание считать взгляды и мнения Швиткова за нечто принятое и одобрявшееся значительною частью тогдашних образованных помещиков, заседавших в комитете общества. „Попечение о стяжании множества денег стало быть общим,—писал Швитков,—и, как кажется, единственно в том предмете, что оными думают заменить во всякое время другие свои недостатки". „По приказным вотчинным делам не так известно, как по приватным сведениям, что *многие помещики по пристрастию к одному только денежному богатству перестали уже существовать помещиками.* Я отнюдь не упускаю из вида и того, чтобы как помещикам, так и крестьянам, наивозможнейшим образом стараться о приобретении довольного количества денег, как потому, что деньги за всем изобилием сельских произведений для многих предметов всякому необходимо нужны, так и потому, что они для всякого состояния людей естественно заключают в себе самое приятнейшее побуждение к трудолюбию и рачению о благе не меньше общественном, как и собственном своем" [1]). Историку конца XIX века казалось, что помещику начала этого столетия очень приятно было иметь „все свое, не покупное", начиная от крепостного повара или камердинера и кончая всякой живностью для стола. А богатому барину-петербуржцу уже за сорок лет до Швиткова начинало казаться, что выгоднее именно все покупать, а прислугу, по возможности, нанимать. В 1771 году то же Вольное Экономическое Общество, президентом которого тогда был граф Шувалов, а в числе „очередных" членов гр. Чернышев, Олсуфьев, кн. Гагарин и Демидов, задавало „для решения публике" задачу: как прожить в Петербурге, примерно, на двадцать тысяч рублей в год? Вопрос, очевидно, касался богатого помещика—один из премированных обществом авторов и

---

[1]) „Труды Вольного Экономического Общества", часть LXII, стр. 135 и 121—122. Курсив наш. .

называет своего воображаемого „домостроителя“ „его сиятельством графом N. N.“. В идеальном бюджете этого воображаемого сиятельства, который реальные сиятельства, заседавшие в Вольном Экономическом Обществе, вполне могли оценить по собственному опыту, *все покупается на деньги*, до черного хлеба и коровьего масла включительно, и *вся прислуга наемная*—говорится лишь о возможности подучить кое-кого из крепостных мальчиков или девушек для некоторых второстепенных должностей [1]). Это, конечно, не действительность, а идеал, но для тенденции большого барского хозяйства второй половины XVIII века такой идеал как нельзя более характерен. В Петербурге дней Екатерины II, как в Париже времени Людовика XIV, уже не спрашивали: „какого происхождения этот человек?“, а спрашивали: „сколько у этого человека ренты?“.

Так как рента „его сиятельства графа N. N.“ могла получаться только в виде доходов с его имений, то, очевидно, либо крестьяне графа, либо его управляющий должны были заботиться о том, чтобы „превращать товар в деньги“. Первое имело бы место в том случае, если бы его имение, как большая часть крупных вотчин той поры, было на оброке: второе—если бы в нем велось собственное хозяйство. Что сам граф при всем этом оставался весьма мало буржуазной фигурой, не должно нас удивлять: ведь и современный нам предприниматель, если он достиг известных размеров, разве сам, лично, хлопочет о „превращении товара в деньги“? Он или картинную галлерею собирает, или скаковых лошадей держит, или учится летать на аэроплане—словом, предается какому-нибудь благородному занятию, создавать же материальный базис для этого благородного занятия—дело разной черняди, получающей более или менее скромное вознаграждение, вроде управителя „его сиятельства графа N. N.“. Разница между богатым помещиком Екатерининских времен и теперешним крупным буржуа не в их индивидуальном, личном

---

[1]) Обширные трактаты, отвечавшие на поставленную гр. Шуваловым и др. задачу, напечатаны в XXI и XXII частях „Трудов В. Э. О.“. Приложенные к ним подробные расчеты составляют драгоценный материал для истории петербургских цен 1770 годов, сколько мы знаем, еще не использованный.

хозяйстве—а в социальной основе этого хозяйства. Один эксплоатирует пролетаризованных рабочих при помощи своего капитала; другой мелких самостоятельных предпринимателей, крестьян, при помощи своей власти над ними. В одном случае мы имеем *экономическое* принуждение, в другом *вне-экономическое*. В известный момент второе должно было перейти в первое—тогда понадобилось так называемое „освобождение крестьян", частичное открепление производителей от земли и орудий производства, предшествовавшее их полной пролетаризации [1]). При Екатерине II до этого было еще далеко—хотя появление первых ласточек эмансипации все в том же Вольном Экономическом Обществе тех же дней не менее характерно для эпохи, нежели вольнонаемный трубочист или вольнонаемный дворник графа N. N. Мы займемся этими идеологическими течениями в своем месте—сейчас мы в области объективного, а не субъективного. Новый феодализм второй половины XVIII века сделал еще шаг вперед, сравнительно со старым московским. Мы помним, что уже тогдашнее имение не вполне само себе довлело: оно жило не только для удовлетворения непосредственных потребностей своего владельца, а, отчасти, и для рынка. Но это еще не было рационально поставленное хозяйство новейшего типа: скорее это было своего рода „разбойничье земледелие"—параллель „разбойничьей торговле" XI—XII веков. Помещик времен Годунова добивался не правильного постоянного дохода,—он стремился в возможно более короткое время извлечь из своего имения возможно больше денег, дешевевших год от году с быстротой, способной навести панику на людей, все привычки которых еще отдавали стоячим болотом натурального хозяйства. Он спускал на рынке все, что мог, и, оставшись в один прекрасный день на выпаханной и опустошенной земле с разоренными крестьянами, он старался превратить в товар хоть этих последних—так как земли никто уже не покупал. Эта оргия наивных людей, впервые увидавших денеж-

[1]) В России глубоко закономерным явлением, в этом отношении, является указ 9 ноября 1906 г.—как нельзя быть более логичное дополнение к „великой реформе" 19 февраля. За шумом политической борьбы эта логика не всеми почувствовалась.

ное хозяйство, должна была кончиться, как всякая оргия—тяжелым похмельем. В XVII веке мы имеем частичную реакцию натурального хозяйства: но так как силы, разлагавшие это последнее веком раньше, продолжали действовать и теперь, притом, чем дальше, тем больше, новый расцвет помещичьего предпринимательства был только вопросом времени. А это время должно было быть тем короче, чем плотнее было население помещичьей России, во-первых,—и чем теснее были его связи с Западной Европой, во-вторых: ибо, как мы помним опять-таки, опустение центральных уездов и разрыв торговых сношений с западом, благодаря неудаче Ливонской войны, в сильнейшей степени способствовали обострению аграрного кризиса конца XVI века. Как раз к расцвету „нового феодализма", к концу царствования Елизаветы, обстоятельства в обоих этих отношениях складывались для помещичьего хозяйства необыкновенно благоприятно.

Петровские войны, как мы видели, сильно разредили очень увеличившееся к концу XVII века население старых областей Московского государства: но следы этого опустошения сгладились еще скорее, нежели следы Смуты. Петровская ревизия дала около 5.600.000 душ мужского пола: через двадцать лет—меньше одного поколения—Елизаветинская ревизия, проводившаяся далеко не с такою свирепостью, как первая, и давшая, наверно, гораздо больший процент „утечки", зарегистрировала, тем не менее, 6.643.000 душ. Первая Екатерининская ревизия, опиравшаяся исключительно на показания самого населения—т.-е., для дворянских имений, на показания самих помещиков и их управляющих (в первую минуту столь простой способ счисления, предложенный императрицею, ошеломил даже членов дворянского сената), дала, однако же, новое и очень значительное увеличение—7.363.000 душ. Начиная с четвертой ревизии в перепись вошли губернии, раньше к ней не привлекавшиеся, вследствие иной податной организации в них (Остзейские и Малороссийские), а также области, вновь приобретенные от Польши: для всей России цифры получаются, таким образом, несравнимые с результатами трех первых ревизий. Но уже в 70-х годах (четвертая ревизия началась в 1783 г.) кн.

Щербатов считал в границах Петровской России около $8^1/_2$ миллионов душ: другими словами, за полвека со смерти Петра население увеличилось в полтора раза. Абсолютные цифры населения еще ничего, конечно, сами по себе не говорят. Важнее отношение его к территории. При средней плотности, для Европейской России, 405 человек на квадратную милю (около 8 на квадратный километр), в конце царствования Екатерины II нашлось 11 наместничеств, где эта плотность превышала 1000 человек на кв. милю (20 на километр)—т.-е. почти достигала средней плотности населения теперешней Европейской России, составляющей, как известно, по данным 1905 года, 25 человек на кв. километр. То были губернии: Московская, с плотностью 2.403 человека на кв. милю (почти 50 на кв. километр, т.-е. почти столько, сколько теперь в центральных земледельческих губерниях — Курской, Рязанской, Тамбовской и т. д.), Калужская, Тульская и Черниговская—от 1.500 до 2.000 на кв. милю (от 30 до 40 на километр, как теперешние губернии среднего Поволжья, Симбирская, Саратовская, Пензенская, Казанская), Рязанская, Курская, Киевская, Орловская, Харьковская, Ярославская, и Новгород-Северская—от 1.000 до 1.500 на милю, или от 20 до 30 на кв. километр (плотнее нынешней Самарской и области войска Донского и немного ниже теперешних Минской или Смоленской) [1].

На населенность Московской губернии должен был оказывать известное давление город Москва—но не столь, однако, сильное, как может показаться: в конце XVIII столетия в Москве было не более 250 тысяч жителей. Еще меньше могло сказаться влияние городских центров на населенности таких губерний, как Калужская или Рязанская. Даже уменьшив плотность населения Московской губернии на $^1/_5$, мы получим до 40 человек на квадратный километр чисто земледельческого населения. В наше время губернии с такой плотностью страдают уже от малоземелья: полтораста лет назад не могло быть иначе. Вот что писал, в 70-х годах, Щербатов о Московской губернии петровского

---

[1]) Цифры для XVIII века взяты у *Шторха*, „Historisch-statistisches Gemälde des russischen Reichs", Riga 1797. B. I. S 325—326.

разделения—включавшей в себе позднейшие Ярославскую, Костромскую, Владимирскую, Тульскую, Калужскую и Рязанскую: „По причине великого числа народа, населяющего сию губернию (Щербатов в ней считал 2.169.000 душ), многие деревни так безземельны остаются, что ни с каким прилежанием не могут себе на пропитание хлеба достать, и для того принуждены другими работами оный сыскивать. По той же причине многонародие леса в сей губернии весьма истребило, и в полуденных провинциях их столь мало стало, что с нуждою на протопление имеют". В то же самое время, в Нижегородской губернии были „многие великие села и волости", которые, вследствие недостатка земли, „упражняясь в рукоделиях, промыслах и торговле", не имели даже огородов [1]). Вольное Экономическое Общество при самом своем основании пожелало собрать сведения об экономическом положении различных областей России—и в первой же книжке его „Трудов" был напечатан весьма обширный и детально разработанный план анкеты, заключавший в себе 65 вопросов, „касающихся до земледелия". Это было, для своего времени, очень крупное и рационально задуманное предприятие—если бы оно удалось вполне, мы имели бы нечто вроде моментальной фотографии аграрных отношений, существовавших в России около 1765 года. К сожалению, полученные обществом ответы охватывают лишь меньшую часть тогдашних провинций—притом не все они напечатаны в „Трудах", а в напечатанных есть пробелы. Тем не менее, ничего столь полного мы не имеем ни для предшествующей эпохи, ни даже для последующих, вплоть до того времени, когда появились работы „редакционных комиссий" 50-х годов. Нам в дальнейшем не раз придется прибегать к данным этой анкеты. Пока отметим, что по интересующему нас вопросу об *относительном перенаселении* ответы корреспондентов Вольного Экономического Общества вполне подтверждают слова Щербатова. „Сколько я приметить мог,—писал из Каширского уезда знакомый нам Болотов,—то во многих местах здешнего уезда более способных работников, нежели земли к делению способной. Почему

---

[1]) *Щербатов*, сочин., т. I. стр. 480 и 492.

многие помещики от времени до времени вывозят крестьян своих в Воронежскую и Белогородскую губернии, и селят в степных уездах". „В здешней провинции противу пашенной земли земледельцев гораздо больше", категорически заявлял корреспондент из Переяславля Залесского. Притом „крестьяне опричь земледелия никаких промыслов других не имеют": здесь, таким образом, мы имеем очень чистую форму *избыточного населения*, которому ничего не остается, как уйти, если оно не хочет умирать с голоду. Избыток отмечается во всех центральных провинциях: в Рязанской, Калужской, Владимирской и Тверской [1]). Его нет только в южных и восточных пристепных областях: хотя уже в Украинской-слободской провинции (нынешней Харьковской губернии) „пашенные земли с числом земледельцев состояли в равновесии". А в Сумской провинции (теперь уезд той же Харьковской губернии) „земли против числа людей" было даже „умеренно, и излишества ни в чем не предвиделось". Наконец, в северных провинциях—Вологодской, Галицкой, около Онежского озера—земли, правда, было,сколько хочешь, но лишь ничтожная часть ее была распахана, так что малоземелье давало себя чувствовать и здесь [2]).

Кашинский корреспондент Вольного Экономического Общества дает нам чрезвычайно изобразительную картину разложения земледельческой России по мере того, как плодилось земледельческое население. Нет нужды, что он сам плохо улавливает связь явлений и склонен большую долю возложить на господа бога, который урожаю не послал, да на леность крестьян, не сумевших во-время приноровиться к божьему насланию. В прежнее время большая часть кашинских крестьян, „не выходя с роду ни ногою из своего уезда, питалась единственно хлебом, просто сказать, так, как он сам родился, не заботясь о приведении земли к лучшему хлебородию, что им удавалось; ибо продолжавшиеся до 1762 года сухие годы и, следовательно, по здешней низменной земле хорошие

---

[1]) См. „Труды В. Э. О.", II, стр. 197; VII, стр. 75 и 105; XII, стр. 112; XI стр. 113; XXVI, стр. 69 и сл.

[2]) Ibid., VIII, стр. 95 и 213; X, стр. 92; XXIII, стр. 168 и др.

урожаи довольно снабжали их как хлебом, так и для скота кормом, а они, обнадеясь на то, и употребляли все свои мысли единственно к обрабатыванию той земли, коя их питала, не приумножая вновь. Но когда же с 1762 года сделались почти всегда дождливые лета, и низкие пашни от долго на оных стоявшей воды начали вымокать, а *старая земля выпахиваться*, то и *хлебы стали хуже родиться*. Однако крестьяне пробивались еще год или два старыми семенами, *неурожаи не переставали*, но еще *более умножались*; наконец хлеба у них не стало, они принялись за скот, но который к пущему несчастию неоднократно помирал поветрием, что их и последнего лишило пропитания. Они стали мало содержать скота, следовательно, и земля навозу прежнего получать не стала, вспашка от дурных лошадей и бороньба также переменилась, и пашня сделалась еще хуже; при всем том они никаких средств не предпринимали, перебивались с копейки на копейку, *а все дома сидели, и почитали за страх ходить по землям куда-нибудь в большие города работать, и тем доставать себе хлеб и деньги*. Напоследок, *когда многие помещики зачали их к тому принуждать, то вступили они в поход*; но и там, как люди незнаемые и не заобыкновенные, мало получали барышей или привыкнувши к вольной городской жизни, а лучше сказать, к пьянству, от хлебопашества зачали отставать" [1]).

Итак, первое, что умели сделать помещики с избыточным населением своей крепостной деревни, это — выгнать лишние рты в город на заработки. Общественное мнение хороших хозяев тех времен этого отнюдь не одобряло,— помещик считался как бы обязанным найти своему крепостному работу на месте. Кн. Щербатов развитие отхожих промыслов прямо связывает с развитием, как среди помещиков, так и среди самих крестьян, „сластолюбия": „сластолюбие обыкновенно влечет за собою леность, а леность людей ослабляет в земледельческой работе". Неодобрительную нотку в суждениях кашинского корреспондента Вольного Экономического Общества читатель уже заметил, конечно. Но неодобрение не могло устранить

1) Ibid., XXVI, стр. 24—25.

объективного факта: барин требовал оброка и, в поисках денег, крестьянин „выступал в поход", из деревни в город. О размерах „похода" дают представление цифры, собранные историком русской фабрики. В Ярославской губернии было взято паспортов:

в 1778 г.	53.656
„ 1788 „	70.144
„ 1798 „	73.663

„Мужчин в Ярославской губернии по 5 ревизии (1796 г.) было 385.008. Таким образом, в конце XVIII века около 20% всего мужского населения Ярославской губ. уходило на заработки на сторону, иначе говоря, более $^1/_3$ *взрослого* мужского населения занималось неземледельческими отхожими промыслами" [1]).

Несимпатизировавший явлению кн. Щербатов дает в одном месте картину его конечных результатов—не менее наглядную, чем изображенная кашинским помещиком. „Если мы возьмем одну Москву,—писал он в 1788 г.,—и рассмотрим разных мастеровых, живущих и приходящих в оную, то ясно увидим, как число их приумножилось. Двадцати лет тому не прошло, весь Каретный ряд вмещался за Петровскими воротами по земляной ограде на большой улице, а ныне не только уже многие лавки распростерлись внутрь Белого города, и взаворот в обе стороны по земляному городу, но и в других улицах множество есть таких сараев для продажи карет, не считая, сколько немцев каретников в Москве в разных местах кареты делают и продают. Хлебники были весьма редки; ныне почти на всякой улице вывески хлебников видны. Кирпичу в год делалось в ряд до 5 миллионов, ныне делается до 10 миллионов; строенья (т.-е. стройки) были редки и много как в Москве прежде когда 20 домов строилось, а ныне нет почти улицы, где бы строения не производилось. Все таковые промыслы требуют людей, или навсегда пребывающих или приходящих на время летнее, яко кирпичников, каменщиков, штукатуров, плотников, сто-

---

[1]) *Туган-Барановский*, «Русская фабрика», изд. 2-е, т. I, стр. 47—на основании данных архивов Вольн. Эконом. Общ.

ляров и проч.: а все сии люди, удвоившиеся или утроившиеся на летнее время, оставляют свои дома и земледелие, чтобы, не способствуя к произращению пропитания, быть истребителями съестных припасов" [1]). Но Щербатов мог бы утешиться: рядом с неземледельческим, те же причины создавали *земледельческий отход*. Описывая в своей „статистике" Белогородскую губернию (соединявшую в себе части теперешних Курской и Орловской), он говорит: „великое число земель и легкая работа дают способ земледельцам великое число земли запахивать, так что в многих местах они *четверть жатвы своея отдают приходящим из Московской губернии за то, что сии им помогают хлеб их убрать*". Это известие целиком подтверждает, для крайнего юга тогдашней Московской губернии, Каширского уезда, Болотов, добавляющий любопытную подробность: на работу в степь ходили преимущественно *женщины*, а осенью их мужья отправлялись, иногда за сотни верст, с телегами, чтобы забрать хлеб, наработанный в течение лета их женами. Одного этого маленького факта достаточно, чтобы видеть, насколько екатерининская Россия не была уже страной натурального хозяйства.

Выгнать крестьянина на заработки в город было, конечно, самым простым для помещика способом извлечь пользу из своих „лишних людей". Для этого ничего, кроме некоторой энергии с его стороны, не требовалось. Но мы видели, что хорошие хозяева не сочувствовали такому способу извлечения дохода из крестьян—и, с помещичьей точки зрения, они были правы. „Где селянин навыкает тем порокам, которые ему больше должны быть чужды, нежели кому другому в гражданском состоянии пребывающему?—вопрошает своего читателя знакомый нам Швитков.—Где он научается роскоши, где вольнодумству, где высокомерию, как не в городах? По природной своей простоте он скорее, нежели кто другой, по самому первому побуждению к тому, имеет поползновение; а сие, я думаю, потому больше делается, что он живет не в природном своем местопребывании, но на стороне, а потому и *на воле, которая, как обыкновенно, всякого почти портит*»

[1]) Соч. т. I, стр. 632—633.

«...Пристойно ли и сходно ли с гражданственным всего народа состоянием, не скажу по большей части, но весь свой век, жить крестьянину в городе, и одним городским промыслом наживая себе многие тысячи денежной суммы, отнимать через то у городских жителей способ к подобной промышленности, оставлять в пусте свою пашню, между всем тем по союзу со своими земляками в селах пребывающими, *переносить к ним* вести о нуждах градских...?» «Посему едва ли не настает уже та необходимость, чтобы крестьян от всех их привилегированных посторонних промыслов возвратить в природный сельских их должностей круг, или, по крайней мере, поставить их в известную и надежную в том ограниченность...» Швитков предвидел возражение, что нельзя же всех крестьян посадить на землю, потому, что в таких местах, как Кашинский уезд, например, у земли им всем не найдется работы. Но у него на это был готов ответ. «Я всегда держусь того мнения,—писал он,—что из них (поселян) и те семьи, которые поселены на невыгодной хлебородием земле, по изволению своих господ могут быть заняты в собственных своих обиталищах многими упражнениями, полезными и для себя самих, и для своих господ, и для своего государственного общества» [1]). Дальнейшей, по интенсивности, ступенью эксплоатации избыточного населения являлось развитие в деревне *промыслов*. В кашинском уезде ко времени анкеты Вольн. Эконом. Общества эта ступень была уже достигнута. „Нет почти ни одного помещичьего дома,—говорит цитированный нами выше (стр. 124) автор,—где бы не было несколько ткачей для ткания полотен, которые бывают по осмидесяти по девяносту пасм, и в Москве продаются аршин по пятьдесят и по шестьдесят копеек *многие помещики сим большие барыши получают*". „Впрочем, прядут здесь столько, сколько в силах выпрясть,—говорит он же в другом месте о кашинских крестьянах,—и пряденье не за недостатком льну не приумножается, но *в помещичьих домах не достает иногда льну по причине многих ткачей*: однако, там *покупают на ростовской ярмарке* пряжею, а иногда и льном, как лучше рассудится».

---

[1]) «Труды В. Э. О.», ч. LXII, стр. 157, 137, 140.

«Прилежные, трудолюбивые женщины» пряли «прикупной лен» и в Вологодском уезде. „Когда своего льна нет, *что часто случается*,—пишет Болотов о Каширском уезде,—то покупается он от посторонних". И здесь, кроме грубой крестьянской холстины, которая, однако, охотно разбиралась весною по ярмаркам и торгам городским, существовали помещичьи холстопрядильни: в них дворовые бабы и девки прядут довольно тонко, и обученные ткачи ткут полотна, которые аршин по 20, 30 и по 40 коп. продается, и мне случалось такую видеть, за которую охотники по 70 коп. аршин давали" (тогда как цена крестьянского холста была от 2 до $3^1/_2$ коп. аршин). Тканье холста на продажу засвидетельствовано анкетой и для целого ряда других провинций и уездов: Калужской, Владимирской, Переяславль-Залесской, Рязанской, Олонецкой. Пряли, по большей части, из своего, непокупного льна: но местами, в Калужской провинции, например, его тоже начинало уже не хватать, и если его еще не покупали, то только потому, что не было подвоза из других мест [1]).

Несколько цифр дадут понятие о размерах этой отрасли домашней индустрии в екатерининское время. Тверская губерния 1780-х годов вывозила на продажу ежегодно не менее 10 миллионов аршин холста, а в 1879 году тою же Тверской губернией вывозилось не более 16 миллионов аршин. Торговое значение холстоткачества увеличилось за сто лет всего на 60%, и уже при Екатерине II оно достигало здесь двух третей того, что давала Тверская губерния при Александре II [2]). Но относительное значение промысла было несравненно выше того, что могут показать абсолютные цифры. *Пеньковые и льняные ткани были главной статьей русского мануфактурного вывоза за границу*— и одной из главных статей этого вывоза вообще. В 1793—95 годах средний отпуск их из России достигал 14.614.000 аршин в год, на сумму 4.285.000 рублей тогдашних (около 10 миллионов рублей золотом) — и он был так же велик уже за тридцать лет раньше: в 1769 году изделий из льна

---

[1]) «Труды В. Э. О»., XXVI, стр. 8—9 и 80; XXIII, 274—275; II, 205—207, XI, 117. XII, 113—114; VII, 78—79 и 107; XIII, 40.

[2]) *Туган-Барановский*, цитиров. сочин., стр. 54.

и пеньки (не считая канатов, веревок и т. д.) было вывезено на 1.935.000 рублей; но рубль 60-х годов был *втрое* больше, по своей покупной силе, рубля 90-х годов: в переводе на современные деньги вторая цифра дает даже больше первой — от 13 до 14 миллионов рублей. А весь вывоз 1769 г. составлял всего 14.866.000 рублей тогдашних—около 100 миллионов теперешних золотых [1]).

Мы употребили выражение „домашняя индустрия" несколько в фигуральном смысле. У Болотова мы встречаем и настоящую „систему домашнего производства", с переходом даже к фабричной системе: крестьянки в окрестностях Серпухова брали пеньку и паклю с парусинной фабрики и пряли „в домах своих за заплату". Но и там где лен покупался или раздавался помещиком, а потом холстина ему же отдавалось в виде оброка, разница с домашней промышленностью была больше юридическая, чем экономическая. Крестьянин эксплотировался уже, как современный нам кустарь, только поле эксплоатации было сужено: эксплоататором являлся не экономически сильнейший, а тот, кто имел над крестьянином *власть* и мог его принудить отдать свой продукт внеэкономическим путем. С другой стороны, дворовые женщины и девушки ткавшие в барской усадьбе полотна высших сортов, очевидно, были зародышем настоящей *мануфактуры*, отличавшейся от западно-европейской, опять-таки, только юридическим положением работника. То, что Петр напрасно старался вызвать к жизни, уничтожая конкурировавшего с мануфактурою кустаря чуть не при помощи

[1]) *В. И. Семевский* считает русский рубль 1760-х годов лишь в *четыре* раза больше теперешнего (или, вернее, рубля 1880-х годов). А так как несомненно, что за царствование Екатерины II цена медного или ассигнационного рубля упала *втрое*, то рубль 90-х г.г. оказывается равным 1 р. 30 коп., в переводе на цены времени Александра III. Мы считаем оценку слишком низкой уже по одному тому, что около 1750 года рубль Елизаветы Петровны был не меньше, как в 8 раз крупнее рубля 1880 годов. Между тем, никакой катастрофы, которая бы уронила рубль за 10—15 лет вдвое, экономическая история этих лет не знает. Сравнивая цены на *рожь* по данным анкеты В. Э. О. (таблицу см. ниже) с ценами ржи 1890-х годов, мы получили отношение 7: 1, которым и пользуемся. Цифры вывоза см. у *Шторха*, доп. том, стр. 34—38.

осадного положения, теперь росло само собою из того же самого крепостного кустарничества. Наглядную схему превращения маленького домашнего заведения в небольшую фабричку дает современник Швиткова и его соперник по соисканию премии от Вольного Экономического Общества, орловский помещик Погодин. Он советует своим собратьям заводить на первое время „таковые рукомесла, фабрики, заводы и прочие работы—самые небольшие", и рисует такую примерную картину. „Помещик, имеющий сто душ ревижских, может завести фабрику на первый случай не более 5 или 6 станов и бичевую прядильню, и как уже не безызвестно всякому (!), что *на сих обеих работах могут заниматься от 10 и до 15-летнего возраста крестьянские дети обоего пола*, под надзором совершенного возраста людей, и которые к тяжелой полевой работе не так еще привыкли и способны и, по большей части, больше бывают праздны..." [1]). Подозревавшийся историками в наклонности к натуральному хозяйству, помещик начала XIX века, как видим, не хуже своего современника, английского капиталиста, умел понять, как выгодно эксплоатировать детский труд. Мало того,—он постигал уже, что одним „внеэкономическим принуждением" в этом случае не обойдешься и предлагал назначить маленьким работникам *денежную плату*,—настолько, впрочем, безобидную для помещика, что последний при этом получал „втрое или вчетверо" более, нежели от оброка, т.-е. от отхожих промыслов своих крестьян. В 1809 г., нужно прибавить, Погодин вряд ли кому говорил что-нибудь новое. Рядом с ним, Швитков ссылается на помещичьи фабрики, как на нечто прочно укоренившееся, и нужно посмотреть, с каким торжеством он о них говорит. „По поместьям и действительно есть многие таковые заведения, и существуют уже несколько лет, не приходя ни мало в упадок, *между тем как по городам на нашей уже памяти скоропостижно возникшие разного рода фабрики и заводы, существовавшие весьма краткое время, скоропостижно упали*. Суконные и другие фабрики князя Юсупова, состоящие в его поместьях, как известнейшие всему обществу, могут служить

---

[1]) „Труды", LXII, стр. 179—180.

ближайшим всему сказанному в сей статье примером. Подрядчики и самые казенные места по близости тех заводов и фабрик состоящие, с какою выгодою получают от них изделия их, то докажут всегда они сами". Что после известного нам указа 1762 года, запретившего покупать деревни к фабрикам, не-дворянам было трудно основывать новые промышленные предприятия, и крупная индустрия в силу вещей стала дворянским делом, об этом еще за 10 лет до Швиткова, как о деле общеизвестном, писал Шторх. Но закон шел в направлении экономической эволюции, а не против нее. Избыточное население давало готовый контингент фабричных работников именно в руки владельцев крепостных имений, и они воспользовались этим своим преимуществом еще раньше закона 1762 года, который только убрал с поля последних их конкурентов. Уже в комиссии 1767 г., когда влияние изданного всего за пять лет закона не могло быть очень ощутительно, кн. Щербатов заявлял с гордостью, еще большей, чем какой проникнуты только-что цитированные нами строки позднейшего помещика: „...Дворяне, заводя фабрики, весьма умножили разные рукомесла и трудолюбие и подали способ государству довольствоваться теми вещами своими, которые оно прежде от чужестранных народов получало. И оставя прочие токмо о двух родах упомяну, то-есть о суконных и полотняных, которых, не взирая на великие побуждения государя императора Петра Великого по 1742 год было суконных фабрик только 16; с вышеозначенного года, когда дворяне зачали в оные вступать, доныне еще их 60 прибавилось, и чрез такое прибавление Россия стала в состоянии армию свою собственными своими сукнами довольствовать: полотняных же, которых было по вышеозначенный год только 20, а того году еще 68 прибавилось" [1]). Как быстро пошла новая, дворянская фабрика—в противоположность туго росшей купеческой, покажут следующие данные: в 1762 году фабрик, не считая горных заводов, в России было 984; в 1796 г.—3.161; уже

[1]) Из возражения, поданного в комиссию 1767 г. на „голос" одного купеческого депутата, требовавшего исключительного права для купечества владеть фабриками. Сочин., I, стр. 125.

в 1773 г. их общее производство выражалось суммой 3.548.000 руб. (около 21—22 мил. р. з.), в том числе сукна на 1.178 тыс. р., полотна на 777 тыс. р., шелковых материй на 461 тыс. р., бумаги на 101 тыс. р. и т. д. [1]).

Оброчный крестьянин, выгнанный своим барином на заработки в город, крепостной кустарь, рабочий на крепостной фабрике,—таковы прослеженные нами три ступени все возрастающей эксплоатации избыточного населения крепостных имений, не находившего себе работы у земли. Читатель с удивлением спросит: разве эта последняя так хорошо обрабатывалась уже, что дальше некуда было итти, и более интенсивной системы хозяйства, которая потребовала бы новых затрат труда, завести уж было нельзя? Напротив, и в земледелии интенсификация вполне была возможна—и последние десятилетия XVIII века были свидетелями чрезвычайных успехов крепостного хозяйства в этом отношении,—но и логически, и хронологически интенсивное барщинное земледелие пришло у нас позже крепостной индустрии. Хлеб, как товар, становится очень выгоден с 80—90-х годов: промышленные предприятия давали раньше барыши, с которыми не могло сравниться никакое сельское хозяйство. Две статьи „Наказа управителю", составленного известным тогда агрономом Вольфом около 1769 года, лучше длинных рассуждений покажут нам, как стояло тут дело, и вместе напомнят об одной отрасли промышленности, до которой куда как далеко было и сукну, и полотну. § 1 VII главы этого Наказа гласит: „Управителю должно всегда наведываться о цене хлеба, дабы оный продать в настоящее время". А § 2: *„ежели есть винокурни, то должен он употреблять хлеб на курение вина* для того, что через сие получить двойную прибыль, а именно: корм скотины для навоза; во-вторых, изойдет меньше на провоз потому, что одна лошадь свезет в город настолько вина, насколько шесть лошадей хлеба". Шторх прибавляет к этому еще один расчет—вполне убеждающий, насколько прав был по своему времени Вольф. Для одного боченка вина, мерою в 12 ведер, нужно, по меньшей мере, две четверти ржи,

[1]) *Барановский*, назв. сочин., стр. 45.

говорит он. Цена этого количества хлеба, по средним ценам 90-х годов (когда писал Шторх), около 9 рублей: а за выкуренную из него водку правительство платит от 15 до 18 рублей; чистый барыш помещика мог доходить, таким образом, до 100%,—а расход главный был на дрова, которые, по большей части, были свои, некупленные. Немудрено, что практичные остзейские дворяне (Вольф как раз принадлежал к их числу) перекуривали в водку весь свой хлеб,—и Лифляндия, в шведские времена „житница севера“ [1]), при Екатерине II не вывозила ни пуда хлеба, а даже ввозила его для надобностей своих винокуренных заводов. В 1773 году правительством было куплено у помещиков 2.103,000 ведер, на сумму около 3—3½ миллионов рублей тогдашних (около 20 тепер. зол.): одни винокуренные заводы „вырабатывали“ столько, сколько вся остальная индустрия, вместе взятая. Остается прибавить, что казна, уже совершенно без всяких предприятий, получала на водке еще более крупные барыши, продавая откупщикам за 4 рубля ведро, которое самой казне обходилось не дороже 1 р. 80 коп. При чем и откупщики не оставались в обиде: в списке тогдашних русских богачей, по случайному поводу приводимом Щербатовым, они занимают первое место [2]). С ними могли конкурировать только *горнозаводчики*. По словам Шторха, они пользовались в России екатерининских времен такими привилегиями, как, вероятно, нигде и никогда в мире. Он приводит образчики льгот, дарованных им законом: уже этот перечень достаточно выразителен. Кн. Щербатов иллюстрирует ту же мысль бытовыми наблюдениями, по своему обычаю — и картина получается еще более эфектная. На основании очень надежного источника—торговых книг, которые ему пришлось просматривать, так сказать, по обязанности службы—он рассказывает, что пуд *меди*, например, обходился заводчику с доставкой до Екатеринбурга от полутора рублей до 1 р. 70 коп. По словесным показаниям заводчика Твердышева, дороже 2 р. 25 коп. он *никогда* не

---

[1]) См. „Русская история“, т. III.

[2]) Труды, XII, 27; *Storch* op. cit., III, 266 ссл.; *Щербатов*, т. I, стр. 623 ссл.

стоил: а казна принимала медь в Екатеринбурге, для надобностей монетного двора, по 5 р. 50 коп. за пуд. Не мудрено, что дела предпринимателей шли прекрасно. „По тем же книгам Твердышева я видел,—рассказывает Щербатов,—что, помнится, в 1756 году, при начале их заводов, было на них долгу до пятисот тысяч рублей, а в 1784 г., когда Иван Борисыч Твердышев умер, уже были заводы заведены, восемь тысяч душ куплено, и до двух миллионов с половиною чистого капитала было“ [1]).

Большинству железозаводчиков не приходилось и покупать „душ“. Почти все дворяне, или из старинных одворянившихся купеческих фамилий (вроде Демидовых), они вели работу собственными крепостными, которых у Строгановых, например, по четвертой ревизии, было 83.453 души. Несвободный труд настолько преобладал в горном деле, что, по словам Шторха, свободные рабочие составляли здесь ничтожное исключение,—и если бы горное дело вынуждено было довольствоваться ими, почти все заводы пришлось бы закрыть. Так как правительство не могло же хладнокровно отнестись к подобному бедствию, то тем предпринимателям, которые не имели своих крепостных, рабочих давала казна. По обе стороны Уральского хребта целые волости черносошных государственных крестьян „приписывались“ к горным заводам, где они должны были „отрабатывать“ свою подушную подать. По смыслу закона, они несли на себе лишь разные вспомогательные работы —рубку и подвоз дров, вывоз металла и т. под.,—при чем, как только труд их, по казенной оценке, достигал нормы подушной подати, их обязанности по отношению к заводчику прекращались. На деле, их зависимость от заводской администрации была почти так же велика, как крепостных,—и заводовладельцы эксплоатировали их, как находили для себя выгоднее [2]). Так на рабском труде воздвигалась еще одна отрасль индустрии, имевшая не только общерусское, но и громадное *международное значение*. Читатель, вероятно, очень удивится, когда узнает, что *железо составляло*

---

[1]) „О состоянии России в рассуждении денег и хлеба“ . Сочин., I, стр. 703.

[2]) Подробнее об их положении см. ниже, в след. отделе настоящ[ей]

одну из главнейших статей русского экспорта во второй половине XVIII века. Впереди железа, как вывозной товар, шла только пенька: все остальное, не говоря уже о холсте и полотне, —даже лес, продукты скотоводства и хлеб, стояло далеко ниже. Средний вывоз железа за границу в 1767—1769 г.г. составлял 1.951.464 пуда; в 1793—1795— 2.965.724 пуда. По ценности, железа вывозилось в 90-х годах ежегодно с небольшим на 5 миллионов рублей (11—12 миллионов рублей теперешних), около одной восьмой всей суммы русского вывоза, где лен и пенька составляли почти 33%. Особенно ценилось „сибирское", или, как оно еще называлось, „соболиное" железо—клемейнное сибирским гербом, двумя стоящими на задних лапах соболями. Оно шло из классического района уральского горнозаводства—из рудников на восточном склоне Уральского хребта. Англичане предпочитали его шведскому железу и охотно, по словам современников, перенесли бы все свои заказы из Швеции на Урал, если бы русские заводы сумели приспособиться к английским потребностям. Но, обеспеченные своими привилегиями, Демидовы и Строгановы мало интересовались новыми заказчиками, а крепостная администрация их заводов, где иногда предприятием с сотнями тысяч рабочих ворочал один полуграмотный приказчик была, конечно, во всех отношениях слишком далека от европейского рынка с его требованиями. Русские заводы продолжали изготовлять товар по раз установившимся образцам—и качество металла было так высоко, что он все же находил себе покупателей на Западе [1]).

На помещичьих винокурнях и уральской железопромышленности мы можем снова наблюдать влияние тех двух факторов, которые создавали концентрацию капиталов в после-петровской, как и в до-петровской России: монополий, с одной стороны, заграничного спроса—с другой. Дворянский капитализм времен Екатерины II ничем не отличался в этом случае от буржуазного капитализма последних дней Московской Руси. И уральские заводчики фактически были монополистами: когда в 1782 году всем

---

[1]) Для *железа* см. *Шторха*, назв. сочин., II, стр. 512 и сел. и VIII, стр. 143—148.

было разрешено свободно искать и добывать руду, это не вызвало к жизни ни одного нового завода—до такой степени несокрушимой казалась всем конкуренция уральских магнатов. Когда появились у нас первые зачатки *аграрного капитализма*, он не ушел из-под влияния общего закона.

Говоря теперь о сельскохозяйственном предпринимательстве в России, мы думаем о хлебе и о том, что связано с производством хлеба,—от засеянного пшеницею поля до молотилки, мельницы и элеватора. А когда говорили о нем полтораста лет назад, говорящему представлялась *пенька*. „Которого из наших земных продуктов излишнее размножение нимало неопасно и, следовательно, заслуживает преимущественное поощрение?—спрашивал в 1765 году инициатор знакомой нам анкеты Вольного Экономического Общества, Т. Клингштет.—Ежели отвечать на сей вопрос в рассуждении важности и множества выпускаемого ныне из России продукта, то всякому, чаятельно, в голову придет назвать *пеньку*: ибо всем известно, что сей продукт имеет преимущество в цене и количестве перед всеми прочими, которых Россия от своего натурального избытка ежегодно уделяет чужестранцам: но не упоминая о том, что уже выше сказано о пеньке, *тщетный труд был бы выхвалять, яко новость, прибыли уже и без того всем известные*“ [1]). Тщетность всяких панегириков конопле арифметически доказывает знакомый уже нам орловский помещик Погодин, приложивший к своему проекту подробный расчет, что давала каждая десятина под тем или другим растением (цены 1809 года). В то время как десятина ржи давала всего 14 р. 40 коп. дохода, овса—16 р. 50 коп. и даже пшеницы только 54 рубля, десятина конопляника приносила 83 рубля доходу. Пенька была главной статьей русского экспорта в XVIII веке—притом, вместе со льном, она далеко оставляла за собою все другие предметы вывоза. По расчетам Шторха, Россия вывозила, в среднем, пеньки:

в 1758—62	г.г.	ежегодно	2.214.956 пудов.
„ 1763—67	„	„	2.490.588 „
„ 1793—95	„	„	3.062.387 „

[1]) «Труды», стр. 166.

По стоимости, вывоз пеньки составлял в 1769 году 2.795.000 р. (18 милл. руб. на тепер. зол. деньги), а льна и пеньки вместе 4.478.000 р. (около 29 миллионов теперешних). Любая картинка, изображающая корабль XVIII века, объяснит нам странное для современного взгляда преобладание этого товара: пенька, это паруса и канаты, это каменный уголь торгового, как и военного флота времен Семилетней войны. Очень характерно, в связи с этим, что англичане искали на русском рынке всегда первого сорта пеньки, а французы всегда второго и третьего. Повторяем, уже в 60-х годах восемнадцатого столетия приходилось не толковать русскому помещику о выгодах конопляников, а, напротив, держать его, что называется, за фалды. „Известно, что никакой продукт не истощает столь много силы из земли, как пенька", предостерегает в цитированной нами статье Клингштет. Но из этого следовало только, что землю под коноплю нужно удобрять сильнее, чем под хлеб— другими словами, что разведение пеньки являлось более *интенсивной культурой*, чем хлебопашество. Погодин и изображает это весьма ясно: „десятина конопляника больше всякого хлеба приносит дохода и составляет по здешним местам наилучший продукт,—говорит он,—а потому всякий владелец согласился бы засевать свою землю больше коноплею, нежели прочим хлебом; но сего сделать потому нельзя, что от 50 тягол при посредственном скотоводстве больше нельзя удабривать земли, как 8 десятин, а сверх того и работы за оною больше, нежели за прочим хлебом" [1]). Оттого в большей части средней России, по анкете Вольн. Экон. Общества, крестьяне сеяли коноплю в ничтожном количестве—лишь для собственного потребления. Только на нетронутых целинах юга поставщиком пеньки на рынок могло явиться крестьянское хозяйство; во всех других местах таким поставщиком мог быть только помещик, способный собрать на свои конопляники удобрение с целой деревни—способный благодаря своей монополии, называвшейся крепостным правом. А побуждение пустить эту монополию в ход именно в этом направлении—давал опять-таки европейский рынок.

---

[1]) «Труды», LXII, стр. 168—169.

В русском *хлебе* этот рынок пока нуждался еще гораздо менее: в списке русских вывозных товаров хлеб стоит на шестом месте, ниже не только пеньки, льна и железа, но ниже продуктов скотоводства (сала) и даже холста. Холста в 90-х годах вывозилось на четыре с лишком миллиона рублей, а хлеба меньше, чем на три. Это объясняется, однако же, вовсе не тем, чтобы русский хлеб меньше ценили на Западе, нежели русскую пеньку или русское железо,—напротив, хорошо просушенное русское зерно предпочитали всякому другому. Хлебный экспорт задерживался чисто-географическими причинами. До второй половины царствования Екатерины II у России были порты только на Балтийском и Белом море. Но ближайшие к этим морям губернии производили, главным образом, серые хлеба, а Европа спрашивала, преимущественно, пшеницу. „Большая часть жителей полуденных европейских земель пшеницею питаются,—писал в 1765 году пропагандист русского хлебного экспорта, Клингштет,—и понеже многие из сих государств гораздо меньше у себя имеют хлеба, нежели к содержанию их жителей потребно, то цена пшеницы (выше?) прочих родов хлеба, и сей продукт должен быть сочтен продажным во всякое время товаром". Но сеять пшеницу на суглинке было хлопотливым и рискованным делом—особенно, когда рожь можно было с такою выгодой перекурить в спирт [1]). Великолепные урожаи давала пшеница в южных приступных уездах, но ее сеяли здесь мало—„столько, сколько кому, по его семейству, на пропитание до новой жатвы стать может". Корреспондент Вольного Экономического Общества по Слободской Украинской провинции (нынешней Харьковской губернии) тут же чрезвычайно убедительно и объясняет, „для чего земледельцы не прилежат к размножению сего, равно как и прочего хлеба". Никакой иной причины им „не предвидится, кроме того, что они не имеют способа, куда оной с прибылью отпускать, *потому что в близости с. х стран никакого порта нет*". Так, накануне первой турецкой войны Ека-

[1]) Тем не менее, даже в Вологодской провинции сеяли в 60-х годах пшеницы $^1/_3$ или, по крайней мере, $^1/_4$ сравнительно с рожью—и не только для домашнего потребления, но и для продажи, но лишь на местном рынке. См. «Труды», XXIII, стр. 225—226 и 252.

терины II, скромный захолустный обыватель дал философию всех русско-турецких войн XVIII века. Вопрос о том, как сделать русский хлеб таким же отпускным товаром, как пенька, давно был поставлен, и не только в ученых обществах,—что показывает напечатанная в первом же томе знакомых нам „Трудов" записка Клингштета,—но и в официальных сферах, как мы знаем из еще более ранней записки Волкова, будущего кабинет-секретаря Петра III и автора манифеста о вольности дворянства. Рассуждая о том, какими мерами вернуть России серебро выкаченное из России благодаря нелепому ее участию в Семилетней войне, Волков писал, приблизительно за год до смерти Елизаветы Петровны: „Хлебом торг производит Рига и великую полякам прибыль делает: то мне кажется стыдно толь изобильной России в сем торгу ничего не участвовать и весь свой хлеб на одном вине пропивать". *„Хлебный здешнему государству торг натуральнее всех.* Подлинно, бывшими и часто без нужды запрещениями (вывоза хлеба) заставили мы многих (иностранцев) прилежать к земледелию и убавили расходы на наш хлеб. Но.., если бы паче чаяния и ожидания надлежало войну еще несколько лет продолжать, то в государстве серебряного рубля не осталось бы" [1]). Но против экономики, гнавшей хлеб на винокуренные заводы, никакая политика ничего не могла поделать: и скоро та самая Лифляндия, на которую с одобреним ссылался Волков, как на хороший пример, перестала вывозить хотя бы пуд хлеба, весь выкуривая на вино. Положить в основу русского торгового баланса хлебный вывоз можно было, только отворив пшеничной России ворота на Черное море. Это и сделал Кучук-Кайнарджийский мир—и его экономические результаты были немедленно же, по горячим следам, учтены теми, кто пристальнее всех следил за русской торговлей. „Я посвящу эту депешу разбору дела, которое может оказать весьма важное влияние на интересы этой страны в торговом отношении,—писал английский министр иностранных дел посланнику Георга III в Петербурге 14 февраля 1775 года:—я разумею плавание по турецким морям, по смыслу последнего мира уступлен-

[1]) Архив кн. Воронцова, т. XXIV, стр. 118 и 123.

ное России в самых широких размерах. Если взглянуть на карту, очевидно, что держава эта может извлечь много торговых выгод из последних своих приобретений на Черном море и свободного прохода по Дарданельскому проливу, предоставленного ее купеческим кораблям... *Один только зерновой хлеб, выставляемый в огромном количестве губерниями, прилегающими к Черному морю, займет значительное число кораблей*, составляя предмет, который всего менее помешает торговле русских северных портов". Английский дипломат выводил отсюда, конечно, что и англичанам „положительно необходимо иметь свободное плавание к русским портам на Черном море и обратно". Турецкие войны и позже, как известно, гораздо больше помогли развитию на Черном море какого угодно судоходства, только не русского. Но, на своих или чужих кораблях, русский хлеб должен был массой пойти по новой дороге на Запад. Проницательный англичанин только несколько предупредил события: новая дорога наладилась не сразу. Но к концу царствования Екатерины его предсказание можно было считать достаточно оправдавшимся: в 1793 году уже пятая часть русского хлебного вывоза шла через Таганрог, Херсон и Феодосию, а пшеница в этом вывозе, по ценности, составляла почти половину [1]).

Из этого, конечно, вовсе не следовало, что превращения хлеба в товар дожидались так же долго. Если уже в XVI веке у нас существовал *внутренний хлебный рынок*, то во второй половине XVIII в. не могло быть иначе. Уже в самом начале царствования Екатерины II мы встречаем в Нижнем-Новгороде купеческую „компанию"—товарищество на паях, одно из первых в России, которая торговала, главным образом, хлебом, и первоначально даже так и предполагалось назвать ее в уставе: „хлебная компания". Хлебный рынок создавался автоматически, благодаря той передвижке избыточного населения, о которой мы гово-

[1]) Вот несколько цифр, иллюстрирующих развитие русской торговли на Черном море в связи с турецкими войнами; русский вывоз через Черноморские порты:

1764 г.	59.097 р.
1776 »	369.823 р.
1793 »	1.295.563 р.

рили в начале главы. Подвоз хлеба в центральные области был необходимостью уже в 60—70-х г.г. „Об *Московской губернии* особливо должно сказать,—говорит Щербатов, — что в оной не токмо ее жители истребляют хлеб, но также множество приходящих из всех городов, да и самые жители, находя себе удобные промыслы, довольно не прилежат к земледелию; *а потому коль обильную жатву поля ни представляли бы, но никогда она пропитаться сама собою не может*, а должна от всего государства заимствовать свое пропитание" [1]). Этими словами Щербатов опровергает, между прочим, собственное свое показание относительного слабого развития хлебной торговли в современной ему России: благодаря размерам империи, издержки перевозки, будто бы, съедали все барыши. Наблюдения помещика центральной России курьезным образом перепутались у него с наблюдениями петербургского обывателя. Петербург, действительно, пока не были окончательно готовы водные пути, связывавшие его с верхним Поволжьем (главным образом, Вышневолоцкий канал), часто получал хлеб за более дешевую цену из Польши, через Ригу, нежели из Рязанской или Казанской губернии. Но самое прорытие каналов, при тогдашней технике более трудное, чем теперь, достаточно свидетельствует о громадном напоре черноземного хлеба к северу. Вышневолоций канал начали еще при Петре I, но практическое значение эта „в высшей степени искусственная система сообщения, на которой, главным образом, основана балтийская торговля и снабжение Петербурга" (Шторх), получила лишь при Екатерине II, а вполне закончена она была даже лишь в XIX веке (в 1802 году). Задолго до этого времени в Петербурге выражали уже опасение, что максимальная пропускная способность Вышневолоцкого канала—4.000 барок в год—скоро окажется ниже потребностей петербургского рынка. Это опасение дало толчок к постройке новых каналов, связывавших Неву с верхней Волгой,—Тихвинского и Мариинского, оконченного при Павле. Действительно, Вышневолоцкий канал, пропустивший снизу 2.914 барок в 1787 году, уже достиг своего

[1]) Сочинения, т. I, стр. 652.

максимума к 1791 г., когда через него прошло 4.025 барок *Речное судостроение* к этому времени сделалось настолько важным промыслом, что один помещик начала XIX века называет деревни, расположенные близ судоходных рек и имеющие строевой лес, „превосходнейшими". Такие деревни, по его словам, даже если у них вовсе не было пахотной земли, могли давать владельцу не меньше доходу, чем имения „с обширными для хлебопашества землями", притом без всякого отягощения крестьян [1]). Постройка барок общественным мнением тех дней рассматривалась, как чрезвычайно серьезная угроза русским лесам, а что это не было предрассудком, доказывает быстрый рост цен на речные суда: в 1764 г. в Рыбинске барка стоила от 16 до 30 рублей, в 1797 г. от 120 до 350 р. (т.-е., приводя к рублю 60 годов,—от 40. до 120,—цена поднялась от $2^1/_2$ до 3 раз).

Мы имеем косвенное, но довольно убедительное, доказательство того, что всероссийская торговля хлебом была во второй половине XVIII века распространена значительно более, нежели некоторые исследователи принимают даже для первой половины XIX. В неоднократно упоминавшейся нами анкете Вольного Экономического Общества были вопросы и о *хлебных ценах*. Сводя получившиеся на этот вопрос ответы, мы получаем следующую таблицу:

Провинции:	Цены за четверть (в копейках). Ржи.	Овса.	Пшеницы.
Вологодская	100	50	160
Каширская	80—90	50—60	150—160
Оренбургская	50—60	30—40	70—80
Владимирская { в дер. осенью	90	50	180
Владимирская { в гор. зимою	160	95	230
Калужская	60—100	50—60	180
Рязанская	64—72	48—56	120—160
Переясл.-Залесская { minimum	100	56	210
Переясл.-Залесская { maxim. (в недород)	150	85	250 (и выше)
Ингерманландская	200	?	300
Кашинский у. { осенние ц.	160	60—70	240
Кашинский у. { весенние ц.	200—220	100—120	300—340
Слободская Украинская	50	25	60
Изюмская	70	40	130
Ахтырская	60	40	120
Острогожская	60—70	30—40	?
Сумская	90	40	120

[1]) „Труды", XLII, стр. 214 и сл.—ср. 203—206.

Рассматривая эту таблицу, мы сразу замечаем два географических полюса: Петербург (Ингерманландская губ.), с ценами резко выше средних, и степные провинции юга и юго-востока, лишенные всякого сбыта за отсутствием речных путей, с ценами значительно ниже их. О южных степных уездах до первой турецкой войны (а наши цифры относятся именно к этому времени) в этом отношении уже говорилось выше. Об Оренбургской губ. тамошний корреспондент общества, очень известный в те времена агроном Рычков, писал, что „водяной коммуникации из уездов к Оренбургу ни отколе нет", а провоз гужом обходится от 30 до 40 коп. за четверть, т.-е. даже для пшеницы составляет 50% цены самого хлеба, а для овса все 100%. Но даже и здесь производство хлеба на вывоз уже налаживалось,—ниже мы увидим один чрезвычайно резкий признак этого. Как бы то ни было, если брать одно только настоящее, для шестидесятых годов, а не будущее хотя бы ближайшее, мы увидим, что *цены на хлеб*, за исключением столиц, с одной стороны, окраин, отрезанных от остальной России,—с другой, *отличаются поразительной ровностью*: и в Вологде, и в Калуге, и в Кашире, и во Владимире, даже в Рязани цены были приблизительно те же, с колебаниями не больше 12—15%. Только живой обмен хлебом во всей этой полосе мог установить такие однообразные цены. И действительно, за единичными исключенями опять-таки в окраинных провинциях, анкета всюду изображает нам продажу хлеба, как общераспространенное явление. Наиболее „капиталистическими" из охваченных анкетой местностей были Кашинский уезд, несмотря на свое неплодородие, отправлявший хлеб водою в Петербург, и Вологодская провинция, посылавшая его даже, через Архангельск, за границу. Здесь не только хлеб, но и сено „всегда продавалось". Ближе всего к натуральному хозяйству была Калужская провинция. „Хлеба во время и великого урожая, по малоимению у владельцев земель, излишнего от своего употребления в остатке бывает весьма мало,—писал корреспондент последней.—В отпуск в другие места оного никогда не бывает": покупали хлеб будто бы только купцы местных уездных городов, да помещики, у которых хлеб

не уродился. Единственными продуктами земледелия, шедшими за пределы провинции, были, по его словам, конопля, пенька и конопляное масло: он дает их цены у Гжатской пристани. Двадцать лет спустя, Щербатов, который в своих экономических показаниях всегда скорее отставал от своего времени, чем опережал его, дает, однако же, цены *ржи* именно для этой самой Гжатской пристани. Да и сам корреспондент в другом месте проговаривается, что „земледелец" возит хлеб на продажу в уездный город не только в случае исключительного урожая, но и „в обыкновенный год", и цены дает для этого „обыкновенного года". А сходство этих цен с ценами соседних губерний ясно показывает, что уездные купцы, дальше которых не видел калужский помещик, едва ли сами ели купленный ими у „земледельца" хлеб. Вопреки его неоднократному утверждению, „отпуск", таким образом, и из Калужской провинции, несомненно, был. Каширский уезд в отношении сельскохозяйственной культуры был весьма отсталой частью России. Болотов рисует нам чрезвычайно яркую картину почти средневековых отношений. Мы ее ближе коснемся далее. Тем не менее, и здесь торговля хлебом была вполне налажена. Только „скудные и бедные люди" продавали свой урожай на месте, „Имеющие же довольно лошадей" возили уже в уездный город, „где они за хлеб свой лучшую цену получают". А помещики посылали его в Москву „сухим путем", несмотря на то, что Кашира связана непрерывной водяной дорогой с Москвою. Барка, как мы видели, все же стоила денег, а крепостной мужик обязан был возить барский хлеб даром, на своей лошади и своей телеге. В Рязанской провинции помещики, повидимому, никогда не продавали хлеба на месте, а весь отправляли в Москву и другие города, опять-таки сухим путем. Только более емкая мука шла до Москвы на барках и стругах, притом ею торговали уже не помещики, а по большей части купцы. „Провоз сухим путем на четверть подлинно положить невозможно, потому что всяк возит на своих лошадях и своими работниками; но провоз водою от места до Москвы на четверть становится по двадцати копеек". Так как четверть пшеницы на месте стоила не меньше 1 р. 20 к., а ржи—не меньше 60 к., то доставка

хлеба на рынок давала в первом случае накладной расход в 16—17%, во втором—до 33% [1]).

Ровные *географически*, хлебные цены зато тогда, как и теперь, обнаруживали резкие *хронологические* колебания: по сезонам, во-первых, в зависимости от урожайного или неурожайного года, во-вторых. Кашинский корреспондент, потому ли, что он сам был толковее других, оттого ли, что Кашинский уезд был более затронут рассматриваемым нами экономическим процессом, дает наиболее полное объяснение колебаниям первого рода. Он говорит, приведя обычную цену хлеба на месте: „Вышеписанная цена обыкновенно бывает вскоре по убрании с полей хлеба, *уменьшается против весенней цены по причине сбору подушных и оброчных денег*; но *весною*, когда крестьянин небольшое количество родившегося хлеба съест, оставя малую часть для посева, *цена возвышается*". Трудно себе представить более „современную" картину: Тверская губерния уже при Екатерине жила так же, как все русское крестьянство при Александре III и позднее,—только название податей изменилось, да вместо того, чтобы отдавать их в разные руки—то помещику непосредственно, то в казну, они целиком стали отдаваться последней, чтобы потом, в образе ли государева жалованья или под видом займа из дворянского банка, попасть все в тот же помещичий карман. Денежный *помещичий оброк* был сильнейшим стимулом превращения крестьянского хозяйства в денежное, а в нечерноземной полосе в екатерининское время на оброке было 55% всех крестьян [2]). В связи же *с казенными податями* корреспонденты Вольного Экономического Общества особенно часто упоминают *продажу скота*: продавать лишний, а в случае крайности, и не лишний, скот на уплату подушных было, повидимому, чрезвычайно широко распространенным обычаем. Всего более развита была торговля скотом опять-таки в нынешней Тверской губернии. „Здешней народ,—говорит Кашинский корреспондент,—имея мало промыслов, первою в

[1]) О внутренней торговле (вопросы 31—35 и 53 анкеты) см. „Труды", II, стр. 185—186; VII, стр. 73, сл., 158—159. VIII, стр. 149 и 201, XI стр. 102—103; XXIII, стр. 251—252 и 255; XXVI, стр. 49—50 и 53.

[2]) См. *В. И. Семевский*, „Крестьяне при Екатерине II", т. I, стр. 48.

нужде подпорою почитает свой скот, который, хотя бы последний был у него, ведет со двора на рынок, *для заплаты подушных денег и прочих податей*". Но от чего разорялись бедняки, на том более состоятельная часть крестьянства еще наживалась: „семьянистые и домовитые крестьяне, содержа больше скотины, не только оную продают, но скупая у других, оною еще переторговывают; иные по первому пути тушами возят в Петербург или купцам, торгующим мясами, из барышей перепродают. Таковые, не имея довольного числа для скотины корму своего, нанимают луга для сенокоса, или пашню для хлеба, дабы излишнее число тем прокормить". Зачатки *классов и классовой борьбы* мы встречаем, по данным анкеты, не в одном Кашинском уезде. Автор „экономических ответов" из южной части нынешней Олонецкой губернии рассказывает следующее: „Имеющий достаток почти за весь погост платит деньги в нужном случае, а именно, когда должно платить подушные деньги, или употреблять на домашние нужды и на складчину во время рекрутского набора. Но за такое свое благодеяние берет он чрезвычайные проценты, на которые склоняет его староста: и таким образом бедные крестьяне не токмо не могут исправиться, но еще приходят через то в большее разорение" [1]). Чем не 1880-ые годы? А это писано за сто лет до споров о том: есть в России, и в частности в русской деревне, почва для классовой борьбы, или нас господь бог уберег от этой напасти. О податях, как стимуле для „торгового скотоводства", упоминают и вологодский корреспондент („мясо... редко в году употребляют в пищу, ибо от скота что сберегут, то продают на соль себе и в подати"), и сумской, и Болотов из своего средневекового Каширского уезда („во время нужного случая, а *особливо при платеже подушных денег* первое свое прибежище к сей продаже—скота—принимает, и скудные часто до такой крайности доходят, что последнюю корову или овцу продают и платят подушные деньги, или *нужной себе хлеб покупают*"). Последняя фраза Болотова рисует нам такую картину разложения натурального хозяйства, даже в этом медвежьем углу, ярче которой трудно себе что-нибудь представить.

[1]) «Труды», XIII, стр. 40—41.

Но население росло быстрее, чем производство хлеба, и уже 80-ые годы дают нам картину голода, напоминающую конец XIX столетия. „Московская, Калужская, Тульская, Рязанская, Белогородская, Тамбовская губернии и вся Малороссия претерпевают непомерный голод,—писал Щербатов в начале 1788 года,—едят солому, мякину, листья, сено, лебеду, но и сего уже недостает; ибо, к несчастию, и лебеда не родилась, и оной четверть по четыре рубля покупают. Ко мне из Алексинской моей деревни привезли хлеб, испеченной из толченого сена, 2 из мякины и 3 из лебеды. Он в ужесть меня привел, ибо едва на четверть тут четвертка овсяной муки положена. Но как я некоторым и сей показал, мне сказали, что еще хорош, а есть гораздо хуже“ [1]). Цифры того же Щербатова показывают нам, каким темпом и до каких неслыханных прежде размеров поднимались хлебные цены. У Гжатской пристани, главного отпускного „порта“ для восточной части Смоленской и западной—Московской губерний, а также для Калужской провинции, платили за *четверть ржи*:

в 1760 году	. . . . .	— р.	86 к.
„ 1763 „	. . . . .	— „	95 „
„ 1773 „	. . . . .	2 „	19 „
„ 1788 „	. . . . .	7 „	— „

Даже приняв в расчет разницу в цене рубля (ассигнационного с семидесятых годов—при чем к 1790 году ассигнации упали почти на 20% сравнительно с серебром), мы получим увеличение цены за четверть столетия почти на 500%. Если когда-нибудь помещик хлебородной губернии мог колебаться, что выгоднее—завести ли у себя в имении суконную или полотняную фабрику, или же самое имение превратить в фабрику для производства хлеба, теперь этим сомнениям должен был наступить конец: при ценах 80-х годов,—а они держались и в 90-х, когда четверть хлеба стоила не дешевле 4 рублей,—хлеб становился не менее выгоден, чем всякий другой товар. В 60-х годах помещики еще не решили, что лучше—вести ли хозяйство самим, или предоставить его крестьянам, превратившись

---

[1]) «Сочинения», I, стр. 684.

в простых получателей ренты. С этим связаны известные эмансипаторские проекты 60-х годов, которым сочувствовала крупнейшая русская знать, заседавшая на первых местах в только-что основанном Вольном Экономическом Обществе. Под их влиянием, не без участия и разделявшей их взгляды императрицы Екатерины, Общество поставило „задачу": „что полезнее для общества, чтобы крестьянин имел в собственности землю, или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то и другое имение простираться должны?" Премию—100 червонных и золотую медаль—получил Беарде-Делабэ, „доктор прав церковных и гражданских в Ахене". Две цитаты покажут, в каком направлении был дан ответ: § 9: „Человек, осужденный питатися в поте лица своего, без сомнения, должен трудиться: но Бог, подвергая его сему труду, в то же время дал ему и право на ту самую землю, которую принужден он был обрабатывать"; § 11: „Но узнав все прибытки, происходящие от собственности, крестьянам дозволенной, каким образом должно их до того доводить? *Как могут они владеть землею, будучи сами во власти у других*? Раб, сам в себе невластный, никогда не может иметь владения, как только мнимого: ибо *собственность не может быть без вольности.* Богатство, принадлежащее рабу, подобно брякушкам серебряным, у собаки на ошейнике висящим: все принадлежит господину. Излишне входить о сем в дальнейшие подробности: ясно, что прежде, нежели дать рабу какое имение, надлежит необходимо сделать его свободным". Понятно, что попытка напечатать это произведение на русском языке произвела среди тогдашних помещиков впечатление настоящего скандала; даже в Обществе предложение не собрало сначала большинства. Но количество должно было уступить качеству: за напечатание высказались такие члены Общества, как гр. Орловы, гр. Чернышевы, Сиверс и др.,—а за ними, как всем было известно, стояла императрица. Трактат „доктора церковных и гражданских прав" был напечатан в русском переводе [1]). Дочитав его до конца, успокоились, вероятно, и

---

[1]) В VIII части «Трудов В. Э. О.», откуда мы и берем наши цитаты. Курсив, конечно, наш.

наиболее ожесточенные его противники: Беарде, практически, не предлагал ничего такого, что шло бы вразрез с интересами владельцев *оброчных* деревень. Сущность его проекта сводилась к тому, чтобы, дав крестьянину юридическую свободу,—притом не сразу, а очень постепенно, следуя столь оригинально понятому Екатериною правилу Монтескье,—и небольшой участок земли, и то и другое не даром, а за выкуп, увеличить этим производительность крестьянского труда,—а, стало быть, и размер оброка. „Дайте собственность крестьянину; пускай бы он имел какое-нибудь имение: тогда можете вы без всякого страха препоручить ему управление своих доходов; вы не будете ничего опасаться в рассуждении цены, за какую вы оное ему уступите: небольшое его поместье, или ,лучше сказать, охота, с которою он прилепится к новому своему имению, будет вам порукою во всем. Таким-то образом, *богатые, способствуя благополучию крестьян, умножат собственное свое богатство, и доходы их тем надежнее будут.* Владельцы, познав истинные свои пользы, *препоручивши им свои земли и попечение о полученном с них доходе*, умножат тот самый доход...“ Юридически-свободный крестьянин, фактически поставленный в необходимость арендовать барскую землю,—вот тип, весьма хорошо знакомый нам, тип, который, в качестве идеала, рекомендовал Беарде-Делабэ своим знатным читателям. И, предвидя возражение, что крестьянин не удовлетворится этою свободой, воспользовавшись ею просто для того, чтобы сбежать из имения, ученый доктор ссылается на пример Европы. „Нет господа,—говорит он своим воображаемым возражателям,—никогда не вздумают они бежать. Воззрите на примеры всех благоустроенных в Европе народов; подражайте оным. Богатые, *не утруждая себя всегдашним надзиранием*, получают исправно и порядочно свои доходы. Удовольствие видеть следующую везде за вами собачку, которая вас любит и вас ласкает, может ли сравняемо быть с тягостным трудом водить медведя?“ Все это звучало очень приятно для ушей сверстников жившего исключительно на денежные доходы „графа N.N.“,—пока оброки, т.-е. отхожие промыслы, сулили, по крайней мере, не меньше, чем земледелие. Но когда хлеб, вместо рубля за

четверть, стал давать четыре, находилось все больше и больше помещиков, легко соглашавшихся „водить медведя“ (столь прибыльного!) и „утруждать себя всегдашним надзиранием“. Сорок лет после Беарде то же Вольное Экономическое Общество премирует Швиткова, который о свободе рассуждал, как мы видели, совершенно иначе, нежели „доктор церковного и гражданского права“, и категорически рекомендовал *барщинное* хозяйство перед оброчным. В добросовестность „ласковой собачки“ Швитков решительно отказывается верить и, даже допуская, что оброчный крестьянин от своего хозяйства будет иметь хороший доход, он сомневается, чтобы тот пожелал делиться этим доходом со своим барином. „Часто случается,—пишет он,—что при всем изобилии сельских произведений, которыми крестьяне могут наживать себе и деньги, в приобретении потребного оных количества для оброка могут они господ своих обманывать, *а количество их же трудами приобретаемых сельских произведений всегда может быть виднее*: то по сим причинам судя, я полагаю, что лучше обложить крестьян рабочею, нежели денежною повинностью... Мне кажется всегда лучше, чтобы помещики ссужали крестьян своих нужным количеством денег за их работу [1]), нежели чтобы крестьяне промышляли деньги для помещиков. И сколь оно удобно, особливо в нынешние благословенные времена, когда и из благородного дворянства помещики имеют привилегию не только держать подряды и откупы, но и производить торговлю наравне с купечеством! Товар они имеют всегда готовый, т.-е. сельские произведения, трудами поселян приобретаемые, которые во всяком, а особливо в известных местах, платятся весьма дорого“ [2]).

Так, к концу XVIII века, „избыточное население“, от которого за сорок лет раньше помещик не знал, как избавиться (при условии сохранения своего дохода, разумеется), становится необходимо нужно в самом имении,— и помещик начинает находить, что у него не только нет „лишних“ людей, а даже едва-едва хватает тех, которые

---

[1]) Швитков имеет в виду уплату подушных за барщинных крестьян их господами.

[2]) Труды, ч. XII, стр. 113—115.

есть. Мы напрасно стали бы искать каких-нибудь политических или, тем более, индивидуально-психологических причин тому, что эмансипаторские проекты Екатерины II увяли, не успев расцвести. Идею освобождения крестьян в XVIII веке убили хлебные цены. Дальнейшее повышение этих цен в половине XIX века сделало снова всех умных помещиков эмансипаторами,—а их падение сорок лет тому назад снова развило сильнейшие крепостнические тенденции в русском дворянстве. Что хозяйство, основанное на рабском труде, рано или поздно должно было очутиться в экономическом тупике, подобном тому, в какой попала римская империя в первые века нашей эры—и из которого этой империи вовсе не удалось выйти—это могли бы предсказать и современники Беарде-Делабэ. Но теоретические выкладки всего меньше могли иметь влияние на ход хозяйственного развития. Огромное вздорожание „сельских произведений" толкало к *интенсификации помещичьего хозяйства*, а это последнее в данный момент не могло обойтись без барщинного труда крестьян; интенсификация хозяйства должна была свестись к *интенсификации барщины*.

Эту последнюю можно уже заметить по анкете Вольного Экономического Общества, хотя анкета двадцатью годами предшествовала тому колоссальному подъему хлебных цен, какой отмечен Щербатовым. Наиболее типичные для середины столетия условия изображает, повидимому, Болотов—отвечая на вопросы анкеты по Каширскому уезду. Как мы уже упоминали, картина получается средневековая: чересполосица, или, как он выражается, „разнобоярщина и чересдесятинщина", в связи с этим *принудительный севооборот*, плохое удобрение—потому что на дальние полосы иногда даже и не доберешься—и т. д., и т. д. Все эти отрицательные стороны средневекового экономического режима Болотов рисует чрезвычайно яркими красками: интенсификация хозяйства уж очень его озабочивает, а он вполне отчетливо сознает, какой вред для нее представляет, например, чересполосица. „Чересдесятинщина препятствует земледельцу малою своею землею по своему хотению пользоваться и оную под такой хлеб или произрастание употреблять, и то на ней в разные года сеять, что бы он за лучшее признавал. Она

отнимает у него руки и не допускает ни до каких предприятий...“ Она связывала не только крестьянина, но и помещика: ибо и помещичья земля, обыкновенно в перемежку с крестьянскою, была „изрезана на мелкие полосы и по них разделена“. Выделять помещичью землю к одному месту только еще „в иных местах начинали“: иными словами, особой барской запашки в Каширском уезде 1760-х годов, как правило, не было,—а крестьянин пахал часть своих полос не на себя, а на господина. Это был большой архаизм: в хорошо устроенном имении даже сороковых годов барская пашня была уже выделена в самостоятельное целое [1]). Тем характернее, что *количество* пахавшихся крестьянами на барина полосок было не меньше, чем в правильно организованном имении 40-х годов: в Каширском уезде, обыкновенно, *половина* рабочей силы тратилась на барина (или один работник с полного тягла, т.-е. один из двух, *постоянно* пахал на барина, или все тягло три дня в неделю работало на барина, три дня на себя), *а иногда и больше*. Между тем, Татищев, в 1742 году, считал трехдневную барщину *максимальной*. Определяя, как и Болотов, размеры ее размерами земли, которую крестьянин пашет как на барина, так и на себя, Татищев говорит: „*в случае недостатка земли* помещику делить землю с крестьянами пополам (иначе барская пашня должна была составлять *меньшую* часть имения, а крестьянская *большую*)... а есть ли того не достанет крестьянам, то такие деревни должны быть на оброке необходимо“. Сравнительно с картиной застоя, которую представлял собою Каширский уезд („ежели сказать об урожае хлеба, то в здешних местах хлебы за несколько уже лет хуже прежних родятся“, нехотя признается Болотов), соседняя Рязанская провинция давала яркие признаки сельскохозяйственного прогресса: „здесь земледелие ни в которых местах в упадок против прежнего не пришло, но еще размножается,—писал рязанский корреспондент:—ибо всяк тщится во всяком довольствии себя видеть, к чему

---

[1]) См. «Краткие экономические до деревни следующие записки», *Татищева*. «Временник» Общ. Ист. и Древн. Росс., ч. XII, стр. 12—13.

росчисти, а по способности и луга в высоких местах употребляют в пашню". Зато здесь и барская запашка,— а стало быть, и барщинная повинность—достигала размеров, не знакомых Кашире. Характерно уже то, что работу крестьянина на своем наделе рязанский корреспондент склонен рассматривать как исключение,—а работу на барской пашне как правило. Присмотритесь к его манере выражаться: „Помещичьим крестьянам свободные дни даются на себя работать не равно, но по рассмотрению помещика: *и так у некоторых в неделе, кроме праздников, один день, а прочие дни на господина*; а у других два дня на помещика, а третий крестьянину". В Переяславль-Залесской провинции свободных дней помещичьему крестьянину давалось „в неделю *два дня, а прочие дни работают на господина*". Кашинский корреспондент очень желал быть оптимистом в вопросе о крестьянских повинностях [1]),—но, начав за здравие, он, нечаянно для самого себя, кончает за упокой. „С осмака („тягло из двух мужиков и двух баб состоящее") один крестьянин с женою ходит всякий день на барскую работу, а другой с бабою всегда дома, воскресные же дни и прочие праздники также от господской работы уволен (видите, какая идилия!), и следовательно имеет в год больше дней на себя работать, нежели на помещика. *Случается также, что во время жнитва*, где не разделена господская пашня, *или в сенокос, ходят они поголовно*, то-есть, иногда трое, иногда четверо с тягла; но сие бывает не всегда (еще бы!), или после за то какая дается выгода". И наконец, оренбургский корреспондент, суровый и правдивый Рычков, так характеризует положение дела в своей губернии: „Крестьяне помещичьи работают на своего господина по три дня в неделю, столько же и на себя, а воскресный день оставляется им свободен, *но больше употребляют они так, как помещик хочет*. Есть и такие еще помещики, что *повседневно наряжают их на свои работы, а крестьянам для пропи-*

[1]) По словам Семевского, ответы на данный вопрос „Трудах" вообще напечатаны с некоторыми купюрами — выкинуто наиболее яркое.

тания их дают один месячный хлеб". Это первое упоминание о *плантационном хозяйстве*, какое мы встречаем в литературе—притом не в сатире, как впоследствии у Радищева, а в чисто деловом сообщении. И современники (Болтин) и новейшие исследователи (В. И. Семевский) оспаривают, чтобы подмеченное Рычковым явление—на котором он настаивает и в других своих писаниях—было общераспространенным. Первый оперирует методом того француза, который давал честное слово, что земля вертится, и спор его с Рычковым может быть решен только сопоставлением их авторитетов—одного из первых агрономов своего времени и дилетанта-историка, умного, наблюдательного, но еще менее, чем Щербатов, способного критически отнестись к своим собственным наблюдениям [1]). Г. Семевский обосновывает свое заключение на просмотренных им описаниях огромного количества имений средней России, — где он нашел лишь два-три случая, когда в имении отмечены одни дворовые, а пашня была. Но помещик очень редко мог иметь побуждение юридически раскрестьянивать своих крепостных — ибо это, прежде всего, вело к *личной* ответственности за подушные. Оставить крестьянину хотя бы видимость своего хозяйства было в его интересах: но это „свое хозяйство" могло быть не крупнее того участка, который, сплошь и рядом, давался и античному рабу, чтобы отнять у него побуждение к побегу, и который, конечно, не делал еще этого раба крестьянином в настоящем смысле этого слова. Только дальнейшие архивные изыскания смогут решить вопрос окончательно. Историк, вынужденный опираться на печатный материал, может лишь констатировать, что тенденции—превратить крестьянина в живой инвентарь, в некоторое подобие античного раба или негра на американской плантации (отсюда, как известно, и термин „плантационное хозяйство"), существовали повсюду, а не в одной Оренбургской губернии. Хотя возможно, что в последней необычайно благодарная почва и малое, относительно, количество рабочих рук создавали для помещика

---

[1]) При том отдельных случаев плантационного хозяйства—якобы как остатка варварской старины—и Болтин не отрицает.

больший соблазн доводить до крайности эксплоатацию крепостной рабочей силы, чем в других местах. Недаром Оренбургская губерния, так скоро после описания ее Рычковым, стала ареной Пугачевского бунта.

5. Домашний враг.

„Что бы ни говорили в доказательство противного, императрица здесь далеко не популярна и даже не стремится к тому,—писал один иностранный дипломат, характеризуя положение Екатерины в средине 1772 года.—Она нисколько не любит своего народа и не приобрела его любви; чувство, которое в ней пополняет недостаток этих побуждений к великим замыслам, безграничная жажда славы; приобрести эту славу для нее гораздо важнее истинного блага той страны, которою она управляет. Это, по моему, ясно следует из положения здешних дел, если рассмотреть его беспристрастно. Без этого предположения мы должны были бы обвинить ее в непоследовательности и сумасбродстве, видя, как она предпринимает огромные общественные работы, основывает коллегии и академии по чрезвычайно обширным планам и с огромными издержками, а между тем ничего не доводит до конца и даже не доканчивает зданий, предназначенных для этих учреждений. Нет сомнения, что таким путем растрачиваются огромные суммы без малейшей реальной пользы для этой страны, но не менее несомненно и то, что этого достаточно для распространения молвы об этих учреждениях между иностранцами, которые не следят, да, в сущности, и возможности не имеют следить за их дальнейшим развитием и результатами“ [1]).

Иностранный наблюдатель делал из этого вывод о неизбежности близкой „революции“, т.-е. нового дворцового переворота, в пользу, как казалось ему, Павла Петровича. По его мнению, отношения между матерью и сыном (которому не было еще и двадцати лет) уже тогда

[1]) Донесение английского посланника Роб. Гуннинга гр. Суффольк от 28 июля 1772 г. Сб. Р. И. О., XIX, стр. 298—299. Мы позволили себе несколько изменить перевод, сделанный чересчур канцелярским языком.

отличались крайней степенью остроты. Поговаривали, что Екатерина не прочь избавиться от сына, и сам Павел был убежден, что его хотят отравить. В материале для нового заговора недостатков, как будто, не было. Не считая громкого дела Мировича, попытавшегося посадить опять на престол однажды уже сведенного с него Ивана, первое десятилетие екатерининского царствования наполнено целой вереницей аналогичных попыток, которые Екатерина и ее окружающие имели весь интерес выставить перед публикой пустяками и вздором,—а позднейшие историки слишком легко поверили в этом случае заинтересованным людям. На самом деле, это был не более и не менее вздор, нежели первые неудачные вспышки заговора в пользу Елизаветы Петровны. Как тогда имя Волынского, так теперь в заговорах мелькали имена Никиты Панина, Шуваловых—даже знакомого нам кн. Щербатова: одна группка гвардейцев не прочь была сделать основателя российского „монаршизма" русским монархом. Эта, на первый взгляд самая курьезная, подробность свидетельствует, может быть, что движение после разгона комиссии 1767 года приобрело более серьезный политический оттенок, нежели какое-либо гвардейское движение, бывшее раньше. Недаром и Екатерина, по обычаю притворяясь для публики, что она считает и это дело чуть не детской шалостью, в действительности очень хотела бы его замять так, чтобы публика, по возможности, ровно ничего не знала. „Скажите Чичерину (генерал-полицеймейстеру),—писала она в одной записке,—что если по городу слышно будет, что многие берутся и взяты солдаты под караул, то чтоб он выдумал бы бредню и ее б пропустил, *чтобы настоящую закрыть*, или же и то сказать можно, что заврались". Боялась она, конечно, не Панина и тем более не Щербатова: последний, вероятно, и узнал-то о предназначавшейся ему роли из следствия. Первый стоял ближе, может быть, если не к этому, то к предшествующим заговорам: недаром ему было дано прочесть дело Волынского в назидание. Но костей не ломали и ему: Екатерина была слишком европейской государыней, чтобы устроить скандал на всю Европу, как не постеснилась в свое время простая русская помещица, Анна Ивановна. Главное же—центральной фигурой всех

толков были не „министры“, надежные или нет—ею был все тот же Павел Петрович, имя которого с уст не сходило у всех „болтунов“ без исключения. Эту фигуру было не так легко убрать. И пока на это не решались, оставалось терроризировать сторонников Павла, назначая за „детские шалости“ такие кары, что впору хоть очень зрелым людям. В записках Державина сохранился рассказ, живо рисующий одну из таких расправ—да кстати и настроение, какое они создавали в гвардии. „В один год (это был год 1772), помнится, в июле месяце, отдан приказ, чтобы выводить роты на большое парадное место в три часа по утру. Прапорщик Державин приехал на ротный плац в назначенное время. К удивлению, не нашел там не токмо капитана, но никого из офицеров, кроме рядовых и унтер-офицеров; фельдфебель отрапортовал ему, что *все больны*. Итак, когда пришла пора, он должен вести один людей на полковое парадное место. Там нашел майора Маслова, и прочие роты начали собираться. Когда построились, сказано было: „к ноге положи“, и ученья никакого не было. Таким образом прождали с трех часов до 9 часа в великом безмолвии, недоумевая, что бы это значило. Наконец, от стороны слобод, что на Песках, услышали звук цепей. Потом показались взводы солдат в синих мундирах. Это была Семеновская рота. Приказано было полку сделать каре, в который, к ужасу всех, введен в изнуренном виде и бледный унтер-офицер Оловянишников и с ним 12 человек лучших гренадер. Прочтен указ императрицы и приговор преступников. Они умышляли на ее жизнь. Им учинена торговая казнь; одели в рогожное рубище и тут же, посажав в подвезенные кибитки, отвезли в ссылку в Сибирь. Жалко было и ужасно видеть терзание их катом, но ужаснее того мысль, что мог благородный человек навлечь на себя такое бедствие. Однако же таковых умышлений на императрицу было не одно сие, окроме возмущения злодея Пугачева, которое будет ниже несколько обстоятельнее описано“... „Возмущение злодея Пугачева“ и положило конец дворянским „умышлениям“. Все мелкие счеты между сюзереном и его вассалами были забыты, когда у ног их открылась пропасть, куда „чернь“—вилланы, чтобы продолжить сравнение—готовилась сбросить

сразу и императрицу, и ее дворянство. Пугачевщина потрясла до основания империю Екатерины, но она, как не надо лучше, укрепила положение ее самое, лично.

Когда, также знакомый нам, Рычков сидел в осажденном Пугачевым Оренбурге, он от скуки занялся описанием бунта Стеньки Разина и написал „большую тетрадь". Два казацко-крестьянских восстания, отделенные друг от друга почти ровно столетним промежутком, и тогда, как теперь, были связаны в умах публики прочной „ассоциацией по сходству". Новейшая историография, однако же, довольно давно заметила, что ассоциация идет скорее в другую сторону, и уже Соловьев указывал на почти фотографическое сходство начала разинского восстания с началами казацких „рухов" в Приднепровье. Как у запорожцев, так и у донцов дело начиналось с того, что казакам отрезывали дорогу к морю, лишая их тем промысла, столь же исконного на Дону, как и на Днепре. Для донцов решающим моментом была, по словам Соловьева, постройка турками Азова, перекинувшая казацкие походы с Дона на нижнюю Волгу и Каспийское море. Он не договаривает, что там, на только что проторенной большой дороге из Западной Европы в Персию, казачество должно было встретиться с крупнейшей экономической силой эпохи— торговым капиталом, к которому уж начало поступать на службу московское государство. Исконный промысел вдруг стал необычайно выгодным, но и страшно опасным: удачливый атаман на новой дороге мог награбить так много как никогда раньше, но зато и встретить на своем пути силу, какой раньше донцам никогда не приходилось видеть против себя. Что Астрахань защищали от Стеньки немцы, это было таким же выразительным символом, как и то, что окончательный удар казацким отрядам нанесли европейски обученные войска кн. Барятинского. Тут столкнулись между собою два этапа коммерческого развития: „разбойничья торговля" первобытного типа с колониальным предприятием XVII века. И то, и другое по отношению к коренной России было периферийным явлением, каким остались бы и набеги запорожцев на польские области, не захвати революционное движение оседлого и зажиточного казачества, „дуков", с одной стороны

„посполитых", крепостного крестьянства, с другой. Но зажиточная часть донского казачества с самого начала отнеслась к разинскому движению очень холодно, а для восстания крепостных в коренных московских областях как раз 1668—69 годы были наименее подходящим моментом, ибо крестьянское хозяйство именно в эту эпоху шло на подъем, а не на убыль[1]). Оттого Разинщина, кроме Поволжья в тесном смысле, где ее отряды пополнялись в первую голову из населения, непосредственно эксплоатировавшегося торговым капиталом (бурлаков, грузчиков, нижних слоев посадского населения и т. под.), захватила только свеже-колонизованную окраину тогдашней Руси: Тамбов и другие соседние города, оказавшиеся в черте восстания, были основаны всего за тридцать лет до Разина К Москве она не подошла и с московскими движениями того времени, весьма не редкими (из-за медных рублей например), не связалась. Оттого и непосредственного влияния разинского восстания на судьбу собственно московских дел нельзя подметить: и до, и после него режим был тот же, и даже на прогрессе торгового капитализма оно сколько-нибудь заметно не отразилось. Роль пугачевщины, с этой точки зрения, была совершенно иная. Она положила резкую грань между двумя периодами развития „дворянской России". Последующие три четверти столетия русской истории проходят под знаком пугачевщины, и только переход к новым условиям производства, с 60-х годов, снимает этот „знак"; снимает настолько основательно, что возобновление явления оказывается невозможным даже при самых, на первый взгляд, благоприятных условиях. Пугачевщина нанесла удар, глубоко проникший в самую сердцевину крепостного хозяйства: и это потому, что она сама была продуктом обще-русских экономических условий, которые на восточной окраине проявлялись наиболее интенсивно, но отнюдь не были ее местной особенностью. Восстание крестьян в 1773—4 годах было первым ответом на *интенсификацию барщины*, и новый Петр III нигде не имел более верных сторонников, как среди *уральских горнорабочих*, представителей той отрасли кре-

[1] См. „Русскую историю", т. II.

постного труда, где интенсификация была доведена до последних пределов. Этот факт хорошо отметили уже современники, хотя и не понимая его экономической подкладки: биограф Бибикова, писавший с их слов (когда вышла его книга, всякий помещик за пятьдесят лет мог рассказывать о Пугачеве по личным воспоминаниям), среди „подлой черни", составлявшей пугачевскую армию, на первое место выдвигает „рудокопов". Без них не было бы той „пугачевщины", какую мы знаем, было бы лишь слабое повторение одного из казацких бунтов, вроде булавинского при Петре. В сущности, вся пугачевщина явилась соединением двух взрывов, вызванных каждый самостоятельными причинами: то были конечные эпизоды борьбы за свободу уральского крестьянства, с одной стороны, уральского казачества—с другой. Разобравшись в антецедентах бунта в том и в другом случае, мы будем иметь уже достаточно полную его „этиологию"—достаточно полное представление об его причинах. Уральское движение было самостоятельным, остальное лишь сообщенным: но сообщиться оно могло только потому, что основной экономический фон всюду был одинаков, разница была лишь в степени интенсивности гнета и, отчасти, в связи с этим, в степени организованности движения.

Горнозаводские крестьяне (их в 60-х годах на Урале считалось до 100.000 душ мужского пола) не были юридически крепостными. Это, как мы уже упоминали, были черносошные, казенные крестьяне, отрабатывавшие на заводах свою подушную подать, то-есть таково было их *правовое* положение. По инструкции 1734 г. всем заводчикам, в видах расширения их производства и устройства новых заводов, было обещано от 100 до 150 дворов государственных крестьян к каждой доменной печи и по 30 дворов к каждому молоту. Заводчик обязывался платить за этих крестьян подати, как помещик за своих крепостных, а крестьяне на него работать, по известной таксе: выработанные ими деньги не выдавались им на руки, а засчитывались в подать. По расчету одного новейшего исследователя для довольно типичного случая, каждому работоспособному крестьянину, чтобы выработать подати, приходилось затратить на заводскую работу 120 дней: другими словами,

по тяжести, заводская работа равнялась, приблизительно, двухдневной барщине [1]). Это было бы еще не так тяжело, если бы соблюдалось требование инструкции—приписывать *ближайшие* к заводам деревни. На самом деле, юридическая оболочка никого не обманывала: дело шло о возможности *получить крепостных из казны*, и само собою разумеется, что заводчики и их управители тянулись к лучшим, наиболее богатым и населенным волостям. В результате, „заводские" крестьяне оказывались за 400, 500 и даже 700 верст от завода, к которому они были приписаны. Это одно уже делало заводскую барщину исключительно тяжелой. „Земледельцы не могут пропитаться своим собственным хлебом,—говорит Н. Рычков о Соликамском уезде около 1770 года:—сие не столько от посредственного плодородия их земель, но больше оттого, что обитатели сей области почти все к заводам приписные крестьяне, а потому большая часть из них, упражнены будучи заводскими работами, не имеют довольно времени к распространению своего хлебопашества. Ибо в тот час, когда руки земледельцев должны обрабатывать свои земли и пользоваться плодами, от нее произрастаемыми, принуждены они итти на заводы, находящиеся от них в весьма дальном расстоянии, каковые суть заводы верхотурского купца Походяшина, лежащие в 500 верстах от тех селений, кои к ним приписаны, и еще в таких местах куда и пешим с великим трудом пройти возможно по причине чрезмерно болотистых и лесистых мест". По расчету того же исследователя для того же типичного случая, походы приписных крестьян на завод при расстоянии, которое можно считать скорее средним, чем очень большим (400 верст), брали у них 96 дней в год: то-есть их барщина растягивалась до 216 дней, из двухдневной превращаясь в четырехдневную. Это уже одно делало положение „приписных" значительно худшим в сравнении с *средним* положением барщинного крестьянина по всей России; но это было далеко не все. Работа крестьян на их наделах и заводская барщина сталкивались не только потому, что вторая брала время, нужное для

[1]) *В. Семевский*, цит. сочин., т. II, стр. 364.

первой. По самым условиям производства заводская работа требовала *непрерывности*: доменную печь потушить было нельзя,—потухшая домна была крупным убытком для заводчика. Странно было бы думать, что более сильный пойдет в этом случае на убытки ради интересов более слабого: и вот, заводчики начинают систематически стремиться к ликвидации собственного крестьянского хозяйства, к *пролетаризации крестьянства*, чтобы иметь рабочие руки при заводе всегда. „Я многих (заводчиков) знаю,—писал в 1765 году оренбургский губернатор Волков,—*кои за правило почитают, дабы их заводские крестьяне совсем домоустройства не имели, а единственно от заводской работы питались*; и сего правила тем прилежнее держатся, что в то же время и сугубую от того пользу получают". „Сугубая польза" заключалась в том, что заводчик эксплоатировал пролетаризованного им крестьянина совершенно так же, как фабрикант второй половины XIX века своих „свободных" рабочих: заставляя его покупать все необходимое, до хлеба включительно, в заводской лавке, с крупной для предпринимателя прибылью. Челобитная крестьян демидовских заводов (1741 года) дает яркую картинку этой пролетаризации в условиях глубоко-феодального режима. В рабочую пору демидовские приказчики наезжали на деревни с солдатами и били дубинами и батогами старост, выборных десятников и писарей, требуя, чтобы они, в свою очередь, гнали крестьян на заводскую работу. „Когда приказчики наших крестьян увидят на пашнях,—писали челобитники,—то и работать им не дают, и бьют смертельно, и приговаривают... работай на заводе, а не на своих пашнях". Ко времени челобитной цель была уже в значительной степени достигнута: „уже не малая часть" демидовских крестьян „произошла пустотою и многие в убожество и в крайнее разорение пришли и подушного окладу платить нам нечем". Приводить последний мотив было большой наивностью: за уплату подушных отвечал заводчик, покупавший этим рабочие руки приблизительно втрое дешевле, чем они стоили тогда на Урале [1]). „Конечное"

[1]) Или, по крайней мере, вдвое: сажень нарубленных дров засчитывалась приписным в 25 коп. а исполнить эту работу

же „разорение" было прямо в его расчетах, и Демидов прекрасно это понимал; рекомендуя своим детям терпеливо относиться к забастовке и их „крепостных пролетариев", он высказывал твердую уверенность, что голод, рано или поздно, пригонит их обратно на завод.

Плантационное хозяйство, которое в земледельческой полосе было, во всяком случае, исключением, хотя, может быть, гораздо более частым, чем обыкновенно думают, на уральских заводах становилось правилом: „приписной" крестьянин все больше и больше обращался в безземельного раба, которого хозяин кормил и одевал, эксплоатируя за то и его, и его семью (случаи применения детского труда уже встречаются), как ему заблагорассудится. Нет надобности говорить, что условия труда вполне отвечали всей картине тогдашнего режима: никаких признаков „фабричной гигиены", разумеется, не существовало; рабочие задыхались в шахтах, лишенных вентиляции, их заливало водой, они наживали себе скорбут и другие болезни,—обезлюдив одну деревню, заводчик хлопотал о приписке другой, и только. Особенно мало заботились об этом привилегированные заводчики из крупной знати, которые, как грибы после дождя, стали расти в конце царствования Елизаветы, с развитием спроса на уральское железо за границей: Шувалов (у одного Петра Ивановича, так хорошо знакомого, было до 25.000 душ „приписных"), Чернышев, Воронцов и др. При этом дисциплина на заводе XVIII века была такая же , как и в крепостном имении, и если на фабриках XX века „начальство" сплошь и рядом давало волю рукам, можно себе представить, что было в те времена. „При заводской работе происходило нам не точию излишнее противу положенных на нас подушного оклада и оброчного провианта отягощение, но и самые мучительные ругательства", писали демидовские же крестьяне (в одной челобитной, несколько более поздней, чем цитированная выше). „...Его, Демидова, приказчики и нарядчики, незнаемо за

вольнонаемными стоило от 50 до 60 к., См. мнение депутата комиссии 1767 г. Полежаева у г. *Семевского* ib., 437. Большая часть цитат взята из этого же сочинения.

что, немилостиво били батожьем и кнутьями, многих крестьян смертельно изувечили, от которых побой долговременно, недель по шести и по полугоду не зарастали с червием раны. От тех же побой из молодых в военную службу за увечьем в отдачу уже быть не способны; а заводских и домашних работ исправлять не могут (а иные померли). А за принесенную в обиде жалобу, дабы и впредь нигде не били челом, приказом приказчиков и нарядчиков, навязав яко татю на шею колодки и водя по дровосекам и шалашам, а в заводе по улицам, по плотинам и по фабрикам, ременными кнутьями немилосердно злодейски мучили..." Крестьяне называли при этом по именам 12 человек, засеченных приказчиками до смерти [1]).

Для того чтобы правильно оценить то действие, которое процесс закрепощения должен был произвести на психику уральских крестьян, надо не забывать двух обстоятельств: во-первых, что процесс этот, тянувшийся в земледельческой России с незапамятных времен, здесь начался и кончился на глазах у одного поколения—ко времени пугачевщины во многих местах могли быть живы люди, которые не только родились, но и выросли свободными черносошными крестьянами; во-вторых, что, благодаря именно этой постепенности, всюду право успело приспособиться к экономической действительности, подчинившей себе все—и религию, и мораль: и государев указ, и поучение сельского попа, и „обычай", свято хранимый мудрыми стариками, дожившими до старости именно потому, что они были самыми усердными холопами, твердили крепостному об одном: нужно слушаться барина. На Урале не было ничего подобного: на бумаге „приписные" продолжали оставаться свободными, наезжие государевы чиновники на словах не решались этого отрицать, как ни сильно они тянули руку заводчиков, и ни в каком священном писании нельзя было отыскать текстов, которые бы уполномочивали Демидова драть семь шкур со своих мужиков,—„обычаи" же все говорили о свободе. В первую минуту уральским крестьянам и казалось, что вполне возможно легальное сопротивление надвигавшейся

---

[1]) Ibid., 368—369.

на них крепости. По дальности расстояния о них забыли—вот заводчики и начали своевольничать; надо напомнить о себе, и управа на лиходеев найдется. Они писали прошения в главную канцелярию заводов в Екатеринбурге—с них брали взятки, огромные по времени и положению просителей, до 100—150 рублей (700—1000 на золот. деньги), и потом издевались над ними. Они посылали ходоков—их сажали в тюрьму, заковывали в кандалы, надевали им на шею рогатки и отправляли работать вместе с каторжниками. Естественно, должна была явиться мысль—пока еще не о том, что легальный путь ни к чему не приведет, а о том, что они ищут управы не по тому направлению, по какому нужно. Настоящее ли это начальство, которое не хочет исполнять требований, до очевидности законных? Не узурпаторы ли это, посаженные заводчиками? „Узурпаторы" действуют от имени императрицы Екатерины II; не в этом ли обман? где же Петр III? почему он так скоро исчез? Уже в 1763 году на Урале питали сильные сомнения по этому случаю, и священник одного села, не без побуждения своих прихожан, конечно, служил молебен о здравии Петра Федоровича. А два года спустя, почти за десять лет до Пугачева, по Уралу уже ходят слухи, что Петр Федорович не только жив, но и находится здесь, на Урале—называли даже крестьянина, в избе которого он ночевал. А крестьянские ходоки собирают указы Петра III, подлинные и подложные—да, говорят, это еще не все: есть другие, откуда крестьянская правда видна еще лучше. Идеология уральской революции 1773 года была, таким образом, готова.

Ее тактика была готова еще раньше. Было бы верхом наивности думать, что восстание станет дожидаться, пока сложится юридическая теория, которою можно его оправдать: во всех революциях люди начинают действовать стихийно,—теорию они находят, или теория их находит—потом. Уже самая «приписка» крестьян к заводам редко проходила спокойно: для того чтобы получить фактически, а не на бумаге только, рабочих для Авзяно-Петровского завода (впоследствии одного из главных опорных пунктов пугачевщины на Урале), П. И. Шувалову пришлось прибегнуть к содействию целого драгунского полка, специ-

ально присланного из Казани. „Приписные“ были жестоко перепороты, и часть их отдана в каторжные работы—на те же самые шуваловские заводы. В то же время (1750-е годы) Сиверс „приписывал“ крестьян к своему заводу при помощи шести рот пехоты. Чтобы читатель оценил, как следует, эту военную статистику, вот один пример, живо рисующий тогдашние условия по этой части: когда посланный по специальному поручению Екатерины на Урал кн. Вяземский затребовал из Казани 100 человек солдат, ему ответили, что в городе *всего* 33 гренадера и мушкетера. При таком положении вещей мобилизовать полк или шесть рот было все равно, что теперь двинуть дивизию или бригаду. Но с меньшими силами нельзя было иногда подступиться к взволнованным „приписным“. В 1760 и следующих годах около Масленского острога, на юго-востоке нынешней Пермской губернии, происходили настоящие военные действия. Крестьяне заняли „крепость“ (острог был окружен деревянными стенами) вооруженным отрядом в несколько сот человек. Сотня из них имела ружья, остальные были вооружены копьями, бердышами, дубинами, иные имели луки и стрелы. Подступы к крепости были заперты рогатками, а около ворот были насыпаны кучи камней „и прочих к сопротивлению разных орудий“. По дорогам держалась строгая караульная служба, а крепостной гарнизон производил по временам правильные учения. Маленькие воинские команды, приходившие по вызову демидовских приказчиков—они были тогда неприятелем, на которого ополчились крестьяне,—и подступиться не смели к этому укрепленному лагерю. Демидовская администрация вызвала тогда из Оренбурга отряд гренадер с пушкой и две роты драгун и воспользовалась проходом из Сибири полка донских казаков: вокруг крестьянской крепости было сосредоточено до 600 человек войска. Но крестьяне и тут не сдались—удачно отбились от казаков и храбро выдержали бомбардировку из полковой пушки. Тогда драгуны пошли на приступ, и после жестокого рукопашного боя, в котором войска потеряли более 50 человек, острог был взят. После этого в соседней шадринской тюрьме оказалось 300 колодников, да такому же числу удалось бежать—убито во время усмире-

ния тоже было, конечно, не малое количество: а всего-то речь шла о приписке 2.000 душ мужского пола. Восстание было едва ли не поголовным, и когда в Петербурге получили о нем детальные сведения, решено было пойти на уступки: на место была послана следственная комиссия с чрезвычайно широкими полномочиями: ей было предоставлено право в случае надобности даже и отчислить крестьян от демидовских заводов. Большая часть заключенных в тюрьму была выпущена, и вообще расправа за „вооруженное сопротивление" со стороны центральной власти была гораздо более кроткой, чем можно было ожидать по нравам эпохи. Но если в Петербурге, до некоторой степени, понимали, что не следует доводить дело до крайности, местные власти, в упоении своей „победы", обыкновенно теряли всякую способность различать достижимое от недостижимого. Предводитель шести рот, приписывавших крестьян к заводу Сиверса, маиор Остальф, „забирал под караул наиболее зажиточных крестьян, приковывал к кольцам за руки и за ноги, бил немилостиво кошками, и все это для того, чтобы вынудить у них взятки. Всякий, опасаясь смертных побоев, закладывал дом, продавал скот, чтобы отнести деньги, холст, медь и все, что случится, не только самому Остальфу, но и его офицерам и рядовым; одними деньгами они отдали 712 рублей". Крестьяне другого селения, куда потом перешел Остальф со своими отрядами, передавали в своей челобитной такую сцену: „Пришли мы, сироты, к господину маиору Осипу Маркычу поклониться и стал наш выборный ему, господину, говорить, что „мирские люди кланяются вашему высокородию пуд меду", и оный маиор ударил выборного в рожу и говорит нам, мирским людям: „я де не рублевый гость, вы-де дадите и дворецкому моему пять рублев; привезите же ко мне... 30 рублев денег да приведите пару коней". Когда в приписных к шуваловским заводам волостях стоял драгунский полк, „это было чуть ли не поголовное изнасилование и растление женского населения: эти преступления совершали и офицеры, и солдаты. Крестьян всевозможными наказаниями заставляли отдавать своих дочерей на жертву страстям разнузданной солдатчины; от насилия не избавлялись ни замужние женщины, ни девушки, еще не до-

стигшие зрелости“ [1]). Прибавим, что эти тираны были так немногочисленны, что даже терроризировать население не могли. Этот драгунский полк был, в конце концов, чуть ли не единственный на весь Урал и, ко времени приезда кн. Вяземского (1763 г.), от постоянных передвижений почти потерял способность двигаться, оставшись без лошадей. Карательная экспедиция при таких условиях только лила масло в огонь, волнения возобновлялись, стоило солдатам уйти, и при вступлении на престол Екатерины II почти половина приписных крестьян на Урале (49.000 из ста тысяч душ) находились в состоянии бунта. И Вяземскому пришлось рассчитывать не столько на военную силу, сколько на хитрость: он рекомендовал своему чиновнику „приманивать“ крестьян ссылкою на туманные слова императорского манифеста, где говорилось, что крестьяне, может быть, будут и отписаны от заводов. „Таким образом приманя и обнадежа, что никакого вреда им сделано не будет, вдруг и крестьянам не приметным образом всех или сколько можно главных злодеев и возмутителей захватить и того же часа, набив на них колодки, спрашивать о их сообщниках и помощниках, которых потому же, немедленно захватя, содержать под крепким караулом, ибо от скоро приятой твердой резолюции не только крестьяне, но и регулярный неприятель легко в беспорядок приведен быть может, и всякое такое предприятие желаемый конец получает...“ Но, в сущности, и обещания манифеста сами по себе были военной хитростью, и подписавшая его сама признавалась, что крестьян, даже незаконно закрепощенных заводчиками, она освободить не в силах. „О переведенных крестьянах на заводы, чтобы их выслать на старые жилища,—писала Екатерина Вяземскому, — хотя сие и в противность указам заводосодержатель делал, я еще указа дать не могу, дабы, поправляя сие зло, другого вящего не сделать к разрушению заводов, потому что многие уже мастерствам обучены“ [2]).

Заводские крестьяне должны были, таким образом, на собственном горьком опыте убедиться, насколько та власть,

---

[1]) *Семевский*, назв. сочин., стр. 329, 396—397

[2]) Ibid., стр. 377.

которая им казалась всемогущей, бессильна перед крупными собственниками. В то же самое время таким же опытом пришли к такому же убеждению уральские, или, как их тогда называли, *яицкие казаки*. Как и всякая другая казацкая община, на первых порах промысловое товарищество, в свободное от промыслового хозяйства время „казаковавшее" в соседней степи, уральцы к шестидесятым годам XVIII века оказались сразу стесненными в обоих своих исконных занятиях. С одной стороны, откочевка к Китаю калмыков лишила их главного объекта „казакования"; с другой, монополизация казною рыбного промысла привела на практике к быстрому вторжению на Урал денежного капитала и, в связи с этим, к быстрому расслоению общины, которая и раньше, как всякая опять-таки казацкая община, содержала в себе элементы более зажиточные quasi-буржуазные, рядом с бедняками [1]). Главным уральским промыслом была рыбная ловля, считавшаяся тогда лучшей во всей России. В половине XVIII века она не была уже совершенно свободной, и лучшие рыболовные места (гурьевский учуг, например) войску приходилось брать на откуп у казны. Пойманную рыбу надо было солить, но соль опять была казенной монополией, и мы помним, что при Елизавете на эту монополию особенно налегали. Номинально откупщиком и соляной, и рыбной монополии на Урале было все войско: практически контракты в Москве и в Петербурге заключали от имени войска наиболее зажиточные казаки, и официальные документы, касающиеся „яицких волнений", нисколько не отрицают, что атаман Бородин, например, правивший Яиком в 60-х годах, „содержал соляной откуп в своем ведомстве три года, не давая в том никакого отчету, и хотя собираемых в оной откуп денег не только на заплату учужного (рыболовного), но и соляного, откупов казалось быть довольно, несмотря на то, налагали еще на народ сборы". После Бородина старшина Акутин, при помощи взяток из войсковой казны, сделался откупщиком рыбных ловель

---

[1]) Ср. характеристику запорожской общины «Русская история», т. III.

на Волге, а потом и соляным на Урале [1]). А за то, на чем казацкая старшина наживалась, казацкой массе приходилось самой платить. За соляную подать с казака требовали десятую рыбу от улова. С рыболовным откупом было еще лучше: со времени Бородина повелось, что в откупную сумму стали засчитывать жалованье, которое выдавалось казакам от правительства — жалованье небольшое, не выше рубля в год, но составлявшее едва ли не главную денежную сумму, попадавшую в руки простого казака, особенно с тех пор, как „казакованье" прекратилось за отсутствием добычи. Когда Бородин, не удовлетворившись и этим, обложил еще казаков, возвращавшихся с рыбной ловли, денежным сбором — якобы на необходимые войсковые расходы — вспыхнул бунт. Среди державшей в руках войсковые должности, войсковую казну и вместе откупа казацкой олигархии, нашелся порядочный человек, некто Логинов, который раскрыл глаза „войску" на хозяйничанье его атамана и убедил казаков новозаведенного Бородиным сбора не платить, ибо в атаманском кармане и без того уже слишком много казацких денег. Струсивший Бородин в первую минуту нашелся ответить смелому агитатору только „непристойной бранью", но затем, конечно, поспешил воззвать к власти, охраняющей порядок, послав жалобу в военную коллегию. Подавляющее большинство казаков было на стороне Логинова, так что предпринять что-либо собственными средствами атаман не решался: очень характерно, что логиновская сторона скоро получила в народе название „войсковой", а бородинская „старшинской", названия давали очень точное представление о соотношении сил на месте. Иным оно, конечно, было в военной коллегии. Присланный ею для разбора дела (в 1763 году) генерал Потапов нашел Логинова достойным кнута и каторжных работ (в действительности он был лишен чинов и, исключенный из яицкого войска, записан в оренбургское простым казаком), многих его сторонников наказали плетьми, а одного от-

---

[1]) «Материалы для истории пугачевского бунта», собранные Я. Гротом. Сборн. Отдел. Русск. Яз. и Слов. Ак. Наук, т. XV. Из донесения П. Потемкина.

дали в солдаты, что для казака было едва ли не более тяжким наказанием, чем плети. Но желания „войсковых" были еще так умеренны, что они остались почти довольны Потаповым за то, что он сместил с атаманства Бородина и пообещал взыскать с него и других старшин, по крайней мере, ту часть войсковых денег, которую те слишком явно клали себе в карман. Войско заволновалось снова только тогда, когда оставленный Потаповым маиор Новокрещенов стал беззастенчиво тянуть руку „старшинской" стороны, а выборных от „войсковой" приказал наказать палками. Но и на этот раз недовольство не нашло еще себе более резкого выражения, чем челобитные в Петербург, и только, когда посланный для разбора челобитных генерал Черепов начал с того, что стал стрелять в челобитчиков, температура быстро поднялась... Череповская пальба помогла „старшинской" стороне посадить еще одного своего атамана, Тамбовцева, но это был уже последний. Теперь достаточно было первого удобного повода, чтобы вызвать настоящее вооруженное восстание. Военное начальство не замедлило этот повод дать. Когда присланный из Петербурга новый генерал Траубенберг стал отбирать казаков для формировавшегося тогда „образцового легиона" и велел брить новых рекрутов на площади (а уральские казаки были раскольники и бородами своими очень дорожили), войско начало с того, что двинулось к генералу с иконами,—одна из которых даже плакала при этом случае,—а кончило тем, что убило и Траубенберга, и Тамбовцева. Что история с рекрутами была лишь случайным поводом, а движущие пружины и этого волнения оставались прежние, ясно видно из того, что победившее войско, прежде всего другого, взыскало с Бородина и остальных старшин деньги, обещанные когда-то Потаповым. Убийство Траубенберга было уже бунтом во всем смысле этого слова, и на Яик явилась карательная экспедиция. Попытка войска оказать ей вооруженное сопротивление была сломлена—так слабы, в сущности, были уральские казаки, предоставленные самим себе! — а последующая расправа превзошла все предыдущее. Арестована была такая масса народу, что в тюрьме ему не нашлось места, многие сидели по лавкам, в гостином дворе. Множество „войсковых" было

пересечено кнутом, сослано в каторгу, отдано в солдаты. Столица уральского войска, Яицкий городок, была так терроризована, что „порядок“ в ней торжествовал и в разгар пугачевщины: в то время как Казань была уже сожжена, Пенза и Саратов были в руках Пугачева, а Москва ждала нашествия со дня на день, в центральном пункте мятежа продолжал держаться царский гарнизон. Но масса инсургентов разбежалась по степным хуторам, где их трудно было достать; на одном из таких хуторов появился, как известно, и Пугачев.

История „самозванства“ последнего еще менее интересна для современного читателя, нежели история Названого Дмитрия. Там есть хотя материал для довольно эффектного романа, в старом вкусе: а менее романическую фигуру, чем Пугачев, трудно себе представить. Как личность, это было нечто среднее между фантастом, способным уверовать в плоды своей фантазии, каких тогда много было среди раскольников (к которым Пугачев был так близок, хотя родился и православным), и просто ловким проходимцем, каких тоже было не мало в разбойничьих гнездах Поволжья или даже в воровских притонах Москвы. Что он сознательно принял на себя имя лица, одна мысль о котором должна была приводить в трепет простого, безграмотного казака, показывает, как легко люди этого типа эмансипировались от обычной холопской психологии. Но и тут он опять был представителем *типа*— и довольно распространенного. Он был не первым „Петром III“, как не был и последним. За восемь лет до него бывший солдат Кремнев попытался разыграть совершенно ту же роль в Воронежской губернии; в миниатюре его история, как две капли воды, напоминает пугачевскую— даже до такой подробности, что у него были „генералы“ из крепостных крестьян, одного из которых он называл „Румянцевым“, а другого „Пушкиным“ (нужно думать, что это были единственные важные генералы, известные ему по именам). Воронежские однодворцы, с которыми пришлось иметь дело Кремневу, оказались гораздо менее благодарной почвой, нежели только что „усмиренные“ яицкие казаки или бесконечно усмирявшиеся уральские горнорабочие—одиссея Кремнева кончилась, благодаря этому,

очень скоро. Но чуть ли не в то еще время, как его секли кнутом на базарах всех деревень, где он выступал в качестве „претендента", в соседней Изюмской провинции другой беглый солдат, Чернышев, уверял всех, что Петр III—это он, сейчас же нашел сельского попа, который стал поминать его на ектеньях, как императора. Словом, как раз в этом пункте Пугачев был наименее оригинален. Если бы можно было приписать ему лично систему его военных действий, за ним пришлось бы признать выдающиеся стратегические способности: но эту систему, кажется, приходится считать продуктом коллективного творчества, и возможно, что здесь Зарубин (Чика) или Белобородов играли большую роль, нежели сам Пугачев. Поведение „императора" после ареста показывает, что сам на себя он смотрел не больше как на удачливого атамана разбойников, не задумывающегося ни над какими „принципиальными" оправданиями своих действий: просто — грешил, пока было можно, а пришел час—нужно искупить грех. Поймавшие его чиновники Екатерины II не могли прийти в себя от удивления и обиды в своем дворянском достоинстве, когда увидели, кто их держал целый год в страхе и трепете. „Он человек нельзя никак сказать, чтобы великого духа,—писал императрице московский главнокомандующий кн. Волконский после первого свидания со вчерашним „Петром Федоровичем",—а тем меньше разума, ибо я по всем его изветам нисколько остроты его не видел... Скверен так, как мужику быть простому свойственно, с тою только разницею, что он бродяга".

Карьера этого „бродяги" на первых шагах ничем не отличалась от карьеры его предшественников. Едва успев объявить себя Петром III, он был схвачен, отвезен в Казань и приговорен к кнуту и каторге. Вместо этого, однако ж, он через несколько месяцев опять появился среди яицких казаков, а еще через несколько недель стоял уже во главе обще-уральского мятежа. Екатерина—с ее взглядом на дело мы ниже познакомимся подробнее—долго не могла простить казанскому губернатору Бранту его оплошности, и нашла нужным подчеркнуть ее даже в официальном рескрипте ему, по случаю назначения генерала Кара главным начальником над первой экспедицией против Пуга-

чева. „По случившемся в Оренбургской губернии от бежавшего у вас из-под караула бездельника казака Пугачева мятеже", ядовито отмечал рескрипт, объясняя бедному Бранту причины посылки Кара. Естественно, что сам Кар больше всего хлопотал, как бы Пугачев не убежал вторично: „опасаюсь только того,—писал он Екатерине,—что сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег". Военная коллегия вполне разделяла его оптимизм. „Весьма изрядно учинить все изволили, предписав сибирскому коменданту преградить у плутовской толпы путь на случай их бегства по услышании о приближении к ним военных команд", писал Кару в ответ президент военной коллегии, гр. Чернышев. По крайней медленности тогдашних сношений, писалось это в то время, когда давно „обратился в бег" сам Кар, а командированный им для пресечения Пугачеву путей к бегству „синбирский комендант" давно качался на виселице. В силу вековой традиции русской—да и всяческой другой—бюрократии старались не упустить „зачинщика". Но суть была совсем не в нем—можно быть уверенным, что в случае вторичной поимки Пугачева „войсковые" сейчас же нашли бы себе нового „Пётра III",—а в той тактике, которую усвоили себе теперь уральские казаки и которая, всего вероятнее, была им подсказана их неудачей в предшествующем году. Тогда они держались оборонительной системы—дожидались, пока к ним придут войска, и отбивались от них: в результате они были разгромлены. Теперь они решились взять инициативу в свои руки, и победа над силами, гораздо более крупными, чем какие они имели перед собою в 1772 году, досталась им с легкостью, которая должна была изумить их самых. Историки, которые объясняют легкость успехов Пугечева тем, что против него была „дрянная гарниза" за не менее дрянными деревянными укреплениями, забывают, что ведь и годом раньше на Яике действовали не отборные полки (они были на турецкой войне или же в Польше). У Фреймана, усмирявшего Яик в 1772 году, была всего одна гренадерская рота—точь в точь такая, какую Пугачев в ноябре следующего года взял, что называется, голыми руками. Но перед Фрейманом были „злодеи" бежавшие и укрывавшиеся, в крайнем случае, отстреливав-

шиеся, когда на них нападали, словом, была картина обычная, к которой „усмирители" давно привыкли; а перед Каром и его предшественниками были „злодеи", совершенно необычным образом нагло шедшие вперед, точно они были авангардом стотысячной армии. Между тем, у Пугачева в этот период восстания было не больше двух тысяч хорошо вооруженных людей, и то под самый конец, а начал он имея их не более трехсот. Тогда как у одного Кара было 1.300 человек, может быть, и не равнявшихся по достоинству гренадерам Фридриха Великого, но во всяком случае вооруженных и обученных, как всякие регулярные солдаты, да в Оренбурге, за всеми потерями первых недель, оставалось почти три тысячи. Но на стороне пугачевцев был огромный моральный перевес — перевес людей, уже одержавших победу и идущих вперед, тогда как психология правительственных войск была психологией отступающей армии, не верящей ни в себя, ни в своих вождей. Два привходящих обстоятельства облегчили, одно—первую победу, а стало быть, и моральный перевес восставших, другое—техническую возможность использовать этот перевес. Первое обстоятельство заключалось в крайнем ослаблении „старшинской" партии на Урале в это время, благодаря отсутствию почти всех ее боевых элементов, командированных в Кизляр: считая Яик окончательно замиренным, правительство спешило использовать свою победу, заткнув яицкими казаками бреши, которых у него так много было на всех границах. Таким образом, элемент, который имел социальный интерес бороться с восстанием, был сведен почти на-нет: и это как раз в ту минуту, когда противоположная сторона была ожесточена до крайности, потому что яицкий комендант начал править с „войсковых" деньги, нечто вроде контрибуции, наложенной на них за бунт 1772 года. Один из допрашиваемых казаков впоследствии „откровенно признался", по словам официального документа, „что никакая другая причина не принуждала их к соединению с самозванцем, как только, чтобы избежать притеснений и *взыскания несносного денег*" [1]). В то же самое время вос-

[1]) «Сборник», ibid., стр. 96.

ставшие казаки немедленно же умели связаться с социальным элементом, как нельзя более им родственным: горнозаводскими крестьянами. Уже в октябре 1773 года, через месяц после выступления Пугачева, на знакомом нам Авзяно-Петровском заводе лили для восставших пушки и ядра, которые Кар тщетно пытался перехватить при перевозке их в пугачевский лагерь. Благодаря этому уже к ноябрю *Пугачев* имел до 70 орудий, в том числе довольно крупных—двенадцати фунтового калибра—и был *артиллерией сильнее правительственных войск*: в главном сражении с Каром у инсургентов было 9 пушек против 5, которыми располагал отряд Кара, при чем пугачевские пушки были лучше казенных. Факт необычайной важности, недостаточно подчеркивающийся обыкновенно историками бунта, весьма склонными изображать пугачевскую армию как громадную нестройную толпу полувооруженного мужичья. В документах мы не видим ни громадности, ни нестройности—видим, напротив, сравнительно небольшую силу, составленную из отборных элементов и подготовленную к борьбе в данных условиях гораздо лучше, чем ее противники. Во-первых, вместе с пушками с заводов пришли люди, умеющие их употреблять в дело: современники согласны в том, что не только артиллерия, но и артиллеристы у Пугачева были лучше правительственных. „Артиллериею своею чрезвычайно вредят,— доносил военной коллегии разбитый Кар, требуя присылки возможно более пушек возможно более крупного калибра:—отбивать же ее атакою пехоты также трудно, да почти и нельзя, потому что они всегда стреляют из нее, имея для отводу готовых лошадей, и как скоро приближаться пехота станет, то они, отвезя ее лошадьми далее на другую гору, опять стрелять начинают; что весьма проворно делают и *стреляют не так, как бы от мужиков ожидать должно было*". Рычков в своем описании оренбургской осады отмечает, что инсургенты, придавая большой угол возвышения своим орудиям, навесным огнем ухитрялись громить дома в самом центре города, к немалому ужасу осажденных, в первую минуту думавших, что только на валу и около вала опасно быть. Надо иметь в виду, что тогдашние гладкостенные орудия не отличались дальнобойностью, и что

городским пушкам, например, никогда не удавалось разрушить пугачевские батареи: чтобы достигнуть описываемого Рычковым эфекта, нужно было быть, по своему времени, образованным артиллеристом. Совершенно определенно указывает Рычков на связь этого явления с присутствием в рядах пугачевцев заводских мастеровых. „Сказывали,—пишет он,—что посланные на Твердышевский завод без всякого там сопротивления получили и прислали к нему злодею более 3.000 зарядов с ядрами, и заряды де были все из лучшего пороха, и не малое число ружей. Тут же *взяли они к себе из заводских многих служителей, в том числе несколько довольно обученных пушечной пальбе*, о коих сказывали, якобы они добровольно склонились“ [1]). Остается прибавить, что, если на горнозаводских рабочих держалась артиллерийская тактика Пугачева, то яицкие казаки не менее умело развили тактику кавалерийского боя. Их рассыпной строй был почти неуязвим для артиллерии противника, в те далекие времена не располагавшей даже и шрапнелью, появившейся в начале XIX столетия: попасть же ядром в одиночного всадника было труднее, чем убить ласточку на-лету пулей из ружья. А на ружейный выстрел казаки не подъезжали, пока тяжелые каре екатерининской пехоты не были окончательно расстроены метким артиллерийским огнем: тогда стремглав, с криком и визгом, бросались они на обезумевших солдат, большею частью без сопротивления бросавших ружья. Кар не видел иного спасения, как сосредоточить на театре восстания возможно более регулярной конницы: и действительно, в усмирении пугачевщины гусары и драгуны впоследствии сыграли самую видную роль, а в зимнюю кампанию 1773—74 г.г. с пугачевской тактикой довольно удачно боролись еще отряды егерей-лыжников.

Но пока были усвоены тактические уроки пугачевщины—более серьезные, как видит читатель, чем обыкновенно думают,—„Петру Федоровичу“ давно удалось самому обзавестись настоящей регулярной армией: одним из непосредственных результатов первых его успехов было то,

---

[1]) «Летопись» Рычкова, в приложениях к «Истории пугачевского бунта» *Пушкина*.

что целые отряды правительственных войск, нередко с офицерами, переходили на его службу. Современники очень неохотно признавались в этом факте. Екатерина уверяла Вольтера, будто бы Пугачев „предавал смерти всех офицеров и солдат, которые в руки к нему попадались". Биограф Бибикова очень хотел бы уверить своего читателя, „что ни один из дворян не передался (самозванцу)": он, однако же, не мог скрыть, что после взятия Татищевой (в самом начале восстания — в конце сентября 1773 г.) Пугачев „всех военнослужащих, бывших в городе, числом более тысячи человек, принудил присягнуть", а несколько позже, что „из войск, противопоставленных бунтовщикам, *целые отряды* положили оружие и даже *иные перешли к самозванцу*". Изменяли не только гарнизоны крепостей оренбургской линии, что еще можно было бы с грехом попалам объяснить „заразой", давно исходившей от яицкого казачества. Ненадежны были и полки, присылавшиеся из центральной России: солдаты Кара „вслух кричали, что бросят ружья". Измена гнездилась в отборных полках, на которые особенно рассчитывали при усмирении восстания. Владимирский гренадерский полк, который на почтовых, наспех везли из-под Петербурга в Казань, пришлось подвергнуть особому тайному наблюдению, открывшему, „что действительно между рядовыми солдатами существует заговор положить во время сражения перед бунтовщиками ружья". Цитируемый нами здесь Державин также неохотно бы признался, что измена шла выше „рядовых солдат". Но в том самом Саратове, откуда он не особенно почетно уехал, когда стал приближаться Пугачев, почти весь гарнизон, во главе с довольно крупным чином, секунд - маиором, перешел на сторону инсургентов. Из состава этого гарнизона артиллерийская команда особенно отличилась, в рядах пугачевской армии, во время битвы под Царицыном, против Михельсона. А еще раньше, когда последний действовал на Урале, он принял однажды пугачевцев за правительственные войска — настолько хороша была их фронтовая выправка. Дела об офицерах, перешедших к „самозванцу", менее всего редки в бумагах, оставшихся от пугачевщины, и напрасно Бибиков, желая успокоить

Екатерину, объяснял эти явления „мрачной глупостью“ провинциального офицерства. Дворцовые перевороты как раз более сметливых должны были приучить к тому, чтобы не разбираться чересчур долго в правах различных претендентов на престол, а, не теряя времени, присоединяться к тому, кто сильнее. Если что задерживало в этом случае, так скорее неизбежность конкурировать с пугачевскими „генералами“ и „полковниками“ из казаков, да острое социальное недоверие, которое чувствовали восставшие ко всему, от чего пахло барином.

Казаки, горнозаводские мастеровые и крестьяне, перешедшие к Пугачеву отряды регулярной армии составляли главную боевую силу восставших. То, что нами так прочно ассоциируется с именем „пугачевцев“, восставшие крепостные помещичьих имений, были не столько активной частью пугачевского войска, сколько его питательной средой. Во-первых, Пугачевым была заведена правильная рекрутчина: он брал по одному человеку с пяти душ тех деревень, которые были заняты его войсками, а под конец восстания, когда ему приходилось иметь дело с огромными, относительно, правительственными силами, забирал с собою поголовно всех, кто мог носить оружие. „Секретная комиссия“, ехавшая по следам пугачевского ополчения в августе 1774 года, во встречавшихся по пути селениях никого не находила, „кроме престарелых людей мужеска и женска пола, а прочие все, кто только мог сесть на коня и итти добрыми шагами пешком, с косами, вилами и всякого рода дубинками, присоединились к пугачевской армии“ (Записки Рунича). Но в еще большей степени, чем рекрутским депо, взбунтовавшаяся „чернь“ служила Пугачеву *ширмой*, закрывавшей движение его главных сил и рассеивавшей в то же время силы его противника. В первый период восстания такой ширмой для него служили *башкиры*. Неоднократно бунтовавшие в течение XVIII века, они „усмирялись“, кажется, еще решительнее, чем заводские крестьяне. По крайней мере, автор, которого трудно заподозреть в тенденциозности по такому случаю (биограф Бибикова), приводит такие данные: после восстания 1735—41 годов „башкирцев побито, казнено, под караулом померло, сослано в работу, жен и детей их

для поселения в России роздано, а всего числом 28.452 человека"; между тем всех башкиров автор считает 100.000 душ обоего пола! Нет надобности говорить, что к „успокоению" такие меры не привели—в 1754 г. башкиры „опять взбунтовали", при чем на этот раз „для усмирения их побито и вывезено... до 30 тысяч". Нет ничего удивительного, что они присоединились к Пугачеву весьма охотно и дрались под его знаменами отчаянно: другим пощады не давали и сами не сдавались; в одном сражении с ними Михельсону удалось взять в плен из большого отряда только одного человека, да и то „насильно пощаженного", по образному выражению Пушкина. Помощь башкиров, народа конного, располагавшего отличными лошадьми, была особенно ценна для восставших. Разгром их Михельсоном был вторым, по тяжести, ударом для пугачевщины, после подавления тем же Михельсоном и Деколонгом заводского движения. Но на среднем и нижнем Поволжьи, куда передвинулся театр восстания летом 1774 года, для него нашлась питательная среда и завеса не хуже прежней, в населении помещичьих имений, в военном отношении превосходно использованном пугачевцами. „По всем местам, где они проходили,—доносил Екатерине Панин в августе этого года,—и по прилежащим к ним на немалое от оного отстояние оказывается чернь, восстающая против своих начальств"; из этого „заключать можно, что злодеево главное в том и упражнение, чтобы оную (чернь), где только возможно ему собою и посланными от себя подсыльными возмутить, и когда он войска, на истребление его отраженные, за собою развлечет, то тогда обратиться ему туда, где больше будет обнажено и где он лучшие себе выгоды предвозвещать может". Один современник рассказывает, что для достижения этой цели Пугачеву достаточно было самых ничтожных средств: довольно было двум его посланным, без всякой вооруженной силы, явиться в какую-нибудь местность, чтобы целые волости поднялись, как один человек. Насколько далеко захватывало пугачевское влияние, покажут два-три образчика. В окрестностях города Рязани, за несколько сот верст от места военных действий, воеводы с трудом находили лошадей для графа Панина и вынуждены были обратиться

к содействию проходившего гусарского полка. Когда член „секретной комиссии" Рунич ехал из Рязани в Шацк переодетый, подводчик спрашивал его: „не к батюшке ли государю ты едешь из Москвы, и не слышно ли в ней, скоро ль наследник государь, Павел Петрович, изволит к нему здесь проехать? Мы его то и дело, что всякий день сюда ожидаем". Член секретной комиссии ничего не нашелся на это сказать, кроме: „молчи, брат!" „Что далее вдаюсь я в сей край, то открывается в ней черни злодеево бунтовщичье возжение, — писал оттуда же Панин,—по которому всякие оказательства подлость превращая к его выгодам, не оставила и такое дерзновение произносить, что я, как брат дядьки его императорского высочества [1]), еду встречать с хлебом да солью". Это объяснение панинской экспедиции, „принудив вострепетать все жилы" в уполномоченном Екатерины, послужило для него оправданием ряда совершонных им жестокостей — „для показания, с каким хлебом и солью я против самозванца и всего его сонмища еду". Из его же собственных донесений видно, что жестокости никакого впечатления не производили: месяц спустя ему пришлось доносить Екатерине о „холопе", который, „видя все оные казни и наказания, не ужаснулся, однако же, на первовстретившегося дворянина напасть с ножом для ограбления его". „Во всей здешней черни из всего без изъятия весьма приметно, что дух ее наисильнейшим образом прилеплен к самозванцу изданными от его имени обольщениями на убийство своих градоначальников, дворян, на разграбление казны, соли и на неплатеж десятилетний никаких податей" [2]). Как всегда, официальные донесения скорее смягчали истину, чем преувеличивали: если почитать письма московского главнокомандующего Волконского к Екатерине, можно подумать, что кроме самой невинной болтовни в Москве ничего услыхать было нельзя. А вот что пишет биограф Бибикова, отражающий в своем рассказе неофициальные впечатления той поры: „Приехав в Москву 13 того же месяца (декабря 1773 года: речь идет

---

[1]) Н. И. Панин был воспитателем Павла Петровича.

[2]) Сборн. Р. Истор. Общ. VI, стр. 132.

об А. И. Бибикове), нашел он обширную сию столицу в страхе и унынии от язвы и бывшего возмущения [1]); настоящая гроза приводила в трепет ее жителей от новых бедствий, коих не без причины опасались, ибо *холопы и фабричные*, и вся многочисленная чернь московская, шатаясь по улицам, почти явно оказывали буйственное свое расположение и приверженность к самозванцу, который, по словам их, *несет им желаемую ими свободу*" [2]). Рабочих московских фабрик побаивалась и Екатерина; еще в июле 1774 года она, в числе возможных планов, в сущности уже разбитого тогда, Пугачева, упоминала и о таком: „прокрадывается в Москву, чтобы как-нибудь в городе в самом вдруг пакость какую ни на есть наделать сам собою, *фабричными* или барскими людьми". А для удержания на стороне правительства тульских мастеровых были приняты специальные меры: „О тульских обращениях слух есть, будто там между ружейными мастеровыми не спокойно, — писала Екатерина Волконскому. — Я ныне там заказала 90.000 ружей для арсенала: вот им работа года на четыре—шуметь не станут".

Горючего материала для восстания было сколько угодно, и его создавала уже не одна интенсифицированная барщина. Поднималось все, что было задавлено и обижено господствующим режимом. Для того демидовского крестьянина из села Котловки, который „по богатству имел в околотке первенство" и „назван был от злодея полковником", мотивом, побудившим к „предательству", едва ли была тяжесть заводских работ. Положение „экономических" (бывших церковных) крестьян после секуляризации церковных вотчин (в 1764 г.), несомненно, улучшилось [3]). В них, повидимому, ожидали найти элемент „порядка": Кар вооружил их в подмогу своим войскам, но они из первых перебежали к Пугачеву. Мелкое мещанство поволжских городов с восторгом принимало инсургентов. Католический патер одной из немецких колоний на Волге

[1]) В 1771 году, во время чумы, в Москве был бунт, во время которого был убит архиепископ Амвросий.

[2]) «Записки о жизни и службе А. И. Бибикова», Спб. 1817, стр. 277—278.

[3]) См. г. *Семевского*, цит. соч., т. II, стр. 255 и сл

рассказывал Руничу, что человек до тридцати молодых людей из колонии, „разграбив его (патера) и некоторых зажиточных жителей, ушли к Пугачеву". Местное духовенство, до архимандритов крупных монастырей включительно, выходило навстречу Пугачеву с крестами и хоругвями, служило молебны о здравии „Петра Федоровича" и, разумеется, поминало его на ектеньях. Высшие его представители (в числе подозреваемых был ни более, ни менее, как казанский архиепископ Вениамин, насчет сношений которого с Пугачевым имелись весьма сильные улики, но дело сочли удобнее замять) действовали, главным образом, под влиянием страха, если не за свою жизнь, то за свое и церковное имущество: подчинением самозванцу они надеялись хоть что-нибудь спасти. Но сельское духовенство, с которым помещики обращались не лучше, нежели с крестьянами, разделяло идеологию последних, и не редки были сельские батюшки, которые „наперед к злодеям выезжали и в шайках совокупное с ним злодейство производили". В Петербурге сгоряча решили было расстричь всех, так или иначе приставших к самозванцу, но против этого должен был восстать даже такой последовательный усмиритель, как П. И. Панин. „На сей чин смею я вашему императорскому величеству представить,—писал он,—в тех здесь местах, где злодей сам проходил и в которые входили большие его отряды, *не было из оного (духовенства) почти ни одного человека*, из не случившихся быть тогда в отлучке *который бы не встречал злодея с крестами, и не делал бы служения с произношением самозванца*". Если бы исполнить первоначальное синодское определение, пришлось бы лишить духовенства целый край и закрыть в нем все церкви. По представлению Панина ограничились поэтому извержением из сана только тех попов, которые приняли активное участие в бунте, но и таких было не мало, не меньше, чем офицеров. Невосприимчивым к заразе оказался только один класс—местные землевладельцы: не дворяне вообще, потому что поступившие на пугачевскую службу капитаны и маиоры по званию были, конечно, дворянами. Но не было, кажется, ни одного случая, чтобы во главе пугачевского отряда стоял помещик из восставшей местности. Там, где мятеж пылал ярким пламенем,

все население превращалось в охотника, а помещики в травимую дичь. Одно, устным путем дошедшее от времен пугачевщины до 60-х годов прошлого века, предание рисует нам трагикомическую картину отчаяния одной крепостной деревни, барин которой был в отъезде: мужички были искренно убеждены, что если им не удастся повесить своего барина, они навеки останутся крепостными. И как они были рады, когда им удалось, наконец, приманить беглеца на родное пепелище! Но, на счастье почти уже повешенного барина, это был последний момент восстания: правительственные войска во-время успели явиться ему на выручку [1]). Местное дворянство гибло „всеродно" не хуже, чем боярство при Грозном. „В некоторых селениях злодейские убийства истребляли всех их владельцев до того, что еще неизвестно, кому они по закону достанутся", доносил Панин. По его подсчету мятежниками было казнено (преимущественно повешено) 753 помещика, а с женами и детьми 1.572 человека, но он сам признает эти сведения далеко не полными. Паника, охватившая дворянство приволжских губерний, да и не их одних—была неимоверная. Казани в декабре 1773 года, когда приехал туда Бибиков, никакая непосредственная опасность еще не угрожала. Тем не менее, „многие отсюда, или, лучше сказать, большая часть дворян и купцов с женами выехали,—писал Бибиков жене,—а женщины и чиновники здешние уезжали все без изъятия, иные до Кузмодемьянска, иные до Нижнего, а иные до Москвы ускакали. Сами губернаторы были в Кузмодемьянске". Но чего же было требовать от казанцев, город которых был все же в конце концов сожжен Пугачевым (хотя только через полгода после того, как они стали приходить в трепет), когда и подмосковное дворянство вело себя не лучше. „Дворянство, собирающееся обыкновенно в Москву к празднику, съехалось тогда в великом множестве; выезжая из губерний, разоряемых разбойничьими шайками бунтовщиков (но в декабре 1773 года „разоряема" была еще только одна Оренбургская да часть Казанской. *М. П.*) или ими угрожаемых, оставляло отеческие свои домы и искало в Москве послед-

[1]) „Осьмнадцатый век", т. III, „Былое из пугачевщины".

него себе убежища“ [1]). Кто не имел средств ехать в Москву, искали убежища в уездных городах, где помещики скоплялись сотнями: в одном Шацке Рунич нашел „до 300 мужска и женска пола дворян“. Когда взята была Казань, паника пошла гораздо дальше уездных помещиков. „Сего утра получили мы известие о разорении Казани, и что губернатор со всеми своими командами заперся в тамошнем кремле,—писал Никита Панин брату 29 июля 1772 г.—Мы тут в собрании нашего совета увидели государыню крайне пораженною, и она объявила свое намерение оставить здешнюю столицу и самой ехать для спасения Москвы и внутренности империи, требуя и настоя с великим жаром, чтобы каждый из нас сказал ей о том мнение. Безмолвие между нами было великое“. Но и сама Екатерина только храбрилась: мерою ее паники может служить распоряжение, отданное ею за несколько дней перед тем—задержать на три дня всю почту из Петербурга во внутренние губернии. По собственному признанию, она еще никогда так не терялась в своей жизни, как в эти месяцы. „Уф, тяжело, горько было, до позабычливо!“ вспоминала она потом свое настроение в дни казанского разгрома. От этой растерянности самого „высшего правительства“ сохранился и более объективный след, чем письма императрицы: знаменитый проект изловить Пугачева при помощи подкупа его приближенных,—в чем предлагал взять на себя посредничество „яицкий казак Остафий Трифонов“, на самом деле, проворовавшийся ржевский купец Долгополов. История этого громадного шантажа составляет истинно комическую сцену в трагедии Пугачевщины [2]). „Секретная комиссия“, о которой упоминалось выше—к ней Екатерина относилась так ревниво, что попытка Панина забрать комиссию под свое ведение вызвала у нее резкую вспышку негодования,—эта „секретная комиссия“, с огромными полномочиями, делавшими ее иногда соперником главнокомандующего, имела главною задачею—содействовать предприятию ржевского шантажиста, своего

---

[1]) „Записки о жизни и службе Бибикова“, стр. 278.

[2]) Подробно рассказана Руничем, в его записках—„Русск. Старина“, т. II.

рода провокатора навыворот, ибо он обманывал не пугачевцев, а правительство без всякой задней политической мысли, впрочем, а просто в расчете сорвать с правительства хорошую сумму денег, что ему было и удалось в первую минуту. А о размерах паники наверху эта история может свидетельствовать потому уже, что первым, уверовавшим в Трифонова, был Григорий Орлов—человек, вообще говоря, не легко терявшийся.

Если мы к пожару, неудержимо стелившемуся по низам, прибавим эту растерянность наверху да еще те вспышки, которые, почти не переставая, нарушали спокойствие в верхних слоях, мы поймем, что перед противником Екатерины была ситуация, благодарнее которой трудно себе представить. Мы теперь хорошо знаем, что между попытками гвардейского мятежа и мятежом уральских крестьян и яицких казаков не было ровно никакой связи, ни внешней, ни внутренней. Но современникам дело представлялось иначе: Еще Рунич, писавший в двадцатых годах XIX века, находил нужным связывать яицкое восстание с известиями „о ссылке в Сибирь некоторых лейбгвардии офицеров". А для Екатерины связь между петербургскими „замыслами" и появлением самозванца казалась, повидимому, сама собою разумеющейся: и нет ничего страннее, как видеть в ее переписке, наряду с полным игнорированием социальной стороны движения, пристальный интерес, с которым она подхватывала такие мелочи как присутствие в пугачевском лагере голштинского знамени, например. Для человека, чувствовавшего себя твердо на престоле—как обычно представляют себе Екатерину этого времени—такое поведение могло бы служить, действительно, доказательством невероятной мелочности и ограниченности. Но не принадлежа к числу гениальных администраторов, Екатерина все же не принадлежала и к числу ограниченных людей. Просто, она была более трезвого мнения о себе, чем большинство ее историков. Она знала, что в России XVIII века так же легко было взойти на престол, как и потерять его, особенно, когда соперник был налицо. С этой точки зрения выдающийся интерес представляют донесения иностранных дипломатов из Петербурга зимою 1773—74 г.г.: известия об успехах пугачев-

щины систематически переплетаются в них с новостями о несогласиях в царской семье; то Павел, рассказывают, сделал матери сильную сцену, обвиняя своего обер-гофмаршала, Салтыкова, в постоянном шпионстве за ним, Павлом; то Екатерина требует сына к ответу по поводу какой-то неосторожно подписанной им бумаги, попавшей в руки уже действительного екатерининского шпиона, при чем английский посланник „из безусловно авторитетного источника" располагает сведениями, что речь шла ни более, ни менее, как о том, чтобы заставить императрицу поделиться властью с Павлом. Все это—сплетни, но для психологии тех, кто руководил борьбой с пугачевщиной, они не менее характерны, нежели уверенность того же английского посланника в том, что движениями пугачевской армии руководят трое сосланных гвардейских офицеров [1]). Пугачев не только объективно был грознее, что можно думать—потому что его военная сила на первых порах ни качественно, ни количественно не уступала силе правительства: субъективно он казался еще страшнее нежели был на самом деле. Как это ни странно, беглый донской казак действительно мог бы явиться соперником „северной Семирамиды", но при одном условии: чтобы он сам имел хотя бы приблизительное представление о своем политическом положении и возможных для него политических перспективах. Ни следа этого мы не подметим ни у него, ни у его окружавших: они с начала и до конца оставались восставшими яицкими казаками, беглыми солдатами или каторжниками,—словом, тем, чем они были до своего превращения в „генералов" и „полковников". Воплощением государства для них было то единственное государственное учреждение, которое так много значило в их судьбе—*военная коллегия*. Первое, что они

[1]) См. донесения сэра Роберта Гунинга, Сб. Р. И. О., XIX, стр. 393, 401 и др. Впрочем, английский дипломат сумел схватить и действительно серьезные причины пугачевских успехов: «большое количество медных пушек, отлитых на казенных литейных заводах, достались в руки мятежников,—говорит он,—разрушивших несколько железных заводов, в том числе один из заводов Демидова, крепостные и крестьяне которых присоединились к бунтовщикам».

поспешили сделать, это создать свою собственную военную коллегию, наделив ее членов для большего сходства даже именами генералов, заседавших в коллегии настоящей — начиная с президента, гр. Чернышева (им стал Зарубин-Чика, правая рука Пугачева в военных делах). Затем они порекомендовали всем верноподданным Петра Федоровича казацкий строй, как идеал и образчик: „награждаем вольностью и свободою и *вечно казаками*,—говорили пугачевские манифесты,—не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными сенокосными угодьями и *рыбными ловлями и солеными озерами* без покупки и без оброку"—словом, не требуя ничего, что так досаждало яицким казакам, и из-за чего они бунтовали уже десять лет. Большего блаженства для кого бы то ни было пугачевцы представить себе не могли, и мы очень ошиблись бы, если бы приняли их манифесты за провозглашение *земли и воли*, хотя бы в самой примитивной форме: если понимать пугачевские воззвания буквально, они не шли дальше превращения помещичьих крестьян в казенных. „Жалуем... всех находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков быть *верноподданными рабами собственно нашей короны*", писал „Петр III". А так как на практике и рекрутчина, и денежные поборы продолжали существовать и в пугачевском царстве, при том едва ли не в усиленном виде сравнительно с тем, что было раньше (относительно рекрутчины это несомненно), то от всех обещаний в руках крестьян оставалось одно: право истреблять помещиков,— „кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, оных противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать". Крестьяне пользовались этим правом как только могли широко—мы это видели. Но свести всю революцию к истреблению дворян, при сохранении во всем прочем старого порядка, это могло повести лишь к одному результату: заставить дворянство сплотиться и сорганизоваться так, как оно никогда не было сплочено и сорганизовано раньше. Пугачевская стратегия, испорченная тою же политической близорукостью, как и пугачевская агитация, давала им к тому же достаточно для этого времени.

После поражения Кара (в ноябре 1773 года) самое естественное в положении Пугачева было двинуться на запад, на Казань и Москву, по следам отступавших правительственных войск. Ожидание этого совершенно естественного события и вызвало ту панику и в Казани, и в самой Москве, о которой мы говорили выше. Но как военная коллегия для казаков была воплощением государства, так центром всякой власти для них был Оренбург, откуда появлялись все громившие и поровшие Яик генералы. Одержав блестящую победу в поле, Пугачев поворачивает назад и почти на полгода (до марта 1774 г.) застревает под Оренбургом. Эта была не столько стратегическая ошибка, как думают военные историки пугачевщины, сколько именно политическая. Стратегически, если рассматривать восстание как местное, уральское, дело, в попытке овладеть Оренбургом не было ничего нелепого: нельзя было считать себя хозяином на Урале, пока в самой середине его сидел екатерининский гарнизон, который при первой же удаче легко мог перейти от обороны снова к наступлению. Но Пугачев мог стать хозяином не на Урале, а во всей восточной половине России по крайней мере: этого гораздо легче было достигнуть в Казани или Нижнем—но и эта цель и средства к ней лежали вне пугачевского кругозора. Благодаря этому, в руках его противника оказался страшный перевес—тот *выиграл время*, которое Пугачев потерял. Сорвав зло на Каре—больше за собственное легкомыслие, потому что Кар сделал все, что при его средствах можно было сделать, Екатерина поспешила заменить его крупнейшим полицейским талантом, какой имелся в ее распоряжении, в лице А. И. Бибикова. Бывший „маршал" комиссии 1767 года систематически употреблялся для поручений наиболее „деликатного" свойства, были ли это переговоры с семьей низверженного Ивана Антоновича или приведение в порядок занятых русскими войсками польских областей. С бунтами на восточной окраине он был, притом, знаком уже практически: в 1764 году, после назначения Вяземского генерал-прокурором, он доканчивал усмирение заводского восстания на Урале. По уверению его биографа, Бибиков действовал исключительно кроткими мерами „более уверением общего

прощения, даруемого монаршим милосердием", и быстро достиг „успокоения": новейшие историки находят его расправу более свирепою, чем меры, практиковавшиеся его предшественником, и утверждают, кроме того, что „успокоивать" ему было уже некого, ибо восстание было окончательно подавлено Вяземским [1]). Как бы то ни было, он знал Урал и правильно ценил его значение в пугачевщине. Психологически вынужденный, в виду настроения дворянства, двинуть главные силы к Оренбургу, закрывая дорогу на Казань и Москву, Бибиков все остальное, что было в его распоряжении, двинул на Уфу, для уничтожения пугачевской базы, что Михельсону и удалось выполнить довольно удовлетворительно,—настолько, что Пугачев после своего разгрома удержаться на уральских заводах не мог. Разгром был неизбежен: за время стояния Пугачева под Оренбургом правительству удалось стянуть на восток силы, далеко превышавшие боеспособную часть инсуррекционной армии. В марте 1774 года в главных пугачевских силах считалось около 3.000 регулярных солдат при 35 орудиях,—у Бибикова же было тысяч до десяти: притом последний шел вперед, а Пугачев вынужден был обороняться—психологический перевес был уже не на его стороне. Что восставшие оборонялись все-таки отчаянно, показывают крупные потери отряда Голицына в главном деле (под Татищевой, 22 марта): до 500 убитых и раненых. Зато и у Пугачева легли здесь лучшие силы, и с той поры его армия все более и более носит характер импровизации—кое-как вооруженные крестьяне, толпа, бравшая количеством, а не качеством, начинает играть в ней все большую и большую роль. Попытка разбитого Пугачева опереться на уральское крестьянство (тотчас после разгрома под Татищевой он бросился на знакомый нам Авзяно-Петровский завод), благодаря предусмотрительности Бибикова, тоже ни к чему не привела: движение пугачевской армии по Уралу было, в сущности, бегством, более или менее удачным, перед лицом правительственных отрядов, которые на этот раз всюду оказывались сильнее ее. И только теперь, по необходимости, Пугачев делает то, что

---

[1]) См. назв. соч. *Семевского*, т. II стр. 360.

давно подсказывал элементарный политический и стратегический расчет,—пытается прорваться в Поволжье и поднять сплошное крестьянское восстание в восточных губерниях. Этого больше всего боялся Бибиков: „Можно ли от *домашнего* врага довольно охраниться?“ писал он в начале своего похода, когда ему казалось, что все идет „к измене, злодейству и к бунту на скопищах“. Победа под Татищевой и успехи Михельсона на Урале успокоили его—и он умер, 9 апреля, не дождавшись того, чего так боялся. Его смерть, которой современники придавали такое огромное значение, ничего не могла переменить,—Пугачев уже был разбит и вниз по Волге, в сущности, так же *бежал*, как раньше вдоль уральского хребта. Что и эта агония пугачевщины была еще так страшна—если судить по дворянской панике, это время можно принять за самый грозный период пугачевщины,—показывает только, на какие результаты могло бы рассчитывать восстание, будь оно с самого начала перенесено к западу от Волги. Преемнику Бибикова, Петру Панину, в распоряжении которого было уже столько войска, что „едва ли не страшна такая армия и соседям была“, по словам Екатерины, оставалось только терпеливо дожидаться естественного конца всего дела. Он так и поступал,—коротая время, от скуки, охотой. И же, конечно, не энергии этого генерала, две недели собиравшегося выехать из Москвы, постоянно жаловавшегося, что ему „подагрический припадок пал на кишки“ и принимавшего приезжавших к нему с докладами офицеров „в светло-сером шелковом шлафроке и большом французском колпаке с розовыми лентами“,—не этой слишком штатской фигуре Екатерина была обязана прекращением бунта. Индивидуальный вклад Панина в дело усмирения выразился в поставленных им около бунтовавших деревень „виселицах, колесах и глаголях“, о чем он с гордостью доносил императрице, подчеркивая, что эта мудрая мера принята по его „повелениям“. На этих виселицах и колесах велено было казнить „злодеев и преступников подлого состояния“—„не останавливаясь за изданными об удержании над преступниками смертной казни всемилостивейшими указами как покойною в Бозе почивающею государынею императрицею Елисавет Петровною

так и ныне владеющею над нами нашею всемилостивейшею самодержицею". Так впервые в нашей истории Петром Ивановичем Паниным было дано авторитетное разъяснение, что политических преступников указы об отмене смертной казни не касаются. Панин готов был бы и дальше итти, он было издал „повеление", чтобы в случае повторного бунта „казнить всех без изъятия возрастных мужиков мучительнейшими смертями", но и тут его остановила Екатерина. Все-таки, она переписывалась с Вольтером, и ее подобная откровенность могла поставить в неловкое положение.

Но в участии Панина, как „усмирителя" пугачевщины, была еще одна сторона,—если так можно выразиться, символическая. Панин был главой будировавшего из-за недостатков екатерининского „монаршизма" дворянства. В донесениях московского главнокомандующего Волконского это „большой болтун", а в письмах самой Екатерины—„первый враль и мне персональный оскорбитель". Что оскорбитель и оскорбляемая сошлись теперь за общим делом, это было глубоко знаменательно. Комиссия 1767 года едва не поссорила Екатерину и ее дворянство, пугачевщина опять их сблизила, и на этот раз неразрывно. Этот новый и прочный мир нашел себе и еще более яркое символическое выражение, нежели назначение Панина главнокомандующим против Пугачева. Когда зашла речь об организации на местах дворянского ополчения для борьбы с пугачевщиной, Екатерина, по дворцовым имениям Казанской губернии местная землевладелица, приняла живое участие в деле, и в письме, которым сопровождалось ее пожертвование на „милицию", назвала себя казанской „помещицей". Нужно видеть, какой взрыв холопского умиления вызвало это маленькое слово в сердцах казанских дворян, чувствовавших себя такими жалкими и покинутыми перед лицом надвигавшейся пугачевщины. „Что ты с нами делаешь?—вопияли дворяне в ответном письме:—в трех частях света владычество имеющая, славимая в концах земных, честь царей, украшение корон, из боголепия величества своего, из сияния славы своея снисходишь, и именуешься нашею казанскою помещицей! О радости для нас неизглаголанной, о щастия для нас не-

окончаемаго! Се прямо путь к сердцам нашим!" Перед чрезвычайно демократической практикой мужицкого бунта где уж тут было хлопотать о „доведении до конца" аристократического „монаршизма" Духа законов...

6. Централизация крепостного режима.

Одним из основных условий русского феодализма XVIII века, как он сложился к шестидесятым годам, была *слабость центральной власти*. Государю-помещику в его вотчине редко была нужна эта власть: он справлялся собственными средствами. А с тем, что превышало эти средства, должно было справляться местное дворянское общество через своих выборных агентов: таков был идеал дворянских наказов 1767 года. Мы не встретим в них жалоб на то, что в провинции мало правительственных чиновников: бюрократическая централизация прочно связалась в воспоминаниях дворянства с реформой Петра, а эту реформу дворяне вспоминали без большого удовольствия; официальные восторги по ее поводу не должны нас обманывать. Если Петр часто цитируется в тогдашней дворянской литературе, то большею частью для того, чтобы приписать ему то, чего он не делал и что — как выборные дворянские ландраты, например — шло вразрез с основными тенденциями петровской политики в дни ее расцвета. Это был удобный и приличный повод легализировать дворянские чаяния, когда они казались самим дворянам немного смелыми для настоящего момента — нечто вроде тех цензурных вставок, какие делал Монтескье в своих немного скользких рассуждениях о „посредствующих властях". В действительности, дворяне желали бы, чтобы между дворянскими выборными органами и общегосударственным центром не было никаких промежуточных звеньев, а этот центр рисовался им в образе сената, где заседают такие же дворяне-помещики. До Пугачевщины этого казалось совершенно достаточно — пугачевское восстание заставило пересмотреть вопрос. „Внутреннее бывшее беспокойство", писал Екатерине с места

усмирения не кто другой, как Петр Панин, недавний „большой болтун" и вождь дворянской оппозиции, „...для управления таковых (отдаленных от первопрестольных надзираний) народов и стран открыло *потребности в умножении над ними более правительств* и присутственных полицейских надзирателей, нежели доныне оных есть". „Мудрая императрица Екатерина II,—говорит в своих записках знакомый нам член „секретной комиссии" Рунич,—по случаю возникшего в низовом краю России возмущения извлекла все опыты из внутреннего тогдашнего управления губерний и воеводств и со сродным ей благоразумием усмотреть соизволила, что в таком обширном государстве, какова российская монархия, разделенная на 12 только губерний, необходимо требует нового постановления,—*чтобы они* (*губернии*), *в пределах своих, были не столь обширны*, что и сделано по усмирении в низовом краю пугачевского бунта..." Низший персонал новых губерний, в несколько раз „умноживших" местные „правительства", рекрутировался, как мы знаем, все из того же дворянства: этим были удовлетворены в минимальной мере требования 1767 года. Но над низшей дворянской администрацией были поставлены агенты центральной власти с чрезвычайными полномочиями, в лице наместников, которые обращались к дворянскому обществу с высоты императорского трона, нарочито поставленного в залах дворянских собраний, „яко частные цари под начальством единой великой самовластной своей царицы, коей одной обязаны они были ответствовать". Это отнюдь не была только декоративная должность, как часто думают; выборная дворянская администрация скоро это почувствовала. „По прошествии некоторых лет,—говорит тот же автор,—начали изменяться, упадать и терять цену дворянские выборы, ибо некоторые из государевых наместников допустили вкрасться при своих, так сказать, дворах пристрастию фаворитов и фавориток, по внушению коих на новые трехлетия при выборах начали избирать дворян, как в предводители, так и в присутственные места, качеств низких, услужливых прихотям фавора... почему многие добрых качеств дворяне, видя, что в собраниях для выбора зарождаются пристрастия и выгоды... начали уда-

ляться от выборов и решительно оставили по губерниям службу“ [1]).

„Двор“ екатерининского наместника, с его „фаворитами и фаворитками“, был такою же точной копией центрального, петербургского, двора, как трон в зале губернского дворянского собрания—копией настоящего царского трона. И далеко не случайно в самый разгар пугачевщины вся Россия получила „государева наместника“ очень своеобразного типа в лице Потемкина. На „великолепного князя Тавриды“ (иные еще называли его „князем тьмы“) долго смотрели у нас как на „фаворита“в тесном смысле этого слова,—как на человека, лично близкого императрице, а потому и пользовавшегося, по личному доверию, „всею полнотою власти самодержавной“. С этой точки зрения он, конечно, легко находил себе предшественников в Бироне, Разумовском, Шувалове, Орлове. Но уж современники должны были заметить, что между этими последними и Потемкиным было существенное различие: у тех власть (если они ею обладали, как Бирон или Орлов) и „случай“, были тесно связаны,—прекращался „случай“ и они становились частными людьми, иногда с богатством и внешним почетом, иногда без всего этого, но всегда без всякого политического значения. Когда кончился „случай“ Потемкина, когда появился новый фаворит (Завадовский) все были убеждены, что и роль прежнего фаворита сыграна; но, доносил своему начальству австрийский посол, „князь Потемкин к общему удивлению сохраняет авторитет, трудно соединимый с его теперешним положением, и по крайней мере, по наружности, совсем не похож на попавшего в немилость фаворита, хотя, несомненно, он более фаворитом не состоит“... С тех пор сменилось еще несколько фаворитов, а Потемкин все оставался при старом значении и влиянии, при чем это влияние распространилось даже и на выбор его, по внешнему виду, заместителей [2]). Размеры же этого влияния были совершенно

---

[1]) „Записки“ *П. С. Рунича*.—„Русская Старина“, т. II.

[2]) Процедура „отбора“ Потемкиным предметов временного удовольствия его повелительницы обстоятельно описана его бывшим камердинером, который, впрочем, сам называет себя „частным секретарем“. См. *St. Jean*. „Lebensbeschreibung des Fürsten Gr. Al. Potem-

ни с чем предыдущим не сравнимы: ни один из его предшественников, даже Бирон, не занимал положения такого всевластного первого министра, настоящего великого визиря, каким был князь Таврический, притом с первых же дней своего фавора. „Граф Потемкин имеет такое влияние на императрицу, что во внутренних делах все от него зависит"—писал тот же австрийский посол в 1775 году, а через несколько месяцев он был очень рад, когда один его приятель доставил ему частную аудиенцию у того же Потемкина, при чем посол мог убедиться, что и по иностранным делам тоже „все от него зависит". В марте 1774 года Потемкин сделался генерал-адъютантом императрицы (звание, в екатерининскую эпоху имевшее совершенно определенное значение—и Орлов, и Зубов, и все меньшие боги екатерининского Олимпа были генерал-адъютантами), а уже в апреле лондонскому кабинету доносили: „весь образ действий фаворита свидетельствует о совершенной его уверенности в прочности своего положения. Действительно, принимая в расчет время, которое продолжается его фавор, он достиг далеко большей степени власти, чем кто-либо из его предшественников"... „Хотя нигде любимцы не возвышаются так внезапно, как в этом государстве, однако, даже здесь еще не было примера столь быстрого усиления власти, какого достигает настоящий любимец. Вчера, к удивлению большей части членов, генералу Потемкину повелено заседать в тайном совете". В действительности, он был гораздо больше, чем рядовым членом тайного совета: наиболее „тайное" изо всех тогдашних дел, усмирение пугачевского мятежа, всецело было отдано в его руки. Самые секретные донесения Екатерине с мест доставлялись прямо ему, и он имел право их вскрывать [1]). Гордый и непреклонный Никита Панин вступал с ним в частные интимные разговоры по поводу назначения главнокомандующим против Пугачева Петра Панина. Повидимому, вначале Н. Панин тешил себя надеждой, что ему удастся забрать в руки „неопытного" нового фаворита:

---

kin", Karlsruhe 1888 (с Рукописи начала XIX в.). Это уже в полной мере „лакейские сплетни", но как раз такие интимности лакеи знают всего лучше...

[1]) См. „Записки" *Рунича*, стр. 157.

когда же окончательно убедился, что тот „ничего не внемлет или внимать не хочет, а все решает дерзостию своего ума", то заскучал и стал говорить об отставке. Предметом многочисленных „милостей", сыпавшихся, как из рога изобилия, бывали и другие: в быстрой карьере Потемкина характерно именно сосредоточение в его руках реальной *власти*. По части „милостей" он не очень опережал других и графом, например, сделался слишком полгода спустя после начала своего „случая". Зато в первые же его месяцы он стал подполковником Преображенского полка (полковником была сама императрица) и вице-президентом, а фактически президентом, военной коллегии: только нежелание всегда тактичной Екатерины обижать старших генералов армии мешало ей подчинить Потемкину формально все русское войско; и без того Румянцев чувствовал себя жестоко обиженным, получая распоряжения из рук человека, еще недавно сражавшегося под его начальством в скромном качестве „волонтера". Но на деле Потемкин все же был главнокомандующим, и характерно, что его фавор начал бледнеть с той самой поры, когда вторая турецкая война показала совершенное ничтожество его, как полководца. Только тогда один из временных фаворитов, Платон Зубов, начинает выдвигаться на место постоянного. И точно также не менее характерно то, что одним из первых, кого Екатерина нашла нужным известить о пожаловании Потемкина генерал-адъютантом и преображенским подполковником, был усмирявший пугачевщину Бибиков: обер-полицеймейстер, работавший на месте, должен был знать, кто в России новый генерал-полицеймейстер. Суть была не в том, что Бибиков „любил" Потемкина: почти игривая форма, в которой старый и верный слуга был извещен о появлении нового фаворита (письма Екатерины от 7 и 15 марта 1774 года, таким резким пятном выделяющиеся на общем мрачном фоне тогдашней ее переписки), была одним из проявлений все той же тактичности. Пилюлю нужно было подсахарить...

Только в самое последнее время русская историческая литература начинает делать попытки взглянуть на „князя тьмы" не как на типического представителя фаворитизма XVIII века, а как на выразителя новой политики Екате-

рины II, так не похожей на времена, когда эта государыня с трогательной добросовестностью конспектировала Монтескье [1]). Как реагировало на эту новую, после-пугачевскую, политику общественное мнение дворянской России, это в необычайно яркой форме выразил лидер дворянской публицистики, кн. Щербатов. Но прежде чем перейти к этому плачу на развалинах русского „монаршизма", нельзя не сказать два слова о новых струнах совсем иного рода, какие начинают теперь звучать в екатерининской политике, подготовляя следующее царствование. Пугачевщина заставила не только поставить у центра всех дел „человека с кулаком",—всеми ненавидимого („вся нация—писал ровно через два года после назначения Потемкина генерал-адъютантом австрийский посланник,—которая его ненавидит, ничего так сильно не желает, как его падения"—мы сейчас увидим, кто это „вся нация"), но умеющего всех подчинить своей воле. Она напомнила о том, что в известную минуту, и как раз самую критическую, кулак может бессильно повиснуть в воздухе. *Военные реформы Потемкина* чрезвычайно выразительны. Уже одно стремление организовать войско из *инородцев*—албанцев, волохов, болгар, даже кабардинцев, и, так неприятно напомнивших о себе во время пугачевщины, башкир—не покажется случайностью тому, кто вспомнит, как вели себя русские войска в дни Пугачева. Иноземные наемники—любимое прибежище всякого деспотизма XVIII века. Но это, конечно, мелочь на общем фоне потемкинских преобразований. Они вовсе не ограничивались одним введением рациональной формы обмундирования (заимствованной, впрочем, отчасти у австрийцев). Сущность дела хорошо объясняет одно распоряжение Потемкина [2]): „а офицерам гласно объявите, *чтоб с людьми обходились со всевозможной умеренностью*, старались бы об их выгодах, в наказаниях не преступали бы положенных, были бы с ними так, как я,

[1]) К числу этих попыток принадлежит небольшой очерк, помещенный в „Русском биографическом словаре", составленный г. *Ловягиным*. Его портит только явное стремление подчеркнуть „положительные" результаты потемкинского управления. Значение П., конечно, не в этом.

[2]) Цитируемое г. Ловягиным.

ибо я люблю их как детей". Положение солдата вообще стремились облегчить,—для того, чтобы сделать его более надежным, если опять понадобится встретиться с „домашним врагом". Но и самого домашнего врага старались приручить, насколько возможно. Мы видели, какую поддержку Пугачевщине оказывали раскольники. „Время улучшения раскольников при Екатерине II совпадает с порою усиления влияния Потемкина", говорит новейший биограф последнего. В Таврической губернии старообрядчество терпелось на равных правах с остальными неправославными исповеданиями. Из одной резолюции Екатерины на доклад Потемкина видно, что он предполагал распространить это местное распоряжение на всю Россию,—организовав старообрядческую церковь на началах, напоминающих позднейшее „единоверие". Екатерина нашла это слишком рискованным: „сей пункт поныне избегаем был всеми, и по сю пору о сем никто, а наипаче духовный чин, слышать не хотел". Она посоветовала, без огласки, улучшить положение раскольников путем частных соглашений с духовной властью. Всего труднее было приручить главную разновидность „домашнего врага"—крепостных крестьян; но и тут Потемкин оставил по себе весьма характерный след, предписав, уже совершенно секретно не выдавать помещикам беглых, которые найдут убежище в подчиненной непосредственно ему Новороссии.

Этим распоряжением Потемкин, конечно, гораздо больше помог колонизации Новороссии, нежели постройкой своих городов—которая к „колонизации", собственно, может быть отнесена лишь по недоразумению, потому что населены они были исключительно солдатами, чиновниками и иными казенными людьми—или выпиской заграничных колонистов, по показанию очевидцев частенько умиравших голодной смертью, ибо, выдав им грошевое пособие, потемкинская администрация бросала их на произвол судьбы. Что злоупотребления этой администрации были колоссальны, как всякой администрации крепостного типа — об этом не может быть спора. Но это были именно недостатки, свойственные *всякой* тогдашней администрации: когда же приходится перечислять индивидуальные грехи человека, которого ненавидела „вся

нация", злейшие обвинители теряются и не знают, что сказать. Щербатов готов приписать Потемкину „все знаемые в свете пороки", которыми тот, будто бы, не только „сам был преисполнен, но и преисполнял окружающих его": но видим мы воочию только любовь хорошо покушать, да грубое обращение с придворными лакеями высшего ранга. „Неосторожность обер-гофмаршала, князь Николая Михайловича Голицына не приготовить ему какого-то любимого блюда подвергла его подлому ругательству от Потемкина и принудила итти в отставку": вот и все доказательства „всех знаемых в свете пороков" Потемкина, какие можно найти в широкой картине „повреждения нравов в России". Для человека, задавшегося специальной целью обличать,—жатва не богатая. Не много находит прибавить сюда и другой обличитель Потемкина, представляющий собою противоположный полюс Щербатову. St. Jean рассказывает, например, не без пафоса, как самые знатные люди, в том числе губернаторы и наместники, в полной парадной форме и во всех орденах, съезжались за сотни верст навстречу проезжавшему по их губернии Потемкину,—а он сплошь и рядом не удостоивал даже выйти из своего крытого возка, где спал или читал так что собравшейся высокопоставленной публике оставалось только раскланиваться с лакеями и лошадьми князя. Вольно им было кланяться, скажет новейший читатель: чем же виноват Потемкин, что екатерининские наместники, гордые сатрапы перед местным населением, так подло холопствовали перед центральной властью? И, наконец, Державин, который, как и все дворяне его времени, не прочь привести образчик „пороков" князя Таврического, в качестве самого эфектного номера рассказывает, как тот разрешил купить населенное имение—еврею. По нравам XVIII века, когда у всех свежо было в памяти поголовное изгнание евреев из империи Елизаветой Петровной, это был, конечно, случай резкий: но где же опять-таки тут „все знаемые в свете пороки"? Если при этом и были закрепощены свободные люди — как рассказывает Державин, этому, впрочем, менее придающий значения, чем национальности покупщика,—то разве вся политика Ека-

терины в Малороссии не сводилась к закрепощению уцелевших еще остатков свободного населения?

В лице князя Потемкина „вся нация", т.-е. все благородное российское дворянство, ненавидела *режим*, а человеку доставалось лишь за то, что он был первым воплощением этого режима, хотя лично он был не хуже и не лучше других. Когда Щербатов почти в симпатичных тонах рисует первого фаворита Екатерины, Григория Орлова, сравнивая его с последующим, он вспоминает добром первую, до-пугачевскую, половину царствования — весну дворянского „монаршизма". „Домашний враг" безжалостной рукой разрушил иллюзии своих господ, и полторы тысячи повешенных помещиков заставили их уцелевших собратьев позабыть всякие мечтания о „властях средних". Приходилось брать то, что центральной власти угодно было уступить—да еще и за это благодарить и славословить. „Испекли законы, правами дворянскими и городовыми названные,—иронизирует Щербатов,—которые более лишение, нежели дание прав в себе вмещают и вообще делают отягощение народу". Но, поневоле идя под ярмо, кляли его,—и тот же Щербатов умел придать этим проклятиям общую форму, не привязываясь к „порокам" отдельных „властителей". „Я охуляю самый состав нашего правительства, — говорит он в своей предсмертной записке,—называя его совершенно самовластным и таким, где хотя есть писанные законы, но они власти государевой и силе вельмож уступают, где состояние каждого подданного основывается не на защищении законов, не от собственного его поведения зависит, но от мановения злостного вельможи". „Надлежало бы мне теперя говорить о правительствах; но как у нас *по самому непомерному деспотичеству* не законы действуют в правительствах, но преклонение двора и воля вельмож, то прежде и должно о сих говорить". Настроение настолько сродни и недавнему поколению, что нельзя, кажется, читать эти строки без живого сочувствия; но взгляните на конкретные образчики „непомерного деспотичества". „Охуляю я подчинение губернских предводителей под власть наместников, яко разрушающее преграду власти наместников над дворянами... Охуляю я учреждение нижних и верхних расправ,

где *несмышленные и упрямые крестьяне заседают*, с отнятием их от земледелия и с повреждением их нравов, от коих и другие повреждаются... Охуляю я дворянское право в самом его порядке и расположении книг; позволение девкам благородным выходить в замужество и за низшего состояния людей с сохранением своего права, от чего нравы повреждаются и смешиваются состояния; вмещение в разные классы дворянства всяких чинов людей, чрез что самое сословие дворянское уподляется"... Это не все, что „охуляет" старый „монаршист" в своей предсмертной речи к тем, кто заставил согнуться его гордую голову (он „отстал от двора", по его словам, в 1777 году—как раз в начале потемкинского режима): во многих своих „охулениях" он опять оказался бы понятен и людям иного миросозерцания,—когда он нападает, например, на „чинимые наказания по уголовным преступлениям, производящие мучительную смерть", или на „писание законов самою монархинею, писанных во мраке ее кабинета, коими она хочет исполнить то, что невозможно, и уврачевать то, чего не знает". Но это—общие места, годные для многих мест и разных эпох: индивидуальность вносит в них то, что отражает интересы класса, представителем которого не только в комиссии 1767 года был кн. Щербатов, и ту перемену, которую этот класс пережил на склоне царствования Екатерины.

Как личность Потемкина не играла никакой особенной роли в этой перемене, так и его смерть ничего не могла изменить в установившемся режиме. Зубов, по общему признанию, был не умен, и если мог с некоторым внешним приличием играть роль „государственного человека", то лишь благодаря своей чудовищной памяти, позволявшей ему ошеломлять случайного собеседника массой технических терминов и мелких подробностей: это создавало иллюзию, что он „все знает". Люди, имевшие более частое обхождение с последним фаворитом Екатерины, уверяли, что он почерпал свою мудрость, главным образом, из проектов, доставшихся ему в наследство от Потемкина, почему бывший секретарь последнего, Попов, играл вначале первую роль и при Зубове, пока тот не счел, что достаточно усвоил себе уже суть потемкинской политики.

К оригинальным продуктам политического творчества Зубова принадлежал, повидимому—хотя бы отчасти—бесстыдный грабеж, известный под именем „третьего раздела Польши". По крайней мере, сам он любил этим хвастаться, — и если держаться правила: is fecit cui prodest, придется признать за ним некоторое на это право, так как все богатства Зубова и его приближенных составились из имений, конфискованных у польских помещиков, обнаруживших недостаточную преданность... России. Но награждать русских слуг нового режима землями, отобранными у поляков, давно вошло в обычай: еще усмирители пугачевщины получили имения в Белоруссии, по первому разделу доставшейся России как раз около этого времени. Большая часть потемкинских владений была там же, и оттуда же бралось приданое для большинства мелких екатерининских фаворитов. И тут Зубов нашел уже, таким образом, традицию, которой оставалось только следовать. Во всяком случае, распоряжался огромным земельным фондом, доставшимся русскому правительству благодаря разделу, именно он. „Раскаявшиеся" польские помещики, рассчитывавшие получить обратно хоть часть ограбленного у них достояния, прибегали не к кому другому, как к Зубову. Таким путем Понятовский, племянник последнего польского короля, получил 30.000 душ крестьян „за то, что ежеминутно называл Зубова высочеством и светлостью". Нужно прибавить, что польский принц только следовал в данном случае установившемуся в после-потемкинской России этикету, который позволял итти и далее: по словам того же свидетеля, „старый генерал Мелиссино, принимая однажды из рук Зубова владимирскую ленту, поцеловал у него руку". Одно такое паломничество польских помещиков в Петербург сохранило для нас любопытную картинку русских придворных нравов 1790-х годов. „Каждый день, — рассказывает в своих записках князь Чарторыйский, которого родители прислали в Петербург спасать семейное достояние, — у Зубова был un lever (утренний туалет короля, по французской придворной терминологии), в точном смысле этого слова. Огромная толпа просителей и придворных всякого ранга стекалась присут-

ствовать при его туалете. Улица была заставлена каретами шестериком и четвериком, совершенно, как перед театром. Иногда, после долгого ожидания, толпу предупреждали, что граф сегодня не выйдет, и все расходились, говоря друг другу: „до завтра". В противном случае двери распахивались настежь, и в них бросались, тесня и толкая друг друга, полные генералы, кавалеры различных орденов в звездах и лентах, черкесы — до купцов с длинными бородами включительно. В числе челобитчиков иногда было много поляков, приезжавших хлопотать о возвращении их имений или жаловаться на какую-нибудь несправедливость". „Самое торжество происходило следующим образом: раскрывались обе половинки дверей. Зубов входил, волоча ноги, в халате, почти неодетый; легким наклонением головы он приветствовал челобитчиков и придворных, в почтительных позах стоявших кругом, и принимался за свой туалет. К нему приближались камердинеры, взбивали ему волосы и пудрили их. Тем временем прибывали новые просители; их также удостаивали легкого движения головы, когда граф замечал кого-нибудь из них; все с напряженным вниманием ловили его взгляд. Мы были из тех, кого всегда встречали милостивой улыбкой. Все оставались на ногах, и никто не осмеливался произнести слова. Это была как бы мимическая сцена: красноречивым молчанием каждый стремился обратить внимание всемогущего фаворита на свое дело. Никто, повторяю, не открывал рта, разве что граф сам обращался к кому-нибудь—при этом никогда по поводу просьбы. Часто он не произносил ни одного слова, и я не помню, чтобы он предлагал сесть кому бы то ни было, за исключением фельдмаршала Салтыкова, который был первым лицом при дворе и, как говорят, сделал фортуну Зубовых; благодаря его посредничеству граф Платон наследовал Мамонову. Деспотический проконсул Тутолмин, перед которым все трепетало в эту эпоху в Подолии и на Волыни, приглашенный сесть, не осмелился сделать этого, как следует: он лишь присел на кончик стула, и то только на один момент" [1]).

---

[1]) *Czartoryski*, «Mémoires», I, pp. 56—59.

Двадцать лет потемкинского режима так вымуштровали русского дворянина, что, казалось, самая пылкая фантазия не в силах была бы представить себе этого последнего революционером и политическим заговорщиком. И, однако же, такое чудо совершилось всего через несколько лет после описанной кн. Чарторыйским сцены. Виновником чуда был Павел Петрович. Он натянул струну до последней степени, и на нем режим временно оборвался, чтобы, очень скоро, даже не целое поколение спустя, возродиться вновь в лице Аракчеева и Николая Павловича.

Оригинальности мало было и в Павловом царствовании. Основная пружина, выдвинувшая в свое время Потемкина, продолжала действовать и при Павле. Рассказав, как Павел десятками тысяч раздавал своим приближенным казенных крестьян (по случаю коронации, в 1797 году роздано было более 82.000 душ), адмирал Шишков дал этому факту такое объяснение: „Причиною сей раздачи деревень, сказывают, был больше страх, нежели щедрость. Павел Первый, напуганный, может быть, примером Пугачева, думал раздачею казенных крестьян дворянам уменьшить опасность от народных смятений. *Сия, можно сказать, несчастная боязнь часто тревожила сердце сего монарха* и была причиною тех излишних осторожностей и непомерных строгостей, какими, муча других, и сам он беспрестанно мучился, и которые, вместо погашения мнимых искр возмущения, действительно, порождали их и воспламеняли". Правдоподобность этого объяснения вполне подтверждается словами самого Павла: „по-моему, лучше бы и всех казенных крестьян раздать помещикам. Живя в Гатчине, я насмотрелся на их управление; помещики лучше заботятся о своих крестьянах, *у них своя отеческая полиция*" [1]). Полиция, и именно „отеческая", т.-е. вотчинная, крепостническая и крепостная, была душой павловского режима: этого не решаются отрицать даже панегиристы „коронованного Гамлета". „Сенат и совет при высочайшем дворе утратили почти всякое законодательное значение: государь хотел сам все видеть, все решать и всем лично управлять,—говорит один из них.—Зато *особое зна-*

[1]) *Шильдер*, „Павел I", стр. 346.

чение приобрели полицейские органы власти, наблюдавшие за исполнением воли государя..." [1]). „Насмотревшись" на управление самого Павла, вы приходите к убеждению, что это был прирожденный полицеймейстер, прежде всего другого. Как нельзя быть более для него характерна в этом отношении одна его записка, относящаяся еще к до-гатчинскому периоду („Рассуждения о государстве вообще", 1774 г.), где он настаивал на том, что необходимо „предписать всем, начиная от фельдмаршала, кончая рядовым, все то, что должно им делать; тогда можно на них взыскивать, если что-нибудь будет упущено". Это не случайное увлечение: „предписать всем все, что должны они делать"—основная идея Павла, гвоздем сидевшая в его мозгу, идея, которую он добросовестнейшим образом пытался осуществить, как только власть попала в его руки. Ежели не всему населению вообще, то, по крайней мере, дворянству и жителям столиц было точно указано, как должны они причесываться, одеваться, ходить и ездить по улицам, красить свои дома,—и даже, как должны они говорить. „Воспрещено было ношение фраков и разрешено немецкое платье, с точным определением цвета его и размеров воротника; запрещены были жилеты, а вместо них дозволено употреблять камзолы; дозволены были башмаки с пряжками, а не с лентами, и запрещены короткие сапоги с отворотами или со шнурками; не позволялось „увертывать шею безмерно платками", а внушалось „повязывать ее без излишней толстоты" и т. д., и т. д. При этом „домоправителям, приказчикам и хозяевам строжайше подтверждалось, чтобы всем приезжающим для жительства или на время в домы их объявляли они не только об исполнении сих предписаний, но и о всех прежде бывших, и если окажется, что таковых объявлений кому-либо учинено не было, то с виновным поступлено будет по всей строгости законов". К большому, вероятно, огорчению Павла, невозможно было урегулировать обыденную, разговорную речь; но из официального языка был изгнан целый ряд слов с заменою их другими.

---

[1]) *Е. Шумигорский*, „Павел I" (В Русском Биографическом Словаре). Курсив наш.

Слово „стража" заменено было словом „караул", „врач"—„лекарь", граждане"—„жители" или „обыватели", отечество"—„государство" и т. д.; слово же „общество" совсем воспрещено было к употреблению. „Во время путешествия Павла Петровича в Казань, статс-секретарь его, Нелединский, сидевший с ним в карете, сказал государю, проезжая через какие-то обширные леса: „Вот первые *представители* лесов, которые далеко простираются за Урал".—„Очень поэтически сказано,—возразил с гневом император,—но совершенно неуместно: извольте сейчас выйти вон из коляски" [1]). Любовь Павла *к военной* регламентации, его парадомания и мундиромания были, в сущности, производными качествами, наиболее бросавшимися в глаза формами любви его к регламентации вообще. Мало известно, но очень характерно, что повод к возникновению знаменитых гатчинских батальонов был чисто полицейский: опасение шаек беглых крестьян, будто бы бродивших вокруг Гатчины. Гатчинские порядки ставили себе целью создание не только образцового войска, но и образцового *города*: задолго до Петербурга как Гатчина, так и Павловск, были переведены на „полуосадное положение"; дома строились по определенному фасону, после известного часа нельзя было показываться на улицах и т. д. Собственно к военному делу, в точном смысле этого слова, Павел уже потому не мог чувствовать особенного влечения, что он от природы был крайне труслив. Ребенком он так трепетал перед императрицей Елизаветой Петровной—женщиной, в сущности, очень доброй, как мы знаем—что это отражалось даже вредно на его здоровье. Известие о том, что его воспитателем назначен Ник. Панин, преисполнило его ужасом. „Увидя в Петергофе, что идет старик в парике, в голубом кафтане, с обшлагами желтыми бархатными, Павел Петрович заключил, что это Панин, и неописанно струсил", рассказывает его гувернер, Порошин. Взрослым, Павел боялся ездить верхом и крайне неуверенно держался на лошади, что было причиною бесчисленного количества „недоразумений" на кавалерийских ученьях и маневрах,—недоразумений, не всегда комич-

[1]) *Шумигорский*, passim.

ских, иногда и трагических, не для самого Павла, а для окружающих. Он сам признавался, что любит „военных, но не войну", и если ни в одной из екатерининских войн ему не удалось принять участия (кроме, на короткое время, шведской 1788—1790 г.г., где он воевал не столько с неприятелем, сколько с русским главнокомандующим), то в этом виноваты не только политические расчеты Екатерины; ей, правда, не было бы приятно, если бы сын ее приобрел популярность, как военачальник, и она могла сознательно мешать этому; но нужно сказать, характер ее сына очень облегчал эту задачу. Недаром именно после выступления Павла в шведской войне она окончательно перестала беспокоиться о гатчинских батальонах и равнодушно смотрела на то, как Павел увеличивал свою „армию". На этом поле он никому не был страшен, кроме собственных солдат. Зато полицеймейстер он был „бравый": с его вступления на престол не проходило пожара в Петербурге, на котором бы Павел не присутствовал, а с ним и „все, что носило военный мундир из его свиты"; в результате чего дамам императорской фамилии с их фрейлинами нередко приходилось доканчивать ужин в полном одиночестве. Старые екатерининские придворные, совершенно не привыкшие ассоциировать в своем представлении царя и брандмейстера, долго не могли прийти в себя от изумления после первого такого случая...

Полицейскими соображениями вдохновлялась и *крестьянская политика* Павла, которую так часто утилизировали, пытаясь хоть чем-нибудь облагородить это злосчастное царствование. Для того чтобы прийти к этому выводу, достаточно сопоставить даты. В январе 1797 года волнения крестьян, за двадцать лет успевших несколько забыть панинское „усмирение", с его виселицами и колесами,— в то время как экономическое положение крепостных ухудшилось, барщина стала еще интенсивнее,—достигли таких размеров, что вечно преувеличивавший все опасности Павел нашел нужным командировать для усмирения их первого, после Суворова, боевого генерала того времени, фельдмаршала Репнина. Одновременно был издан манифест, где говорилось: „С самого вступления нашего на прародительский наш императорский престол предпо-

ложили мы за правило наблюдать и точно взыскивать, дабы каждый из верноподданного нам народа обращался в пределах, званию и состоянию его предписанных, исполняя его обязанность и удаляясь всему тому противного, яко разрушающего порядок и спокойствие в обществе. Ныне уведомляемся, что в некоторых губерниях крестьяне, помещикам принадлежащие, выходят из должного им послушания, возмечтав, будто они имеют учиниться свободными, и простирают упрямство и буйство до такой степени, что и самым прещениям и увещаниям от начальства и властей, нами постановленных, не внемлют.. Повелеваем, чтобы все помещикам принадлежащие крестьяне, спокойно пребывая в прежнем их звании, были послушны помещикам своим в оброках, работах и, словом всякого рода крестьянских повинностях, под опасением за преслушание и своевольство неизбежного по строгости законной наказания. Всякое правительство, власть и начальство, наблюдая за тишиною и устройством в ведении, ему вверенном, долженствует в противном случае подавать руку помощи, и крестьян, кои дерзнут чинить ослушание и буйство, подвергать законному суждению и наказанию". Действия агентов Павла не оставляли никакого сомнения в полной искренности императорского манифеста: то, что здесь говорилось о „строгости" и „наказании", было отнюдь не фразой. Посланный на бунтовавших крестьян фельдмаршал не мог не дать генерального сражения—уже чин не позволял ему унижаться до мелких стычек—и хотя мятежники, по собственному признанию Репнина, были вооружены лишь цепами и дубинами, при усмирении их в одной только деревне было сделано 33 пушечных выстрела и израсходовано 600 ружейных патронов, при чем сожжено было 16 крестьянских домов, убито 20 крестьян и ранено 70 [1]). На этот раз войскам посчастливилось все же найти „инсургентов": но не всегда было так—один вице-губернатор, явившись в бунтовавшую деревню с командою, ни одного взрослого

[1]) *Шильдер*, цит. соч., 328—329. См. также статью покойного *Павлова-Сильванского*: «Волнения крестьян при Павле I» во II т. его сочинений. Из нее видно, между прочим, что большая часть «волнений» не шла дальше *жалоб* крепостных на своего помещика.

крестьянина там не нашел и должен был для устрашения „пересечь кнутьем жен их и среднего возраста детей". Как бы то ни было, „порядок одержал победу всюду, при том очень быстро (из деревни, бомбардированной Репниным, уже через четыре дня оказалось возможно вывести войска). Происходило это в феврале, а в апреле, по случаю коронации, вышел указ о трехдневной барщине, претендовавший устранить раз навсегда самую причину крестьянских волнений—отягощение крестьян работой. Нужно прибавить, что самое урегулирование барщинной повинности трактуется в манифесте очень осторожно и как бы вскользь—на первый план выдвигается соблюдение святости воскресного дня. Но так как воскресенье даже при хозяйстве почти плантационном обыкновенно оставлялось крестьянам, как мы знаем, то с этой стороны большой фактической перемены в существующие отношения манифест и не вносил. Не видно, чтобы помещики особенно тяготились указом 5 апреля 1797 г., и даже, чтобы они вообще сколько-нибудь обращали на него внимание: надзор за его соблюдением был всецело в руках местных властей, а эти власти были свои, дворянские. Манифест мог бы встревожить дворянство, как симптом, как первая ласточка эмансипационной политики, но от этой последней Павел был едва ли не дальше, чем даже Потемкин с его косвенным покровительством крестьянским побегам. Не говоря уже о приводившейся выше его сентенции насчет преимущества положения крепостных крестьян сравнительно с казенными, он и больше, чем словами, доказывал, что и здесь „порядок" для него выше всего. Когда в Петербурге на разводе кучка дворовых подала ему челобитную, жалуясь на своих господ, Павел немедленно приказал дать каждому из челобитчиков столько плетей, сколько захочет его барин. „Поступком сим", говорит Болотов, Павел „приобрел себе всеобщую похвалу и благодарность от всего дворянства". Нужно сказать, что дворянство могло быть ему благодарным и за более серьезные меры в пользу помещичьего сословия: 18 декабря того же 1797 года Павлом был учрежден *дворянский банк*, откуда выдавалось под залог имений от 40—75 рублей на душу из 6% ссуда выдавалась билетами,

приносившими 5%. Интересы дворянства, *насколько он их понимал*, Павел старался соблюдать не хуже своих предшественников.

Мы не хотим, однако, сказать этим, чтобы Павел Петрович был совершенно чужд сознательной *демагогии* на почве классового антагонизма верхов и низов феодального общества. Напротив, если он где был новатором, так именно тут — позднейшим поколениям оставалось только итти по его следам. Людям его общественного положения во все времена была не чужда мысль, что „народ"—который обыкновенно они представляют себе очень смутно—весьма интересуется их личностью и семейными делами [1]). На самом деле, у „народа", конечно, довольно своих забот, и для него, как бесцеремонно выразился один конногвардейский солдат после смерти Павла, „кто ни поп, тот батька". Но народ толпится на пути высокопоставленных особ, кричит, машет шапками—как тут не явиться мысли, что на эту „восторженную толпу" можно опереться при случае? Надо обладать умом и цинизмом Екатерины II, чтобы ответить так, как она ответила в одном подобном случае: „на медведя еще больше смотреть собираются". Ее сын был человек наивный, неспособный к цинизму, в народные „восторги" простодушно верил и упивался ими еще почти ребенком. Когда он был в Москве, в 1775 году, он „разговаривал с простым народом и позволял ему тесниться вокруг себя так, что толпа совершенно отделяла его от полка". Сообщающий об этом английский посол рассказывает, как мы помним, в других своих донесениях от того же времени, о резких столкновениях, происходивших незадолго перед тем между матерью и сыном: и все это на фоне грозно гудевшей вдали пугачевщины, вождя которой казнили на Болотной площади всего за две недели до приезда Екатерины в Москву. В поведении Павла нельзя не видеть своего рода „воззвания к народу"—provocatio ad populum. „Народ", как ему показалось, принял его благосклонно,—в то время как московское дворянство, не помнившее себя от восторга

---

[1]) С особенной наивностью эта мысль выступает, например, мемуарах пресловутой Луизы Саксонской.

перед спасительницей Екатериной, к великокняжеской чете (Павел был уже тогда женат) отнеслось очень холодно. Это искание „народных“ симпатий, не без связи с тою же пугачевщиной, еще более странно дало себя почувствовать тотчас после восшествия Павла на престол, когда он посылал Рунича (знакомого нам члена „секретной комиссии“ по пугачевскому делу) на Урал—выразить высочайшее доверие и милость тем, кто некогда поддерживал „Петра III“. Но самым эфектным шагом его в этом направлении был тот, о котором единогласно повествуют записки всех современников—мы расскажем его словами одного из лойяльнейших слуг Павла, Саблукова. „Спустя несколько дней после вступления Павла на престол во дворце было устроено обширное окно, в которое [1]) всякий имел право опустить свое прошение на имя императора. Оно помещалось в нижнем этаже дворца, над одним из коридоров, и Павел сам хранил у себя ключ от комнаты, в которой находилось это окно. Каждое утро, в седьмом часу, император отправлялся туда, собирал прошения, собственноручно их помечал и затем прочитывал их или заставлял одного из своих статс-секретарей прочитывать их себе вслух. Резолюции или ответы на эти прошения всегда были написаны им лично или скреплены его подписью и затем *публиковались в газетах* для объявления просителю. Все это делалось быстро и без замедления. Бывали случаи, что просителю предлагалось обратиться в какое-нибудь судебное место или иное ведомство и затем известить его величество о результате этого обращения“ [2]). Комедия эта продолжалась до тех пор, пока Павел не нашел однажды в „желтом ящике“ карикатуры на самого себя: тогда ящик был упразднен. Какую путаницу создавало это „непосредственное общение“ государя с „народом“, едва ли нужно объяснять читателю, тем более, что резолюция всегда зависела от минутного настроения Павла. Но несомненно также, что вовсе без результатов демагогия не оставалась; „доступность“ царя подкупала малосознательных людей—

[1]) Собственно в особый «желтый ящик», стоявший у этого окна.
[2]) Записки Саблукова, рус. пер., стр. 23.

тот же Саблуков отзывается о нововведении Павла с видимым сочувствием. Позже мы увидим, что гвардейские солдаты не оказывались нечувствительными к демагогии еще более элементарной. О Павле начинала итти молва, как о государе грозном, правда, но друге и защитнике бедных людей, и непочтительное сравнение с Пугачевым, которое позволил себе по его поводу подвыпивший сторож Исаакиевского собора, в устах этого сторожа заключало в себе и кое-что лестное...

Все это был расчет, грубый и неуклюжий, но вполне сознательный, нужно думать: человеку, который боялся окружавших его дворян, который вступил на престол с мыслью, что его ждет участь Петра III, если он не примет мер во время [1]), не на кого было опереться в феодальном обществе, кроме низов, так еще недавно бунтовавших против дворянской монархии. Читатель помнит перечень общественных групп, принявших участие в пугачевщине: можно подумать, что Павел распределял свои милости, руководясь их списком. Освобождение крестьян уже потому, что это было „освобождение", слишком расходилось со всем символом веры Павла Петровича: он не мог бы никогда примириться с самой идеей такого акта, как не мог он перенести слова „представитель" (а его сын и продолжатель Николай Павлович—слов „вольные хлебопашцы"). Но облегчить положение крестьян, не нарушая полицейской субординации, он был не прочь: он начал с отмены рекрутского набора, уже назначенного Екатериной, и некоторых натуральных повинностей (вместо чего пришлось тотчас же повысить денежную подать), несколько раз за свое недолгое царствование прощал недоимки, специально занимался участью горнозаводских крестьян на Урале, отписав часть их от заводов и превратив снова в государственные. По отношению к раскольникам он сделал то, о чем только мечтал Потемкин: под известными условиями разрешил богослужение по старым книгам, положив начало так называемому „едино-

---

[1]) См. мемуары Чарторыйского и слова самого Павла Марии Федоровне: „если вы вздумаете подражать Екатерине, вы не найдете во мне Петра III."

верию". Это отнюдь не была принципиальная веротерпимость: Павел не допустил бы ее, как и „представителей",— но фактически, это была льгота, и раскольники ее почувствовали; когда Павла убили, из их среды вышел единственный, хотя и очень робкий, протест против переворота. Духовенство Павел старался привязать к себе разными мерами: и нарезкой земли, из казенной, по 30 десятин на церковь, и основанием новых духовно-учебных заведений, и наконец—ему это, вероятно, казалось важнее всего остального—тем, что стал жаловать духовным лицам ордена и разные другие знаки отличия. По отношению же к дворянству, наоборот, мы рядом с милостями встречаем и ряд ограничительных мер. Современники больше всего шумели по поводу нарушения Павлом жалованной грамоты 1785 года—восстановлением телесных наказаний для дворян (указы 3 января и 13 апреля 1797 г.); но как раз эти указы остались почти мертвой буквой, и случаев сечения дворян за царствование Павла известно два-три наперечет. Важнее было фактическое упразднение губернской организации дворянства (разрешались только уездные собрания); и тут полицейский мотив, стремление ослабить подозрительную общественную силу, выступает с такою же отчетливостью, как и в устранении от выборных должностей чиновников и офицеров, массами исключавшихся Павлом из службы [1]); прогнанные из Петербурга дворяне отправлялись в свои имения,—если бы допустить их в местные выборные учреждения, эти последние очень скоро стали бы очагами опозиционного движения.

Как видит читатель, нам с ним удалось выяснить основные линии политики Павла I, не прибегая к излюбленному методу большинства историков этого царствования: к психопатологии [2]). Все, что делал „сумасшедший" Павел,

[1]) За время царствования Павла (1796—1801) было уволено фельдмаршалов, более 300 генералов и 2.000 штаб и обер-офицеров. Из 132 офицеров конногвардейского полка к концу царствования на службе остались двое—все остальные были новые.

[2]) Пишущий эти строки отдал в свое время дань этому методу, объяснив многое в политике Павла его болезненной наследственностью (см. «Историю России в XIX в.» изд. бр. Гранат, т. I, стр. 22—24). «Наследственность» тут была, конечно, только не физиологическая, от Петра III, а социальная, от Потемкина и Зубова.

делал бы и нормальный человек его умственного развития и склонностей, поставленный в подобное положение: и даже эти склонности были не уклонением от нормы, а лишь преувеличением тех привычек и обычаев, которые сложились на почве потемкинско-зубовского режима. Перед Зубовым не смели сесть—перед Павлом становились на колени; перед каретой Потемкина раскланивались—перед каретой Павла выпрыгивали в грязь и делали реверанс. Даже знаменитый „желтый ящик" был лишь более организованной формой зубовских levers du roi, и, нужно сказать, формой более деловой—Павел занимался своими челобитчиками серьезнее, нежели екатерининский фаворит своими. Даже мундиромания Павла (форма обмундирования одной конной гвардии за его время была изменена не менее *девяти* раз!) находит себе антецедент в мундиромании Потемкина, а что этот последний придумывал мундиры более целесообразные, так это может быть объяснено отчасти более удачным образчиком, на который он напал—австрийские мундиры, а не прусские,—отчасти же тем, что потемкинская униформа придумывалась в лагере, на походе, в обстановке, которой Павел совсем не знал и которую едва ли даже мог себе представить. Словом, в том, что Павел делал *общественно-важного*, он был не столько уродом в семье, сколько крайностью—наиболее резким воплощением особенностей данной группы. Но, как раньше полицейская традиция не заслонила от нас сознательной демагогии Павла, так и теперь нормальность его политики не должна закрыть от нас несомненной ненормальности его личной психики. Достаточно привести один случай, сомнению абсолютно не подлежащий, ибо он исходит от очевидца—и даже, как читатель сейчас увидит, более чем „очевидца"—чтобы устранить всякие споры на этот счет. Рассказ идет от лица А. М. Тургенева—полкового адъютанта Екатеринославского кирасирского полка, одного из „потемкинских" полков, которого за то Павел (лично ненавидевший Потемкина) очень не жаловал. „В один день, не упомню числа, после вахт-парада пошел дождь; всем дежурным штаб-офицерам и адъютантам, для принятия пароля, который Павел Петрович сам отдавал, было приказано собраться в военную залу перед кабинетом; все

собрались. Павел вышел из своего кабинета, отдал пароль; казалось, все шло в надлежащем и подлежащем порядке, ничто спокойствия не нарушало, и Павел изволил шествовать во внутренние комнаты; как вдруг минут через пять двери опять отворились, гоффурьеры зашикали, и он вступил в залу и громко сиповатым голосом повелел: „Екатеринославского адъютанта сюда!“ Недалеко было меня искать—я был в зале и стал перед государем. Павел Петрович подошел ко мне очень близко и *начал меня щипать*; сзади его, с правой стороны, стоял великий князь Александр Павлович, с бледным лицом; с левой стороны стоял Аракчеев; щипание было произведено несколько раз, от которого брызгали у меня из глаз слезы, как горох. Очи Павла Петровича, казалось мне, блестели, как зажженные свечки; наконец, он изволил повелевать мне сими словами: „Скажите в полку, а там скажут далее, что я из вас потемкинский дух вышибу, а вас туда зашлю, куда ворон костей ваших не занесет“. Приветствие—не вполне радостное, но изустно мне оглашенное в присутствии 200 или 300 офицеров! Его величество, повторив высочайшее повеление пять или шесть разов, *продолжая щипание*, изволил мне сказать: „извольте, сударь, отправиться в полк!“

Мы не будем докончивать рассказа, повествующего далее, как Тургенев тут же снова снискал милость своего государя, ловко, по форме, повернувшись перед ним—и для большей правильности поворота не побоявшись даже больно задеть своим палашом слишком близко подошедшего к нему императора; это пожертвование всем форме особенно подкупило Павла, и он проводил исщипанного им адъютанта одобрительным возгласом: „бравый офицер! славный офицер!“ Подобными случаями полны современные [1]), мемуары, и они, эти случаи, проще всего объясняют нам, почему к заговору против Павла так легко пристал „весь Петербург“, с генерал-губернатором во главе: необходимость устранить явно ненормального психически императора оправдывала самые крайние меры. Но событие 11 марта 1801 года слишком сложно, чтобы его можно было объяс-

[1]) См. записки Державина, Чичагова, даже Саблукова и Коцебу.

нить только этим,—и слишком тесно связано с последующим, чтобы его можно было понять, не выходя за пределы Павлова царствования. Его приходится поэтому рассмотреть отдельно и в иной связи.

ГЛАВА XV.

Александр I.

1. 11 марта 1801 г.

Полицейский механизм, созданный для охраны крепостного „порядка", нарушенного пугачевщиной, при Павле Петровиче развил максимум своего действия. Дворянство, для защиты интересов которого механизм и явился на свет, казалось бы, должно было испытывать максимальное удовольствие. Вместо этого царствование Павла было прервано *дворянской* революцией, Павел пал жертвою *дворянского* заговора. Этот заговор становится исходной точкой дворянского оппозиционного движения, наполняющего собою все первое десятилетие XIX века и преемственно связанного с другим заговором, по составу участников тоже дворянским,—заговором декабристов. Первый заговор был стихийным взрывом, почти можно бы сказать—рефлективным жестом самообороны от „порядка", которому с таким фанатизмом служил Павел. Второй был сознательной попыткой поставить на место полицейского порядка нечто иное. Участники второго были детьми заговорщиков 1801 года—если не в буквальном физиологическом смысле, то как непосредственно следующее поколение того же общественного класса. Первый заговор был формально удачен, но ни на иоту не изменил системы. Второй был с формальной стороны катастрофой для тех, кто в нем участвовал, но, косвенно, он сделал в системе трещину, которую можно было замазать, но которая фактически, под толстым слоем замазки, все расширялась. Только после второго мы встречаем настоящую *реакцию*—лет двадцать относительного „покоя", свидетельствовавшего, что, с

одной стороны, кто-то был удовлетворен достигнутыми результатами, с другой, что кто-то разочаровался и не верит больше в достижимость ставившихся с таким упорством целей. В промежутке между 1801 и 1825 годами мы не встречаем ни на минуту полной паузы: в течение всего этого промежутка „общественное движение" ориентируется все в одном и том же направлении. Не мудрено, что связь между событиями этих двух годов улавливали уже современники, хотя не менее естественно, что современников больше поражало внешнее сходство: внутренняя связь была для них менее заметна. Рассказав об ужине, предшествовавшем экспедиции гвардейских офицеров в Михайловской дворец, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, один современник прибавляет: „говорят, что за этим ужином лейб-гвардии Измайловского полка полковник Бибиков, прекрасный офицер, находившийся в родстве со всею знатью, будто бы высказал во всеуслышание мнение, что нет смысла стараться избавиться от одного Павла, что России не легче будет с остальными членами его семьи и что лучше было бы отделаться от них всех сразу. Как ни возмутительно подобное предложение, достойно внимания то, что оно было вторично высказано в 1825 году, во время последнего заговора, сопровождавшего вступление на престол императора Николая Первого" [1].

Заговор 11 марта обыкновенно ставят за одну скобку с дворцовыми переворотами XVIII века. В известном смысле это, конечно, и правильно: по своей технике, например, предприятие Палена и Зубовых ничем не отличалось от предприятия братьев Орловых; но нужно сказать, что и 14 декабря, взятое с *этой* стороны, как две капли воды, похоже на дворцовый переворот. Их, однако же, не принято сопоставлять,—и это опять правильно: потому что этой стороной дело далеко не исчерпывалось, и не в ней было главное. *Идеология* некоторых декабристов могла очень напоминать идеологию Григория Орлова (мы ниже увидим разительные доказательства этого)—их *психика* была совсем иная: и это *новое настроение* дает нам право резкою чертою отделять первых русских революционеров от устрои-

[1]) *Саблуков*, Записки, рус. пер., стр. 69.

телей дворцовых переворотов предшествовавшего столетия. И вот, эта новая психология дает себя чувствовать уже около 1801 года. Другой современник, гораздо более блестящий, нежели цитированный нами выше Саблуков рассказав об убийстве Павла, заканчивает такими словами: „Так погиб этот тиран, после того как он пять лет, держал Россию под своим унизительным игом и заставлял дрожать сорок пять миллионов людей при малейшем знаке его воли. Он кончил бы тем, что погрузил бы снова в варварство свою страну, если бы она не была от него избавлена при помощи единственного возможного средства. Ненависть к тирану должна брать верх над всеми другими чувствами, говорит Лассепед, и всякое средство хорошо, чтобы сломить этот бич“ [1]). И это написал не горячий, увлекающийся мальчик, а старик, бывший на своем веку русским министром и главнокомандующим одной из русских армий. А вот другие строки, написанные всего через три дня после катастрофы, еще более любопытные по общественному положению писавшей—и потому еще, что она раскаивалась в своем вчерашнем настроении, раскаивалась, не считая, однако, возможным его скрыть: „я легкомысленно превозносила революции только потому, что окружавший меня безмерный деспотизм почти лишал меня возможности рассуждать беспристрастно; *я хотела только видеть эту несчастную Россию свободною*, какой бы ценою ни было“. Это писала своей матери великая княгиня Елизавета Алексеевна, которую 11 марта сделало русской императрицей [2]). Не мудрено, что в кругах, близких к заговорщикам, сохранилась легенда, будто Павлу в эту трагическую ночь предлагали подписать конституцию, и его отказ был непосредственным поводом к катастрофе. Это не более, как легенда: читатель сейчас увидит, что весь характер заговора исключает возможность такой театральной сцены. Гвардейские офицеры с Беннигсеном и Зубовым во главе приходили в царскую спальню совсем не за тем, чтобы вести там политические споры. Но легенда характерна: впервые в истории русских дворцовых революций

---

1) Mémoires de l'amiral *Paul Tchitchagof*, Paris 1909.

2) См. *Schiemann*, «Die Ermordung Pauls», введение, стр. VII.

их участники чувствовали себя борцами за политическую свободу. Раньше просто и грубо, без иллюзий, охранялись классовые интересы дворянства. Теперь эта крайне материальная сама по себе задача начинает освещаться поэтическим ореолом: борьба с деспотизмом, вредным для помещиков, начинает сознаваться, как борьба против деспотизма вообще. Еще четверть столетия—и защитники дворянских „вольностей", как декабрист Каховский, становятся, не только субъективно, но и объективно политическими мучениками.

Но, как бы красиво ни было то или другое общественное настроение, основы общественной психологии всегда приходится искать в экономике. По отношению к катастрофе Павла Петровича мы имеем редкий, для тогдашней эпохи в особенности, случай осознания этого факта еще современниками. Писавший с их слов декабрист Фон-Визин так определяет условия, ближайшим образом вызвавшие восстание дворянства против Павла: „Павел, сперва враг французской революции, готовый на все пожертвования для ее подавления, раздосадованный своими недавними союзниками, которым справедливо приписывал неудачи, испытанные его войсками... вдруг совершенно изменяет свою политическую систему и не только мирится с первым консулом французской республики, умевшим ловко польстить ему, но становится восторженным почитателем Наполеона Бонапарта и *угрожает войною Англии*. Разрыв с нею наносил неизъясненный вред нашей заграничной торговле. Англия снабжала нас произведениями и мануфактурными, и колониальными за сырые произведения нашей почвы. Эта торговля открывала единственные пути, которыми в Россию притекло все для нее необходимое. Дворянство было обеспечено в верном получении доходов со своих поместьев, отпуская за море хлеб, корабельные леса, мачты, сало, пеньку, лен и пр. *Разрыв с Англией, нарушая материальное благосостояние дворянства, усиливал в нем ненависть к Павлу, и без того возбужденную его жестоким деспотизмом. Мысль извести Павла каким бы то ни было способом сделалась почти всеобщей*". Что Фон-Визин передает здесь подлинное мнение современников, и даже самих участников заговора, доказывает

речь Зубова на знаменитом „ужине", с которого заговорщики прямо отправились в Михайловский дворец: по передаче Чарторыйского, Зубов начал именно с указания на „безрассудность разрыва с Англией, благодаря которому нарушаются жизненные интересы страны и ее экономическое благосостояние". И это, в связи с опасностями, которыми угрожала России и в частности Петербургу русско-английская война, составило, повидимому, главное содержание „речи": внутренняя политика Павла в ней, если верить Чарторыйскому, отсутствовала,—не считая указания, что при Павле „никто из присутствующих не может быть уверен в личной безопасности". Остается прибавить, что сознательность была не только с русской стороны, английская дипломатия сделала для низвержения Павла все, что могла. Английский посланник в Петербурге, Уитворт, был деятельным членом *первого* заговора против Павла (не позже весны 1800 года, т.-е. приблизительно *за год* до катастрофы), рядом с вице-канцлером Павла Паниным, и адмиралом Рибасом, при чем первый из них, сын знакомого нам усмирителя пугачевщины, являлся едва ли не лучшим проводником английского влияния на русскую политику, чем сам Уитворт. Можно сказать, что самая форма этого первого заговора была „английская". Павла предполагалось объявить сумасшедшим, как это было сделано в Англии с Георгом III, Александр же Павлович должен был занять место „принца-регента". Дело было поставлено настолько серьезно, что Панин собирал уже сведения, под рукою, у иностранных дипломатов, какими формами облекаются подобные предприятия в той или другой стране: это было нужно потому, что Англия, как парламентское государство, юридическим образчиком для России служить не могла. Александр был посвящен в заговор и имел с Паниным тайные свидания, происходившие, для большей конспирации, в бане. Затормозило дело, повидимому, исчезновение с петербургского горизонта Уитворта: косвенный признак, что английские субсидии играли в движении большую роль, чем допускает большинство мемуаристов, из патриотических соображений. Несомненно, что в дни союза с Англией приближенные Павла получали от английского правительства не

менее крупные суммы, чем, в свое время, приближенные Елизаветы Петровны: известно, например, что фаворитка Павла Нелидова в одном случае получила 30.000 рублей. После разрыва милости Англии должны были перейти к противникам павловского режима. Уитворт продолжал поддерживать сношения с оппозиционной петербургской знатью и из-за границы: особенно близок он был с Зубовыми через сестру екатерининского фаворита, Ольгу Александровну Жеребцову. Но дело, очевидно, должно было итти медленнее: притом же случайные обстоятельства—смерть Рибаса, отставка и ссылка Панина (последняя, может быть, и не вполне случайная)—расстроили первоначальный штаб заговорщиков. На первый план среди них теперь выдвинулся петербургский генерал-губернатор Пален: но он, повидимому, возбуждал сильнейшее недоверие в великом князя Александре и, кажется, не совсем неосновательно. Как раз Пален и Беннигсен принадлежат к числу таких фигур, поведение которых, если мы исключим возможность английских субсидий, является совершенно загадочным. Первый, петербургский генерал-губернатор, фактический министр иностранных дел и главный начальник почтового ведомства (один из важнейших постов полицейского режима!)—был почти что временьщиком: второй—типичный военный авантюрист тогдашней бурной эпохи, казалось, готов был служить всякому, кто хорошо платит. Что за охота им была рисковать головой из-за интересов русского дворянства, с которым оба были связаны весьма слабо? Если же предположить, что этого рода служба хорошо оплачивалась, не говоря уже о том, что она была прочнее службы Павлу, „исполненной случайностей", то неожиданно вспыхнувший в них русско-дворянский патриотизм окажется явлением довольно естественным. Но того, кто продавался, можно было и перекупить: в известный момент Павел мог оказаться более выгодным „заказчиком", и Пален продал бы Александра Павловича, как он раньше продавал его отца. Вполне естественно, что Александр желал видеть рядом с собою людей, более популярных в дворянском обществе, участие которых являлось бы своего рода „страховкой",—и, пока этого не было, „обнаруживал нерешительность".

Но екатерининская знать очень туго шла в заговор. Ни одного из тех блестящих дворянских имен, которые так часто попадаются потом на страницах истории Александра I, ни Воронцовых, ни Румянцевых, ни Разумовских, ни Голицыных, ни Строгановых мы не встречаем в списках известных нам членов заговора. Ненавидя Павла, екатерининские магнаты очень не прочь были покончить с ним руками наемных немцев. Александр должен был удовольствоваться тем, что к заговору, так сказать, официально, присоединились Зубовы; но и те, с своей стороны, потребовали перестраховки—права назвать в решительную минуту Александра всей массе заговорщиков. Не будь этого последнего факта—засвидетельствованного таким компетентным источником, как мемуары Чарторыйского—историки, вероятно, и до сих пор спорили бы, участвовал непосредственно Александр Павлович в заговоре против своего отца, или только „догадывался". Благодаря Чарторыйскому мы знаем, что, идя 11 марта на императорский дворец, заговорщики с уверенностью могли считать своим главою будущего русского императора, и вопрос может быть только об остальных членах царской семьи. Императрица Мария Федоровна не принадлежала, конечно, к числу заговорщиков: два конкурирующих между собою лица не могли же быть главами одного и того же предприятия. Но быстрота, с которой она оказалась на месте действия, и энергия, с какой она, не теряя ни минуты, принялась за отстаивание своих прав на российский престол, с достаточной убедительностью доказывают, что она, во всяком случае, была вполне готова к катастрофе. Некоторые современники не чужды предположения, что около нее группировался параллельный маленький заговор, но Панин с Паленом ее перехитрили, чем достаточно объяснялась бы лютая ненависть доброй императрицы к обоим названным деятелям. Участие в заговоре Константина Павловича почти так же не подлежит сомнению, как и участие самого Александра. Распоряжения, отдававшиеся им в роковую ночь, по состоявшему под его командой конногвардейскому полку, показывают, что он знал о перевороте по крайней мере за несколько часов: из этих распоряжений особенно характерно то, которое делало для ненадежного, с точки

зрения заговорщиков, Саблукова физически невозможным исполнять, как следует, обязанности начальника дворцового караула. Повидимому, кое-что подозревал на этот счет и Павел, за несколько часов до смерти приказавший вовсе удалить из дворца конногвардейский караул—одновременно с „арестом" Константина и Александра. И во всей трагедии 11 марта нет более ужасного момента, чем вопль задыхавшегося в скарятинском шарфе императора: „ваше высочество, пощадите! воздуху, воздуху!" Он увидал в толпе конногвардейского офицера—и был уверен, что это его сын, цесаревич Константин Павлович... [1]).

На самом деле, состав „исполнителей" был гораздо менее высокопоставленный. Глава заговора, правда, был представлен своим адъютантом Волконским: подробность, пикантная в том отношении, что традиция твердо усвоила Александру „отвращение" к убийцам его отца—между тем, у Александра Павловича всю его жизнь не было личного

---

[1]) Личные мотивы, определившие участие членов царской семьи в заговоре, не так легко вскрыть, в то же время и большого исторического интереса они не представляют. По общераспространенной версии, Павел в последние месяцы своей жизни носился с планом радикального семейного переворота: он собирался развестись с женою и заключить ее в монастырь, Александра в Шлиссельбургскую, а Константина в Петропавловскую крепость. План этот в нем будто бы поддерживал его камердинер Кутайсов, которого Павел сделал графом и андреевским кавалером и который имел больше влияния в государстве, чем все министры. Под влиянием Кутайсова находилась и последняя фаворитка Павла, Гагарина, тогда как прежняя, Нелидова, дружила с Марией Федоровной. Никаких доказательств существования такого „заговора" со стороны Павла и его челяди мы не имеем, и вполне возможно, что он был сочинен ad hoc задним числом, для того чтобы сколько-нибудь прилично мотивировать поведение императрицы и старших великих князей. Не нужно забывать, что в семейной жизни гораздо больше, чем в политике, решающим моментом являлось сумасшествие Павла — жизнь в ежеминутном ожидании безумных выходок, границ которых никто не мог себе представить, была невыносимой пыткой. Затем, не нужно упускать из виду и того, что перед 11 марта Павел все сильнее и сильнее начинал подозревать, что против него что-то готовится, и тут дело, действительно, могло легко кончиться Шлиссельбургом. Недаром он сам явно подготовлял себе наследника в лице маленького принца Евгения Виртембергского, племянника Марии Федоровны. Приходилось спешить...

друга ближе Волконского. Кроме последнего, к „порядочным" людям принадлежали только Зубовы: характерно, что бывший фаворит Екатерины оказался честнее фон-дер-Палена и пошел вместе с другими в царскую спальню, когда „бескорыстный немец" остался позади, чтобы „наблюдать и поддерживать порядок". Современники были убеждены, что Пален готовился действительно арестовать Александра Павловича при малейшем признаке неудачи. Непосредственно „руками" заговора,—за вычетом Николая Зубова, в эту ночь совершенно пьяного, по словам большинства рассказчиков,—были весьма темные люди, имена которых ничего не говорят читателю, даже хорошо знакомому с историей эпохи. Тираноубийство могло быть окружено ореолом при иной обстановке; но убить целой толпой безоружного, полусонного человека (Павел был настолько спросонок, что не успел даже испугаться, при всей своей трусости, как очень характерно отметил Саблуков) слишком мало льстило самолюбию военных людей, какими были почти все заговорщики без исключения. Чрезвычайно типично участие в самом акте убийства уже настоящего лакея—камердинера Зубова, которого барин привел с собой: как истый феодал, он явился на место действия со своим „двором". Вполне достойным вождем этого отряда был другой из честных немцев, Леонтий Леонтьевич Беннигсен, Кто видал превосходный потрет Джорджа Дау (воспроизведенный при последнем издании мемуаров Беннигсена), тот никогда не забудет этого лица—идеального воплощения холодной жестокости. Современники приписывали Беннигсену решительность и находчивость в трудные минуты. Ни того, ни другого он не обнаружил в 1806—1807 годах, когда командовал русскими войсками против Наполеона. Он был не из тех генералов, которые выигрывают сражения, а из тех, которые, не моргнув глазом, расстреливают или запарывают на смерть сотни людей. Смерти Павла, однако же, не хотел брать на свою душу даже он, и в письме к близкому человеку, непосредственно после события, он представлял дело так, что Павла убили совсем „нечаянно", притом в его, Беннигсена, отсутствие—он, будто бы, вышел распорядиться, оставив все в полном порядке и благополучии, вернулся—Павел уже мертв.

Достоверность этого рассказа, вероятно, не выше, чем рассказ того же Беннигсена о его победах над Наполеоном,—после которых русская армия неизменно отступала, а французская шла вперед. Зерно истины, какое есть в показании Беннигсена, сводится, кажется, к тому, что убийство Павла не было *непосредственной* целью, какую ставили себе заговорщики: в тысячу раз „приличнее" было бы избавиться от него позже, когда он, отрекшийся от престола, „бывший" император, жил бы в какой-нибудь Ропше, как Петр III. Без соблюдения этого минимального приличия дело принимало столь варварский характер, что даже предшествовавшие гвардейские революции оказывались более европейскими. А никто не дорожил европейской внешностью так, как Александр Павлович... Когда он уверял потом Чарторыйского, что убийство отнюдь не входило в одобренную им программу заговора, этому можно поверить, основываясь не только на соображениях общечеловеческой психологии, но и на том, если так можно выразиться, этикете дворцовых переворотов, какой выработался в течение XVIII века. Чрезвычайно единодушные показания современников не оставляют никакого сомнения в том, что конец Павла был фатально ускорен той самой демагогией, в которой он искал гарантии от дворянской мести. Заговорщики *вынуждены* были убить императора, потому что иначе их самих перебили бы гвардейские солдаты.

Дворянская по составу офицерства, гвардия в своей массе была к 1801 году несравненно демократичнее, нежели пятьюдесятью годами ранее. Закон о „вольности дворянства" и обычай записывать в службу детей сделали свое—среди нижних чинов гвардии дворян теперь почти не было. Один факт, относящийся как раз к царствованию Павла, подчеркивает это обстоятельство: этот факт заключается в сформировании „дворянского" полка—кавалергардов. Он должен был стать особенно-привилегированным отрядом императорской гвардии и, в то же время, рассадником кавалерийских офицеров для всей армии. И даже в этой, по самому названию (chevaliers-gardes) дворянской части, около трети солдат были не-дворяне. Смешение со старыми екатерининскими полками гатчинских батальонов,

где и среди офицерства трудно было найти человека из мало-мальски родовитой семьи, еще усилило этот демократизм павловской гвардии. Офицеры и солдаты в ней принадлежали уже к различным общественным классам. И это внесло новую черту в организацию заговора 1800—1801 года: прежние были обще-гвардейскими, этот был исключительно *офицерским*. В Семеновском полку, которым командовал Александр Павлович, в заговор были посвящены все, „до подпрапорщика включительно": то-есть все, кроме простых солдат. „Генерал Талызин,—рассказывает Чарторыйский,—командир Преображенского полка, один из видных заговорщиков, человек, пользовавшийся любовью солдат, взялся доставить во дворец, в ночь заговора, батальон командуемого им полка. После ужина у Зубовых он собрал батальон и обратился к солдатам с речью, в которой объявил людям, что тягость и строгости их службы скоро прекратятся, что наступает время, когда у них будет государь милостивый, добрый и снисходительный, при котором все пойдет иначе. Взглянув на солдат, он, однако, заметил, что слова его не произвели на них благоприятного впечатления; все хранили молчанье, лица сделались угрюмыми, и в рядах послышался сдержанный ропот. Тогда генерал прекратил упражнение в красноречии и суровым командным голосом вскричал: „полуоборот направо.—Марш!", после чего войска машинально повиновались его голосу. Батальон был приведен в Михайловский замок и занял все выходы". Конногвардейцы, которых так не любил и боялся Павел, называвший их „якобинцами" (известен случай, как он, однажды, „сослал" Конногвардейский полк из столицы в деревни Петербургской губернии), отказывались присягнуть новому императору, пока им не не покажут покойника: и только убедившись, что Павел „крепко умер", „якобинцы" пошли к присяге. Уже когда о смерти Павла было всем известно, солдаты очень хмуро приветствовали Александра—за исключением Семеновского полка, где любили своего шефа: но и в семеновцах Александр был настолько мало уверен, что заставил Палена отложить на несколько дней coup d'état, выжидая, пока дежурным будет 3-й батальон, единственный, на который он мог вполне рассчитывать. Это сознание

ненадежности солдат все время не оставляло руководителей заговора—ставя под вопрос все их расчеты. Чарторыйский, писавший со слов людей, ближе всего посвященных в дело,—в том числе самого Александра Павловича,—говорит об этом вполне определенно: „императору Павлу было бы легко справиться с заговорщиками, *если бы ему удалось вырваться из их рук хотя на минуту и показаться войскам*. Найдись хоть один человек, который явился бы от его имени к солдатам,—он был бы, может быть, спасен, а заговорщики арестованы. Весь успех заговора заключался в быстроте выполнения". Причины популярности „тирана" среди солдат весьма обстоятельно выясняет тот же Чарторыйский: мы воспользуемся более короткой формулировкой Беннигсена—в данном случае не подозрительного, ибо он передает здесь общее мнение. „Несомненно, что *император никогда не оказывал несправедливости солдату* и привязал его к себе, приказывая при каждом случае щедро раздавать мясо и водку в петербургском гарнизоне". Преображенский караул и готов был вспомнить царскую ласку в ночь 11 марта, хотя офицеры-заговорщики приняли все меры, чтобы подтасовать его состав: на эту ночь в него были назначены почти исключительно бывшие солдаты только что раскассированного Павлом лейб-гренадерского полка. В самую критическую минуту, когда Платон Зубов тщетно уговаривал Павла подписать отречение, в передней императорского кабинета послышался страшный шум; на самом деле, этот шум произвела вновь подвалившая толпа участников заговора; но бывшие вокруг Павла заговорщики, ежеминутно ожидавшие появления солдат ему на выручку, вообразили, что все кончено,—и поспешили прикончить свою жертву.

То, что непосредственно последовало за этим, достаточно объясняет реакцию, возникшую в душе молодой императрицы, так легкомысленно восхищавшейся ранее революциями, знакомыми ей только по книжкам. Она увидала теперь воочию, чем бывает дворянская революция в России. Первое, чем ознаменовали свою победу заговорщики, было разбитие погребов Михайловского замка. Идя „убивать тирана", выпили, для храбрости, только офицеры—теперь была пьяна вся гвардия, без изъятий. Выйдя из

своей комнаты, Елизавета Алексеевна очутилась в толпе пьяных людей, которые хватали ее за руки, целовали эти руки, чуть не целовали ее самое. И среди всего этого бесновалась старая императрица, в сотый раз доказывая свои права глумившимся над нею гвардейским часовым: бедная Мария Федоровна никак не могла отделаться от своего немецкого акцента, и это казалось ее пьяным слушателям всего забавнее. Никогда, даже в дни лейб-кампании, царский дворец не был театром подобной оргии. Александр и Константин поспешили бежать из этого места, одинаково страшного и отвратительного в ту минуту. Д. Х. Ливен сохранила в своих записках эту историческую картину: одинокий возок, без свиты, без конвоя мчащийся глухою ночью по улицам Петербурга—и в нем забившиеся, дрожащие от ужаса, новый император и его брат. Только в Зимнем дворце Александр Павлович несколько пришел в себя. А разливанное море из стен дворца убитого императора начало растекаться по всему городу. Торговцы иностранными винами, уже видевшие себя накануне банкротства, благодаря прекращению балтийской торговли, на радостях выкатили бочки на все перекрестки—и скоро было пьяно все, что хотело напиться. Долго не могло улечься „народное ликование", и уже на следующее утро гр. Головина из окна своего дома могла созерцать сцену, символизировавшую в одном образе общее настроение: пьяный гусарский поручик ехал верхом вскачь по тротуару, крича, что теперь „все позволено!" [1]). Но пока „народ" ликовал, правящие круги должны были заняться устранением политических результатов только что трагически закончившегося царствования. Всего настоятельнее это было нужно в области *внешней* политики, которая явилась ближайшим поводом катастрофы. „Примирение России с Англией было непосредственным результатом смерти Павла,—говорит Чарторыйский.—Война с этой державой, издавна богатейшим рынком для русского железа, хлеба, строевого леса, серы и пеньки, более всего восстановила

---

[1]) Souvenirs de la comtesse *Golovine*, Paris 1910. Воспоминания императрицы Елизаветы Алексеевны о ночи 11—12 марта, записанные Головиной с ее слов, составляют лучшие страницы этой части „Записок".

общественное мнение против покойного императора. После его смерти нужно было, во что бы то ни стало, положить войне конец. Наскоро состряпали соглашение, на котором явственно отразилось стремление заключить мир как можно скорее, во что бы то ни стало. Интересы морских союзников России не обратили на себя должного внимания [1]), и капитальные пункты, ограждавшие права нейтрального флага, были обойдены молчанием или выражены неясно. Прекращение враждебных действий было все, чего хотели добиться возможно скорее". В Лондоне о событии 11 марта стало известно чуть не на другой день—Жеребцова сообщила о нем Уитворту с быстротой, почти непостижимой в эпоху, незнавшую телеграфа. Со своей стороны, англичане настолько видели в начинавшейся войне личное дело Павла, что, получив известие о его смерти, главнокомандующий английским флотом в Балтике, Нельсон, не дожидаясь формального перемирия, пришел со своими кораблями в Ревель—запасаться там пресной водой и съестными припасами. Ревельский комендант до смерти перепугался, вообразив, что англичане собираются бомбардировать город и делать высадку, —а в Петербурге обиделись, что Нельсон до такой степени пренебрег всякими дипломатическими приличиями. Англичан приняли очень холодно и потом должны были послать им в догонку адмирала Чичагова с извинениями. Рассказ о том, как Чичагов ощупью искал Нельсона по Финскому заливу—и нашел, наконец, к собственному своему удивлению, только благодаря густому туману,—принадлежит к числу курьезнейших страниц в истории русского флота Как бы то ни было, тут дело было решено скоро и радикально—понадобился разгром России Наполеоном и Тильзитский мир, чтобы заставить Александра Павловича в этой области пойти по стопам своего отца. Совсем иначе пошло дело в области политики *внутренней*: здесь, после некоторого топтания на одном месте, в сущности вовсе ничего не было сделано, и Александр Павлович, несмотря на чрезвычайно демонстративные заявления своей не-

---

[1]) Англичане только что уничтожили тогда датский флот, загражданший им вход в Балтийское море.

солидарности с предшествующим царствованием, остался на колее, проложенной еще в последние годы царствования Екатерины и с таким рвением пробивавшейся далее Павлом. Объективные условия, создавшие концентрацию крепостного режима, оказались сильнее общественной психологии.

2. Молодые друзья.

С этой психологией связан, впрочем, целый ряд недоразумений, которые начали рассеиваться лишь в самые последние годы, хотя материал для их разъяснения, отчасти, существует уже давно. Конечно, для того чтобы нарисовать себе во весь рост российский либерализм „дней Александровых прекрасного начала", понадобилось знакомство с подлинными дневниками Строганова, опубликованными лишь в начале текущего столетия. Но уже мемуары Чарторыйского, напечатанные еще в 80-х годах прошлого века, давали такую превосходную характеристику „топтания на одном месте", что после них говорить серьезно о „реформах первых лет царствования Александра I" можно было лишь при очень большой предвзятости в пользу всяких реформ, хотя бы они ограничивались переобмундированием русских чиновников на английский лад. Не нужно забывать, что Чарторыйский принадлежал к числу ближайших сотрудников Александра в этих „реформах",—а по уму был самым крупным из всего кружка [1]), не исключая, конечно, и самого императора. Если этот человек, вовсе притом не желавший злословить, стремившийся, напротив, представить злосчастные „реформы" в возможно более выгодном свете, не мог припомнить ни одного факта в их пользу, кроме того, что „теперь лучше была организована продажа соли" — и, в конце концов, должен был признаться, что „дело шло", главным образом, о том, чтобы „ввести в новую администрацию молодых друзей императора" [2]), то, значит, вообще

---

[1]) Кроме Чарторыйского, к нему принадлежали, как известно, Строганов, Новосильцев и Кочубей.

[2]) Mémoires, I, pp. 317 et 319.

сказать было нечего. „Молодым друзьям"—это до последней очевидности ясно из мемуаров Чарторыйского—нечего было сказать не только после, ретроспективно оценивая результаты своей деятельности, но даже и в разгар этой последней. Когда им понадобилось развернуть свою платформу перед императором, они выпустили вперед старика Семена Воронцова, а тот, в свою очередь, не сумел сказать ничего, кроме повторения старых щербатовских рассуждений о сенате и его значении. Это могло быть недурно в дни комиссии 1767 года, но после французской революции, после конституции 1791 года, которую даже и Александр читал в подлиннике, этого было маловато... Между тем Воронцов так и не мог съехать со своего сената. „Каждая фраза графа Семена начиналась и кончалась сенатом, и, когда он не знал, что сказать и что отвечать, он повторял одно и то же, ничего не прибавляя... Нам казалось, что потом император даже и во сне должен был слышать голос, кричавший ему на ухо: „сенат! сенат!". В этой афектации было что-то смешное и неуклюжее, что должно было охладить императора, вместо того чтобы одушевить его" [1]).

Звучащая в последних словах ироническая нотка должна как-будто внушить читателю, что у самих „молодых друзей" имелось в запасе что-то лучшее старых „монаршических" рассуждений. Было бы очень опасно поддаваться этому внушению: для самого радикального из друзей Александра, для „русского якобинца" Строганова, одна старая записка Безбородки, который „знал всего Монтескье наизусть", казалась верхом политической премудрости. „Ограничением (произвола) должны быть учреждения уже существующие,—писал Строганов в своем „Общем плане работы с императором над реформою".— Создать новый порядок вещей для этой цели мне казалось бы очень опасным, и, дав некоторый блеск и кое-какие (quelques) привилегии учреждениям старым, можно было бы, кажется мне, создать из них преграду (для произвола) вполне достаточную. Бумага князя Безбородки дает в этом отношении канву для всего, чего только можно пожелать".

---

[1]) Ibid., 304—305.

„Мой принцип, — поясняет он в другом месте, - изменять вещи, а не слова, и облекать нововведения в старый костюм так, чтобы не поражать ими никого, и чтобы перемену заметили тогда, когда к ней уже привыкли". Необычайно длинная, и даже теперь, спустя сто лет, в чтении, необычайно скучная канитель с такими элементарными „нововведениями", как разрешение покупать землю не-дворянам или запрещение продавать людей без земли (в сущности воспроизводившее лишь знаменитый указ Петра, никогда не исполнявшийся), ставит искренность слов Строганова вне всяких сомнений: новое одевали в старый костюм так старательно, что, будь воля „молодых друзей", кроме этого старого костюма, от „нововведений", пожалуй, ничего бы и не осталось. К счастию, в дело вмешивались иногда „старики", вроде Мордвинова, Румянцева, даже (кто бы подумал?) Платона Зубова. Благодаря первому в России была узаконена — фактически существовавшая, конечно, и ранее—буржуазная земельная собственность (указ 12 декабря 1801 г., разрешавший купцам, мещанам и казенным крестьянам покупать землю). Благодаря второму закон впервые признал за крестьянином право „никому не принадлежать"—ни частному лицу, ни казне, право, впрочем, чисто принципиальное, ибо осуществление его зависело от тех, кому крестьяне принадлежали в настоящий момент (так называемый „закон о вольных хлебопашцах", 20 февраля 1803 г.). Платон Зубов едва не сделался виновником ограничения барского произвола относительно дворовых, но этому, слишком смелому, нововведению „молодые друзья" успели помешать во-время. Их аргументация против опасных новшеств отличалась безукоризненной логикой. По поводу проекта — запретить или ограничить продажу крестьян без земли, „на вывоз" (при данных условиях одно из главных средств помещичьей колонизации, свободу которой в сущности и отстаивали, „молодые друзья"), кто-то из них рассуждал: „этот обычай, каким бы варварским, каким бы отвратительным он ни был, связан с общим порядком вещей,— то-есть, с положением крестьянина по отношению к его барину. Как тронуть одну из ветвей, не видя ее связи со стволом?.. Мера этого рода не может быть введена, не

задевая различных интересов, если уничтожить ее (продажу без земли) вовсе; может быть, при помощи распоряжений общего характера, удалось бы обуздать этот обычай и искоренить его нечувствительно, задевая (эти интересы) возможно менее“ [1]). Зато, когда им самим пришлось заняться вопросом об эмансипации, оказалось, что дальше оброчного мужика они ничего себе представить не в состоянии, так что, опять-таки, старик Мордвинов, с его „буржуазными“ проектами крестьянской реформы—необычайно крепостническими на современный взгляд — был куда впереди их [2]).

На самом деле „молодые друзья“ хлопотали, главным образом, о двух вещах: во-первых, о том, чтобы никто не отбил у них монополии личного влияния на императора: для этой цели они ревниво оберегали двери своего „негласного комитета“ от вторжения посторонних и облекали его, чрезвычайно невинные, занятия покровом непроницаемой тайны [3]); во-вторых, — получить места, не просто места с жалованьем, конечно: они были люди богатые, — а места, которые давали бы им влияние в администрации. Чарторыйский откровенно признается, что должности товарищей министров были созданы специально для „молодых друзей“, то-есть без всякой в сущности надобности для дела. Это его подлинные слова: имея смелость повести свои догадки дальше его прямых признаний, мы не сделаем слишком большой неосторожности, если предположим, что и пресловутое „образование министерств“ (8 сентября 1802 г.) имело одной из своих задач такую перетасовку правящего персонала, после которой *над* „молодыми друзьями“ оказывались бы или нули, или люди, им сочувствующие. Их влияние, таким образом, стало прочно, и не было больше надобности играть в заговорщиков. Все другие, обычно приводимые, мотивы гораздо менее объяс-

---

[1]) См. *В. Кн. Николай Михайлович*, «Гр. П. А. Строганов», II, стр. 11, 34—35, 134 и др.

[2]) См. ibid., «De la fixation de l'état des paysans», стр. 43 и сл. Ср. наш очерк в «Истории России в XIX в.», т. I, стр. 34.

[3]) См. «Строганов», стр. 22, «La base générale... le secret». См. особ. стр. 12,—специальное рассуждение о том, как опасно припускат к делу чужих людей.

няют дело. О замене *коллегиального* начала *личным* могут говорить лишь люди, не имеющие понятия о русской административной практике XVIII века. Коллегии с самого начала были пустой формой, и на самом деле президенты этих коллегий, имевшие непосредственный доклад у императрицы, уже при Екатерине II являлись настоящими министрами, не говоря уже о том, что функции теперешних министров юстиции, внутренних дел и финансов были и юридически в руках одного лица, генерал-прокурора. Фактически последний являлся премьером, в теперешнем смысле слова, поскольку у него не оспаривали этого положения такие фавориты, какими были Потемкин и Зубов. При Павле „личное начало" было проведено так далеко, как только возможно—при нем появилось и самое звание „министра" (министр уделов), и был составлен тот план министерств, который был адоптирован, в конце концов, „молодыми друзьями". Прибавим, что павловский режим—управление через двух-трех доверенных лиц—все время продолжал господствовать и при Александре, несмотря на существование министерств: до первой войны с Наполеоном все, фактически, было в руках триумвирата „деятелей" (faiseurs), как называли тогда в салонах Петербурга Чарторыйского, Новосильцева и Строганова; после первой войны — в руках Сперанского по гражданской части и Аракчеева по военной, а в конце царствования—в руках Аракчеева—по всем частям. „Кабинета" в английском смысле, о котором теоретически мечтал Новосильцев, никогда не было — по той простой причине, что кабинет опирается на партийную организацию, а сменявшиеся около Александра мелкие котерии никогда не выражали собою мнения даже придворных кругов в широком смысле, не только что какого-нибудь течения за пределами двора. Если их политика была все же классовой, то потому лишь, что их члены были представителями определенного общественного класса и не могли вылезти из своей социальной кожи, как и из кожи физической. Это дает известную физиономию „реформам первых лет": все они, начиная с проектов превращения всех крестьян в оброчных и кончая проектами превратить сенат в некоторое подобие палаты лордов, носят на себе

явный отпечаток взглядов и интересов *крупной знати*. С этой точки зрения, образование комитета министров, вероятно, уже напомнило читателю „верховных господ" петровской эпохи. Но была и огромная разница: тогда „верховные господа", в союзе с буржуазией, представляли собою крупнейшую *прогрессивную* силу; теперь „молодые друзья" и их старые советники были силой, несомненно, *реакционной*. После пугачевской помещичьей России, вкусившей от сладости нового барщинного хозяйства, рекою лившего золото в дворянские карманы, не нужно было ни оброчного мужика (всегда ведь, как мы знаем, „утаивавшего" свои доходы от барина), ни аристократической конституции, стеснявшей центральную власть. Для того чтобы вести хозяйство по-новому, нужен был крепостной мужик, порабощенный больше, чем когда бы то ни было, и железный полицейский порядок, который обеспечивал бы власть барина над этим мужиком. Это, немного лет спустя, и объяснил Александру Карамзин в самой доступной форме. „Равнодушие" дворянства к „преобразовательным планам" Александра объясняется не чем другим, как тем, что для дворянства в целом эти планы были более чем излишними. Передовые группы нового дворянства, „помещиков-предпринимателей", были бы, может быть, не прочь от буржуазной конституции: проекты Сперанского и позже декабристов представляли собою эхо чаяний и ожиданий этого дворянского авангарда. Но тут поперек дороги стала та же старая знать: бессильная создать что-нибудь положительное, она отнюдь не желала делиться властью с российским „сельским сквайром", который умел разводить коноплю и пшеницу, но Монтескье не знал не только наизусть, как Безбородко, а нередко и по имени. Знаменитая характеристика Строганова относится именно к этому провинциальному дворянству [1]). План Сперанского

[1]) «Дворянство у нас состоит из некоторого количества людей, которые сделались благородными только благодаря службе, которые не получили никакого воспитания и которые, по всему своему миросозерцанию, неспособны представить себе, чтобы что-нибудь могло быть выше императорской власти. Ни право, ни суд—ничто не может зародить в них идею хотя бы о самомалейшем сопротивлении! Это—класс самый невежественный, самый грязный, и ум которого наиболее

рухнул под напором придворных кругов, и они же, эти круги, явились свирепыми судьями декабристов. Что масса не поддержала своего авангарда, это более чем естественно: масса всегда довольствуется минимумом. А минимумом для дворянской массы, как цинически, но верно выразил Карамзин, были хорошие губернаторы: еще проще говоря, хорошая—с помещичьей точки зрения — полиция. Со всем остальным можно было повременить. Только грубое вмешательство в непосредственную хозяйственную практику помещика могло в эту пору всколыхнуть среднее дворянство и, на минуту, солидаризировать его с аристократическими верхами. Так было в последние месяцы царствования Павла; так случилось в конце первых лет царствования его сына: и в том, и в другом случае почвой была внешняя политика.

Как видим, „реформы первых лет Александра I" для своего объяснения совсем не нуждаются в личности того, чье имя они носят. Оставляя совершенно в стороне вопрос о „роли личности в истории", мы можем игнорировать Александра Павловича этого периода просто потому, что он был тогда — извиняемся за плохой каламбур — совершенной безличностью. Собственные убеждения у Александра сложились постепенно, в результате его жизненного опыта, уже как императора, приблизительно ко второму десятилетию XIX века. Особенно повлияла на него в этом отношении последняя борьба с Наполеоном (1812—15 гг.). В 1801 — 1805 годах это был недоучившийся ученик отчасти Лагарпа, отчасти своего отца — „наполовину швейцарский гражданин, наполовину прусский капрал", по ядовитому, по меткому замечанию Чичагова, который имел случай наблюдать его очень часто именно в этот период его жизни. И едва ли тот же Чичагов придумал фразу, вырвавшуюся в его присутствии у Александра, в минуту откровенности: „Господи! как меня пугает эта огромная ответственность и затруднения, окружающие меня со всех сторон! Как бы я был счастлив, если бы у меня было пятьдесят тысяч рублей дохода, да хороший

ограничен. Такова приблизительная картина дворянства, живущего в деревнях». «Гр. П. А. Строганов», II. стр. 111.

полк, которым я мог бы командовать, вместо этой огромной страны и стольких народностей, которыми я должен управлять!" От отцовских уроков у него твердо засела в памяти важность „выпушек, погончиков и петличек": он целые дни просиживал в комитетах, обсуждавших новую форму кивера или ботфортов, в то время как статс-секретарь у принятия прошений, Муравьев, по месяцам не мог добиться аудиенции. Мундиромания свирепствовала так же, как при Павле, нимало не стесняемая проектами конституции: и в то время как последние оставались на бумаге, новые проекты мундиров немедленно становились самой живой действительностью. Последним словом в этой области были тонкие, „осиные" тальи (мы помним, какое значение придавал им еще Скалозуб): забота о них доводила офицеров до того, что они на смотру, как барышни на балу, падали в обморок от туго перетянутого корсета. От Лагарпа Александр Павлович усвоил отвращение к рабству, при чем, судя по мотивировке, которую он выдвинул в одном заседании негласного комитета, и павловская традиция играла тут свою роль. Полицейский мотив—возможность новой пугачевщины—в этой его аргументации был на первом плане. Но именно этот полицейский мотив—мы увидим это подробнее на истории „негласных комитетов" Николая Павловича—в корне подсекал самую идею эмансипации: как только разнеслась весть о намерениях императора, крестьяне немедленно начали „бунтовать", т.-е. подавать на высочайшее имя жалобы на своих помещиков; и этого было, разумеется, довольно, чтобы всякие разговоры об освобождении крестьян заглохли на несколько лет. Таким образом, новый мундир так и остался единственным образчиком индивидуального воздействия молодого императора на судьбы его страны.

Не больше „личностью" был в эти годы Александр Павлович и в своей внешней политике. В старой литературе упорно держался взгляд, перешедший и в учебники, что молодой император вступил на престол, одушевленный необычайно широкими и гуманными, хотя немного неопределенными, воззрениями на свою международную роль. Он, будто бы, видел в себе охранителя всеевропейского мира и „начал христианских" в отношениях между

государями Европы, которых он рассматривал, как членов одной семьи. В пользу этого взгляда цитировались и кое-какие документы—вполне подлинные. Только они вышли из-под пера не самого Александра, а его тогдашнего министра иностранных дел [1]), Чарторыйского, который преследовал, действительно, некоторую идеальную цель, но не совсем ту, какую приписывали внешней политике Александра позднейшие историки. „Я хотел бы,—пишет в своих мемуарах Чарторыйский,—чтобы Александр сделался, некоторым образом, третейским судьей цивилизованного мира; чтобы он был покровителем слабого и угнетенного стражем справедливости в международных отношениях чтобы его царствование, одним словом, начало собою, новую эру в европейской политике, которая должна была; впредь быть основана на общем благе и на праве каждого". Какая сентиментальность, скажет читатель. Вовсе нет: Чарторыйский был все, что угодно, но только не сентиментальный фантазер. Можно сказать, что вся жизнь этого замечательного человека била в одну точку: „моя система,—говорит он,—своим основным принципом устранения всех несправедливостей *необходимо вела к постепенному восстановлению Польши.* Но, чтобы не натолкнуться сразу же на трудности, которые неизбежно должна была встретить дипломатия, столь противоположная укоренившимся взглядам, *я избегал произносить имя Польши.* Идея ее восстановления подразумевалась всем смыслом моей работы, всем тем направлением, какое я хотел придать русской политике: я говорил только о постепенном освобождении народов, несправедливо лишенных их политического существования; я не боялся назвать греков и славян: все это было как нельзя более согласно с желаниями и мнениями русских; но, косвенно, все это было приложимо также и к Польше". Александр не был в числе обманываемых: он был посвящен в планы своего министра. Ему, без сомнения, льстило быть спасителем, избавителем, добрым гением всех угнетенных, в том числе и поляков; но инициатива этого „красивого жеста" принадлежала совсем не

---

[1]) Номинально *товарища* министра, но фактически он был руководителем русской иностранной политики до 1806 года.

ему, и неизвестно, добрался ли бы он до этой идеи собственными средствами. Еще менее можно усвоить этой голове, „посредственной во всех отношениях“, тот тонко рассчитанный маккиавеллизм, с каким Чарторыйский стремился сделать слугою своего дела ни более, ни менее, как Англию. „Самое могучее оружие, каким пользовались до сих пор французы и которым они еще грозят всем странам, это общее убеждение, которое они сумели распространить, что их дело есть дело свободы и счастия народов,—читаем мы в секретной инструкции Новосильцеву, посланному, за спиною официальной дипломатии, вести переговоры с Питтом: инструкции, подписанной Александром, но написанной, конечно, его министром.—Стыдно было бы за человечество, если бы дело, столь прекрасное, приходилось рассматривать, как собственность правительства, которое ни в каком отношении не заслуживает быть его защитником; было бы опасно для всех государств оставлять долее за французами явную выгоду казаться таковым. Благо человечества, *истинный интерес законных властей* и успех предприятия, задуманного обеими державами, требуют, чтобы они вырвали из рук французов это страшное оружие и, завладевши, воспользовались им против них самих“.

Итак, политическая свобода должна была стать оружием в руках держав старого порядка („законных властей“) против уже не республиканской, но все еще символизировавшей в глазах мира революцию Франции. Трудно найти в истории дипломатических отношений что-нибудь равное этой международной зубатовщине: и, нужно сказать, ничто не было усвоено Александром Павловичем лучше. Чарторыйский нашел не весьма, правда, благодарного, но чрезвычайно памятливого ученика; конституции Финляндии и Польши, рядом с аракчеевщиной в самой России, находят себе в инструкции Новосильцеву столь полное объяснение, какого только можно желать. Для непосредственной цели переговоров—англо-русского союза—зубатовщина была, правда, излишней роскошью: еще за год до миссии Новосильцева англичане со своей стороны употребляли все усилия, чтобы сделать Россию своей союзницей в войне с Францией. „Англичане стараются здесь

со своей обычной энергией и своими обычными средствами подкупить русское правительство,—писал весною 1803 года Талейрану французский посланник в Петербурге, Эдувиль.—Английским негоциантам, Торнтону и Байму, живущим в Петербурге, поручено их правительством предоставить в распоряжение адмирала Уорена (английского посланника) от 60 до 70 тысяч фунтов стерлингов, 40.000 уже трасированы на Лондон, и остальные тоже трасируют немедленно. Полагают, что эти суммы предназначены главным особам при дворе, которых Англия хочет привязать к себе во что бы то ни стало". Когда Новосильцев явился к Питту, английский министр немедленно перевел беседу на столь же реалистическую почву. Учтиво выслушав излияния русского правительства насчет того, что всем народам Европы необходимо обеспечить свободу, „опирающуюся на ее истинные основания", и что из этого принципа должно исходить все поведение договаривающихся держав, Питт заявил, что английские субсидии будут доведены до такой цифры, до какой только окажется возможным. „Мы гарантируем пять миллионов фунтов стерлингов,—сказал он,—быть может, даже немного более". Он оговорился, правда, что далеко за пределы этой цифры Англия не в состоянии будет выйти, не стесняя своей торговли. Александр не обратил должного внимания на эту оговорку и за то впоследствии, в 1807 году, был наказан, очутившись в необходимости заключить весьма постыдный и еще более невыгодный для России тильзитский мир именно по той причине, что английские субсидии, достигнув предела, иссякли. Но в 1804 году это было еще далеко впереди: Питт же, кроме грандиозных размеров суммы, соблазнял еще (как это делают опытные банкиры) разными маленькими, но весьма приятными удобствами: обещал, например, начать выплату субсидий за три или за четыре месяца до объявления Россией войны Франции, так что и расходы по мобилизации оказывались достаточно обеспеченными. Если война не вспыхнула тотчас же, а была отсрочена почти на год, виной была непомерная жадность, проявленная австрийским правительством,—тогда как без участия Австрии Россия не могла двинуться с места. Австрийцы одни желали получить два миллиона фунтов единовременно, за

мобилизацию, и сверх того по четыре миллиона в год. Что же осталось бы России? Другим препятствием неожиданно явилась Пруссия, каким-то не совсем ясным образом проникшая, повидимому, в тайну польских планов кн. Чарторыйского: возможно, что „дружба“ королевы Луизы с Александром Павловичем была не совсем чужда этому делу. Но большая часть разделенной Польши, с Варшавой в центре, была тогда в прусских руках: возрождение польского королевства являлось предприятием, непосредственно направленным против Пруссии. С одной стороны, грозила опасность потерять Польшу, с другой,—Наполеон сулил отнятый им у англичан Ганновер: прусскому королю при всей его симпатии к „интересам законных властей“ было от чего поколебаться. С трудом добились от него, чтобы он, по крайней мере, „не мешал“: и он, действительно, не помешал Австрии и России быть на-голову разбитыми Наполеоном.

После Аустерлица (ноябрь 1805 г.—почти ровно через год после переговоров Новосильцева с Питтом) Австрия, для которой весь реальный интерес войны заключался в английских субсидиях, да надежде на территориальные приобретения—ей обещали всю Баварию и, кроме того, „исправление границы“ с итальянской стороны,—поспешила выйти из игры: интерес идеальный, сводившийся к лютой ненависти австрийских феодалов против „санкюлотской“ Франции, должен был помолчать до поры, до времени. Будь для России все дело в английских субсидиях, она, конечно, тоже должна была бы заключить мир. Если она этого не сделала, значит, русско-английский союз опирался теперь на нечто более солидное, чем взятки частного или государственного характера. Это, более прочное, основание русско-английской дружбы французские дипломаты уже указывали с полной определенностью. „*Россия слишком связана с Англией своей торговлей*, чтобы особенно хлопотать о сохранении мира (с Францией)“, писал в той же цитированной нами депеше Эдувиль еще за полтора года до войны. Русско-английский союз был экономической необходимостью для обеих стран, притом для России более, чем Англии: вот почему и разорвала его вторая, а не первая. Русские войска не только после Аустерлица,

но и после Фридланда (2 июня 1807 г.), после второй проигранной кампании, продолжали бы пытать счастье против французов; но англичане не только отказывались что бы то ни было платить—они отказались даже гарантировать русский заем в Лондоне. Видимо там окончательно разочаровались в качестве русских штыков, да и пределы, аккуратно намеченные Питтом, были уже перейдены: русскому императору, волей-неволей, приходилось мириться.

Здесь Александру Павловичу впервые пришлось познакомиться не теоретически, а практически, на самом себе, с неудобствами абсолютизма. Война отнюдь не была его личным делом: русское дворянство, с своей стороны, принесло большие жертвы англо-русской дружбе; в два года было взято 600.000 рекрут: это называлось, правда, *милицией*, и правительство сначала дало даже обязательство не употреблять ратников ни для чего иного, кроме обороны русской территории, но на самом деле ни один из „милиционеров" после войны не вернулся в деревню,—все они пошли на укомплектование действующей армии. Жертвуя столько рабочих рук, помещики в праве были ожидать, что правительство отнесется к войне серьезно: а оно, Бог весть почему, вдруг уступило „врагу рода человеческого". Между тем, по крайней мере в Петербурге, вовсе не были еще утомлены войной. Для дворянской молодежи война представляла, кроме того, специальную выгоду: офицеры на время похода освобождались от обязанности платить долги. Война велась на чужой территории и разоряла пруссаков, а не русских (разоряла в такой степени, что пруссаки весьма откровенно говорили о предпочтительности для них французского „нашествия" перед русской „дружбой"): ни один неприятельский солдат не ступил еще ногою на русскую почву—а Россия уже сдавалась! Мотивы, повелительно диктовавшие Александру такое решение, для сколько-нибудь широких кругов были тайной: не мог же русский император объявить во всеобщее сведение, что англичане его „разочли". В глазах дворянской массы мир был доказательством слабохарактерности Александра и его неуменья вести дела. Его возвращение в Петербург из Тильзита было встречено ледяным молчанием. Его старались „не замечать", как это дела-

ют в приличном обществе с осрамившимися молодыми людьми,—и всячески избегали говорить о Тильзите, о мире, о Франции и ее „императоре“ (в частных разговорах это был, конечно, по прежнему „Буонапарте“). Представитель этого последнего (знаменитый обер-полицеймейстер Наполеона, Савари) напрасно приписывал такую сдержанность страху: он на себе мог убедиться, что высшее общество Петербурга отнюдь не запугано. Уполномоченный победителя России сделал тридцать визитов, и был принят только в двух домах. Два гостеприимные петербуржца—единственные притом, которые и отдали визит Савари—были, как нарочно, из числа ближайших и раболепнейших слуг Александра Павловича. Все, что было понезависимее, бойкотировало французов без всякого страха. Правительство не решалось опубликовать тильзитский договор—и, пользуясь этим, на бирже публично говорили, что мир,может быть, вовсе еще и не заключен—так только болтают... Причины особенно нервного отношения к делу именно биржи мы сейчас увидим: пока что, отметим, что подмеченные Савари явления вовсе не были местными, петербургскими. Наоборот, чем дальше от столицы, тем разговоры становились, если так можно выразиться, безбрежнее. Проезжавший через Лифляндию французский консул Лессепс слышал там, что „противная миру партия получает с каждым днем все больше силы. Говорят, что во главе этой партии стоит вдовствующая императрица, поддерживаемая англичанами и их приверженцами; к этому прибавляют, что император Александр, опасаясь их угроз, вместо того чтобы въехать в столицу тотчас после своего отъезда из Риги, счел более благоразумным отправиться сначала в Витебск, чтобы заручиться значительной частью войска, которую можно было бы употребить в случае нужды; что в Москве брожение достигло крайних пределов, и ожидают известия о заключении вдовствующей императрицы в монастырь, и т. д.“. Но что было спрашивать с захолустных помещиков, когда французскому послу в Петербурге, человеку, которого уже одно официальное положение обязывало быть наибольшим оптимистом в этом случае, нет-нет да и подвертывалась под перо параллель с событием 11 марта 1801 г. „Все жалуются, но никто не недоволен настолько,

чтобы нужно было бояться катастрофы,—писал в феврале 1808 г. преемник Савари, Коленкур, которого, за его дружбу с Александром, Наполеон потом прозвал „русским“.—Воспоминание об императоре Павле и страх перед великим князем охраняют жизнь императора лучше, нежели правила и честь русских вельмож и офицеров“. Другими словами: Александра не убьют, утешал Коленкур Наполеона, потому что боятся, что его наследник, Константин Павлович, окажется копией Павла. Чего стоило одно такое утешение!

3. Континентальная блокада и дворянская конституция.

Коленкур старался уверить себя и своего повелителя, что дело совсем не серьезно: „фрондируют, как и во всех столицах“. Но у дворянской фронды 1807—8 годов были очень глубокие основания. Тильзитский мир обозначал присоединение России к *континентальной блокаде*, объявленной берлинским декретом Наполеона (21 ноября н. ст. 1806 г.). Французский император не допускал в этом случае никакого нейтралитета—Россия должна была прервать всякие торговые сношения с Англией, как прямые, так и косвенные (через посредство датчан, например). „Последние меры, принятые русским правительством против англичан, произвели здесь очень сильное впечатление,—доносил Савари от 6/18 октября 1807 г.—В особенности в купеческом мире позволяют себе наиболее замечаний по этому поводу. *На закрытие гаваней английским кораблям смотрят как на запрещение, наложенное на все произведения русской земли,* которые Англия покупала и вывозила ежегодно в таком большом количестве; продолжение такого положения вещей представляется уже бедствием, которое прямо затронет интересы народа. Враги Франции, ловко хватающиеся за всякое оружие, которым они могут бороться с нею здесь и уменьшить влияние, которое, как они опасаются, она может оказать на общественное мнение, не упускают случая воспользоваться таким средством... Можно опасаться что если вскоре не будут приняты какие-либо репрессивные меры, жалобы торговцев примут более серьезный характер. Г. Румянцев так думает, и только от усердия этого ми-

нистра будет зависеть помешать тому, что он предвидит". Но даже начальник наполеоновской полиции понимал, что дело слишком серьезно, чтобы его можно было уладить обычной тактикой полицейского участка. Вероятнее всего, не сам, а при помощи французского консула в Петербурге, Лессепса, Савари набрасывает далее довольно широкий план, легший позже в основу коммерческой политики Наполеона относительно России. „Франция имеет, может быть, больше средств, чем Россия, чтобы заставить умолкнуть жалобы русских купцов, этого разряда людей, ставящих выше всего свою личную выгоду,—продолжает он свое донесение.—Достаточно бы было распространить в публике слухи, что Франция, которая так давно не делала закупок в России, намеревается закупить лесу, пеньки, холста и пр. При настоящих обстоятельствах подобный торг был бы для нас столь же полезен в политическом отношении, сколько и выгоден: мы приобретем хорошее мнение наиболее недовольных и заставим забыть англичан, о которых будут жалеть по очень многим причинам, если мы не постараемся заменить их; выгода ж будет та, что Франция, пользуясь минутою, закупит все без конкурентов, а следовательно и дешево". Наполеон очень заинтересовался идеей. Велено было распространить в Петербурге слух, что Франция намерена закупить на русском рынке на 20 миллионов франков материалов для своего флота. Преемнику Савари, Коленкуру, был отпущен миллион франков со специальной целью поддерживать курс русского рубля,—за три года (1804—1807) упавший с 350 до 200 сантимов, что очень удручало русское министерство финансов. Коленкуру, в его инструкции, было нарочито предписано собрать французских негоциантов, имеющихся в Петербурге, „ободрить" их и составить из них комитет, который бы занялся возрождением русско-французской торговли. Все это было очень недурно на бумаге,—но действительность готовила жестокое разочарование. Во-первых, никаких французских „негоциантов" в русской столице не оказалось, кроме содержателей модных магазинов—которые не могли же заменить англичан в деле покупки железа и пеньки. Те, кто предлагал свои услуги, были, по признанию самого французского консула, личности очень сомнительные. А затем

возник вопрос, что же делать с закупленными товарами? Если еще лионский бархат или брюссельские кружева выдерживали перевозку сухим путем, то от холста, а тем паче железа или пеньки ничего подобного ожидать было нельзя: привезенный на лошадях из Москвы в Париж русский холст обошелся бы дороже самого тонкого голландского полотна. Между тем, как осторожно выражался французский торговый комитет в своем докладе Коленкуру, „мореплавание, если смотреть на него только по отношению к его пользе торговле, не представляет более удобства при перевозке съестных припасов и произведений промышленности обеих наций. Оно будет, по всей вероятности, закрыто в течение этого года более, чем когда-либо, а если сообщение прекратится, ввоз в Россию и вывоз из нее окажутся вполне невозможными, если не принять к тому некоторых мер". Эти последние, по мнению французского торгового комитета, заключались ни более, ни менее, как в создании системы внутренних водяных сообщений между Невою и Вислою, с одной стороны, Вислою и Рейном—с другой... Прежде чем французы смогли бы заменить на русском рынке англичан, надо было бы вырыть с тысячу верст новых каналов, примерно: не мудрено, что в Петербурге к возне Коленкура и Лессепса относились с полным равнодушием. В то же время на Балтийское море, хотя на нем в это время не было ни одного английского военного корабля, никто не решался показать носа: так была велика уверенность всех в несокрушимости британской монополии на водную стихию. Блокада Англии на практике превращалась в такую полную и совершенную блокаду балтийских берегов, какую только можно себе вообразить. После шестимесячных хлопот положение на петербургском рынке было таково, по оценке самого французского посланника: „Курс несколько ниже 20 ходячих голландских су за бумажный рубль. Несколько месяцев спустя после Амьенского мира (т.-е. в 1803 году) тот же рубль стоил 39 таких же ходячих голландских су. Отчасти курс определяется отношением серебряного рубля к бумажному. В то время как после Амьенского мира за рубль, т.-е. 100 копеек серебром, получали не более $1^1/_4$ рубля или 125 копеек бумажных, теперь за него можно получить

$1^4/_5$ рубля или 180 копеек тех же бумажных. По всей вероятности, за один серебряный рубль можно будет получить до двух рублей бумажных, как только будет объявлено о новом выпуске бумажных рублей (число которых сохраняется в строжайшей тайне в этой стране)". Приведя некоторые смягчающие обстоятельства в объяснение такой картины денежного рынка, Коленкур переходит затем к рынку товарному и дает чрезвычайно любопытную таблицу цен на главнейшие предметы русского экспорта в ноябре 1803 и в марте 1808 года. Несколько цифр из этой таблицы дадут понять читателю о размерах кризиса, созданного в этой области Тильзитским миром

	1803 г. (по курсу 39 су за рубль)	1808 г. (по курсу 20 су за рубль)
берковец лучшего железа стоил . . .	$2^1/_2$ р. (82 голл. су)	$2^1/_4$ р. (50 голл. су)
пеньки 1-го сорта .	48	45
сала 1-го сорта. . .	58	$50^1/_2$

Таким образом, цены на железо упали на 60, а на пеньку даже на 75%!

В то же время, цены на все мануфактурные товары сильно поднялись, при чем Коленкур сам не решался объяснять этого подъема падением курса рубля, как ни сильно ему хотелось этого. Утешение, которое он в этом случае мог придумать, звучит почти комически: если бы Балтийское море было свободно, говорит он, то положение торговли сделалось бы довольно сносным. Но так как именно этого-то и нельзя было ожидать, то оставалось уповать лишь на то, что торговцы в прежнее время получали хорошие барыши и теперь, на прикопленное от счастливых лет, „смогут перенести настоящее тяжелое положение". Утешение было, во всяком случае, не для русских торговцев. Но был разряд предпринимателей, на которых даже сам Коленкур не находил возможным распространить свой оптимизм: и эти наиболее несчастные были ни более, ни менее, как магнаты тогдашней России, *железозаводчики*. „Эти последние, не продававшие товара в течение последних двух лет, с целью поддержать необыкновенно высокие цены, поднятые англичанами на этот товар, теперь завалены им; когда же банк принужден был

прекратить выдачу ссуд за счет этого товара, потому что их стали требовать слишком много, то последовал усиленный сбыт его со стороны Демидовых, при чем 400.000 руб. наличными деньгами понизили этот товар до ничтожной цены 130 копеек или $1^3/_{10}$ кредитного рубля за 330 голландских фунтов... [1]). *Для знати, за весьма немногими исключениями, дело непоправимо.* При своих запутанных делах, обремененные всегда долгами и находящиеся вечно под ножом ростовщиков, они еще больше будут страдать, пока продолжается война, и, следовательно, будут сетовать".

Записка Коленкура со всею ясностью, какой только можно пожелать, намечает тот общественный класс, который должен был быть отброшен в оппозицию Тильзитским миром. Это были представители крупного землевладения, то-есть те самые старые и молодые „монаршисты", с которыми управлял Александр до 1807 года—или, вернее, которые до этого времени управляли от его имени. Не сумев предупредить катастрофы, они теперь первые от нее пострадали, но винили, конечно, не себя, а все то же козлище отпущения: самодержавного, юридически, императора, чуть ли не из каприза—и, во всяком случае, из трусости—заключившего мир. Старик Строганов был одним из первых, кто отказался впустить в свои салоны французского посла. И уже очень скоро дело пошло гораздо дальше. В ноябре 1807 года Савари мог доносить новому союзнику Наполеона почти-что о заговоре, затевавшемся „английской партией", называя прямо по именам Новосильцева, Кочубея и Строганова, как его вождей. Савари, конечно, мастер был сочинять „заговоры"—такая была его профессия,—но у него было в руках документальное доказательство если не злоумышления, то несомненного зложелательства недавних „молодых друзей" императора. Этим доказательством был заграничный памфлет, привезенный в Петербург английским агентом Вильсоном, и распространявшийся в петербургских гостиных не кем другим, как Новосильцевым с братией,—памфлет, где не щадили тильзитского друга Наполеона, резко противопоставляя „малодушию" Александра бодрость русского

[1]) То-есть за русский берковец.

общественного мнения и мужество русской армии, готовой драться до последней капли крови. Прочтя принесенную Савари брошюру, Александр был буквально вне себя. Он назвал ее „подлой", говорил, что он „топчет ногами" то, что в ней говорится по его адресу; но на самом деле он так мало ею пренебрегал, что вчерашние „молодые друзья" моментально превратились в „этих господ", а секундою дальше в „изменников". И как позже Коленкур, так Александр в разговоре с Савари ни минуты не колебался в социальной характеристике этих „изменников". Он никого не пощадил в этом на редкость откровенном, для дипломатической аудиенции, разговоре—ни отца, ни бабушки. „Это царствование Екатерины бросило семена неудовольствия, с которым я теперь вожусь,—говорил Александр.—Покойный император сделал еще хуже. В эти два царствования коронные имения были отданы в эксплоатацию *всем этим грязным людям*, которых столь прославили события того времени. При Павле давали 9.000 крестьян, как брильянтовый перстень. Я решительно высказался против таких приемов управления, *я ничего не даю этим людям*, а затем я хочу вывести народ из того состояния варварства, в которое его погружала *торговля людьми* [1]). Я скажу даже больше: если бы цивилизация была достаточно развита, *я уничтожил бы это рабство, хотя бы мне это стоило головы.* Вот, генерал, источник неудовольствия,—но могут говорить, что угодно, меня не заставишь перемениться, и вы скоро услышите о предупреждении, которое я сделаю этим господам". В примечании к этому месту своего донесения Савари прибавляет, что Кочубею немедленно было предложено подать в отставку, а Новосильцев „получил предписание путешествовать".

Вот в какой связи была произнесена Александром знаменитая фраза о его желании уничтожить крепостное право,—фраза, которую так часто цитировали, как образчик его обычных взглядов на крестьянский вопрос. На самом деле, это было вовсе не простое „выражение мнения"—это был новый боевой лозунг, это был вызов, бро-

[1]) Пусть читатель вспомнит споры о продаже людей без земли в негласном комитете!

шенный „грязным людям", вчерашним „молодым друзьям". Павловская демагогия возрождалась, но на этот раз, в руках людей нормальных и, казалось бы, более страшных поэтому, чем погибший 11 марта 1801 года император. Александр как будто нарочно хотел подчеркнуть свой поворот на павловскую колею. Великий полководец гатчинского войска, правая рука Павла, Аракчеев именно теперь приобретает то положение исключительно доверенного лица при Александре Павловиче, в каком привыкла его видеть история: 14 декабря 1807 года (месяц спустя после цитированной нами беседы императора с Савари) предписано было „объявляемые генералом-от-артиллерии графом Аракчеевым высочайшие повеления считать именными нашими указами". Телохранитель, из-за отсутствия которого, как многие думали тогда, погиб Павел, теперь безотлучно сторожил его сына. Но Александр заботился не только о своей личной безопасности—он хотел показать „грязным людям", что он может сделать. Ему был нужен не только телохранитель,—а и политический секретарь, вернее (сам он этого не сознавал, конечно) политический руководитель, который занял бы место, опустевшее с изгнанием „молодых друзей". Таким явился Сперанский.

Деятельность Сперанского не представляла бы никакого интереса,—если бы она была отражением лишь случайной перемены взглядов Александра Павловича. Для историка эта деятельность получает смысл лишь с того момента, как удается выяснить, интересам каких общественных групп она служила. Нужно признаться, что для выяснения этого вопроса в русской исторической литературе сделано чрезвычайно мало. Достаточно сказать, что до сих пор мы не имеем ни одной *монографии*, посвященной Сперанскому (о *биографиях*,—из которых лучшая, все-таки, Корфа, несмотря на свою устарелость,—не приходится говорить: их авторы *научных* задач себе и не ставили). Общие исторические работы по данной эпохе упорно придерживаются индивидуалистической точки зрения: и мы имеем, например, весьма тонкий анализ тех мотивов, которые определили в душе Александра I ссылку Сперанского, но никакой попытки анализировать действительный социальный смысл пресловутых указов 3 апреля

и 6 августа 1809 года,—указов, которым придают такое огромное значение в истории падения Сперанского, хотя они предшествовали этому падению чуть не на три года. Лишь последний, по времени, историк Александра косвенно затронул вопрос о социальной подкладке проектов 1809—10 годов: правда, не столько по собственной инициативе, сколько натолкнутый на это своими источниками. Но общее миросозерцание этого историка настолько убого, что большой пользы и от его попытки наука не получила. Мы узнали интересные подробности о связях Сперанского с масонством и о его надеждах на русское духовенство: но не в этом же был смысл „плана государственного образования", давшего проектам Сперанского историческое значение. Чего, однако, и можно было ожидать от ученого, искренно убежденного, что арестуй Николай Павлович вовремя Рылеева—и никакого 14 декабря вовсе бы не было? И после работы проф. Шимана — о ней идет здесь речь [1]),—как и после очень талантливого в своем роде труда покойного Шильдера, с полным правом можно сказать, что Сперанский ждет своего историка. Пока этот последний не пришел, приходится оперировать очень общими соображениями, правдоподобность которых едва ли, однако же, может быть поколеблена детальными исследованиями. Как все исторически крупное, планы Сперанского примыкали к весьма широким течениям, которые слишком заметны на поверхности истории, чтобы их можно было не видать, даже рассматривая события, по неволе, с птичьего полета. Тем более, что он и сам нисколько не думал замаскировывать этой связи. Что *финансы* и *кредит* являлись становым хребтом его проектов, об этом он говорит как нельзя более ясными словами. „Все жалуются на запутанность и смешение гражданских наших законов,—читаем мы в „Плане государственного образования": но каким образом можно исправить и установить их без твердых законов государственных? К чему законы, распределяющие собственность между частными людьми, когда собственность сия ни в каком предположе-

[1]) „Geschichte Russlands unter Nikolaus I". Первый том (1904 г.) целиком посвящен царствованию Александра I.

нии не имеет твердого основания? К чему гражданские законы, когда скрижали их каждый день могут быть разбиты о первый камень самовластия? *Жалуются на запутанность финансов. Но как устроить финансы там, где нет общего доверия, где нет публичного установления, порядка, их охраняющего?* В настоящем положении нельзя даже с успехом наложить какой-нибудь налог, к исправлению финансов необходимо нужный: ибо всякая тягость народная приписывается единственно самовластию. Одно лицо государя ответствует народу за все постановления; совет же и министры всегда, во всякой мере тягостной, могут отречься от участия там, где нет публичных установлений". Итак, без „публичных установлений", без политических гарантий, нет публичного кредита, а без кредита немыслимы прочные финансы: такова основная мысль Сперанского. Возьмите теперь „Патриотическое рассуждение московского коммерсанта о внешней российской торговле", почти современное [1]), и вы прочтете там: „Россия сохраняла всегда и будет сохранять благоговейное повиновение велениям правительства; но *доверенность есть чувство внутреннее, оно не вынуждается, но приобретается для каждого коммерсанта.* Наипаче нужно то, чтобы он точно был уверен, что постановления сии были отечественны, на которых основывать должен все свои расчисления, предприятия и обороты, чтобы они были прочны и непоколебимы. Иначе, если он раз потерял от внезапного изменения сих постановлений часть своего достояния, то праведно приогорченный не может уж действовать с полною свободою; он связан, он страшится всего и ничему не доверяет; *тогда исчезает и взаимная частная доверенность; упадает кредит и прерывается не-*

[1]) Написано в начале 20-х годов, напечатано дважды, в VI томе „Архива гр. Мордвиновых" и в 8-й книжке „Русского Архива" за 1907 год. Мы цитируем по последнему изданию. *В. И. Семевский* приписывает его, предположительно, перу декабриста Штейнгеля („Общ. движение в России", I, стр. 290, прим. 2). Нам кажется, что Штейнгель мог бы изложить свои мысли грамотнее, судя по его мемуарам. Но г. Семевский не отрицает, что записка была написана для московского купечества и по его поручению; так что для характеристики взглядов буржуазии она, и при его гипотезе, может служить. Курсив наш.

разрывная цепь беглого оборота капиталов". Точки зрения секретаря Александра Павловича и представителя интересов крупной русской буржуазии той же эпохи различаются лишь постольку, поскольку различны их официальные положения: один смотрит сверху—с высоты казенного сундука, если можно так выразиться; другой снизу—оберегая выгоду частного кармана. Но оба видят одно и то же—и говорят почти то же самое и даже чуть не теми же словами.

Крупная буржуазия—преимущественно торговая, но не менее и промышленная—была единственной общественной группой, выигравшей от франко-русского союза 1807 года. Уже через несколько месяцев после Тильзита французский представитель в Петербурге отмечал, что „крупные спекулянты", пользуясь лихорадочными скачками курса, наживают себе огромные состояния среди всеобщего разорения. С исчезновением английских купцов и за отсутствием французских, русские купцы сделались царями петербургской биржи. Не нужно забывать, что балтийская торговля, при всех усилиях Наполеона, не вовсе стала: помимо контрабанды, достигшей невероятных размеров—и тем более прибыльной,—процветала „нейтральная" торговля. В Кронштадт и Ригу приходили корабли под датским, голландским, иногда даже прямо французским флагом—и французский посол, покидая сферу высшей политики, должен был предаваться весьма мещанскому занятию, с помощью сыщиков и доносов изобличая перед русскими властями французского капитана из Бордо в провозе товаров несомненно манчестерского происхождения. Французский патриотизм перед лицом торгового барыша оказывался столь же мало устойчивым, как и всякий другой. Зато большими патриотами оказывались—по той же самой причине—русские мануфактуристы. Историк русского хозяйства никогда не забудет, что расцвет русского бумагопрядильного производства был создан именно тильзитским миром: в 1808 году основана первая русская—частная—бумагопрядильня, а в 1812 году в одной Москве их было 11. Исчезнувшую на рынке английскую пряжу сменила русская. Десять лет спустя „благонамеренный и опытный российский коммерсант" воодушевлялся почти до оратор-

ского пафоса, вспоминая об этом времени. „Не только многие богатые коммерсанты и дворяне, но из разного состояния люди приступили к устройству фабрик и заводов разного рода, не щадя капиталов и даже входя в долги,—говорит уже цитированное нами „патриотическое рассуждение“.—Все оживилось внутри государства и везде водворилась особенная деятельность“. Даже 1812 год—когда, между прочим, сгорели все московские фабрики—не надолго прервал этот золотой век. Официальные союзники России в дни отечественной войны, англичане, были тогда главными врагами в глазах российского купечества, курьезным образом совершенно сливаясь в этих глазах с фигурою их антагониста, императора Наполеона. „Завистливое око иностранцев предвидело весьма ясно, что должно ожидать от России, если она не будет иметь нужды ни в чьей помощи. Чтобы двигать страшными своими ополчениями (имеется в виду, конечно, Наполеон), она чрез агентов своих тогда же постаралась рассеять слух, что по политическим сношениям вскоре разрешится паки ввоз в Россию их изделий (т.-е., конечно, *английских* изделий) и тем приостановили многих из российских купцов, кои готовились распространить полезные мануфактурные изделия“. Но ни англо-наполеоновские козни, ни пожар Москвы не помогли врагам российского капитализма, пока были в силе протекционные тарифы 1810 и 1816 г.г. „Звонкая монета явилась повсюду в обороте, земледельцы даже нуждались в ассигнациях; в московских же рядах видны были груды золота; фабрики суконные до того возвысились, что китайцы не отказывались брать русское сукно, и кяхтинские торговцы могли обходиться без выписки иностранных сукон. Ситцы и нанка стали не уступать отделкою уже английским; сахар, фарфор, бронза, бумага, сургуч доведены едва ли не до совершенства. Шляпы давно уже стали требовать даже за границу. При таком усовершенствовании русских фабрик, в Англии едва ли не доходили до возмущения от того, что рабочему народу нечего было делать“. Но чего не смогли ни пушки Наполеона, ни английские интриги, то одним почерком пера осуществил фритредерский тариф 1819 года—дата, в воспоминаниях нашего автора гораздо

более роковая, нежели „двенадцатый год“. „Тарифом 1819 года объявлено всеобщее разрешение ввоза иностранных товаров. Российское купечество с сокрушением прочло в одном из отечественных журналов, что в Лондоне по сему случаю даны были многие празднества, британские фабрики, перед тем остановившиеся, пришли в движение, и рабочий народ получил занятие на счет России. Вскоре наводнилось отечество наше отовсюду необъятным множеством разных иностранных изделий, между тем как наше железо лежало на бирже без хода, и последовало из того явное преизбыточество ввоза перед отпуском отечественных товаров, вознаграждение оного звонкою монетою вывело ее всю за границу“.

В западной Европе были целые страны, индустриальному развитию которых континентальная блокада дала сильный толчок: к их числу принадлежали Саксония и северная Италия. В России нашлась, по крайней мере, группа населения, среди которой русско-французский союз не был не популярен. Но Сперанский стал у власти именно как сторонник этого союза. „Г. Сперанский (M. de Speransky), секретарь императора, которого ваше величество видели в Эрфурте, только что назначен товарищем министра юстиции,—доносил Наполеону Коленкур от 2/15 января 1809 года.—Помимо того, что он вообще пользуется превосходной репутацией, он один из тех, кто выказывает наиболее преданности настоящей системе, которой другие подчиняются больше по наружности, чем на самом деле—только, чтобы понравиться государю, который продолжает казаться горячим ее сторонником“. Естественно, что Наполеон заинтересовался такой редкостью—и не забыл Сперанского, хотя никак не мог запомнить его имени: в 1812 году, при разговоре с Балашовым, французский император не без настойчивости допытывался у последнего, за что именно постигла опала бывшего секретаря Александра I. Положение Балашова было очень пикантное,—ибо он как раз и был главным действующим лицом при этой опале: но, если верить его словам, он сумел отделаться общими фразами. Что разрыв союза и падение Сперанского оказались так тесно связанными между собою, это лежало, таким образом, в существе дела, а отнюдь не было только

результатом провокаторских расчетов тех, или того, кто сослал Сперанского [1]). Для тех, кому Тильзитский мир казался источником всех бедствий России, т.-е. для всей „знати“, для всего крупного землевладения, Сперанский был, действительно, изменником: а когда логика истории заставила Александра стать на точку зрения этих людей, Сперанский стал изменником и для него. Как с одной стороны, нет надобности подозревать сознательную клевету, так с другой—дело вполне понятно и без предположения о сознательном предательстве. Перемена взглядов тем легче могла здесь принять форму личного столкновения, что Сперанский в разговорах с Александром Павловичем не думал скрывать своего преклонения перед Наполеоном и Францией даже тогда, когда не могло уже быть сомнения, что ни о какой русско-французской дружбе больше нет речи. Их последняя беседа—повидимому, определившая окончательно судьбу Сперанского—в том и состояла, что император высказывал намерение лично вести войну против французов, а его секретарь, не обинуясь, утверждал, что затевать борьбу с последними—совершенная бессмыслица, что на поле битвы Александр Павлович не может тягаться с Наполеоном, и что если уже он так хочет вести эту войну, пусть раньше, по крайней мере, спросит мнение об этом народа, созвав государственную думу. Тут-то Александр, по его словам, и убедился вполне в „измене“ Сперанского [2]). Все это, до сих пор—„человеческое, слишком человеческое“, и могло бы случиться у всякого государя со всяким министром: своеобразную индивидуальность в этот эпизод,—чтобы уже не возвращаться к нему более,—вносят лишь долгие дружеские беседы за чашкой чая императора всероссийского с такою, уж без всякого сомнения „грязной“, личностью, как шеф его тайной полиции.

---

[1]) Такова, как известно, точка зрения Шильдера, неосторожно подчинившегося здесь взглядам де-Санглена, начальника тайной полиции Александра: на записках де-Санглена основаны, главным образом, все рассказы о событии 17 марта 1812 г.

[2]) Рассказ императора об этом передает де-Санглен, конечно, в очень упрощенном виде, многого просто не поняв: ему, например, послышалось, что Сперанский советовал Александру созвать «боярскую думу»!

Хотелось бы верить, что и эти рассказы де-Санглена такое же хвастовство, как и то, что он повествует о своем необыкновенном благородстве, посрамлявшем Армфельда, Балашова и других приближенных Александра. Но к сожалению, известия из других источников, уже гораздо более надежных, подтверждают, что Александр Павлович любил полицейские мелочи не меньше военных—и в слежке за своими врагами обнаруживал не меньше рвения, чем в „равнении носка" своих гвардейцев. Вскоре после 11 марта 1801 года, когда у него произошел разрыв с Паниным, „император,—рассказывает Чарторыйский,—ежедневно по нескольку раз получал донесения тайной полиции, подробно рассказывавшие, что делал Панин с утра до вечера, где он бывал, с кем останавливался на улице, сколько часов он провел в том или другом доме, кто был у него и, по мере возможности, что он говорил. Эти донесения, читавшиеся в негласном комитете (!), были изложены загадочным стилем, свойственным тайной полиции, которым так ловко пользуются ее агенты, чтобы сделать себя необходимыми и придать интерес самым незначительным своим рапортам. В сущности они не заключали в себе ничего, достойного внимания, но император чрезвычайно беспокоился и мучился даже от присутствия графа Панина, постоянно предполагая заговор с его стороны". Александр не забывал 11 марта ни в один момент своей жизни,—а перед двенадцатым годом опасность была к нему ближе, чем когда бы то ни было. То, что его секретарь, как он знал, принадлежит к масонам, давало достаточную почву для мнительности этого рода. Александр боялся масонов. По его настоянию, де-Санглен вступил в одну из лож и сделался в ней вице-председателем: за эту ложу можно было, очевидно, ручаться, но добраться до той масонской организации, в которую входил Сперанский, шпион Александра не сумел. Сперанский занимался там, повидимому, делами весьма невинными—подготовлял нечто вроде нравственного возрождения русского духовенства, рассчитывая, кажется, в нем найти проводника и для своих политических идей. Никаких следов заговора во всей этой, очень безобидной, возне нельзя подметить: но мог ли этому поверить Александр Павлович, не веривший *ни одному* из своих прибли-

женных (на этот счет он выражался перед де-Сангленом вполне определенно, и его нельзя было не понять)? Сперанский крайне неприятен, Сперанский ненадежен, Сперанский опасен,—таковы были три, совершенно последовательные, этапа, которые прошла мысль Александра в данном случае. Итог был: Сперанского нужно расстрелять. Тут явился „светский человек“ и европеец, профессор Паррот—разговор с ним был струей свежего воздуха, ворвавшейся в смрадную атмосферу истинно-павловского настроения. Александр понял, в какое положение поставит его казнь Сперанского перед теми, кого он, до известной степени, уважал: вместо казни ограничились ссылкой.

Все это были, как видит читатель, детали—была „обстановка“. Суть дела была прямо во внешней политике—дружба или, напротив, разрыв с Наполеоном,—а косвенно в *экономических отношениях*. Спор шел между промышленным и аграрным капитализмом: первому континентальная блокада была на руку, для второго в ней заключалась гибель. Сперанский был на стороне первого: чрезвычайно характерно, в этом случае, то, что он говорит, как бы мимоходом, в своем „Плане“ по поводу функций отдельных министерств. „Главным предметом“ министерства внутренних дел для него является „промышленность“: „министр внутренних дел должен управлять мануфактурами по их уставу“. То, что в наши дни стало министерством полиции по преимуществу, для Сперанского было чем-то вроде повторения петровской берг- и мануфактур-коллегии,—но с несравненно более обширным районом полномочий. „Сверх сих трех существенных частей (земледелия, фабрик и торговли) есть другие предметы, кои хотя сами по себе и не составляют промышленности, но принадлежат к ней или, как средства, коими движения ее совершаются—таковы суть *почты и пути сообщения*, или как естественные последствия труда и усовершенствования физических способностей—такова есть вообще *часть учебная*. Посему в естественном разделении дел и сии предметы не могут ни к какому департаменту приличнее относиться, как к министерству внутренних дел“. „Наука, коммерция и промышленность“ у Сперанского всегда рядом: „какое, впрочем, противоречие: желать наук, ком-

мерции и промышленности и не допускать самых естественных их последствий; желать, чтобы разум был свободен, а воля в цепях... чтобы народ обогащался и не пользовался бы лучшим плодом своего обогащения—свободою. Нет в истории примера, чтобы народ просвещенный и коммерческий мог долго в рабстве оставаться". Политическая свобода России для него вытекала, таким образом, логически из ее промышленного развития. Его понимание этого последнего было чисто-буржуазное: свободный, юридически, работник представлялся ему единственно-мыслимой базой „промышленности". „Никто не обязан отправлять вещественной службы, ни платить податей и повинностей, иначе, как по закону или *по условию, а не по произволу другого*". Поскольку речь шла об обрабатывающей промышленности, проекты Сперанского и здесь имели под собою вполне прочное экономическое основание. Мы видели, что фабрика второй половины XVIII века держалась почти исключительно на подневольном труде. По отношению к *старым* отраслям производства—железоделательным заводам и суконным фабрикам, например—дело и теперь было в прежнем положении: но текстильная промышленность *нового* типа, бумагопрядильные и бумаготкацкие мануфактуры, почти не имела крепостных рабочих, благодаря чему к 1825 году из 210.508 человек всех рабочих, занятых на русских фабриках и заводах, 114.575 человек, т.-е. более половины, было вольнонаемных. Но эти же цифры показывают, какую роль вообще мог играть промышленный капитал: что значили сто или даже двести тысяч фабричных рядом с *девятью миллионами* душ крепостных крестьян, занятых почти исключительно земледельческим трудом? А в этой последней области общественное мнение помещиков было безусловно на стороне барщинного хозяйства: цитированная нами в своем месте [1]) записка Швиткова как раз современница „Плана государственного образования"—оба относятся к одному и тому же 1809 году. Включенный в этот „План" проект юридического раскрепощения крестьян подошел бы, может быть, крупной знати—главным антагонистам Сперанского

[1]) См. «Русская история» т. IV

по всем остальным вопросам: вся масса среднего дворянства в этом капитальном пункте была бы против него; между тем, без содействия этой дворянской массы неосуществима была политическая часть „Плана", которая лично для Сперанского была, нет сомнения, дороже всего. „План" стоял или падал, в зависимости от того, пожелало бы поддержать его большинство помещиков или нет [1]).

В самом деле, логически, развитие „промышленности", конечно, должно было привести буржуазию к сознанию необходимости политической свободы. Но индивидуальная логика работает гораздо быстрее исторической: с тех пор как писал Сперанский, прошло более ста лет, а большинство российских „мануфактуристов и коммерсантов" не обнаружило склонности к политической свободе. На первых же порах класс предпринимателей вполне был бы доволен устранением самых грубых форм произвола, да возможностью подавать свой голос, хотя бы совещательный, в вопросах, которые непосредственно задевали его интересы. „Благонамеренный и опытный российский коммерсант", автор цитированной нами записки, был, несомненно, одним из самых передовых людей своего класса и своего времени: но по части „конституции" он не идет дальше предложения „учредить Мануфактурный совет", который мог бы «предстательствовать перед правительством о тех распоряжениях и пособиях, какие по усмотрению Совета для поощрения промышленности вообще или для пособия какой-либо фабрике или мануфактуре в особенности будут необходимы". В самом деле, до мечтаний ли о политической власти было людям, для которых гражданское равноправие было еще мечтой! „Совершенному развитию коммерческого духа и способностей рос-

[1]) Отчасти понимая это, Сперанский и не выдвигал освобождения крестьян в первую линию,—мало того, даже подчеркивал, что «меры», направленные к этой цели, «должны быть постепенны». Но оно логически вытекало из постановки им вопроса о «личной свободе», «существо» которой сводилось им к двум положениям: «1) без суда никто не может быть наказан, 2) никто не обязан отправлять личную службу иначе, как по закону, а не по произволу другого». «Первое из сих положений,—признается он сам в примечании,—дает крепостным людям право суда и, отъемля их от помещиков, ставит их наравне со всеми перед законом».

сиян есть преграда, которая пребудет непреодолима, доколе продолжится ее существование,—читаем мы у того же автора.—Преграда сия состоит в недостатках, какие сокрываются в нашей гражданственности и в самых коммерческих правах... Таковы наши гражданские законы, что все права, облагораживающие некоторым образом купца, приписаны его капиталу, а не особе гражданина, чему едва ли где-либо есть из благоучрежденных государств пример. Скажут, что личность и собственность каждого мещанина довольно ограждена Городовым положением. На это можно отвечать, что о силе и пользе государственных узаконений не по тому должно судить, как они написаны, а по тому, как исполняются и какое действие вообще производят. Если внимательнее взглянуть на настоящее положение наших мещан, то оно ближе подходит к положению жидов в Германии [1]). Известно, что сих последних утесняют так, как безотечественных, оскорбляют несказанно и презирают как бы по долгу и между тем их укоряют, что они не имеют понятия о честолюбии и все обманщики, мошенники и плуты". При таком положении вещей российскому купечеству была нужна не столько конституция, сколько упорядоченный суд и некоторое самоуправление—и когда, полвека спустя, то и другое было дано буржуазными реформами Александра II, этого оказалось достаточно, чтобы на целое поколение сделать русскую буржуазию одним из оплотов старого порядка. Проекты старшего современника Сперанского, адмирала Мордвинова, гораздо больше отвечали насущным потребностям тогдашней буржуазии, нежели „План государственного образования" [2]). У Мордвинова мы находим, в зародыше, большую часть „великих реформ" 60-х годов: и освобождение крестьян за выкуп—при чем Мордвинов не находил нужным лицемерить, говоря прямо о выкупе *личности*,—и гласный суд, и отмену откупов, и даже срочную воинскую повинность взамен рекрутчины. И если даже эти проекты не вызвали сколько-нибудь заметного движе-

---

[1]) Напоминаем читателю, что это писано в 20-х годах XIX века.

[2]) Об этих проектах см. брошюру г. *Гневушева*: „Политико-экономические взгляды гр. Н. С. Мордвинова", Киев, 1904.

ния буржуазии на их защиту, можно себе представить, насколько она могла быть надежной опорой для несравненно более широких планов Сперанского!

Между тем эти планы вовсе не были академической работой. Сперанский серьезно рассчитывал на осуществление своих проектов, Александр серьезно об этом думал—их противники не менее серьезно опасались введения в России конституции. Последнее доказывается, лучше всего другого, знаменитой запиской Карамзина, недаром доставленной Александру его сестрой, Екатериной Павловной, игравшей в то время, по общему мнению, крупную политическую роль в высших придворных сферах, притом отнюдь не на стороне той „системы", поклонником которой был Сперанский [1]). При очевидной политической слабости того класса, которому одному „система" была выгодна, что же заставляло верить в серьезность всего плана? Традиция выдвигает здесь, обычно, классический „либерализм" Александра Павловича в первую половину его царствования. Что Александр, в деле снискания себе популярности—преимущественно в Европе, а не в России—при помощи либеральных фраз, успешно шел по стопам своей бабушки, Екатерины II, это не подлежит сомнению. Но цену „либерализму" их обоих знали уже современники. Мы видели, в своем месте, какими чертами охарактеризовал режим корреспондентки Вольтера, в своей предсмертной записке, кн. Щербатов. А о „либеральных убеждениях" ее внука вот что говорит один из ближайших его друзей, не раз уже цитированный нами Чарторыйский: „Император любил внешние формы свободы, как любят театральные представления; ему доставляло удовольствие видеть вокруг себя обстановку свободного государства—это, притом, льстило его тщеславию; но ему нужны были

[1]) Посторонним, притом заинтересованным, наблюдателям, вроде Коленкура, казалось даже, что великая княгиня не прочь повторить историю ее знаменитой тезки. Она „ласкала старо-русскую партию, переписывалась с выдающимися генералами" и т. д.—словом, как будто „подготовляла издалека большие события". Коленкур только дивился—чего же смотрит император? Для него, как и для всех, совершенной тайной были действительные отношения между Александром и его сестрой, вскрытые только недавно опубликованной их перепиской...

только формы и обстановка, а не то, что им соответствовало в действительности; словом, он охотно согласился бы, чтобы весь мир был свободен, но под условием, чтобы весь мир с готовностью исполнял его волю". Чарторыйский говорит это по поводу случая, когда сенат вздумал на практике воспользоваться (в первый и последний раз!) дарованным ему в 1802 году правом—делать государю „представления". Но сенату не один Александр придавал только декоративное значение. В приложениях к тем же мемуарам Чарторыйского помещено письмо императора по поводу уже настоящей конституции, к которой, повидимому, он относился вполне серьезно: только что даровав Польше политическую свободу, Александр в этом письме больше всего—можно сказать, исключительно—заботится о том, чтобы „ход управления и реформы", которые предполагается ввести, были „согласны" с его, Александра, „точкой зрения". Чтобы достигнуть этой цели, Чарторыйский должен был, при надобности, „проявить инициативу, для того чтобы ускорить результаты и представить проекты, согласные с принятой системой"—т.-е. опять-таки согласные, прежде всего, с желаниями Александра Павловича. Когда обнаружилось, что конституционные формы мешают свободному проявлению этих желаний, формы без церемонии выкидывались за борт. „Я не могу умолчать о чрезвычайно существенном нарушении конституции,—писал Чарторыйский императору два года спустя: указы вашего величества опубликовываются без контрассигнирования их кем-либо из министров, что противоречит конституции и органическим статутам... Таким способом, государь, уничтожается всякая ответственность за самые серьезные акты правительства". В результате, познакомившись с тем, как своеобразно новый польский король понимал „свободные учреждения", поляки чувствовали себя очень мало удовлетворенными. „Я нашел в Польше чрезвычайную неуверенность во всем и полную обескураженность,—доносил Чарторыйский еще два года спустя, вернувшись из продолжительной заграничной поездки.—Все кажется поставленным под вопрос; нет учреждения, в котором бы не сомневались; нет печальной перемены, которой бы не предсказывали для страны. Такое

положение вещей пагубно. Низшие расчеты и личные интересы берут верх, благородные чувства подавлены; среди высших и низших чиновников люди слабые и неустойчивые, считая общее дело потерянным, убеждены, что они могут ни о чем не заботиться, кроме их собственной выгоды".

Нет сомненья, что в конституционной России Александр стеснялся бы еще менее нежели в конституционной Польше. Когда Сперанский, в своем знаменитом оправдательном письме к императору (из Перми), уверял, что план русской конституции вышел „из стократных, может быть, разговоров и рассуждений вашего величества", он был прав формально: поговорить на либеральные темы Александр очень любил. Но по существу Сперанский знал, конечно не хуже других, чего стоят эти „разговоры и рассуждения" Почему ему, в 1809 году, казалось, что Александра можно что называется, поймать на слове? Почему другие стали опасаться, что из невинных „разговоров и рассуждений" на этот раз может что-то выйти? Ответ можно найти только в том, что мы знаем об *общественном настроении* тех именно месяцев, когда вырабатывался „План". В это время ко всем плодам тильзитского союза прибавился еще один, некрупный, но особенно горький: России приходилось воевать, в союзе с Наполеоном, против Австрии, самой феодальной из держав Западной Европы, теперь, после того как прусскому феодализму нанесли тяжелый удар реформы Штейна. Венская аристократия была связана чрезвычайно тесными узами дружбы—отчасти даже родства—с петербургской. „Грязным людям" начинавшаяся война должна была казаться прямо братоубийственной. „Все слишком возбуждены, слишком ожесточены против императора и графа Румянцева (канцлера) все из-за той же системы", писал Коленкур в июне 1809 года. Придворный двух императоров, обязанный сразу и успокаивать своего французского повелителя—понемногу приближавшегося к краю бездны, смутно сознававшего это и нервничавшего—и не „выдавать" своего русского коронованного друга, Коленкур старался иногда обратить дело в шутку. Но какой это был „виселичный юмор"! В Петербурге теперь „безо всякой злобы,—писал он около того же вре-

мени,—говорят в ином доме о том, что нужно убить императора,—как говорили бы о дожде или о хорошей погоде". Но к середине лета это наигранное благодушие не выдержало, и от 4 июля Коленкур доносил уже без всяких шуток: „никогда общество не было еще столь разнуздано: это объясняется новостями из коммерческого мира и ожидаемым появлением, будто бы, англичан. *О катастрофе говорят громче, чем ко да бы то ни было*". Император не очень этим обеспокоен, спешит он прибавить, предупреждая готовую родиться в голове Наполеона мысль об „измене" Александра· „эти люди слишком много болтают, чтобы быть опасными" [1]). Но перед 11 марта 1801 года болтали не менее... „Грязные люди", на самом деле, становились все опаснее. На кого опереться? Исконный антагонизм высшей знати и массы провинциальных помещиков, так сказавшийся в цитированной нами выше речи Строганова,—антагонизм, в сущности, совсем не глубокий и не серьезный, давал, казалось, последний якорь спасения. Против „крамольников" из потомков Рюрика, Гедимина и екатерининских фаворитов можно было воззвать к верноподданному сельскому сквайру. „Дворянство имеет политические права в выборе и представлении,—читаем мы в „Плане",—но не иначе, как на основании собственности"—добавил верный своей юридической логике Сперанский: добавка невинная, потому что безземельные дворяне и раньше голоса не имели. „Все свободные промыслы, дозволенные законом, открыты дворянству. Оно может вступать в купечество и другие звания, не теряя своего состояния". Соглашались даже удовлетворить давнее требование, обойденное Екатериной II,—закрыть дверь в благородное сословие перед служилыми разночинцами. „Личное дворянство не превращается в потомственное одним совершением службы; к сему потребны особенные заслуги, по уважению которых императорскою властию в течение службы или по окончанин ее дарується потомственное дворянство и удостоверяется особенным дипломом".

---

[1]) Все цитаты из донесений Коленкура по изданию вел. кн. Николая Михайловича «Дипломатические сношения России и Франции». С. П. Б. 1905—1906, 4 тома.

Эксперимент был не лишен интереса. При столкновении с жизнью от буржуазной схемы Сперанского осталось бы, вероятно, не очень много—но кое-какие точки опоры в дворянской массе правительство могло бы найти. Декабристы не с неба свалились, а вышли из этой массы—и если пятнадцать лет спустя общественного возбуждения хватило для революционной вспышки, в 1810 году его, вероятно, нашлось бы уже достаточно для мирной демонстрации, вроде екатерининской комиссии 1767 года. Но основание, на котором строил Сперанский, было слишком зыбкое. Этим основанием, в сущности, был *страх* Александра Павловича перед „катастрофой". Этот страх, пока, боролся еще с чувством собственного достоинства: еще в апреле 1809 года Сперанскому было позволено довольно болезненно уколоть „грязных людей", лишив служебных преимуществ придворные звания. Это не была антидворянская мера, как часто думают: дети пензенского или тамбовского помещика мало имели шансов сделать карьеру при дворе. Указ 3 апреля бил по молодежи из тех домов, где говорили об убийстве Александра, „как говорят о дожде или хорошей погоде". Даже еще в августе этого года „буржуазное" направление одержало некоторую победу: указ 6 августа поставил производство в высшие гражданские чины в зависимость от образовательного ценза. Интересы дворянства прямо этот указ задевал еще менее: дворяне служили либо по выборам, либо в военной службе,—а ни того, ни другого указ не касался. Но он упрочивал служебное положение семинаристов, в тогдашней России самой образованной части чиновничества, ибо университет давал пока ничтожное количество подготовленных специалистов, да и среди студентов лучшими были опять таки бывшие воспитанники духовных семинарий. Дворянство с трудом переносило и одного Сперанского—а тут собирались устроить целый рассадник Сперанских! Мера не могла быть популярной, но, конечно, смешно было бы ставить исход всего дела в зависимость от подобных мелочей. Поворот политики сказался, когда дошло до осуществления „Плана". Согласно последнему, участие в законодательстве с императором должна была делить государственная дума,

из депутатов, избранных путем четырехстепенных выборов от всех землевладельцев (размеры ценза Сперанским не были точно установлены). Пределы компетенции этого собрания были очерчены „Планом" довольно тесно: оно было лишено законодательной инициативы, его председатель должен был утверждаться, императором, а секретарь был и прямо из чиновников. Видимо, дворянам, которые должны были дать $^9/_{10}$ всех депутатов, не очень доверяли. Но, тем не менее, дума должна была представлять собою среднее дворянство и отчасти буржуазию: те, чья компетенция до сих пор шла не дальше *местных* дел, теперь призывались для решения вопросов общегосударственных. Чрезвычайно характерно, что именно эта относительная демократизация центрального управления и не прошла. Вместо думы ограничились открытием, 1 января 1810 года, *государственного совета*. Он был и в схеме Сперанского, но здесь это была чисто-чиновничья коллегия, непосредственно содействовавшая императору в текущем управлении,—нечто вроде расширенного государева кабинета. История, не без содействия Александра Павловича, сделала из него нечто совершенно иное. На этот счет мы имеем свидетельство исключительной ценности: подлинные слова самого императора, под свежим впечатлением записанные Коленкуром. С чувством большого удовлетворения рассказывая последнему, как ему удалось провести через совет на 60 миллионов новых налогов—мы помним, что финансовые затруднения были исходной точкой всех проектов,—Александр добавил: „Я мог бы просто приказать, но я достиг того же результата, а в то же время все умы во всей империи отнесутся к этой мере с большим доверием, когда увидят вместе с указом мнение совета, скрепленное подписями его членов, принадлежащих всей империи, *из которых некоторые даже прямо происходят от старинных московских бояр* (dont quelques-uns même tiennent directement aux vieux Russes de Moscou). То, что для Сперанского было орудием царской власти, для Александра было моральной силой, на которую эта власть пробовала опереться. Еще не высохли чернила, которыми был написан проект, расторявший привилегии „старых московских русских" в правах всей дворянской массы, а уже Александр гордился,

что „старые русские“ не отказали ему в поддержке Ролью органа общественного мнения, которую играл совет в глазах Александра, объясняется и та странная парламентская декорация, среди которой выступает это учреждение в „Образовании“ 1810 года. „Старых русских“ нужно было почтить. Но „общественное мнение“, говорившее устами нового учреждения,—это было мнение все той же „знати“, которая раньше дала „молодых друзей“, позже превратившихся в „грязных людей“. В разговоре с Коленкуром Александр наивно признавался в своей капитуляции перед этими последними. Государственный совет, который, по мысли Сперанского, должен был стать первым камнем нового государственного здания, на самом деле оказался надгробным памятником „Плана государственного образования“.

Для капитуляции было слишком время. Те же донесения Коленкура достаточно показывают, что только человек исключительного мужества смог бы удержаться против той бури, которая грозила Александру к концу 1809 года. Уже самый факт австрийской войны был, как мы знаем, невыносимо тягостен высшему дворянству. Каково же было ему узнать, что ее ближайшим результатом будет восстановление той самой Польши, которую разрушила екатерининская Россия! Галиция, отнятая у Австрии не без содействия—хотя, нужно признаться, крайне слабого—русских штыков, должна была пойти на усиление герцогства Варшавского, вот-вот готового превратиться в польское королевство. В это время „не было уже больше никакой меры в отзывах об императоре Александре; об его убийстве говорили громко“. „За все время своего пребывания в Петербурге я не видал умов в таком волнении,—прибавляет Коленкур.—Все окружающие государя, даже наиболее ему преданные, перепуганы“. Александр умел сохранить наружность спокойного человека. Но до Коленкура уже доходили слухи, что поездка царя в Москву (в декабре 1809 года) предпринята не без задней мысли—позондировать мнение того класса общества, который Коленкур называет noblesse, под каковым названием не приходится разуметь, конечно, Коробочек и Собакевичей: Москва издавна была гнездом оппозицион-

ной знати. Прием, встреченный Александром со стороны этой последней, чрезвычайно ободрил императора: чорт вблизи оказался не так страшен, как представляли себе в Петербурге, а главное, Александр стал находить, что чорт рассуждает довольно здраво. В разговоре с Коленкуром, под свежим впечатлением поездки, Александр впервые, очень осторожно и с массой оговорок, высказал свои сомнения в правильности „системы", усвоенной им после Тильзита. „Так думают в Москве,—прибавил он;—эти люди не совсем не правы в своей оценке вашего внутреннего положения—и моего, на тот случай, если бы императора (Наполеона) постигло какое-нибудь несчастие". Еще в начале года со „знатью" шла беспощадная война, в середине года стало ясно, что война может обойтись дороже, чем кто-либо ожидал—а в конце его оказывалось, что столковаться с „грязными людьми" не невозможно. Это, во всяком случае, было проще, чем предпринимать конституционные эксперименты. Притом для последних и времени уже не оставалось. Читатель очень ошибся бы, если бы отнес происшедший переворот исключительно на счет перемены настроения Александра Павловича. Это последнее само было производным моментом—в основе лежали условия более элементарные. Еще в июле, говоря с Коленкуром, Александр так охарактеризовал итоги русско-французского союза, вынудившего Россию воевать сначала с Англией, а потом с Австрией: в первой из этих войн „его (Александра) торговля уничтожена, ее учреждения сожжены, порты и берега находятся под угрозой неприятельского нашествия, страна, богатая только продуктами, которых ей некуда вывозить, затронута в самых источниках своего благосостояния. Вторая стоит огромных денег, так как приходится содержать войско за границей на звонкую монету, в такой момент, когда курс чрезвычайно невыгоден для России..." Для покрытия военных издержек—а также для того, чтобы поддержать курс—в сентябре пришлось заключить заем—из 8%! Так дальше жить было нельзя.

Год спустя, к концу 1810 года, „система", в сущности, уже рухнула. Тарифом 18/31 декабря этого года была

объявлена таможенная война Франции—в то время как английская контрабанда стала терпеться почти открыто. И не случайно к этому же самому времени относится знаменитая переписка Александра с Чарторыйским, так долго лежавшая под спудом—и не даром: ибо после ее опубликования совершенно невозможно говорить о „нашествии" Наполеона на Россию в 1811 году. Письма Александра не оставляют ни малейшего сомнения, что Россия готова была напасть на Францию уже в декабре 1810 года; император подробно перечисляет силы, которыми он думал располагать для этой цели, делая только небольшую ошибку: 50.000 поляков, которых он считал на своей стороне, на самом деле оказались на стороне Наполеона, отказавшись принять „данайский дар" — конституцию, которую гарантировал Александр польскому королевству, возрожденному при помощи русского оружия. В 1815 году Александр только осуществил это свое старое обещание. Отказ поляков изменить Наполеону в 1810 году сорвал весь план: имея Польшу против себя, Александр не решился на наступательную кампанию, а пруссаки не соглашались присоединиться к русским иначе, как под условием, чтобы те шли вперед. Наполеон, во-время предупрежденный, получил полтора года на подготовку своего „нашествия"—по существу являвшегося актом необходимой самообороны. Россия воспользовалась отсрочкой гораздо хуже. Кампании 1813—14 гг. показали, что, с помощью английских субсидий, Александр имел полную возможность мобилизовать те же 400.000 штыков, которые перешли Неман с Наполеоном в июне 1812 г.—и остановить этим французов по ту сторону Двины и Днепра, если даже не перейти в наступление. Пожар Москвы и разорение средней России были бы этим предупреждены. Но „знать", очутившись снова в седле, была занята не этим: ей нужно было расправиться со своим „внутренним врагом", воплотившимся в секретаре Александра Павловича. Мы уже видели те субъективные условия, которые определили перемену в отношениях императора к Сперанскому. Объективно, падение последнего было совершенно необходимой составной частью падения „системы", выдвинувшей Сперанского на первое место. Нельзя не прибавить одной

подробности: одним из ближайших виновников события 17 марта 1812 г. был человек, воплощавший в себе политическое миросозерцание знати в максимальной степени. То был шведский эмигрант граф Армфельт. Его принято рассматривать, обыкновенно, с одной из двух точек зрения: или как горячего финляндского патриота, или как одного из величайших интриганов своего времени. Он был, как это ни странно, и тем, и другим одновременно: двусмысленное положение финляндского дворянства тех дней, шведского по культуре и исторической традиции, но тянувшего к России во имя политического расчета, выдвигало на первое место такие двусмысленные фигуры. Но у этой сложной личности была и еще одна сторона— хорошо освещенная в записках декабриста Волконского. Армфельт, рассказывает Волконский, „взойдя в тайную связь с неприятелями Сперанского в высших слоях государственного управления, старался иметь опору и в молодежи (т.-е. в гвардейском офицерстве, к которому принадлежал автор записок, тогда флигель-адъютант Александра Павловича). Я очень хорошо помню, как, при встречах в общественном кругу с молодежью, он старался с нами сближаться, и разговор его всегда клонился к тому, чтобы высказывать нам, что аристократия должна faire faisceau (тесно сплотиться), что аристократия должна и может иметь вес в государственном управлении, что выскочки из демократического строя, вышедшие в люди, прямые враги значения аристократии, что, составляя целое, аристократия получит значение,—и этими суждениями возбуждал нас на дело, сходное с его намерениями... Какие были дальние намерения Армфельта, положительно не могу высказать, но из мною слышанного полагаю, что цель его не была только смещение Сперанского... А перебирая в памяти его беседы с нами, выказываемое им желание сблизиться с нами и иметь в нас опору, я невольно полагаю, что его замыслы были: *устроить в России образ правления на аристократических началах*".

Таким образом, не только крушение „Плана государственного образования", но и самый эпизод ссылки Сперанского не лишен был принципиальной основы — и выводить этот эпизод исключительно из *личных* отношений

императора и его секретаря было бы не исторично. Напротив, как финал, чрезвычайно характерна эта дуэль старого аристократического „монаршизма", нашедшего себе выразителя в шведском графе—и начал буржуазной конституции, представителем которых явился русский тайный советник из семинаристов. Но Армфельт со своими проектами оказался чересчур европейцем: его русские одноосословники, сломив упрямство своего государя, вовсе не чувствовали настоятельной потребности в организации у нас „правления на аристократических началах". И по пословице „при ссоре двух радуется третий" — от первого столкновения аристократии с демократией на русской почве выигрыш достался третьей силе, двумя борющимися не предусмотренной. И Сперанский, и Армфельт пали: остался Аракчеев.

ГЛАВА XVI.

Декабристы.

1. Тайные общества.

Падение Сперанского означало, казалось, крушение всех „либеральных“ проектов Александра Павловича. А так как проекты шли сверху, общество, исключая придворные круги, о них почти не знало—и уже поэтому должно было относиться к ним безразлично, то, казалось бы, и „общественному движению“ должен был наступить конец. На самом деле именно 1812 год явился исходным моментом настоящего общественного движения, отнюдь не вызванного поощрением сверху—и даже по отношению к этому верху все более и более враждебного. Масса среднего дворянства, которую Строганов так презирал, а Сперанский собирался использовать в качестве политических статистов, вдруг выступила на сцену с явной претензией—играть на этой сцене одну из первых ролей.

Явившаяся непосредственным результатом разрыва франко-русского союза война 1812 года нам теперь представляется стройной пьесой, действие которой логически развертывалось по известному плану, где чуть ли не все было заранее предусмотрено: и „скифская“ тактика заманивания Наполеона в глубь России, и пожертвование, в случае надобности, даже Москвой, чтобы расстроить „несметные полчища нового Аттилы“, и чуть ли даже не взятие Парижа в 1814 году. Но человека, который за два года раньше стал бы предсказывать это последнее событие, в наиболее патриотически настроенных кругах сочли бы слегка тронувшимся, „несметные полчища“ были немногим сильнее русской армии, какой она могла бы быть

при немного большей предусмотрительности Александра и его министров [1])—„скифская“ же тактика была горькой необходимостью, на которую жаловались все, сверху до-низу, тщетно отыскивая виноватого, который „ведет Наполеона в Москву“; а о сдаче этой последней не думали серьезно даже накануне Бородина, за две недели до вступления в нее французских войск. А с небольшим за месяц до этого события Александр Павлович считал ошибкой даже отступление к Смоленску и писал Барклаю-де-Толли (от 30 июля): „Я не могу умолчать, что хотя по многим причинам и обстоятельствам при начатии военных действий нужно было оставить пределы нашей земли, однако же, не иначе как с прискорбностью должен был видеть, что сии отступательные движения продолжались до самого Смоленска... Я с нетерпением ожидаю известий о ваших наступательных движениях, которые, по словам вашим, почитаю теперь уже начатыми“. Барклай сколько угодно мог возражать, что, имея одного солдата против двух французских (таково было соотношение сил перед смоленскими боями), итти вперед — значит итти на верный разгром. Тут же, среди высших чинов армии, сейчас же нашлись бы люди, гораздо болѣе, чем Барклай, авторитетные в глазах „знати“, и которые не задумались бы ни на минуту объявить подобные рассуждения явным доказательством Барклаевой измены. „Без хвастовства скажу вам, что я дрался лихо и славно, господина Наполеона не токмо не пустил, но ужасно откатал, — писал Багратион Ростопчину через неделю после Смоленска, где русским удалось два дня продержаться против „великой армии“.—Но подлец, мерзавец, трус Барклай отдал даром преславную позицию. Я просил его лично и писал весьма серьезно, чтобы не отступать, но я лишь пошел к Дорогобужу, как и он за мною тащится. Посылаю для собственного вашего сведения копию, что я министру (т.-е. Барклаю) писал; клянусь вам, что Наполеон был в мешке,

[1]) См. по этому поводу расчеты Ростопчина в его записках („Русская Старина“, т. 64-й): он находил вполне возможным — и, повторяем, кампании 1813—1814 г.г. оправдали его вычисления—к концу 1811 года иметь под ружьем 640.000 человек. На деле собрали менее 300 тысяч.

но он (Барклай) никак не соглашается на мои предложения и все то делает, что полезно неприятелю... Ежели бы я один командовал обеими армиями, пусть меня расстреляют, если я его в пух не расчешу. Все пленные говорят, что он (Наполеон) только и говорит: мне побить Багратиона, тогда Барклая руками заберу... Я просил министра, чтобы дал мне один корпус, тогда бы без него я пошел наступать, но не дает; смекнул, что я их разобью и прежде буду фельдмаршалом". Для того чтобы правильно оценить эти заявления „хвастливого воина", — на которого в петербургских и московских салонах чуть не молились,—надо иметь в виду, что только своевременное отступление от Смоленска и спасло русскую армию: промедли Барклай на „преславной позиции" несколько дней, он, без всякого сомнения, был бы „в мешке", а под Бородиным некому было бы сражаться. Но в данном общественном кругу „шапками закидаем" казалось единственной, достойной России, политикой во все времена и на всех театрах войны: под Смоленском и под Аустерлицом, под Севастополем и на реке Ялу. Багратион потерял бы всю репутацию в глазах людей своего круга, если бы не уверял их—и не верил сам,—что „неприятель дрянь: сами пленные и беглые божатся, что, если мы пойдем на них, они все разбегутся", — как писал он тому же Ростопчину в другом письме. Это писалось о тех самых наполеоновских гренадерах, от которых даже гораздо позже, когда они голодные и обмороженные, отступали из России, кутузовская армия предпочитала держаться подальше. Кутузов был достаточно хитер, чтобы обманывать—не Наполеона, как он обещал, а хвастливых воинов и их поклонников: усердно повторяя „патриотические" фразы, он делал то, что было единственно возможно, — терпеливо дожидался, пока обстоятельства выведут Россию из тупика, куда ее завели люди, уверенные, что „неприятель дрянь". Как известно, он даже перехитрил, продолжая бояться Наполеона долго после того, как тот перестал быть страшен. Но у всякой добродетели есть своя оборотная сторона.

Для себя лично Александр Павлович усвоил выжидательную тактику гораздо раньше Кутузова. Приехав к армии под впечатлением все того же „шапками закидаем"

(в возможность наступательной войны против французов верили еще весною 1812 года, когда, повидимому, была сделана новая попытка соблазнить поляков, вторично неудачная) и очень скоро убедившись, что предстоит тяжелая оборонительная кампания, Александр сначала отправился в Москву „ободрять население", а затем прочно уселся в Каменноостровском дворце, коротая время прогулками в его великолепном парке и чтением Библии. Описание его времяпрепровождения летом 1812 года [1]) служит великолепной иллюстрацией к знаменитым словам Канта о том, как легко достается государям война, столь тяжелая для простых смертных. Возможность повторения 11 марта была страшнее всех успехов Наполеона: но от этой возможности теперь, когда он послушно шел на поводу у „знати", Александр Павлович чувствовал себя прочно гарантированным. Ворота каменноостровского парка никогда не запирались во время царских прогулок, и никаких специальных мер не принималось для охраны царского жилища от каких-либо „злоумышленников". Побаивались теперь немного „черни": рядом с почти преступной небрежностью в подготовке внешней войны довольно тщательно приготовлялись к обороне от „домашнего врага". Императору приходилось специальным письмом успокаивать своих близких, вынужденных оставаться в менее надежных местах, нежели Петербург, доказывая им, что в случае какого-либо „волнения" полубатальоны внутренней стражи (по 300 человек на губернию) легко с этим „волнением" справятся. При этом мы узнаем, что ранее по губернским городам для этой цели существовали лишь „штатные роты" не более, чем по 50 штыков в каждой: так уже успели позабыться уроки пугачевщины [2]). При соприкосновении с „чернью" кое-какие меры принимались, впрочем, и в Петербурге: в собор 15 сентября, в годовщину коронации, Александр ехал не верхом, как

---

[1]) В записках Стурдзы, фрейлины императрицы Елизаветы Алексеевны.

[2]) См. письмо Александра к Екатерине Павловне от 29 января 1812 г. «Correspondance de l'Empereur Alexandre I avec sa soeur la grande duchesse Catherine», St.-Petersbourg 1910.

обычно, а в карете вместе с императрицами. Но „чернь" манифестировала необычайно скромно: не было только слышно обычных „ура", и этого жуткого безмолвия было достаточно, чтоб у придворных Александра затряслись поджилки [1]). Более смелая, великая княгиня Екатерина Павловна писала в эти дни своему брату: „не бойтесь катастрофы в революционном роде, нет! но я предоставляю вам судить о положении вещей в стране, главу которой презирают". Она добавляет при этом, что такие чувства не составляют особенности какого-нибудь одного класса: „все единодушно вас осуждают". „Величественное самоотречение" императора, прогуливавшегося в своем парке, когда его солдаты десятками тысяч ложились под неприятельскими ядрами, так же мало входило в предусмотренную публикой программу войны, как и пожар Москвы. В стройную картину все это сложилось гораздо позже.

Представители крупного землевладения, моральные виновники всех бедствий, могли без труда подражать тактике своего государя и его главнокомандующего. У каждого из „знати" были имения в разных углах России— каждый легко мог найти свой каменноостровский дворец, достаточно далеко от места военных действий, чтобы шум их не мешал предаваться „самоотречению". В ином положении было среднее дворянство захваченных войной губерний. Уже в московском дворянском собрании Ростопчину пришлось принять кое-какие меры, — он сам цинически рассказывает об этом, — чтобы обеспечить „восторженный прием" Александра Павловича и правительственных предложений насчет ополчения и иных „пожертвований". Нашлись, по его словам, дерзкие люди, собиравшиеся, со своей стороны, предложить императору вопросы: каковы силы нашей армии? как сильна армия неприятельская? какие имеются средства для защиты? и т. п. Ростопчин приказал поставить около здания благородного собрания две фельдъегерские повозки (на каких обыкновенно отправляли в ссылку) — и этой демонстрации оказалось достаточно, чтобы замкнуть уста дерзким людям. Он их называет *мартинистами*; — мы не можем судить, действи-

[1]) Точное показание фрейлины Стурдзы.

тельно ли это были остатки новиковского кружка (несомненно уцелевшие до 1812 года в Москве), или же он просто употребил название, прилагавшееся в те дни ко всяким крамольникам—как в конце XIX века „нигилисты". Ростопчин приписывает своим „мартинистам" планы, шедшие и гораздо дальше: ни более, ни менее, как низвержение Александра и возведение на его место Константина Павловича. Это, на первый взгляд, кажется уже совершенным бредом: и тем не менее, несомненно, что из небольшой группы, очень близкой к настоящим мартинистам, вышел первый проект *республиканской* конституции для России. Самым неожиданным образом этот проект связан с именами двух екатерининских фаворитов: его автором был гр. Дмитриев-Мамонов, сын одного из мелких заместителей Потемкина, а главным деятелем ордена „Русских Рыцарей", из которого проект вышел, был Михаил Орлов — родной племянник Григория Орлова, младший брат будущего николаевского шефа жандармов и председателя главного комитета по крестьянскому делу в 50-х годах. Если прибавить, что третьим из известных нам членов этого крайне малолюдного „ордена" был кн. Меншиков, и что Орлов, сам флигель-адъютант Александра I, был очень близок с будущим декабристом кн. Волконским, тогда тоже флигель-адъютантом, то мы окажемся в самом центре „знати", — по крайней мере, ее младшего поколения. Совершенно естественно, что проект, вышедший из такой среды, отличался крайним аристократизмом: „народная вече" (sic) мамоновской конституции должна была состоять из двух палат—„палаты вельмож" из 221 *наследственного* члена, „владеющих *уделами неприкосновенными* в тех областях, от коих они *наследственными представителями и депутатами*", и 442 „простых дворян, не наследственных", но выбранных от одного дворянства („шляхетства", как с выразительным архаизмом говорит проект), и „палаты мещан" из депутатов от городов, при чем избирателями могли быть не только купцы, но также „мастеровые и поселяне". Последняя палата должна была отличаться особенным многолюдством — в ней могло быть до 3.000 членов. Взаимоотношения палат и их прав проект детально не выясняет,—но что первая должна была иметь

перевес, видно уже из того, что два „имперских посадника", из которых один командовал войсками, а другой стоял во главе гражданской администрации, выбирались из числа членов верхней палаты, притом наиболее аристократической ее части—из числа „вельмож". О том, что императора не будет, Мамонов прямо не говорит. Но ему, во-первых, и места нет в схеме; а затем, из сопутствующих замечаний автора видно, что монархическому принципу он решительно не сочувствовал. „Конституция Гишпанских Кортесов,—говорит он по поводу испанской конституции 1812 г.,—весьма мудро писана,—но не вся годится для нас" именно потому, что в ней сохранена королевская власть. „Щадить тиранов (les T., как осторожно обозначает Мамонов, для вящшей предосторожности всю фразу составивший по-французски), это значит готовить, ковать для себя оковы, более тяжкие, нежели те, которые хотят сбросить. Что же Кортесы? Разосланы, распытаны, к смерти приговариваемы, и кем же? скотиной, которому они сохранили корону..." Этот энергический конец написан уже опять по-русски.

Орден Русских Рыцарей ничего не сделал и, повидимому, даже не собирался делать, в нем только разговаривали, писали проекты, и его идеалом было написать такую книгу, которая сразу завоевала бы умы всех в пользу „преподаваемого в ордене учения". По теперешнему говоря, это была чисто пропагандистская организация, притом, в силу особенностей „учения", ограничивавшая свою пропаганду очень тесным кругом. И тем не менее, идейное влияние его на последующие „тайные общества" было гораздо сильнее, нежели кажется с первого взгляда. *Республиканизм* как раз был тем новым, что внесли декабристы в общественное движение начала XIX века,—наличность же в этом движении, вплоть до декабристов, сильной аристократической струи теперь не отрицают даже исследователи, всегда относившиеся очень враждебно к „классовой точке зрения". „Предположения о политических преобразованиях М. Ф. Орлова и М. А. Дмитриева-Мамонова,—говорит В. Семевский,—отличающиеся при всем политическом радикализме Мамонова аристрократическим характером, примыкают к целому ряду других

предположений, в которых, в той или иной форме, возлагают надежды на аристократию, как на охранительницу политической свободы, таковы: записка Сперанского в 1802 г., беседа гр. П. А. Строганова с гр. С. Р. Воронцовым в 1802 г., проект гр. Мордвинова. Даже Н. И. Тургенев предлагал учреждение пэров, сначала в смысле исключительного совещательного учреждения, из богатых помещиков, освободивших своих крестьян. Приняв во внимание все это течение, станет понятнее и высокий ценз, установленный для участия в прямых выборах в нижнюю палату веча, и еще более высокий пассивный ценз для избрания в верхнюю его палату в проекте конституции Н. М. Муравьева, и аристократическая тенденция в конституционном проекте декабриста Батенькова" [1]). Мы увидим, что перечисленными примерами „аристократизм" декабристов не ограничивался,—но прежде нам нужно выяснить два вопроса, как читатель сейчас увидит, тесно между собою связанных: во-первых, что же толкнуло аристократическую молодежь на этот, совершенно для нее неприличный, казалось бы, путь? и, во-вторых, почему эти отщепенцы от своей социальной группы нашли такой живой отклик в массе рядового дворянства, которое к „владельцам уделов неприкосновенных" никогда раньше не обнаруживало больших симпатий? Рассматривая декабристов, с одной стороны, и „русских рыцарей"—с другой, мы замечаем у них два общих признака. Первым из них является—общий тем и другим—резкий *национализм*. „Вельможи" мамоновской конституции „должны быть греко-российского исповедания, равно как и депутаты рыцарства, в *коем кроме русских и православных никого быть не может*". Одним из „пунктов преподаваемого в ордене учения" является „лишение иноземцев всякого влияния на дела государственные"; другой гласит еще решительнее: „конечное падение, *а если возможно, смерть иноземцев*, государственные посты занимающих". Пробуя почву для организации „Союза Спасения", Александр Муравьев предлагал, по словам Якушкина, составить тайное общество „для противодействия немцам, находящимся на

[1]) „Политические и общественные идеи декабристов", СПБ. 1909.

русской службе". Как он сам тотчас же объяснил, это был лишь пробный шар, но как нельзя более характерный: кому теперь пришло бы в голову пускать такие пробные шары? Но всего лучше рисует настроение декабристов в этом вопросе известный эпизод записок того же Якушкина, повествующий, как в тайном обществе впервые возникла мысль о цареубийстве. „Александр Муравьев прочел нам только что полученное письмо от Трубецкого, в котором он извещал всех нас о петербургских слухах, во-первых, что царь влюблен в Польшу, и это было всем известно... [1]), во-вторых, что он ненавидит Россию, и это было вероятно, после всех его действий в России с 15-го года; в третьих, что он намеревается отторгнуть некоторые земли от России и присоединить их к Польше; и это было вероятно; наконец, что он, ненавидя и презирая Россию, намерен перенести столицу свою в Варшаву. Это могло показаться невероятным, но после всего невероятного, совершаемого русским царем в России, можно было поверить и последнему известию"... Якушкина, когда он услыхал это, „проникла дрожь",—а затем он вызвался убить Александра. Между тем, „отторжение" от России Литвы, о которой шла речь, казалось бы, было ничуть не страшнее „отторжения" от империи Выборгской губернии, присоединенной за несколько лет перед тем к Финляндии: факт, которым в XX в. никто не возмущался, кроме черносотенцев, заставлял клокотать всю кровь в жилах русских либералов 1817 года. Можно вполне допустить, что Якушкин приукрасил картину, желая в возможно более лойяльном свете представить свой слишком нелойяльный замысел: но тут любопытно, какие именно краски он счел нужным усилить. Было бы можно привести множество аналогичных черточек из проектов и воспоминаний целого ряда товарищей Якушкина, притом политически гораздо более сознательных, нежели он: достаточно сказать, что Пестель не соглашался не только на самостоятельность, но даже на простую автономию Финляндии, и что ни один из декабристских проектов, не исключая и „Русской

[1]) Читатели выше видели, как плохо приходилось Польше от этой „любви".

Правды" Пестеля, не признавал равноправия евреев. Новейший исследователь, склонный делить рассматриваемые им явления на „симпатичные" и „несимпатичные", имел добросовестность не скрыть этой черты декабристов, безусловно относящейся к последнему разряду: он только старается сузить ее район [1]), да оправдать ее более или менее случайными обстоятельствами. „Крайняя ненависть к иностранцам" Мамонова и его друзей „вызывалась", говорит г. Семевский, „столь же крайнею и неразумною приверженностью к ним (иностранцам) Александра I, которая сопровождалась пренебрежительным отношением к русским". На самом деле, явление объясняется, конечно, гораздо более общими причинами: наука не имеет никаких оснований проводить резкую черту между „несимпатичным" национализмом и „симпатичным" патриотизмом. Оба растут на одном корню. И мы не могли бы ожидать ничего другого от людей, для которых двенадцатый год стал исходной точкой всей их сознательной жизни. Якушкин с этой даты начинает свои записки. „Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двунадесять языцы, если бы народ попрежнему остался в оцепенении. Не по распоряжению начальства жители при приближении французов удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. Не по распоряжению начальства выступило все народонаселение Москвы вместе с армией из древней столицы. По рязанской дороге, направо и налево, поле было покрыто пестрой толпой, и мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата: „Ну, слава Богу, вся Россия в поход пошла!" В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле". Дело, конечно, не в объективной верности этой характеристики двенадцатого года. Более деталь-

[1]) «Национализма,—говорит г. Семевский по поводу «Русских Рыцарей»,—не чужды были и некоторые другие декабристы». Многие ли были ему чужды?

ные рассказы о войне, идущие даже от самих декабристов, совершенно разрушают романтическую картину—народа, как один человек поднявшегося на защиту своей родины. Когда Александр Павлович спросил вернувшегося из-под сожженной Москвы Волконского, как ведет себя дворянство—тот класс, из рядов которого вышли и Якушкин, и Волконский, и все их товарищи, будущий декабрист должен был ответить: „государь, стыжусь, что я принадлежу к нему: было много слов, а на деле ничего". Он пробовал утешить Александра настроением крестьян: но даже из такого архишовинистического источника, как растопчинские афишки, можно узнать, что крестьяне занятых неприятелем уездов, вместо французов, сводили нередко счеты со своими господами, пользуясь тем, что ни полиции, ни войск для „усмирения" у последних не было теперь под руками. Что Москва была сожжена не жителями, действовавшими в припадке патриотического усердия, а полицией, исполнявшей приказание того же Растопчина, что французская армия пала жертвой не народного восстания, а недостатков собственной организации—и поскольку она не была дезорганизована (так именно было с императорской гвардией), к ней до конца не смели подойти не только партизаны, но и регулярные русские войска: все это факты слишком элементарные и слишком хорошо известные, чтобы о них стоило здесь распространяться. Но, повторяем, для нас важна не объективная, а субъективная сторона дела: так именно *чувствовали* будущие декабристы—и если мы хотим понять их настроение, мы не можем обойти двенадцатого года. Якушкин вовсе не какое-нибудь исключение. Ал. Бестужев (Марлинский) писал императору Николаю из крепости: *„Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то русский народ впервые ощутил свою силу*; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной. *Вот начало свободомыслия в России.* Правительство само произнесло слова: свобода, освобождение! Само рассевало сочинения о злоупотреблении неограниченной власти Наполеона" [1]). Нужно прибавить, что декабристы не при-

[1]) *Семевский*, цит. соч., 206. Курсив наш.

надлежали к людям, которые задним числом говорят патриотические фразы: они *делали* то, о чем говорили. Редкий из них не был сам одним из участников похода. Никита Муравьев, будущий автор конституции, которому мать не позволяла поступить в военную службу, тайком бежал из родительского дома и пешком отправился отыскивать армию; его арестовали и едва не расстреляли, как шпиона—его спасло вмешательство Растопчина, знавшего семью. Муравьеву было тогда 16 лет. Декабрист Штейнгель уже совсем не юношей, с семьей, приехал в Петербург искать места—и очутился офицером петербургского ополчения, с которым и сделал заграничный поход, вместо того чтобы служить по министерству внутренних дел, как собирался сначала. В этом отношении учредители ордена „Русских Рыцарей" не отличались от декабристов: Мамонов, один из богатейших людей в России, на свой счет сформировал целый кавалерийский полк, которым и командовал. Полк, правда, больше прославился разными безобразиями и в России, и за границей, нежели военными подвигами, но это опять была суровая объективная действительность, в субъективной же искренности мамоновского патриотизма мы не имеем никаких поводов сомневаться. А что касается Орлова, то его имя, как известно, прочно связано с капитуляцией Парижа (19/31 марта 1814 г.), им подписанной с русской стороны; в его лице мы имеем, таким образом, даже не рядового участника „освободительной войны" 1812—14 гг.

Национализм не в одной России явился первичной, зачаточной формой политического сознания: почти всюду в Европе—исключая Франции и Англии—дело начиналось с того же. В Германии, особенно в Италии и Испании, носителями либеральных идей являлись бывшие участники «освободительной» войны: и первые революционные движения 20-х годов почти всюду принимали форму военного восстания, как наше 14 декабря. На этой *профессиональной* стороне движения (вторая общая черта декабристов и „Русских Рыцарей", которые все были из военной среды) стоит немного остановиться—она мало, обыкновенно, обращала на себя внимание, а между тем политическое значение ее было большое. Прежде всего, ею объясняются организа-

ционные особенности русских тайных обществ. Современному читателю, представляющему себе военное восстание как часть демократической революции, оно рисуется, прежде всего, в образе восстания солдат—без офицеров и даже в случае надобности, против офицеров. Это—точка зрения демократически совершенно правильная и понятная, но не военная: для военного, армия есть прежде всего командный состав; солдаты без него—толпа, а не армия,—скажет вам всякий военный. „Общество имело желание как можно больше начальников в войсках обратить к своей цели и принять в свой Союз, особенно полковых командиров,—говорит в своих показаниях Пестель,—предоставляя каждому из них действовать в своем полку, как сам наилучше найдет; желало также и прочих начальников в общество приобрести: генералов, штаб-офицеров, ротных командиров". Неудачу дела на Сенатской площади многие участники приписывали тому, что там не было „густых эполет": и неспособный князь Трубецкой сделался „диктатором" между прочим потому, что он был в военной иерархии старшим из наличных в Петербурге членов общества. Затем, на программе декабристов влияние профессиональных интересов тоже сказалось достаточно сильно. Из пятнадцати пунктов, намеченных Трубецким для манифеста 14 декабря,—записку Трубецкаго приходится считать как бы за равнодействующую всех отдельных мнений, за тот minimum, на котором все сходились,—*три* прямо касаются армии и *два* косвенно. В воспоминаниях отдельных участников заговора военные преобразования еще более выступают на передний план. В программе „Союза Благоденствия", как ее запомнил Александр Муравьев (брат Никиты, автора конституции) [1]), из 10 пунктов армии посвящена почти половина; сравнивая эти пункты с запиской Трубецкого, можно заметить, как эволюционировали в этом вопросе взгляды декабристов: в проекте „манифеста" имеется уже уничтожение рекрутчины и всеобщая воинская повинность,—муравьевские пункты не идут дальше сокращения срока военной службы

---

[1]) Его не следует смешивать с упоминавшимся выше Александром Николаевичем Муравьевым, впоследствии нижегородским губернатором в конце 50-х годов, известным по участию в реформе 19 февраля.

и неопределенного „улучшения участи защитников отечества". Но обе программы твердо стоят на одной подробности: уничтожении *военных поселений*. И это как раз вопрос, где, с одной стороны, профессиональная сторона тайных обществ выступает особенно ярко, а с другой—дело чисто военное приобретает крупное политическое значение. Военные поселения, как известно, официально были попыткой заменить рекрутчину натуральной воинской повинностью известного разряда населения: часть государственных крестьян должна была отбывать военную службу совершенно на тех же началах, на каких господские крестьяне отбывали барщину. При этом „военные поселяне" не переставали быть крестьянами: оставались в своих деревнях и обрабатывали землю—совершенно опять-таки так же, как прокармливали себя своим трудом барщинные мужики. Это перенесение в военную область модного среди тогдашних помещиков увлечения барщиной само по себе чрезвычайно характерно,—тем более, что оно сопровождалось попытками „организовать" хозяйство военных поселян с тою точностью регламентации, какою проникнуты проекты Удолова, Швиткова и других прожектеров конца XVIII и начала XIX веков, труды которых печатались в записках Вольного Экономического Общества. Но у дела была и другая сторона, еще более характерная, но уже политически. Военные поселения возникают в очень любопытный момент александровского царствования: в 1810 году, когда, с одной стороны, война с Наполеоном была почти решена, с другой—Александр Павлович искал путей сближения со своим дворянством. Уничтожение рекрутчины было бы как нельзя более приятно этому последнему; как ни старались помещики сбывать в солдаты наименее ценную часть своей живой собственности, все же рекрутчина, особенно усиленная перед войной, отнимала много рабочих рук, так ценных теперь в барщинном имении. „Военные поселения", напротив, падали всею своей тяжестью на казенных крестьян, почти не затрагивая помещичьих [1]). В то же время, при ужасающем падении

[1]) Некоторые мелкие имения были экспроприированы на устройство военных поселений—и это уже вызывало ропот.

курса ассигнаций, перевод армии на довольствие натурой—притом трудами самих солдат—сулил самые радужные финансовые перспективы. Война двенадцатого года разразилась слишком быстро, не дав времени развернуть эксперимент достаточно широко: но за него взялись с удвоенной энергией тотчас по заключении мира, который казался, а отчасти и действительно был до начала революционного движения 20-х годов, весьма непрочным. Варварская прямолинейность, с которой из мирного казенного мужика выбивали исправного фронтового солдата, давала достаточный повод для общественного негодования против «гуманного» нововведения императора Александра (он очень им гордился именно с этой стороны) [1]). Но, вчитываясь в отзывы декабристов, вы чувствуете, что к этому одному поводу дело далеко не сводилось. Жестоко было барщинное хозяйство вообще и всюду—штатское или военное, безразлично: но мы напрасно стали бы искать у членов тайных обществ такого *личного* отношения к барщине, какое слишком явственно звучит, когда дело касается военных поселений. Трубецкой и Якушкин почти одними и теми же словами характеризуют политические последствия военной барщины: по мнению первого, поселения составят в государстве „особую касту, которая, не имея с народом почти ничего общего, может сделаться орудием его угнетения". „Известно, что военные поселения со временем должны были составить посередь России полосу с севера на юг и совместить в себе штаб-квартиру всех конных и пеших полков,—пишет второй:—при окончательном устройстве военных поселений они неминуемо должны были образоваться в *военную касту* с оружием в руках и не имеющую ничего общего с остальным народонаселением России". В военных поселениях декабристы провидели зародыш опричнины: и, кажется, они не были совсем не правы. Развитие политического радикализма именно в военной среде должно было настраивать верхи очень подозрительно по отношению к прежней армии. „Солдат

---

[1]) При введении военных поселений в Чугуевском уезде, например, было, по весьма точным показаниям, засечено на смерть несколько десятков человек.

доволен, но нельзя того же сказать об офицерах, которые раздражены походом против неаполитанцев,—писал в начале 20-х годов кн. Васильчиков, командир гвардейского корпуса, когда предполагалось двинуть русские войска для усмирения революции, вспыхнувшей на Апеннинском полуострове.—Вы можете поэтому судить, как распространились у нас либеральные идеи. Не отвечайте мне на это избитой фразой: „заставьте их молчать". Число говорунов слишком велико... Если Провидению угодно, чтобы война вспыхнула, мне кажется, нужно пустить в дело гвардию, а не держать ее в резерве. Несколько хороших битв успокоят молодые головы и приучат их к строгой дисциплине, а когда кончится война, государь может *уменьшить численность гвардии* и сохранить ее лишь в самом необходимом количестве, что было бы большим благом... *Мы слишком многочисленны—вот в чем большое зло, и вот почему войска производят революции*".

Как видим, русскому офицерству было чего опасаться от Александра Павловича—прежде всего, как офицерству. Но мы, конечно, очень ошиблись бы, если бы свели его программу к отстаиванию профессиональных интересов: тогда дело не пошло бы дальше тех мелких гвардейских вспышек, с которыми приходилось бороться Екатерине II. Армия была только *более* оппозиционно настроена, чем другие общественные круги: но оппозиционное настроение было очень широко распространено во всех кругах—не считая самый верхний слой, „знать", где Мамоновы, Орловы и Волконские являлись резким исключением, и самый нижний, крепостное крестьянство, где ни на минуту не прекращалось брожение, но не имевшее ничего общего с конституционными или республиканскими проектами. Выразителем взглядов дворянской интеллигенции второго десятилетия XIX века был „Дух Журналов" или „собрание всего, что есть лучшего и любопытнейшего во всех других журналах по части истории, политики, государственного хозяйства, литературы, разных искусств, сельского домоводства и проч.". Этот талантливейший журнал того времени дает самую типичную амальгаму национализма, либерализма и крепостничества, какую только можно себе представить. В нем помещались переводы заграничных

конституций и статьи „о пользе представительного правления", написанные со смелостью, которую русской периодической печати пришлось потом забыть чуть не на сто лет. Разъяснялись чрезвычайно убедительно выгоды, какие англичане получают от своего парламента—и в то же время доказывалось, что „англичанин едва может пропитать свою душу, евши в полсыта печеный картофель, а русский в сытость и ест, и пьет, и веселится иногда... У нас нет изящных, чудных рукоделий, но почти нет нищих; народ живет в довольстве вообще, а не частно". С большим жаром развивалась мысль о вреде „батрачества", т.-е. пролетариата, и в то же время давался совет: „мужиков своих, даже самых богатых, не пускать в оброк", а вести исключительно барщинное хозяйство. То внутренне-противоречивое существо, которое представлял собою русский помещик до 70-х почти годов XIX столетия—европейский буржуа, с одной стороны, азиатский феодал—с другой, уже народилось на свет ко второму десятилетию александровского царствования. Противоречия не получалось, если взять этот тип в его экономической основе: новое крепостное хозяйство уже нельзя было вести без капитала и не приспособляясь к условиям рынка. „Капиталы, капиталы, капиталы—вот те волшебные силы, которые и самую дикую пустыню превращают в рай", восклицал „Дух Журналов", отстаивая, в то же время, свободу торговли всей силой авторитета тогдашней экономической науки, с которою он же и знакомил своих читателей, помещая у себя переводы Сэ, Бентама, Сисмонди и других. А свобода торговли, не даром сказано, была корнем всех буржуазных свобод—и, ведя борьбу с „игом Наполеона", русское дворянство вело в сущности борьбу именно за этот корень всех свобод—ибо экономическим воплощением „ига" была континентальная блокада. Но *свобода* торговли была нужна русскому помещику затем, чтобы сбывать при наиболее выгодных условиях продукты *крепостного* хозяйства—последовательное же развитие буржуазного принципа уничтожало самую основу этого хозяйства, подневольный труд. Правда, у отдельных помещиков даже того времени мелькала уже мысль о возможности, даже желательности замены внеэкономического принуждения эконо-

мическим: образчиком их был декабрист Якушкин. Приехав в свою деревню, Смоленской губернии, он нашел, что его крестьяне „трудились и на себя, и на барина, никогда не напрягая сил своих. Надо было придумать способ возбудить в них деятельность и поставить их в необходимость прилежно трудиться". Способ этот, по мнению Якушкина, заключался в том, чтобы поставить крестьян „в совершенно независимое положение от помещика". Эту „совершенную независимость" он понимал так: крестьяне получали в „совершенное и полное владение" свою движимость, дома, усадьбу и выгон. „Остальную же всю землю", т.-е. *всю пахоту*, Якушкин оставлял себе, „предполагая половину обрабатывать наемными людьми, а другую половину отдавать в наем своим крестьянам". Крепостного мужика предполагалось, таким образом, разложить на „вольного" батрака, в одну сторону, и подневольного арендатора помещичьей земли—в другую: комбинация, столь хорошо знакомая русской деревне позже, что для современного читателя нет надобности распространяться о ней подробно. Якушкину принадлежит несомненная честь—предусмотреть новейшие формы эксплоатации крестьянства слишком за поколение вперед. Как все новаторы, он должен был терпеть от тупости и непонимания окружающих. От министра внутренних дел, Кочубея (одного из „молодых друзей" в свое время), он должен был выслушать колкость: „я нисколько не сомневаюсь в добросовестности ваших намерений,—сказал Якушкину министр:—но если допустить способ, вами предлагаемый, то другие могут воспользоваться им, чтобы избавиться от обязанностей относительно своих крестьян". Но всего больше огорчили его сами крестьяне. Желая узнать, „ценят" ли они оказываемое им благодеяние, Якушкин „собрал их и долго с ними толковал". „Они,—рассказывает он—слушали меня со вниманием и, наконец, спросили: „земля, которою мы теперь владеем, будет принадлежать нам или нет?" Я им ответил, что земля будет принадлежать мне, но что они властны будут ее нанимать у меня.—„Ну, так, батюшка, оставайся все по старому; мы ваши, а земля наша". Напрасно я старался им объяснить всю выгоду независимости, которую им доставит освобож-

дение...“ Впоследствии Якушкин сам понял, что его проект совершенной экспроприации крестьян является слишком европейским, чтобы его можно было осуществить в условиях грубой русской действительности, и, опять опережая свой век на целое поколение, своим умом додумался до истинно-русской формы ликвидации крепостного права—той самой формы, которая была осуществлена реформой 19 февраля: продажи крестьянам их собственной земли за деньги. Перед 1825 годом он „пристально занялся сельским хозяйством и часть своих полей уже обрабатывал наемными людьми. Я мог надеяться, что при улучшении состояния моих крестьян они скоро найдут возможность платить мне оброк, часть которого ежегодно учитывалась бы на покупку той земли, какою они пользовались...“ Ссылка Якушкина прервала этот эксперимент—не менее интересный, чем все конституционные проекты декабристов [1]).

При сколько-нибудь объективном отношении литературы к предмету, одного этого эпизода было бы достаточно, чтобы положить конец всяким разговорам о „внеклассовых“ добродетелях декабристов, из одной чистой любви к человечеству стремившихся освободить несчастного, задавленного крепостным правом мужика. Александровские радикальные офицеры были, прежде всего, помещики—и классовых интересов не забывали, даже мечтая о русской республике. Идеалом Никиты Муравьева были Соединенные Штаты—императора он оставлял только, можно сказать, для одного приличия, лишая его всякой реальной власти; но в первоначальном проекте своей конституции он не забывает оговорить, что при освобождении крестьян „земли помещиков остаются за ними“. В окончательной редакции этот пункт звучал уже иначе: „крепостное состояние отменяется. Помещичьи крестьяне получают в свою собственность дворы, в которых они живут, скот и земледельческие орудия, в оных находящиеся и по *две десятины земли на каждый двор для оседлости их. Земли же они обрабатывают по договорам обоюдным, которые они заклю-*

---

[1]) См. «Записки *И. Д. Якушкина*», изд. 2, М. 1905, стр. 29—32, 35—37 и 71. Цитаты из «Духа Журналов» в цит. сочин. *Семевского*, стр. 276 и «Русская фабрика» *Туган-Барановского*, стр. 274—281.

чают с владельцами оных". Если Якушкин придумал и даже—насколько это было в средствах частного лица—начал осуществлять проект выкупной операции, то Никите Муравьеву принадлежит честь такого же изобретения *дарственного* (иначе *нищенского*) надела. Этот факт, нужно сказать, несколько смутил даже В. Семевского, при всем его желании видеть в отрицательных сторонах декабристов черты, вообще свойственные их времени,—а отнюдь не эгоистические поползновения какого-нибудь общественного класса. Он должен был признать, что даже такой современник декабристов, как Аракчеев, оказался щедрее их: „даже минимальный размер надела, даваемого крестьянам в собственность, по проекту Аракчеева все же более, чем по проекту Муравьева" [1]).

Если мы примем в расчет, что и Якушкин, и Н. Муравьев представляли собою крайнюю левую дворянского оппозиционного движения, нас не удивит, что в окончательно резюмирующем пожелания тайных обществ проекте манифеста, набросанном Трубецким, крестьянский вопрос упомянут лишь очень глухо—при чем намеренно взят только с юридической стороны: манифест говорит об „уничтожении права собственности на людей". Мы увидим скоро, что перед такой формулой не останавливались и более передовые министры Николая I. Напротив, мы будем удивлены, что в общем этот манифест должен был носить весьма „буржуазный" характер: мы в нем находим и свободу печати (п. 3), и „предоставление лицам всех вероисповеданий свободного отправления богослужения (п. 4: не свободу совести, однако!), и равенство всех сословий перед законом (п. 6: но все же не уничтожение сословного строя), и отмену подушной подати (п. 8), и уничтожение соляной и винной монополии (п. 9), и, наконец, гласный суд с присяжными (пп. 14 и 15). Эта программа—вероятно, уже напомнившая читателю схему реформы 60-х годов—логически дополняется тем, что мы знаем о проектировавшейся декабристами организации народного представительства. В „манифесте" и этот вопрос формулирован в самых общих чертах (п. 2: „учреждение временного правления до

[1]) *Семевский*, цит. соч., стр. 618, ср. стр. 623.

установления постоянного выборного"). Но в конституции Н. Муравьева, с которой никто не соглашался, но которая одна представляла собою нечто законченное, было последовательно проведено начало *имущественного ценза*. Правда, сословное начало в замаскированном виде имелось и здесь: земельный ценз был *вдвое ниже* ценза для движимого имущества, крестьяне вообще имели в 500 раз меньше избирательных прав, чем не крестьяне (один „избиратель" на 500 душ!), в частности же бывшие крепостные вовсе не получали политических прав; но если мы примем в соображение, что в тогдашней Европе, не исключая и Англии, классы населения, соответствовавшие нашему крестьянству, не входили в состав цензовых граждан—мы должны будем признать, что *конституция декабристов была менее резко помещичьей, чем можно было бы ожидать*. Вместе с проектом Сперанского ее приходится поставить в разряд *буржуазных конституций*. Ближайшим образом и там, и здесь это объясняется литературными влияниями—сочинениями западных публицистов, по которым учились теоретики тайных обществ, как и Сперанский, и образчиками европейских конституций, которыми они пользовались (на декабристах особенно отразилась испанская конституция 1812 года). Но мы видели, что для объяснения проектов Сперанского этого мало: они отразили в себе тенденции известных *русских* общественных групп—тенденции, в их первоисточнике, быть может, менее осознанные, нежели под пером государственного секретаря Александра I, но дававшие, тем не менее, для „творчества" этого секретаря реальную основу. Насколько можно сказать то же о декабристах? В составе тайных обществ не было ни одного купца. Значит ли это, что буржуазия была совершенно чужда движению? Ряд фактов, каждый из которых в отдельности может показаться мелким,—но которые в целом даже теперь, при очень несовершенном знакомстве с социальной стороной движения 20-х годов, представляют значительную массу, убеждает, что это не так. В одном доносе, поданном императору Александру в 1821 году, сообщалось об опасном настроении среди купцов петербургского Гостиного двора. Купцы собирались группами, человек по 8, с газетами в руках, и толковали о консти-

туции. „Они говорят, что если в стране есть конституция, то государь не может постоянно покидать свое государство, так как для этого нужно дозволение нации... Если ему не нравится Россия, зачем он не поищет себе короны где-либо в другом месте... На что нужен государь, который совершенно не любит своего народа, который только путешествует и на это тратит огромные суммы. Когда же он дома, то постоянно тешит себя парадами. Все знают, что уже давно в судах совершаются вопиющие несправедливости, дела выигрывают те, кто больше заплатит, а государь не обращает на это внимания. Нужно, чтобы он лучше оплачивал труд состоящих на государственной службе и поменее разъезжал. Только конституция может исправить все это, и нужно надеяться, что Бог скоро дарует нам ее“... Что рассказы эти не были простым сочинительством александровских шпионов,—доказывает интерес, какой проявляли к купцам декабристы, по крайней мере, некоторые: Рылеев спрашивал Штейнгеля, имевшего большие связи среди сибирского и московского купечества, нельзя ли там приобрести членов для общества? Штейнгель, уже тогда заботливо отгораживавший себя от заговора,—на следствии он формально отрекся от участия в нем,—отнесся к мысли Рылеева отрицательно под тем предлогом, что „наши купцы невежды“. Он, однако, поддерживал с этими „невеждами“ близкие отношения, когда дело шло о легальных проектах, да и в разговоре с Рылеевым должен был назвать одно имя, под данную им характеристику купечества не подходившее: то был содержатель типографии Селивановский, в то время как раз подготовлявший издание русской энциклопедии—очень солидного, по своему времени, предприятия, на которое Селивановским было затрачено до 30.000 рублей. Энциклопедия, отчасти уже отпечатанная и одобренная цензурой, была конфискована тотчас же, как только выяснились связи ее издателя с декабристами. Среди петербургской буржуазии у Рылеева, секретаря Российско-Американской торговой компании, были самостоятельные связи—и, быть может, не совсем случайно в последние дни перед 14-м мы встречаем декабристов то на банкете у директора „компании“, где говорились либеральные речи даже такими мало-

либеральными людьми, как Булгарин, то на ужине у купца Сапожникова, который, угощая своих гостей шампанским, приговаривал: „выпьем! неизвестно, будем ли завтра живы!" Это было как раз 13-го числа. Любопытны некоторые тенденции и самого Рылеева, позволяющие его вместе с некоторыми другими кроме Штейнгеля—тут приходится в особенности назвать Батенькова, выразившего как-то желание быть „петербургским лордом-майором"—причислить к тем, кого теперь назвали бы „буржуазной интеллигенцией". „Во второй половине 1822 г.,—рассказывает в своих воспоминаниях кн. Оболенский,—родилась у Рылеева мысль издания альманаха, с целью обратить предприятие литературное в коммерческое. Цель Рылеева и его товарища в предприятии, Александра Бестужева, состояла в том, чтобы дать вознаграждение труду литературному, более существенное, нежели то, которое получали до того времени люди, посвятившие себя занятиям умственным. Часто их единственная награда состояла в том, что они видели свое имя, напечатанное в издаваемом журнале; сами же они, приобретая славу и известность, терпели голод и холод и существовали или от получаемого жалованья, или от собственных доходов с имений или капиталов. Предприятие удалось. Все литераторы того времени согласились получать вознаграждение за статьи, отданные в альманах: в том числе находился и А. С. Пушкин. „Полярная Звезда" имела огромный успех и вознаградила издателей не только за первоначальные издержки, но доставила им чистой прибыли от 1.500 до 2.000 р." [1]).

Количественно очень слабые, буржуазные элементы тайных обществ могли, однако, иметь очень большое влияние на их политическую программу благодаря своему качественному перевесу: Рылеев, А. Бестужев, Батеньков,

[1]) «Общественные движения в России в первую половину XIX века», т. I, стр. 242. Читатель заметил, конечно, что Оболенский стыдится предпринимательства своих товарищей—стыдится, разумеется, совершенно напрасно—и старается подменить искание прибыли борьбой за повышение заработной платы. Для этого он пытается уверить своего читателя, что литературный труд тогда почти вовсе не вознаграждался, что не верно: люди, приобретшие «славу и известность», зарабатывали тогда не меньше, чем теперь; Карамзину за 2-е издание «Истории государства Российского» предлагали 75.000 рублей.

даже Штейнгель были крупнейшими интеллектуальными силами так называемого „Северного" общества. Для того чтобы написать манифест, основные принципы которого сохранились в наброске Трубецкого, обращались именно к Рылееву, а тот привлекал к участию в этом деле Штейнгеля. Батеньков намечался даже в состав временного правительства — единственный из заговорщиков, так как остальные члены временного правительства должны были быть взяты из числа популярных в обществе государственных людей (называли Сперанского, Мордвинова и некоторых сенаторов). Этот качественный перевес дал такое значение и представителю течения еще более радикального, чем „буржуазная интеллигенция". Пестель, не занимавшийся, сколько известно, никакими предприятиями — и вовсе не имевший крестьян, был столь же чистой воды „идеологом", как позднейшие утопические социалисты 70-х — 80-х годов. Придавать его „Русской Правде" значение такого же практического проекта, как конституция Н. Муравьева, например, было бы, конечно, неосторожно: это было чисто литературное произведение и, как таковое, нечто очень индивидуальное, личное. В случае победы декабристов Пестель, вероятно, имел бы удовольствие видеть свою работу в печати, — но едва ли дело пошло бы дальше этого. Чрезвычайно характерно, тем не менее, что человек, предлагавший полное уничтожение всяких сословных и цензовых перегородок, в политической области последовательный демократ, а в социально-экономической доходивший почти до национализации земли, мог не только быть терпим в дворянско-буржуазном кругу, — но даже стать вождем самой, в сущности, влиятельной группы заговорщиков, так называемого „Южного общества". Правда, у Пестеля нельзя отрицать большого таланта приспособления: при первом свидании с Рылеевым, автор „Русской Правды" в течение двух часов ухитрился быть попеременно „и гражданином Северо-Американской республики, и наполеонистом, и террористом, то защитником английской конституции, то поборником испанской". На буржуазно-честного петербургского литератора это произвело крайне неблагоприятное впечатление — и у него, видимо, сохранилось воспоминание о

Пестеле как о беспринципном демагоге, которому доверяться не следует. Что Южное общество не чуждо было демагогии, примером тому был не один Пестель, как мы сейчас увидим: но едва ли можно на счет этой демагогии отнести и „Русскую Правду", которую ведь предполагалось опубликовать *после* переворота. Притом же, пропаганда, как мы знаем со слов самого Пестеля, велась почти исключительно среди офицерства: а по отношению к офицерам из помещичьей среды едва ли была бы удачным демагогическим приемом проповедь национализации земли. Она, в сущности, не была бы удачной демагогией и по отношению к крестьянам: ибо Пестель не всю землю отдавал своим „волостям", а лишь половину—другая же половина должна была служить полем частной предприимчивости, будучи отдаваема государством в аренду, без ограничения, притом, количества земли, которая могла скопиться в одних руках. На этой „казенной" земле вполне могла возникнуть, таким образом, крупная земельная собственность—только не феодальная, а буржуазная: половина же земли, обыкновенно, была в распоряжении крестьян и при крепостном праве. Для оброчных и казенных крестьян проект Пестеля не создавал ровно никакой фактической перемены, что признавал он и сам: между тем, с демагогической точки зрения, наиболее возбудимым элементом как раз были бы „военные поселяне" из бывших государственных крестьян. „Идеолог" в Пестеле решительно преобладал над демагогом.

Но, при всем своем „идеологизме", из-под влияния наличных общественных классов с их интересами не мог, разумеется, уйти и Пестель. Его программа, как и программа большинства лидеров тайных обществ, оставалась буржуазной — ничего социалистического, даже утопически социалистического, мы в ней не найдем. Его аграрный проект ставил своей задачей исключительно *раздробление земельной собственности*, а отнюдь не *уничтожение ее*. „Вся Россия,—говорит он сам о результатах предлагаемой им меры,—будет состоять из одних обладателей земли, *и не будет у нее ни одного гражданина, который бы не был обладателем земли*". Это уважение к частной земельной собственности, даже стремление ее сохранить, и привели

к тому, что его аграрную реформу приходится называть *полу-национализацией*. Один вариант „Русской Правды", касающийся „вольных земледельцев", к которым Пестель причислял казаков, однодворцев, колонистов и т. под., хорошо освещает эту сторону дела. „Ежели необходимым окажется включить в состав общественной собственности частную землю какого-нибудь вольного земледельца, то сей вольный земледелец имеет быть в полной мере за сию землю вознагражден или денежною платою, или выдачею ему в *собственность* из казенных земель такового участка, который бы в ценности своей равнялся участку земли, у него отнятому, все же земли, принадлежащие ныне в частную собственность вольных земледельцев, кои ненужным окажется включить в общественную волостную собственность, имеют оставаться в вечном потомственном владении нынешних своих владельцев на основании общих правил" [1]). Таким образом, острие аграрной революции было направлено исключительно против крупной феодальной собственности (для возникновения крупного буржуазного землевладения, как мы видели, никаких препятствий не ставилось): но „знать" как раз и была главным противником всяких „буржуазных" проектов. Кажущаяся на первый взгляд чистой утопией, программа Пестеля с этой точки зрения получает глубокий *политический* смысл: Пестель едва ли не один из всех декабристов отчетливо сознавал, что, не вырвав почвы из-под ног своего социального противника, смешно мечтать о победе над ним. Но, бессознательно, другие шли по тому же пути. Н. Муравьева Пестель обвинял в том, что тот условиями своего ценза создает „ужасную аристократию богатств". Но присмотритесь к его цензу: какая же тут „аристократия", когда для того, чтобы быть избирателем или присяжным, достаточно было иметь недвижимое имущество ценностью в 5.000 рублей серебром (по тогдашнему курсу около 20.000 рублей ассигнациями), а для того, чтобы иметь доступ ко всем должностям, до самых высших, нужно было владеть недвижимостью не менее, как на 30.000 рублей серебром (120.000 ассигнациями). В более ранней редакции первый ценз был

---

[1]) *Семевский*, цит. соч., стр. 528.

еще ниже — всего 500 рублей серебром. Его повысили, повидимому, с главной целью — оставить за пределами полноправного гражданства пестелевских „вольных земледельцев"—однодворцев, колонистов и им подобных. Но помещики все, до очень мелких, оставались внутри правящего класса: принимая (как это делает Семевский) ценность „души" в 100 рублей серебром, мы получим для первого ценза 50 душ, для второго—300. Коробочки—или их мужья и братья—могли выбирать Собакевичей: какая же тут „аристократия" [1])? *Программа Никиты Муравьева*, взятая с ее социальной стороны, была типичной программой *среднего землевладения*, — того класса, который дал большинство членов тайных обществ. И это тем характернее, что первое из этих обществ было, как мы видели, очень аристократического состава. Оппозиция начала складываться в рядах социальной группы, ближайшей к верховной власти, но здесь она нашла себе мало сторонников. Не найди она себе сочувствия в ближайшем к низу общественном слое, она бы так и замерла, подобно конституционным проектам екатерининской поры. Но теперь средний помещик был не тот, что в 1760-х годах. То, что тогда было кабинетной мыслью стало теперь лозунгом широкого общественного движения.

Наиболее кабинетным кажется *республиканизм* декабристов. Несмотря на формальный монархизм муравьевской конституции (император которой, с его очень условным правом veto и весьма укороченными административными полномочиями—он не мог, например, „употреблять войска в случае возмущения" без согласия народного веча—отличался от президента республики лишь наследственностью своих функций, „для удобства, а не потому, чтобы оно—императорское звание—было в самом деле семейственным достоянием", пояснял автор), в сущности все лидеры

[1]) В 1834 году — очень скоро после эпохи, нами изучаемой, так что данные годятся — в России считали 1.453 помещика, имевших более 1.000 душ каждый (в среднем 2.461 душа на каждого), 2.273, имевших каждый более 500 душ (в среднем по 687), и 16.740, имевших более, нежели по 100 душ (в среднем 217). Эти последние и должны были составить главную массу избирателей по проекту Н. Муравьева. См. *Schiemann*, цит. соч., I, 392 (по Васильчикову).

обоих обществ, „Северного“ и „Южного“, были на стороне республики. На знаменитом заседании „Коренной думы Союза Благоденствия“, в начале 1820 года, только один полковник Глинка „говорил в пользу монархического правления“, все же остальные „приняли единогласно республиканское правление“. Да и Муравьев объяснял появление своего императора единственно желанием—не пугать чересчур вновь вступающих членов. Но дворянская республика может показаться странной нам, а весьма незадолго до начала декабристского движения она была живой действительностью очень недалеко от России: в Польше. Декабристы—тот же Никита Муравьев—очень увлекались северо-американской конституцией, но она тогда признавала даже рабство, и строй южных штатов федерации на практике был чисто аристократический. Если первый пример мог вызвать возражения, со стороны прочности такого строя, то второй должен был замкнуть уста всем возражателям: конституция Соединенных Штатов в те дни, до июльской революции и парламентской реформы в Англии, шла так же далеко впереди всех остальных существующих, как позднее конституция австралийских колоний, например. Если уж она фактически оставляла власть в руках помещиков (чему номинальный демократизм нисколько не мешал), чего же было стыдиться России? Заграничная действительность не давала аргументов против *аристократической* республики: русская действительность восемнадцатого века делала очень легким переход к *республике* вообще. Начиная с Екатерины I и кончая самим Александром Павловичем, русский престол фактически был избирательным; можно было указать лишь на два исключения—государей, восшедших на престол исключительно в силу наследственного права: то были Петр III и Павел I,—нельзя было найти исключений, лучше подтверждавших правило. Зато было не меньше государей, которые не имели никаких прав, как обе Екатерины и Анна, и которые получили эти права из рук „народа“, одетого в преображенские и семеновские мундиры. Роль гвардии, как „избирательного корпуса“, настолько вошла в нравы, что участие гвардейцев в вопросе о престолонаследии сделалось для них, по меткому выражению Шильдера, „своего

рода инстинктом“ [1]). „Я боюсь за успех,—говорил принцу Евгению Виртембергскому петербургский генерал-губернатор Милорадович накануне присяги Николаю Павловичу: — гвардейцы не любят Николая“. „О каком успехе вы говорите,—удивился принц,—и при чем тут гвардейцы?“ „Совершенно справедливо, — ответил Милорадович: — они должны бы были быть здесь не при чем. Но разве они не подавали своего голоса при восшествии на престол Екатерины II и Александра?“ (Более старых примеров Милорадович, очевидно, не помнил.) „Охота к тому у этих преторианцев всегда найдется!“. Достаточно было небольшой европеизации этого „бытового явления“, чтобы притти к мысли об избирательности главы государства вообще: идеи Детю-де-Траси и других республиканских публицистов Западной Европы падали на хорошо подготовленную почву. Но когда люди начинали говорить „по душе“, старые термины и старые образы невольно всплывали в их сознании. „Желая блага отечеству, признаюсь, не был я чужд честолюбия, — писал Ал. Бестужев в своем письме из крепости, исповедуясь перед Николаем Павловичем:— и вот почему соглашался я с мнением Батенкова, что хорошо было бы возвести на престол Александра Николаевича. Льстя мне, Батенков говорил, что как исторический дворянин и человек, участвовавший в перевороте, я могу надеяться попасть в правительную аристократию, которая при малолетнем царе произведет постепенное освобождение России... *я считал себя, конечно, не хуже Орловых времен Екатерины*“.

Практика дворцовых переворотов сделала то, что люди становились республиканцами, сами того не замечая. Целый ряд более мелких фактов, теснее связанных с эпохой возникновения тайных обществ [2]), толкал в том

---

[1]) Шильдер напрасно приписывает свою остроту Милорадовичу: тот, как сейчас увидим, выразился проще.

[2]) Последние шли, как известно, в таком порядке: в 1814 году— «Орден Русских Рыцарей»; в 1816—1817 «Союз Спасения», развернувшийся к 1818 году в более широкий—и почти открытый—«Союз Благодеяния». В 1821 году последний был закрыт, и с этого момента собственно, датируется «заговор декабристов». См. ниже, отдел «14 декабря».

же направлении. Среди них на первое место нужно поставить позорное поведение европейских монархов во время и непосредственно после „освободительной войны". В это время монархический принцип чрезвычайно низко стоял во всей Европе, не исключая и Англии, где представитель этого принципа, принц-регент, не решался иногда показаться на улицах Лондона, боясь, что его забросают грязью: когда Александр Павлович ездил с визитом в Англию, пришлось, как ни было английским придворным совестно, объяснить это деликатное обстоятельство русскому императору; тот засмеялся и поехал к принцу-регенту первый, не дожидаясь его встречи. Но „величественное самоотречение" самого Александра в дни отечественной войны и его хронический абсентеизм позднее, в эпоху конгрессов, не могли не содействовать развитию такого же настроения и в среде русской интеллигенции, и даже полу-интеллигенции: осуждать императора, который Россию „знать не хочет", как мы видели, решались даже торговцы гостиного двора. Памятником этого настроения в русской литературе остался знаменитый Noël Пушкина („Ура! в Россию скачет кочующий деспот..."), который знала наизусть вся читающая Россия, хотя напечатан он был впервые только в 1859 году, и то за границей. Наконец, на последовательное проведение избирательного принципа во всей схеме государственного устройства должен был наталкивать такой будничный факт, как дворянские выборы. Уездный предводитель был выборный, губернский тоже: почему же всероссийскому предводителю не быть также выборным? Между тем с сословной организацией тогдашнего общества политические проекты 20-х годов были связаны гораздо теснее, чем может показаться с первого взгляда. Декабристская конституция носила буржуазный характер; но „великий собор", созыв которого предполагался, как первое последствие удачного переворота, должен был состоять из депутатов по два от *каждого сословия* каждой губернии, то-есть, надобно думать, два от дворянства и два от городского населения, ибо крестьяне не получали равного с другими представительства даже и после, по проектам окончательной конституции. „Возможным полагалось многое уступить,—показывал на следствии

Трубецкой,—исключая, однако же, собрания депутатов из губерний по сословиям". Насколько эта необходимость считаться с существующей дворянской организацией была *общим* мнением, показывает любопытный факт: правительственный проект конституции, составленный Новосильцевым около 1820 года, „государственная уставная грамота Российской империи", дает состав нижней палаты „государственного сейма", очень схожий с составом декабристского „великого собора"; в ней мы также находим представителей от дворянских и городских обществ — только эти последние выбирают не прямо депутатов, а лишь кандидатов в депутаты, известная часть которых утверждается императором. И здесь — помимо слишком явной тенденции—нельзя не видеть влияния той же установившейся практики дворянских выборов: дворянское собрание выбирало, собственно, двух кандидатов в предводители, но из них, по традиции, утверждался тот, кто получал больше голосов.

При всем влиянии буржуазного миросозерцания на декабристов, республика не была, в их проектах, отражением этого влияния. Республиканские взгляды были подготовлены прошлым дворянской России,—и могли сложиться в дворянском кругу совершенно самостоятельно. Республиканизм ультра-аристократических „Русских Рыцарей" является ярким тому доказательством. Когда русская буржуазия, три четверти столетия спустя, выступила со своей собственной политической программой, в этой программе не было республики.

2. 14 декабря.

Существование „тайных" обществ было таким же общедоступным секретом, как в свое время заговор против Павла. По рассказу Н. Тургенева, принятие новых членов происходило до необычайности просто: с предложениями обращались к полузнакомым людям, которых раз—два встретили в гостиных—совершенно так, как предлагают записаться в члены какого-нибудь просветительного или благотворительного кружка. Устав „Союза Благоденствия" в своей организационной части скопирован был с прус-

ского черносотенного „Тугендбунда", который ставил своей задачей быть „среди народа оплотом трона нынешнего властелина Пруссии и дома Гогенцоллернов против безнравственного духа времени", а равно „создавать общественное мнение в низших классах народа, благоприятное для государя и правительства". Возможность такого заимствования в обществе, которое с самого начала задавалось конституционными стремлениями, хотя и „весьма неопределенными", по отзыву Пестеля, показывает насколько сильна была среди тогдашней русской оппозиции националистическая струя: прусский „Союз Добродетели" мог привлекать только своим патриотизмом. Сравнивая два устава, образец и подражание, нельзя не отметить еще одной любопытной черты: Тугендбунд ставил непременным условием для своих членов-помещиков освобождение ими своих крестьян, притом с землею. Декабристы в своих мемуарах впоследствии, и даже уже раньше, в своих показаниях на допросах, очень выдвигали крестьянское дело: но этого обязательства в устав своего „Союза Благоденствия" они, однако, не перенесли [1]). Не мудрено, что откровенный характер „заговора" сделал все его секреты легко доступным правительственным шпионам—и что эти шпионы в то же время не могли сообщить своему начальству ничего, действительно тревожного. Уже летом 1821 г. в руках Александра была обстоятельная записка Бенкендорфа, будущего шефа жандармов Николая Павловича, о тайных обществах. Обыкновенно отмечают сходство этой записки с „донесением следственной комиссии" 1826 г.: еще разительнее то, что она некоторые факты передает вполне согласно с воспоминаниями самих декабристов, притом это относится к фактам, имевшим очень ограниченное число свидетелей. Очевидно, что когда члены-учредители мотивировали формальное закрытие союза в начале того же 1821 г. желанием „удалить ненадежных членов", это не была пустая фраза. Но ни записка Бенкендорфа, ни, еще более раннее, повидимому, знакомство императора с уставом „Союза Благоденствия" — так называемою „Зеленою Кни-

[1]) *Семевский*, назв. сочин., стр. 421—422.

гою"— не произвели на него никакого действия. Александр Павлович слишком много слышал вокруг себя либеральных разговоров со времени своего вступления на престол, чтобы придавать им какое-нибудь значение. Создавая тем временем медленно, но неуклонно, опричнину военных поселений, он чувствовал себя с каждым годом ближе к цели: к тому моменту, когда он, опираясь на „преданного" мужика в военном мундире, сможет игнорировать не только дворянских говорунов, но и любое более серьезное движение. Но, не боясь, он не хотел и раздражать без надобности: члены тайных обществ, большею частью известные Александру по именам, не только не подверглись никаким карам, но сохранили даже свое служебное положение, как ни казалось это странным; император только позволял себе изредка подшучивать над теми из них, кто, увлекаясь сочинением проектов конституции забывал о фронте (так было еще в 1823 году с кн. Волконским). Но уже с 1820 г. квиетизму Александра Павловича пришлось выдерживать жестокие испытания: в январе этого года вспыхнуло восстание Риэго в Испании, в июле разразилась революция в Неаполе, и не успели подавить последнюю, как пришлось иметь дело с новой итальянской революцией, в Пьемонте. Какое значение имела испанская революция для русского движения видно из того, что для декабристов расстрелянный впоследствии Риэго был „святой мученик"; повышенное настроение в Петербурге перед 14 декабря выразилось, между прочим, тем, что в книжных магазинах были выставлены портреты Риэго и его товарища Квироги. А как реагировал на эти известия Александр, видно из указа 1 сентября 1820 года об экстренном рекрутском наборе по 4 человека с 500 душ. Не нужно забывать, что все эти движения носили чисто военный характер: их предводителями были офицеры, а революционной массой являлись солдаты. Пока Александр мог быть уверен, что „нас это не касается", что русские офицеры и солдаты сделаны совсем из иного теста, чем испанские или итальянские, он мог еще быть относительно спокоен: русские войска предполагалось даже использовать на службе „порядка" в Италии, и соответствующий корпус был уже сформиро-

ван. Но осенью того же 1820 г., на конгрессе в Троппау, куда собралась реакционная Европа, чтобы решить, что же ей делать с неумиравшей „гидрой революции", Александр получил известие, разрушавшее последние иллюзии. В ночь с 16 на 17 октября вспыхнули беспорядки в Семеновском полку—том самом, который больше всех содействовал вступлению Александра на престол и был всегда любимым его полком. Все значение „семеновской истории"—в хронологической дате: в спокойное время, когда не было ни тайных обществ, ни военных революций в Европе, история в семеновских казармах дала бы материал для разговора в соответствующих кругах на две недели—не больше. Как известно, движение было чисто солдатским — офицеры, хотя среди них было несколько членов Союза Благоденствия, между прочими один из самых замечательных впоследствии декабристов, С. И. Муравьев-Апостол, никакого участия в деле не принимали. Причины солдатского недовольства были профессиональные, бросающие очень любопытный свет на хозяйственную организацию русской гвардии того времени: в полку было много ремесленников, башмачников, султанщиков и т. д.; их заработки шли в ротную кассу на улучшение солдатского быта—стола, обстановки и т. п. Семеновцы, например, спали на кроватях, а не на нарах, как обычно было в тогдашних казармах. Вновь назначенный, чтобы подтянуть полк, командир, полковник Шварц, стал употреблять эти деньги на улучшение обмундировки, в то же время отнимая у солдат такую массу времени шагистикой, что их ремесленная деятельность была этим крайне стеснена. На такой, чисто экономической, почве возник конфликт, обострившийся благодаря грубости Шварца в личных отношениях: жестоким, по тогдашним, аракчеевским, нравам, его назвать, собственно, было нельзя. Правда, он снова ввел в Семеновском полку исчезнувшие было там телесные наказания, но их применял, например, и Пестель в своем полку: между тем Пестеля солдаты любили, ибо он наказывал только „за дело"; Шварц же дрался без всякого толку. Самый „бунт" вылился в чрезвычайно мирную форму, внушившую Александру Павловичу мысль, что все это—

дело „штатских“ рук. „Внушение, кажется, было не военное,—писал он Аракчееву:—ибо военный сумел бы их заставить взяться за ружье, чего никто из них не сделал, даже тесака не взял“. На самом деле, смирное поведение солдат объяснялось именно тем, что они ни о какой революции ни мечтали: их протест казался им вполне легальным, ибо они знали, что полковой обычай на их стороне, и были убеждены, что Шварца начальство накажет за нарушение этого обычая, как скоро узнает в чем дело. Тот же принцип, что в столкновении начальника с подчиненными ради „престижа власти“ первый всегда должен быть прав, был, очевидно, их простому уму недоступен. Предполагать, что движение было *вызвано* петербургскими „радикалами“, как, повидимому, склонен был представлять себе дело Александр, судя по его разговору на эту тему с Меттернихом, не было ни малейшего основания; но что „радикалы“ могли и хотели бы им *воспользоваться*, это обнаружилось очень скоро. Через несколько дней после семеновского „бунта“ на дворе преображенских казарм была найдена чрезвычайно любопытная прокламация, в форме обращения от семеновцев к преображенцам, но написанная, вне сомнения, не солдатом, хотя и для солдат [1]). Повидимому, нечаянно, из соображений демагогических, автор прокламации стал на единственно правильную, хотя в те дни едва ли кому, кроме Пестеля, сознательно доступную точку зрения: *политический деспотизм* он изображает как орудие *дворянского* господства и, возбуждая солдат к восстанию против самодержавия, он аргументирует от ужасов нового крепостного права. „Хлебопашцы угнетены податьми,—пишет он:—многие дворяне своих крестьян гоняют на барщину шесть дней в неделю. Скажите, можно ли таких крестьян выключить из числа каторжных? Дети сих несчастных отцов остаются без науки, но оная всякому безотменно нужна, семейство терпит великие недостатки; а вы, будучи в такой великой силе, смотрите хладнокровно...“ В связи с этой прокламацией, довольно длинной, имевшей

[1]) Опубликована впервые *Семевским* в журнале «Былое», 1907 г., февраль, с небольшими пропусками из-за цензурных вероятно соображений.

целью, повидимому, только создать известное настроение, стоит другая, коротенькая, где указывались и практические способы переворота: арест всех теперешних начальников и избрание новых „из своего брата солдата". Воззвания вызвали толки среди солдат, и в этих толках поминалась уже „Гишпания". По этому опыту будущие декабристы могли бы судить, какое громадное оружие в их руках: но, повидимому, никто из них, кроме С. Муравьева-Апостола (по догадке Семевского, автора и наших прокламаций), никто из них не умел или не хотел этим оружием воспользоваться. Они продолжали попрежнему рассчитывать на „густые эполеты". Из 121 человека, перечисленных в „донесении следственной комиссии", было 3 генерала, 8 полковников и 17 штаб-офицеров: унтер же офицер в рядах заговорщиков был только один, знаменитый Шервуд-Верный, долгое время считавшийся первым доносчиком на декабристов, хотя в его доносе едва ли было что-нибудь, вовсе неизвестное высшему правительству. Но это последнее считало руководителей тайных обществ хитрее и смелее, чем они были на самом деле. После семеновской истории Александр стал обращать большое внимание на здоровье и настроение гвардейских солдат, затрагивая в этих заботах даже „святая святых" фронтовой дисциплины—телесные наказания [1]). Одновременно с этим он впервые начинает относиться к тайным обществам, как к делу серьезному. Характерный анекдот по этому поводу рассказывает Якушкин. „В 22 году генерал Ермолов, вызванный с Кавказа начальствовать над отрядом, назначенным против восставших неаполитанцев, прожил некоторое время в Царском Селе и всякий день видался с императором. Неаполитанцы были уничтожены австрийцами, прежде нежели наш вспомогательный отряд двинулся с места, и Ермолов возвратился на Кавказ. В Москве, увидев приехавшего к нему М. Фонвизина, который был у него адъютантом, он воскликнул: „Поди сюда, величайший карбонарий!" Фонвизин не знал, как понимать такого рода приветствие. Ермолов прибавил: „Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что *он* вас так

[1]) См. об этом у *Семевского*. «Былое» стр. 91 и 115—117.

боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся". В это время у Александра еще хватало духу шутить над теми, кого увлекали „проекты конституции": но очень знаменательно, что он как раз теперь сам перестает играть в подобные проекты. С безобидным словесным либерализмом он не прочь был заигрывать, и „государственная уставная грамота" была уже готова перед самым семеновским делом. Семеновский бунт убил ее, как и вообще остатки всякого, даже словесного, либерализма в самом императоре. Сближение Александра с такими представителями ортодоксального православия, как Фотий, несомненно, относится к этой же группе явлений: не теперь было ссориться из-за каких-нибудь квакеров или г-жи Крюднер с крупнейшей полицейской силой, которая могла оказаться так полезна именно в случае *народного* восстания. Масонские ложи были окончательно запрещены в то же время: тут также компромиссы были признаны долее невозможными. Но тщетность этих формальных запрещений Александр, конечно, первый сознавал лучше кого бы то ни было другого. Все принятые им меры нисколько не уменьшали его тревоги. От 1824 года сохранилась такая собственноручная его заметка, приводимая Шильдером: „Есть слухи, что пагубный дух *вольномыслия* или *либерализма* разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается и между войсками; что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии. Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Орлов, Дмитрий Столыпин и многие другие из генералов, полковников, полковых командиров; сверх сего большая часть разных штаб и обер-офицеров".

За год до смерти Александр Павлович перестал доверять своей армии. И, нужно сказать, его подозрения скорее отставали от действительности, нежели преувеличивали ее. Из опубликованных теперь показаний Пестеля мы знаем, что в тайных обществах конкурировали между собою два плана переворота. По одному из них моментом для революции избиралась смерть Александра, естественная—ее находили возможным дожидаться, потому что этот план „требовал еще много времени",—но в случае,

если бы Александр не торопился умирать, „и насильственная смерть покойного государя могла оказаться надобной". Местом восстания должен был быть Петербург, а главной его силой—гвардия и флот: как видим, программа 14 декабря была готова заранее, но история не дала необходимой для ее осуществления отсрочки. По другому плану, который Пестель излагает гораздо конкретнее, так что сразу видно, к чему больше лежало у него сердце, все должно было свершиться несравненно скорее. „Другое предположение было следующее: начать революцию во время ожидаемого высочайшего смотра войск 3-го корпуса в 1826 году. Первое действие должно было состоять в насильственной смерти государя императора Александра Павловича, потом издание двух прокламаций: одну войску, другую народу. Затем следование 3-го корпуса на Киев и Москву с надеждою, что к нему присоединятся прочие на пути его расположенные войска без предварительных даже с ними сношений полагаясь на общий дух неудовольствия. В Москве требовать от сената преобразования государства. Между всеми сими действиями 3-го корпуса надлежало всем остальным членам союза содействовать революции. Остальной части южного округа занять Киев и в оном оставаться. Северному округу поднять гвардию и флот, препроводить в чужие края всех особ императорской фамилии и то же сделать требование сенату, как и 3-й корпус". На следствии Пестель называл это предположение „неосновательным"— и ставил себе в заслугу, что он его оспаривал, но, кажется, в действительности споры относились только к *сроку*, назначавшемуся для начатия дела; поведение же на допросе Пестеля достаточно понятно, если мы примем в расчет, что первым пунктом плана было цареубийство. На самом деле, как нельзя более естественно, что „Южное общество", во главе которого стоял Пестель, отдавало инициативу „своим" войскам, а „Северное"—гвардии и флоту, но вооруженное восстание, и при том в близком будущем, готовили оба общества [1]).

---

[1]) Различие между „Северным" и „Южным" обществами было, как известно, чисто организационное, хотя классовой, *помещичий*, оттенок был в планах северян гораздо заметнее; южане были

Неожиданная смерть Александра, раньше всех, даже намечавшихся самыми торопливыми, сроков, спутала все карты. Надо было или выступить немедленно—или отложить выступление на долгие годы, может быть совсем. Рылеев и то жалел, что было упущено восстание Семеновского полка, но теперь ситуация была несравненно благоприятнее. Смерть Александра была полной неожиданностью не только для заговорщиков, но для всех вообще, начиная с членов его собственного семейства [1]). Императору не было пятидесяти лет, и хотя он прихварывал последнее время, как казалось, от случайных причин, в общем его здоровье, закаленное годами походной жизни, не внушало никаких серьезных опасений. Страх перед надвигавшейся революцией, повидимому, подтачивал его сильнее, нежели могли это сделать военные передряги. И только этим страхом, доведшим Александра до своего рода политического паралича, можно объяснить ту странную непредусмотрительность, которую с недоумением отмечают все его историки: он как будто совершенно не интересовался вопросом—что же будет с престолом российской империи в случае его кончины? За отсутствием детей у самого Александра, наследником по закону был второй сын Павла, цесаревич Константин. Но последний пользовался такой репутацией, что никто—начиная с него самого—не мог представить себе его императором. В кондуите этого великого князя был ряд инцидентов совершенно уголовного характера, которые всякого частного человека неминуемо привели бы на каторгу, и все это было

демократичнее. Но члены „Южного" общества имелись и в Петербурге (см. записки Завалишина)—резкой демаркационной черты и здесь провести нельзя.

[1]) Рассказ о том, что Александр не умер, а «ушел» и объявился десять лет спустя в Сибири под видом старца Феодора Кузьмича, имеет значение лишь как образчик психологии, не столько «народной», сколько тех кругов, где рассказ сложился и живет доселе. Никаких документальных данных в его пользу не имеется. Напротив, документов, касающихся предсмертной болезни императора, вскрытия и бальзамирования его тела, перевозки последнего в Петербург—сколько угодно. Для науки, поэтому, существует лишь один факт: Александр I умер в Таганроге 19 ноября 1825 года.

известно в очень широких кругах [2]). Уже в конце первого десятилетия XIX века Константина в семье не считали возможным наследником—и видели такового в следующем брате, Николае Павловиче. Но тот был так мал еще (родился в 1796 году), что и о нем, как императоре, серьезно пока не приходилось думать: Александр Павлович являлся, таким образом, из всей семьи единственным мыслимым носителем короны—что, как мы видели, Коленкур считал лучшей страховкой против повторения 11 марта. В 1823 году положение было оформлено. Удобным поводом являлась женитьба Константина на графине Грудзинской: девушка не из царствующего дома не могла быть русской императрицей—отсюда, не без натяжки, был сделан вывод, что и муж ее не может быть императором. Юридическая почва под этой концепцией была, нужно сказать, очень шаткая: „Учреждение об императорской фамилии" (изданное Павлом 5 апреля 1797 г. и долгое время являвшееся единственным „основным законом" российской империи) не предусматривало казуса. Жаннета Грудзинская, конечно, в нормальном порядке вещей не могла стать императрицей, но ее детям ничто не мешало, юридически, наследовать престол, а тем более ее мужу царствовать. Константин, если бы захотел, мог бы спорить, но он сам шел навстречу сомнительным юридическим доводам своего старшего брата, прекрасно понимая, что нельзя же в манифесте говорить о действительных мотивах его устранения. Но—тут-то и начинается странность, изумляющая всех историков Александра—начатый юридический шаг до конца доведен не был: об устранении Константина Павловича и замене его Николаем опубликовано во всеобщее сведение не было. Не только в народе, но и вообще дальше интимного домашнего круга о перемене никто не знал. В глазах публики наследником оставался Константин Павлович. Когда близкие люди указывали Александру на путаницу, которая почти неизбежно должна возникнуть отсюда в критический момент, Александр воздевал очи к небу и начинал говорить о божественном промысле. С

---

[2] См. *Golovine*, «Souvenirs» (особ. стр. 118) и «Обществ. Движения», I, стр. 439, прим. 1.

индивидуалистической точки зрения для объяснения такого образа действий не остается другой гипотезы, кроме религиозного умопомешательства, но если мы взглянем на поведение Александра Павловича не как на результат свободного самоопределения, а как на продукт сложившейся к данному моменту обстановки, нам и тут, быть может, удастся обойтись без помощи психопатологии. Александр смутно чувствовал—хотя всеми словами он не сказал бы этого даже самому себе—что русское престолонаследие зависело не от актов, которые читаются в церквах и печатаются в официальных журналах, а от соотношения тех неофициальных сил, одну из которых он назвал, в цитированной нами записке, духом „вольномыслия или либерализма". Назначить прямо и открыто наследником Николая Павловича значило нанести этому духу такую пощечину, которой он мог и не стерпеть: это значило, весьма возможно, ускорить ту революцию, которой Александр так боялся. Ибо великий князь Николай, несмотря на свою молодость, был в 1823 году личностью вполне сложившейся и определенной.

Сохранилась история детства, отрочества и юности императора Николая Павловича, написанная современником на основании подлинных документов и прошедшая через высоко-авторитетную цензуру. Автором этого очерка был статс-секретарь Николая, барон Корф, а цензором не кто другой, как император Александр II. Чрезвычайно трудно заподозреть такую работу в пристрастии против изображаемого в ней лица: тем более, что автор, скромно называющий себя лишь „собирателем материалов", действительно, часто ограничивается дословным пересказом своих источников. И вот что, например, узнаем мы от Корфа насчет детских игр Николая,—игр, носивших, конечно военный характер: это было более, чем естественно в сыне Павла и брате Александра Павловича. „Игры эти обыкновенно бывали весьма шумны, о чем постоянно писали все кавалеры в журналах всех годов этого периода, от 1802 и до 1809 года. Поминутно встречаются в них жалобы на то, что великий князь Николай Павлович „слишком груб во всех своих движениях, и его игры почти всегда кончаются тем, что он ранит себя или

других"...; говорят про его страсть кривляться и гримасничать; наконец, в одном месте, при описании его игр, читаем: „его характер столь мало общителен, что он предпочел оставаться один, в совершенном бездействии, чем участвовать в игре. Эта странность могла происходить только от того, что игры его сестры и его брата (Анны Павловны и Михаила Павловича, младших детей Павла, с которыми он воспитывался вместе) ему не нравились,—а он не был способен уступить хотя бы в мелочах"... Кроме того, игры эти редко были миролюбивы. Почти всякий день случалась или ссора, или даже драка: Николай Павлович был до крайности вспыльчив и неугомонен, когда что-нибудь или кто-нибудь его сердили; что бы с ним ни случалось, падал ли он или ушибался, или считал свои желания неисполненными, он тотчас же произносил бранные слова, рубил своим топориком барабан, игрушки, ломал их, *бил палкой или чем попало товарищей игр своих*, несмотря на то, что очень любил их, а к младшему брату был страстно привязан"... [1]). Таков был ребенок: в подростке все эти качества получили дальнейшее развитие. „В продолжение последних лет своего воспитания,—говорит наш автор,—Николай Павлович сохранил всю ту строптивость и стремительность характера, всю ту же настойчивость и желание следования одной собственной своей воле, которые уже и в предыдущий период давали столько забот его воспитателям, и с возрастом эти качества даже еще более усиливались". Его баловство попрежнему носило крайне грубый характер: в 1810 году, уже четырнадцатилетним мальчиком, он, лаская к одному из своих преподавателей, „вдруг вздумал укусить его в плечо, а потом наступать ему на ноги и повторял это много раз". Выучившись играть во „взрослые" игры, на бильярде и в карты, он играл „с прежнею заносчивостью и стремительностью, с прежним же слишком большим желанием выиграть, говорят журналы". Из одного письма его матери, императрицы Марии Федоровны, к двадцатилетнему уже Николаю Павловичу мы узнаем и еще о двух его особен-

---

[1]) Сборн. Русск. Истор. Общ., т. 98, стр. 37—38, цитаты из кавалерских «журналов» в оригинале по-французски; курсив наш.

ностях: привычке кстати и некстати возвышать голос и грубом тоне; и того и другого императрица советовала „безусловно избегать"; не видно, однако, чтобы совету последовали. Если прибавить к этому привычку не слушать других, безапелляционно заявляя свои мнения о чем угодно („какой дурак!", было сказано об одном греческом философе, взгляды которого преподаватель великого князя охарактеризовал, как ошибочные), и наклонность удивлять этих других остротами и каламбурами, которым говоривший смеялся первый (и часто, надо думать, в полном одиночестве)—*моральный* портрет получится довольно полный. Последние черты дают уже переход и к *интеллектуальной* стороне. О ней не трудно догадаться; один из цитированных журналов в двух словах резюмирует дело: великий князь, говорится здесь, „мало размышляет и забывает самые простые вещи". Между тем механизм памяти у Николая был великолепный: что входило в эту голову, сидело в ней прочно; задача была в том, как туда что-нибудь ввести. О трудностях задачи дают представление подлинные уже слова Николая Павловича. Рассказав Корфу, как его, Николая, в юности мучили „мнимым естественным правом" и „усыпительной политической экономией" (ее читал ни более; ни менее, как знаменитый Шторх), император продолжал: „И что же выходило? На уроках этих господ мы или дремали или рисовали какой-нибудь вздор, иногда собственные их карикатурные портреты, а потом к экзаменам выучивали кое-что вдолбяшку, без плода и пользы для будущего". Что ни „плода, ни пользы" не было, этого не могли скрыть самые лойяльные люди: „суди сам",—ответил Жуковский на вопрос одного своего приятеля, чего можно ждать от Николая:—я никогда не видал книги в его руках; единственное занятие—фрунт и солдаты". Зато „необыкновенные знания великого князя по фрунтовой части нас изумили", рассказывает Михайловский-Данилевский (известный впоследствии „сочинитель" истории отечественной войны)—рассказ относится как раз к 1825 году. „Иногда, стоя на поле, он брал в руки ружье и делал ружейные приемы так хорошо, что вряд ли лучший ефрейтор мог с ним сравняться, и показывал также барабанщикам, как им надлежало бить.

При всем том его высочество говорил, что он в сравнении с великим князем Михаилом Павловичем ничего не знает: каков же должен быть сей?—спрашивали мы друг друга".

До 1818 года Николай, по собственному заявлению, „не был занят ничем". В этом году, двадцати двух лет от роду, он начал свою деловую жизнь—будучи назначен командиром одной из гвардейских бригад. Что произошло при первом его соприкосновении с житейской практикой; как принял он открывшуюся перед ним действительность, и как эта последняя должна была встретить его—пусть расскажет он сам. Извиняемся перед читателем за длинную выписку; но здесь весь Николай. Страницы не жалко, чтобы показать во весь рост эту, во всяком случае крупную, фигуру. „Я начал знакомиться со своей командой и не замедлил убедиться, что служба везде шла совершенно иначе, чем слышал волю государя, чем сам полагал, разумел ее, ибо правила были в нас твердо влиты. Я начал взыскивать—один, ибо что я по долгу совести порочил, дозволялось везде, даже моими начальниками. Положение было самое трудное; действовать иначе было противно моей совести и долгу; но сам я ставил и начальников, и подчиненных против себя, тем более, что меня не знали и многие или не понимали, или не хотели понимать. Корпусом начальствовал тогда генерал-адъютант Васильчиков; к нему я прибег, ибо ему поручен был, как начальнику, матушкою; часто изъявлял ему свое затруднение; он входил в мое положение, во многом соглашался и советами исправлял мои понятия. Но сего недоставало, чтобы поправить дело; даже решительно сказать можно, не зависело более от генерал-адъютанта Васильчикова исправить порядок службы, распущенный, испорченный до невероятности с самого 1814 года, когда по возвращении из Франции гвардия осталась в продолжительное отсутствие государя под начальством графа Милорадовича. В сие-то время и без того уже расстроенный трехгодовым походом порядок совершенно расстроился, и, к довершению всего, дозволено было офицерам носить фраки. Было время (поверит ли кто сему?), что офицеры езжали на учение во фраках, накинув на себя шинель и надев форменную шляпу! Подчиненность исчезла и сохранялась

только во фронте; уважение к начальникам исчезло совершенно, и служба была—одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы поневоле, дабы только жить со дня на день. В сем-то положении застал я мою бригаду, хотя с малыми оттенками, ибо сие зависело от большей или меньшей строгости начальников. По мере того как начал я знакомиться с своими подчиненными и видеть происходившее в других полках, я возымел мысль, что под сим, то-есть военным распутством, крылось что-то важнее, и мысль сия постоянно у меня оставалась источником строгих наблюдений. Вскоре заметил я, что офицеры делились на три разбора: на искренно усердных и знающих, на добрых малых, но запущенных, и на решительно дурных, то-есть говорунов дерзких, ленивых и совершенно вредных; сих-то последних гнал я без милосердия и всячески старался оных избавиться; что мне и удавалось. Но дело сие было не легкое, ибо сии-то люди составляли как бы цепь через все полки, и в обществе имели покровителей, коих сильное влияние сказывалось всякий раз теми нелепыми слухами и теми неприятностями, которыми удаление их из полков мне отплачивалось“ [1]).

Итак, пока между либеральным офицерством шли споры о том, быть ли будущей России цензовой монархией или демократической республикой, нашелся человек, сумевший стать на совершенно оригинальную точку зрения: он заметил, что все споривше „говоруны“, без различия оттенков, были во фраках. Вот где, если не корень, то наиболее очевидный симптом зла: вы чувствуете, как близки мы к павловской униформе, обязательной для всех „жителей“ без изъятия. Нет только павловского безумия, но тем положение было опаснее; именно безумие делало Павла столь уязвимым,—будь он в здравом уме и твердой памяти, он мог бы процарствовать те же тридцать лет, что и его третий сын. И вы чувствуете также непримиримость конфликта. Офицер-заговорщик мог знать службу не хуже Николая Павловича (вероятно, даже лучше иногда:

---

[1]) Из собственноручных записок Николая о 14 декабря—см. *Шильдера*: «Николая I», стр. 149—150.

декабристу Фонвизину отдавали на поправку „запущенные" полки): но требовать от него, чтобы он все свои помыслы обратил на то, как бы побить рекорд „лучшего ефрейтора" по части ружейных приемов, было напрасным трудом; вне фронта он всегда оставался бы „человеком во фраке"—интеллигентом, по-теперешнему. Но интеллигенция и Николай—это были огонь и вода: чтобы один мог жить, другая должна была умереть или, по крайней мере, замереть на время. Мы видим, как был прав император Александр, если он, как можно догадываться, *боялся* провозгласить Николая своим наследником,—боялся, что это одно вызовет немедленный взрыв революции. На развалинах расстрелянного картечью бунта можно было сказать всей передовой части общества: оставьте всякую надежду; но и то Николай решился на это не сразу—и у него был период чего-то вроде компромисса, как мы увидим. Сказать же это *перед* бунтом—значило прямо произвести пробу, кто будет стрелять лучше. У Александра Павловича не хватило на это духа. Не хватило на это духа и у „русского Баярда", весьма плохо исполнявшего тогда обязанности петербургского генерал-губернатора, генерала Милорадовича. Подозревать этого, немного театрального, „героя" отечественной войны в нелойяльности у нас нет оснований. К „людям во фраке" он, конечно, не принадлежал; но настроение войск он знал хорошо, и когда Николай Павлович, по получении известия о смерти старшего брата, заговорил, повидимому, о своих правах — Милорадович решительно отказался ему содействовать. „Сами изволите знать, вас не любят", категорически заявил он будущему императору.

Великий князь Николай должен был весьма живо почувствовать, что значит „фактическое соотношение сил". Он, как и вся царская семья, прекрасно знал, что существует, хотя и неопубликованный, но как нельзя более подлинный, подписанный Александром I, манифест, назначающий наследником его, Николая [1]). Но император

---

[1]) Впоследствии официальная традиция, чтобы изгладить малопочетное для Николая Павловича воспоминание, усвоила версию, согласно которой он ничего не знал будто бы о манифесте. Несосто-

Александр был теперь мертв, и с телом его бальзамировщики обращались, „как с куском дерева", по выражению одного очевидца. Воля живого генерала, самодовольно объяснявшего всем, желавшим слушать, что у него „шестьдесят тысяч штыков в кармане", была сильнее воли мертвого императора. Это, молчаливо и косвенно, признал даже государственный совет, в первую минуту пытавшийся проявить что-то вроде самостоятельности. Когда Милорадович объявил свою „волю" и здесь, с ним не стали спорить, как не стал с ним спорить Николай Павлович. Твердым военным шагом он первый отправился присягать императору Константину, а за ним пошли члены государственного совета. На следующее утро в окнах книжных и эстампных магазинов Петербурга красовались уже портреты Константина I. Теснившаяся перед портретами публика, успевшая позабыть физиономию цесаревича, избегавшего столицы, дивилась разительному сходству нового государя с Павлом, на ухо рассказывала друг другу скандальные анекдоты о Константине, но в общем считала все происходившее вполне нормальным и сама относилась к нему нормально: дальше тесного придворного круга никто не знал ни об отречении Константина, ни о происходившей во дворце глухой борьбе. Не иначе отнеслись к делу, в первую минуту, и члены „Северного" общества. „Накануне присяги все наличные члены общества собрались у Рылеева,—рассказывает Оболенский.—Все единогласно решили, что ни противиться восшествию на престол, ни предпринять что-либо решительное в столь короткое время было невозможно. Сверх того, положено было, вместе с появлением нового императора, действия общества на время прекратить. Грустно мы разошлись по своим домам, чувствуя, что надолго, а может быть, и навсегда, отдалилось осуществление лучшей мечты нашей жизни!"

Положение Константина Павловича было необыкновенно сложно. С одной стороны, он был осведомлен о существо-

---

ятельность этой версии превосходно доказана Шиманом,—но действительную связь фактов понимал уже Шильдер, в ближайше же осведомленных кругах никогда и сомнений на этот счет не было.

вании планов тайных обществ во всяком случае не хуже Александра: но, само собою разумеется, отношение к ним его, в силу объективных условий „оппозиционного" великого князя, было иное, нежели царствующего императора; тот боялся—этот, напротив, мог надеяться... Декабрист Завалишин передает со слов другого члена тайного общества, Лунина, что цесаревич имел с последним продолжительные беседы, в которых титуловал, между прочим, Пестеля по имени-отчеству: Павел Иванович. Из этих бесед Лунин вынес впечатление, что на Константина, в известном смысле, можно до некоторой степени рассчитывать Записки Завалишина—довольно мутный источник, но что Константин после 14 декабря долгое время не выдавал Николаю Лунина под разными предлогами (по словам Завалишина, давая ему тем временем полную возможность скрыться за границу), это вполне подтверждается опубликованной в недавнее время перепиской братьев [1]). Натура глубокодеспотическая, Константин Павлович, товарищ по воспитанию Александра, не чувствовал, однако же, принципиального отвращения к внешним формам свободной жизни, как Николай. В Польше, где он стоял с войсками с 1814 года, он мог привыкнуть к конституционной обстановке,—и уже самый факт женитьбы на простой польской дворянке указывал на некоторую эмансипацию цесаревича от традиций Зимнего дворца. Если кого из царской фамилии можно было представить себе в роли „императора" муравьевской конституции, то скорее его, чем Николая или даже Михаила Павловичей. Декабристам, по крайней мере некоторым, кажется, не чужда была мысль английских вигов XVII века насчет того, что „дурное право делает короля хорошим". Ради этого, быть может, стоило перешагнуть через прошлое Константина. Но в этом прошлом было нечто такое, через что ему самому перешагнуть было морально невозможно: как-никак, в 1823 году он формально отрекся от престола в пользу младшего брата. Существовало его письмо на этот счет, хранившееся вместе с таинственным манифестом. В семье все об отре-

[1]) В 131 *томе Сборника Русск. Историч. Общ.* «Переписка императора Николая I с цесаревичем Константином Павловичем».

чении знали: с какими глазами явился бы он к матери императрице Марии Федоровне? Какое впечатление получилось бы, если бы противная сторона опубликовала этот документ? Константин мог стать царем только «волею народа"—в гвардейских мундирах: эта воля могла стушевать и худшие правонарушения. Константин понимал, что присяга, данная людьми, не знавшими ничего о его отречении, не могла равняться такому волеизъявлению: ему нужно было нечто вроде переизбрания. К этому, в сущности, он и вел: не отрицая фактов, имевших место в 1823 году, даже подтверждая их, он, при всех настояниях Николая, отказывался дать одно—свое отречение *уже как императора*. Великий князь Константин, под давлением со стороны старшего брата, подписал в 1823 году отречение: это верно; но подтверждает ли его император Константин I теперь, когда никакого давления нет: на этот счет из Варшавы не было никакого ответа. Письма обоих братьев переполнены изъявлениями верноподданнической преданности их друг другу, но никакого документа, который уполномочил бы Николая действовать, он в руках не имел. Перед семьей Константин был совершенно чист; он не позволял называть себя „величеством", не принимал донесений, адресуемых ему, как государю и ждал, что будет дальше. Для товарищей Лунина создавалась ситуация, благоприятнее которой трудно себе что-нибудь представить, и они тотчас же это поняли. „На другой же день весть пришла о возможном отречении от престола нового императора,—продолжает Оболенский.—Тогда же сделалось известным и завещание покойного и вероятное вступление на престол великого князя Николая Павловича. Тут все пришло в движение, и вновь надежда на успех блеснула во всех сердцах. Не стану рассказывать о ежедневных наших совещаниях, о деятельности Рылеева, который, вопреки болезненному состоянию (у него открылась в это время жаба), употреблял всю силу духа на исполнение предначертанного намерения—воспользоваться переменою царствования для государственного переворота".

Но „междуцарствием" воспользовались не одни заговорщики. „Между тем как занимали внимание публики новым императором (Константином),—рассказывает другой

близкий к Рылееву человек, Штейнгель,—экстра-почта, приходившая ежедневно из Варшавы в контору Мраморного дворца, принадлежавшего цесаревичу, была от заставы препровождаема в Зимний дворец и тут вскрываема. Хотели из частных писем знать, что там делается.—Приказано было солдат не выпускать из казарм,—даже в баню, и наблюдать строго, чтобы не было никаких разговоров между ними. Полковым и батальонным командирам лично было сказано, чтобы на случай отказа цесаревича приуготовили людей к перемене присяги. Обещано генерал-адъютантство и флигель-адъютантство" [1]). Тактика Николая Павловича была та же, что и его противников: старались привлечь на свою сторону „густые эполеты". Но у Николая средств привлечения было больше. Даже иные члены тайного общества—как Шипов, командир Семеновского полка—не устояли перед соблазном: чего же было ждать от дюжинных карьеристов? Нам неизвестно, какие приемы были пущены в ход по отношению к Милорадовичу, но уже очень скоро хозяин „шестидесяти тысяч штыков" стал говорить о восшествии на престол Николая, как о деле возможном, хотя и не ручался за его успех. Окончательно закрепил перевес Николая случай, который всегда холопски служит более сильному. Нашелся предатель, если не среди самих участников заговора, то очень близко к ним: Ростовцев, которого считали своим, который все видел и знал, отправился накануне решительного дня к Николаю и рассказал ему—не так много, чтобы это можно было назвать формальным доносом, но достаточно, чтобы Николай был предупрежден. Будущий председатель редакционных комиссий объяснял свой поступок самыми возвышенными мотивами,—но нельзя все же совсем забывать (как это не прочь была сделать либеральная историография), что с этого возвышенного поступка началась карьера Ростовцева. Николай был уже настороже: днем раньше на его письменном столе уже лежали свежие и подробные сведения о деятельности тайных обществ, присланные из Таганрога: результат совместной работы целых

[1]) «В период времени с 14 декабря до Нового года назначены были 20 новых генерал-адъютантов и 38 флигель-адъютантов». *Шильдер*, «Николай I», т. I, стр. 356.

трех провокаторов, один из которых, Майборода, был весьма близок к Пестелю. Николай хорошо знал уже, что делается в армии—Ростовцев дал понять, что и в Петербурге то же, и, что было еще важнее, предупредил, *когда* можно ждать удара. Рылеев и его товарищи выбрали, как момент выступления, вторичную присягу, уже Николаю Павловичу: Николай считал теперь почву достаточно подготовленной и решился 14 декабря закрепить свое право, использовав, как мог лучше, семейную лойяльность цесаревича Константина. Что он идет на coup d'état, Николай понимал прекрасно: но ему приходилось выбирать между государственным переворотом сверху и революцией снизу; в смысле личной опасности это было одно и то же—и то, и другое одинаково могло стоить головы. „Послезавтра поутру я или государь, или без дыхания"—этой знаменитой фразой Николай, в сущности, поставил себя на одну доску со своими противниками: те шли завоевывать республику, этот шел на приступ императорской короны. Дело решилось тем, чья сабля острее: но это была лишь его военная сторона, а в основе тут, как и всюду, лежала сторона *социальная*. При тактике заговорщиков и Николая—одинаковой, как мы видели—вопрос решали гвардейские верхи. Но они не только из-за генерал-и флигель-адъютантства были на стороне „порядка", т.-е. на стороне coup d'état; то была кость от кости и плоть от плоти той самой „знати", которая прочно держала власть в своих руках все время—особенно прочно с того момента, как Александр капитулировал перед нею в 1810 году. Когда вы просматриваете списки бойцов за „правое дело" против „бунта" декабристов, вас поражает изобилие остзейских фамилий: Бенкендорфы, Грюнвальды, Фредериксы, Каульбарсы мелькают на каждой странице. Самая феодальная часть российского дворянства оказалась наиболее преданной Николаю. А на противоположной стороне из блестящих рядов „знати" 14 декабря, сиротливо и конфузливо, стоял один князь Трубецкой—видимо, чрезвычайно смущенный прежде всего тем, что он попал не в свое общество. Ибо нельзя же объяснить невозможное поведение этого „диктатора" только его трусостью: все же он был солдат, и в нормальной для него обстановке су-

мел бы, по крайней мере, не спрятаться. Но его участие в заговоре именно было ненормальностью, поразившею, прежде всего другого, его врагов. „Гвардии полковник! князь Трубецкой! как вам не стыдно быть вместе с такою дрянью?"—были первые слова Николая, когда к нему привели пленного „диктатора". Что нужды, что среди этой „дряни" были носители исторических фамилий, как Бестужевы: они давно выпали из рядов „правительной аристократии", у них были не тысячи, а только сотни душ и в глазах императора Николая или даже какого-нибудь графа Чернышева эти „обломки игрою счастия низверженных родов" были не выше, чем в их собственных глазах—их унтер-офицеры.

С точки зрения Зимнего дворца восстание 14 декабря было чуть не демократической революцией, а оно менее всего желало ею быть, и в этом была его ахиллесова пята. Чтобы понять, что в этот день в Петербурге действительно начиналась первая русская революция, нет надобности обращаться к воспоминаниям самих декабристов: пусть они будут пристрастны. Возьмите записки лояльнейшего из немцев, родного племянника императрицы Марии Федоровны, принца Евгения Виртембергского, когда-то кандидата на российский престол по капризу Павла, а под конец рядового русского генерала. Он ничего не понимал в происходившем движении, он только добросовестно рассказывает то, что видел своими глазами. Утром в день восстания он „усердно предавался" добродетельнейшему занятию—писал письмо к своей матери,—когда в его комнату вбежал встревоженный его адъютант. „Встав (из-за письменного стола), я взглянул на дворцовую площадь, по которой проходили группы солдат со знаменами—я принял их за возвращающихся после присяги. А вокруг них теснилась необозримая толпа народа, из которой доносился дикий рев—нельзя было понять, был ли это знак радости или выражение неудовольствия". Сбежав вниз, принц нашел на площади Николая, окруженного густой толпой „черни", которой новый император пытался объяснить „обстоятельства своего восшествия на престол". Принцу картина показалась чрезвычайно дикой и неприличной—он поспешил уговорить своего кузена сесть на

лошадь и, отдав необходимые распоряжения (между прочим, забаррикадировать все входы и выходы из дворца), сам последовал за ним на Сенатскую площадь. Выполняя известный нам план, заговорщики решили захватить сенат, чтобы сделать из него юридический центр переворота: называли и двух-трех сенаторов, на которых они могли бы рассчитывать. То, что Николай был предупрежден, испортило, в числе прочего, и этот шаг—сенат в полном составе с раннего утра был собран во дворец. Перед зданием сената принц Евгений увидал „кучку солдат, человек в 500; около нее было несколько озабоченных и, повидимому, вооруженных людей в статском платье [1]), *и волнующаяся густая толпа народа разных классов покрывала всю Исаакиевскую площадь и все прилегающие к ней улицы*". Относительно настроения этой толпы не могло быть сомнений: командира гвардейского корпуса Воинова она было стащила с лошади; в самого принца Евгения бросали снежками—а когда конная гвардия вздумала атаковать каре инсургентов, в нее полетели камни и поленья, гораздо больше способствовавшие отражению атаки, нежели слабый ружейный огонь декабристов, стрелявших (и по признанию принца Евгения, между прочим) больше в воздух: в конной гвардии, как и во всех полках, были члены тайного общества, и последнее не теряло еще надежды иметь полк на своей стороне. Вообще, принц был поражен незначительностью сил, какими мог располагать новый император: кроме батальона преображенцев, не было видно никакой пехоты; артиллерия была в пяти верстах, а когда наконец, привезли пушки, то не оказалось снарядов; конногвардейцы и кавалергарды производили какие-то неопределенные движения, для которых один из официальных историков события должен был придумать термин „атакообразные"—попросту говоря, они избегали серьезного столкновения, как избегали ввязываться в него и их противники. И так дело продолжалось с рассвета до сумерек короткого декабрьского дня. К этому времени артиллерия

---

[1]) «Прибыв на площадь вместе с приходом Московского полка, я нашел Рылеева там,—пишет Оболенский.—Он надел солдатскую суму и перевязь и готовился стать в ряды солдатские».

Николая получила, наконец, порох и картечь, а остзейское офицерство решилось проявить инициативу: по совету остзейца Толя картечь была пущена в ход [1]); от нее пострадала прежде всего восставшая толпа: первый выстрел был дан по крыше сената, откуда бомбардировали поленьями конную гвардию; лишь второй и следующие были направлены в каре, но и в окружавший его народ также: „штатских" полегло не меньше, нежели солдат восставших полков. Толпа на „предметном уроке" увидела, кто сильнее: на другой день о революции напоминали только усиленные караулы вокруг Зимнего дворца и на его лестницах и коридорах; в городе было мертвое спокойствие.

Можно ли объяснить случайностью тот факт, что декабристы „простояли" революцию? Ее шансы были очень велики—одного маленького факта достаточно, чтобы видеть, что́ можно было бы сделать, если бы не бояться народного движения. Н. Бестужев рассказывает, что после первой присяги (Константину) он с братом Александром (Марлинским) и Рылеевым „положили-было писать прокламации к войску и тайно разбросать их по казармам; но после, признав это неудобным, изорвали несколько исписанных уже листов и решились все трое итти ночью по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав завещания покойного царя, в котором *дана свобода крестьянам* и убавлена до 15 лет солдатская

[1]) Николай, в своих воспоминаниях, приписывает эту сомнительную честь Васильчикову. Но воспоминания Николая, вообще, не являются очень надежным источником. Их основная тенденция—показать, что были исчерпаны «все меры кротости», прежде чем пущено было в ход оружие. Согласно с этим, атака конногвардейцев, например, изображается, как одно из последних решительных действий, предшествовавших канонаде. Между тем, и декабристы (бывший все время на площади М. Бестужев), и их противники (эскадронный командир конной гвардии Каульбарс) сходятся в том, что атак в течение дня было *несколько*—все одинаково неудачные. Другая отличительная черта «воспоминаний»—явное стремление затушевать роль *немцев* в усмирении восстания: называются, по возможности, «истинно-русские» имена. Например, о присутствии принца Евгения по рассказу Николая нельзя и догадаться—но зато тщательно отмечено, что посланного с каким-то поручением рейткнехта (конюха) звали Лондырев. «Народность обязывала...»

служба... Нельзя представить жадности, с какою слушали нас солдаты; нельзя изъяснить быстроты, с какою разнеслись наши слова по войскам: на другой день такой же обход по городу удостоверил нас в этом". Но это был единственный и, как читатель видит, довольно неуклюже поставленный опыт. Систематически пропагандой среди солдат занимался только С. И. Муравьев-Апостол, действовавший на юге, но в его „православном катехизисе" как раз отсутствуют социальные мотивы; если он же был автором знакомой нам прокламации к преображенцам, остается удивляться, как скоро он забыл то, что ему так ясно представлялось в 1820 году. И эта забывчивость тоже могла быть не случайной. Одно место из записок Штейнгеля лучше длинных рассуждений покажет нам, как смотрел на вопрос *средний* декабрист. „Один из непринадлежащих к обществу, но знавший о нем с 1824 года, хотя и неопределенно, по одной дружеской доверенности Рылеева (такой густой вуалью Штейнгель прикрывает... самого себя), представлял ему, что *в России революция в республиканском духе еще не возможна: она повлекла бы за собою ужасы. В одной Москве из 250 т. тогдашних жителей 90 т. было крепостных, готовых взяться за ножи и пуститься на все неистовства.* Поэтому он советовал, если хотят сделать что-нибудь в пользу политической свободы... то уж *лучше всего прибегнуть к революции дворцовой*"... Дворяне 1825 года очень не прочь были бы итти по стопам своих предков 1762 и 1801 годов. Но та часть дворянства, которая твердой ногой стояла во дворце и *могла* сделать переворот, *не хотела* той свободы, о которой мечтали декабристы. А к тем, кто мог им помочь, они *не смели* обратиться. В этом роковом кругу и задохнулся заговор, недостаточно аристократический для дворцового переворота и слишком дворянский для народной революции.

ОГЛАВЛЕНИЕ III ТОМА.

Стр.

ГЛАВА XI.

Монархия XVIII века.

1. Бироновщина.

Анна и шляхетство: предполагаемые „уступки"; к чему, в сущности, они сводились? торжество петровской традиции. 3
Кабинет, как преемник верховного тайного совета. 7
Придворные нравы; Бирон; Остерман 8
„Русские" и „немцы"; в чем был объективный смысл националистической реакции? 13
Бироновщина и английский капитализм 15
Националистическая реакция и дворянский заговор; осадное положение правительства Анны; дело Долгоруких 19
Англо-французское соперничество и его отражение на русских делах; дворянский заговор и французская интрига; кандидатура Елизаветы Петровны; Lettres Moscovites и дело Волынского 24
Шведский проект: договор царевны Елизаветы со Швецией 30
Крушение бироновщины 33

2. Новый феодализм.

Военный характер нового царствования: лейб-компания; Елизавета—„полковница". Лагерные нравы двора 35
Дворянский режим; роль сената 40

Стр.

Пережитки бироновщины; Россия и Англия при Елизавете Петровне: Лесток; Бестужев; вел. княгиня Екатерина Алексеевна 43
Переворот 28 июня 1762 г., как окончательная ликвидация „бироновщины" 52
Внутреннее управление; деятельность сената; служебные льготы дворянству; финансовая политика Шувалова 53
Новый феодализм в деревне: вотчина-государство. 60

3. Теория сословной монархии.

Политическая теория нового феодализма; олигархические тенденции и необходимость дворянской самообороны . . 66
Предшественники екатерининского монаршизма; Салтыков и Волынский 68
Значение Монтескье; *Дух Законов* и *Наказ* Екатерины II; роль, которую приписывают этому последнему, и его действительное значение 70
Дворянские проекты 1767: центральная власть; местное самоуправление; „петровская традиция": к чему она сводилась на практике? 76
Политические привилегии, неприкосновенность дворянской личности 82
Экономические привилегии дворянства; Ярославский наказ. 83
Вопрос о гарантиях, проекты Щербатова 87

Стр.

4. Денежное хозяйство.

Распространенное мнение о „натуральном хозяйстве“ русских феодалов XVIII века. Ошибочность этого мнения: отзывы современников; проекты Вольного Экономического Общества; роль денег в личном хозяйстве помещика. 90
Условия перехода к денежному хозяйству; относительное перенаселение центральной России 92
Экономическое разложение феодальной деревни; земледельческий и неземледельческий отход во второй половине XVIII века 97
Индустриализация крепостного имения; домашняя промышленность, ее размеры; крепостная мануфактура 100
Помещичьи винокурни; дворяне-горнозаводчики 106
Зачатки аграрного капитализма в крепостной деревне: пенька; хлеб; турецкие войны и хлебный вывоз; внутренний хлебный рынок 109
Хлебные цены; их рост в конце века; влияние этого факта на дальнейшее разложение деревни; крушение эмансипационных планов; интенсификация барщины; плантационное хозяйство 116

5. „Домашний враг“.

Непрочность положения Екатерины II в первые десять лет ее царствования; попытки дворянского заговора; пугачевщина кладет им конец . . 129
Пугачевщина и разинщина; различие экономических условий. 132
Пугачевщина как ответ на интенсификацию барщины; горнозаводские крестьяне; их положение, их волнения; „Петр III“ на Урале 133
Тактика уральского движения; карательные экспедиции и их результаты 139
Движение яицких казаков; денежное хозяйство и классовая борьба среди уральского казачества; роль в этой борьбе Петербурга 143
Пугачев и его предшественники; начало его карьеры; особенности тактики уральских казаков в 1773 г.; военная роль горнорабочих: пугачевская артиллерия 146
Регулярные войска на службе Пугачева: башкиры и крепостные крестьяне; опасения за „фабричных“. Пугачев и духовенство. 151
Дворянская паника, паника в Петербурге и „секретная комиссия“; Екатерина и Павел. 158
Политические ошибки Пугачева; их причины; он теряет время; действия Бибикова . . 161
Роль Панина; правительственный террор; Екатерина и дворянство в конце пугачевщины. 165

6. Централизация крепостного режима.

Административные уроки пугачевщины: „умножение“ местных „правительств“, наместники 167
Центральная полицейская диктатура; Потемкин; особенности его „фавора“, его военные реформы; его церковная и социальная политика . . . 169
Отношение к Потемкину екатерининского дворянства; характеристика нового режима у кн. Щербатова 173
Вырождение потемкинского режима; Зубов 176
Павел Петрович, как продолжатель Потемкина и Зубова; безграничное расширение полицейской диктатуры 179
Крестьянская политика Павла; история указа о трехдневной барщине 182
Павловская демагогия; „желтый ящик“; льготы общественным низам; Павел и раскольники, Павел и дворянство 185
Патологические черты павловского режима; неизбежность катастрофы 189

Стр.

ГЛАВА XII.

Александр I.

1. 11 марта 1801 г.

Дворянское движение начала XIX века как реакция против полицейской диктатуры; 11 марта 1801 г. и 14 декабря 1825 г. 192
Экономические условия дворянской революции 1801 г.; внешняя политика Павла и первый заговор против него . . 195
Второй заговор; полиция знати; Пален и Беннигсен; участие великих князей и императрицы 197
Гвардия; офицерство и солдаты; отношение последних к Павлу; влияние этого на катастрофу 201
„Народное ликование"; поворот во внешней политике 203

2. „Молодые друзья"

Александр Павлович и его кружок; отсутствие самостоятельности, зависимость от екатерининской традиции; „молодые друзья" как представители крупнейшего землевладения; индиферентизм среднего помещика к „реформам"; роль самого императора. . . 206
Внешняя политика Александра до Тильзита; влияние Чарторыйского; влияние Англии. . 213
Внешние неудачи и петербургское общество: начало разрыва между Александром и „знатью" 217

3. Континентальная блокада и дворянская конституция.

Экономические результаты Тильзита; положение „знати" становится безысходным; лондонская брошюра и разрыв Александра с молодыми друзьями". 220
Значение Сперанского; интересы крупной буржуазии; континентальная блокада и развитие русского капитализма . 226

Стр.

Сперанский и франко-русский союз; разрыв последнего и катастрофа Сперанского. . . 231
Объективные условия деятельности Сперанского и его идеология; проект *буржуазной* конституции; уступки действительности; роль дворянства в проекте 234
Отношение Александра к конституционным проектам: особенности его положения в 1810 году; близость „катастрофы"; неизбежность мира со „знатью", Государственный Совет. 238
Победа „знати" и падение Сперанского; роль Армфельда . . 241

ГЛАВА XIII.

Декабристы.

1. Тайные общества.

Двенадцатый год: поведение „знати"; личная роль Александра I 249
Война и дворянская оппозиция; Растопчин и „мартинисты"; „Русские Рыцари"; проект республиканской конституции. 253
Отражение войны на декабристов: *национализм* д-ов . . . 257
Профессиональные черты движения: офицерство и военные поселения. 260
Оппозиционное настроение широких дворянских кругов; двусмысленность положения русского помещика начала XIX века: денежное хозяйство и крепостное право. Декабристы и крестьянский вопрос: опыт Якушкина. 262
Буржуазные черты движения: конституционные проекты декабристов: отношение к движению современной русской буржуазии; идеология буржуазии 20-х годов. 267
Идеолог буржуазной демократии Пестель и его „Русская Правда" 272
Республиканизм декабристов; его не-буржуазное происхождение; заграничные примеры; влияние дворянской традиции. 275

Стр.

2. 14 декабря.

Тайные общества и Александр I; влияние западно-европейских революций; семеновская история, проекты переворота . . 279
Смерть Александра; вопрос о престолонаследии 287
Николай Павлович 289
Николай и либеральное офицерство; влияние гвардии на решение вопроса о престолонаследии; роль Константина . 293
Подготовка к coup d'état, с одной стороны, вооруженного восстания, с другой: тактика обеих сторон: Ростовцев; социальная подкладка конфликта 297
Народное движение 14 декабря: отношение к нему декабристов; причина их неудачи 300

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА.

Гусев, Н. и Сидоров, Н. Синтаксис русского языка. Ц. 60 к.
Державин, Н. С. Маленькая грамматика. Ц. 75 к.
Его-же. Учебник русской грамматики. Опыт научно-элементарного курса. Ц. 75 к.
Петров, К. Ф. Этимология русского языка в образцах. Ц. 75 к.
Его-же. Синтаксис русского языка в образцах. Ц. 80 к.
Поляков, В. Г. Живая речь. Учебная книга по родному языку.
Книга первая. Ц. 40 к.
Книга вторая. Ц. 50 к.
Его-же. Родной язык. Вып. I. Ц. 75 к. Вып. II. Ц. 50 к.
Саводник, В. Очерки по истории русской литературы XIX века. Часть I. Ц. 1 р. 30 к.
Соколов, Б. Е. Грамматика-первинка. Часть I. Ц. 30 к. Часть II. Ц. 30 к.
Соловьева, Е. Е. и др. Зеленый шум. Хрестоматия. Первый год. Ц. 1 р. 40 к.
Соловьева, Е. и Ганшина. Подвижная хрестоматия.
Толстой, Л. Н. Книга для чтения. Ц. 40 к.
Флеров, Вс. Первая книга для чтения. Ц. 45 к.
Его-же. Вторая книга для чтения. Ц. 60 к.
Его-же. Мой словарик. Краткий справочник. Ц. 8 к.
Его-же. Наглядные уроки письма. Книжка 1-я. Ц. 40 к. Книжка 2-я. Ц. 50 к. Книжка 3-я. Ц. 65 к.
Шапошников, И. Н. Задачи по правописанию на основе активности и самодеятельности учащихся. Ц. 1 р.
Его-же. Картинки для сочинений. Ц. 80 к.
Его-же. Орфографический словарик. Ц. 15 к.
Его-же. Первые ступени правописания. Выпуск I. Ц. 50 к.

Торговый Сектор Государственного Издательства.

Москва, Ильинка, Биржевая пл., Богоявленский п., № 4.

Ленинградское Представительство. Моховая, 36.

ОТДЕЛЕНИЯ:

Армавир—улица Троцкого, 99.
Фил. Краснодарск. отд.
Вологда — Площадь Свободы.
Воронеж — Проспект Революции, 1-й дом Совета.
Казань—Гостинодворская, Гостиный Двор
Киев — Крещатик, 38.
Кострома — Советская, 11.
Краснодар — Красная, 35.
Н.-Новгород — Б. Покровка, 12.
Одесса — Улица Лассаля, 12.
Пенза — Интернациональная, 39/43.
Пятигорск — Советский пр., 48.
Ростов-н/Д. — Ул. Фр. Энгельса, 106.
(Фил. Ростовск. отд.)
Саратов — Ул. Республики, 42/30.
Тамбов — Коммунальная, 14.
Тифлис — Проспект Руставели, 16.
Харьков — Московская, 20.

МАГАЗИНЫ В МОСКВЕ:

Советская пл., под бывш. гостиницей „Дрезден". Тел. 1-28-94.
Моховая, 17. Тел. 1-31-50.
Ул. Герцена, 13. Тел. 2-64-95.
Никольская, 3. Тел. 49-51.
Серпуховская пл., 1/43. Тел. 3-79-65.
Кузнецкий Мост, 12. Тел. 1-01-35.
Покровка, Лялин п., 11. Тел. 81-94.
Мал. Харитоньевск., 4. Тел. 1-81-84.

Оптово-розничный магазин при складе „ТЕПЛЫЕ РЯДЫ"
Ильинка, Богоявленский пер., 4. Тел. 1-91-49.

Цена 1 руб.

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

РУССКАЯ ИСТОРИЯ

4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАД — МОСКВА.

История. Социология.

Большаков, А. М.—Лекции по русской истории. Введение в изучение истории. Стр. 284. Ц. 1 р.

Вейлэ, Карл.—Культура бескультурных народов. Пер. В. М. Познера, под ред. проф. Б. Ф. Адлера. Второе, вновь просмотренное издание. („Культ.-историч. библиотека".) Стр. 142. Ц. 70 к.

Его же. — Первобытное общество и его хозяйство. Перевод с немецкого под редакцией А. Н. Горлина. С 36 рис. и 3 таблицами. („Культ.-историч. библиотека".) Стр. 165. Ц. 75 к.

Его же. — В. О.—Боярская Дума Древней Руси. Стр. 543. Ц. 1 р. 50 к.

Его же. — История сословий в России. Стр. 276. Ц. без перепл. 1 р. 50 к., в перепл. 1 р. 60 к.

Ключевский, В. — Курс русской истории. Ч. I. 3-е изд. Стр. 464 Ц. 1 р. 20 к.

Его же. — Курс русской истории. Ч. II. 2-е изд. Стр. 492 + XIV. Ц. 1 р. 20 к.

Его же. — Курс русской истории. Ч. III. Изд. 2-е. Стр. 472. Ц. 1 р. 20 к.

Его же. — Курс русской истории. Ч. IV. Изд. 2-е. Стр. 480. Ц. 1 р. 35 к.

Его же. — Курс русской истории. Ч. V. Стр. 352 + VI. Ц. 1 р. 50 к.

Его же. — Опыты и исследования. Первый сборник статей. Стр. 472+XXIV. Ц. 1 р. 50 к.

Его же. — Очерки и речи. Второй сборник статей. Стр. 495. Ц. 1 р. 50 к.

Его же. — Отзывы и ответы. Третий сборник статей. Стр. 445+XXIV. Ц. 1 р. 50 к.

Коваленский Мих. — Хрестоматия по русской истории. Т. III. Изд. 2-е. Стр. 304. Ц. 1 р. 30 к.

Его же. — Хрестоматия по русской истории. Т. IV. Изд. 3-е. Стр. 423. Ц. 1 р. 70 к.

Его же. — Хрестоматия по русской истории. Т. V. Изд. 3-е. Стр. 336. Ц. 1 р. 60 к.

Лукин-Антонов, Н. — Очерки по новейшей истории Германии 1890 — 1914 г.г. Стр. 434. Ц. 1 р. 75 к.

Павлов-Сильванский, Н. П. — Феодализм в древней Руси. Изд. 2-е. Стр. 186. Ц. 1 р. 30 к.

Петров, Н. — Английский капитализм на заре своего развития (История торгового капитала в Англии). С 10 рис. и картами. Стр. 58. Ц. 70 к.

Покровский, М. Н. — Русская история с древнейших времен. Т. I. Издание шестое. Стр. 262. Ц. 1 р.

Его же. — Русская история с древнейших времен. Т. III. Изд. 6-е. Стр. 331. Ц. 1 р. 20 к.

Его же. — Русская история с древнейших времен. Т. III. Изд. 6-е. Стр. 271. Ц. 1 р.

Его же. — Русская история. Т. IV. Изд. 4-е. Стр. 363. Ц. 1 р. 40 к.

Его же. — Царская Россия и война. Стр. 87. Ц. 30 к.

Pokrovskiĭ, Mikhail Nikolaevich

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

Russkaia istoriia

РУССКАЯ ИСТОРИЯ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

3682

Том IV

Кабинет Аграрн. отношен. и и з.

Издание седьмое

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 1925 Ленинград

Гиз. № 7802. Ленинградский гублит № 15323. 23½ л. Тираж 20.000 экз.

Типография „Коминтерн", Ленинград, Екатерингофский пр., д. 87.

ГЛАВА XIV.

Крестьянская реформа.

1. Социальная политика Николая I.

«В России деспотизм работает всегда с математической правильностью, и результатом этой крайней последовательности является крайнее угнетение. Приходишь в негодование, видя суровость этой непреклонной политики, и с ужасом спрашиваешь себя: отчего в делах человека так мало человечности? Но дрожать не значит презирать: не презирают того, чего боятся. Созерцая Петербург и размышляя об ужасной жизни обитателей этого гранитного лагеря, можно усомниться в милосердии божием, можно рыдать, проклинать, — но нельзя соскучиться. Здесь есть непроницаемая тайна; но, в то же время, чудовищное величие... Эта колоссальная империя, явившаяся моим глазам на востоке Европы — той Европы, где общества так страдают от недостатка общепризнанного авторитета, производит впечатление чего-то воскресшего из мертвых. Мне кажется, что предо мною какой-то ветхозаветный народ, и с ужасом и любопытством, в одно и то же время, я стою у ног этого допотопного чудовища».

На самом деле, тот, кому принадлежат эти строки, смотрел на чудовище сверху и видел не его ноги, а его спину. Живая сценка, которою Кюстин иллюстрирует свои размышления о всепоглощающем деспотизме русского императора, показывает нам петербургский «большой свет», собравшийся в чудный летний вечер на острова не для того, чтобы насладиться прогулкой, — это удовольствие «показалось бы слишком пресным придворным, которые составляют здесь толпу», — а для того, чтобы видеть пароход императрицы: «удовольствие, которое никогда здесь не надоедает». Французский путешественник легко принимал за «народ» тот общественный круг, к какому принадлежал он сам. Но к этому кругу вполне приложима его характеристика: «здесь

всякий государь — бог, всякая принцесса — Армида, Клеопатра. Кортеж этих меняющихся божеств всегда один и тот же; его образует народ, всегда одинаково верный, стекающийся их смотреть пешком, верхом, в каретах; царствующий государь всегда в моде и всемогущ у этого народа» [1]). Настоящий народ трудно было рассмотреть из окон комфортабельной кареты, в которой объезжал Россию, на курьерских, французский маркиз: еще труднее было с ним сблизиться, не зная его языка. Теоретически Кюстин сознавал, что положение русских крепостных должно быть ужасно; и немудрено, что его шаблонные рассуждения об «ужасах рабства» удовлетворяли современных русских читателей (даже таких, как Герцен): их повседневные наблюдения давали им сколько угодно наглядных иллюстраций к этому шаблону. Живые впечатления самого Кюстина относились к Николаю, его двору, отчасти к чиновничеству — к тем, с кем он сталкивался, кого он понимал и кто мог понять его. Как нельзя более ярко рисует он этот непрерывный спектакль, не даром напомнивший ему Версаль, — и где тот, кто казался господином всего, играл роль первого актера, достававшуюся ему недешево даже физически, несмотря на его железный организм; когда Николай снимал с себя тесную униформу, в которую он был затянут весь день, с ним делалось нечто в роде обморока. «Раболепную толпу» нужно было занять, как ни мало доставляло это удовольствия самому «живому богу». Когда Николай с кем-нибудь разговаривает, замечает Кюстин, поодаль тотчас образуется целый круг придворных: слов они слышать не могли, конечно, но видели мимику императора, — с них было довольно и этого...

Верхний слой дворянства был окончательно приручен, очевидно. По старой памяти, Кюстин еще говорит об «ужасных антрактах», какими прерывался иногда этот сплошной спектакль; ему принадлежит знаменитое определение русского образа правления, как «абсолютной монархии, умеряемой убийством»: определение было верно вплоть до эпохи Александра I. При Николае не только не было намека на дворцовый заговор, — никто, кажется, не думал о возможности чего-нибудь подобного. При его дворе «человек жил взглядами государя, как растение лучами солнца; самый воздух принадлежит императору: им дышат постольку,

---

[1]) *Marquis de Custine*, «La Russie en 1839», Paris, 2846, pp. 287 suiv.

поскольку император его уделяет, не в одинаковом размере для каждого: у настоящего придворного легкие так же послушны, как и спина».

Кюстину отчасти объяснили причину этой удивительной дисциплины: он узнал, что большая часть имений дворянства заложена в государственном банке, — что Николай (при *таком* самодержавии очень трудно было отделить личность государя от государства) является кредитором чуть не всего своего «народа». В разных местах он упоминает о той системе шпионажа, которая была создана тотчас после 14 декабря и достигла того, что люди боялись говорить даже о будничных происшествиях, если эти последние могли быть неприятны императору. Так, о крушении одного из пароходов, на которых ехала публика смотреть петергофский праздник, по случаю именин императрицы, передавали друг другу по секрету: несчастие в день именин могло огорчить именинницу — и его не должно было быть; из почтительности утопленники должны были смирно сидеть в глубине морской, а их семьи — не плакать слишком громко. Эта система шпионажа, с большой любовью оборудованная слегка знакомым нам по 14 декабря Бенкендорфом [1]), была, однако же, едва ли не излишней.

---

[1]) В своих записках Бенкендорф уверяет, что ему никогда и в голову не приходило стать начальником тайной полиции, этим-де и объясняются промахи его по этой части при организации корпуса жандармов. Для характеристики правдивости записок Бенкендорфа стоит привести одно место из записок декабриста Волконского. «В числе сотоварищей моих по флигель-адъютантству», — пишет последний: рассказ относится ко времени до 1812 года, — «был Александр Христофорович Бенкендорф, и с этого времени мы были сперва довольно знакомы, а впоследствии — в тесной дружбе. Бенкендорф тогда воротился из Парижа при посольстве и, как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, какую пользу оказывала жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смышленых, введение этой отрасли соглядатаев может быть полезно и царю, и отечеству; приготовил проект о составлении этого управления и пригласил нас, многих своих товарищей, вступить в эту когорту, как он называл, добромыслящих, и меня в их числе; проект был представлен, но не утвержден. Эту мысль Ал. Хр. осуществил при восшествии на престол Николая» («Записки», стр. 135—136). Дальнейшие рассуждения Волконского о чистоте души Бенкендорфа больше свидетельствуют о таком же качестве его панегириста, нежели отражают обеъктивную истину. Лучше знавший кулисы николаевского великолепия Корф рассказывает, что не было промышленной компании в России 30-х годов, пайщиком которой, явным или тайным,

В ней любопытны черты, напоминавшие «желтый ящик» блаженной памяти Павла Петровича — рядом с чертами, предвосхищавшими далекое будущее. Жандармские офицеры должны были наблюдать, чтобы «спокойствие и права граждан» не могли быть нарушены не только «пагубным направлением людей злоумышленных», но и «чьей-либо властью или *преобладанием сильных лиц*». «Свойственные вам благородные чувства и правила несомненно должны вам приобресть уважение всех сословий, — наставлял Бенкендорф своих агентов, — и тогда звание ваше, подкрепленное общим доверием, достигнет истинной своей цели и принесет очевидную пользу государству; в вас всякий увидит чиновника, который через мое посредство может довести глас страждущего человечества до престола царского, и беззащитного и безгласного гражданина немедленно поставить под высочайшую защиту государя императора». В то же время, глава этих ангелов-хранителей беззащитных граждан должен был, по проекту Бенкендорфа, «ежегодно путешествовать, бывать время от времени на больших ярмарках, где он легче может завязать полезные связи и *соблазнять людей, жадных к деньгам*». Последствия показали, что найти таких людей можно было, и не ездя по ярмаркам — и что, в то же время, это наиболее легкий способ действия, что «приобрести моральную силу», как дальше рекомендует тот же Бенкендорф, гораздо труднее. Но как раз при Николае, до 40-х годов, всякие способы казались излишней роскошью. Подвиги николаевских жандармов относятся больше к истории литературы: в книге и газете можно было найти отблески если не самой революции, то чего-то, напоминавшего о ней; отблески отблесков — нечто в роде зарниц без грома. Серая пелена того, что при Николае заменяло «общественную жизнь», не освещалась даже этими зарницами — до 40-х годов, по крайней мере; а когда первые зарницы показались и здесь, дело оказалось настолько непохоже на дворянский заговор, с каким призваны были бороться первые жандармы, что и они, и сам Николай остановились в недоумении перед новой для них картиной. Понадобилось поколение, чтобы ученики Бенкендорфа выработали приемы борьбы с новым врагом — с демократической революцией.

не состоял бы шеф жандармов. Когда Бенкендорф заболел, среди мира капиталистов началось настоящее волнение, и скорбь об их умиравшем «благодетеле» была, надо думать, вполне искренней: сколько нужно было опять денег потратить, чтобы купить новую «чистую душу»!

Но вернемся к 20-м годам. Одним «желтым ящиком» отнюдь не ограничивалось сходство между первыми шагами Павла и Николая Павловича. Очень характерно сопоставление нескольких дат: высочайшим указом 3 июля 1826 года учреждено *третье отделение* собственной его величества канцелярии (позднейший департамент полиции). За неделю до этого, 25 июня, создана была должность *шефа жандармов*, сразу же и занятая Бенкендорфом; а еще неделею раньше, рескриптом 19 июня предписано было дворянству *христианское* и *сообразное законам обращение с крестьянами*. «К истинному моему сожалению, — говорил царь в этом рескрипте, — доходят до моего сведения несогласные с сим примеры; а потому и повелеваем вам (министру внутренних дел) поставить на вид означенную волю мою, кроме всех начальников губерний, в особенности всем предводителям и маршалам дворянства... Вы им предпишете, что неуспешное исполнение сей достойной уважения их обязанности подвергнет их неизбежному взысканию по законам вместе с теми, кои дозволят себе удалиться от изъявляемой мною здесь воли моей, так как *порядок в отношениях между крестьянами и помещиками*, их заботливостью и предварениями соблюденный, *всегда будет предметом моего особого внимания*...». Следующий рескрипт, 6 сентября, конкретизировал злоупотребления помещичьей власти, глухо упомянутые в рескрипте 19 июня: здесь уже прямо говорилось о «непомерном распорядке работ и повинностей» и о «непомерных наказаниях». Организация слежки за неблагонадежными помещиками и заботы о доказавшем 14 декабря свою благонадежность крестьянстве шли рука об руку. При чем и тут, как при Павле, крестьянству пришлось напомнить о своем существовании очередными беспорядками, вызвавшими, опять как при Павле, ряд полицейских мер и высочайший манифест (от 12 мая 1826 г.), гласивший, «что всякие толки о свободе казенных поселян от платежа податей, а *помещичьих крестьян и дворовых людей от повиновения их господам* суть слухи ложные, выдуманные и разглашаемые злонамеренными людьми из одного корыстолюбия...»

Мы напрасно стали бы искать в этом манифесте отражение действительных взглядов и намерений нового императора. Видя в себе, — как и Павел Петрович, опять-таки, — прежде всего другого верховного обер-полицеймейстера, Николай прежде всего спешил исполнить свою обязанность по «охранению порядка». Но, как и Павел, как и Александр Павлович, как вся после

пугачевская русская администрация, он понимал, что «злоупотребления помещичьей властью» — новое крепостное право, иначе говоря — являются постоянной и длительной причиной всех возможных волнений в общественных низах. Демагогические тенденции — в их существовании едва ли может быть сомнение [1]) — вели туда же, куда вело и сознание своих обер-полицеймейстерских обязанностей. Что в конечном счете наклонности демагога и полицеймейстерские обязанности должны были нейтрализовать друг друга и привести к тому топтанию на одном месте, которое носит название «попыток крестьянской реформы при Николае I», это можно было предвидеть заранее. Но мыслительный аппарат Николая Павловича был не так устроен, чтобы видеть на большое расстояние вперед, и в субъективных его намерениях «вести процесс против рабства», как он однажды красиво выразился в одном частном разговоре, не может быть сомнения. В бумагах комитета, учрежденного им 6 декабря 1826 года и имевшего всеобъемлющую задачу: «обозреть настоящее положение всех частей управления, дабы из сих соображений вывести правила к лучшему их устройству и исправлению», — сохранилась собственноручная записка Николая, на этот счет достаточно показательная. В ней предлагается: «1) запретить продавать имения, называя число душ, но оговаривая число десятин и угодий; 2) в банки принимать имения в заклад не душами, а тоже десятинами и прочими угодиями, вовсе не говоря про души; 3) сделать особую ревизию одним дворовым людям; 4) после сей ревизии выдать указ, запрещающий брать из крестьян в дворовые; 5) с дворовых людей платить тройные подушные». Комитет 6 декабря должен был подготовить почву для *изъятия людей из числа возможных объектов собственности:* таков был весьма ясный смысл этой записки. Ставя так задачу, Николай не выходил из заколдованного круга, в котором вращались все *аристократические* проекты эмансипации, начиная с «молодых друзей» и даже еще раньше — с Вольного экономи-

---

[1]) Кюстин рассказывает, — со слов знакомых ему русских помещиков, конечно, — что Николай, принимая депутацию крестьян одного имения, купленного удельным ведомством, в ответ на слова мужичков, что все завидуют их счастью, сказал, будто бы, что он охотно всех крестьян так же облагодетельствовал бы, да не от него это зависит. Крестьяне поняли это так, что царь охотно их всех сделал бы своими, да помещики не пускают, и на этой почве был ряд волнений...

ческого общества 1760-х годов. Личное усмотрение на практике оказывалось отражением взглядов определенной *общественной группы* — той самой, которая помогла Николаю сесть на престол 14 декабря 1825 года. Ее тенденция всего виднее в крестьянской политике Николая, — с этой последней и приходится начать.

Секретарем «знати» по крестьянскому вопросу явился тот самый человек, который при Александре I служил последнему своим пером против этой самой «знати»: автор «плана государственного образования» 1809 года, Сперанский, представил в комитет 6 декабря первый в нашей официальной литературе систематически-выработанный план освобождения крестьян. Сперанский стоял на исторической точке зрения: он видел в развитии крепостного права смешение крестьянства с холопством и предлагал начать с разделения этих двух элементов. Древнейшее крепостное право, по взгляду Сперанского, состояло в том, что крестьянин был прикреплен не к лицу владельца, а к земле, и не мог быть от нее отделен — продан отдельно от земли или взят во двор. Впоследствии владельцы стали постепенно смешивать крестьян со своими холопами — употреблять их для дворовой службы и продавать их в розницу, подобно холопам. Это злоупотребление было узаконено в XVIII веке, когда крестьяне были признаны движимым имуществом землевладельца: так сложилась новая, более тяжелая форма крепостного права. Раскрепощение должно было итти по тому же пути, как и закрепощение, только в обратном порядке: сначала должно быть запрещено продавать крестьян без земли и брать их во двор; потом безусловная зависимость крестьянина от владельца должна быть заменена условною, основанною на договоре, поставленном под охрану общих судов. Последнее возвращало крестьянину его гражданские права: его экономическое положение обеспечивалось участком земли, который уступал ему помещик в пользование за определенные повинности. Сперанскому казалось, что таким путем уравновешиваются интересы обеих сторон: крестьянин получает «свободу», а помещик не лишается рабочей силы, которую ему давало в руки крепостное право. Нет надобности объяснять читателю, что здесь *юридической форме* приписывалась магическая сила, какой в действительности она, эта форма, разумеется, не имела; но проекты «молодых друзей» были не лучше — и, став из молодых друзей старыми чиновни-

ками [1]), они ничего не имели возразить против плана Сперанского. Ни в комитете, ни в государственном совете проект не встретил сопротивления. Решено было сделать первый шаг — запретить продажу людей без земли. Но Николай Павлович не взял на свою личную ответственность даже и этой элементарной меры: он счел долгом прежде снестись с великим князем Константином и получил от него ответ, что «сильнейшая ограда коренных законов и уставов государственных есть их древность. Посему его императорское высочество полагает, что касательно существенных перемен, содержащихся в тех проектах, лучше было бы отдать их еще на суд времени». Дело было положено в долгий ящик.

Судьба комитета 6 декабря 1826 года дает очень удобный случай остановиться на легенде о «железной воле» императора Николая — легенде, пользующейся большой популярностью в известной части нашей литературы. Легенда сложилась еще при жизни Николая. Казарменное общество и привычка командовать на разводах выработали у него известный «командирский» тон, который наивными людьми принимался за выражение сильного характера [2]). На самом деле как раз этим качеством Николай вовсе не отличался: некоторые, мало рыцарские, черты своего отца он унаследовал в гораздо большей степени, нежели Александр Павлович, которого не раз видали под ядрами. В детстве Николая долго не могли приучить к стрельбе: он так боялся пушек, что, при одном посещении Гатчины, он не решился подойти к крепости, увидав страшные для него орудия, торчавшие из амбразур. И эта черта не прошла с детством. Если бы 14 декабря около Зимнего дворца нашелся хладнокровный наблюдатель, его поразило бы поведение государя, судьба которого решалась в эту минуту: с беспомощным видом расхаживал он по площади и вместо того, чтобы распоряжаться, растерянно обнимал и целовал подходивших к нему офицеров. Только настояния его приближенных заставили его выехать на Сенатскую площадь, где, бледный, как мертвец, он оставался опять-таки

---

[1]) Новосильцев и Кочубей при Николае были председателями государственного совета.

[2]) Николай и говорил, как командовал. «Я был приготовлен ко многому в манерах императора, — пишет Кюстин, — но что было для меня совершенной неожиданностью — это его голос». Совет Марии Феодоровны не кричать, очевидно, совсем не пошел впрок.

пассивным зрителем происходящего, пока, машинально повинуясь совету Толя (или Васильчикова), он не пустил в ход картечь. Декабристов приводили к нему на допрос со связанными руками — хотя предварительно они бывали тщательно обысканы, разумеется. В его дальнейшей деятельности мы найдем не одну резкую выходку: в немецкой литературе до сих пор повторяется рассказ, как Николай до того, будто бы, испугал своим приемом одного прусского министра, что тот от страху заболел и умер. Но мы напрасно стали бы искать у этого страшного человека хотя одного до конца продуманного и твердо выполненного плана, — всего менее в крестьянском вопросе. Как все слабохарактерные люди, он жаловался в этом случае на окружающих на своих министров, которые, будто бы, не желают понять его намерений и не хотят им содействовать. Но когда ему приходилось формулировать эти свои намерения, он на каждом шагу путался и противоречил самому себе: то он уверял, что «ни, когда не решится колебать того, что временем или обычаем обращено в право помещиков»; то говорил, что «главная цель его — изменить крепостное у нас состояние», т.-е. отнять у помещиков их главное право. То соглашался на коренную реформу и говорил, что нужно «вместе издать все»; то требовал, чтобы отмена крепостного состояния совершилась постепенно и «нечувствительно» ни для крестьян, ни для помещиков. Собираясь вести «процесс против рабства», он, повидимому, больше всего на свете боялся, как бы не узнали о его намерении те, кому «процесс» больше всего угрожал. Все комитеты по крестьянскому делу при Николае были *секретные*, и члены их обязывались чуть не присягой никому и ни под каким видом не сообщать о том, что там говорилось. Совершенно естественным последствием этой таинственности было то, что в обществе ходили самые нелепые слухи о намерениях Николая [1]): когда слухи доходили до него, он сердился на членов комитета за несоблюдение «тайны» и грозил предать их суду за «государственное преступление». Ни разу у него не хватило духу открыто высказаться перед обществом насчет своих намерений. Только раз в жизни он решился высказаться «келейно» — и приемы, к каким он прибегнул в этом случае, в высокой степени харак-

[1]) Отражение салонной болтовни на эту тему можно найти, например, в донесениях французских дипломатов, отрывки из которых были опубликованы проф. Тарле.

терны и для него самого, и для положения крестьянского вопроса в его царствование.

Записка Сперанского отразились на всех правительственных проектах эмансипации при Николае I. Автор ее был уже в могиле, а его аргументация продолжала повторяться в секретных комитетах 40-х годов. Ее главная мысль: уничтожить крепостное *право*, как юридический институт, сохранив за помещиками экономические выгоды существующего положения, — легла в основу единственной крупной меры Николая по крестьянскому вопросу, указа 2 апреля 1842 г. об *обязанных крестьянах*. Указ был проектирован бывшим другом и покровителем декабристов, который при Николае стал министром государственных имуществ и «начальником штаба его величества по крестьянской части», как шутил любивший все военное император, — Киселевым. По первоначальному проекту, помещик уступал крестьянам *личную* свободу; право *собственности* на всю землю оставалось за помещиком: но крестьянам уступались их наделы в *вечное пользование*, за определенные повинности. Административная власть помещика сохранялась во всей силе, — в этом пункте киселевский проект отставал от записки Сперанского, соединявшего крестьянскую реформу с «пересмотром земского управления: ибо какой закон может произвести полезное действие при настоящем образе исполнения»? В сущности, проект 1840 года вполне отвечал интересам крупного землевладения, интересовавшегося не личностью крестьянина, — почти все крупные имения были на оброке, — а получавшимся от него доходом. Но неприкосновенность дохода достаточно гарантировалась проектом Киселева, который даже нашел нужным особенно подчеркнуть, что «крестьяне не могут оставлять имения, пока население не превзойдет определенной нормы»: значит, обязательные арендаторы были обеспечены землевладельцу. Но, за пятнадцать лет спокойного николаевского царствования, «знать» успела поправеть: проект, который в наши дни назвали бы крепостническим, члены секретного комитета, учрежденного Николаем в 1840 году, нашли страшно либеральным. «Всем казалось, — пишет Корф, — что возвышенность цели и благотворность отдаленных последствий увлекли Киселева за пределы близкой возможности и скрыли от него трудность исполнения». Решено было в указе совсем не поминать *свободы* крестьян, представить публике все дело лишь как дополнение указа о «вольных хлебопашцах» (20 фев-

раля 1803 г.) и предоставить помещикам заключать подобные сделки с крестьянами *лишь по их, помещиков, доброй воле.* При таких условиях указ являлся шагом назад сравнительно с законом 1803 года: тот разрешал уступать крестьянам землю в собственность, этот лишь в постоянное пользование, право же собственности помещика на землю категорически подтверждалось. Даже великий князь Михаил Павлович находил меру «вполне консервативной» и был ею дóволен. Но доверенные люди императора Николая, кн. Васильчиков и бар. Корф, «не скрывали друг от друга своих опасений» и утешали друг друга тем, «что при разнесшихся в публике слухах о замышляемом, будто бы, освобождении крепостных людей, необходимо для пресечения сего сделать, по крайней мере, *что-нибудь*, в доказательство, что *этим одним* и ограничиваются намерения правительства, а потом уже решительно прекратить всякое занятие сим делом...». Для вящшего успокоения помещиков вместе с указом был издан циркуляр губернаторам, где очень наивно объяснялось, что указ только то и имеет в виду, что в нем написано: *добровольные* договоры помещиков с крестьянами. Что это вовсе не замаскированная попытка освободить крестьян, как говорят люди злонамеренные... Общество успокоилось, — и указ остался мертвой буквой: нашелся лишь *один* помещик, который отнесся к нему серьезно, — гр. Воронцов, на собственном горьком опыте немедленно же убедившийся в искренности, по крайней мере, циркуляра. Для начала он выбрал свое имение под Петербургом, Мурино; с крестьянами он сговорился «скоро и хорошо» (ведь положение их почти не менялось, ни в ту, ни в другую сторону); но «ни один нотариус не хотел засвидетельствовать акта, говоря, что это совершенная новость»; канцелярия предводителя дворянства не могла принять прошения, потому, опять-таки, что это «новость»: только личное вмешательство губернского предводителя дворянства подвинуло дело в этой инстанции. Но оно должно было итти еще в комитет министров... Прошел месяц; дело не двигалось. Воронцов начал уже опасаться, как бы оно не погибло в руках «филистимлян», — и поручил его заботам самого творца указа, Киселева. Но бороться с «осторожностью» своих товарищей оказался бессилен и Киселев. Прошло полгода, — и Воронцов меланхолически писал тому же Киселеву: «что касается муринского дела, то я терпеливо буду ждать, что из него выйдет; но способ, каким министерство внутренних

дел действует в настоящем случае, не может поощрять другие заявления такого же рода...». И только еще через полгода сделка была, наконец, разрешена гр. Воронцову: трудно сказать, кто был этим более доволен, Воронцов или крестьяне села Мурина. Во всяком случае, теперь нельзя было сомневаться в правдивости слов циркуляра: указ 2 апреля не только не помогал освобождать крестьян, но ставил на пути этого дела такие препятствия, что только огромные связи и английская выдержка Воронцова могли их преодолеть.

Самому императору указ, повидимому, очень нравился, — особенно ему приятно было, что обходилось название «свободных хлебопашцев», которого он терпеть не мог, так как считал его «в некотором смысле несообразным с нашим государственным устройством и вообще внушающим ложные понятия». Он не мог постичь, почему дворяне так мало пользуются этим указом, и решил подвигнуть их на это дело личными объяснениями. Случай представился, когда к нему явилась в 1847 г. депутация от смоленского дворянства. Государь, вообще отклонявший подобные депутации, принял эту необыкновенно ласково. Он начал с похвал смоленскому дворянству за его «чувства и рыцарские правила». Потом заговорил о своем намерении провести шоссе, которое для губернии будет очень полезно, и усовершенствовать водные сообщения, которыми Смоленская губерния соединялась с Ригой. После этих приятных для смолян вещей перешли к неприятной: Николай, со всеми возможными оговорками, поставил вопрос о переходе крестьян в обязанные. Он назвал при этом помещичью землю «*нашей*», дворянской землей: «заметьте, что я говорю с вами как первый дворянин в государстве»; но прибавлял, что крестьянин не может считаться «собственностью, а тем более вещью»: в переводе крестьян на «обязанное» положение император видел единственную возможность предотвратить «крутой перелом». Все это говорилось *келейно;* Николай несколько раз повторил это слово и посоветовал самим дворянам поговорить между собою таким же способом. Такие приемы могли только ободрить тех из помещиков, которые не хотели никакой перемены: и результатом «келейного» совещания смоленских дворян была записка смоленского предводителя кн. Друцкого-Соколинского, который рисовал самую мрачную картину того переворота, какой произведет в помещичьем хозяйстве переход крестьян в обязанные: «...количество произведений с помещичьих полей, главнейших источников хлебных

запасов, уменьшится до того, что их недостанет не только для отпуска за границу, но и для внутреннего потребления в государстве. Скотоводство и коннозаводство уничтожатся, леса от недосмотра подвергнутся истреблению... Фабрики и заводы лишатся в обедневших помещиках своих потребителей. Сколько погибнет капиталов, какое сделается замешательство во всей государственной экономии»! В другой записке, поданной вслед за первой, Друцкой-Соколинский старался доказать, что в России рабства и нет вовсе, что его придумали «витии европейские... вследствие зависти к могуществу и благосостоянию России...».

Как ни дико покажется нам теперь последнее мнение, оно отнюдь не было индивидуальным. Дурасов, автор доклада, читавшегося в 1842 году в Вольном экономическом обществе, изобразив положение русских крепостных, — необыкновенно, будто бы, привлекательное по сравнению с английскими батраками, — восклицает: «При таком положении крестьян одно неведение иностранцев может приписывать им невольничество»! Барщинное хозяйство и в 40-х годах, казалось, попрежнему было идеалом, как и во дни Швиткова. Одно примечание русского переводчика к сочинению Тэера «Основания рационального сельского хозяйства» (вышло по-русски в 1830 году) вскрывает перед нами причину этого консерватизма, а кстати и объективные условия, стоявшие поперек дороги всяким попыткам Николая «изменить крепостное состояние». «Работа наемными людьми в России, — говорится здесь, — будет самым неосновательным и разорительным предприятием, *доколе цена хлеба не возвысится*, цена наемных работников не уменьшится и число их не увеличится... В России нет другого средства производить полевые работы, как оседлыми крестьянами» [1]).

Социальную историю николаевского царствования нельзя понять, если мы упустим из виду этот прозаический, но необычайно важный по своим последствиям факт: *двадцатые и тридцатые годы XIX столетия были периодом исключительно низких цен на хлеб.* Их падение носило, притом, почти катастрофический характер: еще в 1821 году центнер пшеницы на берлинской бирже расценивали в 6,63 марки (переводя на

---

[1]) *Семевский*, «Крестьянский вопрос», II, стр. 342.

теперешнюю [1]) монету), а центнер ржи в 4,15 м. А в 1825 году пшеница стоила в Берлине 4,14 марки за центнер, а рожь — 2,65 м. Во Франции гектолитр пшеницы стоил: в 1817 году—36,16 франка, в 1821—17,79 фр., а в 1825—15,74 фр. Но, раз упав, цены долго держались на низком уровне: если принять берлинские цены двадцатых годов за 100, цены пшеницы в 30-х годах будут выражаться цифрой 113,84, а ржи—115,70 [2]). Как видим, резкий упадок цен на хлеб в России в 20-х годах, вызвавший даже назначение академией наук особой премии за исследование на эту тему, отнюдь не был *местным* явлением: во всей Европе было то же. «В России цены на хлеб до 1819 года возвышались, а с 1820 стали понижаться,—говорит Кеппен в своем известном исследовании «О потреблении хлеба в России».— В наше время (в 1840 году) положение земледельца в сем отношении не изменялось; за исключением неурожайных 1833 и 1834 годов, цены на хлеб вообще оставались низкими, особенно в тех странах, где к вывозу оного еще не все препятствия устранены». Опираясь на авторитет того же Кеппена, в литературе, обыкновенно, отрицают какое-либо влияние международного хлебного рынка на цены внутри России: «вывоз хлеба за границу менее у нас значителен, чем полагают многие, не исследовавшие сего предмета», говорит Кеппен и доказывает, что этот вывоз «не составляет и сотой части количества, нужного для потребления в самой империи». Не трудно, однако, догадаться, почему этот вывоз, так быстро росший в первые годы XIX столетия, замер почти на одном уровне в два первые десятилетия царствования Николая, а с ним замерло и развитие помещичьего хозяйства, сулившего такие радужные перспективы агрономам александровской эпохи. Для характеристики этого застоя достаточно привести один пример. Мы видели в своем месте [3]), что еще в 1760-х годах Тверская губерния быстро шла вперед в деле развития капиталистических отношений в деревне. Еще в 30-х годах на эту губернию возлагались особенные надежды. Мордвинов, тогда председатель Вольного экономического общества, указывал, что «эта часть империи по положению своему, по качеству много-

---

[1]) 1912 г.

[2]) См. *Hansen*, «Untersuchungen über d. Preis d. Getreides», Jena 1887 (Elsters Staatswirtschaftliche Studien, I Band), и *Beaurieux* «Les prix du blé en France au XIX-me siècle», Paris, 1909.

[3]) См. «Русская история», III, гл. XIV, отд. «Денежное хозяйство».

различных почв земли и по расположению помещиков к принятию лучших систем хозяйства могла бы послужить рассадником усовершенствованного земледелия вообще для всей России,— могла бы сделаться тем, чем в Англии была область Норфолькская...». Теоретически рассуждения Мордвинова были совершенно правильны,—роль тверичей в реформе 19 февраля блестяще оправдала его надежды на «эту часть империи». Но вот что представляла собою та же Тверская губерния в 1838 году: «трехпольная система в самом простом, первобытном виде; скотоводство скудно; в навозе для удобрения полей такой недостаток, что пашни почти нигде не удобряются, как бы следовало. Особенно у самих поселян-хлебопашцев везде одинаковое нерадение, о котором достаточно можно судить из того, что в Тверской губернии, в Осташковском уезде, доселе еще существует непростительный обычай: жечь лес, чтобы на выжженных местах сеять хлеб. Если бы по крайней мере наблюдался при этом какой-нибудь расчет и перемена в посевах, с надлежащим удобрением полей, тогда можно было бы допустить, что в сем случае уничтожение леса вознаграждается обильными жатвами и умножением хорошей пахотной земли. Напротив того, сии поля без всякого удобрения засевают разными хлебами до тех пор, пока земля в состоянии что-либо родить; когда же она истощится, то ее вовсе покидают и взамен точно так же расчищают новые места. Урожай ржи сам-пят, а овса сам-третей считается счастливым; между тем как в той же губернии на хорошо возделанных землях родится сам-8 и сам-9» [1]).

Архаической техники соответствовала и архаическая организация хозяйства. Это хозяйство, при данном уровне хлебных цен, давало слишком мало *денег*, чтобы помещик имел какое-нибудь побуждение перейти от *барщины к найму*—от дарового труда к покупному. Как мы увидим в следующей главе, помещики 40-х годов, по крайней мере более образованная их часть, отлично сознавали малую продуктивность барщинного труда, но он имел ту огромную выгоду, что не заставлял вынимать деньги из кармана, где их и так было не много. Низкие хлебные цены были лучшим оплотом крепостного права, нежели всяческие «крепостнические вожделения» людей, власть имею-

[1]) «Общее обозрение Тверской губернии», «Журн. Министерства Внутр. Дел», ч. 27, стр. 449.

3682

щих. Быстрый рост хлебных цен — и, с ним вместе, быстрый рост русского хлебного вывоза — в 50-х годах, был совершенно необходимым антецедентом реформы 19 февраля.

Но из того же основного факта — застойности русского сельского хозяйства в силу неотвратимых объективных условий — вытекал и ряд других заключений, которые столь отчетливо формулировал один современник, что мы предпочитаем говорить его словами. «...Россия до сего времени почиталась государством единственно земледельческим, — писал один сотрудник «Журнала Мануфактур и Торговли» в 1827 году. — Мнение сие укоренилось веками; да и впредь Россия надолго еще ограничивалась бы сим тесным уделом, если бы неожиданное событие не расстроило совершенно существовавшей до сего времени теории и не изменило всего вида вещей открытием для нашего государства обширнейшего и блистательнейшего поприща... Все иностранные государства, кои прежде по большей части от нас получали земные произведения, ныне уже с примерным успехом занимаются собственным земледелием, употребляя все старания к усилению оного; ибо которое государство не пожелает сбросить с себя иго монопольной зависимости?.. На столь богатой естественными произведениями земле, какова есть в обширной России, при столь многих благоприятствующих местных положениях и климатах, *мануфактуры и промышленность должны избрать в ней свою вековечную столицу...*» [1]).

Те же двадцатые годы, которые были свидетелями такой катастрофы на хлебном рынке, видели не менее катастрофический, по своему темпу, подъем прядильной и ткацкой промышленности в России. Тот же автор дает две следующие таблички привоза в Россию сырья с одной стороны, фабрикатов — с другой:

Сырья и полуфабрикатов привезено:	в 1820 году:	в 1824 году:	в 1826 году:
хлопка . . . . . на	135.000 р.	1.418.905 р.	2.324.830 р.
бумажн. пряжи . . .	25.976.748 „	37.223.625 „	39.825.107 „
шелку, сырца и пряжи	2.617.873 „	4.436.643 „	6.314.207 „
а изделий привезено:			
бумажных . . . . . на	20.773.485 р.	10.408.299 р.	12.627.635 р.
шелковых	10.109.873 „	6.687.327 „	6.749.655 „
шерстяных: сукна .	13.307.744 „	2.516.218 „	2.644.652 „
разных	7.632.427 „	5.680.515 „	6.644.474 „

[1]) *В. Пелчинский*, «Мануфактурная Россия или состояние российских мануфактур в 1827 году», «Журн. Мануфакт. и Торг.». 1827, № 10.

«В 1820 году выделано: тонких сукон 261.965, солдатского же и прочих 3.683.881 аршин; а в 1825 году выделано: тонких сукон 895.559 аршин, а солдатских и разных других 15.499.666 аршин. Следственно, в течение 5 лет количество тонких, на фабриках наших выработанных, сукон увеличилось более нежели втрое, а солдатских и других сортов почти впятеро».

В 1812 году в России считалось 2.332 фабрики—в 1814 уже 3.253 (а в промежутке лежало разорение от «нашествия галлов и с ними двадесяти язык»!). В 1828 году мануфактурный совет насчитал уже «фабричных разного рода заведений» 5.244. Число рабочих возросло с 119.093 человек (1812 год) до 225.414 человек (в 1828 году). За пятнадцать лет, таким образом, и число фабрик, и число рабочих увеличилось, примерно, *вдвое*. «Не далее как в 1823 году введена была в Москве первая жакардова машина и приобретена за 10.000 рублей,—говорит отчет «о состоянии российских мануфактур», читавшийся при открытии мануфактурного совета в 1828 году.—Ныне таковых станков считается в Московской губернии до 2.500, и оные обходятся уже и с установкою не более 75 или 85 рублей. Ленты, газовые и узорчатые материи ткутся ныне у нас столь превосходно, что равняются во всех отношениях с лучшими иностранными, и изяществу наших шелковых изделий отдана справедливость на самой даже Лейпцигской ярмонке, куда оные в истекающем году посланы были» [1]).

Мечта петровского меркантилизма о заграничном рынке начинала становиться действительностью к столетней годовщине смерти «Преобразователя». Место не позволяет нам коснуться одной из любопытнейших сторон этого «расширения» русского капитализма за пределы России: основанный Канкриным «Журнал Мануфактур и Торговли» полон бесчисленными, обстоятельными и толковыми статьями и заметками о торговле с Персией, Средней Азией и Китаем. Пути, по которым твердой стопой пошел российский капитализм, начиная с 60-х годов,—и которых он не бросил до XX в., несмотря на все доставленные ими разочарования,—намечались уже при Николае Павловиче. Мы вообще не собираемся писать истории русского промышленного

[1]) Что это не было официальное самохвальство, показывает отзыв того же отчета о суконных фабриках: «российские сукна до сих пор не могут выдержать совместничества с иностранными. Дешевые наши сукна не хороши, а хорошие дороги в сравнении с иностранными...».

капитализма в это царствование: интересующиеся найдут ее обзор, гораздо более обстоятельный, чем то, что могло бы быть дано здесь, в известной книге Туган-Барановского о русской фабрике. Для нас важны *социальные результаты* сказочных успехов предпринимательства купеческого в 1820-х годах рядом со столь же внезапным крахом предпринимательства дворянского. Соотношение общественных сил не могло не подвергнуться известной перетасовке. Дворянство продолжало господствовать, сильное своей массой и исторической традицией: но историю двигало уже не оно, по крайней мере не оно одно. Пришлось уступить часть места на солнце тем, кто с петровской эпохи выбыл из строя, как политическая сила. Буржуазия была еще очень далека от тех притязаний, которые услужливо формулировали за нее ее литературные глашатаи. Самое главное из этих притязаний — ограничение или даже полное упразднение императорской власти — даже и не отвечало ближайшим интересам класса, только что выдвинувшегося на историческую сцену: купечество рисковало потонуть в дворянско-крестьянском море без помощи сильной руки, не очень деликатно, — за шиворот, — но все же помогавшей ему держаться на поверхности. Союз буржуазии с правящей группой начался, собственно, еще до 14 декабря: покровительственный тариф 1822 года, сменивший фритредерский тариф 1819 (мы видели, каким общественным бедствием был этот последний в глазах российских капиталистов), всеми современниками рассматривался как одно из главных условий промышленного расцвета 20-х годов. Николаю оставалось итти дальше по тому же пути — и он это сделал. Комитет 6 декабря 1826 года занялся не только крестьянами: в своем проекте «закона о состояниях» он сделал замечательную попытку создать из крупного купечества нечто в роде промежуточного сословия между дворянством и податными классами, притом ближе к первому, чем к последним. «Именитые граждане» этого проекта получали почти все дворянские права — кроме права владеть крепостными и, разумеется, участвовать в дворянской корпоративной организации. Чтобы еще больше сгладить разницу, в состав «именитых граждан» предполагалось включить и чиновничество, кроме самого высшего: длиннополый сюртук, до тех пор почтительно стоявший на вытяжку перед всяким фраком со светлыми пуговицами, вдруг становился ему ровней и мог с ним обращаться за панибрата... Тенденции

комитета нашли себе очень рельефное выражение в замечаниях его на проект кн. Куракина, предлагавшего вовсе отнять у купечества его *сословный* характер, предоставив право торговли всем сословиям, под условием уплаты известных пошлин. «Для лучшей, прочнейшей связи в составе политического общества нужна правильная, по возможности, близкая постепенность между классами принадлежищих к оному граждан, — рассуждал комитет; — а в сем порядке наравне с другими началами *необходимо и знатное купечество*, отличающееся от простых ремесленников и мелких торгашей не только богатством и родом занятий, но и особыми, законом определенными, преимуществами и самим наименованием, с коим у многих сливаются понятия о должностях и чести». В целом виде «закон о состояниях» не прошел, — как остался мертвой буквой и другой, еще более радикальный, проект комитета 6 декабря, об уничтожении чинов. Но в русской сословной иерархии он оставил свой след — званиях потомственных и личных *почетных граждан*. Во всяком случае, тому унизительному положению купечества, на какое жаловался «благонамеренный и опытный российский коммерсант» в известной нам записке, был положен конец. Высочайшие награды стали изливаться и на купцов — правда, награды, так сказать, второго сорта: не ордена, а больше медали, если же чины, то не из крупных; но для тех, кого вчера еще в глаза самое мелкое начальство величало «аршинниками» и «надувалами морскими», это был уже большой шаг на пути к почестям. Еще гораздо важнее было то, что николаевское законодательство на первых же порах поспешило осуществить другое пожелание той же записки, организовав *мануфактурный совет* с участием представителей от фабрикантов и заводчиков — «представителей», правда, назначенных сверху, а не выборных; но важно было уже то, что буржуазия, *как класс*, получила голос при решении по крайней мере ближайшим образом касающихся ее дел. Ряд «покровительственных» мер в тесном смысле этого слова: организация мануфактурных выставок (первая была в 1829 году в Петербурге), учреждение Технологического института для подготовки высшего, служебного персонала фабрик, а позже реальных гимназий, предназначавшихся, прежде всего, для образования купеческих детей, — дорисовывает эту «буржуазную политику» Николая I, вообще интересовавшегося этой областью больше, нежели можно

было от него ожидать. Не даром он явился одним из первых пионеров железнодорожного строительства в России (правда, больше, кажется, из военных соображений — соблазненный быстротою мобилизации при железных дорогах) и был изобретателем столь популярного в русской истории кредитного билета: как бы не ассигнации, но в то же время и не настоящей металлической монеты; этого промежуточного знака хватило слишком на пятьдесят лет... [1]).

Кюстин, бывший в Петербурге в 1839 году, отмечает в своих записках, что «теперь Петр Великий в большой моде в России». Помня эту моду, он, разговаривая с Николаем, не позабыл ввернуть и Петра, — которому Николай являлся, будто бы, преемником: упоминание было принято благосклонно. Параллели николаевского и петровского царствований недавно можно было встретить и в современной нам литературе — правда, не специально-исторической. Параллель, как видим, оправдывается не одними придворными или эстетическими соображениями. Николаевская эпоха, как и петровская, представляет собою крупный этап в развитии русского капитализма: в первом случае промышленного, тогда как во втором это был капитализм торговый. Как при Петре влияние торгового капитала,

---

[1]) Реформа 1839 года рассматривается нашими финансистами, обыкновенно, как восстановление *металлического* обращения в России. Это было не совсем так даже и с формально-юридической точки зрения: размен кредитных билетов на золото был неограниченным лишь в Петербурге, в других городах не разрешалось выдавать в одни руки более известной суммы звонкой монетой (в Москве — 3.000 рублей, в провинциальных казначействах даже более 100 рублей). Само по себе уже это не свидетельствует о сильном желании николаевского правительства видеть металлическую монету в повсеместном обращении: совершенно определенное нежелание этого засвидетельствовано теми прениями по вопросу о минимальном размере кредитных билетов, какие происходили в заседании секретного комитета 17 февраля 1843 г. (См. сборник Р. И. О-ства, т. XCVIII, стр. 194 и сл.). Канкрин очень хотел пустить в действительное, а не номинальное только, обращение по крайней мере целковики — и остановился поэтому на трехрублевых билетах: мельче не было. Николай, опираясь на подавляющее большинство комитета, настоял на рублевках: таким образом, бумажные деньги продолжали циркулировать, наравне с металлическими, до самых мелких платежей. Между тем, особенностью стран, имеющих настоящее, не показное только, металлическое обращение, является именно отсутствие *мелких* банковых билетов: в таких странах, как Англия или Франция, они явились только с 1914 года.

так при Николае рост капитала промышленного привели к своеобразному и довольно сходному сочетанию сил: правившее и в том, и в другом случае, страною крупное землевладение нашло для себя выгодным вступить в союз с буржуазией,—союз, направленный, по крайней мере отчасти, против землевладения среднего. Отдав российское дворянство под надзор полиции, Николай ласкал купечество и — кажется, первый из русских царей — посетил нижегородскую ярмарку, при чем посещение было обставлено такою официальной помпой и так усердно комментировалось официальной публицистикой, что в демонстративном его характере сомневаться нельзя. Это, конечно, была одна из самых невинных «петровских» черт, какую только можно себе вообразить. Но «купеческая» политика угрожала дворянству, в более или менее отдаленном будущем, правда, и последствиями весьма серьезными. Мы видели, как носился Николай с освобождением крестьян—и как мало у него из этого вышло. Но развитие промышленного капитализма подводило к этой же самой проблеме с другой стороны—давая аргументы в пользу *экономической необходимости* реформы, если хотят, чтобы промышленность «избрала свою вековечную столицу в России». Вопрос о преимуществах «вольного», т.-е. *наемного* труда перед крепостным, как мы видели, был окончательно погребен в нашей дворянской, помещичьей публицистике с первых лет XIX столетия: доводы против барщины можно было услыхать только из академических кругов,—все хозяева-практики были за нее. Только с сороковых годов мнения на этот счет начинают колебаться—параллельно с возвышением цен на хлеб. Орган промышленников, официальный «Журнал Мануфактур и Торговли», начинает разрабатывать ту же тему гораздо раньше—уже с начала тридцатых годов. «Всякая работа, в которой *принуждение* есть единственная пружина, никогда не будет производиться успешно», читаем мы в статье «О соотношении мастеровых к их хозяевам», напечатанной в 6-й книжке этого журнала за 1832 год. Автор берет несколько воображаемых примеров фабричной организации,—останавливаясь больше всего на положении *крепостных мастеровых*. Сначала он рисует—и не без живости—вотчинную фабрику, классический образчик помещичьей индустрии XVIII века. На ней «изделия вырабатывались грубо, количество оных по числу рук слишком мало, содержание и ремонт год от году дороже, доходу меньше». Владелец сам поселился на фабрике и взял заведывание

ею непосредственно в свои руки: «он ввел лучший распорядок в работах, бережливость в хозяйстве и самую верную отчетность. Со всем тем и это мало помогло: работа производилась так же худо, небрежно, множество траты, изделья мало. Наконец, по совету добрых своих знакомых, решился он назначить мастеровым *задельную плату:* в первый же год и больше изделий, и лучшего качества! Мастеровые одни перед другими старались выработать больше и лучше, чтоб заслужить больше задельной платы. Помещик, несмотря на то, что производил жалованье своим рабочим—крепостным своим людям, чего прежде никогда не было,— увеличил свои доходы втрое и более, а вместе с тем и состояние рабочих приметно улучшилось. Теперь он открыл настоящую пружину деятельности человеческой—*собственную пользу каждого*». Затем берется случай, повидимому, более новый: помещик часть крестьян—в данном примере половину — заставляет отбывать барщину на устроенной им фабрике, вместо работы в поле, при чем фабричная и земледельческая барщина отбывается всеми крестьянами по очереди, так что каждый из них бывает попеременно то фабричным рабочим, то землепашцем. В результате разоряется как фабрикант-помещик, так и его крестьяне. Третий барин—якобы сосед второго—тоже утилизирует на фабрике труд своих крепостных, но только шесть месяцев в году и притом зимою, когда нет полевых работ,—а главное, работники получают плату, хотя лишь вполовину против вольнонаемных. «Надобно быть свидетелем, как охотно крестьяне идут на фабрику, как прилежно работают, и как успешно идет фабричное дело. Фабрика действует только шесть зимних месяцев; в прочее время действие останавливается; но помещик получает от нее более прибыли, нежели его нерасчетливый сосед, а вместе с тем и крестьяне живут в довольственном состоянии,—и все это единственно от *задельной платы*»!

Нам кажется крайне наивным этот панегирик буржуазному способу эксплоатации сравнительно с феодальным: но без такого опоэтизирования «вольного» труда нельзя себе представить крестьянской реформы. Если верить автору заметки «о состоянии рабочих в России», напечатанной в том же «Журнале Мануфактур и Торговли» за 1837 год, фабричная барщина к этому времени была признана невыгодной большинством помещиков: «благодаря богу, владельцы сами оставляют эту систему, обоюдно невыгодную, и постановляют плату более или менее высокую

за труды всякого рода». Так ли это было на всех фабриках, пользовавшихся крепостным трудом, не принял ли автор своего горячего желания за действительность,—ручаться нельзя. Но по отношению по крайней мере к одному разряду крепостных рабочих мы имеем не одни статьи и заметки, а совершенно объективный факт: очень значительное число, вероятно, даже большинство, этих рабочих сделались свободными задолго до 19 февраля 1861 года—с разрешения правительства, но по почину самих фабрикантов. Такова была участь рабочих *поссессионных*. Владение фабриками на «поссессионном» праве было компромиссом между радикальным законом Петра I, разрешавшим купцам прямо покупать крепостных к фабрикам, без всяких дальнейших ограничений, и не менее радикальным указом Петра III, категорически признававшим право владеть крепостными только за дворянами. «Поссессионные» фабрики с приписанными к ним мастеровыми могли принадлежать и дворянам, и купцам, безразлично: но владение крепостными рабочими было в этом случае обставлено целым рядом ограничительных условий. Рабочие были неотделимы от фабрики — их нельзя было продавать отдельно, как крестьян можно было продавать без земли; эксплоатировать их можно было только на фабрике,—никакую другую барщину они не обязаны были делать, и по оброку их отпустить было нельзя; наконец, владелец обязан был платить им денежную плату, размеры которой, впрочем, всецело определялись его, владельца, усмотрением. Все эти стеснения нужно, конечно, принимать во внимание, встречаясь с поразительным, на первый взгляд, фактом—настойчивого желания фабрикантов отделаться от своих крепостных рабочих. Но условия владения поссессионными фабриками были те же и в первые годы века,— и тогда поссессионное право ценилось, его добивались не только купцы, но, как это ни странно, иногда и дворяне. Переворот в положении русской промышленности к 30 — 40-м годам в том и выразился, что *право* обратилось в *бремя*, в тяжелую и скучную обязанность. Поссессионные фабриканты прямо заявляли, что присутствие «дешевых» крепостных рабочих страшно удорожает производство и мешает его расширению—препятствует им исполнять священный долг всякого капиталиста—увеличивать свою прибыль. В 1833 году казанский суконный фабрикант Осокин уверял присланного к нему на фабрику чиновника министерства финансов, что «введение прядильных и трепальных

машин чрезвычайно удешивило бы производство; тем не менее, хотя у него имеются 33 машины, готовые к употреблению, он может пускать из них в действие не более 7, так как, если бы употреблялось для работы большее число машин, то многие мастеровые остались бы совсем без дела, а плату они продолжали бы получать прежнюю». Купцы Ефимовы, владельцы шелковой фабрики, домогавшиеся освобождения своего от поссессионных рабочих в 1846 году, мотивировали это «совершенной невыгодностью производить работы посредством поссессионных фабричных, коих содержание сравнительно с вольнонаемным обходится слишком дорого и падает на цену изделий». Всего обстоятельнее разъясняли дело купцы Хлебниковы, владельцы парусинополотняной фабрики (парусинные фабрики когда-то все возникли на крепостном труде). «Как духом времени изменилось фабричное производство, введен на оных (фабриках) механизм, заменяющий ручные работы,—писали они министру финансов в 1846 году,—то и производство на фабриках работ поссессионными людьми не только неудобно, но и наносит постоянно важные убытки, да и самые при них поссессионные люди сделались уже излишними и обременительными для владельца. А потому мы, предполагая парусинополотняную нашу фабрику устроить более на коммерческих правах и выделывать изделия машинами и вольнонаемными людьми, положили приписанных к фабрике крестьян предоставить в казну» [1]). Слишком понятно при таких условиях, почему закон 18 июня 1840 года о поссессионных фабриках имел совершенно иную участь, нежели его близнец, закон 3 апреля 1842 года об обязанных крестьянах: и тот, и другой только *представляли* владельцам отпускать своих крепостных, отнюдь не принуждая их к этому. Но тогда как последним воспользовались только отдельные лица, при явном сопротивлении того класса, к которому они принадлежали, по закону 1840 года было освобождено около 15.000 душ поссессионных фабричных, т.-е. большая их половина (их всех считалось в 1826 году несколько менее 30 тысяч).

Но уже раньше, в 1835 году, вольнонаемные рабочие составляли столь видный разряд фабричного населения, что юридическое положение их нашли нужным урегулировать особым законом (высочайше утвержденное 24 мая 1835 года мнение

---

[1]) *Туган-Барановский*, «Русская фабрика», стр. 126 и 135.

государственного совета). «Положение об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму», изданное сначала для столиц и столичных губерний, но понемногу распространенное и на другие промышленные губернии (в 1840 году, например, его ввели в Тверской губернии), на долгие годы легло в основу русского фабричного законодательства. Кое-что из него сохранилось до наших дней,—например, требование, чтобы при расчете рабочие предупреждались за две недели, или чтобы правила внутреннего распорядка фабрики были вывешены на стенах фабричных помещений. При отсутствии фабричной инспекции как эти, так и другие старания «положения» оградить рабочего от хозяйского произвола имели больше, как говорится, «принципиальный» характер. Но с этой «принципиальной» точки зрения закон очень любопытен. Какой-нибудь неопытный в русских делах иностранец, читая его, ни за что не догадался бы, что большая часть фабричных рабочих того времени не перестала еще быть частной собственностью или самих фабрикантов, или помещиков, отпустивших их на фабрику по оброку. Только однажды в тексте «Положения» упоминается, что «рабочие люди», так свободно, совсем по-европейски, заключающие контракты с предпринимателями, имеют своих «владельцев»: но упоминание это направлено, характерным образом, именно к ограничению прав этих владельцев—в пользу, правда, не рабочих, а фабрикантов. Согласно § 2 «Положения» владельцы теряли право «отзывать обратно или требовать с фабрики или заведения порядившегося работника до истечения назначенного в паспорте срока, или до окончания договорного срока, если оный истекает прежде паспортного». Предприниматель, нанявший оброчного крестьянина, был таким образом, гарантирован от произвола со стороны барина этого последнего: при столкновении феодального права с буржуазным контрактом уступать должно было первое. Так далеко по направлению к «буржуазной монархии» шла уже империя Николая Павловича... Но чтобы читатель не впал в заблуждение, представляя себе эту империю чересчур буржуазной страной, надо от юридического положения «свободного рабочего» николаевской России обратиться к фактическому. У нас есть великолепный случай для этого: подробное изображение распорядков одной из очень известных фабрик того времени, «начертанное» с неподражаемым самодовольством

самим фабрикантом и апробованное высшим начальством всех фабрикантов, департаментом мануфактур и торговли. Напечатанное в журнале этого последнего «донесение» табачного фабриканта Жукова рисует нам российского пролетария тридцатых годов до такой степени опутанным «отеческим попечением» владельца фабрики, что ничего лучшего не могла бы дать не только самая благоустроенная крепостная вотчина, но даже, пожалуй, арестантские роты. Каждый шаг рабочего был обставлен бдительнейшим надзором со стороны как всевозможных наблюдателей, начиная с «украшенного крестами и медалями отставного Унтер-Офицера» (так, с большой буквы, пишет это высокое звание фабрикант Жуков) и кончая простыми сторожами, так и со стороны его товарищей; взаимное шпионство возведено было в систему и поощрялось всеми способами. «Означенные меры надзора дополняются окончательно безусловным убеждением рабочего: 1) что за сокрытие в товарище своем буйства, непотребства и похищения сокрыватель непременно увольняется вместе с сокрываемым, и 2) что открытие одного из подобных проступков непременно награждается или единовременною выдачею суммы, соразмерной важности открытия, или прибавкою жалованья. О сказанных преступлениях как старший, так часовые и всякой рабочий имеют обязанность доносить мне немедленно: о прочих же менее важных проступках старший и часовые представляют мне письменные замечания свои, в присутствии провинившихся, ежемесячно при выдаче жалованья. При сем нужным считаю дополнить, что *для поддержания взаимного согласия между рабочими доносители*, кроме старшего, часовых и дневальных, *остаются неизвестными*». «При увольнении рабочих по праздникам с фабрики все они обязаны: 1) быть у обедни; 2) после обедни, отлучаясь со двора, им не позволено ходить ни поодиночке, ни большими толпами, для того, чтобы в первом случае всякой из них имел свидетеля своему вне фабрики поведению, а в последнем большинство партии не могло внушать им ни малейшей мысли о превосходстве перед кем бы то ни было в силе физической. Если же, по приказанию моему, и отправляют куда-либо рабочих в значительном числе, то всегда сопровождает их или старший, или прикащик, ответствующий за соблюдение рабочими всевозможного благочиния». Нет надобности говорить, что на самой фабрике, во время работы, надзор был еще более пристальным. Во время

производства работы старший (упомянутый «Унтер-Офицер»), прохаживаясь по всей фабрике, находится в ней безотлучно, наблюдая, чтобы, с одной стороны, работы не останавливались без основательной причины, а с другой—чтобы не происходило между рабочими никакого крику, празднословия и препирательства. Все эти предупредительные меры приводили, по словам Жукова, к тому, что ему—как он с гордостью заявляет—никогда не приходилось прибегать к мерам карательным: на его фабрике не было даже тюрьмы, по его убеждению, составляющей необходимую принадлежность большинства заграничных фабрик. Но зачем было устраивать тюрьму отдельно, когда во всем подлунном мире нельзя было найти фабрики, которая вся, в целом, более походила бы на тюрьму?

Эта фабрично-тюремная идиллия заканчивается описанием рабочего дня в предприятии Жукова — описанием, которое интересно уже не только для характеристики положения рабочих, но—и еще более—для характеристики политического настроения их хозяев. «Работы вообще начинаются всеобщею в 6 часов утра молитвою и продолжаются до 8 часов; 9-й час употребляется для завтрака; 10, 11 и 12 продолжается работа; для обеда и отдыха назначено 2 часа; с 2 до 8 вечера работы опять продолжаются, оканчиваясь молитвою и пением какого-либо церковного песнопения или народного гимна о здравии и долгоденствии государя императора. Таким образом, сохраняя молчание и изредка прерывая его, по желанию хозяина или почтенного посетителя, какою-нибудь благопристойною русской песнею, рабочие состоят на работе 11 часов в сутки, исключая воскресных, праздничных и торжественных дней, соблюдаемых с назидательным для рабочих рачением, которое и приучает их вместе к благочестию и к тому благоговению, которым они обязаны монарху, как верные подданные, располагаемые к сердечной преданности своему государю за те отдыхи, которыми пользуются по случаю дней тезоименитства и рождения высоких особ императорской фамилии».

Если император Николай читал «донесение» Жукова, он должен был почувствовать себя вполне удовлетворенным. Буржуазные «владельцы промышленных заведений» обещали стать не худшими даровыми полицеймейстерами, нежели феодальные владельцы крепостных деревень. Развитие капитализма в России, очевидно, пока еще отнюдь не угрожало потрясением основ.

Но помещики имели разумное основание поддерживать сильную центральную власть: эта власть обеспечивала порядок внутри страны, т.-е. беспрекословное подчинение крепостного крестьянина своему барину. Только с превращением крестьянина в вольнонаемного работника на барской пашне открывалась возможность внести перемены в политический строй: оттого освобождение крестьян и сделалось интегральной частью русской либеральной программы первой половины XIX века. И поскольку экономически неосуществима была хозяйственная перемена, постольку оставалась чистой теорией и эта программа. Но наши фабриканты и заводчики сами, по собственному почину, перешли к вольнонаемному труду; в обрабатывающей промышленности это было возможно экономически. Мало того, — здесь это был единственный возможный выход, как это отлично сознавалось даже тогдашней высшей администрацией. «Везде и во все времена земледельческие и другие несложные работы, часто с пользою, производились в больших размерах людьми несвободными и по наряду, — писал еще в 1835 г. знакомый нам гр. Воронцов в одной официальной записке,—но нигде и никогда не было еще примера, чтобы таким способом получен был большой успех на фабриках». Экономическое основание буржуазно-либеральной программы здесь, таким образом, давалось само собой. Почему же, однако, здесь самой программы не было? Почему буржуазные фабриканты оказывались политически столь же консервативными, как и крепостническое (отчасти поневоле) дворянство? Мы никогда этого не поймем, если не бросим взгляда на *внешнюю политику* императора Николая I; лишь она даст нам ответ на вопрос, почему сильная власть была одинаково дорога в те дни и дворянину, и купцу — хотя по различным основаниям.

В официальной переписке кавказских властей с центральным правительством, в 30-х годах, много места занимает вопрос о закавказском транзите. С целью развития торговли в Закавказье правительство Александра I в свое время разрешило ввоз в эту часть России иностранных товаров с уплатою незначительной только пошлины: протекционный тариф 1822 г. Закавказья не коснулся. Это был подарок местной, преимущественно армянской буржуазии. Русские фабриканты смотрели на эту привилегию закавказских купцов очень косо: по их мнению, в Закавказье пропадал отличный рынок для русских

товаров, а главное, через Закавказье лежали пути в Персию и Азиатскую Турцию. Аргументируя в пользу включения Закавказья в общерусскую таможенную черту, одна докладная записка 30-х годов приводит такой пример: «Впрочем, выгоды сбыта и ценность наших изделий на Востоке могут быть доказаны оборотами тифлисского купца Посыльного, который в продолжение пяти лет приобрел огромные капиталы, доставляя в Персию ситцы, нанки и другие произведения наших фабрик». Перевранная южно-русским чиновником фамилия хорошо знакома истории города Шуи. «Мануфактур-советник А. П. Посылин, — писал по поводу шуйских фабрик известный статистик К. Арсеньев, в 40-х годах,—один из всех мануфактуристов русских в этом роде, в течение многих лет отправлял непосредственную обширную торговлю с краем Закавказским и с Персиею и имел свои фактории в Реште, Гилане и Тавризе; за честное отправление торговли он почтен самим правительством персидским и украшен орденом Льва и Солнца». Один фабрикант, специализировавшийся на торговле с Персией, это еще не много, конечно. Но есть целый ряд указаний на то, что одним Посылиным дело ни в каком случае не ограничивалось. Английский торговый агент, бывший в Персии в первой половине 30-х годов, нашел там всю торговлю в русских руках. Не только русские изделия, но и заграничные, немецкие товары с Лейпцигской ярмарки, например, проникали туда через Россию; русский «червонец» был единственной ходячей золотой монетой. Обычаи, установившиеся в торговле с русскими купцами, являлись нормой, и англичан заставляли им подчиняться. «Так русские делают, так принято в торговле с Россией», слышали они на каждом шагу. Надо прибавить, что Россия была «наиболее благоприятствуемой» державой: с русских брали минимальные пошлины. Англичане оценивали ежегодные обороты русско-персидской торговли в полтора миллиона фунтов стерлингов; русская официальная статистика 40-х годов дает около 4 миллионов рублей серебром. Но официальная таможенная статистика на Закавказской границе едва ли была особенно точной, — притом 40-е годы были временем уже упадка русско-персидской торговли. То дело, которого пионером был цитировавшийся нами английский агент, налаживание независимой от России торговой дороги в Персию через Черное море и Трапезунд, к сороковым годам было поставлено уже прочно и дало свои плоды.

«К сожалению,—продолжает писавший в 1844 г. Арсеньев свою справку о Посылине,—его торговые отправления в Персию прекратились по их безвыгодности: английские торговцы, водворившиеся в М. Азии и занявшие все торговые посты от Трапезунда до столицы персидской, овладели всею торговлею с Персией и своими фабриками наводнили и наш закавказский край». «Вообще, все шуйские фабриканты жалуются на разные обстоятельства, вследствие которых наши фабрики, не имея возможности достаточно укрепиться и усовершенствоваться без совместничества, не могут выдерживать соперничеств на иностранных рынках и должны по необходимости ограничиться сбытом своих изделий только на рынках отечественных» [1]).

То, что нам теперь кажется естественным назначением русских мануфактур, обслуживание внутреннего рынка, было результатом своего рода самоотречения. В 30-х годах русское правительство еще очень хлопотало о завоевании для русской промышленности внешнего, азиатского, турецкого и персидского рынка. Еще в 1835 году Трапезунд пытались «отбить» у англичан. «Что касается до возможности выгодного сбыта русских мануфактурных произведений в Трапезунде, то в сем случае, я полагаю, не предстоит ни малейшего сомнения,—писал русский чиновник, ссылавшийся на карьеру Посылина.—Вообще товары, назначенные для восточной торговли и привозимые европейцами, принадлежат к самому низкому разряду; достоинство их обыкновенно оценяется по наружному виду, не принимая в соображение настоящей доброты, и Германия и Англия сбывают в сих странах все то, что не может служить к потреблению Европы. А потому трудно было бы думать, что изделия наших фабрик не могут стать на-ряду с самыми посредственными их произведениями». Эту точку зрения вполне разделял и государственный совет. «Нет сомнения,—читаем мы в журнале гос. совета от 11 мая 1836 г.,—что при настоящем усовершенствовании фабрик и мануфактур, изделия наши могут начинать соперничество с иностранными, приготовляемыми собственно для азиатского торга, как в доброте, так и в цене». Воронцов, отрицательно относившийся к домогательствам мануфактуристов, насчет значения трапезундской торговли совершенно сходился со своими оппонентами: только он надеялся

---

[1]) «Журн. Мин. Внутр. Дел» 1844 г., № VII.

перевести этот выгодный торг в русские руки путем не ограничительных мер, а, наоборот, свободы торговли. Нельзя не заметить, как под именами русских администраторов — министров, генерал-губернаторов и наместников — здесь сражались в сущности интересы различных групп капиталистов. Отстаивавшие свободу торговли одесский ген.-губернатор Воронцов и кавказский главнокомандующий бар. Розен представляли собою торговый капитал, которому был важен торговый барыш и все равно было, чем торговать: русским ситцем или немецким сукном; а за спиной министерства финансов, во главе которого тогда стоял Канкрин, нетрудно разглядеть русский промышленный капитал, всего больше хлопотавший об устранении «совместничества»; пусть меньше покупают, да зато русское. В междуведомственной борьбе победа осталась за капиталом промышленным,—тариф 1822 года, вопреки Розену, был распространен и на Закавказье. В борьбе международной результат получился иной. Но прежде, чем с этим результатом примирились, интересы русской промышленности были, не всегда сознаваемой действующими лицами, но всегда ясной для сколько-нибудь внимательного постороннего наблюдателя, исходной точкой целого ряда дипломатических шагов, постепенно складывавшихся в определенную политическую линию. А на конце этой линии был Севастополь.

Царствование Николая Павловича открылось, как известно, двумя войнами: Персидской 1826 — 1828 г.г. и Турецкой 1828—1829 г.г. Обе дали известные результаты и в коммерческой области. Туркманчайский договор привел к учреждению в Персии целого ряда русских консульств и закрепил за русскими то положение наиболее благоприятствуемой нации, с которым мы уже знакомы. Адрианопольский трактат освободил русские товары в Турции от всяких внутренних пошлин, более всего стеснявших торговлю в империи султана: уплатив 5% с цены товара при ввозе на границе, русский купец далее не был уже обязан ничего платить. И в Турции, и в Персии оба трактата были не заключением, а началом: не подводили итог, а открывали новые перспективы. В Персии эти перспективы оказались довольно близкой реальностью. Народные массы в Персии отнеслись к туркманчайскому миру очень остро, — памятником их отношения осталось убийство Грибоедова. Персидская династия, наоборот, разочарованная в англичанах, поддерживавших

ее во время русско-персидской войны, не видела теперь себе другого прибежища против внутренних врагов, кроме русского императора. Россия гарантировала шаху и его наследникам неприкосновенность их положения, и русский посланник в Тегеране сделался всемогущим; параллельно с этим персидские купцы опять стали ездить за европейскими товарами на Нижегородскую ярмарку, и мы видели уже отчасти, каких хлопот стоило англичанам вернуть себе потерянную в 1828 г. позицию. В Турции дело обещало сначала пойти тем же путем. «Вполне можно сказать, что Россия на европейском востоке извлекла из адрианопольского мира всю пользу, какую только могла, — говорит новейший историк царствования Николая I, — дружественные отношения к Турции, политический компас которой определялся петербургским магнитом, исключающее почти всякую конкуренцию влияние в Румынии, Сербии, Черногории, Греции, благодарная роль защитника всех угнетенных христианских подданных Турции,—таковы были плоды политики императора» [1]). Но этого было мало: судьба, казалось, отдавала султана в такое же полное и бесконтрольное обладание России, в каком был персидский шах. У турецкого государя были внутренние враги, не менее страшные, чем у персидского. Самым страшным был египетский паша, Мегемет-Али, при помощи французских офицеров создавший себе армию и флот по европейскому образцу. После поражения турок в войне 1828 — 1829 г.г. все надежды мусульман на реванш сосредоточивались около этого военного возрождения Египта. Насколько султан Махмуд был ненавидим собственными подданными, настолько Мегемет-Али среди них был популярен. Опираясь на эту популярность и на свои военные силы, египетский паша, когда-то верный вассал своего константинопольского сюзерена (в 1827 году египетские корабли дрались бок-о-бок с турецкими против англичан, французов и русских, при Наварине), стал все далее и далее расширять сферу своего влияния, и в 1832 г. заявил притязания на Сирию. Султан имел неосторожность применить крутые меры: объявил Мегемета-Али мятежником и послал против него войско. Через несколько месяцев от султанской армии не осталось и следа, а египетская стояла почти в виду Константинополя. Порта чувствовала себя в безвыходном положении:

---

[1]) *Schiemann*, «Geschichte Russlands unter Kaiser Niokolaus I». II, 395.

но русское правительство внимательно следило за тем, что происходило на ближнем Востоке. При первых известиях об успехах египетского паши, русский представитель в Александрии дал ему понять, что Россия не потерпит не только разгрома Турции, но и вообще серьезного нарушения status quo в этих краях. А затем, сначала в Константинополе, а потом и в Александрии появился специальный уполномоченный императора Николая, генерал Муравьев, с представлениями еще более энергичного характера. Мегемет-Али воевать с Россией не собирался, его практические притязания, в сущности, не шли дальше Сирии (относительно которой русское правительство дало понять, что ею оно мало интересуется: ему важно было только, чтобы в Константинополе на месте слабого султана Махмуда не появился новый, смелый и предприимчивый государь): словом в принципе он уступил довольно быстро. Но сношения в то бестелеграфное время были медленные, — пока шла дипломатическая переписка, египетские войска тоже шли вперед, паника в Константинополе усиливалась, и Россия получила повод для внушительной военной демонстрации, сильно подействовавшей на воображение не одних турок, а и Западной Европы. Черноморский флот пришел в Босфор, и русский вспомогательный корпус высадился в окрестностях Константинополя. Злые языки поговаривали, что русские не прочь были и остаться на этих выгодных позициях. Так это было или не так, но Порта настолько была перепугана необычайной энергией своего союзника, что поспешила уступить египетскому паше все, чего он только требовал: после разговоров с генералом Муравьевым, паша, мы знаем, был склонен к умеренности. А чтобы окончательно избавиться от неудобного присутствия на Босфоре русских кораблей и солдат, турецкое правительство поспешило подписать новый договор с Россией (т. наз. Ункиар-Искелесский, 26 июня 1833 г.). Гласно, этим договором Россия и Турция обязывались взаимно охранять территориальную неприкосновенность обоих государств. Фактически, конечно, это значило, что Россия гарантирует территориальную неприкосновенность Турции — ибо трудно было себе представить случай, при котором Турция могла бы оказать России подобную услугу. Но гораздо важнее была дополнительная секретная статья: в силу этой статьи султан обязан был, по требованию России, закрывать доступ в Дарданеллы и Босфор (и, стало быть, в Черное море)

военным судам других держав. Черное море окончательно становилось русско-турецким озером, т.-е. при данном соотношении сил, русским озером, ибо Турция, как морская держава, не могла итти в счет. А султан становился сторожем на русской службе при единственной калитке из этого озера, при чем, если, по требованию России, эта калитка всегда могла захлопнуться снаружи, то, по тому же требованию — этого не было в трактате, но это разумелось само собою — она могла легко открыться изнутри. Ни французская, ни английская эскадры не могли войти теперь в Черное море без разрешения русского императора: но ничто не мешало кораблям этого последнего появиться на море Средиземном.

Ункиар-Искелесский договор наметил собою первую трещину в отношениях России и Англии, казавшихся столь прочными всего за 10 лет до этого. Уже на следующий год после его заключения английская средиземноморская эскадра явилась «производить маневры» у самого входа в Дарданеллы; маневры были очень продолжительные и обстоятельные, произведен был и примерный десант, для чего был привезен с о. Мальты специальный отряд сухопутных войск. Ряд следующих лет наполнен сплошь различными дипломатическими неприятностями, доведшими в 1836 году русского представителя в Лондоне до заявления, что «война» между Россией и Англией, «хотя и невероятна, но, тем не менее, возможна». А наиболее горячие из английских публицистов уверяли, что война не только возможна, но совершенно неизбежна, и что Англия покроет себя позором, если согласится терпеть долее то положение, в которое ставит ее Россия.

Маленький случай, подавший повод к наиболее громким и неприятным для России разговорам, дает возможность заглянуть глубже в причины этого странного, на первый взгляд, явления: неожиданной ссоры двух держав, дружба которых казалась неразрывно скрепленной не только Отечественной войной и низложением Наполеона, но и гораздо более свежим «братством по оружию» — совместным выступлением в Греции в 1827 году, когда при Наварине русская эскадра под командой английского адмирала жгла турецкий флот. В конце 1835 г. несколько английских негоциантов снарядили судно, которое должно было отвезти товары к берегам западного Кавказа: номинально русским владениям со времен Адрианопольского мира, фактически же занятым черкесскими племенами, упорно не желавшими

считать себя подданными России, войскам которой они пока удачно, в общем, сопротивлялись (западный Кавказ был окончательно покорен, как известно, в 1864 году). На английском судне официально была, главным образом, соль, неофициально было известно, что на нем отправляется груз пороху для черкесов, воевавших с русскими. Русский крейсер, посланный ловить английского контрабандиста, однако же, опоздал: порох был уже выгружен, когда он пришел. Но и не имея поличного, русские власти не затруднились конфисковать судно со всем его остальным, уже легальным, грузом и выставляли, как особую милость русского правительства, что экипаж судна не был арестован и отдан под суд за контрабанду, а отвезен даже на русский казенный счет в Константинополь. Русское правительство стало, таким образом, на ту точку зрения, что не только Закавказье, но и непокоренные еще русскими области западного Кавказа входят в русскую таможенную черту. Сами по себе черкесы были неинтересны — с ними много не наторгуешь: но, постепенно растягиваясь, русская таможенная линия обнаруживала явную тенденцию охватить все Черное море, превратив его, не только в военном, но и в коммерческом отношении, в «русское озеро». Вот отчего горячившиеся английские публицисты и получали основание говорить, что «вопрос интереса обнимает собою всю область наших коммерческих отношений с Турцией, Персией и Левантом. Три с половиною миллиона фунтов стерлингов вкладываются ежегодно в эту торговлю, и дело идет о 25 тысячах тонн нашего торгового флота» [1]). Под именем «русского варварства», о защите против которого английские публицисты взывали к общественному мнению и своей страны, и всей Европы, речь шла, в сущности, о борьбе с *русским промышленным протекционизмом.*

Тот же, сейчас цитированный нами, английский публицист ставит вопрос, во всей его широте, в другой своей статье: цитата из этой последней дает больше для понимания русско-английских отношений 30—40-х годов, чем длинные рассуждения. «В то время как британская торговля с другими европейскими государствами более или менее быстро росла, торговля с Россией оставалась на одном уровне или даже становилась менее

---

[1]) Статья — по всей вероятности, Уркуорта — в «Portfolio», т. V, стр. 87 франц. издания 1837 года.

значительной... Двадцать пять лет тому назад (т.-е., хочет сказать автор, до континентальной блокады) наш ввоз в Россию состоял всецело из английских шерстяных и хлопчатобумажных материй и из металлических изделий; в настоящее время Россия берет, вместо этого, только краски и другие сырые продукты или же колониальные товары, которые выписывают только из-за низкого фрахта, каким довольствуются корабли, приходящие из Англии. В предыдущую эпоху, о которой идет речь, Россия потребляла по два или по три миллиона (фунтов стерлингов) наших товаров. В 1831 г. она ввезла их только на 1.906.099 ф. ст., в том числе на 1.251.887 ф. ст. пряжи, для фабрикации материй, предназначенных, отчасти, для того, чтобы вытеснить наши материи с азиатских рынков; наши же мануфактурные изделия привозят теперь в Россию в количестве, впятеро меньшем, чем прежде; и однако же, население России увеличилось за этот период на десять или двенадцать миллионов душ да столько же новых подданных было включено в русскую таможенную черту». «Своими новейшими тарифами Россия почти исключила возможность ввоза английских товаров в ее пределы; она распространила эту систему на Польшу, куда шла прежде значительная часть нашего ввоза через Германию и ганзейские города. Бессарабия присоединена к русским владениям и перестала, таким образом, для нас существовать, как рынок; княжества Молдавия и Валахия (теперешняя Румыния) окружены русским санитарным кордоном, который в значительной степени упраздняет их прежнюю свободу торговли. Берега Кавказа («Черкесии» в подлиннике) получали иногда английский товар через Германию, теперь они в постоянной блокаде. Грузия была для наших продуктов, шедших с германских рынков, большой дорогой в Персию и центральную Азию; Россия нам отрезала этот путь, она не могла только лишить нас той обходной дороги, которая открылась для нас недавно через Турцию (автор имеет в виду упоминавшийся выше путь через Трапезунд,—он еще не знал, что Россия и его собирается прибрать к рукам). Каспийское море, издавна принадлежавшее государству, где торговля была свободна, теперь, с тех пор как оно перешло во власть России, потеряно для английских товаров. И Россия только-что отняла у Турции территорию всего в нескольких милях расстояния от нашей дороги в Персию, а ее влияние в Турции было и есть направлено, и с успехом, к тому, чтобы сделать

рессурсы этой страны почти бесполезными для нас и помешать нам получать всякого рода сырье из этой страны дешевле, чем из России...» [1]).

Как нарочно в это самое время главное сырье, какого искала Англия на русском рынке, хлеб, было дешево в Западной Европе. Уже благодаря одному этому, Россия была Англии более не нужна; благодаря расцвету русской промышленности после 1812 года, она была или, по крайней мере, казалась вредна и опасна. И вот, эта вредная и опасная страна обнаруживала явную наклонность расширять свое влияние в таком направлении, где лежали тогда жизненные центры колониальной Англии. К этим центрам не принадлежал еще тогда Дальний Восток: предвосхищая будущее, русские появились уже и там. Русская миссия работала в Пекине, и у Воронцова уже был готов проект — опиумом из Малой Азии через Россию вытеснить с китайского рынка английский опиум, в начале 40-х годов в буквальном смысле слова «завоевавший» себе этот рынок. Но это была почва для конфликтов скорее в будущем. В настоящем для англичан крайне неудобна была уже позиция, занятая русской дипломатией в Александрии. Египетский паша был таким же сторожем при воротах на англо-индийской торговой дороге, как султан на дороге из Средиземного моря в Черное. Уже то, что Мегемет-Али легко поддавался французскому влиянию, было неприятно: но Франция не была прямо соперницей,—мы сейчас увидим, что скорее она готовилась стать союзницей Англии в этих краях. Что Мегемет-Али начинал слушаться и русских, это был симптом гораздо более тревожный. Но когда в 1836 году русские появились в Афганистане, на самой границе Индии, а в 1839 г. гр. Перовский своим неудачным на первый раз походом на Хиву начал завоевание Средней Азии, англо-русские отношения должны были натянуться до крайних пределов [2]). С этой поры и до самого Севастополя война носится в воздухе. При чем — характерный факт, который стоит отметить — в роли наступающей стороны являлась Россия, англичане лишь отстаивали позиции, которые еще недавно казались им совершенно неприкосновенными и недоступными никакому неприятелю.

---

[1]) «Portfolio», т. II, статья «О торговом контроле, которым обладает Англия по отношению к России».

[2]) Афганский эпизод русской политики 30-х годов подробно разобран, у *Шимана*, цитир. соч., т. III, стр. 296–300.

В русской исторической литературе стало общим местом, что Россия была к этой войне не готова, что война свалилась ей, как снег на голову. После всех перечисленных фактов это свидетельствовало бы о крайней непредусмотрительности русского правительства тех дней: в этой непредусмотрительности обвинять его было бы несправедливо. Тотчас после Ункиар-Искелесского договора в 1833 г. Николай Павлович писал Паскевичу о войне с Англией, как о возможном деле. И он не только говорил об этом, а и принимал в виду этой возможности определенные практические меры. К тому же 1833 году относится новая русская судостроительная программа, согласно которой ежегодно должны были закладываться 2 линейных корабля и 1 фрегат на петербургских верфях, и 1 линейный корабль с 1 фрегатом в Архангельске. Между тем уже в 1830 году русский балтийский флот состоял из 28 кораблей и 11 фрегатов; правда, некоторые из них были очень старой постройки, но в те дни военные суда старели далеко не так быстро, как в наше время. Программа 1833 года учитывала, однако же, и те усовершенствования, какие со времени Трафальгара успели появиться в военно-морском деле. Был усилен калибр морских орудий—рядом с 36-фунтовыми были введены 48-фунтовые и даже 2-пудовые (для береговых батарей)—и число их: раньше типом линейного корабля был 74-пушечный, теперь стали строить 126-пушечные и не ниже 84-пушечных. Уже на маневрах 1836 года были военные колесные пароходы (винт тогда не был еще изобретен). Характерно, что уже в то время, и именно в России, начали, по крайней мере, говорить о желательности панцырных судов (в связи с усилением действия артиллерии). Но, не касаясь области разговоров и предположений, и то, что было в действительности, казалось достаточно внушительным. Вот, что писал, по поводу тех же маневров 1836 года, присутствовавший на них английский морской агент: «Когда я сравниваю состояние русского флота теперь и раньше и вспоминаю, как мало мы сделали в тот же промежуток времени, чтобы поддержать наше превосходство на море, я чувствую, что русские опередили нас, и что мы не можем игнорировать этот факт. Есть ли у нас флот для защиты наших берегов, который был бы в состоянии отразить такую морскую силу? И какая отличная возможность представляется для России покрыть издержки на постройку своего флота, захватив наши купеческие суда еще раньше, чем

наш военный флот в состоянии будет их защищать! Я утверждаю со всей определенностью, что в настоящее время мы не обладаем сказанным превосходством, и что нам нужно огромное напряжение, чтобы достигнуть этого превосходства по отношению к соседу, чувства которого к нам далеко не всегда дружественные, который три месяца в году сильнее нас и живет всего в 8 днях пути от наших берегов» [1]). Если прибавить сюда не менее грандиозные *оборонительные* меры: радикальную перестройку кронштадтской крепости и постройку заново севастопольской (с моря обе оказались неприступными и в 1854—1855 г.г.), перед нами развернется широкая картина военной подготовки. Считали, что ее хватит надолго—и в этом ошибались. Техническое нововведение, значение которого едва ли понимали русские морские авторитеты того времени (его не сразу поняли даже и англичане) уже к 40-м годам обессмыслило всю флотскую программу 1833 года. Этим нововведением был пароходный винт. Когда пароходы двигались исключительно при помощи колес, они, каково бы ни было их коммерческое значение, на войне не могли конкурировать с парусными судами. У колесного парохода машина помещается выше ватерлинии: достаточно одного удачно попавшего ядра, чтобы ее испортить и сделать пароход беспомощнее любого парусного судна, тогда как последнее, даже получив десятки пробоин, могло держаться на воде и продолжать бой. Оттого военные пароходы 30-х годов и предназначались не для сражений, а для посылок, разведок и т. д., их роль была вспомогательная. Машины винтового корабля расположены ниже ватерлинии и, в нормальных условиях, были неуязвимы для артиллерии противника (тогдашние морские пушки навесным огнем стрелять не могли). Линейный корабль с винтовым двигателем мог оперировать, не считаясь с направлением ветра, и с такою же уверенностью, притом, как его парусный противник: умело выбрав позицию, он мог уничтожить последнего раньше, чем тот успеет воспользоваться своей артиллерией. Выходить на парусниках против винтовых кораблей—значило итти на верную гибель: вот что иммобилизировало в гаванях огромный флот Николая Павловича в 1854—1855 г.г. Не хватало не энергии и предусмотрительности—не хватало *техники.* Но техника данной страны всегда определяется ее

---

[1]) Ibid., стр. 284.

экономическим развитием; ключ к катастрофе русской внешней политики первой половины XIX века приходится искать, как и к самой этой политике, в экономической области.

Остается выяснить один вопрос. Достаточные экономические основания для русско-английского конфликта наметились уже в 30-х годах. Слово «война» уже тогда было произнесено; а фактически война началась только в 50-х. Что отсрочило так развязку кризиса? Дело в том, что Англии никогда, ни в то время, ни после, не могла улыбаться перспектива единоборства с Россией. При ничтожности русского коммерческого флота и громадности английского, последний всегда мог в десятки раз больше пострадать от русских крейсеров, если бы только таковые оказались налицо; а мы знаем, что у Николая I кораблі были. Пусть бы их не хватило для нападений на Англию, как мерещилось цитированному нами выше английскому капитану, все же на море схватка могла гораздо дороже обойтись Англии, чем России: в то же время никаких существенных результатов эта схватка не дала бы. Достать Николая, как некогда Наполеона, Англия могла только на сухом пути: как и в дни наполеоновских войн, ей нужны были континентальные союзники. В поисках союзника на материке Европы против России заключалась основная задача, стоявшая перед английской дипломатией в 30-х и 40-х годах. Один, по крайней мере, союзник, кажется, навертывался сам собою: это была Франция. Дурные отношения Николая Павловича к Людовику-Филиппу слишком хорошо известны, чтобы стоило о них распространяться здесь. К тому же знакомый нам Мегемет-Али был почти клиентом Франции, тогда как Россия поддерживала его противника, султана Махмуда. И однако же, при Людовике-Филиппе дурные отношения между Россией и Францией никогда не доходили до открытого разрыва; а при Наполеоне III, когда личные отношения стали несравненно лучше, дело дошло до войны [1]). *Решаю-*

---

[1]) В русской исторической литературе долго держалась легенда (от влияния которой не ушел в свое время и пишущий эти строки), приписывавшая Николаю I чрезвычайно агрессивное отношение ко второй французской республике 1848—1851 г.г. и, по крайней мере, враждебное отношение к Наполеону III. Новейшие архивные изыскания — особенно книга *Edm. Bapst* («Les origines de la guerre de Crimée», Paris, 1912) совершенно разрушили эту легенду. Февральской революции в Петербурге, правда, в первую минуту сильно испугались; но когда первый испуг про-

щим моментом была не отрицательная сторона—враждебность к России—а положительная: дружба с Англией. Не только в 30-х, но даже и в 60-х годах Франция еще не отказывалась от мануфактурного соперничества с Англией, и именно на Востоке; прорытие Суэзского канала (1869 г.) даже оживило надежды на экономическое завоевание Индии французами. Пока интересы мануфактуристов господствовали над французской внешней политикой, как они господствовали над русской, солидарности между Англией и Францией было не более, чем между Англией и Россией. Еще в 1840 году отношения из-за Египта обострились чуть не до войны. Но в 40-х годах французский капитализм находит себе новое поприще. Пока существовал исключительно парусный флот, английская морская торговля была вне конкуренции; к пароходам английские моряки, на первых порах, приспособлялись гораздо медленнее—и в этой новой области морского транспорта Франция в середине XIX столетия оказалась впереди Англии. В то время как в Англии число пароходов, с 1840 по 1860 г.г., увеличилось на 417%, во Франции это увеличение составляло 613%. Открытие парового двигателя создало новую эру во французской морской торговле:

Рост французского торгового флота.

Годы.	Число судов.	Тоннаж (тысячи тонн).
1827	14.322	692
1837	15.617	679
1847	14.321	670
1857	15.175	1.052

шел, о нападении на Францию не было речи. Имп. Николай неоднократно высказывал даже, что республике он сочувствует больше, нежели монархии Луи-Филиппа. А после июньских дней 1848 г. симпатия эта так возросла, что русский государь счел возможным полуофициально (через посредство министерства иностр. дел) засвидетельствовать свои дружественные чувства правительству ген. Кавеньяка. Смена этого последнего принцем Луи-Наполеоном сначала поразила неприятно—напоминанием о Наполеоне I. Но после 2 декабря 1851 г. и он примирил с собою петербургский двор. Споры из-за титула и т. п., которым придавали прежде такое большое значение, на самом деле были лишь симптомом все ухудшавшихся по другим причинам отношений. А главной из этих причин были упорные симпатии Наполеона III к Англии, с которой он все время шел рука об руку и ради которой он не задумался нанести даже личную обиду Николаю Павловичу, не без грубости отклонив его приглашение французской военной миссии в Россию. Определяющим моментом являлся, таким образом, англо-французский союз, экономические основания которого см. выше в тексте.

Все царствование Людовика-Филиппа было, в этой области, периодом застоя. С конца 40-х годов картина резко меняется. За 10 лет Франция уходит вперед гораздо дальше, чем за предшествующие 20 [1]). *Вместе с тем интересы французского капитализма перемещаются:* вместо того, чтобы соперничать с англичанами своими товарами, для Франции становится выгоднее возить английские товары на своих пароходах. В 20-х годах участие французского флота в морской торговле Франции выражалось цифрою 29%, тогда как 80% английских товаров перевозилось на английских же кораблях. В 50-х годах первая цифра поднялась до 44, а вторая упала до 57%. И, параллельно с этим, Восток с его портами и торговыми путями вдруг стал особенно интересен для французского правительства. Почти в одно и то же время французский инженер Лессепс ставит на очередь прорытие Суэзского перешейка на французские капиталы, а Наполеон III вспоминает о традиционном праве французских государей покровительствовать проживающим в Турции католикам. Как известно, на почве вмешательства Франции в палестинские дела, по поводу этого покровительства, и произошло формальное столкновение между новым французским императором и Николаем I: ключи вифлеемского храма отперли сорок лет запертый храм бога войны. Но едва ли эти ключи имели бы такое магическое действие, если бы Средиземное море не бороздили в то время французские пароходы. А в то же время в Австрии французские инженеры на французские капиталы строили железную дорогу, и Франция оказывалась втянутой в игру с другого конца: ибо на Дунае русские были такими же антагонистами в торговле австрийцев, как в Персии и Турции — англичан. И Австрия, только что «спасенная от гибели» русскими штыками, покончившими с венгерской революцией, готовилась «изумить мир неблагодарностью», отняв у своей избавительницы устья Дуная, сжатые мертвой петлей русского таможенного кордона. Тройственный союз Англии, Франции и Австрии подготовила промышленная политика России в первой половине XIX века: и не даром, в числе прочего, Севастопольская война принесла с собою фритрэдерский тариф 1857 года. А в то же время французские инженеры явились и в Россию,

---

[1]) Не менее показателен рост торговли Марселя: в 1827 г. — 849 тыс. тонн., в 1847 — 2.932 тыс. т., в 1862 — 3.473 тыс. тонн.

строили и там железные дороги, по уполномочию парижского торгового дома Перейра и К⁰. Французский капитализм нового типа завоевал себе под стенами Севастополя новую область расширения. «Ключи» к этому времени были основательно позабыты...

2. Кризис барщинного хозяйства.

Тридцатилетняя пауза, отделяющая дворянское движение пятидесятых годов от эпохи тайных обществ, была политическим эквивалентом тех *экономических* условий, в какие было поставлено помещичье хозяйство с двадцатых по сороковые годы. Зажатому в тиски аграрным кризисом помещику было не до политики Восставать против власти, являвшейся единственным кредитором всего дворянского сословия, было бы безумием в такую минуту, когда только кредит, и возможно более дешевый кредит, мог спасти помещичье хозяйство от гибели. Тот же кризис заставлял дорожить старыми социальными формами. Даровой крестьянский труд, как бы ни был он плох, казался единственным возможным базисом крупного сельского хозяйства: и в экономике, как в политике, приходилось жить по пословице — «не до жиру, быть бы живу». Аграрный кризис сразу делал николаевского дворянина и верноподданным, и крепостником.

Под этой совершенно застывшей, на первый взгляд, поверхностью уже давно, однако, происходило движение. Живая струя пробивалась в крепостное хозяйство с той именно стороны, где сосредоточивалась вся экономическая жизнь России в первую половину николаевского царствования: из обрабатывающей промышленности. «Постоянное уменьшение требований заграничными государствами главнейших продуктов нашего земледелия, — говорит автор цитированной уже нами заметки «О состоянии рабочих в России» [1]), — так же, как более близкое изучение средств промышленных собственной страны, были главными причинами того, что помещики старались обратить часть своих людей в предприятия промышленные разного рода. *Это — почти общее направление нынешнего времени;* многие из подобных учреждений со стороны дворянства теперь украшают значитель-

[1]) «Журнал Мануф. и Торговли» 1837 г., № XI — XII.

ную уже промышленность России в важнейших ее частях». Но владелец крепостной фабрики давно уже, как мы видели на предыдущих страницах, пришел к «манчестерской» идее — о преимуществах «вольного» труда перед крепостным. Через посредство дворян-предпринимателей «манчестерские» идеи должны были постоянно проникать в дворянскую массу: и нет факта, лучше обоснованного и более общеизвестного, чем *дворянское манчестерство* сороковых — пятидесятых годов. *Барщинное хозяйство — одна из невыгоднейших форм сельскохозяйственного производства*, в один голос твердили едва ли не все «сознательные» помещики конца николаевского царствования — твердили с таким же единодушием и упорством, с каким современники Михайлы Швиткова пели панегирик этому самому барщинному труду. «Взглянем на барщинную работу, — писал трезвый и расчетливый Кошелев в «Земледельческой Газете» 1847 года, — придет крестьянин сколь возможно позже, осматривается и оглядывается сколь возможно чаще и дольше, а работает сколь возможно меньше, — ему не дело делать, а день убить. На господина работает он три дня и на себя также три дня. В свои дни он обрабатывает земли больше, справляет все домашние дела и еще имеет много свободного времени. Господские работы, особенно те, которые не могут быть урочными, приводят усердного надсмотрщика или в отчаяние, или в ярость. Наказываешь нехотя, но прибегаешь к этому средству, как к единственно возможному, чтобы дело вперед подвинуть. С этой работой сравните теперь работу артельную, даже работу у хорошего подрядчика. Здесь все горит; материалов не наготовишься; времени проработают они менее барщинского крестьянина; отдохнут они более его; но наделают они вдвое, втрое. Отчего? — Охота пуще неволи». «Смело можно сказать, — писал в 1852 году псковский помещик Воинов, — что *в хорошо управляемых барщинах* три четверти барщинников отвечают и за себя, и за других, т.-е. что *работы утягиваются, по крайней мере, на четвертую долю времени*». К концу пятидесятых годов подобные рассуждения становятся общим местом. Редакционные комиссии исходят, как из аксиомы, из положения, что вольнонаемный труд несравненно производительнее обязательного. Полемизируя с редакционными комиссиями, Унковский в основу своих расчетов кладет тот, по его мнению, неоспоримый факт, что наемных работников помещику, после эмансипации, понадобится лишь *две*

трети, сравнительно с числом барщинных крестьян. Многие утверждают, что помещики при этом обойдутся только половиной, говорит Унковский: лишь во избежание ошибки он принимает две трети. Во времена редакционных комиссий доказывать подобного рода вещи значило ломиться в открытую дверь: двадцатью годами раньше такие доказательства казались не бесполезными, и стоит привести несколько статистических примеров из известной записки Заблоцкого-Десятовского, относящейся к 1840 году. «В Тульской губернии у помещика А-ва дается на каждое тягло по 2 дес. в каждом поле, 1 десят. покосу и 1 десят. под усадьбу; всего 8 десят. В том же имении свободная земля отдается в наем по 19, 20 и даже 22 руб. за десятину. Положив еще менее, 18 руб. за десятину, *каждое тягло стоит помещику 144 руб.* Следовательно, годовой работник с работницей будут стоить 288 руб. (так как тягло дает в этом имении три рабочих дня в неделю). В тех же местах хорошего работника и работницу можно нанять за . . . . . 60 руб.

Пища им . . . . . 40 »
Процент издержки на лошадь, сбрую, орудия, наконец, на помещения сих людей могут быть оценены не свыше . . . 70 »

Итого 170 руб.

Следовательно, менее против крестьянского тягла на 118 р.» В Московском уезде один благоразумный и проницательный владелец обрабатывал одну часть своей земли крепостными, а другую — наемными работниками. По его расчислению, переведенному на рожь, оказалось:

тягло крепостное стоило помещику . . . . . 21 четв. ржи.
вольнонаемные мужчина и женщина . . . . . 20½ » »

Доходу помещик получал:

от крепостного тягла . . . . . 15½ » »
от вольнонаемных работника и р-цы. . . . . 43 » » [1])

Тут же рядом приводятся примеры буржуазных (купеческих) хозяйств, дающих 15—20, а одно так даже 57% на оборотный капитал. В этом последнем имении — для него даются подробные расчеты — на каждого работника пахалось более 9 десятин, тогда как в соседнем имении кн. К-в «при самой усиленной барщине

[1]) *Заблоцкий-Десятовский* «Гр. П. Д. Киселев и его время», т. IV. «Приложения», стр. 281—283.

(на помещика обрабатывается вдвое больше, нежели на крестьян), ежегодная запашка на одного работника простирается не свыше 5 десятин».

Мы не будем входить в обсуждение того, насколько были правильны все эти расчеты: для нас важно, что так *думали* все помещики тех лет, которые вообще думали о своем хозяйстве, а не вели его по рутине. Критиковать Заблоцкого-Десятовского мы собираемся так же мало, как мало мы критиковали Швиткова. Один факт неоспорим: буржуазная идеология сделала, за время кризиса, обширные завоевания в умах владельцев крепостных имений. Когда же кризис, к концу сороковых годов, начал слабеть, русское помещичье хозяйство оказалось лицом к лицу с условиями конкуренции, совершенно непохожими на то, что было в дни Александра I. Место России на европейском хлебном рынке оспаривалось целым рядом *буржуазных* стран, — европейских и внеевропейских, — и соперничество с ними вело неизбежно к тому же выводу: необходимости перехода к буржуазным отношениям и в самой России. «С уничтожением в Англии переменных пошлин с иностранного хлеба, — говорит один современный автор, — соперничество для русских портов вообще и в особенности для южных неимоверно усилилось, потому что даже страны, не принимавшие никакого участия в хлебной торговле или мало занимавшиеся земледелием, с усилием принялись за этот промысел. Египет восстановил плодородие своей почвы и начал стремиться к сбыту хлебных продуктов; отпуск хлебов из дунайских княжеств еще более усилился; в Румелии жители принялись за земледелие для сбыта продуктов за границу; даже Северо-Американские Соединенные Штаты (очень хорошо звучит это «даже» для читателя начала XX века...) стали с большою пользою сбывать свою муку и кукурузу в Западной Европе. При таких обстоятельствах сердце русского человека невольно сжималось от опасений насчет будущей участи как здешних портов, так вместе с тем и самого благосостояния южной и западной России, преимущественно земледельческих» [1]).

Сердце русского человека сжималось напрасно; на вновь открывшемся с конца сороковых годов хлебном рынке всем

[1]) «Хлебная торговля в черноморских и азовских портах южной России», «Журн. Минист. Внутр. Дел», 1854 г., часть IV.

нашлось место, и конец аграрного кризиса открыл самые блестящие перспективы, именно перед южной и юго-западной Россией. Горизонт действительно омрачился только гораздо позже, лет тридцать спустя, когда случайно забредший на европейскую хлебную биржу чужестранец, янки, начал на этой бирже самодержавно царствовать, диктуя цены русскому помещику, как и прусскому юнкеру. Пока за ближайшую будущую участь русского сельского хозяйства опасаться не приходилось. Некоторое ослабление кризиса чувствовалось уже с конца тридцатых годов, как покажет следующая маленькая табличка:

Средняя ценность русского хлебного вывоза за 1824—1838 г.г. (по Кеппену).	Вывоз:		
	1836 г.	1837 г.	1838 г.
30.171.000 руб. ассигн.	25.498.000 руб. ассигн.	38.929.000 руб. ассигн.	53.048.000 руб. ассигн.

Вывоз за 1838 год был слишком вдвое выше, по ценности, вывоза 1836 года и почти вдвое выше среднего за пятнадцать лет. Хлебные цены тоже окрепли: «цена на пшеницу в С.-Петербурге возвысилась от 22 до 31 рубля за четверть, в Риге от 22 р. 50 к. до 36 р., а в Одессе от 18 до 26 р. за четверть. Возвышение цен на рожь в С.-Петербурге и Риге также было значительно» [1]). Но настоящую революцию на хлебном рынке произвели отмена хлебных законов в Англии и знаменитый неурожай в Западной Европе в 1846 и 1847 г.г. С первого из этих фактов цитированный уже нами автор статьи о хлебной торговле в портах южной России начинает новый период своей истории. «Последний период, — говорит он, — начинается уничтожением или изменением в Англии, а после в Бельгии, Голландии и других государствах переменных хлебных пошлин. *Торговля этим продуктом становится прочною и может быть вернее рассчитанною, чем другими статьями ввоза.* Закон этот обеспечивает не только самих торговцев хлебом, тех, у кого они покупают его, и тех, кому продают, но даже развивает обмен в таких размерах, какие до тех пор были неизвестны». Катастрофическое значение 1847 г. покажет следующая табличка:

[1]) «О внешней торговле России 1838 года». «Журнал Мануфактур и Торговли» 1839 г., № 8.

Года.	Цена четверти пшеницы				Цена четверти ржи			
	В Одессе.		В Тамбовской губ.		В Одессе.		В Тамбовской губ.	
	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
1846	5	93	4	37	3	44	1	94
1847	8	14	4	42	4	17	4	42
1848	5	42	6	34	3	50	3	65
1849	5	74	4	66	3	56	1	96
1850	5	57	6	10	3	28	2	12

Мы видим, до какой степени мало обоснованным является утверждение, заимствованное некоторыми новейшими исследователями у Кеппена, будто отпуск хлеба за границу не играл никакой или очень незначительную роль в хлебной торговле дореформенной России. Сам Кеппен прекрасно опроверг наиболее эффектный из своих аргументов — ничтожную, относительно, цифру вывозимого хлеба (менее «сотой части количества, нужного для потребления самой империи»). По его расчетам, вообще на рынок могло поступать в России не более 10 миллионов четвертей всякого хлеба, при общем среднем урожае около 180 миллионов. И, однако же, «сей-то остаток (немногим более 5%!), большим или меньшим на него требованием, имеет в обыкновенные годы такое сильное влияние на цены хлебов». Катастрофически быстро вздувшийся в конце 40-х годов спрос на хлеб за границей произвел настоящий ураган на внутреннем хлебном рынке. Потрясение испытал даже такой национальный хлеб, как *рожь*, в один год поднявшаяся в Тамбове (мы нарочно выбрали этот медвежий угол) в *два с половиною* раза, — принимая цену 1846 года за 100, мы для 1847 имеем 228, — и лишь постепенно дошедшая снова до нормального уровня. Но по отношению ко ржи, несомненно, действовали «возмущающие факторы»: местный урожай или неурожай и внутреннее потребление. Скрещение этих «возмущающих факторов» с влиянием заграничного спроса приводило к тому, что, например, в Петербурге цены на рожь за весь конец 40-х годов только «держались твердо», не показывая больших колебаний ни в ту, ни в другую сторону: около 6 рублей серебром за четверть (тогда как средняя цена за пятнадцатилетие 1824—1838 г.г. была 4 р. 25 к.) [1]. Что

[1]) Но на первых порах и в Петербурге толчок почувствовался сильно. «Цена на хлеб возвысилась почти вдвое».

касается *пшеницы*, хлеба вывозного по преимуществу, колебания ее цены, в зависимости от заграницы, поражают своею правильностью: стоило Одессе поднять отметку, как Тамбов, с опозданием ровно на год (читатель не забудет, что железными дорогами между Тамбовом и Одессою тогда и не пахло), реагировал на это отметками, повышенными, от полноты черноземного чувства, еще сильнее. Как ни убедительна статья Кеппена своею массой точных, превосходно подобранных цифр, она все же является чисто публицистическим этюдом — отражением той агитации в пользу постройки железных дорог, которая с такою энергией велась в конце 30-х годов и так жалко разбилась о каменный лоб окружавшей Николая «знати».

Влияние катастрофы 1847 года могло бы быть преходящим — если бы она не была лишь обострением конъюнктуры, создавшейся более длительными и устойчивыми причинами. Оттого, хотя цены и упали несколько после первой горячки, раз данный толчок продолжал действовать и после того, как горячка миновала. Считая цены 20-х годов за 100, мы получаем для последующих десятилетий следующие прогрессивные повышения:

десятилетия	пшеница	рожь
1831—40	113,84	115,70
1841—50	138,06	141,26
1851—60	174,14	190,13 [1]).

	Пшеница за четверть.	Рожь за четверть.
Сентябрь. 1846	8 р. до 9 р. 15 к.	5 р. 25 к. до 5 р. 75 к.
Май . . . 1847	13 р. » 14 р. 30 к.	8 р. 90 к. » 9 р. 15 к.

Автор цитируемой здесь статьи («Цены на хлеб в С.-Петербурге и в низовых губерниях», «Журнал Мин. Внутр. Дел», ч. XVIII) сетует, что черноземные губернии совсем не воспользовались благами новой конъюнктуры, — и приводит низкие хлебные цены низовых поволжских губерний, как доказательство этого. Но доброе русское сердце и в этом случае слишком поторопилось сжаться: год спустя благодать западно-европейского неурожая дошла и сюда. В 1846 году четверть *ржи* стоила:

	В Саратовской губ.	В Казанской губ.	В Симбирской губ.	В Пензенской губ.
	1 р. 28 к.	2 р. 05 к.	2 р. — к.	1 р. 80 к.
А в 1848:				
	3 » 56 »	3 » 86 »	4 » — »	4 » 30 »
Четверть пшеницы:				
1846 г.	2 р. 87 к.	3 » 10 »	3 » — »	?
1848 »	5 » 09 »	5 » 20	5 » — »	?

[1]) *Hansen*, цит. сочин.

Это — колебания цен на берлинской бирже: но как и в 1847 г., заграница продолжала революционизировать нашу хлебную торговлю, а за нею и наше сельское хозяйство. Русский хлебный вывоз рос со сказочной быстротой. 1838 год, как мы знаем, был исключительно хорошим годом по вывозу: однако же в этом году было вывезено только 20 с небольшим миллионов пудов пшеницы. Тогда как в 1851 году было вывезено более 22 миллионов пудов, в 1852 — с лишним 40 миллионов и, наконец, в 1853 — 64½ миллиона! И, как это было и в области цен, движение масс хлеба за границу сдвигало с места еще большие массы внутри России. По данным главного управления путей сообщения, было отправлено по водным путям России:

	в 1851 г.	в 1852 г.	в 1853 г.
	Тысячи четвертей.		
Пшеницы . . .	2:542	4:761	6:061
Ржи	1:095	2:454	2:362

Этим цифрам нельзя, конечно, придавать абсолютного характера: одна и та же четверть ржи или пшеницы отмечена здесь по нескольку раз — однажды в Саратове, например, другой раз в Рыбинске, третий — на Вышневолоцком канале. Но *отношение* они иллюстрируют отлично: за три года *обороты с хлебом* увеличились в *два с половиною раза.*

Из аграрного тупика Россия, наконец, вышла. Ее провиденциальное назначение — быть «житницей Европы», — наметившееся в первой четверти столетия и столь скомпрометированное потом, к началу третьей четверти не оставляло, повидимому, более никаких сомнений. Крепостное имение вновь заработало для рынка, энергичнее, чем когда бы то ни было: странно было бы, если бы это не отразилось на *внутреннем строе этого имения*, — притом не отразилось в совершенно определенном смысле. *Крупное сельское хозяйство на крепостном труде становится все более буржуазным:* в нем все большую и большую роль начинает играть капитал. Задолженность дворянского землевладения достигла уже очень значительных размеров во время кризиса: к 1833 году было заложено в различных кредитных учреждениях того времени (государственный заемный банк, опекунские советы и приказы общественного призрения) около 4 миллионов душ крепостных крестьян: под эти души было выдано казною до 950 миллионов рублей ассигнациями — около

270 милл. р. серебр. Этим путем дворянство добывало деньги, ставшие уже для него необходимостью, за невозможностью добыть их путем нормальным посредством сбыта своего хлеба на рынке. Кто читал переписку Пушкина, тот помнит, как часто в ней говорится о деньгах. По ней мы можем составить себе довольно наглядное представление о размерах денежного запроса у тогдашнего высшего дворянства, к которому не принадлежал, но за которым вынужден был тянуться Пушкин. В одном месте он определяет свой минимальный годичный расход в 30.000 рублей; в другом говорит о 80.000, как о пределе своих желаний, — имей он их, он был бы удовлетворен вполне; упоминаются и 125.000, но это уже как мечта, по поводу доходов одного приятеля — вовсе не из самых богатых помещиков, однако имевшего столько. Чтобы эти цифры были для нас понятнее, надо перевести ассигнационные рубли 30-х годов в довоенные: т.-е. помножить их на $^3/_4$, — потому что таково приблизительно отношение тогдашнего ассигнационного и металлического XX в. рублей. Выйдет, что девяносто лет назад 60.000 рублей считались только-только приличной рентой для большого петербургского барина. Само собою разумеется, что имения, как самого Пушкина, так и всех его родных, о которых упоминается в письмах, были в залоге, — и мы застаем иногда поэта за весьма прозаическими хлопотами об уплате процентов в ломбард. Но не одни важные петербургские господа были в долгу, как в шелку: тот провинциальный сосед, по поводу которого Пушкин трунил над женой, — «человек лет 36, отставной военный или служащий по выборам, с пузом и в картузе», словом, совсем не аристократ, — «имеет 300 душ и едет их перезакладывать по случаю неурожая». С возвышением цен на хлеб, в конце 40-х годов, помещичьи денежные затруднения, казалось, должны были бы кончиться: и если бы дворяне занимали исключительно с потребительными целями, как обыкновенно думают, это должно было бы отразиться понижением их задолженности. Не тут-то было — она росла еще быстрее. С 270 миллионов рублей (уже серебряных на этот раз) в 1833 г. она поднялась до 398 миллионов к 1855 году и до 425 миллионов — к 1859-му. К этому году уже 65% всех «душ», принадлежавших помещикам, были в залоге, и были губернии, где незаложенное имение являлось редкостью. И это как раз были губернии *черноземные*, где в силу требований международного рынка имение все больше и больше пре-

вращалось в «хлебную фабрику». На первом месте в списке стоят губернии: Казанская (84% заложенных душ), Орловская, Пензенская и Саратовская (80%), Тульская, Калужская, Рязанская, Тамбовская (все более 70%). Их ряд нарушается только одним исключением — но оно стоит правила: выше трех последних губерний, по задолженности, стоит Пермская — старинное гнездо горных заводов, работавших исключительно на крепостном труде. На черноземе и на Урале кредит был почти исчерпан — а потребность в капиталах не только не уменьшилась, а с каждым годом оказывалась более жгучею. Вопрос: *откуда достать денег на дальнейшее ведение хозяйства?* стал вопросом классового самосохранения русского дворянства. На такой почве возник первый *практический* план крестьянской реформы, исходившей не от юридических или моральных соображений, а от чисто экономического расчета. Этот план принадлежал крупнейшему, без сомнения, представителю старого крепостнического капитализма — богатому рязанскому помещику и откупщику Кошелеву. Мы видели далекого предтечу этого плана в декабристе Якушкине, но что тот делал или собирался делать по мелочам и кустарным способом, теперь проектировалось в грандиозном масштабе и должно было осуществиться силою государственной власти. *Продать крестьянам их свободу и вместе те наделы, которыми они пользовались при крепостном праве* — и, этим путем расквитавшись со старым долгом, получить новый такой же капитал, уже не в долг, а без возврата: такова была основная идея этого гениального плана, под пером дворянских и буржуазных публицистов получившего красивое название — «освобождения крестьян с землей». По расчетам Кошелева, несколько даже преувеличивавшего задолженность помещичьего землевладения, это последнее, переведя весь свой долг на освобожденных крестьян, могло приобрести еще до 450 миллионов рублей серебром, сохранив при этом в неприкосновенности совершенно очищенную от всяких долгов барскую запашку. Мы увидим, что проекты Кошелева немногим отличались от того, что действительно реализовало 19 февраля — притом отличались в сторону большей скромности: помещикам удалось получить больше, нежели надеялся самый расчетливый и предприимчивый из их представителей. Правда, при этом помещики теряли право и на подневольный, барщинный труд крестьян, но этот труд ценили настолько низко, преимущества буржуазного способа-

ведения хозяйства настолько били в глаза, что — факт, неоспоримо засвидетельствованный с разных сторон — *в черноземных губерниях имение без крестьян ценилось не дешевле, а иногда и дороже имения с крестьянами*. Быть может, не ценя вовсе этих последних, дворяне манчестерского направления и ошибались: в этом желали бы нас уверить некоторые исследователи — хотя, нужно сказать, такая массовая ошибка явилась бы событием, в истории совершенно исключительным. Но для интересующегося историей, а не теорией хозяйства, важен самый факт: *все так думали*, и сообразно со своим убеждением поступали. Поперек дороги освобождению крестьян стояла теперь только *косность* наиболее отсталых слоев дворянства: сила их инерции была настолько велика, что вынудила ввести в реформу ряд оговорок, позволявших, местами, свести «освобождение» на-нет,— но все же не настолько, чтобы остановить реформу в принципе. Последняя была бы мыслима в 1854 году совершенно так же, как и в 1861-м: если понадобилось семь лет отсрочки и четыре года борьбы для того, чтобы прогрессивная часть дворянства могла осуществить свой план, в этом виновато было не *общество, а правительство*, употребляя ходячую терминологию. Правильнее выражаясь, та социальная группа, которая стояла у власти с 1825 года и, не обнаружив больших политических талантов в предшествующее время, к пятидесятым годам кончила, как политическая сила совершенным банкротством.

Между тем, кошелевский план предполагал непременное участие правительства во всей операции. Читатель, вероятно, давно уже задался вопросом: почему, если помещики находили «вольный» труд выгоднее барщинного, не освободили они попросту крестьян собственными средствами, пользуясь законом 1803 года? Юридически, никто им не мешал это сделать, но экономически предприятие было совершенно неосуществимо. Для ведения хозяйства на «вольном» труде помещику нужны были деньги: не менее 50 рублей на «душу» старого счета, по вычислениям того же Кошелева. Откуда бы достал эти деньги помещик? Владелец оброчного имения, где крестьяне, привыкшие ходить в отхожие промыслы, ценили свою индивидуальную свободу, мог заставить их путем всяческого законного и вне-законного давления эту свободу выкупить. Но кризис как раз был в барщинных, а не в оброчных имениях; владельцы оброчных имений относились

весьма безразлично к реформе, ничего не менявшей в их хозяйстве. Откуда бы достали денег барщинные, не ходившие в отхожие промыслы, мужики — даже предположив, что у них явилось бы массовое стремление *купить* себе свободу — в чем можно сомневаться: как увидим ниже, они, повидимому, предпочитали другие способы освобождения. Далее, как было их уверить, что земля, на которой они и их отцы сидели испокон веку, не их, крестьянская, а помещичья — и ее еще нужно купить у помещика? Как было перевести на крестьян долги землевладельцев — долги *государственным* учреждениям — не получив согласия государственной власти? С какой точки зрения ни подойти к вопросу — решить его можно было только при содействии правящего центра, совершенно независимо даже от *размеров* операции, далеко превышавшей средства не только частного лица, но даже, по тогдашним временам, любой частной компании или общества. Как ни отрицательно относились к «чиновникам» помещики кошелевского типа, без «чиновников» нельзя было двинуться с места. Но в начале пятидесятых годов оказалось, что николаевские чиновники, после двадцатилетней возни с проектами освобождения крестьян, никуда двигаться не желают: что пока власть остается в тех руках, в чьих она была до сих пор, никакого содействия от нее прогрессивные дворяне ждать не должны.

Мы видели, что николаевское правительство отнюдь не было анти-буржуазным по своим тенденциям: что оно, напротив, опиралось на буржуазию и служило ее интересам, насколько умело. Но оно делало это не даром: оно требовало, чтобы и буржуазия служила ему — отказалась от либеральных тенденций, которые не были ей чужды в 20-х годах, и сделалась «опорой порядка». Что касается русской торговой и промышленной буржуазии, она выполнила это условие: облагодетельствованные запретительным тарифом, награждаемые медалями и чинами, наши буржуазные заводчики и фабриканты 30-х и 40-х годов не рассуждали более о конституции и ревностно насаждали благонамеренность в среде эксплоатируемых ими рабочих, — мы это видели на примере Жукова. Но буржуазия, как *европейская* сила, все более и более оказывалась в противоположном Николаю лагере: он мог в этом убедиться и во время польского восстания 1831 года, когда так ярко сказались симпатии французской буржуазии к полякам, и бесчисленное количество раз

после. Даже не буржуазные европейцы, как Кюстин, несмотря на все попытки их «приласкать», не поддавались очарованию и, вернувшись домой, писали и печатали о Николае вещи, которых не в силах были опровергнуть тогдашние официозные публицисты: и тот колоссальный успех, каким пользовались их книжки (книга Кюстина «Россия в 1839 году» выдержала в три года три издания — не считая контрафакций), еще резче подчеркивал отношение европейского общественного мнения к Николаю. Вот отчего тень мысли о зависимости от западной буржуазии была для Николая и его окружающих совершенно невыносима. К каким последствиям вел этот социальный антагонизм в экономической области, показывает известный эпизод с *железными дорогами*. Вопрос об их постройке возник у нас в то же время, как и в других континентальных странах: русские расстояния слишком на это наталкивали. Тогдашняя публицистика видела в паровом транспорте единственный выход из аграрного кризиса. «В наше время главным средством к усовершенствованию гражданского быта можно считать облегчение сношений, — писал Кеппен в 1840 году. — Расстояния чрез то уменьшаются, тяжести удобно перевозятся с одного места на другое, фабрики отдаляются от городов, путешествия делаются прогулками, и человеческая жизнь становится соразмерно продолжительнее... Россия, в своем юношеском могуществе, поспешает вслед за прочею Европою. Необходимость облегчения сообщений и у нас давно уже признана, и с какою деятельностью стараются об улучшении больших дорог! *Теперь наступило время пароходства и дорог железных;* в непродолжительном времени и по России устроится сеть новых дорог сего рода: что ныне кажется еще мечтою, скоро может сделаться истиною и необходимостью... Когда мы будем иметь средства с удобностью перевозить наши произведения, тогда сбыт их облегчится, и цены произведений лучше будут держаться на степени, выгодной для поселянина». Николай Павлович лично на себе испытал ужасы тогдашнего бездорожья: один раз, в начале тридцатых годов, он ехал из Рязани в Москву (200 верст) — двое суток! Другой раз его коляска опрокинулась на ухабе, и он несколько недель должен был пролежать в уездном городе Чембарах со сломанными ребром и ключицей. Лично ему очень улыбалась постройка железных дорог, между прочим, с военной точки зрения: быстроты мобилизации. Тешила его

и перспектива: съездить пообедать в Москву, и к ночи вернуться домой (перспектива, слишком, конечно, смелая и для теперешних русских железных дорог). Но все это моментально затуманилось, как только возник вопрос: на какие деньги будет строиться русская железнодорожная сеть? Оказывалось, что без проклятой буржуазной Европы не обойдешься: окружающие, с министром финансов Канкриным во главе, немедленно указали на это Николаю. Тому так нравились железные дороги, что он пробовал спорить,—но по существу, видимо, убедился доводами своих министров, потому что план постройки целой сети канул в воду. Решились строить пока одну дорогу, экономически наименее важную, между прочим,— из Петербурга в Москву,— которую можно было соорудить средствами казны. Канкрин, правда, был и против нее: по его мнению, Николаевская железная дорога «не составляла предмета естественной необходимости, а только искусственную надобность и роскошь», усиливавшую «наклонность к ненужному передвижению с места на место, выманивая притом излишние со стороны публики издержки». Но Николай настоял.

Страх перед вторжением в Россию европейских капиталов, с точки зрения тех, кто правил страною при Николае, имел хорошие основания: вся «система» Николая Павловича могла держаться, как консерв, только в герметически закупоренной коробке. Стоило снять крышку — и разложение началось бы с молниеносной быстротой: эра буржуазных реформ 60-х годов доказала это на опыте. Но в такой грандиозной финансовой операции, какой рисовалась выкупная, немыслимо казалось обойтись без заграничного кредита. А затем переход к капиталистическому сельскому хозяйству вел немедленно же опять-таки к постройке железнодорожной сети — где снова без европейских капиталов было не обойтись. Как видим, реформы 60-х годов представляли собою органическое целое, и это целое было сплошным отрицанием николаевской системы, основным положением которой являлась изоляция России от внешнего мира. Не Николаю было разрушать то, что он тридцать лет создавал. Европейская буржуазия — а с нею буржуазный строй вообще — могла проникнуть в Россию только через его труп.

Было бы интересной задачей проследить, как это «антиевропейское» настроение, постепенно развиваясь в Николае, поглотило его под конец всецело — так что кроме мятежной

Европы он не в состоянии был видеть и понимать что бы то ни было. Мы оставляем эту задачу биографам Николая Павловича: для нашей цели достаточно отметить, что кульминационный пункт этой европофобии совпал как раз с тем моментом, когда крестьянская реформа сделалась вопросом насущным для *правящего* класса России — для дворянства. Как ни странно это может показаться, но революция 1848 года заставила Николая позабыть о дворянстве. По случаю этой революции был издан известный манифест, кончавшийся чрезвычайно странной для подобного документа, цитатой: «С нами бог! Разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами бог»! Уже одна эта фраза свидетельствовала о совершенном нарушении душевного равновесия у писавшего: манифест от первой до последней строки был написан самим императором и лишь подвергся некоторой, чисто стилистической, обработке со стороны статс-секретаря бар. Корфа. Современники рассказывали чрезвычайно выразительный анекдот о том, как в Зимнем дворце узнали о падении июльской монархии. При дворе был бал — последний бал сезона, когда придворная молодежь спешила навеселиться и натанцоваться на весь великий пост. В разгаре танцев в залу вдруг вошел император с какой-то бумагой в руках и громовым голосом обратился к наполнявшему залу гвардейскому офицерству: «Седлайте лошадей, господа! Во Франции провозглашена республика». Действительность всегда не так эффектна, как легенда,—очевидцы удостоверяют, что император, войдя в залу, произнес несколько отрывистых слов, *которых никто не понял*, и лишь из разъяснений приближенных к государю присутствовавшие узнали, в чем дело. Весть о новой республике так подействовала на Николая, что он потерял способность к членораздельной речи! В таком состоянии он сел писать свой манифест,—и тут случилось то, о чем мы начали рассказывать, со слов того же Корфа: о дворянстве, вернейшей опоре престола, не было в манифесте ни звука — хотя к кому же, казалось бы, было воззвать против дерзко поднявшей свою голову демократии? Корф почтительно осмелился указать своему государю на пробел: о дворянстве всегда говорилось в подобных случаях, и полное умолчание о нем теперь могло быть истолковано в дурную сторону. Но Николай настолько проникся содержанием составленного им документа (когда Корф перечитывал манифест, царь плакал), что не в силах был изменить ни единой

строчки. Споря с Корфом, он — как это ни удивительно еще более!—сам впал в некоторого рода демократизм. «Нет, право, и так очень хорошо, — говорил он; — *если упоминать отдельно о дворянстве, то прочие состояния могут огорчиться*, а ведь это еще не последний манифест,—вероятно, что за ним скоро будет и второй, уже настоящее воззвание, и тогда останется время обратиться к дворянству»... Он и действительно потом обратился с нарочитой речью к петербургскому дворянству, — и отмеченный Корфом досадный пробел свидетельствовал, конечно, не о демократизме Николая, а о том, насколько он мог позабыть все на свете, увидав перед собой красное знамя революции. И вот, в довершение всего, дворянство оказалось наиболее задетым результатами *внешней* политики Николая. Мы видели, какое значение имел для русского помещика хлебный вывоз, особенно вывоз пшеницы. Так вот, этот вывоз, благодаря войне, упал с 42.995.000 бушелей в 1853 году до 7.662.279 бушелей в 1854 г. и 2.005.136 бушелей в 1855 г. [1]). Цены на пшеницу в черноземных губерниях упали до уровня начала 40-х годов и даже ниже (в Саратове, например, до 2 р. 36 к. за четверть — а в 1846 г. четверть пшеницы там стоила 2 р. 87 к.; в Тамбове до 3 р. 64 к.—против 4 р. 37 к. 1846 г.). «Едва уменьшилась наша вывозная торговля, — писал в апреле 1855 года Кошелев в записке, представленной им Александру II, — и она, составляющая менее, чем двадцатую часть наших денежных оборотов, так подавила всю внутреннюю торговлю, что чувствуется тяжкий застой везде и во всем. При неурожае, почти повсеместном, цены на хлеб во всех хлебородных губерниях низки, крестьяне и помещики едва в состоянии уплатить подать и внести проценты в кредитные установления. Мануфактуристы уменьшили свои производства, а торговцы не могут сбыть на деньги свои товары». Все это никак невозможно объяснить непредвиденными последствиями начатой войны: что война с Англией приведет именно к этим последствиям, легко было предвидеть по всем предыдущим примерам. Но дворянство должно было принести эту жертву на алтарь *промышленного империализма*. Жертва осталась бесплодной: разорив помещика, не обогатила купца, и у того же Кошелева мы встречаем истинно «пораженческие» строки.

[1]) *Rubinow*, «Russia's wheat trade», Washington, 1908. Бушель, пшеницы — около полутора пуда (62 фунта).

Но объяснение наше было бы далеко не полным, если бы, оценивая позицию Николая в ставшем практически с конца сороковых годов вопросе об освобождении крестьян, мы позабыли исходную точку всей его социальной политики вообще: поддержание «порядка» во что бы то ни стало. Мы видели, что полицейская точка зрения — желание вырвать почву из-под ног у революции — с самого начала доминировала над крестьянским вопросом, как понимал его Николай Павлович. Еще в 1844 году, настаивая на освобождении дворовых, он на первый план выдвигал особую зловредность того развращенного и своевольного разряда населения, который представляют собою дворовые, ходящие по оброку. Революция 1848 года оживила эту полицейскую точку зрения почти до той силы, какую она имела на другой день после 14 декабря. В бумагах Погодина сохранилось чрезвычайно характерное освещение крестьянского вопроса именно с этой стороны — принадлежащее одному из самых верных слуг николаевской системы, министру народного просвещения гр. Уварову. Вот что записал, со слов Уварова, Погодин:

«Вопрос о крепостном праве тесно связан с вопросом о самодержавии и даже единодержавии (!). Это две параллельные силы, кои развивались вместе. *У того и другого одно историческое начало; законность их одинакова...* Крепостное право существует, каково бы ни было, а нарушение его повлечет за собою неудовольствие дворянского сословия, которое будет искать себе вознаграждения где-нибудь, а искать негде, *кроме области самодержавия.* Кто поручится, что тотчас не возникнет какой-нибудь тамбовский Мирабо или костромской Лафайет, хотя и в своих костюмах. Оглянутся тогда на соседей — и начнутся толки, что и как там устроено. Наши революционеры или реформаторы произойдут не из низшего класса, а в красных и голубых лентах. Уже слышатся их желания даже и без этого повода... Правительство не приобретет ничего посредством этого действия. Низший класс и теперь ему предан, а бояться его ни в каком случае нечего: крестьяне могут поджечь дом, поколотить исправника, но не более. Правительство не приобретет ничего, а потерять может много. *Другая оппозиция опаснее ему...*» [1]).

---

[1]) *Барсуков*, «Жизнь и труды М. П. Погодина», IX, стр. 305 – 308.

Это была, как видит читатель, целая программа — и не лишенная дальновидности с точки зрения той общественной группы, которая ее выработала. В этом можно было убедиться весьма скоро,— в той записке 1855 года, которую мы цитировали выше, Кошелев говорил Александру II: «*Пусть царь созовет в Москву, как настоящий центр России, выборных от всей земли Русской*, пусть он прикажет изложить действительные нужды отечества,—и мы все готовы пожертвовать собою и всем своим достоянием для спасения отечества...». Видите, мог бы сказать Уваров: не прав ли я был? По-своему, повторяем, Николай и окружавшие его Уваровы были дальновидны: к их несчастью, только поле их зрения было необычайно узко. «Вопрос о крестьянах лопнул», сказал Киселев своему племяннику Милютину летом 1848 года; а как раз в эти именно годы для помещичьего хозяйства вопрос о крестьянах только что народился.

3. 19 февраля.

Накануне Крымской войны крестьянский вопрос находился в тупике: экономические интересы массы дворян требовали ликвидации крепостного права, политический интерес верхнего их слоя требовал совершенной неподвижности и сохранения «основ» во всей неприкосновенности — в том числе и крепостного права. Налицо был в высшей степени любопытный, социологически, конфликт между «экономикой» и «политикой»: как всегда, торжество осталось за первой. Социолог мог бы удовлетвориться этим: так должно было быть, так и было. Историк не может ограничиться констатированием правильности общего итога,—ему приходится иметь дело не только с общим, а и с индивидуальным: он не может не подвергнуть некоторому анализу тех слагаемых, которые в этот итог вошли. Современное реформе общественное мнение—голос самих помещиков, иными словами — без колебаний приписывало выход из тупика именно войне. «В 1853 году началась война с Турцией, и предчувствовалась борьба с Европою. Уничтожение турецкого флота под Синопом всех русских несколько оживило. Правительство, занятое военными приготовлениями и действиями, менее обращало внимания на дела внутреннего управления. Казалось, что из томительной, мрачной темницы мы как-будто выходим

если и не на свет божий, то по крайней мере в преддверие к нему, где уже чувствуется освежающий воздух. Высадка союзников в Крым в 1854 году, последовавшие затем сражения при Альме и Инкермане и обложение Севастополя нас не слишком огорчили, ибо мы были убеждены, что даже поражение России сноснее и даже для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время. Общественное и даже народное настроение, хотя отчасти и бессознательное, было в том же роде» [1]). Так чувствовали и так смотрели на дело снизу: наверху должно было быть как раз обратное; здесь настроение поднималось, там оно должно было упасть. Неудача войны, так самонадеянно начатой, — Николай рассчитывал вначале через месяц быть в Константинополе и, даже после вмешательства Англии и Франции, накануне высадки союзников в Крыму, был еще уверен, что Севастополь в совершенной безопасности, — должна была сильно обескуражить правящую группу, к концу войны оставшуюся и без своего вождя, трагически погибшего именно вследствие военной неудачи [2]). Всю глубину растерянности этой группы можно оценить, читая рассказ об известном совещании министров Александра II, доставшихся ему в наследство от Николая Павловича, перед началом мирных переговоров, после получения ультиматума из Вены: не решились даже спасти себя от формального унижения, обратившись непосредственно к Франции, — соглашение с нею решало все дело, — и безропотно подчинились ультиматуму державы, которая сама в данный момент боялась войны не меньше, чем Россия! Вызвать на бой всю Европу — и в страхе убежать от картонного пугала, оба эти психологические полюса пережили, на протяжении двух лет, одни и те же люди. Невероятно наглые еще вчера, сегодня они готовы были за полверсты уступать дорогу самому безобидному прохожему. Само собою разумеется, что такой упадок духа не мог ограничиться географически — пределами заграничной политики. В политике внутренней должно было повториться то же: чем раньше бравировали, в том теперь готовы были видеть опасность, гораздо большую действительной. Благодаря этой психо-

---

[1]) *Кошелев.* «Записки», стр. 81 - 82.

[2]) Версия *самоубийства* Николая I находит себе почти решающее подтверждение в том, что рассказывает в своих воспоминаниях П. П. Семенов, со слов в. кн. Елены Павловны. См. «Вестн. Евр.» 1911, март, стр. 21—36.

логической перемене, то, что раньше задерживало реформу, *политический момент*, теперь должно было оказаться плюсом на ее стороне. Мы видели, с каким высокомерным пренебрежением относилась «знать» к крестьянским волнениям: побьют исправника, сожгут усадьбу — экая беда, рассуждал Уваров около 1848 года. Десять лет спустя, для нового императора и его окружающих, сверстников того же Уварова, не было страха страшнее крестьянских волнений. «*Главное* опасение» Александра Николаевича, по его собственноручному признанию, состояло в том, чтобы освобождение крестьян «не началось само собою снизу». Эта записка императора [1]) совершенно устраняет предположение, будто, говоря на ту же тему перед московскими дворянами 30 марта 1856 года, он только хотел попугать этих последних: прежде всех и больше всех боялся он сам. Отсюда его нетерпеливое отношение к медленности секретного комитета по крестьянскому вопросу — комитета, составленного из николаевских деятелей и работавшего темпом, усвоенным для крестьянского вопроса при Николае I. «Желаю и требую от вашего комитета общего заключения, как к сему делу приступить, *не откладывая дела под разными предлогами в долгий ящик*»; «буду ожидать с нетерпением, что комитет по делу этому решит. Повторяю еще раз, что *положение наше таково, что медлить нельзя*»; «надеюсь, что после этого дело будет подвигаться, и прошу, чтобы возложенная работа на мин. вн. дел и государств. имуществ была ими представлена без излишнего замедления». Такими высочайшими отметками усеяны журналы комитета,— при чем в подлиннике они имеют вид еще более нетерпеливый, ибо Александр Николаевич подчеркивал почти каждое слово [2]). Очень он боялся, как бы «дело не началось снизу»! Но в основе медленности комитета лежало то же самое психологическое состояние. Когда комитет, по настоянию императора, выработал известный рескрипт 20 ноября 1857 года, чем стяжал первое одобрение Александра II («благодарю г.г. членов за *первый* решительный приступ к сему важному делу»),— председателем комитета, кн. Орловым, овладел панический ужас: он,— рассказывали тогда в Петербурге,— явился во дворец

---

[1]) Воспроизведенная у г. *Попельницкого*, в статье «Секретный комитет в деле освобождения крестьян от крепостной зависимости», «Вестн Евр.», 1911 г., февраль, стр. 63—64.

[2]) См. у г. *Попельницкого*, цитир. статья, passim.

и, добившись аудиенции, стал «самым сильным и настойчивым образом» говорить против опубликования документа, в составлении которого он только что принимал участие. «Почти на коленях» он умолял государя «не открывать эры революции, которая поведет к резне, к тому, что дворянство лишится всякого значения и, быть может, и самой жизни, а его величество утратит престол» [1]). Александр Николаевич и здесь, как в знаменитом совещании после австрийского ультиматума, оказался все же храбрее слуг его покойного отца: тогда он настаивал на продолжении войны, теперь он настоял на опубликовании рескрипта. Но и долго после он был убежден, что рискнуть на освобождение крестьян можно только, введя во всей стране нечто в роде осадного положения. Он горячо сочувствовал составленному его любимцем, Ростовцевым, проекту создания, на время реформы, генерал-губернаторов с чрезвычайными полномочиями и очень обижался, когда министерство внутренних дел, ревнивое к своей полицейской монополии, начало этот проект оспаривать. Отчасти перспектива распыления его власти, отчасти влияние более трезвых буржуазных элементов, имевших на тогдашнее министерство внутренних дел влияние через Н. А. Милютина, сделали министра Ланского, тоже старого николаевского служаку, храбрее его коллег: «Народ не только не сопротивляется, но вполне сочувствует распоряжениям правительства», писал по поводу ростовцевского проекта Ланской. На этом месте его доклада Александр II и положил свою знаменитую резолюцию: «Все это так, пока народ находится в ожидании, но кто может поручиться, что когда новое положение будет приводиться в исполнение и *народ увидит, что ожидания его*, т.-е. *свобода по его разумению, не сбылись*, не настанет ли для него минута разочарования? Тогда уже будет поздно посылать отсюда особых лиц для усмирения. Надобно, чтобы они были уже на местах. *Если бог помилует и все останется спокойно*, тогда можно будет отозвать всех временных генерал-губернаторов, и все войдет опять в законную колею». Положение получалось прямо-таки отчаянное: не освобождать крестьян — они взбунтуются, и дело «начнется снизу»; освободить — они опять же взбунтуются, ибо нельзя их освободить «по их разумению», т.-е. так, как самим крестьянам нужно.

[1]) См. зап. *Кошелева*, стр. 91.

Это драгоценное признание самого верховного руководителя реформы в том, что «освобождение» крестьян всегда придется писать в кавычках, стоит заметить: оно снимает тяжелое обвинение с бедных «крепостников», якобы испортивших «великую реформу». Александр Николаевич писал это в 1858 году — тремя годами раньше, нежели появилось то, что можно было портить. *Освобождение* без кавычек было немыслимо в обстановке николаевского режима, — а в первые годы царствования Александра II этот режим стоял еще во всем цвете и во всей силе. Но если бы даже чья-нибудь смелая фантазия и могла представить себе такое чудо — создания миллионов свободных людей в стране, где государственный строй принципиально отрицал свободу кого бы то ни было, — этому чуду не дали бы осуществиться классовые интересы дворянства, которому нужна была замена барщинного труда наемным, крепостного крестьянина — батраком, а вовсе не создание свободного и экономически самостоятельного крестьянства. Что этот элементарный факт *заранее* предвидел Александр Николаевич, которого даже самые рьяные его панегиристы не решаются признать гениальным государем, показывает лишь, насколько ясно было дело уже для современников: читатель оценит, какая масса усилий потребовалась, чтобы затуманить его перед потомством. Но в тот момент, когда писалась цитированная нами высочайшая отметка, ответ крестьянства на «свободу не по его разумению» был довольно отдаленным будущим. Было ли в настоящем конца пятидесятых годов что-нибудь, оправдывавшее панику Александра II и его министров? Главным условием — повторим еще раз — был толчок, данный Крымской войной. Одна записка, возникшая тогда в высших сферах Петербурга, прямо ставит необходимость крупных реформ, как средства загладить тот конфуз, который только что испытала Россия под Севастополем. Но в связи с этим же Севастополем современники отмечали факты, реально тревожные и напоминавшие начало только что неблагополучно окончившегося царствования. «Недовольство всех классов растет, — писал Кавелин Герцену в августе 1857 года, — *в особенности озлоблена масса офицеров, высылаемых из гвардии и армии, по случаю усиленного сокращения войск, на голодную смерть.* Какое-то тревожное ожидание тяготит над всеми, но ожидание бессильное: словом, все признаки указывают в будущем, повидимому недалеком, на

страшный катаклизм, хотя и невозможно предсказать, какую он примет форму и куда нас поведет». Так оценивала положение петербургская интеллигенция; а вот как смотрели на дело в глухой провинции. «Неизвестно, что нас ожидает в будущем, — писал министру внутренних дел рязанский предводитель дворянства Селиванов, — тем более, что в Рязанской губернии войск, кроме двух батальонов, во всей губернии нет. *Все распущенные из полков солдаты рассыпаны по деревням и при первом случае станут во главе всякого беспорядка.* На земскую полицию положиться невозможно». После Севастополя нельзя было рассчитывать на вернейшую, с дней Петра I, опору абсолютизма — *армию.* В 1848 году можно было пренебрегать крестьянскими волнениями — послать роту, две солдат, и все придет в порядок. Теперь приходилось спрашивать себя: не будет ли от солдат еще большего беспорядка, да и офицеры — можно ли и на них вполне рассчитывать? Вот почему не бог весть какие серьезные крестьянские беспорядки 1854—1855 г.г. (по случаю сначала «морского», а потом государственного ополчения) имели такое капитальное значение в истории крестьянской реформы. «Бунт», кажется, происходил, как нарочно, по плану, гипотетически начертанному гр. Уваровым: поколачивали исправников, сожгли пару усадеб. В сравнении с крестьянским движением 1905—1906 г.г., например, это были сущие пустяки: нескольких батальонов было достаточно для полного усмирения даже наиболее волновавшихся губерний. Иди дело о судьбе поместного дворянства, как это было в недавние годы, «бунты» такого размера только обострили бы реакцию; но дело шло не о крушении, а о возрождении феодального землевладения, тупо упиравшегося перед пустячной, но неизбежной операцией. Надо было *напугать* его ровно настолько, чтобы оно на операцию согласилось, — и, прежде всего, напугать ту «знать», от которой зависело пустить дело в ход. Волнения времен Крымской войны как раз достигли этой цели.

Подготовка акта 19 февраля 1861 г. происходила, как известно, почти параллельно в *губернских комитетах и редакционных комиссиях*, в течение 1858—1860 годов. Но было бы ошибкой думать, что выработка основных принципов реформы началась только в это время, и что боровшиеся стороны — комитеты и комиссии — приступили к своему делу с пустыми

руками. В значительной степени самый конфликт между комитетами и комиссиями был раздутым: не то, чтобы поводов для конфликта вовсе не было, но они, эти поводы, лежали в чисто *политической* области; на *экономической* почве боролись не «чиновники» комиссий и «помещики» комитетов (первые сами были, по большей части, помещиками, а вторые, по большей части, были люди государственной службы), а две *группы дворянства*, интересы которых получили формулировку и обоснование еще в период действий *секретного комитета*, и отчасти даже до него — в 1855—1857 годах. В этот период два течения, возникшие среди самого землевладельческого класса, нашли себе выражение в *записках* частного характера, но составлявших материал для суждения правительственного комитета. Одно из этих течений можно назвать *феодальным*, другое *буржуазным*. Первое заботилось главным образом о сохранении за помещиками *земли* — в максимальном количестве и во что бы то ни стало; второе ставило на первое место обеспечение землевладельцев *капиталом и рабочими руками* — хотя бы и ценою некоторых уступок в пользу крестьянства в земельном вопросе. Была и третья точка зрения, компромиссная между двумя первыми, надеявшаяся обеспечить помещиков нужными капиталами без уступки земли крестьянам — или с уступкою чисто фиктивною. Наиболее обнаженно, а потому наиболее ярко, выступает *феодальная* точка зрения в представленной секретному комитету записке кн. Гагарина. «Помещики, как поземельные собственники, составляют собою твердую опору престола и государства, следовательно, всякое стеснение их интересов и владельческих прав не может оставаться без влияния на быт империи», писал Гагарин: дотронуться до дворянской земли — значит потрясать основы. «Дарование помещикам права освобождать крестьян *без условий и без земли* есть мера самая благодетельная, так как она *упрочивает за помещиками право земельной собственности* и оставляет крестьян под тем влиянием, с которым они свыклись и которое охраняло общий интерес в государстве...». Избежать пролетаризации крестьянства при безземельном освобождении было очень легко, по мнению Гагарина: стоило оставить им — в пользование — их усадьбы и дома. Впрочем, к вопросу о пролетариате князь вообще относился легко: «сельского пролетариата нигде не было и быть не могло, — думал он, — а в России количество земли так значи-

тельно, что землепахарь не может опасаться не иметь работы» Под «пролетарием» князь Гагарин, в простоте души, понимал «безработного»...

Простота души кн. Гагарина отнюдь не является только комическим дивертисментом: она чрезвычайно характерна, давая нам возможность оценить ту *подготовку*, с какой приступали к сложнейшей русской реформе XIX столетия николаевские сановники. Из министров Николая I, остававшихся в живых к 1857 г., кое-что понимал в крестьянском вопросе только гр. Киселев, в это время удаленный — по утверждению некоторых современников, удаленный намеренно — весьма далеко от театра действия: он был тогда послом в Париже. Но и он, нужно сказать, понимал именно только «кое-что». «Я полагаю, — писал он тому же секретному комитету, — что *даровать полную свободу 22 миллионам крепостных людей обоего пола не должно и невозможно*. Не должно потому, что эта огромная масса людей не подготовлена к законной полной свободе; невозможно потому, что хлебопашцы без земли перешли бы в тягостнейшую зависимость землевладельцев и были бы их полными рабами или составили пролетариат, невыгодный для них самих и опасный для государства. Надел крестьян землею или сохранение за ними той, которую они имеют от помещиков, невозможно без вознаграждения, а вознаграждение едва ли доступно в финансовом отношении. Посему я полагаю, что вопрос о полной свободе подымать не следует...» [1]). И Киселев, и Гагарин, оба одинаково являлись представителями того разряда землевладельцев, которые, живя постоянно в Петербурге, *сами хозяйства не вели*, будучи по отношению к своим крепостным имениям простыми получателями оброка. Этот оброк они и стремились увековечить. При крепостном праве платеж им ренты был *юридической обязанностью* сидевших на их земле крестьян; при безземельном освобождении арендовать барскую землю становилось для этих крестьян *экономической необходимостью*. Так как хозяйственные условия имения при этом не изменялись ни на иоту, то гагаринский способ освобождения был, не только субъективно, наиболее консервативным: вот почему есть все основания назвать этот тип реформы *феодальным*. Тем более,

---

[1]) Все цитаты о деятельности секретного комитета — по статье г. *Попельницкого*, впервые опубликовавшего о нем подробные данные.

что и Гагарин, как Киселев в своем проекте николаевских времен, оставлял во всей неприкосновенности *полицейскую власть* помещика, предоставляя «освобожденному» крестьянину лишь право жалобы на него, но и то — главе всех помещиков, уездному предводителю дворянства, превращавшемуся проектом Гагарина в мирового судью.

Критика феодальной программы освобождения, с точки зрения *экономических* интересов самих помещиков, была дана уже одновременно с ее возникновением в записках Кавелина (1855 года) и Кошелева (1857 года). «Некоторые предлагают выкупить помещичьих крепостных с тем лишь количеством земли, какое нужно для удержания их оседлыми на теперешнем их месте жительства, но которого было бы совершенно недостаточно для прокормления их с семейством, — писал первый. — Цель та, чтобы, воспользовавшись привязанностью крестьян к их родине, земле и двору, *побудить их поневоле нанимать землю у соседних землевладельцев*... Последствием этого было бы одно из двух: или бывшие крепостные впали бы в крайнюю нищету и обратились в бездомников и бобылей — нечто в роде сельских пролетариев, которых у нас покуда, слава богу, очень мало, — или они *стали бы толпами выселяться в другие губернии и края империи*...» Экономическая истина у Кавелина, по его обыкновению, затушевана морально-политическими соображениями: он называет феодальный проект «коварной мерой», говорит о том, что, благодаря ему, правительство было бы «вовлечено в несравненно большие издержки, чем выкупив их (крестьян) с самого начала со всею землею», и т. под. С кристальной экономической ясностью ставит дело Кошелев. «Эта мера,—говорит он,—*разоряла бы* в край *половину помещиков*, т.-е. *почти всех, имеющих свои земли в промышленных губерниях, ибо крестьяне*, лишенные своей вековой оседлости, *ушли бы в страны более хлебородные*, и мы, в девятнадцатом веке, увидели бы повторение тех народо-переселений, которые изумляют нас в истории средних веков» [1]). Метче нельзя было указать точку разрыва, угрожавшего самой дворянской массе. И Кавелин уже отчетливо сознавал, что феодальная программа найдет себе сторонников среди не одних феодалов гагаринского

---

[1]) См. *Кавелин*, «Сочинения», т. II, стр. 45, и *Кошелев*, «Записки», прилож., стр. 96.

типа. «Такая система выкупа, — говорит он о замаскированном безземельном освобождении, — в губерниях почти исключительно земледельческих могла бы, может быть (мы видим, как неприятно признаваться в этом Кавелину!), действительно принести пользу владельцам...». В представленном секретному комитету проекте *полтавского* помещика — бывшего статс-секретаря Николая I — Позена, мы находим уже очень удачный образчик амальгамирования феодальной и буржуазной точек зрения. Позен индивидуально представлял весьма благодарную в этом отношении фигуру, совмещая в себе крупного землевладельца, талантливого финансиста — и человека, тысячью нитей связанного со «знатью». Большая часть последней — мы видели это на примере Киселева — считала *выкуп* финансовой утопией. Лучше знакомый с биржевым миром Позен ни на секунду не убоялся этой утопии: выкуп, т.-е. снабжение помещика капиталом при помощи крестьянской эмансипации, он считал делом вполне возможным и даже нетрудным. Но он надеялся получить этот капитал в обмен не за весь крестьянский надел, а только за одну *усадьбу*. Пролетаризации крестьянства, как и Гагарин, он вовсе не боялся: и чего было бояться ее черноземному помещику, когда он, еще при крепостном праве, успел пролетаризировать добрую долю — а иногда и большинство — своих крестьян? «По сведениям, доставленным от местного начальства, в *Полтавской* губернии 83.193 хозяев, наделенных землею полевою и усадебною, 47.674 имевших только усадьбу и 24.940 неимевших даже усадьбы. Число крестьян, наделенных землею, относится к числу ненаделенных, как 1,9:1. В *Черниговской* губернии наделены полевой землей 100.059 хозяев, только усадьбой — 5.456 и неимеющих и усадеб — 33.447; число крестьян наделенных относится к числу ненаделенных, как 2,5:1. Умножение ненаделенных вовсе не зависело от многоземельности имений; напротив того, *в многоземельных уездах гораздо более ненаделенных*... Почти нет ни одного имения в Малороссии, в котором бы все крестьяне были наделены землею...». В соседней *Харьковской* губернии была иная система, но приводившая к весьма сходным результатам. «Здесь почти все крестьяне наделены землею, а потому класс безземельных очень малочислен», писали редакционные комиссии. Но вот что отвечали им представители харьковских помещиков, депутаты от харьковского губернского комитета: «В Харьковской

губернии помещичьих крестьян 189.495 душ; *из этого числа тяглых, имеющих волов или лошадей, только 49.909*; это достаточно обнаруживает, как мало крестьяне имеют скота. Может быть, здесь последует вопрос: каким образом помещики могли обрабатывать остальное количество земли? — *Почти все помещики имели свой рабочий скот, которым работали крестьяне, не имеющие скота.* Другой вопрос: чем будут освобожденные крестьяне, не имеющие скота, обрабатывать свою землю?» — Вывод отсюда был ясен: «Не объем земли, данной крестьянину, делает его богатым, а условия, на которых она ему предоставлена, и *свободный труд*; дайте сколько угодно земли крестьянину в пользование, он все-таки не будет чувствовать свой быт улучшенным, потому что желание иметь собственность не будет удовлетворено... Это можно доказать тысячами примеров и тем неоспоримым фактом, что *чем имение менее земельно, тем благосостояние крестьян выше*, ибо помещик, имея мало земли, довольствуется малым количеством крестьянского труда; крестьяне же, за недостатком земли, занимаются промыслами, приносящими им постоянный доход, независимый от случайностей (!). Кто знает быт харьковских крестьян в натуре, тот в этом не усомнится...» [1]).

Само собою разумеется, что на основании всех этих соображений харьковские представители, Хрущов и Шретер, «предоставление крестьянам большого количества земли находили вредным». На их примере особенно ярко видно, как наивно обычное разделение помещиков конца 50-х годов на «крепостников» и «либералов». Хрущов и Шретер были самыми ярко-красными либералами, каких только можно было найти среди тогдашнего дворянства. Их подписи стоят под наиболее «левым» из адресов, поданных губернскими депутатами Александру II: под адресом, который был охарактеризован императором как «ни с чем несообразный и дерзкий до крайности». Там требовалось ни более, ни менее, как местное самоуправление, суд присяжных, свобода печати и прочее — что в 1859 году Але-

---

[1]) *Скребницкий*, «Крестьянское дело», т. II, ч. I, стр. 46 и сл. На стр. 60 см. таблицу, несколько поправляющую холерические выводы Хрущова и Шретера: из нее видно, что бесхозяйные крестьяне составляли в Харьковской губернии около *трети*.

ксандр Николаевич искренно считал «западными дурачествами». Доказывая, что мужику тем лучше, чем земли у него меньше, они, попутно, не преминули воздать должное почтение *буржуазной* крестьянской собственности, — а подводя итог своей экспроприаторской аргументации, они заключали, что «от всей души сочувствуют полному освобождению крепостных, но в то же время пламенно желают, чтобы возведение их в полноправных граждан произошло правомерно и на почве законности». Совсем англичане! А подпись их под «ни с чем несообразным» адресом стоит рядом с подписью наиболее рельефного представителя *буржуазного* типа эмансипации — тверского делегата Унковского. Интересы нарождавшейся аграрной буржуазии на юге и на севере были неодинаковы, — на этом и сыграли феодалы, в конечном счете не одержавшие полной победы, но избегнувшие и полного поражения.

Но мы довольно далеко ушли от того хронологического пункта, к которому относится наша характеристика. Унковский высказался вполне только в губернском комитете и в редакционных комиссиях — в следующую фазу реформы. Уже раньше появления тверичей на сцену *буржуазная* точка зрения была отчетливо формулирована в двух, упоминавшихся нами выше, записках — Кавелина и Кошелева. Вторая — экономически солиднее, но первая больше имела практического значения, по близким связям ее автора с Николаем Милютиным, тогда — фактически — товарищем министра внутренних дел и, как выяснилось очень скоро, главным деятелем реформы со стороны правительства. В то же время и лично Кавелин является более разносторонним выразителем тогдашней аграрно-буржуазной идеологии, чем Кошелев. Помещик, публицист, профессор, друг Герцена — и в то же время друг Николая Милютина и учителя наследника русского престола, Кавелин имел страшно широкий район наблюдений, и редко можно было встретить человека, который бы так живо воспринимал все, что он видел и слышал, и быстрее делал из виденного и слышанного выводы, которые далеко шли за пределы понятного большинству его современников. Благодаря исключительной обстановке того края, где ему пришлось хозяйничать, как помещику, он очень рано натолкнулся на тот подводный камень, о который должно было сокрушиться русское буржуазное землевладение четверть века спустя, — на рабочий вопрос. Если харьковские условия воспи-

тывали «англичан», то Новоузенский уезд Самарской губернии, где было имение Кавелина, уже в пятидесятых годах был образчиком «американского» типа аграрной эволюции. Читая замечательные «Письма из деревни» Кавелина (1860 года), вы с трудом представляете себе, что речь идет о России еще *до* отмены крепостного права: так мало феодального во всей картине. Под влиянием аграрного подъема пятидесятых годов самарцы с азартом биржевой игры принялись за производство *пшеницы*, за которую платили на рынке «огромные цены». Азарт усиливался тем, что при экстенсивном хозяйстве («земля возделывается кое-как и не навозится») успех зависел исключительно от погоды: «весь секрет в том, чтобы под хороший год иметь как можно больше земли под посевами. А как его угадаешь — хороший год»! Но зато на одном хорошем урожае можно было разбогатеть — и в результате «все здесь нанимает землю и сеет, — говорит Кавелин: — и дворовый, и вдова, и пастух, и кучер, и кухарка — хоть десятину, да сеет». Но посеянное, когда бог послал урожай, нужно было жать, — и вот перед нами картина совсем американского «дальнего запада». «Наем рабочих, особливо жнецов, — любопытнейшая вещь в нашем краю. Приспела жатва — и всюду начинается усиленная деятельность и необыкновенное столпление народа. Хозяева спешать на базары — пункты, где нанимаются жнецы; для нас таким базаром служит преимущественно Вольск, уездный город Саратовской губернии, в 70 верстах отсюда. В то же время рабочие тысячами идут вглубь степи искать работы. В последние годы наемные цены на жнецов страшно возвысились: с 3-х руб. сер. за сороковую десятину, как бывало прежде, они поднялись до 6, $6\frac{1}{2}$ и 7 рублей. В третьем году жали по 8-ми, а в отдаленных местах по 10, 12 и даже по 15 целковых за десятину. Во все время работы вы должны кормить жнецов, и кормить хорошо — пирогами (как называются здесь пшеничные хлебы), с приварком из пшена или гороха (иные не станут есть гороха), с салом, в постные дни — с маслом, иногда и с бараниной. Если же вы наняли их не у себя, а на базаре, то издержки еще больше: вы должны доставить к себе на своих лошадях и угостить водкой, по здешнему — дать магарычу, не говоря уже о пирогах во время ряды и в продолжение пути. А найма на базаре редко избежишь: рабочие могут и не прийти, когда нужно. Что тогда делать? Вы видите, что издержки огромны,

и при плате за землю деньгами они должны быть затрачены вперед... Я еще не все сказал о жнецах и работниках. То, что они всем нужны в самую горячую пору, делает их требовательными, нахальными и своевольными в высшей степени; о римском праве они не имеют никакого понятия, вероятно потому, что не были в университете. Святость контракта, верность данному слову не существует даже по имени. Когда поспевает пшеница — все думают только о том, как бы зашибить копейку жнитвом. Вы нанимаете во время жатвы няньку; она вам преспокойно говорит: заплатите мне, сколько платят жнецам, а не то я пойду жать. Вы наняли работника еще с осени на год и на условиях, для него выгодных, но имели неосторожность не заплатить ему денег вперед, так чтобы во время жатвы у него оставались незаработанные деньги: берегитесь, он у вас не останется, и вы в самое нужное время лишитесь его: он пойдет жать. Да если и вперед дадите, то и это вас не спасет: он все-таки уйдет жать. Пойдите, судитесь с ним, когда каждая минута рубля стоит...» [1]).

Маленькие причины иногда имеют большие следствия: строптивый новоузенский жнец, для которого не существовало святости контракта даже по имени, крепко засел в памяти друга Герцена и корреспондента «Колокола». То скептическое отношение к вольному крестьянину, которое стало общим местом в 70 — 80-х годах, знакомо было Кавелину еще в 50-х, — когда к рабочему вопросу в деревне весьма легкомысленно относились даже такие люди, как Унковский, наивно воображавший, что рабочих после эмансипации будет сколько угодно — хоть отбавляй: по расчетам Унковского, на всю Россию еще 800.000 лишних должно было остаться. Никто, кажется, из публицистов одного с Кавелиным направления не отстаивал с такой силой идеи о необходимости твердой и сильной власти в минуту эмансипации и непосредственно после нее. Конституционные — а тем паче революционные — иллюзии его современников внушали Кавелину величайшее недоверие и даже отвращение. «Дурачье не понимает, что ходит на угольях, которых не нужно расшевеливать, чтобы не вспыхнули и не произвели взрыва, — писал он по поводу дворянского либерализма Герцену. — Аресты меня не удивляют и, признаюсь тебе, не кажутся возмутительными.

---

[1]) «Сочинения», II, стр. 665—667.

Это война: кто кого одолеет. Революционная партия считает все средства хорошими, чтобы сбросить правительство, а оно защищается своими средствами... Я бы хотел, чтобы ты был правительством и посмотрел бы, как бы ты стал действовать против партий, которые стали бы против тебя работать тайно и явно. Чернышевского я очень, очень люблю, но такого брульона, бестактного и самонадеянного человека я никогда еще не видал». Чтобы избежать повторения в России французской революции («формула русской истории страшно как напоминает формулу французской: читаешь книгу Токвиля — и дрожь пробегает по жилам...»), надо действовать сверху, а не снизу. Кавелин вовсе не был «аполитическим» мыслителем — совсем напротив: он верил «тайному голосу, который еще с детства предсказывал ему политическую будущность». Но чтобы итти по этой дороге, отнюдь не надо было становиться «политическим агитатором, главою партии» — как стал Герцен, которого Кавелин горько за это упрекал. Путь буржуазного публициста был иной, — нужно было вести долгие дружеские беседы с шефом жандармов (не подававшим Кавелину руки), раскрывать свою душу перед фрейлиной императрицы, — венцом благополучия было поговорить с этою последней лично, с глазу на глаз. Настроение Кавелина после такой беседы можно описать только его же словами. «Того волнения, восторженности, которые возбуждены были во мне этим последним двухчасовым разговором (с императрицей Марией Александровной, в Дармштадте, в августе 1857 года), я передать не в состоянии. До сих пор я точно в чаду, и если бы кто-нибудь вдруг сильно взял меня теперь за руку или ударил по плечу, я готов был бы думать, что проснулся, и что все, происходившее со мною, был сон, удивительный, очаровательный, навеянный огромным самолюбием и такою же огромною любовью к родине». Немудрено, что помещенному в «Колоколе» письму к государыне Кавелин придает большее значение, чем агитационным статьям того же «Колокола»: «кто может сказать, что это письмо не будет иметь значения для будущей России? Ведь это письмо так тепло...». В противоположность «шатаниям влево» либеральных помещиков типа Унковского или даже Кошелева, Кавелин твердо ставит, как идеал прогрессивной буржуазии, не конституционную, а самодержавную Россию. «Если передать впечатления свои в двух словах, то вот к чему сводится вопрос: замена византийско-

татарско-французско-помещичьего идеала русского царя идеалом народным, славянским, посредством самой широкой административной реформы по всем частям» [1]).

Абсолютизм и отречение от *политической* свободы при максимуме *гражданской* свободы, как необходимое условие дальнейшего капиталистического развития без революции: это была программа на двадцать лет вперед. Только не теряя из виду этих политических предпосылок, мы будем в состоянии правильно оценить и *буржуазную программу освобождения крестьян.*

Различные проекты эмансипации мотивировали ее весьма различными соображениями. В бюрократических кругах наиболее популярной была мотивировка полицейская — от «опасности внутреннему спокойствию», которому угрожает дальнейшее сохранение рабства. Николай Павлович с этого мотива начал свою речь перед государственным советом — по поводу закона об «обязанных» крестьянах (1842 г.) [2]). Из интимных заметок Уварова мы знаем, что при Николае мотивировка не была искренней — но после его смерти стали бояться уже не в шутку. Проекты частного характера пытались возвыситься от полицейской до политической точки зрения. Так, Самарин неудачу в Крыму склонен был приписать, главным образом, крепостному праву, которое, нужно сказать, было в этом именно виновато меньше, чем многое другое, — армии Александра I, составленные из крепостных мужиков, били, однако, тех же французов при других условиях. Но Самарину казалось, вероятно, что такая аргументация больше тронет высокопоставленных читателей, на которых он рассчитывал: не освободите крестьян, потеряете всякое влияние в Европе, грозился он. Заблоцкий-Десятовский, в свое время, пытался доказать, что крепостное право *невыгодно помещикам*: при всей своей экономической обоснованности — аргумент тоже «шкурного» характера. Даже наиболее

---

[1]) «Письма к Герцену», драгоман. издание, стр. 47—48, 51—52, 56, 60, 76, 82. «Сочинения», II, стр. 1178—1179.

[2]) «Пугачевский бунт доказал, до чего может доходит буйство черни. Позднейшие события и попытки в таком роде до сих пор всегда были счастливо прекращаемы, что, конечно, и впредь будет точно так же предметом особенной и, помощью божией, успешной заботливости правительства. Но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и всякому благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может продолжаться навсегда».

близкий к Кавелину трезвый Кошелев рядом с «современными требованиями промышленности и народного благосостояния» нашел нужным говорить и об «общественной совести», и о государственной безопасности». Исходной точкой Кавелина является чисто буржуазное понятие — *свободы труда*. С этого он начинает. «Многие убеждены, что Россия по своим естественным условиям — одна из самых богатых стран в мире, а между тем едва ли можно найти другое государство, где бы благосостояние было на такой низкой ступени, где бы меньше было капиталов в обращении и бедность была так равномерно распространена между всеми классами народа... Причин нашей бедности очень и очень много... Все эти причины действуют более или менее гибельно. Но ни одна не проникает так глубоко в народную жизнь, ни одна так не поражает промышленной деятельности народа в самом ее зародыше, ни одна так не убивает всякий нравственный и материальный успех в России, как *крепостное право*, которым опутана целая половина сельского народонаселения империи. Двадцать пять с половиною миллионов жителей мужского и женского пола в нашем отечестве лишены самых первых, самых скромных зачатков гражданской свободы — права по своему усмотрению заниматься тем или другим промыслом и произвольно отлучаться из своего места жительства; вопреки всякому здравому смыслу они лишены самого действительного побуждения к занятию промыслами — права требовать плату или вознаграждение за свой труд, чего он действительно стоит». Совершенно логично к «крепостным», кроме помещичьих крестьян, Кавелин причисляет и другие разряды населения, лишенные свободы труда: крестьян удельных и дворцовых, военных поселян, мастеровых казенных заводов, и т. д. Он пытается даже определить, что теряет русское народное хозяйство от крепостной зависимости всех этих людей, и «по самому умеренному исчислению» определяет ежегодный убыток «по крайней мере в $96^1/_2$ милл. руб. сер.». Не менее логически было вывести отсюда необходимость полного восстановления свободы труда для всей массы населения: «*крепостных следовало бы освободить вполне, совершенно, из-под зависимости от их господ*» — таков первый принцип, устанавливаемый Кавелиным. Но буржуазия не только требует «свободы труда» — она уважает собственность. «Государство не может ни желать, ни допустить освобождения крестьян без вознаграждения владельцев,

и на это имеет самые основательные причины. *Освобождение крестьян без вознаграждения помещиков*, во-первых, *было бы весьма опасным примером нарушения права собственности*, которого никакое правительство нарушить не может, не поколебав гражданского порядка и общежития в самых основаниях; во-вторых, оно внезапно повергло бы в бедность многочисленный класс образованных и зажиточных потребителей в России, что, по крайней мере сначала, могло бы во многих отношениях иметь неблагоприятные последствия для всего государства; в-третьих, владельцы тех имений, где обработка земли наймом больше будет стоить, чем приносимый ею доход, с освобождением крепостных совсем лишатся дохода от этих имений. Не получив вознаграждения, многие из них на первый раз, а иные может быть и навсегда, были бы осуждены на самое бедственное существование»... Отсюда третье, «главное основание» Кавелина: «*освобождение можеш совершиться во всяком случае не иначе, как с вознаграждением владельцев*» На первый взгляд, как-будто выпадает из этой строго-буржуазной логики *второй* принцип эмансипации: крестьян «надлежало бы освободить *не только со всем принадлежащим им имуществом, но и непременно с землею*». Может показаться, что тут вторгся посторонний элемент — из области полицейских страхов: «...в видах общественной тишины и порядка, правительство не может допустить сохранения хотя бы тени зависимости бывших крепостных от их бывших помещиков», говорит в одном месте Кавелин. Но это только литературная манера опытного публициста — сплетать моральные и политические рассуждения, апеллируя не только к рассудку, но и к эмоциям своего читателя. Сам автор ни на минуту не сбивается со своей колеи. Не нужно упускать из виду главной цели всей эмансипационной кампании, поскольку она велась помещиками: получения, путем эмансипации, капитала для перестройки своего хозяйства на новых основаниях. Кавелин так же определенно ставит эту цель, как и цитированный нами выше Кошелев. «Освобождение крепостных, — говорит он, — потребует немедленного поставления наших помещичьих хозяйств на коммерческую ногу, а это можно сделать не иначе, как с помощью более или менее значительных единовременных, чрезвычайных издержек, которые понадобятся почти в ту же самую минуту, когда совершится освобождение. При всеобщей бедности и разорении нашего дво-

рянства ему неоткуда взять капиталов, необходимых для покрытия таких чрезвычайных издержек, поэтому, *если вся выкупная сумма не будет уплачена владельцам при самом освобождении их крестьян, сельское хозяйство в России понесет весьма чувствительный вред*, от которого не скоро оправится...». «Сумму» должен был уплатить владельцам специально учрежденный для этой цели государством банк — а «выплаченная владельцам из банка сумма зачисляется долгом на выкупленном имении, с уплатою в 37-летний или другой, более продолжительный, срок...». *Экономическое значение крестьянского надела здесь совершенно ясно: это — и обеспечение выданного из банка капитала, и средство его постепенной уплаты.* Кавелин путем подробных вычислений старается установить, что дохода от крестьянского надела вполне хватит для этой цели — и даже с избытком. Это примерное вычисление любопытно одной деталью: из него видно, что «душа» крестьянина в нечерноземной полосе ценилась в три раза дороже его земли: первая, для выбранного Кавелиным примера (Смоленская губерния), стоила 117 рублей, а вторая — всего 35 р. 75 к. Позднейшие выкупные оценки были, таким образом, вполне предвидимы уже в 1855 году...

Само собою разумеется, что эта деликатная операция — превращение мужицкой «души» вместе с ее землею в дворянский капитал — могла совершиться только сверху, силою власти, которой все привыкли беспрекословно повиноваться. Кавелин обдумал и эту сторону дела — и, вполне сознавая неспособность николаевских министров, продолжавших править Россией и при Александре II, разрешить трудную задачу («даже предположив в таких лицах полную добрую волю и желание привести крестьянский вопрос к разрешению, они, очевидно, не в состоянии были бы это сделать по недостатку сведений»), он первый высказал идею учреждения, которому суждено было сыграть такую выдающуюся роль в истории реформы: *редакционных комиссий.* В учреждении этом должны были быть сосредоточены все, кто своими специальными познаниями мог быть полезен делу, как служащие, так и не служащие (позднейшие «члены-эксперты»). Кавелин дает и их список, во многом опять-таки совпадающий с позднейшим действительным составом редакционных комиссий. Но все эти лица должны были получить свои полномочия *сверху*, от правительства — и отнюдь не снизу, от помещиков или крестьян.

Таким образом, «бюрократический» способ решения крестьянского дела был предложен из буржуазного лагеря. Напротив, мысль о необходимости «общественной самодеятельности», — в чем многие видят чуть ли не главную причину большей успешности почина Александра II сравнительно с попытками его отца, — эта либеральная мысль пришла из лагеря «крепостников» и была предложена не кем другим, как бывшим государственным секретарем и доверенным человеком Николая I, бароном Корфом. Именно он, в секретном комитете, предлагал «для успеха новых мер по устройству крестьян, чтобы они (меры) *спущены были не сверху, а выросли снизу, от указаний опыта,* — разослать от минист. вн. дел всем губернским предводителям дворянства циркуляр о предоставлении *опытности и добрым намерениям дворянства* разрешения вопросов о средствах исполнения и о порядке применения по различию местностей обширной империи дела об изменении положения крестьян» [1]). Что толкнуло феодальную группу на этот путь, оказавшийся, как очень скоро обнаружилось, довольно скользким? На первом месте следует тут поставить, конечно, *страх* — тот универсальный страх, которым были охвачены «сферы» после Севастополя: боялись всего на свете — Наполеона III, крепостного мужика, отпускного солдата, — боялись, между прочим, и дворянина. А вдруг обидится? Этим именно чувством приходится объяснить те совершенно неправдоподобные авансы, которые делались дворянству, например, во время поездки Александра Николаевича по внутренним губерниям в конце лета 1858 года. Послушать императора, так без дворянской поддержки он и шагу сделать не мог: «Я уверен, что могу быть покоен, — говорил он, например, в Твери, — вы меня поддержите и в настоящем деле». И тут же дано было знаменитое обещание, что «дело» будет обсуждаться в Петербурге при непременном участии выборных от дворянства. Следующим, после страха, обстоятельством, удручавшим «сферы», была их совершенная теоретическая беспомощность, — которою Кавелин мотивировал свой проект «редакционных комиссий»: блестящим образчиком этого качества феодальной группы была известная нам записка Гагарина. Проект Позена должен был показаться феодалам лучом света в окружавшем их экономическом мраке: вот какую под

[1]) См. у *Попельницкого*, цит. статья, «В. Е.» 1911, февраля, стр. 59.

держку можно получить от помещиков! Значит, не надо пренебрегать их содействием: с божьей помощью в каждой губернии может оказаться свой Позен, и буржуазное меньшинство будет благополучно задавлено. Убеждение же, что освобождения по буржуазному типу, т.-е. с землей, обеспечивающей в дальнейшем выкупные платежи, желает лишь *меньшинство* помещиков, было наверху очень сильно, — не даром глава феодалов, Муравьев (будущий виленский генерал-губернатор), тоже, по примеру Александра II, совершил поездку по губерниям, вербуя себе сторонников.

Южные, черноземные, комитеты, нужно сказать, и оправдали в значительной мере ожидания: в Херсонской и Таврической губерниях, где в среднем на душу населения приходилось 24,4 и 56 десятин, соглашались отдать крестьянам — в Херсонской от 1,3 до 3 десятин, а в Таврической от 3 до 5 десятин на душу! В Екатеринославской губернии из 18,9 десятины, приходившихся на душу в крепостных имениях, помещики не находили возможным уступить более 3. Воронежские дворяне себе оставляли 2.000.000 десятин, а крестьянам давали 240.000. Тамбовские требовали отрезки от $^1/_2$ до $^2/_3$ существующего надела. Если таковы были аппетиты после того, как политический конфликт дал наверху перевес буржуазному типу эмансипации, можно себе представить, что было бы без этого! Но между феодальной группой и даже этими — их можно назвать «правыми» — комитетами все же не оказывалось полной солидарности. Поскольку в комитетах были представлены интересы местных *помещиков-хозяев*, им не мог улыбаться тот способ ликвидации крепостных отношений, какой считали наиболее для себя выгодным Гагарин и его товарищи. Те желали превращения крепостного крестьянина в вечного невольного арендатора помещичьей земли. В этом именно смысле был редактирован знаменитый рескрипт 20 ноября 1857 года, основные положения которого были сделаны обязательными для губернских комитетов, появившихся на свет божий, как известно, именно благодаря этому рескрипту. Согласно ему, за помещиками сохранялось право собственности *на всю землю:* крестьянин получал в собственность лишь *усадьбу* (за выкуп, размер которого определялся не только ценностью усадебной земли и строений, но и «промысловых выгод и местных удобств»: другими словами, выкуп усадьбы был замаскированным выкупом *личности* кре-

стьянина и всех «выгод», которые обладание этою личностью доставляло помещику); *надел* же предоставлялся крестьянину лишь в *пользование за определенные повинности*, при чем феодалы надеялись, очевидно, удовлетворить владельцев и барщинных имений, сохранив, в качестве одной из таких повинностей, барщину. Это лишний раз свидетельствовало об их экономическом невежестве: как раз в *кризисе барщины* и заключался узел всего вопроса. Если барщина крестьян, составлявших собственность помещика, не представляла для этого последнего большой цены, можно себе представить, что́ стоила бы барщина крестьян, юридически свободных, по отношению к которым у помещика не оставалось никаких средств принуждения. Вот почему, при всем разногласии черноземных и нечерноземных комитетов насчет количества земли, которое можно было уступить крестьянам, всем им — говоря словами Кошелева по поводу «депутатов первого призыва» — «*отдача помещичьих земель в бессрочное пользование крестьян за неизменные повинности* казалась ничем неоправдываемым нарушением права собственности. *Большинство... требовало обязательного выкупа*, как единственного средства произвести освобождение на законном основании и удовлетворительно для помещиков и для крестьян. Меньшинство, соглашаясь на отдачу мирских земель в бессрочное пользование крестьянам, требовало переоценки или земли, или, по крайней мере, денежных повинностей... Депутаты опасались, что если раз установится бессрочное пользование крестьян помещичьими землями за неизменные повинности, то правительство успокоится и долго-долго не озаботится устройством выкупа» [1]). Таким образом, только меньшинство оброчных помещиков склонялось к феодальной точке зрения, но и то с поправками: владельцы барщинных имений, при всей разнице в размерах их земельного аппетита, были на стороне типа буржуазного.

Между теми, кто начал крестьянскую реформу и считал себя полным хозяином дела, и теми, в чьи руки попало дело с образованием губернских комитетов (первым возник, как известно, нижегородский комитет, в декабре еще 1857 года, — если не считать западных губерний, к которым непосредственно и был

---

[1]) Из брошюры: «Депутаты и редакционная комиссия по крестьянскому делу». Перепечатана в «Записках», приложения, см. стр. 191—192.

обращен рескрипт 20 ноября; в течение 1858 года комитеты образовались постепенно во всех губерниях), уже в *экономической* области не было, таким образом, полного единодушия. Когда работа комитетов развернулась мало-по-малу, дело осложнилось политическим конфликтом. У «манчестерского» настроения передовых помещичьих кругов была своя логика. Оно, это настроение, не могло ограничиться вопросом о барщине — и вообще тесными пределами помещичьего хозяйства. «Ежели более или менее патриархальное управление помещиков признается несовременным, тягостным для крестьян, — писал один из членов тверского комитета, — то тем больше вредно и невозможно начало бюрократическое в управлении свободными обществами. Чиновник-бюрократ и член общества — два существа совершенно противоположные». «Чтобы оправдать доверие государя и осуществить его ожидания, — писал один член владимирского комитета, — на дворянах лежит священная обязанность указать твердые основания к благоденствию страны и, *возрождая народ*, дать ему не одни только средства к жизни, но *вполне оградить его от всякого произвола и стеснений* — указать ему широкий путь к разумному развитию и положить конец злоупотреблениям». Министр внутренних дел так резюмировал эти тенденции в своем докладе Александру II: «Не подлежит сомнению, что некоторые действительно желают воспользоваться настоящим случаем, чтобы понемногу ввести представительное правление в решение дел государственных». Исходною точкой очевидно, должно было послужить то собрание дворянских депутатов от всех губерний, которому Александр Николаевич пообещал предоставить «обсуждение» крестьянской реформы в окончательной инстанции. Об *этой* опасности позабыли в минуту паники и хлопот о своих хозяйственных интересах: теперь приходилось спешно воздвигать укрепления с той стороны, откуда не ожидали никакого нападения.

Нет сомнения, что опасность — благодаря, вероятно, долгой отвычке от всякой дворянской оппозиции — была страшно преувеличена. Впоследствии, когда дело дошло до подачи «адресов» императору, — кульминационный пункт дворянского брожения 1858 — 1860 годов, — из *двадцати четырех* депутатов, подписавших эти адреса, только *шестеро* дали свои подписи адресам политического характера. При чем «конституционализм» наиболее толкового адреса «пяти» (знакомых уже нам Унковского, Хру-

щова и Шретера и еще двух ярославских депутатов, Дубровина и Васильева) никак не приходится писать без кавычек, ибо *представительства*, даже совещательного, и они не требовали: их пожелания не шли дальше всесословного земства, суда присяжных и «печатной гласности» (не свободы печати!). Это, в сущности, была кавелинская платформа — социальный строй буржуазного общества без политической свободы: очень скоро логика событий заставила само правительство Александра II выполнить эту программу. А наиболее нелепый, «олигархический» — по оценке императора — адрес Шидловского только наивно настаивал на том всероссийском дворянском собрании для решения крестьянского вопроса, которое тем же императором и было обещано. Зато адрес большинства — «восемнадцати» — не заключал в себе ровно ничего политического, да еще довольно значительное меньшинство уклонилось от подписания какого бы то ни было адреса... С такими революционерами нетрудно было справиться. Но у страха глаза велики: дабы избежать в России введения «представительного правления» через посредство дворянских комитетов, на минуту бросились в объятия той «буржуазии», с которой, на экономической почве, было для феодалов гораздо труднее столковаться. Плодом этого акта отчаяния и явились знаменитые «редакционные комиссии».

Для того, чтобы понять, психологически, этот зигзаг, описанный «руководившею» крестьянским делом феодальной группой, надо опять-таки припомнить постановку эмансипации при Николае I — на другой день 14 декабря. Дворянин забунтовал — его нужно взять в руки: одним из средств было обласкать крестьянина и оказать ему защиту против барского произвола. Николай Павлович, учреждая Третье отделение, одновременно напоминал помещикам об их обязанностях по отношению к крестьянам — «как христиан и верноподданных». Как только наверху заподозрели, что в проектах губернских комитетов могут быть «отступления вообще от духа государственных узаконений», сейчас же вспомнили, что ведь помещику нетрудно и обидеть беззащитного мужичка: «действительно ли улучшается» проектами комитетов «быт помещичьих крестьян, и в чем именно»? С помещиков велено было взять честное слово, что они заботятся в самом деле об интересах крестьян, а не своего кармана: это был грубый окрик, выражавший лишь настроение кричавшего — и не имевший никакого практического

значения [1]). Но если бы окрик дошел до крестьянской массы, она, конечно, с приятностью почувствовала бы, как о ней заботятся. Еще раньше не прочь были внушить этой массе идею, что освобождение — дело личной инициативы государя: Кавелину показалось, что против оглашения этой части своего разговора с ним императрица ничего бы не имела. Строжайше запрещено было говорить о выкупе «душ»: свобода должна была явиться для крестьян подарком — и, конечно, не подарком «господ». Венцом всего было решение взять всю реформу «в свои руки». Неблагонадежные комитеты могут там стряпать, что хотят: мы освободим крестьян сами. Но это оказалось не так просто. Помещики, заседавшие в комитетах, имели практическое знакомство с хозяйственными условиями деревни и могли предложить практические меры. Наверху смутно слышали, что есть какой-то надел, какая-то община, какая-то чересполосица: но самый доверенный агент власти, Ростовцев, чуть не накануне своего назначения в главные крестьянские благодетели, был убежден, что позеновский проект — идеал эмансипации; сравнительно, кн. Гагарин оказывался еще «глубоким экономом». Нужны были люди, которых можно было бы противопоставить комитетским крамольникам. Тут благонамеренная буржуазия типа Кавелина нашла свое призвание. Правда, ее главный литературный представитель был слишком скомпрометирован своею дружбой с Герценом и, кроме того, имел бестактность напечатать свою записку раньше, чем она удостоилась апробации: этого Александр II не мог ему простить. Но помимо него в том же лагере нашлось достаточно людей, которым можно было оказать доверие: они и составили проектированное Кавелиным учреждение, которое хотя и носило скромное название *редакционных* комиссий, но, в сущности, было тем секретарем при знатном губернаторе, который имеет влияния гораздо больше, чем сам этот последний. Чтобы читатель имел представление о *политической* физиономии этого учреждения, мы позволим себе привести несколько выдержек из переписки его главных деятелей: наиболее талантливого члена-эксперта из помещиков, Юрия Самарина, и самого земечательного из представителей администрации в «комиссиях», Николая Малютина. Вот как характе-

---

[1]) См. журналы Главного Комитета 18 октября, 19, 22 и 29 ноября 1858 года.

ризовал политическое положение первый из них в самом начале 60-х годов: «Теперь, как двести лет назад, на всей русской земле есть только две живые силы: личная власть наверху и сельская община на противоположном конце; но эти две силы вместо того, чтобы быть соединенными, разделены всеми посредствующими слоями. Эта нелепая среда, лишенная всяких корней в народе и в течение веков цеплявшаяся за вершину, начинает храбриться и дерзко хорохорится перед своей собственной, единственной опорой (доказательство — дворянские собрания, университеты, пресса и т. д.). Ее крикливые выходки напрасно пугают власть и раздражают массы. Власть отступает, делает уступку за уступкой без всякой пользы для общества, которое дразнит власть из удовольствия ее дразнить. Но это не может длиться долго, иначе нельзя избежать сближения двух полюсов — самодержавия и простонародья, сближения, которое сметет и раздавит все, что находится в промежутке, — а в промежутке вся образованная Россия, вся наша культура. Хорошее будущее, нечего сказать»! Итак, не только радикалы (пресса), но и либералы (дворянские собрания) вели Россию не более, не менее, как к культурной гибели. Единственной живой силой, как при царе Петре, оказывалось самодержавие. Можно себе представить, что испытывали люди этого типа, очутившись лицом к лицу с настоящей революцией. Как известно, после самой России, деятелям редакционных комиссий пришлось проводить крестьянскую реформу в Польше, в разгар восстания в 1863 — 64 г.г. «Ты не поверишь, — писал Н. Милютин жене из Варшавы (в ноябре 1863 г.), — до чего политически развращены здесь все классы общества. Всюду ложь, лицемерие, низость, жестокость. Если больше не убивают на углах улиц, то это потому, что революционные комитеты отозвали в леса всех своих кинжальщиков, напуганных последними казнями. Что за общество, где можно чего-нибудь добиться только страхом!..». «...Низший класс населения — единственный, который может нас утешить и ободрить. Все остальное — дворянство, духовенство, евреи (и мелкая буржуазия, как видно из другого письма) — нам так враждебно и до такой степени развращено и деморализовано, что с теперешним поколением уже ничего не сделаешь. Страх — единственная узда для общества, в котором все моральные принципы перевернуты кверху ногами, так что ложь, лицемерие, грабеж, убийство возведены в доблесть и признаются

актами героизма». Незараженные «развратом» крестьяне одни радовали своим веселым и доверчивым видом русских чиновников, явившихся возвестить им свободу (возвещенную, впрочем, уже раньше польским революционным правительством): «женщины плакали и обнимали наши колени». Но поездку освободителей к освобождаемым опять стоит описать словами самого Милютина. «В ночь с субботы на воскресенье я отправился по Венской железной дороге с Самариным и Черкасским... На заре мы пересели в две открытые коляски и отправились в галоп, эскортируемые полуэскадроном улан и полусотней линейных казаков. Весь день, с восьми часов утра до шести вечера, мы ездили из деревни в деревню и из местечка в местечко, останавливаясь всюду, чтобы расспрашивать и осматривать, пугать войтов и бурмистров и знакомиться с народом (с которым они могли объясняться, как видно из другого места письма, только при помощи переводчика)... Вся местность, по которой мы ездили, охвачена восстанием. В местечках кишит население, из которого формируются банды. Мы посетили немецкие колонии, где эти «хищники», как называют их наши казаки, убили нескольких земледельцев... Нам удалось завязать сношения с народом (через переводчика, не забудьте этого...), и это привело нас всех в хорошее настроение и придало нам бодрости. Военное начальство принимало нас с распростертыми объятиями. Что касается солдат, не говоря уже о линейных казаках, которые привели нас в восторг своим мужеством, понятливостью и ловкостью, мы были поражены неистощимой веселостью и смелостью всех войск без исключения...». Возвращался в Варшаву Милютин уже под конвоем не казаков и уланов, а стрелков, которые «все время не переставали дурачиться и петь «пойдем Польшу покорять» и другие подобные песни, так что обратное путешествие совершилось самым веселым образом».

Итак, кроме крестьян, припадавших к ногам своих освободителей (один бог знает, чем больше был вызван этот почтительный жест — ласковыми ли словами, которые слышали крестьяне из уст переводчика, или внушительным видом уланских пик и казацких нагаек), последние нашли в Польше еще одно «отрадное явление»: то были усмирившие «хищников» солдаты. Помимо почтительных крестьян и бравых солдат, все остальное население Польши состояло из до мозга костей развращенных представителей «латинской и шляхетской культуры», совершавших

«убийства» (то-есть, террористические акты) и «грабежи» (по-современному — экспроприации), при чем все это с крайней степенью «лицемерия», то-есть весьма конспиративно и без всякого стремления поговорить «по душе» с представителями русского правительства, не решавшимися даже на прогулку выйти из стен Брюлевского дворца, где они жили. Читателю, несколько знакомому с историей восстания 1863 — 1864 годов, эта психология, вероятно, напомнила уже одну из крупнейших фигур, выдвинутых на арену битвы с русской стороны: читая излияния Милютина, невольно вспоминаешь М. Н. Муравьева. И действительно, эти два человека, казавшиеся еще вчера, в разгар русской реформы, непримиримыми антагонистами, на поле сражения с революцией живо поняли друг друга. Тотчас же по приезде в Вильну Милютин провел с Муравьевым «почти целый день». «Наше свидание и наши объяснения имели самый сердечный характер. Мы даже коснулись прошлого (т.-е. споров перед 19 февраля) — и оказались совершенно согласны. Вообще все, что он мне сказал, было очень разумно и для меня поучительно. Помимо ясного понимания людей и вещей, которые его окружают, он, действительно, обладает замечательными административными способностями. В энергии также у него нет недостатка, но я был поражен в нем каким-то оттенком печали, которого я не замечал у него прежде, и который объясняется постоянным нервным напряжением. По его словам, в течение шести месяцев казнено сорок восемь человек...». Само собою разумеется, что Милютин эти казни одобряет — потому что они ведь предупредили еще большее кровопролитие — и удивляется на европейскую печать, находившую образ действий Муравьева негуманным. Но у него очень скоро оказались точки соприкосновения не с одним Муравьевым, а и со всей «камарильей», еще вчера только выжившей Милютина из министерства внутренних дел. «В прошлую субботу император собрал несколько человек и ясно выразил перед ними свое одобрение общей программе, изложенной в нашем рапорте, — писал Милютин Самарину уже из Петербурга, в январе 1864 года. — Оппозиция замерла. Один князь Горчаков (министр иностранных дел) делал оговорки... *Князь Гагарин поддерживает нас самым энергическим образом.* Чевкин тоже... Гр. Панин (другой вчерашний враг Милютина, бывший председатель «редакционных комиссий»), несмотря на легкий оппозиционный оттенок, был чрезвычайно

мил и любезен. Словом, все прошло так хорошо, как только возможно». По старой памяти, Милютин еще высказывает дальше некоторый скептицизм, — но он был совершенно напрасен: на *политической* почве ему и его вчерашним врагам было нечего делить, а разделивший их ранее *экономический* вопрос теперь не играл роли, ибо дело шло не о русских помещиках, а о польских, только-что учинивших революцию [1]).

Мы привели все эти выписки, конечно, не для того, чтобы очернить перед читателями «честного кузнеца-гражданина»: в полной его искренности не может быть ни малейшего сомнения. И эти письма носят все совершенно интимный характер, — в них Милютин отразился с фотографической подлинностью. В борьбе с «конституционными вожделениями» камарилья могла на него положиться. А так как зимою 1858—1859 года политический момент неожиданно опять выдвинулся на первый план, то феодальная камарилья просто не сообразила, что, отдавая дело в руки Милютина и его товарищей из буржуазной группы, она сажает себе на спину своих *экономических* противников. Когда феодалы понемногу поняли это, — особенно должно было стать это ясно после того, как «редакционные комиссии» выжили из своей среды представителей феодальной группы, кн. Паскевича и гр. Шувалова, и обнаружилось, что даже Позен не имеет в «комиссиях» никакого влияния, — когда, с другой стороны, встретившись лицом к лицу с дворянскими «революционерами», они убедились в полной безобидности огромного большинства этих последних, — «камарилья» поспешила дать задний ход: дело снова было взято, с самой грубой бесцеремонностью, из рук милютинского кружка и снова забрано было в надежные феодальные руки. Будь камарилья и губернские комитеты *экономически* солидарны между собою, реформа, несмотря на все усилия Милютина, все же прошла бы по гагаринскому типу: ее спасло то, что и в комитетах было множество сторонников буржуазной программы, из чрезвычайно видных деятелей, притом — начиная с Кошелева и Унковского. Работу редакционных комиссий спас как-раз тот элемент, к которому эти комиссии относились с таким недоверием.

---

[1]) Все цитаты из писем Милютина и Самарина по Leroy-Beaulieu «Un homme d'Etat russe», Paris, 1884. Некоторые из писем опубликованы впоследствии и в русском оригинале, но у нас был под руками только французский текст.

Пока дело «освобождения» крестьян было в руках комитетов, Милютин относился к его возможному исходу с чрезвычайным скептицизмом. «В каких теперь все это руках? — писал он в начале 1858 года своему дяде, знакомому нам гр. П. Д. Киселеву. — Что за бессмыслие и неурядица! Горестно вспомнить, как творится такое трудное и важное дело. Дворянство, корыстное, неподготовленное, неразвитое, предоставлено собственным силам. Не могу себе представить, что выйдет из этого, без руководства и направления, при самой грубой оппозиции высших сановников, при интригах и недобросовестности исполнителей». Всеспасающая «общественная инициатива» не внушала, таким образом, приятелю Кавелина никакого доверия: единственной силой, от которой он чего-либо ждал, была личная власть. «Нельзя не изумляться редкой твердости государя, который *один* обуздывает настоящую реакцию и силу инерции». Можно подумать, что с переходом эмансипации под просвещенное «руководство и направление кавелинского кружка все пошло совершенно иначе. Мы не можем судить, правда, что сделал бы сам Кавелин (если не считать того, что в своем собственном имении он впоследствии использовал все «поправки», внесенные в реформу кн. Гариным): в «редакционные комиссии» его не пустили. Благодаря этому, руководящая теоретическая роль в комиссиях досталась «славянофилам» — главным образом Ю. Ф. Самарину: так, по крайней мере, утверждало тогдашнее общественное мнение. Но для того, чтобы померк тот ореол, которым доселе окружена деятельность редакционных комиссий на страницах либеральной публицистики, нет ни малейшей надобности пускаться в теоретический анализ их трудов. Им была дана практическая директива, позволявшая, казалось бы, сделать из реформы настоящее освобождение крестьян, без кавычек. Вырванный у феодальной группы знакомым нам припадком паники, журнал главного комитета 4 декабря 1858 г. ставил задачей нового курса предоставить бывшим крепостным «*право свободных сословий*», лично, по имуществу и по праву жалобы — признавая, в то же время, необходимость «стараться, *чтобы крестьяне постепенно делались земельными собственниками*». Шли ли комиссии неуклонно в этом — не разрешенном, а формально предписанном им — направлении: создания в России класса свободных мелких земельных собственников? Весьма осторожно и с большими зигзагами. В основу юридической характеристики нового «свободного сосло-

зия» комиссии положили — как это ни покажется странным — старо-московскую идею «тягла», ту самую идею, что лежала в основе крепостного права. «На основании действующих законов, — рассуждали комиссии, — все свободные сословия, несмотря на различие прав, предоставленных им в составе обществ, пользуются полною друг от друга независимостью. Все они, от высших до низших, непосредственно *тянут* (по выразительному юридическому термину нашего древнего законодательства) к живому средоточию государственного устройства, олицетворяющему собою единство русской земли и единство правящей ею верховной власти». Можно было бы спросить редакционные комиссии, в чем же заключалось в 1860 году «тягло» не только дворян, но хотя бы купцов или городского мещанства? К середине XIX века «тяглыми» оставались только крестьяне, — реформа, юридически, в том и состояла, чтобы сравнять их с остальными обывателями; но для редакционных комиссий такой шаг был слишком резким и радикальным. Для крестьян были сохранены сословные учреждения — волостное правление и волостной суд; а в руках этих учреждений и старый аппарат воздействия на новых «государевых тяглецов»: розги. Целый ряд губернских комитетов, притом вовсе не особенно буржуазных, как московский, например, оказались в этом отношении левее друзей Кавелина, категорически настаивая на отмене телесных наказаний. Так было со «свободой»; в том же роде шло дело и с «земельной собственностью». Кавелинского принципа — сохранения в руках крестьян *всей* земли, какою они пользовались в момент освобождения, ибо было совершенно ясно, как увидим далее, что и она могла служить лишь *минимальным* обеспечением выкупных платежей, — этого принципа комиссии провести до конца не сумели. Еще в первом периоде своей деятельности, до столкновения с представителями губернских комитетов, комиссии, в заседании 20 июня 1859 года, значительным большинством высказались за *отрезку*, т.-е. за принципиальное право помещика уменьшать, в известных случаях, надел своих крестьян при освобождении. Они утешали себя тем, что случаи эти должны были оставаться *исключительными*; но во *втором* периоде деятельности комиссий, после их столкновения с губернскими комитетами (в августе — октябре 1859 года), и это утешение оказалось призрачным. По установленным комиссиями, под давлением комитетов, нормам максимального надела, отрезка

по целому ряду черноземных уездов, должна была коснуться трети, половины, местами даже большинства имений (в отдельных случаях до 80%!): «исключение» оказывалось распространеннее правила. Комиссии утешали себя еще тем, что зато оценили они отходящую к крестьянам землю дешевле, чем помещики. Но, во-первых, разница не так уж велика: курский комитет, например, желал получить за надел 80—93 рубля, комиссии оценили его в 64—81 рубль; калужский — от 100 до 150, комиссии от 111—120; московский от 160 до 179; комиссии от 76 до 120. Кроме Москвы, столкновение было довольно решительным в Ярославле: ярославские дворяне (очень либеральные, как мы видели) желали получить за мужицкую землю от 196 до 270 руб., комиссии не давали больше 75—166 руб. Зато в ряде случаев оценки комитетов и комиссий сходятся чрезвычайно близко: в Тульской губернии 69—137 р. (комитет) и 66—139 р. (комиссии); в Харьковской — 96 р. (комитет) и 71—101 р. (комиссии) [1]). Но все эти арифметические подвиги стушевываются перед тем фактом, что принцип оценки крестьянской земли *выше* ее действительной стоимости, т.-е. замаскированный выкуп личности вполне признавали и комиссии. «При уступке земель крестьянам в собственность за выкуп, — писали они, — помещик лишится... дохода, а потому и должен получить соразмерное вознаграждение. Отсюда вытекает необходимость определить высший размер выкупной суммы не оценкою выкупаемых угодий, а суммою постоянного дохода или денежного оброка, установленного на основании Положения. *Не подлежит сомнению, что доход этот во многих случаях будет превышать действительную стоимость поземельных угодий*, так как для определения размера крестьянских оброков редакционные комиссии приняли за исходную точку не поземельную ренту, а нынешние повинности, установившиеся под влиянием крепостного права».

Если прибавить, что и в вопросе о самом *выкупе* была сделана крупная уступка феодальной стороне: выкуп был сделан комиссиями обязательным для *крестьян*, но не для помещика, — от его воли зависело, пустить землю в своем имении на выкуп, или нет, — то позиция комиссий, как *промежуточная* между феодальной

[1]) Цифры по *Скребицкому*, т. IV, стр. 1232. Мы не различали *большинства* и *меньшинства* комитетов — так как в данном случае это не интересно.

и буржуазной группами, обрисуется перед нами с полной отчетливостью. Всероссийское дворянское собрание, о котором мечтали помещики, вероятно, дало бы точно такую же картину компромисса, — ибо ни освобождение вовсе без земли, ни с чересчур малым земельным наделом вовсе не отвечало выгодам всех или даже большинства дворян. Быть может, крестьяне из рук этого собрания вышли бы еще меньше «землевладельцами», но зато по части «свободы» они, пожалуй, выиграли бы: проекты комитетов были ближе к буржуазным отношениям в деревне и дальше от идеи старо-московского «тягла», нежели крестьянское «самоуправление» по проектам комиссий. Кроме того, непосредственное столкновение с феодалами, без всякого промежуточного буфера, вне сомнений, подвинуло бы еще влево буржуазно настроенную часть помещиков: редакционные же комиссии, ближайшим образом, достигли лишь того, что этой буржуазной части был просто зажат рот. Ибо весьма склонный к компромиссам в экономической области, по части «свободы» Милютин был неумолим: именно он, вопреки даже мнению значительной части членов комиссий, в том числе Самарина, настаивал на том, чтобы депутатам от комитетов, съехавшимся в Петербург в августе 1859 года, не давать никакого голоса в решении дела, даже не разговаривать с ними по существу, а ограничиться формальным отобранием у них справок по нескольким второстепенным вопросам. При таких условиях депутатам ничего не оставалось, как апеллировать, через голову комиссий, к «правительству», т.-е. к феодальной камарилье. Насколько усиливалась этим позиция последней, нетрудно оценить, если вспомнить, что среди этих «депутатов первого призыва» были такие люди, как Кошелев и Унковский. Дальнейшим следствием было то, что в самих комитетах окрепло феодальное течение — и депутаты «второго приглашения» довольно единодушно стремились уже к обезземелению крестьян. Милютин, конечно, не хотел быть орудием камарильи, но роль такого орудия он, помимо своей воли и сознания, все же сыграл. Положение сильнее человека — и нельзя делать людей свободными при помощи абсолютизма.

Если члены комиссий не сознавали логики своего положения вначале, — они должны были понять ее, увидав, как кончилось дело. Едва комиссии кончили заданную им работу: собрали нужное количество экономического и юридического материала, выработали технику реформы и обуздали крамольные комитеты, —

как от них поспешили отделаться с невероятной бесцеремонностью: 10 октября 1860 года они были закрыты почти экспромтом, и *ни один* из их членов не был допущен в то учреждение, где должен был решиться вопрос, — в главный комитет по крестьянскому делу, преобразованный из знакомого нам «секретного» комитета и, в сущности, тоже «секретный», ибо его прения составляли тайну для всех, не исключая и бывших членов комиссий!.. Милютин и его товарищи должны были частным путем разузнавать, что делают с проектом, куда они вложили всю душу. Принципиальной борьбы с этим проектом заседавшему в главном комитете феодальному синклиту, впрочем, не пришлось вести: комиссии предупредительно оставили все нужные «крепостникам» лазейки. Только Панин, внук усмирителя пугачевщины, министр юстиции Николая I и бывший, после смерти Ростовцева, председатель редакционных комиссий (еще более номинальный председатель, впрочем, чем был Ростовцев) еще немного покромсал крестьянские наделы — где на полдесятины, где на четверть. Да кн. Гагарин вбил последний гвоздь, проведя право помещиков освобождать крестьян почти без земли — с одной четвертью надела. В дальнейшем и главный комитет и, сыгравший роль чисто формальной инстанции, государственный совет остались на почве проекта комиссий. Благодаря тому, что эти последние поставили *выкуп*, т.-е. окончательную ликвидацию отношений между барином и его бывшими крепостными, в зависимость от согласия помещика, в «Положении 19 февраля» оказались узаконенными сразу *оба* типа «освобождения»: николаевский, по которому крестьяне оставались «обязанными» (как по закону 1842 года), и более новый, — буржуазный, — делавший из крестьян, на бумаге, «свободных мелких земельных собственников». И те, и другие оставались, конечно, одинаково привязанными к месту — ибо сохранена была круговая порука в деле уплаты податей и повинностей, и крестьянин не мог уйти из деревни без согласия «мира», — а мир имел все побуждения его не выпускать. Но зато помещик был совершенно не связан в выборе системы хозяйства, — он мог вести его по-новому, наемными работниками, или по-старому, оброком, либо барщиной. *Ликвидация крепостного хозяйства*, таким образом, *была всецело предоставлена инициативе землевладельцев*; этого не нужно забывать, когда мы слышим, что крепостное право было отменено «сверху». Право — да; хозяйство — нет. Относительно

хозяйства был устроен своего рода плебисцит между помещиками: и вот какие результаты дал этот плебисцит. К 1 мая 1864 года «Положение 19 февраля» было введено во всех — или почти во всех — имениях Европейской России. Из 109.758 имений с 9.765.925 душами крестьян остались на «обязанном» положении:

75.412 имений с 5.300.000 душами.

Перешли на выкуп или воспользовались гагаринской оговоркой о четвертном (дарственном) наделе:

34.301 имение с 4.465.739 душами.

Для того, чтобы правильно оценить эти цифры [1]), надобно принять в соображение, с одной стороны, что в западных губерниях после польского восстания 1863 года выкуп был сделан *обязательным* (во всей России он стал обязательным только в 1881 году). С другой стороны, что для владельцев *оброчных* имений (составлявших около $^1/_3$ общего числа), вообще менее других заинтересованных в ликвидации крепостного права, было создано лишнее побуждение отложить эту ликвидацию, в виде обещания *пересмотра* — само собою разумеется, повышения — крестьянского оброка через 20 лет. Кто стал бы резать курицу, которая могла еще снести золотое яйцо? Произведя соответствующие вычеты, мы увидим, что за «свободный труд» высказалось немедленно же после реформы до *половины* помещиков. Это дает нам мерку распространенности «манчестерских» взглядов среди тогдашнего дворянства.

Сохранение «обязанных» отношений, буде того пожелает помещик, послужило главным источником «недоразумений» при проведении реформы на местах: Киселев воочию мог убедиться, к какому хаосу привел бы сочиненный им при Николае план освобождения крестьян, если бы он осуществился. Система выкупных платежей (детальнее мы коснемся ее в следующей главе) была так сложна, что не одним крестьянам не сразу было догадаться о действительном их значении: скрывающемся за выкупом земли выкупе личности. Но быть от царя объявленным свободным человеком — и в то же время продолжать ходить на барщину или платить оброк: это было вопиющее противоречие,

---

[1]) Они заимствованы нами из ст. г. *Попельницкого* «Как принято было Положение 19 февраля крестьянами», «Совр. Мир», 1911 г., март, стр. 187. Данные ниже оттуда же.

бросавшееся в глаза. «Обязанные» крестьяне твердо верили, что эта воля — не настоящая: придет «слушный час», и тогда сам царь (а не помещики, чиновники и попы) объявит настоящую волю. Единственным средством убедить крестьян, что «Положение 19 февраля» и есть настоящая воля, были *розги*. Посланный в Калужскую губернию генерал Казнаков (реформа проводилась при помощи высочайше командированных на места генералов и флигель-адъютантов — отголосок неосуществившегося проекта о генерал-губернаторах) доносил, что он «против своего убеждения и даже без надежды на успех решился на испытание розог, и, к счастью и удивлению его, достаточно было не страшного числа ударов, а легкого наказания в пределах, ниже дозволенных законом даже полицейско-исправительной власти, для преодоления непонятного до того упорства крестьян». Никогда так много не секли, по словам современников, как в первые три месяца после объявления «воли»: и у крестьян даже сложилось убеждение, что в самом «Положении» есть статья, предписывающая пороть всякого мужика, осмелившегося это «Положение» прочесть. Но не всегда и розог оказывалось достаточно: за два года составления «уставных грамот» в 2.115 селениях пришлось применять военную силу, при чем временами доходило до настоящих военных действий, с десятками убитых и раненых — со стороны крестьян, разумеется. И тем не менее, из 97.539 уставных грамот 45.825 было не подписано крестьянами: почти *половина* их отказалась от «свободного труда» в той форме, в какой он был предложен манифестом 19 февраля 1861 года.

ГЛАВА XV.

Шестидесятые годы.

1. Пореформенная экономика.

«Удача» или «неудача» крестьянской реформы всецело зависела от того, удержится или не удержится экономическая конъюнктура, на почве которой созрела, среди помещиков, самая идея реформы. Ибо не нужно забывать, что если теоретически преимущества «свободного труда» были демонстрированы еще в 60-х годах предшествующего века, если правительство, по тем или иным побуждениям, носилось с планами «освобождения» уже в первые годы XIX столетия, то хозяева-практики согласились на реформу лишь к сороковым годам, даже к концу их, а разговоры о реформе, пока не было на нее согласия непосредственных владельцев крепостного труда, были простым сотрясением воздуха. Обманул или не обманул ожидания русских дворян «свободный труд»? Наиболее заинтересованные лица, сами дворяне, в 80-х годах прошлого века отвечали на это утвердительно. О том, что дворянство что-то «потеряло» от реформы, можно было прочесть даже в очень благонамеренных исторических книжках, вышедших в последние годы истекшего столетия. Художественная литература, толкуя об «оскудении», якобы постигшем российского помещика после «воли», вторила этим утверждениям. Действительное оскудение эпохи Александра III отбросило мрачную тень на двадцать лет назад. Коротка память у людей, и свежая беда заставляет их забывать долгие годы предшествовавшего этой беде благополучия.

Если мы от колеблющихся настроений перейдем к твердым, объективным данным, от психологии к статистике, мы сразу увидим, когда началось «оскудение» и можно ли говорить о нем для двух десятилетий, непосредственно следовавших за 19 февраля 1861 года. Мы видели, что крестьянская «свобода» была прямым ответом на высокие хлебные цены, установившиеся

в Западной Европе с сороковых годов: а международный хлебный рынок уже тогда командовал более тесным и узким русским рынком. Сравните два ряда цифр в нижеследующей табличке — и оскудение, настоящее оскудение станет перед вами со всей рельефностью, можно сказать, автоматически отмечая свою действительную хронологическую дату.

Годы.	Цена гектолитра пшеницы во франках.				
	Франция	Англия	Пруссия	Италия	Соед. Шт.
1862 — 71	21,67	21,96	22,98	21,03	20,17
1891 — 1900	16,80	12,11	15,48	17,88	8,97

Это — конечные результаты: беда уже пришла. Она подбиралась постепенно, и та же статистика дает нам возможность заметить ее приближение издалека. Если, как мы это делали раньше, мы примем хлебные цены 20-х годов XIX века за 100, мы получим такие соотношения:

Годы.	Пшеница.	Рожь.
1861 — 70	168,20	177,80
1871 — 80	181,38	191,03
1881 — 84	159,97	179,31

Цены стали падать, таким образом, только с начала 80-х годов: с конца 50-х годов и до этого времени они, хотя и с колебаниями, все время поднимались [1]). Поднимался, само собою разумеется, и русский хлебный вывоз:

Трехлетия.	Тысячи четвертей.	Трехлетия.	Тысячи четвертей.
1848 — 50	3.896	1863 — 65	8.708
1851 — 53	7.569	1866 — 68	13.154
1857 — 59	8.780	1869 — 71	18.154
1860 — 62	8.859	1872 — 74	21.080

Если мы примем вывоз последнего трехлетия (1857 — 1859 г.г.) перед 19 февраля за 100, вывоз трехлетия 1872 — 1874 г.г. выразится цифрой 240 [2]). Еще два года спустя, к 1876 году, эта цифра дошла до 287, — пореформенный вывоз увеличился сравнительно с дореформенным почти втрое за 15 лет.

---

[1]) Первая табличка взята нами у *Beaurieux*, вторая — у *Hansen*'а, цитиров. сочинения.

[2]) *Блиох*, «Влияние железных дорог на экономическое состояние России», II, стр. 42. Мы несколько округлили подсчет Блиоха, вычисленный с точностью до 0,01%, и пропустили трехлетие 1854 — 1856 г.г. — годы Крымской войны.

Но, скажет читатель, что же тут удивительного? За эти пятнадцать лет Россия покрылась сетью железных дорог, подвоз хлеба к портам стал во много раз удобнее и дешевле, — возможно, что такие же результаты были бы достигнуты и при крепостном праве. Действительно, из 26 миллионов четвертей хлеба, вывезенного за границу в 1874 году, 17 миллионов было доставлено по железной дороге, и лишь 9 — водяными путями или на лошадях: почти те же 9 миллионов четвертей вывозились ежегодно и в 1859 — 1861 годах, когда железных дорог в России почти еще не было. И тем не менее, результаты не могли бы быть такими же, потому что хлеба для вывоза в распоряжении населения было бы меньше. «Манчестерское» предположение помещиков о большей доходности «вольного» труда оправдывается статистическими данными в такой же мере, в какой ими опровергается «упадок» русского сельского хозяйства после реформы. Для проверки «манчестерского» предрассудка у нас имеются два ряда цифр. Во-первых, имеются данные об *урожайности* в различных губерниях России до и после реформы. Данные неполные и, может быть, не вполне точные, но так как точность их всюду нарушена в одном направлении, в сторону излишнего оптимизма, то неточность абсолютных цифр не мешает отношениям быть весьма поучительными. После «освобождения» крестьян земля стала родить больше, это не подлежит сомнению:

Губернии:	Урожай («сам-сколько»). 1857 — 1866 г.г. Озимые хлеба вообще.	1870 — 1882 г.г. Оз. рожь.	Оз. пшеница.
Воронежская . . .	4,0	4,2	4,0
Полтавская	3,9	4,8	4,3
Рязанская	3,4	4,2	5,1
Орловская	3,9	4,4	5,1
Курская	3,5	5,3	5,7
Тамбовская	3,9	5,3	5,3
Пензенская	4,1	5,1	3,8

Урожайность *ржи* повысилась *везде*, урожайность пшеницы понизилась в одной Пензенской губернии, да в Воронежской осталась на прежнем уровне: и это — чрезвычайно характерное обстоятельство. Пшеница — барский хлеб, рожь — мужицкий; на крестьянских землях пшеницей была засеяна, считая на всю Россию, лишь $^1/_5$ общей площади, рожью — $^4/_5$, тогда как на помещичьих землях под пшеницею $^1/_3$ и под рожью $^2/_3$.

При чем крестьянские посевы пшеницы уже в 80-х годах все уменьшались и уменьшались [1]). Рост урожайности «мужицкого» хлеба при всем известной застойности крестьянской земледельческой техники за этот период может быть отнесен исключительно на счет производительности *труда*, в самом тесном и прямом значении этого слова. Земля стала родить больше, когда с нее сняли барщину. И, несмотря на быстрый в России рост населения, хлеба на каждую душу стало оставаться больше:

Губернии:	Производства зерна (четвертей на душу чистого сбора). (1864 — 66	1870 — 79	1883 — 87
Южные степные	2,09	2,14	3,42
Нижневолжские и заволжские . .	2,12	2,96	3,35
Средне-черноземные	3,32	3,88	3,28

Чистый остаток в руках населения увеличился; таким образом, увеличилось и количество хлеба, которое могло быть вывезено за границу. Мы нарочно сохранили и третий столбец таблички, выходящей за хронологические пределы наших наблюдений: он намечает не только *время*, но и *место* начинавшегося оскудения. Раньше всего стал старый земледельческий центр; «колонии» удержались лучше [2]).

Итак, «манчестерцы» оказались правы: земледельческий труд в России стал производительнее с тех пор, как он стал «свободным», хотя бы и в кавычках. Что было бы, если бы он стал свободным в подлинном смысле слова, мы с трудом можем себе представить. Но это были бы праздные мечтания: вернемся к реальности. На ряду с предрассудком насчет оскудения помещиков непосредственно после реформы и благодаря ей, прочно живет и другой, гласящий, что «манчестерцы», наговорив либеральных фраз, под шумок все-таки сохранили старую барщину, в виде знаменитых *отработков*. «Отрезав» у крестьян, по Положению 19 февраля, земли, для тех абсолютно необходимые, — луга, выгоны, даже места для прогона скота к водопою, — помещики заставляли их арендовать эти земли не иначе, как *под*

---

[1]) *Nicolas-on*, «Histoire du développement économique de la Russie», Paris, 1902, pp. 154 — 155. Французское издание полнее русского издания «Очерков».

[2]) Первая табличка составлена нами по данным, приложенным к I тому известной книги «Влияние урожаев и хлебных цен и т. д.». Вторая — заимствована у *В. Ильина*: «Развитие капитализма в России», первое издание, стр. 186.

работу, с обязательством вспахать, засеять и сжать на помещика определенное количество десятин. Что на таких началах велось помещичье хозяйство нечерноземной полосы в 70-х годах, это категорически подтверждает Энгельгардт (его «Письма из деревни», как известно, единственный в своем роде памятник экономической истории России в пореформенную эпоху). Он говорит, что, когда он сел на землю и начал хозяйничать, ни один разумный помещик в его округе (и он сам в том числе) не сдавал крестьянам «отрезков» за деньги. Многие жили только «отрезками»; один хвастал, что его отрезки охватывают, как кольцом, 18 деревень, которые все у него в кабале; едва приехавший арендатор-немец в качестве одного из первых русских слов запоминал atreski и, арендуя имение, прежде всего справлялся, есть ли в нем эта драгоценность. Но работа крестьян за арендуемую у барина землю — это, говорят, та же барщина: где уцелели отработки, там сохранилось, попрежнему, барщинное хозяйство. Однако, во-первых, это не одно и то же, — хотя повод к смешению и подал такой авторитет, как Маркс, рассматривающий отработки и барщину, как две разновидности одного типа хозяйства. На самом деле это два разных типа, и Маркс в другом месте указал совершенно правильный принцип различения этих двух типов, установив разницу *экономического* и *вне-экономического* принуждения. Крепостные крестьяне юридически были обязаны отбывать барщину, — экономически они вовсе не были к этому вынуждены; хотя, теоретически, надел барщинного крестьянина и может рассматриваться как обеспечение его барщинной повинности, но на практике в русском крепостном имении он обеспечивал вовсе не ее, а повинности крестьянина перед казной, подати (которые иначе помещик вынужден был бы платить из своего кармана). Едва ли можно указать случай, чтобы у крестьянской семьи был отобран надел, т.-е. чтобы крестьянское хозяйство было разорено из-за того, что члены данной семьи плохо работали на барщине: применивший такую «меру взыскания» помещик вполне уподобился бы высекшей самое себя унтер-офицерше. За плохую барщину можно было сменить большака, что и делалось, отдать семью под надзор другой, более исправной, взыскать со всей общины, наконец, по круговой поруке; но если помещик иногда обезземеливал крестьян, он делал это вне всякой связи с тем, исправны или не исправны они на барщине. С отработками дело обстояло

совершенно иначе. Юридически крестьянин вовсе не обязан был снимать отрезки у барина и за то на него работать; но без отрезков он не мог вести своего крестьянского хозяйства; в силу этого *отработки являлись для него экономической необходимостью.* В сущности, все равно, что заставляет человека продавать свой труд, и если не все равно, что он за этот труд получает, то *тут* именно разница *видовая*, а не *родовая.* Отработочный крестьянин, батрак с наделом, сельский пролетарий — это три последовательные ступени развития наемного труда в земледелии. При чем даже и настоящий наемный работник может получать свою плату, или часть ее, не деньгами, а натурой: блестящим примером этого является скотник Энгельгарда [1]). *Отработочное хозяйство* — не простая маскировка крепостного: это, экономически, *хозяйство полу-буржуазное.* И очень характерно, что двадцать пять лет после реформы даже это полу-буржуазное хозяйство в России не являлось уже правилом. По данным 1883—1887 г.г. все губернии России можно было разделить на три такие группы:

	Число губ. а) черн. б) нечерн.	Количество посева
I. Губернии с преобладанием *капиталистической* системы	19 (а — 9, б — 10)	7.407 тыс. десят.
II. Губернии со *смешанной* системой	7 (а — 3, б — 4)	2.222 » »
III. Губернии с преобладанием *отработочной* системы.	17 (а — 12, б — 5)	6.281 » »

Но сюда входят данные и о *мелкопоместном* хозяйстве, лучше всего консервировавшем остатки крепостного права. Если мы возьмем пример с одними *средними* или *крупными* имениями, преобладание капиталистической системы станет еще рельефнее. Цитируемый нами автор приводит 4 уезда Курской губернии, где наемный труд применялся так:

---

[1]) Скотник получал в год «60 рублей деньгами, 6 кулей 6 мер ржи, 2 куля овса, 1½ куля ячменя», кроме того, держал на хозяйском корму корову и овцу, получал землю для огорода и для посева одной мерки льна и одной осьмины картофеля и т. д., и т. д.

Уезды	% имений, приобретающ. рабочих по вольному найму		% имений, держащих батраков	
	Средних	Крупных	Средних	Крупных
Дмитровский. .	53,3	84,3	68,5	85,0
Фатежский . .	77,1	88,2	86,0	94,1
Льговский . . .	58,7	70,8	78,1	96,9
Суджанский . .	53,0	81,1	66,9	90.5

Таким образом, только ничтожное меньшинство крупных имений держалось здесь отработочной системы — и решительное большинство средних также перешло уже к наемному труду [1]). *Крупное землевладение* в черноземной полосе *оказывалось наиболее буржуазным:* наблюдение, важность которого мы оценим, если вспомним, что *большая часть дворянской земли была в руках крупных собственников.* По данным середины 70-х годов только *одна четырнадцатая* дворянской земли принадлежала помещикам, имевшим менее 100 десятин на черноземе и менее 500 десятин в нечерноземной полосе, т.-е. бывшим мелкопоместным: а сами эти помещики составляли *более трех четвертей* (76,5%) всей массы дворян-землевладельцев (90.225 из 114.716). Зато 10% дворян, имевших каждый более 1.000 десятин земли, владели *тремя четвертями* всей площади (74,5%). В руках среднего землевладения (100 — 500 дес. на черноземе и 500 — 1.000 на суглинке) было 20% всей земли [2]). Сопоставление этих цифр дает ключ к целому ряду политических и экономических явлений эпохи реформ. Во-первых, мы начинаем понимать, почему «знать» так же прочно держала бразды правления в своих руках после 19 февраля, как и при Николае Павловиче: экономически это была сильнейшая часть дворянства, притом далеко сильнейшая. Это еще более подчеркивается распределением земельной собственности между отдельными группами самих крупных землевладельцев: из общей массы принадлежавшей им земли (55 миллионов десятин) *три пятых* (32 миллиона) принадлежало *крупнейшим* собственникам, владевшим более 5.000 десятин на каждого.

Совершенно понятно, далее, почему, несмотря на все «реформы», основные черты политического строя остались у нас неизменными и в 60—70-х годах; земельные магнаты, еще в первой четверти столетия имевшие случай убедиться в крамольности

[1]) Обе таблицы см. у *Ильина,* цит. соч., стр. 133—134.

[2]) «Дворянство в России», «Вестн. Евр.», 1887 г., т. II.

среднего землевладения, цепко держались за абсолютную монархию, для них непосредственно, в конце концов, наиболее выгодную. Напротив, для этого среднего дворянства, составлявшего незначительное меньшинство в своем сословии, крайне трудно было провести свою политическую программу, не опираясь на другие общественные слои: в 60-х годах повторялось то же, что было и 14 декабря. Ближайшим союзникам опять могла бы быть буржуазия. Но буржуазия торгово-промышленная при Александре II, как и при Николае I, попрежнему продолжала обнаруживать высшую степень благонамеренности: мы увидим, дальше, что ей «сильная власть» была как нельзя более необходима в это время. Буржуазия же аграрная, юридически появившаяся у нас при Александре I, но ставшая играть некоторую социальную роль лишь после 19 февраля, развивалась очень туго. К числу обычных признаков «оскудения» причисляется всегда и массовый переход барских усадеб в руки Колупаевых и Разуваевых: на утрированность этой картины обращали внимание уже в 90-х годах. Процент дворянских земель, перешедших в не-дворянские руки за тридцать лет после «освобождения», правда, довольно значителен: из 79 миллионов десятин, считавшихся за дворянами перед 1861 годом, убыло к 1895 году 28 миллионов — более 35%. Но, во-первых, почти половина этого количества (до 12½ миллионов дес.) перешла в руки крестьян, непосредственно — не считая той земли, которая была перепродана крестьянам же маклаками-скупщиками. Притом с течением времени крестьянские приобретения все более и более росли на счет купеческих, которые приходится считать основным типом буржуазных, хотя, конечно «купец» и «буржуа» — не одно и то же. Крестьянские и купеческие покупки распределяются по десятилетиям так:

В среднем покупалось ежегодно		1863—72 г.г.	1873—82 г.г.	1883—92 г.г.
	крестьянами. .	155 тыс. дес.	340 тыс. дес.	550 тыс. дес.
	купцами. . . .	400 » »	380 » »	172 » »

Рост буржуазного землевладения на счет дворянского, и без того не быстрый, шел не ускоряясь, а замедляясь [1]). Причины — с 80-х годов особенно создание Крестьянского банка, вздувшего цены на землю, — мы увидим в своем месте. Сейчас для нас важен самый факт. Далее, *географически* буржуазное землевла-

[1]) «Земледелие в России», «Вестник Европы», 1904, январь.

дение в России распределялось далеко не равномерно. По той же статистике середины семидесятых годов купеческое землевладение было распространено в губерниях, во-первых, промышленных (Владимирская 27,4%, Московская 19,4%, Костромская 18,8%), во-вторых, нижне-волжских и новороссийских (Самарская 20,2%, Саратовская 15,2%, Таврическая 17,8%, Бессарабская 17,9%, Херсонская 12,9%), т.-е. в «колониях», которые были гнездом буржуазного землевладения отчасти и раньше 19 февраля (Саратовская и Таврическая губернии). В «метрополии» дворяне цепко держали земли в своих руках, — процент купеческих имений на черноземе значителен только в Тамбовской губернии (15,4), в остальных черноземных губерниях мы встречаем от 4 до 9% купеческой земли на 65—90% дворянской. А масса скупленных и разоренных Колупаевыми усадеб? У нас нет под руками данных о количестве экспроприированных помещиков, но вполне можно допустить, что их было много. Только разорялись, преимущественно, мелкие землевладельцы-дворяне: крупное землевладение оказывалось и более прогрессивным, и наиболее устойчивым в то же время, — одно тесно связано с другим.

Перевес крупной дворянской собственности над имениями среднего размера дает нам ключ и к исходу крестьянской реформы. Как бы ни была слаба феодальная программа теоретически, как бы ни были невежественны и отсталы ее выразители, — их экономическое могущество обеспечивало им всю ту долю победы, какая была совместима с объективными условиями: ибо, не нужно этого забывать, безземельное освобождение крестьян грозило разорением всем нечерноземным помещикам, — а в их среде было достаточно и очень крупных землевладельцев. Зато на черноземе (по вычислениям г. Лосицкого) было отрезано у крестьян до 30% надельной земли: и так как *четверть* надела готовы были отдать своим мужикам и феодалы, — поправка кн. Гагарина, — то последние уступили, фактически, меньше чем наполовину (70% — 25% = 45%: эта цифра и выражает, арифметически, долю уступки феодалов на черноземе). Мы видели при этом, что победа феодальной программы вовсе не выражала еще собою победы феодального типа хозяйства: напротив, феодалы скорее приспособились к буржуазной обстановке, чем мелкие землевладельцы. Статистика дает нам еще более парадоксальный вывод: «освобождение» по феодальному

типу более способствовало развитию буржуазных отношений в деревне, чем реформа по типу буржуазному. Известные наблюдения г. Щербины над крестьянскими бюджетами (ограничивающиеся, к сожалению, очень тесной площадью — в сущности, лишь несколькими уездами Воронежской губернии) дают некоторую возможность проследить развитие денежного хозяйства в крестьянской среде:

Разряд крестьян.	Земли на душу муж. пола дес.	Приход		Расход	
		натурой.	деньгами.	натурой.	деньгами
1) Б. Государственные . . .	1,57	63,0%	37,0%	57,3%	42,7%
2) «Собственники» (б. помещичьи, получившие наделы)	1,02	59,5%	40,5%	51,3%	48,7%
«Дарственники» (получившие 1/4 надела) . . .	0,30	26,6%	73,4%	23,2%	76,8%

«Дарственник», «освобожденный» по гагаринскому проекту, вел хозяйство более «денежное», нежели щедрее его наделенный землею «собственник»: другими словами, первый был ближе к чистому пролетарию капиталистического общества, тогда как последний являлся промежуточною ступенью не между пролетарием и мелким собственником, как это было бы в условиях развитого буржуазного строя, а между пролетарием и крестьянином феодального типа, вместе с натуральным хозяйством сохранившим, конечно, и феодальную идеологию во всей ее неприкосновенности... Не даром еще Чернышевский задумывался над вопросом: не была ли бы полная победа феодальной программы — освобождение без земли — в конечном счете для крестьян выгоднее?

Но нет надобности поднимать общего вопроса: что было бы выгоднее для крестьян — оказаться совсем обезземеленными или получить надел? Достаточно присмотреться к условиям, какими обставлено было получение этого надела, чтобы нам стало ясно, что сделаться таким «собственником», во всяком случае, было менее выгодно, нежели просто стать пролетарием. Читатель, вероятно, еще хорошо помнит, какое значение усваивалось крестьянскому наделу «буржуазной» программой: это было обеспечение не столько крестьянского хозяйства, сколько того долга, который ложился на «освобождаемого» крестьянина, выражая собою, номинально, стоимость «уступленной» помещиком крестьянину

земли, а фактически — стоимость и самого «освобождаемого». Какая доля долга приходилась на землю, какая на «душу», это мы теперь можем определить для всей крестьянской массы, с большой степенью арифметической точности. У г. Лосицкого мы находим такую таблицу [1]):

Губернии	Площадь надела (тыс. дес.).	Ценность надела. (миллионы рублей).	Выкупная сумма
Нечерноземные . .	12.286	180	342
Черноземные . . .	9.841	284	342
Западные	10.141	184	183
Всего . .	32.268	648	867

В западной России, где «освобождение» проводилось (М. Н. Муравьевым) на фоне революционной борьбы польского помещика с русским правительством, «душу» крестьянина, действительно, отняли у барина задаром. Но там, где помещик не бунтовал, он получил за «душу» изрядный куш: 162 миллиона рублей на суглинке и 58 миллионов на черноземе (где, не забудем этого, еще до 19 февраля крестьянская «душа» уже не стоила почти ни гроша). «Редакционные комиссии», которые вполне сознательно, как мы помним, шли на эту операцию, прекрасно предвидели, что выплатить эту сумму из доходов с земли крестьянин, особенно в нечерноземной полосе, будет не в состоянии. Они уповали исключительно на сторонние заработки «освобождаемого»: «нельзя сомневаться, — рассуждали комиссии, — что после выкупа, *при достаточной свободе располагать своею личностью*, означенные крестьяне будут вносить исправно следующие с них выкупные платежи, которые по своей умеренности (!!) могут быть зарабатываемы ими без особых усилий». Что касается «умеренности» выкупных платежей, то достаточно сказать, что даже в черноземной полосе — где земля была оценена все-таки ближе к ее действительной стоимости — они составляли большую половину всех крестьянских платежей вообще (в Курской губернии, например, 56%), т.-е. превышали правительственные подати, никогда не отличав-

[1]) «Выкупная операция», стр. 16. Мы опустили цены земель 50-х годов (второй столбец таблицы г. Лосицкого), которые сам автор не признает «реальными» — в чем он совершенно прав, конечно: помещики имели все разумные основания требовать за землю то, что она стоила бы *после* «освобождения», а не то, что стоила она при крепостном праве.

шиеся умеренностью. При сравнении черноземных губерний с нечерноземными получается в высшей степени любопытный вывод: выкупная оценка земли шла в порядке, обратно пропорциональном ее действительной стоимости:

Губернии	Стоимость десятины: по выкупу	при покупке
Петербургская	61 р. 50 к.	24 р.
Московская.	51 » 33 »	26 »
Тульская.	50 » — »	32 » [1]).

Это — не единственный пример «обратной пропорциональности», какой мы имеем в выкупной операции: не менее замечательной особенностью этой операции было то, что чем надел был меньше, тем он, относительно, стоил дороже. Так, при трехдесятинном максимальном наделе в черноземной полосе крестьянин платил по 40 р. за десятину; если его надел был меньше максимума и составлял лишь две десятины, то каждая обходилась ему уже в 43 р. 33 к., а за минимальный надел в 1 десятину он платил уже 53 р. 33 к. Это так называемая «градация», — честь ее изобретения принадлежит самому либеральному из губернских комитетов, тверскому: но изобретение было немедленно же с радостью адоптировано редакционными комиссиями. В самом деле, мужик хитер: если бы плату за его «душу» разложить поровну на все десятины надела, он мог бы нагреть барина, взяв минимальный надел. «Градация» парализовала мужицкую хитрость; плата за «душу» разлагалась на первые десятины надела — на то количество земли, без которого мужику никак нельзя было обойтись. Следующие десятины ценились уже почти нормально, — важно было получить деньги за самого «освобождаемого»; землей дворяне не маклачили...

Уже выкупные оценки сами по себе создавали из крестьянского надела такую «собственность», что Чернышевский (за три года до реформы! — так издалека были видны белые нитки, которыми сшивалось «освобождение»...) сравнивал ее с помещичьим именем, где проценты по закладной превышают доход земли. «Бывают случаи, — писал Чернышевский, — когда наследник отказывается от получения огромного количества десятин, достающихся ему после какого-нибудь родственника, потому что долговые обязательства, лежащие на земле, почти равняются не одной только ренте, но и вообще всей сумме доходов, доста-

[1]) См. у г. *Лосицкого:* «Надел и выкуп», «Совр. Мир», 1911 г., март.

вляемых поместьем. Он рассчитывает, что излишек, остающийся за уплатою долговых обязательств, не стоит хлопот и других неприятностей, приносимых владением и управлением» [1]). Но крестьянин находился в положении наследника, который не может, не имеет права отказаться от «наследства»: мы помним, что выкуп зависел от барина, а не крестьян. Феодалы, в период реформы, очень издевались над тем, что буржуазная программа «заставляет крестьян быть землевладельцами»: насмешка не была лишена меткости. Крестьянский надел, действительно, являлся диковинным образчиком принудительной собственности: и чтобы «собственник» от нее не убежал, — чего, по обстоятельствам дела, вполне можно было ожидать, — пришлось поставить «освобождаемого» в такие юридические условия, которые очень напоминают состояние если не арестанта, то малолетнего или слабоумного, находящегося под опекой. Главнейшим из этих условий было пресловутое «мирское самоуправление» — красивое название, под которым скрывалась старая, как само русское государство, круговая порука. Фискально-полицейская роль «мира» отнюдь не была, как и многое другое, результатом какой-либо порчи «великой реформы» злодеями-крепостниками. Устроители крестьянского благополучия вполне сознательно относились к этому вопросу. «Общинное устройство теперь, в настоящую минуту, для России необходимо, — писал Александру II председатель редакционных комиссий Ростовцев, — народу нужна еще сильная власть, которая заменила бы власть помещика. Без мира помещик не собрал бы своих доходов ни оброком, ни трудом, а правительство — своих податей и повинностей». В силу этого принципа, крестьянин был лишен права без согласия мира не только выходить из общины, но даже уходить из деревни на время: «мир» — вернее зависевший от дворянского «мирового посредника» староста — мог не дать ему паспорта. Прикрепление к земле пережило у нас крепостное право — и вовсе не в качестве бессмысленного пережитка старины, а как необходимое звено именно в *буржуазном* плане реформы. Доходами с крестьянского надела обеспечивались суммы, выданные правительством помещику: что получило бы правительство, а значит, что получили бы в конечном счете и помещики, если бы крестьяне

[1]) Из «Критики философских предубеждений против общинного землевладения», напечатанной в 1858 г. Цитируем по ст. *Г. В. Плеханова* «Освобождение крестьян», «Совр. Мир», 1911 г., февраль.

бросили свои наделы по невыгодности их обработки? Но тут получался роковой круг: сами редакционные комиссии признавали, что доходов с надела недостанет на уплату выкупных платежей — и утешали себя надеждой, что крестьянину удастся приработать на стороне «при достаточной свободе располагать своей личностью». Но этой-то именно свободы, благодаря «освобождению с землей», крестьянин и не получил. Получался роковой круг, выход из которого, рано или поздно, был один: постепенное разорение «освобожденных». К 90-м годам, как увидим дальше, этот результат и обнаружился со всею ясностью.

Превращение дворянского имения в капиталистическое предприятие было куплено, таким образом, ценою задержки буржуазного развития в деревне. Это обстоятельство оказалось не без выгоды для дворян впоследствии, когда новый аграрный кризис вырвал почву из-под ног у «дворянского манчестерства». Но для развития капитализма в России условия «освобождения» сыграли роль колодок, настолько тяжелых, что — факт мало вероятный, но несомненный — *рост обрабатывающей промышленности*, например, в первые годы после «воли» не ускорился, как следовало бы ожидать, а замедлился.

Годы	Колич. суконн. фабрик	Рабочих на них	Производство (тыс. руб.)	Количество переработ. хлопка (тыс. пуд.)	выплавл. чугуна (тыс. пуд.)
1860	432	94.721	26.204	2.840	20.468
1862	365	71.797	26.083	850	15.268 [1]

В «освобожденной» России индустрия развивалась туже, чем в разгар николаевского «крепостничества»! Правда, понемногу русский капиталист приспособился и к этому «испанскому башмаку»: мы увидим в своем месте [2]), что к 80-м годам Россия была неизмеримо более крупно-капиталистической страной, нежели в 1860 году. Но помещичий эгоизм заставил преодолеть массу ненужного трения, которое пошло на пользу опять-таки не кому иному, как той же «знати», ближайшему антагонисту «манчестерского» среднего помещика. С особенной рельефностью выразилось это на истории крупнейшего капиталистического предприятия пореформенной России — постройке желез-

---

[1]) Цифры взяты у *Туган-Барановского:* «Русская фабрика», стр. 308 и сл.

[2]) См. гл. XVI — «Революция и реакция».

нодорожной сети. Развитие этой последней шло с большой быстротой, особенно со второй половины 60-х годов:

Годы	1857	1867	1870	1876
Число верст, открытых для движения (без Польши)	671	3.408	6.724	16.700

Но около этого дела — крупнейшего, а стало быть и выгоднейшего — мы сразу встречаем комбинацию, характерную для отечественного грюндерства на всем протяжении нашей новейшей истории: рядом с заграничными банкирами стоят наиболее аристократические фамилии России. Первое в России железнодорожное общество («Главное общество Российских железных дорог») было делом, преимущественно, французского банкирского дома братьев Перейра. В том же 1857 году, когда возникло «Главное общество», попробовало родиться и другое, — во главе его стояли банкиры Томсон, Бонар и К⁰ вместе с графами Ржевуским, Адлербергом, Голенищевым-Кутузовым и Лубенским и князьями — Долгоруким и Кочубеем. В дальнейших концессиях перед нами мелькают имена Строгановых, Толстых, Мусиных-Пушкиных, Апраксиных, Нарышкиных и даже принцев Ольденбургских. Первоначально, таким образом, делались попытки захватить дело в руки путем индивидуальных выступлений. Скоро они прекратились, — железные дороги не дали сразу тех золотых гор, каких ждали несколько беззаботные по части политической экономии российские феодалы. Тогда к делу согласились припустить и среднее дворянство — в лице земств различных губерний. Первым пионером было Борисоглебское земство (Тамбовской губернии), выхлопотавшее себе концессию на постройку железной дороги от станции Грязи до города Борисоглебска, в 1868 году. За ним последовали земства: Козловское, Тамбовское, Орловское, Саратовское и другие. «Но, — говорит историк русских железных дорог, — система отдачи концессий земствам оказалась наименее удачною. Земства являлись лишь дорого обходящимся государству и почти всегда неумелым посредником между оптовыми строителями, так называемыми концессионерами, и правительством» [1]). На самом деле «сферы», раньше пытавшиеся взять дело в руки в лице своих отдельных представителей, теперь решили его централизовать в своих руках. «Действовали таким образом: правительство брало себе часть акций и облигаций и становилось, таким

[1]) *Блиох*, «Влияние железных дорог», I, стр. 29.

образом, частным предпринимателем; затем оно делало от имени государства заем, выпуская не частные акции и облигации, но государственные железнодорожные облигации, доход по которым (проценты и погашение капитала) был гарантирован выручкой тех железных дорог, для которых совершалась эта операция»[1]). В 1878 году было выпущено железнодорожных бумаг на 1.383.000.000 рублей металлических (2.060.000.000 р. кредитных по курсу 31 декабря 1877 г.), из которых правительству принадлежало 1.112.000.000 р. кредитных, т.-е. 54% всей суммы. От этих бумаг государство имело не прибыль, а убытки, достигавшие, по расчету цитируемого нами автора, к 1877 году 130 миллионов рублей ежегодно. Но за эту сумму оно являлось крупнейшим акционером — а стало быть, хозяином всей сети фактически гораздо раньше, нежели железные дороги в России и юридически сделались государственными. Владея большей частью земельных имений непосредственно, «знать» косвенно, через посредство правительства, составленного из ее членов, держала в своих руках важнейшее орудие дальнейшего развития русского аграрного капитализма. Субъективно, по своей идеологии, реакционнейшая часть русского общества, объективно, помимо своей воли и сознания, оказывалась могучим тараном, и в центре, и на местах разбивавшим «устои старой, докапиталистической России». Но за кем экономический прогресс, за тем и действительная общественная сила — какие бы дикие мысли ни обитали в головах носителей этого прогресса. Судьба русского либерализма 60-х годов — иными словами, нового столкновения среднего и крупного дворянства — как нельзя лучше иллюстрирует это положение.

2. Буржуазная монархия.

Перенесение в русскую деревню начал буржуазного хозяйства имело, как мы сейчас видели, очень крупные экономические последствия, — несмотря на всю неполноту реализации этих начал и несмотря на то, что круги, распоряжавшиеся жизнью России, субъективно были глубоко враждебны этим началам. Именно программа этих кругов, напротив, и помогала развитию буржуазных отношений в русской деревне: не только 9 ноября 1906 года рус-

[1]) *Nicolas-on*, цит. соч., р. 4.

ский феодализм оказался, — сам того ни на секунду не предполагая, конечно, — союзником русского капитализма. Объективные условия были сильнее людской воли. В силу этих объективных условий тот же феодализм и в *политической* области вынужден был пойти навстречу буржуазному государству. Если он не дошел до конца по этому пути и не «увенчал здания», в этом виноваты были опять-таки объективные условия — резкая перемена экономической конъюнктуры с конца 70-х годов. Тем не менее, первые шаги были сделаны: и тем, кто говорил о «буржуазной монархии» в России 1912 года, не следовало забывать, что фундамент этого здания был заложен, задолго до того, в судебной, земской и других реформах Александра II. Даже внешняя политика буржуазного государства не представила бы ничего нового тому, кто был свидетелем завоевания Средней Азии и русско-болгарской эпопеи 70—80-х годов. И это опять совершенно независимо от того, что последние главы этой эпопеи приходятся на период самой глухой феодальной реакции, какую только переживала Россия после смерти Николая I. Точно так же, как эта глухая реакция не помешала расцвету русского промышленного капитализма именно в дни Александра III. И тут, как всегда, экономическая действительность командовала людьми, думавшими, что они командуют всем и всеми.

Буржуазные реформы Александра II были, однако, лишь отчасти результатом этого своеобразного «экономического принуждения». Так было по отношению к «высшим сферам» — глубоко феодальным и глубоко враждебным всякой «буржуазности» на всем протяжении русской истории. Но эти сферы, как мы сейчас увидим, непосредственно реформами и не были задеты. Широкие дворянские круги, которых эти реформы прямо касались, шли им навстречу очень сознательно. Нельзя было сделаться «манчестерцем» только в экономике, — у «манчестерства» была своя логика. Современники единогласно констатируют, что то, что можно назвать *буржуазным настроением*, чрезвычайно широко было разлито во всей помещичьей массе. Всего характернее, может быть, сказывалось это в мелочах будничной жизни. Дворянство всегда очень свысока поглядывало на купечество. «Наши купцы — невежды», такое мнение, как мы помним, можно было услышать даже от декабристов, — по крайней мере, такой аргумент в устах декабриста не казался странным и диким. Сближение с «невеждами» особенно рельефно, поэтому,

оттеняло совершившуюся перемену. В клубах, за карточным столом, на любительских спектаклях помещичье общество вдруг запестрело невиданными в нем прежде гостями. «Просидев день в бакалейной, красной или рыбной лавке, купец к вечеру облекаясь во фрак и являлся поглядеть на танцы или послушать некрасовское стихотворение да тургеневский и щедринский рассказы, или полюбоваться гоголевскою «Женитьбою» на сцене, а купеческие дамы и девицы отплясывали с дворянами на славу, знакомясь тут же с помещицами и чиновницами. «Хорошо нас приняли дворяне, — отзывались представители купечества, — мы ими оченно благодарны». С наступлением же лета общение поддерживалось в другой форме, хотя только мужское, — главным образом мировыми съездами, которые представляли тогда первый образец публичных заседаний» [1]). Так было в уезде — правда, «не захолустном и, по составу общества, не безынтересном» — то же, в более широком масштабе и в более серьезной форме, было и в столицах. В феврале 1863 г., перед выборами в московскую городскую думу (состоявшую тогда из представителей от *сословий*, каждое из которых выбирало депутатов отдельно), московское дворянство нашло нужным устроить «домашнее собрание» с участием представителей от купечества. Открывавший это собрание Погодин говорил, между прочим, в своей речи (или в своих речах, — он много говорил в течение этого собрания) от имени дворянства: «Очень приятно было нам узнать о готовности, с какой почтенное купечество приняло наше приглашение. С особенным удовольствием мы видим теперь вас всех вместе. Русская история, — не мешает нам вспоминать ее, — отличается именно тем, что сословия у нас, вследствие особых причин, никогда не разделялись такими высокими стенами и не питали такой ненависти одно к другому, как в западных европейских государствах. Дай бог, чтоб и впредь эти же чувства взаимного доброжелательства не только продолжались, но усиливались и укреплялись. Никогда не было такой нужды в любви и в согласии, как теперь». Раззадоренный явным сочувствием аудитории Погодин договорился до того, что сословий, по-настоящему, и не было у нас никогда. «Русские люди разделялись всегда преимущественно по родам своих занятий: одни пахали

---

[1]) *Ф. Вороновъ.* Сорок лет тому назад, «Вестн. Европы», 1904 г. июль.

и добывали хлеб — это крестьяне, другие менялись своими и чужими произведениями, торговали — это купцы; третьи служили на войне и в мире—сословие служивое, военное, что ныне дворянское. Всякий был волен делать и жить, как ему угодно (!): купец шел на службу, дворянин мог торговать, крестьянин — переселяться в город» [1]). Если бы спросить почтенного историка, как это крепостной крестьянин стал бы «делать и жить как ему угодно» — «переселился», например, «в город» без разрешения своего барина,—оратор, может быть, и смутился бы немного. Но настроение аудитории было не таково, чтоб кто-нибудь вздумал задавать щекотливые вопросы; Погодин же мечтал о кандидатуре в городские головы: русская история (которую он очень хорошо знал) могла и потесниться немного. Выбрали московским головой не его и не Кошелева, тоже мечтавшего об этом, — но все же дворянина, и даже титулованного, князя Щербатова: и титулованный дворянин не отказался принять должность, искони считавшуюся «купеческой».

«Бессословность» входила в нравы,— и нам, свидетелям того, как цепко держалось российское дворянство за обломки своих привилегий, трудно себе представить, что было время, когда литераторы, принадлежавшие к дворянскому сословию, гордившиеся этим, даже явно жаждавшие угодить дворянству, поднимали вопрос о полной отмене дворянских преимуществ. «Неужели мы должны оставаться постоянно в пределах грамоты императора Петра III или императрицы Екатерины II?—спрашивал тот же Погодин одного из своих оппонентов. — Дворянская грамота совершила свое дело. Поклонимся ей с честью и примем с благодарностью приступ правительства к новым мерам, коих настоятельно требуют время и наше положение в Европе. Дворянская грамота — это парчевая риза, но во сто лет она значительно потерлась, износилась и обветшала. Никакой искусственной подкладкой, никакими цветными заплатками восстановить ее нельзя. Надо *строить*, говоря по-церковному, новые ризы...». Оппонент насмешливо ответил Погодину, что, значит, он предлагает отправить Дворянскую грамоту на толкучий рынок? «Нет, не на толкучий рынок, — запальчиво возражал ему увлекавшийся московский историк, — а в Пантеон Истории, где хранятся наши государственные законоположения, совершившие свой

[1]) *Барсуков*, цит. сочин., кн. XXI, стр. 80 — 82.

подвиг, — Русская Правда, Судебник, Уложение и пр.». Дворянским привилегиям отводилось почетное место — рядом с кровной местью и губными учреждениями: так думали в 1862 году, повторяем, не враги дворянства, а защитники его интересов. В это самое время более экспансивный и более искренний Иван Аксаков предлагал собравшемуся на выборы московскому дворянству «выразить правительству свое единодушное и решительное желание: *чтобы дворянству было позволено торжественно, перед лицом всей России, совершить великий акт уничтожения себя, как сословия*». «Нам кажется, что такого рода заявление было бы вполне достойно просвещенного дворянского сословия, — писал Аксаков. — Такое действие, являясь, по нашему мнению, необходимою историческою ступенью общественного развития, фундаментом для будущего общественного здания, стяжало бы русскому дворянству почетное место в истории, право на народную благодарность и славу нравственного исторического подвига. Всякие же прочие решения были бы, кажется нам, несогласны с волей и началами русского народа. Мы полагаем, что дворяне не посетуют на нас за такой искренний и прямой совет человека, принадлежащего, по происхождению, к их среде и сословию». Насколько мнение Аксакова казалось мало экстравагантным, видно из того, что к нему, с оговорками, присоединялся такой практический человек, как Катков [1]).

Буржуазное настроение дворянства объясняет нам, прежде всего, почему так дружно и легко прошла крупнейшая из реформ шестидесятых годов — *судебная*. Казалось бы, упразднение старого, сословного суда — сословного юридически, на практике же односословного, дворянского, потому что председатели палат были выборные от одного дворянства, а «заседатели», т.-е. члены, не-дворяне совершенно стушевывались перед своими дворянскими коллегами — должно было вызвать сильнейшее трение именно со стороны помещиков. Но в состав нового общественного настроения интегральной частью входило и отрицательное отношение к старому суду. Судебной реформой интересовались даже гораздо больше, чем земской, так непосредственно задевавшей интересы помещиков: современник объясняет это тем, что «уж чересчур наболела всем неправда старого суда» [2]).

[1]) *Барсуков*, ibid., XIX, стр. 36—37. Цитата из Погодина оттуда же, стр. 12 и 20.

[2]) *Воропонов*, цит. воспомин. «Вестн. Евр.», 1904 г., август.

Присмотримтесь к этой «неправде» ближе: она тоже изображена одним современником в ряде анекдотов, которые, может быть, как всякие анекдоты, недостаточно объективно рисуют повседневную практику дореформенных судебных учреждений, — анекдот всегда ярче действительности, — но зато помогают сразу схватить их *тип*. «*Черная неправда» старого суда была совершенно несовместима, прежде всего, с буржуазным хозяйством*: невозможно себе представить сколько-нибудь развитого буржуазного оборота в обществе, где *нет нотариусов*,—где для того, чтобы засвидетельствовать самый пустячный документ, надо или околачивать пороги судебной палаты по целым неделям, или платить взятки чуть ли не дороже самого документа. Самому министру юстиции Николая Павловича, графу Панину, засвидетельствование рядной записи в пользу его дочери стоило сто рублей, при чем давал эту взятку собственными руками директор департамента министерства юстиции. Нельзя вести гражданские дела в стране, где *нет адвокатуры*, где «ходатай по делам» был чем-то в роде мошенника, которого судебное начальство во всякую минуту может не только выгнать из канцелярии суда (дальше его и не пускали), но и выслать совсем из города или посадить в тюрьму. Само собою разумеется, что за такую профессию люди с чувством собственного достоинства и брались неохотно, так что среди тогдашней «адвокатуры» не редкостью были «лишенные права жительства в столице» и вообще «прикосновенные к суду» не только в качестве адвокатов. Но когда московский генерал-губернатор кн. Д. В. Голицын заикнулся раз перед императором Николаем о желательности легальной адвокатуры в России, он встретил такую суровую отповедь, которая надолго заградила ему уста. «Ты, я вижу, долго жил во Франции и, кажется, еще во время революции,— напомнил своему генерал-адъютанту Николай Павлович,— а потому не удивительно, что ты усвоил себе тамошние порядки. А кто (тут Николай повысил голос), кто погубил Францию, как не адвокаты, вспомни хорошенько! Кто были Мирабо, Марат, Робеспьер и другие? Нет, князь, пока я буду царствовать — России не нужны адвокаты, без них проживем». Вместо столь опасной адвокатуры снизу, Николай Павлович оберегал интересы своих подданных при помощи особой адвокатуры сверху — в лице жандармских офицеров. К каким результатам приводила эта «адвокатура» — надо рассказать подлинными словами современ-

ника. «В одной из палат замечена была вообще медленность в ходе дел. В видах понуждения и неотлагательного решения оных послан был жандармский офицер, коему вменено было в обязанность не выезжать из города, где была палата, до тех пор, пока не будут решены все дела. Явился жандарм в палату и настойчиво требовал исполнения объявленного им поручения. Председатель задумался: как быть и что делать? Затем велел принести из канцелярии все дела. Потом, взяв одно дело и поднеся его к своим глазам, или, лучше сказать, к носу, объявил: решение суда *утвердить*, и положил его на правую сторону. Потом взял другое дело и, делая те же движения, заявил: решение суда *отменить*. Затем, при тех же приемах, начал быстро откладывать дела: то направо, то налево, вскрикивая: утвердить, отменить, и т. д. По окончании сего жандарм уехал с донесением, что все дела в палате решены». Третье отделение являлось универсальным ходатаем за всех «невинных»: не было дела, — преимущественно гражданского, где деньгами пахло, — которое оно отказалось бы принять к своему рассмотрению не стесняясь ни существовавшими законами, ни состоявшимися уже судебными решениями. Оно «определяло вины лиц по делам не политического свойства, брало имущество их под свою охрану, принимало по отношению к кредиторам на себя обязанности администрации и входило нередко в рассмотрение вопросов о том, кто и как нажил себе состояние и какой кому и в каком виде он сделал ущерб». У одного петербургского купца едва не отобрали всего капитала, потому что происхождение его показалось Третьему отделению подозрительным: и Николая Павловича не без труда убедили, что надобно все-таки прежде доказать, что купец в чем-нибудь виноват.

А по стопам Третьего отделения шли административные органы, сортом пониже. Уже в самом конце царствования Николая при министерстве внутренних дел действовала комиссия, которая «не стеснялась ничем и усвоила себе *сыскной порядок* — так, она *подвергала кредиторов аресту до тех пор, пока они или не помирятся с должником, или не умерят своих претензий, или вовсе не прекратят своих взысканий*. Комиссия эта навела страх на всех, кто имел долговое дело; начали приносить жалобы, но их нигде не принимали». А когда жалобы дошли до Сената, то оказалось, что комиссия юридически не существует — ибо сенату о ней ничего не известно. Понадобилось

высочайшее повеление для того, чтобы этот диковинный судебный институт прекратил свою деятельность. Убедить какими-нибудь разумными доводами феодальных администраторов, что так нельзя вести дело в стране с развитыми торговлей и кредитом — было бы совершенно напрасной тратой времени. Почти трогательное, в своей невинности, отношение николаевской «знати» к вопросу прекрасно иллюстрируется одним подвигом петербургского генерал-губернатора кн. Суворова — подвигом, совершенным, можно сказать, накануне судебной реформы, уже при Александре II. Суворову донесли, что одно решение петербургского коммерческого суда — неправильно; князь не стал долго думать: весь состав суда был немедленно же арестован. Когда в «сферах» это вызвало переполох (как-раз петербургскому коммерческому суду приходилось чаще всего иметь дело с «Европой», в лице иностранного купечества), Суворов объяснил, что он подписал бумагу об аресте, *не читая*. Можно ли было представить себе «буржуазный порядок», который устоял бы перед столь бухарской юстицией? [1]).

Связь судебной реформы Александра II с буржуазным строем сознавалась уже при самом возникновении судебных уставов 1864 года, — но ни правительство, ни общество не умели схватить, в чем сущность этой связи, и придумывали объяснения более или менее искусственные. Государственный совет, обсуждая мотивы реформы, прямо связывал ее с упразднением крепостного права. «Смешение властей, — рассуждал совет, — было отчасти неизбежным последствием крепостного состояния. Помещичьи крестьяне, составлявшие около половины всего нашего народонаселения и лишенные гражданских прав, имели в лице своего владельца хозяина, судью и исполнителя своих решений... Такое же смешение наблюдалось и на учреждениях крестьян других ведомств, где хозяйственные и полицейские власти сделались, вместе с тем, и судебными. При таком смешении властей в отдельных управлениях, оно должно было проникнуть и в общее управление империи; и так все административные власти, начиная от станового пристава до губернатора и даже до министров, вмешиваясь в силу самого закона в ход судебных дел и тем самым ослабляя истинное значение суда, останавливают

[1]) Для всех приведенных фактов, см. воспоминания *Колмакова*. «Старый суд» в «Русской Старине» за 1886 г., т. 52.

правильное отправление правосудия». Здесь, конечно, ценно признание, идущее из столь авторитетного источника, что власть губернатора и «даже министра» в России была однокачественна с властью владельца крепостного имения; нельзя было явственнее сказать: «мы — феодалы». Но сближение конкретных фактов явно искусственно. Во-первых, и до 19 февраля помещик вовсе не был судьею своих крепостных по *всем* делам: его разбирательству, непосредственному и безапелляционному, подлежали только преступления не важнее тех, что ведались впоследствии мировыми судьями, а теперь, еще позже, земскими начальниками. Перестраивать, из-за изменения подсудности в этом скромном уголке, всю судебную систему империи — это очень походило бы на то, как если бы какой-нибудь добрый хозяин сломал весь дом ради перестройки одной комнаты. Во-вторых, как раз *крестьянские дела*, и притом именно те, что разбирал раньше помещик, в значительной степени остались вне круга действия новых судов — перейдя отчасти к судам волостным, отчасти к мировым посредникам, в руках которых судебная власть продолжала смешиваться с административной. Вообще, крестьяне меньше всех других на первых порах почувствовали блага судебной реформы, и первый, по времени, критик этой реформы счел даже возможным написать: «Нельзя сказать, что так называемые общие судебные установления ведают дела всех сословий; они созданы только для всех дел дворян и мещан; дела же других сословий поступают на их рассмотрение только в некоторых случаях, т.-е. когда в деле участвуют лица разных сословий, когда иск превышает известную сумму, а проступок — известную меру взыскания» [1]). Той непосредственной связи, какую усмотрел государственный совет между 19 февраля 1861 года и 20 ноября 1864 года, не было, таким образом, — и все же он был прав в том смысле, что обе реформы представляли собою две части одного органического целого.

Не даром и подошло к ним правительство Александра II одновременно, — и хронологическое сопоставление всего лучше покажет нам, где шла спайка. «Первоначальная работа, относящаяся до судоустройства, была *положение о присяжных стряпчих или поверенных*, которое внесено было в гос. совет

[1]) *А. Головачев*, «Десять лет реформ 1861—1871», стр. 323.

гр. Блудовым в 1858 г.», говорит официальная записка [1]). Из 14 законопроектов, внесенных в государственный совет с 1857 по 1861 год, только 4 относились к *уголовному* процессу — тогда как 8 касались *гражданского* судопроизводства, а два — судоустройства, в том числе упоминавшийся уже проект об адвокатуре. Сам Блудов хлопотал главным образом о том, чтобы «улучшить *наше судопроизводство гражданское*», в то время как уголовное судопроизводство, по мнению тогдашних реформаторов, «даже в том виде, как оно действует ныне», нуждалось лишь в частичных усовершенствованиях. Введение в России суда присяжных признавалось той же запиской «преждевременным» — и суд присяжных у нас явился, действительно, уступкой *политической* оппозиции, чего нельзя еще сказать о судебной реформе вообще. Требование этой уступки впервые было, более или менее настойчиво, заявлено в дворянских адресах осени 1859 года — сначала в адресе «пяти» (Унковского и др.), затем в заявлениях владимирского и ярославского дворянских собраний. За несколько месяцев до этого Александру Николаевичу была представлена записка некоего брата-славянина из австрийских земель, но состоявшего на жалованьи русского правительства — галичанина Зубрицкого. Записка касалась либерального движения в России, которому брат-славянин не сочувствовал, называя, между прочим, «воздыхания об адвокатстве, *присяжных, открытом уголовном судопроизводстве*» — «западными дурачествами». Император эти слова подчеркнул, в знак своего полного с ними согласия. Предчувствовал ли он, что меньше, чем через 4 года, в январе 1862 г., выйдет высочайшее повеление за его же подписью, где будет сказано, что судебная часть в России должна быть преобразована по началам, «несомненное достоинство коих признано в настоящее время наукою и *опытом европейских государств*»?

Но этим же политическим характером суда присяжных объясняется и то обстоятельство, что из него вышло нечто иное, нежели ждали его инициаторы. Ни к какому другому отделу судебной реформы не приложимы в такой степени известные слова, принадлежащие виднейшему из этих инициаторов, Унковскому: «Независимые и хорошие органы правосудия не могут создаваться одними уставами судопроизводства и судоустройства.

---

[1]) Цитируем по *И. Гессену:* «Судебная реформа», стр. 50.

Так как судебные учреждения не являются чем-то внешним, не от мира сего сущим, то существование их, так же, как и прочих учреждений, необходимо обусловливается общим состоянием среды, в которой они действуют. Поэтому особые постановления о судопроизводстве и судоустройстве могут получить жизнь и действительное значение лишь настолько, насколько они соответствуют общему строю народной жизни. При известных условиях существование назависимого и нелицеприятного суда точно так же невозможно, как существование гласности без права свободной речи или публичности без публики» [1]). Политическое значение суда присяжных сказывается, почти исключительно, в тех случаях, когда суду приходится разбирать конфликты, где правительство или его агенты являются одной из сторон. Но судебные уставы 1864 года с самого начала заботливо устранили именно эти казусы не только из ведения суда присяжных, но, в сущности, из ведения судебной власти вообще. Во-первых, было принято за принцип, что «судебное преследование должностного лица должно быть начинаемо не иначе, как по постановлению начальства обвиняемого о предании его суду»: иными словами, чиновник за преступление по службе отвечал, попрежнему, не перед общим для всех преступников судом, а перед своим начальством — которое, если бы захотело, могло обратиться к суду, но его никто к тому не обязывал. Принцип этот считался настолько священным и неприкосновенным, что государственный совет не решился его даже и обсуждать, не только что оспаривать: «так как предначертанное в проекте правило о предании суду должностных лиц административного ведомства перенесено буквально из высочайше утвержденных основных положений, то и не может подлежать обсуждению», мотивировал свое воздержание государственный совет. Какие бы насилия ни позволяло себе местное начальство по отношению к населению, каким бы грабительством оно ни занималось, оно могло быть уверено, что перед представителями этого населения ему не придется отвечать ни в коем случае, ежели центральное начальство не выдаст. Это было, конечно, вполне сообразно «с общим состоянием среды», употребляя терминологию Унковского, — там, где правительство вообще не отвечало перед народными представителями, странно было бы заставлять его

[1]) Цитируем по книге г. *Гессена*, стр. 105—106.

агентов отвечать перед случайно выхваченными из среды народа двенадцатью человеками. А этот основной принцип безответственности правительства вообще поддерживала, как мы знаем, и либеральная буржуазия, не видевшая возможности провести необходимые ей реформы иначе, как через посредство сильной центральной власти. Трагизм положения либеральной буржуазии заключался в том, что ей самой правительство отнюдь не склонно было оказывать такое доверие, какое она находила возможным оказывать правительству. Феодалы, погубившие карьеру Кавелина и всячески вставлявшие палки в колеса такому, в сущности, послушному и благонамеренному человеку, как Милютин, и в этом случае оказались верны себе. Наиболее острые конфликты общества и его правящей группы должны были разрешаться исключительно агентами этой последней или, по крайней мере, людьми, состоящими под ее специальным контролем. «По делам *о государственных преступлениях* присяжные заседатели не участвуют вовсе, — гласили удостоившиеся высочайшего утверждения «основные положения»: — дела сии всегда начинаются в судебной палате, где при обсуждении их присутствуют с правом голоса: губернский и уездный предводители дворянства, городской голова и один из волостных старшин». Очень характерно, что для политических процессов был, таким образом, сохранен *сословный суд*: так четко вырисовалась черта, за которую «буржуазные реформы» не смели переходить.

Не менее характерна и мотивировка, данная этому «основному положению» государственным советом, здесь не ограничившимся простым воздержанием от обсуждения, как по вопросу об ответственности чиновников. Из нее мы узнаем, между прочим, что под «государственным преступлением» совет понимал не только заговор или мятеж — или, вернее, не столько их: мысль о суждении заговорщиков или инсургентов с участием присяжных, повидимому, никому и в голову не приходила. «Государственным преступлением» в глазах совета было уже распространение «политических и социальных теорий, направленных против существующего порядка вещей в государстве и обществе»: другими словами, самая мирная пропаганда конституционных, например, идей была в 1862 году достаточным поводом, чтобы отправить человека на каторгу. Так недалеко еще режим Александра II ушел от режима Николая I! Вполне есте-

ственно, что государственный совет не видел в присяжных достаточно энергичного орудия репрессий для подобных случаев. Он прямо признавался, что, вместо осуждения, деяния пропагандистов могут у присяжных «встретить сочувствие». «Притом, — рассуждал совет, — политические и социальные теории, направленные против существующего порядка вещей в государстве и обществе, имеют столько оттенков, что от пустых, почти невинных утопий и мечтаний доходят до самых вредных учений, подрывающих даже возможность общественной жизни; но иногда и те и другие людьми неопытными считаются равно ничтожными и безвредными. При таких условиях предоставить присяжным, избранным обществом, разрешение вопроса о преступности и непреступности учений... значило бы оставить государство, общество и власть без всякой защиты». Раз дело шло о борьбе против *учений*, совершенно очевидно, что только случайным недосмотром можно объяснить сохранение в компетенции присяжных заседателей *преступлений*, совершенных путем *печати*: категория, появившаяся в нашем уголовном кодексе благодаря закону 6 апреля 1865 года, заменившему предварительную цензуру карательною, — или, вернее, предоставившему авторам и издателям выбор между тою и другою. Закон носил характер льготы исключительно для буржуазии, ибо предоставлявшееся им право распространялось только на книги большие и относительно дорогие (не менее 10 листов для оригинальных сочинений и 20 для переводных) и периодические издания, от которых требовался залог не менее 2.500 рублей (по крайней мере 5.000 р. на золотые деньги). Может быть, поэтому и позволили себе роскошь — сделать опыт, оставив дела о печати в ведении обычного суда. Но первый же оправдательный приговор последнего, приговор, касавшийся не крамольников, а просто литераторов, неугодных министерству внутренних дел, заставил поспешно исправить ошибку: законом 12 декабря 1866 года литературные дела, наравне с политическими, были переданы судебным палатам. Так как при этом административная расправа, и по политическим делам, и по литературным, осталась во всей неприкосновенности, и Третье отделение работало энергичнее, нежели когда бы то ни было, то *политическое значение судебной реформы быстро свелось к нулю:* «общее состояние среды» одержало весьма легкую победу. Оставалось только обеспечить интересы «порядка» кое-

какими частичными мероприятиями — гарантировать, например, безусловную благонадежность судебного персонала, изгнав оттуда всех, кто когда-либо имел хотя самое малое касательство к «политике»: простого участия в студенческих беспорядках достаточно было, чтобы навсегда закрыть для человека судейскую карьеру; обойти несколько неудобный (хотя далеко не в такой степени, как обыкновенно думают) принцип несменяемости судей, истолковав его в том смысле, что прогнать судью министр. конечно, не может, но перевести его из Петербурга хотя бы в Барнаул — отчего же нет? Притом, если не может министр, на что же существуют «высочайшие повеления»? Словом, «общее состояние среды» ни над чем не торжествовало так легко, как над «несменяемостью». Наиболее яркой из частных мер была организация *предварительного следствия* в «новом суде». Приглядевшись ближе, вы чувствуете, что здесь «новым» уже почти не пахло. Основными принципами, освященными «наукою и опытом европейских государств», были *гласность, устность и состязательность* процесса. В классической стране этих принципов, в Англии, процесс и характеризуется этими признаками с самого начала и до конца. Но судебные уставы 1864 года предусмотрительно были скопированы не с английского оригинала, а с образца, приспособленного к нарочитому поддержанию «порядка» — с судебных порядков второй французской империи (унаследованных, впрочем, на большую долю, и третьей республикой). Сходство нашей и французской судебной организации было так велико, что, как известно, французский автор, взявший на себя задачу ознакомить своих соотечественников с «империей царей», не нашел нужным подробно описывать русские суды — ограничившись замечанием, что они, в общем, «такие же, как и у нас». С тех пор, как писал Леруа-Болье, кое-что успело измениться во Франции: состязательность и там теперь начинается с предварительного следствия,— привлеченный к нему имеет право пригласить адвоката и пользоваться его советами. Публичность этой стадии процесса — в Англии существующая de jure — во Франции пока остается на правах «бытового явления»: во всех более или менее громких случаях газеты на другой же день предупредительно сообщают публике все, что говорилось в камере «следственного судьи», ибо во Франции следователь действительно судья со всеми его атрибутами, включая и несменяемость. У нас такое опубликование «данных

предварительного следствия» было уголовным преступлением: камера судебного следователя была закрыта от нескромных взоров не хуже, нежели старый, дореформенный суд с его «канцелярской тайной» — при чем исключения не делалось ни для кого, не исключая и защитника подсудимого или подозреваемого. Зато, закрытая для публики, эта дореформенная стадия «нового суда», как некогда дореформенный суд в его целом, была открыта самому широкому воздействию *прокуратуры*. Судебный следователь — в России, обыкновенно, не несменяемый судья (следовательская несменяемость скончалась у нас гораздо еще раньше общесудейской), а «исправляющий должность» молодой человек, всецело зависевший от милостей начальства — по закону обязан был исполнять требования прокурора в ряде случаев, а там, где его не обязывал к этому закон, он слушался прокурора по обычаю. Прокурор, т.-е. высшая полиция [1]), держал в руках привлеченного к суду гораздо раньше, нежели его увидят присяжные или даже его защитник: и, нужно прибавить, он продолжал держать его в своих руках и после того, как выскажутся присяжные. Оправдательный вердикт последних даже в императорской Франции кончал дело. В России человек, которому присяжные сказали «нет, не виновен», вовсе еще не избавлялся этим от тюрьмы и дальнейших мытарств: судебный приговор мог быть кассирован по протесту прокурора, и новый состав присяжных, более «подходящий», мог доставить этому последнему удовлетворение, которого лишил его первый состав... По всей вероятности, тот, кто придумал *кассацию*, как средство обеспечения формальной правильности судебных действий, никогда не вообразил бы, что это средство обеспечения, прежде всего подсудимого, может быть использовано как способ — во что бы то ни стало «закатать» его на каторгу. Тут мы имеем пункт, где судебным уставам удалось превзойти не только свой образец, наполеоновскую Францию (где кассация приговора допускается только *в пользу* подсудимого, оправдательный же приговор, хотя бы кассационный суд и признал судебную процедуру формально неправильной, отменен быть не может), но даже и «старый суд»: при всей своей «черноте», старый суд

[1]) Что прокуратура составляла у нас особую разновидность полиции, это положение, ясное, впрочем, для всякого, не чуждого юридической точки зрения, с особенной ясностью развито в цитиров. соч. *А. Головачева* — стр. 310 и сл.

допускал пересмотр вошедшего в законную силу приговора только с целью его смягчения.

Столь обезвреженный, новый уголовный суд оказался совместимым и «с общими условиями среды»: но естественно, что для общества он скоро оказался мало интересным, несмотря на все усилия его теоретических сторонников подогреть к нему сочувствие. Интерес в публике — и то больше на первое время — возбуждали только открытые судебные заседания: но это был интерес не более «общественный», нежели тот, который собирает ту же публику в театральную залу. Исполнение обязанностей присяжного заседателя всегда рассматривалось как тяжелая барщина, и не может быть сомнения, что если бы не высокий штраф за неявку, 90% представителей «народной совести» постоянно оказались бы «в нетях». Этим же объясняется и то, что около *ценза* присяжных не завязалась борьба, которая была бы неизбежна, имей новый институт действительно крупное общественное значение. Ценз для присяжных, как известно, был назначен сперва очень низкий (он был возвышен впоследствии, при Александре III) — так что присяжными могли быть и крестьяне, правда, лишь бывшие раньше волостными старшинами или сельскими старостами: это был не столько имущественный ценз, сколько «ценз благонадежности», аналогичный тому, который был установлен, как мы видели, и для коронной части суда. Между тем, общее отношение к крестьянам вовсе не так резко изменилось, под влиянием «буржуазного настроения», как отношение к купцам, например. Цитированный нами, по поводу сближения помещиков с купцами, автор дает очень изобразительную картинку «народа», сидя на земле терпеливо ожидающего у дверей мирового съезда своей очереди быть впущенным в святилище, — тогда как «господа», служащие и неслужащие, горделиво проходят туда, не ожидая никакой очереди. А на самом съезде мировой посредник держал к «народу», пробовавшему резониться, такую речь: «Тебя еще не выпороли? Ну, так выпорят»... Сухой обыкновенно Головачев впадает в стиль анекдота, когда ему приходится говорить об отношени представителей «нового суда» к крестьянам. Ему «пришлось один раз быть вместе со своим приказчиком из местных крестьян свидетелем при одном следствии, не в глуши, а в губернском городе Владимире. Следователь, отобравши от нас показания, записал их и подал сперва мне для подписи.

Я спросил следователя: «Надо подписать *к сему показанию*»? — «*К сему объяснению*», был ответ. Я подписал; затем садится приказчик и спрашивает: «К сему объяснению надо писать»? — «Дурак! — отвечает следователь, — мужик, а хочет писать *к сему объяснению*; пиши: к сему *показанию*». Мужик «показывал», дворянин «объяснялся»! При таком умении отличить белую кость от черной дворянское самолюбие не слишком страдало, когда барину приходилось сесть на скамью присяжных рядом со своим бывшим крепостным (сидеть рядом на скамье *подсудимых* им приходилось и раньше: дворянская жалованная грамота, дав дворянину особые привилегии на суде и в тюрьме, отчасти сохраненные и «новым» судом, не додумалась до особых судов для дворян); а так как *интересов* правящих классов суд присяжных, при его русской постановке, не задевал и не мог задеть, то, повторяем, против его относительной демократизации никто особенно не спорил. Наиболее реальные последствия этой демократизации сказались в области уголовной репрессии: 17 апреля 1863 г. были отменены *телесные наказания* по приговорам общих судов, — остались только розги по приговору суда крестьянского, волостного. Упразднение сословного суда логически требовало отмены и сословных различий в области наказаний, а «буржуазное настроение» требовало такой отмены в сторону облегчения «низших» классов, а не в сторону нового обременения высших. Привилегию дворянства — не быть секомым — можно было распространить на всех, но дико было бы «демократизировать», отняв эту привилегию и у дворян.

Иначе стало дело, когда реформа коснулась такой области юридических отношений, которая была непосредственно связана с помещичьим хозяйством. Местный суд при крепостном праве был точно так же в руках местных помещиков, как и суд губернский. Демократизация последнего, казалось бы, логически требовала демократизации и первого. В самом деле, некоторые проекты губернских комитетов — например, рязанского, вдохновлявшегося Кошелевым — и предлагали передать разбирательство мелких деревенских преступлений и тяжеб особого рода деревенским присяжным, избранным от местного населения. Но уже редакционные комиссии поправили в этом пункте увлекшихся «манчестерцев», сохранив сословный волостной суд под опекой мирового посредника, назначавшегося из среды местных помещиков представителем центральной администрации. Судебная

реформа завершила эту работу классового самосохранения, оставив всецело в руках тех же местных помещиков все деревенские дела, выходившие из компетенции волостного суда: все мелкие кражи, потравы, мелкие земельные столкновения, мелкие деревенские тяжбы, споры хозяев с рабочими и т. д., — все это перешло в ведение *мировых судей*. О том, что должность эта должна замещаться, в деревне, из среды местных землевладельцев (а в городе — домовладельцев), никаких споров не было. Спор шел лишь, как в крестьянской реформе, между крупным, феодальным землевладением, с одной стороны, и средними помещиками — с другой. Феодальная группа — литературным выразителем ее был Катков — требовала придания должности мирового судьи *почетного характера:* мировой судья должен был в России, как в Англии, нести свои обязанности *безвозмездно*, что само собою предполагало, что им может быть лишь крупный землевладелец, притом не поглощенный всецело заботами о своем хозяйстве. Среднее дворянство — выразителем его была вся либеральная пресса того времени — видело, напротив, в судейской службе по выборам подспорье к своим землевладельческим доходам и убежище на случай экономического краха: оно добивалось поэтому, чтобы должность мирового судьи была платная. Кончилось, как и в крестьянской реформе, компромиссом: в угоду феодальным тенденциям была создана должность «почетного мирового судьи», не приуроченного ни к какому участку и фактически ничем не занятого: вся тяжесть повседневной работы падала на мирового судью участкового, получавшего за свой труд жалованье. Казалось бы, это последнее обстоятельство избавляло от необходимости требовать еще какого-нибудь *ценза*, кроме образовательного. Совершенно не логически, но вполне политически последовательно, судебные уставы потребовали, однако, и от участковых мировых судей *имущественного ценза*, размерами своими с грубою ясностью показывавшего, из рядов какой общественной группы должен был рекрутироваться мировой суд в деревне. Мировой судья должен был иметь недвижимую собственность, ценою не ниже 15.000 рублей (в десятинах от 400 до 950, смотря по местности). В городе он должен был иметь дом, в столицах не дешевле шести, а в провинциальных городах не дешевле трех тысяч рублей. Очевидно, ни земельных магнатов, ни крупнейшей городской буржуазии не ждали в качестве кандидатов на новые должности: но в деревне мировой

судья был непременно из помещиков. Чтобы обеспечить это его качество еще более, и выборы мирового судьи были поручены коллегии, где помещикам принадлежал решительный перевес. Мировые судьи должны были избираться уездными земскими собраниями (в городах — городскими думами), состоявшими из представителей исключительно местных землевладельцев, а отнюдь не местного населения вообще. «Таким образом, весь многочисленный класс лиц, доходы которых получаются с движимых ценностей, от свободных профессий или от службы частной и государственной, не имеет никакого влияния на выборы мировых судей, а между тем, принадлежа к наиболее деловой части населения, скорее другого землевладельца может быть подсуден мировому судье. Иной землевладелец отдает свою землю в аренду, не живет в данной местности и незнаком вовсе с местными жителями, но имеет полную возможность влиять на выборы мирового судьи, между тем как постоянно живущие на месте чиновник, адвокат, артист, художник, врач, служащий при железной дороге или пароходстве, и даже коронный судья окружного суда или судебной палаты лишены всякой возможности содействия к успешному выбору мировых судей и должны подчиняться авторитету таких лиц, с которыми они могут не иметь ничего общего и которые не пользуются нисколько их доверием» [1]). Но даже участие всех перечисленных лиц едва ли изменило бы физиономию выборов, производившихся в собрании, где 45% составляли дворяне, а 37,5% — крестьяне юридически свободные, но продолжавшие опекаться дворянской администрацией. «Посредник — все, — писал по поводу этой опеки знаток русской деревни в 70-х годах. — И школы, и уничтожение кабаков, и пожертвования, все это от посредника. Захочет посредник, крестьяне пожелают иметь в каждой волости не то что школы — университеты. Посредник захочет — явится приговор, что крестьяне такой-то волости, признавая пользу садоводства, постановили взносить по стольку-то копеек с души в пользу какого-нибудь гарлемского общества разведения гиацинтовых луковиц. Посредник захочет — и крестьяне любого села станут пить водку в одном кабаке, а другой закроют» [2]). Остается прибавить, что практически подать свой голос при

---

[1]) *А. Головачев,* цит. соч., стр. 337.

[2]) *Энгельгардт*, «Письма из деревни», стр. 146.

выборах мирового судьи могло лишь ничтожное меньшинство и правоспособного, в данном пункте, местного населения. Минимальное число гласных, при котором могло быть открыто уездное земское собрание, в большей половине уездов Европейской России составляло 12 человек; для законности выборов было достаточно простого абсолютного большинства, — иными словами, 7 человек в большей половине России могли поставить мировых судей для целого уезда. Если предположить, что из этих 7 трое зависели от остальных четырех (случай вполне возможный, почти нормальный), а эти четверо были между собою связаны взаимными интересами,—в чем тоже не было бы ничего ненормального, — то получится, что все решала «своя семья». Три партнера за карточным столом порешили выбрать четвертого — и тот становился судьей над десятками тысяч населения. Казалось бы, более безобидный, более согласный с «общими условиями среды» институт трудно было придумать — и, тем не менее, через двадцать лет феодальной реакции понадобилось съесть мировых судей!

По уверению историков мирового суда, он стяжал себе общее сочувствие уже в самом деле «без различия сословий». Для критической проверки этого «хвалебного гула» у нас нет никаких данных, ибо главный объект мирового суда в деревне, крестьяне, еще не имеют обычая писать свои мемуары; архивы же мировых судебных установлений еще не были предметом научного исследования. Вполне возможно, что когда будет известна подкладка судебной реформы, ее постигнет та же участь, что уже постигла реформу крестьянскую. Память столичных жителей — в столице все видней! — на ряду с симпатичными чертами первых мировых судей сохранила и курьезные. «В Петербурге один мировой судья, устроивший, вопреки господствовавшей у мировых судей строгой простоте обстановки, в своей камере, для судейского места, драпированное красным сукном возвышение, вообразил себя вместе с тем великим пожарным тактиком и стратегом — явился, в цепи, распоряжаться на пожаре, вспыхнувшем в его участке; а другой, возвращаясь в летнюю белую ночь с островов и найдя мост разведенным, надел цепь и требовал его наведения» [1]). Как это живо напоминает воропоновских мировых посредников, которые не расставались со своею

[1]) Воспоминания *Кони* — ср. *И. Гессена*, цит. соч., стр. 133.

цепью нигде, красуясь в ней «и в магазинах, и на бульваре, и в театре»! Повторяем, действительное отношение народной массы 60-х годов к «новому суду» нам пока неизвестно — и, вероятно, долго останется неизвестным. Зато не оставляет никаких сомнений отношение командующих кругов, как дворянства, так и буржуазии. Здесь было ликование — безраздельное и, конечно, неподдельное. Петербургская городская дума хорошо выразила настроение этой части общества в своем адресе Александру II, где было, между прочим, сказано: «открытие нового суда наполнило радостью сердца всех верноподданных, какую Россия испытывала в лучшие минуты своего исторического существования». А еще лучше — интимнее и теплее — выразилось это настроение в Воронеже, где прокурор читал лекцию о «новом суде» на благотворительном вечере, под аккомпанемент кора Славянского.

Судебная реформа больше интересовала городскую интеллигенцию и литературные круги: для массы среднего дворянства имел практическое значение, как мы видели, только *мировой суд*. Но так как мировых судей должны были выбирать земские собрания, то судьба этого института — в деревне — была тесно связана с другой из «великих реформ» 60-х годов, введением *земских учреждений* (1864 года). Судьба этой «великой реформы» чрезвычайно любопытна, — любопытна с начала до конца, можно сказать: ибо нигде, ни в какой другой области, «действительное соотношение сил» не давало себя чувствовать с такою силой до самой революции. В старой либеральной литературе земская реформа Александра II украшалась пышным титулом «введения в России местного самоуправления». Внимательные читатели настоящей книги застрахованы от подобных ошибок: они знают, что местное управление перешло у нас в руки «общества», т.-е. дворянства, еще при Екатерине II. Расширение этого «самоуправления» могло бы итти в двух направлениях. Во-первых, под непосредственным влиянием пугачевщины екатерининская реформа ограничила «самоуправление» низами провинциальной администрации — оставив наверху ее агента центральной власти с чрезвычайными полномочиями, *наместника*, а позже *губернатора*, «хозяина губернии»; компетенция «местного самоуправления» могла бы быть расширена вверх, передачей в его ведение всех губернских учреждений, с устранением этой бюрократической верхушки. Во-вторых, екатерининское «само-

управление» носило односословный, дворянский, характер; могла бы быть расширена его социальная база путем предоставления действительного, а не фиктивного голоса в местных делах остальным классам населения. Первое могло бы быть результатом социального перевеса среднего землевладения, буржуазного по своим тенденциям, над крупным феодальным, поставлявшим из своей среды «правительство»; второе показывало бы, что «в глубине России» устанавливается действительный, подлинный буржуазный строй. Но мы уже знаем, что ни того, ни другого не было: среднее землевладение экономически было слабее крупного, интересы же среднего землевладения, после 19 февраля, способствовали не ускорению, а, наоборот, задержке в развитии буржуазных отношений среди «освобожденного» крестьянства. Значит, о расширении местного самоуправления в России, в 60-х годах, не могло итти речи, как бы ни представлять себе это расширение — вертикальным или горизонтальным. Действительно, с первой точки зрения, вертикальной, самоуправление реформой 1864 года было не расширено, а, наоборот, сужено, притом чрезвычайно существенно. Раньше и низший *суд*, и низшая *полиция* на местах были всецело в руках местных помещиков, выбиравших и уездных судей, и уездного полицей-мейстера, исправника. После реформы Александра II в руках местного населения остался только местный суд, полиция же перешла к центральной власти, в лице *исправника*, *назначенного* центральной администрацией (его помощники, *становые*, назначались уже с царствования Николая I). Характерно, что для правительства Александра II в этом изъятии местной полиции из рук «самоуправления» заключалась вся суть дела; с этого началась «земская реформа», в том самом 1858 году, когда провинциальное дворянство, впервые после 14 декабря, было снова «взято под сомнение» насчет своей политической благонадежности. Излагающий дело с официальной точки зрения полуофициальный биограф Александра II готов всю земскую реформу логически вывести из этой реформы полицейской [1]). Дело происходило, конечно, не так просто — мы скоро это увидим: но очевидно, во всяком случае, что для тех, кто смотрел сверху, речь шла никак не о расширении, а, напротив, об ограничении. Новое «самоуправление» сразу же было отдано под

[1]) См. *Татищев*, «Александр II», стр. 613.

такую опеку центральной власти, какой не видало самоуправление старое, дворянское. Мало того, что губернаторам и министру внутренних дел было предоставлено право veto на постановления земских собраний во всех случаях, где хотя бы самое тонкое чутье могло открыть хотя бы самый незначительный запах «политики», и в области чисто-хозяйственной, где никакой политикой заведомо для правительства не пахло, — земство начали стеснять с первых же шагов, а вовсе не только после «реакции» Александра III, как часто себе представляют. Уже в 1867 г. земство лишено было права облагать торговые и промышленные предприятия по их действительной доходности, — фабрики и заводы оно могло облагать только как «строения» (!), а с торговых свидетельств и патентов брать не более 25% казенной пошлины. «С издания этого постановления замечается особенное охлаждение к земским делам как в обществе, так и в среде земских деятелей,—говорит один из современных наблюдателей. — Представители землевладельцев убедились, что за недостатком средств земские собрания обречены на ограниченную деятельность по исполнению обязательных расходов; крестьяне, живо заинтересованные вначале этим делом, в результате увидели одно возвышение налога, а представители городов, будучи обложены всегда одним и тем же сбором, стали относиться к нему совершенно пассивно». Тот же наблюдатель приводит далее гораздо более основательные мотивы этого охлаждения к земству как у крестьян, так и у представителей городов. Именно он указывает, что в общем числе уездных гласных (13.024) землевладельцы имели 6.204 представителя, крестьяне — 5.171 и городские общества — 1.649; при чем это вовсе еще не значило, что в собраниях было более 30% крестьян: «многие сельские общества выбирают гласными мировых посредников вследствие того влияния, которое последние имеют в волостях, им подведомственных», а другие волости, можно прибавить, выбирали тех, кого им укажет мировой посредник. Поводов для «холодности» к земству и у крестьян, и у горожан, как видим, было достаточно и помимо указа 22 ноября 1867 года [1]). Если вспомнить, ко всему этому, что губернские гласные выбираются уездными собраниями, где помещикам обеспечено, разными способами, подавляющее большинство, так что губернское

---

[1]) *Головачев*, цитиров. сочин., стр. 197 и 205.

земство является помещичьим уже sans phrases, то нам, кстати, станет ясно, как мало можно говорить и о «горизонтальном» «расширении местного самоуправления» в 60-х годах.

Взятая сама по себе, реформа была, таким образом, крайне скромной, гораздо скромнее не только крестьянской, но и судебной. И если память русской буржуазии причислила и ее к лику «великих», то в этом виновато не то, чем были земские учреждения 1864 года, а то, чем они не были, но чего от них ждали. В представлении и современников, и ближайшего потомства *земство было пробной конституцией.* Это, в сущности, вполне определенно и высказано в известном адресе, который подало Александру II, в январе 1865 года, московское дворянство: «созвание общего собрания выборных людей» являлось в этом адресе «довершением государственного здания», фундамент которого составляло именно земство, — по случаю введения земских учреждний адрес и был подан. Так понял адрес и Александр Николаевич. «Что значила вся эта выходка? — спрашивал он, недолго спустя, одного из самых горячих ораторов дворянского собрания, звенигородского предводителя Голохвастова. — Вы хотели конституционного образа правления»? К этому император прибавил, что готов хоть сейчас подписать «какую угодно конституцию», если бы она была полезна для России, но не дает ее именно потому, что считает конституцию для России вредной. В искренности этого заявления сына Николая Павловича мы тем менее можем сомневаться, что бесполезность и даже вредность для России, или по крайней мере для дворянства, конституции за три года до того доказал не кто другой, как Кавелин. В своей заграничной брошюре «Дворянство и освобождение крестьян», напечатанной в 1862 году, Кавелин спрашивал: «Возможны ли и достижимы ли у нас политические гарантии в настоящее время»? «Мы глубоко убеждены, что нет; а следовательно, и мечтать о них теперь нечего. Чтобы иметь представительное правление, надобно сперва получить его и, получивши, уметь поддерживать, а это предполагает выработанные элементы представительства в народе, на которых могло бы твердо и незыблемо основаться и стоять здание представительного правления: — где же у нас такие элементы?.. Составных стихий народа у нас две: крестьяне и помещики; о среднем сословии нечего говорить: оно малочисленно и пока так еще незначительно, что не идет в счет. Что касается до

масс народа, то, конечно, никто, зная их хоть сколько-нибудь, не сочтет их за готовый, выработанный элемент представительного правления... Остается дворянство. В наше время трудно себе представить исключительно дворянскую конституцию. Слава богу, мы живем не в средние века, не в варварские времена, когда она была возможна...». Итак, «правительство» заявляло, что оно в принципе ничего не имеет против конституции, но считает ее практически неосуществимой в России. «Общество» не только соглашалось с последним, но и приводило в пользу неосуществимости в России конституции очень солидные аргументы. И тем не менее, первое нашло нужным сделать опыт, а второе очень заволновалось, когда стало ясно, что опыта не доведут до конна. Скромнейшая из реформ Александра II начинает становиться весьма загадочной — и останется для нас таковой, пока мы будем вращаться в заколдованном кругу «общества» и «правительства».

Как ни слабо было, объективно, брожение, вызванное в среде крестьян «свободой не по их разумению», — по размерам все же, однако, более серьезное, нежели волнения дней Крымской кампании, — на психику верхних общественных слоев оно повлияло очень сильно. Гораздо сильнее, чем в 1854—1857 г.г., чувствовали себя накануне революции. Хладнокровнее всех было, как и тогда, министерство внутренних дел, сумевшее даже, как увидим ниже, из большой паники извлечь для себя маленькую пользу. Но в черносотенных кругах, стоявших дальше от администрации, ужас был неописуемый. Один монах, ставший впоследствии архиереем, записал в своем дневнике под 12 апреля 1862 года: «От генеральши Крыжановской (рожденной Перовской, дочери одного из министров Николая I) я слышал, что мятежники, накануне Пасхи, раздавали солдатам и народу печатное воззвание о перемене правления, и что в пасхальную ночь толпы народа стояли у Зимнего дворца и ожидали бунта. Полиция до сей поры не могла узнать, где напечатано это воззвание». Одна светская дама, состоявшая в переписке с другим русским архиереем, наверное знала, что «все прокламации были печатаны в Киево-Печерской лавре...» [1]). «...Общество в опасности, сорванцы бездомные на все готовы, и вам дремать нельзя, — писал в Третье отделение один «честный человек», «не годившийся в доносчики»:—

[1]) *Барсуков*, цит. соч. XIX, passim.

«на вас грех падет, коли допустите их до резни, а она будет, чуть задремлете или станете довольствоваться полумерами. Время николаевское ушло»... «Кровь» на каждом шагу мерещилась «честному человеку», страницы его доноса, фигурально выражаясь, политы ею. Вышедший из того же круга автор анонимного письма к Чернышевскому видел своего корреспондента не иначе, как «с ножом в руках, в крови по локоть» [1]). Но если черносотенные круги неосновательно пугались, то в других кругах те же волнения вызывали не менее неосновательные надежды. «Говорят, что в Петербурге боятся пуще всего земской Думы; опасаются, что с нею начнется революция в России, — писал в том же 1862 году Бакунин. — Да неужели же там в самом деле не понимают, что революция давно началась? Пусть посмотрят вокруг себя, в самих себя, пусть сравнят свое настроение духа с тем, что чувствовалось правительством при императоре Николае, — и пусть скажут: разве это не коренная и не полная революция? Вы слепы, это правда. Но неужели слепота ваша дошла до той степени, что вы думаете, можно воротиться назад или отделаться шутками? Итак, не в том вопрос, будет или не будет революция, а в том: *будет ли исход ее мирный или кровавый?*.. В 1863 году быть в России страшной беде, если царь не решится созвать всенародную земскую Думу...». «Помещичьи крестьяне недовольны обременительною переменой, которую правительство производит под именем освобождения, — писал еще годом раньше «Великорусс»: — недовольство их проявляется волнениями, которым сочувствуют казенные крестьяне и другие простолюдины, также тяготящиеся своим положением. Если дела пойдут нынешним путем, надобно ждать больших смут». Если есть надежда на мирный исход дела, то только потому, что «крестьяне не организовались еще для общего восстания, эпохою которого будет лето 1863 года, если весна его обманет *их*...».

Само собою разумеется, что ни в числе испуганных, ни в числе надеющихся не было среднее дворянство: оно, напротив, было в самом радужном настроении. «1861 год видел преобразование, которое составляет эпоху в русской истории, — писал, все в те же дни, Чичерин. — 1862 год не менее плодотворен. В начале года в первый раз обнародован бюджет; затем в правитель-

---

[1]) Цитаты по ст. г. *Лемке* о деле Черн—го, в «Былом» 1906 г.

ственном отчете объявлено, что цензуру книг предполагается уничтожить; теперь публикуются высочайше утвержденные начала нового устройства суда. Основания их: независимость судей, публичность суда, присяжные. Реформа следует за реформою; общественная свобода и гласность развиваются все шире и шире. Не есть ли это лучший ответ на односторонние суждения, на подозрения недовольных, на возгласы нетерпеливых»? Не только к Бакунину, но и к Чернышевскому дворянский публицист относился в высшей степени отрицательно. В современной ему «левой» публицистике он не видит ничего, кроме «буйного разгула мыслей, умственного и литературного казачества», которое «составляет, к несчастью, проявление одной из исторических стихий русской жизни. Но ей всегда противодействовали разумные общественные силы, которые поставляли себе задачею развитие общественности и порядка». Вера в эти силы была у Чичерина очень крепка, и это застраховывало его и ему подобных от паники. Последняя царствовала всего безраздельнее в феодальных кругах. Что касается революционных надежд, они концентрировались в трех группах, которые, к удивлению, довольно хорошо различались феодальными кругами, при всей приписываемой им Бакуниным «слепоте». Уже цитированный нами монах Порфирий Успенский записал в своем дневнике, между прочим, и следующее: «Сегодня прогуливался в тенистых аллеях лавры с преосвященным Леонтием и слышал от него вот какие недобрые вести. Теперь у нас три политические партии: первая — герценская — умеренная, домогается конституции; вторая — великорусская — мечтает о славянской федеративной республике, а третья — красная — жаждет безначалия и крови, уничтожения монастырей (это для монаха было всего важнее!), общения женщин и имуществ и разгульного жития...». Подвергнув анализу тогдашние политические программы, мы получим именно три течения, идущие справа налево именно в том порядке, какой давал им черносотенный собеседник нашего монаха: *либерально-монархическое*, группировавшееся около Герцена, *буржуазно-демократическое*, центром которого была редакция «Современника», откуда и вышел «Великорусс», и *социалистическое*, нашедшее свой манифест в известной прокламации к «Молодой России» [1]).

[1]) Нижеследующий текст, как и вся глава XVI, появляется перед публикой впервые теперь, но написан он был одновременно со всеми

«Присмотришься, — у него все еще в нутре московский барин сидит», говорил о Герцене Чернышевский. Как политический деятель, Герцен был спайкой, соединявшей полудворянский либерализм декабристов с буржуазным либерализмом пореформенной России. Прочтите его знаменитые страницы о *мещанстве*, едва ли не лучшие страницы во всем Герцене, в «Концах и началах», где он самому себе подвел итог, думая подвести итог европейской истории: отправной точкой всей характеристики является не *будущее, а прошедшее*, в будущем этот утопический социалист — не даром так близкий к романтике помещичьего славянофильства 40-х г.г. — видит чрезвычайно мало утешительного. Весь образованный мир «идет в мещанство»: «мещанство — идеал, к которому стремится, подымается Европа со всех точек дна... *Мещанство*, последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности, — демократизация аристократии, аристократизация демократии; в этой среде Альмавива равен Фигаро, снизу все тянется в мещанство, *сверху все само падает в него по невозможности удержаться*. Американские Штаты представляют одно среднее состояние, у которого нет ничего внизу и нет ничего вверху, а мещанские нравы остались. Немецкий крестьянин — мещанин хлебопашества, работник всех стран — будущий мещанин». Вы чувствуете, как жалко автору тех, кто «падает», и как мало у него интереса к тем, кто поднимается до мещанства. Чему тут сочувствовать в самом деле? «*Заработавшая себе копейку толпа* одолела и по своему жуирует миром. В сильно обозначенных личностях, в оригинальных умах ей нет никакой необходимости... Красота, талант вовсе не нормальны — это исключение, роскошь природы, высший предел или *результат больших усилий, целых поколений*... Для цветов его (мещанства) гряды слишком унавожены; для его гряд цветы слишком бесполезны; если оно иногда и растит их, то только на продажу». Мы не будем пускаться в споры с Герценом, опровергая банальный, «токвилевский», предрассудок, будто «буржуазия» значит «посредственность» и будто буржуазному обществу нет нужды в оригинальных умах, сильно обозначенных личностях; важно то,

---

предыдущими, в 1912 г. Переработка его при свете всем доступного теперь — а тогда «секретного» — архивного материала потребовала бы не одного года времени. Чтобы не задерживать издания, текст издается таким, каким он был уничтожен царской цензурой десять лет тому назад.

что он, социалист, разделяя этот предрассудок, незаметно для самого себя примыкал к тому реакционному течению, которое среди XIX века вздыхало о силе, разнообразии и красоте безнадежно погубленного «мещанами» феодального мира. То, что берегли «целые поколения», утрачено: а что все будут сыты, — это мало трогает Герцена. С большим презрением он признает «право на сытость»: «нельзя сказать голодному — тебе больше к лицу голод, не ищи пищи». Но как характерно это представление о голоде, который может быть «к лицу», о красивом голоде! И как в этой фразе о «заработавшей копейку толпе» во весь рост встал перед нами человек, не только сам никогда не осквернивший своих рук работой для заработка, но, можно сказать, социально, в ряде поколений, забывший как это делается!

У политического романтизма есть своя внутренняя, органическая связь. Резкие нападки Герцена на самодержавие Николая I могут навести на мысль о суровом и непреклонном республиканце, в роде Пестеля. Увы! Политическая наследственность Герцена ведет, как к ближайшим предкам, не к Пестелю, и даже не к Рылееву, а к Никите Муравьеву или даже к Волконскому, или Михаилу Орлову. Непрестанные «оскорбления величества» нисколько не мешали автору «Былого и дум» быть на практике монархистом. Он ненавидел лично Николая Павловича, но даже эта ненависть не была безнадежной. «Царь колеблется и мешает, он *хочет освобождения и препятствует ему. Он понял, что освобождение крестьян сопряжено с освобождением земли;* что освобождение земли в свою очередь — начало социальной революции, провозглашение сельского коммунизма» [1]). Николай хочет освобождения крестьян, освобождения без кавычек! Николай понял, что «освобождение крестьян сопряжено с освобождением земли» (хорошо было бы лицо Николая Павловича, если бы ему кто-нибудь сказал такую фразу...), — и не приступает к освобождению из «боязни социальной революции»! Можно ли представить себе более фантастическую идеализацию человека, который видел главное свое достоинство в том, чтобы делать ружейные приемы, «как лучший ефрейтор», и ничего так не желал своим подданным, как того, чтобы каждого из них можно было произвести в ефрейторы. Нетрудно догадаться, что случилось с оскорбителем монархов, когда на русском

[1]) «Русский народ и социализм», письмо к Мишле. 1851 года. Курсив, как вообще в цитатах из Герцена, наш.

престоле оказался Александр II. «Говорят, что теперешний царь добр»: и вот, на царской «доброте», совершенно как в моральных поучениях шестнадцатого века, начинают строиться все политические чаяния вождя русской оппозиции. Нужно видеть то трепещущее нетерпение, с каким Герцен ждет своих «чудес» — проявления царской доброты к народу. Нужно видеть его негодование, когда чудеса медлят. «Сначала мешала война... Прошла война — ничего! Все отложено до коронации... прошла и коронация — все ничего»! «А ведь как легко было сделать чудеса — вот что непростительно, вот чего мы не можем вынести»! И, как в XVI веке, виноват, конечно, не царь. Виноваты его советники, «закоренелые в рабстве слуги Николая. Они погубят Александра — и как жаль его! Жаль за его доброе сердце, за веру, которую мы в него имели...». А когда первое из «чудес» — чисто-николаевский по духу рескрипт 20 ноября 1857 года — наконец явилось, как ликовал Герцен! «Ты победил, галилеянин»! Даже после того, как стало ясно, что галилеянин разбит на голову, что вместо эмансипации вышла экспроприация, он не совсем утратил свои надежды. «Кто же будет суженый»? — спрашивал он после 19 февраля, читая, как народ, в ответ на «волю», «дошел чуть ли не до открытого мятежа». «Император ли, который, отрекаясь от петровщины, совместит в себе царя и Стеньку Разина? Новый ли Пестель, опять ли Емельян Пугачев?..». Уж очень крепка была его теория о социальной роли самодержавия. «Русское императорство родилось из царской власти ответом на сильную потребность *иной жизни*. Это военная и гражданская диктатура, гораздо больше сходная с римским цезаризмом, нежели с феодальной монархией... Но императорство не сильно, как скоро оно делается консервативным. Россия отреклась от всего человеческого, от покоя и воли, она шла в немецкую кабалу только для того, чтобы выйти из душного и тесного состояния, которое ей было не под лета. Вести ее назад теми же средствами невозможно. Только идучи вперед к целям действительным, только способствуя больше и больше развитию народных сил при общечеловеческом образовании, и может держаться императорство...» [1]).

Итак, самодержавие может быть фактором прогресса — вопрос в личности самодержца, в понимании им своей роли. «Одна

[1]) Кн. «Екатерина Романовна Дашкова». Курсив Герцена.

робость, неловкость, оторопелость правительства мешает ему видеть дорогу, и оно пропускает удивительное время. Господи! чего нельзя сделать этой весенней оттепелью после николаевской зимы; как можно воспользоваться тем, что кровь в жилах снова оттаяла, и сжатое сердце стукнуло вольнее! Мало чувств больше тягостных, больше придавливающих человека, как сознание, *что можно теперь, сейчас* ринуться вперед, что все под руками и что недостает одного понимания и отваги со стороны ведущих. Машина топится, готова, жжет даром топливо, даром теряется сила, а все оттого, что нет смелой руки, которая бы повернула ключ, не боясь взрыва. Пусть же знают наши кондуктора, что народы прощают многое — варварство Петра и разврат Екатерины, прощают насилия и злодейства, если они только чуют силу и бодрость мысли. Но непонимание, но бледная шаткость, но неуменье воспользоваться обстоятельствами, схватить их в свои руки, имея неограниченную власть — ни народ, ни история никогда не прощают, какое там доброе сердце ни имей». Мы начинаем понимать, почему можно было быть одновременно другом Герцена и Николая Милютина: только когда Кавелин высказался категорически *против* конституции, ему пришлось выбирать между двумя своими друзьями. Считать себя «представителем мысли восстания в России»—и итти рука об руку с людьми, которые открыто заявляли, что не только восстания, а и никаких политических гарантий России вовсе не нужно — это было уж слишком нелогично; Европа обязывала. Но России издавна была знакома особая форма восстания, неизвестная Европе: бунт на коленях. К этой форме Герцен не относился так сурово, как отнеслись бы к ней декабристы, ставшие, правда, на колени, но лишь тогда, когда их бунт был уже раздавлен. Не даром около Герцена группировались последние «маркизы Позы», — Серно-Соловьевич, так названный самим Герценом, был не один. Очень близок к издателю «Колокола» был Мартьянов, долгое время едва известный по имени и только недавно «открытый» после-революционными раскопками в нижних ярусах «общественного движения». «Торговый мужик», по московской терминологии, купец из крепостных крестьян графа Гурьева, отпустившего его на волю чуть не нагишом, он, как его предки, торговые мужики московской Руси, обратился к Александру II с настоящей челобитной, за которую можно ручаться, что она если не написана, то во всяком случае проредактирована Герценом.

Устами «простого крестьянина», его «безыскусственным» стилем можно было сказать много такого, что не напечатаешь за своей подписью в «Колоколе», все из-за той же Европы. Герценовская редакция дорого обошлась Мартьянову, — немедленно по возвращении в Россию он попал на каторгу, конечно, не за свое, во всех отношениях благонамеренное, «письмо», а за слишком сквозившую из-за этого письма дружбу с «лондонскими пропагандистами». Гораздо более известный, чем Мартьянов, Серно-Соловьевич за подобное же непосредственное обращение к Александру II — по крестьянскому делу — получил не каторгу, а высочайший поцелуй устами председателя главного комитета, кн. Орлова; и если и Серно-Соловьевича, впоследствии, постигла участь Мартьянова, то это было опять-таки в связи с «лондонскими пропагандистами» [1]). Что эти челобитчики по призванию — как увидим дальше, и конституцию для России Серно-Соловьевич надеялся «отхлопотать» путем челобитной — тянули именно к Герцену, это очень характерно, конечно, но еще характернее, что герценовский романтизм разделялся даже такою на первый взгляд антимонархическою фигурою, как Бакунин. «Редко царскому дому выпадала на долю такая величавая, такая благородная роль, — писал Бакунин (в 1862 году, заметьте это), — Александр II мог бы так легко сделаться народным кумиром, первым русским земским царем, могучим не страхом и не гнусным насилием, но любовью, свободою, благоденствием своего народа. Опираясь на этот народ, он мог бы стать спасителем и главою всего славянского мира... Он и только он один мог совершить в России величайшую и благодетельнейшую революцию, *не пролив капли крови*. Он может еще и теперь: если мы отчаиваемся в мирном исходе, так это не потому, чтобы было поздно, а потому, что мы отчаялись, наконец, в способности Александра Николаевича понять единственный путь, на котором он может спасти себя и Россию. Остановить движение народа, пробудившегося после тысячелетнего сна, невозможно. Но если б царь стал твердо и смело во главе самого движения, тогда бы его могуществу на добро и на славу России не было бы меры...» [2]). Видеть будущего главу европейского анархизма,

---

[1]) См. очерк г. *Лемке* — «Дело о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами», в «Былом» 1906 г., сентябрь — декабрь.

[2]) «Романов, Пугачев или Пестель?»

хоть на минуту, в роли «челобитчика», это ли, казалось, было не утешение для российской монархии? А сенат Александра Николаевича за одно знакомство с Герценом и Бакуниным приговаривал людей в каторгу. Какое горькое недоразумение, скажет читатель. Сенат лучше понимал сущность российского самодержавия, скажем мы.

Но кто говорит *А*, должен сказать и *Б*. Раз веришь в монархию, нужно верить и в *дворянство*. Органическую связь двух этих институтов установил еще Монтескье так прочно, что к его аргументации до сего дня нечего ни прибавить, ни убавить [1]). Что Герцен возлагал надежды на дворянство в деле освобождения крестьян, это было еще не так наивно: мы знаем, что крестьянскую реформу провели, в конечном счете, именно сами помещики так, как им было выгодно и надобно. Только не стоило взывать к дворянству по этому поводу: дело совершилось бы само собою, к этому шло, и вопрос в середине пятидесятых годов (когда написан «Юрьев день») был не в том, освободят ли крестьян, а в том, *как* их освободят. В этом последнем случае Чернышевский оказался куда проницательнее Герцена, так и не разглядевшего ловушки, которую ставило крестьянину «освобождение с землей». Гораздо наивнее была попытка поднять дворянство на эмансипацию *политическими* мотивами. «Мы рабы, потому что мы господа... Нет свободы для нас, пока проклятие крепостного состояния тяготит над нами, пока у нас будет существовать гнусное, позорное, ничем не оправдываемое рабство крестьян... Больно, если освобождение выйдет из Зимнего дворца, власть царская оправдается им перед народом и, раздавивши вас, сильнее укрепит свое самовластие, нежели когда-либо». Но, во-первых, для того, чтобы провести «освобождение» так, как нужно было помещикам, «самовластие» было совершенно необходимо: без него ничего бы не вышло. А во вторых, утверждение, будто наши помещики николаевской эпохи были «рабами», фактически не верно. Раб в своей частной жизни, в своих семейных отношениях, в своем имуществе всецело зависит от барского произвола. В частную жизнь дворянства самодержавие, начиная с царствования Александра Павловича, уже более не вмешивалось,—Павел слишком дорого заплатил за попытку подобного вмешательства. Чтобы попасть

[1]) Связь сверху вниз, нужно прибавить. Нет монарха без дворянства — но дворянство без монарха можно себе представить.

под перуны Третьего отделения, нужно было иметь какое-нибудь касательство к политике — или быть по крайней мере литератором, либо купцом (см. то, что говорилось выше по поводу судебной реформы); но многие ли из дворян занимались литературой, и что им было за дело до купцов? Подавляющее большинство провинциальных помещиков чувствовало себя при Николае, до 1848 г., как нельзя более «свободно»; жандармский штаб-офицер был отличным партнером для виста, а иногда и желанной «выручкой» в семейных делах деликатного свойства, которых не хотели доводить до суда. Те, кто служил в столицах, сильнее чувствовали тяжелую руку Николая, но на службе, а не у себя в семейном быту. Зато же они делали карьеру,— все на свете оплачивается. После 1848 года тяжелая рука стала чувствоваться сильнее всюду, но зато опасность, что «освобождение выйдет из Зимнего дворца», исчезла самым радикальным образом. Словом, аргументация Герцена била мимо цели, но он этого не замечал. Прошло уже 19 февраля, а он все еще верил, что с дворянством стоит разговаривать на политические темы. Когда Кавелин сказал свое в сущности трезвое слово, что дворянству в России никаких политических гарантий не нужно, Герцен с ним порвал. В бумагах Серно-Соловьевича полиция нашла «герценовскую» конституцию, теперь напечатанную [1]): «Проект Уложения императора Александра II». Мы имеем право назвать проект «герценовским», — Серно-Соловьевич был слишком близок к герценовским кругам, чтобы серьезнейшее дело его жизни осталось для этих кругов незнакомым. А горячая симпатия самого Герцена к автору проекта ручается, что в политических взглядах Серно-Соловьевича не было ничего, что бы Герцена шокировало: к тем, с кем издатель «Колокола» расходился, он не был столь милостив [2]). Достаточно привести

---

[1]) В упомянутой статье г. *Лемке*.

[2]) «Укоряющая тень Серно-Соловьевича прошла мимо нас печальным протестом... Последний маркиз Поза, он верил своим юным девственным сердцем, что *их* можно вразумить, он человеческим языком говорил с государем и... умер в Иркутске, изможденный истязаниями трехлетних казематов... Враги, заклятейшие консерваторы по положению, члены государственного совета, были поражены доблестью, простотой, геройством Серно-Соловьевича. Человек этот был до того честен, что «Московские Ведомости» не обругали его, не донесли на него во время следствия, не сделали намека, что он поджигатель или вор... Это был один из лучших *весенних* провозвестников нового времени в России... И он убит.

два первые параграфа «Уложения», чтобы оценить его *политический* размах: «1) Верховная власть в России принадлежит Государю Императору, особа которого считается священною и неприкосновенною. Порядок престолонаследия определяется сообразно доселе действовавшим законам. Сумма на содержание Государя Императора и Августейшего Дома определяется ежегодно Его Величеством. 2) Верховная власть составляет высшую степень управления государством, *под ее ведением* действуют власти: законодательная, исполнительная и судебная»... Как видим, это много умереннее самой умеренной из декабристских конституций: и нет ничего мудреного — Серно-Соловьевич был в тысяче верст от мысли о каком бы то ни было восстании. Для осуществления своего проекта он рассчитывал исключительно на «доброту» Александра II, которому и предполагалось подать проект при верноподданическом письме, составленном, конечно, в соответствующих выражениях [1]). Но еще любопытнее политической умеренности проекта его *социальный* консерватизм. «*Выборы в Народное собрание производятся... отдельно по сословиям*», гласит § 8. Дворянство каждой губернии, какова бы ни была его численность, имеет в Народном собрании 2 депутатов, тогда как горожане имеют по 1 депутату на 50.000 жителей, а сельское население—по 1 на 100.000. При чем круг лиц, которых может избирать последнее, страшно сужен, благодаря образовательному цензу: депутат от крестьян непременно должен кончить хотя низшую школу. Можно себе представить, сколько было крестьян со школьным образованием в 1862 году! Избирательный закон, действовавший у нас до 3 июня 1907 года, был чрезвычайно либерален сравнительно с проектом Серно-Соловьевича,—и находились неблагодарные, которым этот закон казался ультра-реакционным...

Итак, октроированная, дарованная сверху конституция, опирающаяся на «народное собрание» из представителей «образованных классов» — с очень ограниченными полномочиями (оно не могло, например, касаться внешней политики, за исключением вопросов, «предоставленных собранию высочайшей волей») — и гарантирующая элементарные «свободы», понимаемые, впрочем, не широко и формулированные не особенно определенно. Не

---

[1]) Часть этого письма сохранилась и приведена г. *Лемке*,—мы можем, таким образом, судить о стиле.

оговорено, например, категорически уничтожение *всякой* цензуры, — сказано лишь глухо: «всякий имеет право беспрепятственно высказывать печатно свои мнения» (§ 55). Буквально, дальше упразднения *предварительной* цензуры отсюда ничего еще не вытекало. Нет свободы совести — говорится лишь о «праве беспрепятственно придерживаться своего религиозного верования и отправлять богослужение по учению своей церкви»: прекращение преследования раскольников, формально, уже удовлетворяло это требование. О свободе собраний нет ни слова. Весьма бледная *умеренно-либеральная* программа — вот как можно охарактеризовать «проект Уложения императора Александра II». Для левого крыла тогдашней русской журналистики уже за три года до работы Серно-Соловьевича эти рамки казались слишком тесными. «Либералов совершенно несправедливо смешивают с радикалами и демократами,— писал Чернышевский еще в 1858 году. — У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой — дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно. Напротив, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия по своей необразованности и материальной скудости равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно к праву, свободной речи и конституционному устройству. Для демократа, наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному — аристократии; либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы обыкновенно питают к демократам смертельную неприязнь, говоря, что демократизм ведет к деспотизму и гибелен для свободы... С теоретической стороны, либерализм может казаться привлекательным для человека, избавленного счастливою судьбою от материальной нужды: свобода — вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу

очень узким, чисто формальным образом. Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть материальные средства пользоваться этим разрешением. Ни мне, ни вам, читатель, не запрещено обедать на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средств для удовлетворения этой изящной идеи; потому я откровенно говорю, что нимало не дорожу своим правом иметь золотой сервиз и готов продать это право за один рубль серебром или даже дешевле. Точно таковы для народа все те права, о которых хлопочут либералы. Народ невежествен, и почти во всех странах большинство его безграмотно; не имея денег, чтобы получить образование, не имея денег, чтобы дать образование своим детям, каким образом станет он дорожить правом свободной речи? Нужда и невежество отнимают у народа всякую возможность понимать государственные дела и заниматься ими, — скажите, будет ли дорожить, может ли он пользоваться правом парламентских прений? — Нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма. Поэтому либерализм повсюду обречен на бессилие: как ни рассуждать, а сильны только те стремления, прочны только те учреждения, которые поддерживаются массою народа» [1]).

Сообразно с таким пониманием дела, «Великорусс» очень мало занимается конституционными деталями. «Все согласны в том, какие черты законного порядка должна установить конституция, — говорят его авторы. — Главные из них: ответственность министров, вотирование бюджета, суд присяжных, свобода исповеданий, свобода печати, *уничтожение сословных привилегий*, самоуправление по областным и общинным делам». Все это, кроме подчеркнутого нами, есть, в менее решительной форме, и у Серно-Соловьевича; но насчет того, *как* всего этого достигнуть, «Великорусс» держался радикально противоположного мнения. «Но чего требовать? Того, чтобы государь даровал конституцию, или чтобы он предоставил нации составить ее?

---

[1]) «Борьба партий во Франции» — «Современник», 1858 г., №№ 8 и 9. Перепечатано в «Полном собрании сочинений». Т. IV, стр. 156–158.

Правительство не умеет порядочно написать даже обыкновенного указа; тем менее сумело бы оно составить хорошую конституцию, если бы и захотело. Но оно хочет сохранить произвол; потому под именем конституции издало бы оно только акт, сохраняющий, при новых словах, прежнее самовластие. Итак, *требовать надо не октроирования конституции, а созвания депутатов для свободного ее составления*». Раньше народного собрания должно быть учредительное собрание: вот первый кардинальный пункт расхождения «либералов» и «демократов» в их практической программе. Но для превращения проекта Серно-Соловьевича в русскую конституцию ничего не нужно было, кроме доброго сердца Александра II: для того, чтобы добиться учредительного собрания, требовалось, очевидно, гораздо большее. После низвержения существующего правительства, учредительное собрание разумелось само собой: так ставили дело декабристы. Но в руках декабристов была реальная сила, при помощи которой они надеялись достигнуть своей цели, — этой силой было войско. В руках Чернышевского и его кружка никакой реальной силы не было, — тут-то и была ахиллесова пята российского демократизма шестидесятых годов. О рабочих, или, как их звали тогда, «работниках», никто не думал: общественное значение пролетариата стало сознаваться в России, и то не всеми, лет на пятнадцать позже. Пробовали добраться до крестьян: есть все основания думать, что ненапечатанная прокламация «К барским крестьянам», за которую был сослан на каторгу Чернышевский, написана действительно им — хотя судившему его сенату и не удалось этого доказать [1]). «Великорусс» отводит крестьянскому вопросу первое место — гораздо выше конституции (которая упоминается после даже «освобождения Польши»). С большой уверенностью толкует он о «партиях», существующих между помещичьими крестьянами, и очень твердо ставит решение вопроса: «для мирного водворения законности необходимо решить крестьянский вопрос в смысле удовлетворительном по мнению самих крестьян, т.-е. государство должно отдать им, по крайней мере, все те земли и угодья, которыми пользовались они при крепостном праве, и *освободить их от всяких особенных платежей или повинно-*

---

[1]) См. ст. г. *Лемке*. «Дело Н. Г. Чернышевского», в «Былом» 1906 г., март—май.

стей за выкуп, приняв его на счет всей нации». Но на помощь *самих* крестьян в деле можно было рассчитывать лишь для более или менее отдаленного будущего: при данном уровне крестьянской сознательности так легко было, вместо демократии, получить черносотенную пугачевщину, — и Чернышевский отлично это понимал. Не даром он, в своей прокламации, наставляет помещичьих крестьян «покуда пора не пришла, силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит, *спокойствие сохранять и виду никакого не показывать.* Пословица говорит, что один в поле не воин. Что толку, что ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить, да себя губить». Но раз крестьянская «сила», пока что, должна была оставаться в резерве, что же можно было двинуть в первую линию? «Либералы» хлопотали о «ценностях», которые немногого стоили, но у них было кому хлопотать: они обращались к дворянству. «Демократы» очень хотели бы «уничтожить преобладание высших классов над низшими», «уменьшить силу и богатство высших сословий», но — увы! — и им не к кому было обратиться, кроме, в сущности, тех же «высших сословий». Чернышевский и руками, и ногами отбивается от этой неизбежности. В «Письмах без адреса» (обращенных, как известно, к Александру II: так трудно было выбиться из этой колеи даже Чернышевскому!) он еще пытается теоретически обойти этот подводный камень, чрезвычайно искусственно отделяя «просвещенных людей всех сословий» от «помещиков», которые, тремя строками ниже, разумеется, возвращаются на свое законное место в ряду «просвещенных людей»: ибо велика ли была в 1861 году интеллигенция вне дворянских кругов? «Великорусс» уже разочаровался в этой алхимии — с «образованными классами» он оперирует как с понятием, само собою разумеющимся. А кто такое на самом деле эта «просвещенная часть нации» — догадаться нетрудно: «мы не поляки и не мужики. В нас стрелять нельзя... Прямо противиться требованию, выраженному *всем образованным русским обществом*, она (династия) не может. Пусть каждый подумает, возможно ли с Москвою и Петербургом поступить так, как с Варшавой, Вильной или каким-нибудь селом Бездной»? Но уж из «всего»-то образованного общества помещиков никак нельзя было изгнать. А взяв в кредит социальный базис «либералов», как отрешиться было от их методов дей-

ствия? И начавший с такого правильного, так решительно заявленного утверждения, что от правительства ничего не дождешься и не добьешься, «Великорусс» заканчивает — проектом всеподданнейшего адреса, написанного, правда, приличнее, чем писались обыкновенно дворянские адреса, но по существу ставившего все дело в полную зависимость от «благоволения» Александра Николаевича. А если бы он не соблаговолил? Что оставалось делать? Грозить мужицкими топорами, как это, до чрезвычайности наивно, делал Герцен в своем «Юрьевом дне»? Угроза, правда, могла подействовать наверху — там уже были напуганы; но при первой попытке реализовать угрозу, страх так же быстро прошел бы, как случилось это перед крестьянской реформой. «Общественное мнение» без рук никогда и нигде многого не могло сделать. Мужицкие руки были обоюдоострым оружием, — слишком загадочно было употребление, какое найдут нужным дать им их владельцы. Оставались руки, правда, не сильные, мозолистые, а слабые «интеллигентские», не мускулистые, зато нервные и, казалось, готовые сию же минуту пуститься в рукопашную. Уже герценовские круги апеллировали к «молодому поколению»: но как ни популярен был в среде молодежи Чернышевский [1]), оно попыталось найти собственную дорогу и выдвинуло своеобразную программу — единственную из программ тех лет, которая не осталась в области слов, а нашла себе воплощение и в поступках — вернее, в одном поступке, в одном жесте. Из движения молодежи в начале 60-х годов вышла первая проба русского революционного социализма, упершаяся, как в свой финал, в покушение Каракозова.

Либеральное течение, концентрировавшееся около кружка друзей Герцена, опиралось, как на свою социальную базу, на группу левых дворян, не позабывших еще традиций 20-х годов, и, в сущности, очень плохо понимавших «деловые» интересы того дворянского авангарда, который вел реформы 60-х годов. Этот авангард пользовался «Колоколом», когда нужно было бороться с феодальной камарильей, всегда имевшей возможность

---

[1]) «Я поступал иначе», — рассказывал бывший петербургский ген.-губернатор Суворов, нам отчасти знакомый, в разгар террора, последовавшего за каракозовским выстрелом: — «Мне доносят, что подготовляется движение. Я посылаю за Чернышевским, говорю ему: «Пожалуйста, чтобы этого не было». Он дает слово мне, и я иду к государю и докладываю, что все будет спокойно. Вот как я поступал!»

зажать рот домашней, не зарубежной, подцензурной печати. Зажать рот лондонским эмигрантам было нельзя — и камарилья боялась их, как боялась она всего, до чего не могла достать руками. Но когда дело было сделано, реформа 19 февраля. худо ли, хорошо ли, прошла, в «Колоколе» больше не было необходимости: дальнейшее можно было отстаивать и при помощи подцензурной прессы. Герцен должен был утратить влияние — или перейти на более левую позицию. Он смутно понимал это, стал нерешительно, ощупью сближаться с революционными кругами: известный эпизод с агентом «Земли и Воли» — несмотря на свое как бы социалистическое название, в сущности, демократического кружка, очень близкого по своей программе к «Великоруссу» — показывает, какими комическими недоразумениями чревато было сближение наследника декабристов с предшественниками народовольцев. Что может быть забавнее этой оценки сил тайного общества арифметически — по числу «голов», в него завербованных! Тщетно Огарев уверял своего друга, что одна такая голова, как его, Герцена, стоит больше тех трех тысяч, в существовании которых сомневался (и, вероятно, основательно сомневался) издатель «Колокола». В конце концов, он примкнул к той революции, которую мог понять: к польской. Польские революционеры, как две капли воды, были похожи на итальянских — иные из них и вышли прямо из гарибальдийских дружин: это было Герцену знакомо. Но тут уже всякие точки соприкосновения с прежней герценовской публикой были потеряны. «Манчестерские» дворяне не для того начали свои реформы, чтобы оборвать их на втором Севастополе: а поляки, сознательно вызывая вмешательство Наполеона III и Англии в русские дела, вели именно ко второму Севастополю. В довершение несчастия, и полякам-то Герцен был нужен именно из-за своего влияния на обычную публику «Колокола»: в сочувствии революционных кругов в России они и без того были уверены. Потеряв своих дворянских читателей, Герцен лишился всякой социальной опоры — политически он теперь не представлял никого. Публика Чернышевского была прочнее, — не даром «Великорусс», по признанию даже его идейных противников слева, был популярнее всей остальной литературы того времени. Но это опять была публика из зажиточных слоев общества, и в этом отношении сам лидер «великоруссцев» не составлял исключения: Чернышевский, по показанию его самого, зараба-

тывал до 10 тысяч в год (до 20 тысяч зол. на теперешние деньги), имел экипажи, лошадей и собственную дачу в аристократическом Павловске. И в его лице, таким образом — а в лице его последователей тем менее — русская революция не выходила из того круга «порядочных людей», где она основалась со времен тайных обществ двадцатых годов [1]). *Со студенчеством*, выступившим на политическую сцену в «беспорядках» 1861 года, мы попадаем в самый нижний слой русского революционного движения, ниже которого оно почти не спускалось до наших дней, впервые увидевших десятки тысяч *политических* ссыльных из крестьян и рабочих. Известный историк Ешевский — один из тех, кто сожалел, что у совета московского университета не было в руках «материальной силы» для усмирения студенчества: человек, стало быть, «объективность» которого никакому сомнению подлежать не может — оставил в своих записках великолепную характеристику студентов 60-х годов, как социальной группы. Подавляющее большинство составляли бедняки, приходившие часто пешком в Москву «из отдаленных губерний». Возвышение платы за ученье Ешевский считает ближайшим толчком к беспорядкам, а участие в них поляков объясняет тем, что «большинство поляков и уроженцев западных губерний в московском университете отличались крайней бедностью». Дело, конечно, не было так экономически-просто — и роль поляков, например, гораздо лучше объясняется тем, что это была политически наиболее развитая и наиболее революционно-возбужденная уже тогда часть академической молодежи. Но, во всяком случае, поляки и не-поляки, это были люди, не имевшие ни своих лошадей, ни дач в Павловске: это не был пролетариат в социально-экономическом смысле, но это были «пролетарии» в смысле бытовом — для которых вопрос

---

[1]) Некоторый перерыв представляли собою *петрашевцы*, для специальной характеристики которых, к сожалению, не нашлось места на этих страницах. Николаевских сыщиков очень поражала социальная пестрота последователей Петрашевского. «Обыкновенно заговоры бывают большею частью из людей однородных, более или менее близких между собою по общественному положению, — писал Липранди. — Например, в заговоре 1825 года участвовали исключительно дворяне и притом преимущественно военные. Тут же, напротив, с гвардейскими офицерами и с чиновниками министерства иностранных дел рядом находятся неокончившие курс студенты, мелкие художники, купцы, мещане, даже лавочники, торгующие табаком».

о добывании насущного хлеба был центральным вопросом существования. Аргументировать, обращаясь к ним, от опасности крестьянского восстания, как это делал «Великорусс» — было бы смешно. Прельщать их «приличной» конституцией, с «народным собранием» из помещиков и чиновников — было бы издевательством. Что с ними надо говорить иным языком, затрогивать иные мотивы — это понимал даже и Герцен, или, по крайней мере, самые живые из «герценовцев». — Прокламация к «Молодому поколению» — современница «Великорусса»: она помечена сентябрем 1861 года — еще не вполне свободна от воспоминаний о герценовском романтизме; правительство еще может «поправить беду» — «но пусть же оно не медлит»; в дворянство «мы не верим», но автор верит все же, что дворянство *могло бы* отхлопотать конституцию, если бы *захотело*. «Когда государь сказал им: «Я хочу, чтобы вы отказались от своих прав на крестьян», им следовало ответить: «Государь, мы согласны, но и вы должны отказаться от безусловной власти, вы ограничиваете нас, мы хотим ограничить вас». Это было бы последовательно, и в руках дворянства была бы конституция. Дворянство струсило, в нем недостало единодушия...». Горько было признаться, что те, на кого надеялись, не оправдали надежд: но это значило признаваться в то же время и в существовании этих надежд. Еще сильнее в «Молодом поколении» другая сторона герценовского романтизма: «Кто может утверждать, что мы должны итти путем Европы, путем какой-нибудь Саксонии или Англии, или Франции? Кто берет на себя ответственность за будущее России?.. Мы не только можем, мы должны прийти к другому. В нашей жизни лежат начала, вовсе не известные европейцам. Немцы уверяют, что мы придем к тому же, к чему пришла Европа. Это ложь. Мы можем точно прийти, если наденем на себя петлю европейских учреждений и ее экономических порядков; но мы можем прийти и к другому, если разовьем те начала, какие живут в народе». Но в этой форме герценовский романтизм был действительно интегральной частью русского утопического социализма — именуемого «народничеством». Здесь шла спайка не между декабристами и дворянскими «манчестерцами», а между Герценом и русскими революционерами 70-х годов: этой стороны Герцена удобнее поэтому коснуться, говоря о позднейшей «Земле и Воле». Там мы увидим, что этим предрассудком одинаково грешили и «либералы», и «демократы».

Беря же «Молодое поколение» в его ближайших хронологических рамках, рассматривая его как памятник революционного движения, современного «великим реформам», мы найдем в нем меньше предрассудков, нежели даже в «Великоруссе». Тот еще верил в «просвещенную часть нации». «Надо обращаться не к «обществу», а к народу», писал Михайлов в своем ответе «Великоруссу» (ответе, напечатанном Герценом с оговоркой, что редакция «Колокола» «не совершенно согласна» с его автором: напечатать это меткое возражение Чернышевскому было так приятно — но не брать же на себя ответственность за все «крайности»). «Общество никогда не пойдет взаправду против правительства и никогда не даст народу добровольно, чего тому нужно. Общество — это помещики-чиновники, у которых одни начала, одни стремления с правительством, общность интересов, общность преступлений, стало, серьезной вражды быть не может; могут быть только размолвки о том, чтобы поровнее делиться правом теснить и грабить народ». В «Молодом поколении» сквозит мысль, может быть, еще и не осознанная его автором как следует, — что в борьбе с правительством нужно опираться не на тех, кто политически недоволен, но, в сущности, сыт и благополучен, — а на тех, кто *экономически угнетен*: первые могут стать лишь «оппозицией его величества», как часто стали говорить позже, — лишь вторые могут явиться опорой революционного движения. «Надежду России составляет народная партия из молодого поколения всех сословий; затем *все угнетенные*, все, кому тяжело нести крестную ношу русского произвола — чиновники, эти несчастные фабричные канцелярий, обреченные на самое жалкое существование и зависящие вполне от личного произвола своих штатских генералов; войско, находящееся в таком же положении, и 23 миллиона освобожденного народа, которому с 19 февраля 1861 года открыта широкая дорога к европейскому пролетариату». Выше еще упоминается городское мещанство, «эта неудавшаяся русская буржуазия, выдуманная Екатериной II. И какие они tiers-état! Те же крестьяне, как и все остальные, но без земли, бедствующие, гибнущие с голоду. Им должна быть дана земля».

В этом спасении всех от всех бед при помощи *земли* — главная оригинальность *социальной программы* «Молодого поколения». «Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране; чтобы у каждой общины был свой надел, *чтобы лич-*

ных землевладельцев не существовало, чтобы землю нельзя было продавать, как продают картофель и капусту; чтобы каждый гражданин, кто бы он ни был, мог сделаться членом земледельческой общины, т.-е. или приписаться к общине существующей, или несколько граждан могли бы составить новую общину». Национализация земли еще не социализм, — но среди буржуазной демократии зачатки социализма всегда были связаны с «аграрными законами»: так было уже во дни великой французской революции. Во всяком случае, это *предельная* демократическая реформа — за ней уже некуда итти, кроме социализма. Политическая программа «Молодого поколения» не отличается большой выдержанностью, — видно, что писали ее люди неопытные. Рядом с такими радикальными требованиями, как уничтожение *всякой* цензуры, как избирательность *всех* властей, как упразднение дворянства и всяких сословных привилегий, стоят такие наивности, как «уничтожение императорской полиции» (откуда же она взялась бы при выборности всего состава управления?) или упразднение министерства императорского двора (где был бы этот двор, если бы хоть половина требований «Молодого поколения» осуществилась?). Но как первая попытка представить себе, хотя в неясных очертаниях, российскую демократию, прокламация замечательна даже и в этих частях. Последующие «молодые поколения» пошли дальше, вовсе отбросив заботу о политике, а национализацию земли развив в полную схему аграрного социализма, но они шли по тому же пути. С наивной, местами, прокламации приходится датировать начало революционного народничества: кто бы ни был автор, Михайлов или Шелгунов (вероятнее последнее), с политической борьбой в России он связан прочнее, чем кто бы то ни был из его современников, после Герцена и Чернышевского. И что всего интереснее исторически, он первый наметил не только содержание будущей революционной программы, а и основные приемы революционной тактики: *конспирация* и *пропаганда*, как методы борьбы, впервые, в неразрывном сочетании, названы им же. «Для страны, находящейся под вековым рабством, нет другого средства сбросить иго, как *тайные союзы*, — писал он, возражая против адресной кампании «Великорусса». — Назовите из целой истории хотя одно удавшееся народное движение, совершенное без них, или одно, без них удавшееся»? «Говорите чаще с народом и солдатами, —

учит он «Молодое поколение» в своей прокламации, — объясняйте им все, что мы хотим, и как легко этого достигнуть: нас — миллионы, а злодеев—сотни... Если каждый из вас убедит только десять человек, наше дело и в один год подвинется далеко...». В отдельности ни тот, ни другой совет не были новостью: тайные общества декабристов, при всей своей слабости и неорганизованности, были куда сильнее всех «кружков» 60-х годов. Но декабристы не занимались, или почти не занимались, ни агитацией, ни пропагандой. Чернышевский, как мастер и в том, и в другом, был куда сильнее Михайлова, да и всех тогдашних социалистов, в кавычках и без оных: его журнальные статьи сохраняют свое пропагандистское значение доселе, и наша нелегальная литература знает мало агитационных произведений такого совершенства, как прокламация «К барским крестьянам». Но он рассчитывал действовать исключительно массовыми, притом, по возможности, легальными средствами: адрес «Великорусса» был таков, что его действительно можно было обсуждать, не боясь полиции, в клубах и на журфиксах, за карточным столом и вокруг самовара, — как он сам советовал. Идею конспиративного общества для пропаганды мы впервые находим в «Молодом поколении», — оно первое наметило форму, не изжитую русским революционным движением до последних дней.

Молодое поколение — русское студенчество начала шестидесятых годов — представляло собою в 1861 году очень благодарную почву. Феодальная камарилья, которая тоже обратила на него свое внимание и по-своему хотела «повлиять» на него, как и часто после, вела блестящую агитацию в пользу революционеров. Она не нашла ничего остроумнее, как поставить во главе русских университетов, в качестве министра народного просвещения, свирепого и тупоумного ханжу, гр. Путятина. Моряк по профессии, к своей «просветительной» деятельности он готовился на корабле николаевских времен, где ничего не стоило пожертвовать жизнью нескольких матросов, чтобы поставить паруса двумя минутами раньше, чем у других. Фанатический поклонник православной церкви, он в одном отношении предпочитал ей католическую: там был «авторитет», был папа, которого, как капитана на корабле, никто не смеет ослушаться. Он долго жил в Англии, женился на англичанке и очень любил английскую морскую дисциплину; кроме флота, он находил в Англии и еще нечто

достойное подражания — английские университеты, с их аристократическим строем и той же дисциплиной: более ничего в Англии он не заметил. Должно быть, его разговоры о дисциплине и университетах в Англии и дали ему в Петербурге репутацию знатока университетских дел. Он сейчас же начал заводить дисциплину и «аристократизм», — последний самым простым из всех способов: сразу, без всякого предупреждения, повысив плату за ученье. Освобождение от платы допускалось только в виде редкого исключения: в московском университете, где раньше освобождалось от платы 150 — 200 человек, по новым правилам этой льготой могло воспользоваться лишь 18! Без взноса денег не принимали даже прошения о поступлении в университет, хотя повышенная плата была введена совершенно внезапно. «Рязанские семинаристы, пришедшие пешком в Москву на экзамен, — рассказывает Ешевский, — не имея возможности не только держать его, но и подать просьбу, жили в Москве чуть не милостыней день за день, потому что им не с чем было возвратиться домой». Счастливцы, попавшие в университет, оказывались опутанными сетью мелких полицейских «правил», преследовавших ту великую цель, чтобы в университете «дисциплина» была не хуже, чем на николаевском корабле. Результатом были волнения осенью 1861 года, в Петербурге дошедшие до вмешательства вооруженной силы и заключения нескольких сот студентов в Петропавловскую крепость. Капитана университетского корабля этот шквал унес за борт, но волны долго не могли улечься, в сущности до полного штиля николаевских времен дело уже никогда снова не доходило. В 1861 году русское студенчество получило политическое крещение, и именно с тех пор «студент» в устах черносотенной толпы стало синонимом «неблагонадежного». Немудрено, что, когда весною следующего года в Петербурге произошло под ряд несколько очень крупных пожаров, «общественное мнение» немедленно приписало их студентам. Есть все основания думать, что такое убеждение было созданием не одной только стихийной силы, с которою сами боги боролись тщетно, — человеческой глупости, — но что природе тут помогло искусство. Тогдашний директор департамента полиции, гр. Толстой, прямо признается в своих записках, что правительство, в лице министра внутренних дел Валуева, »воспользовалось этим обстоятельством (пожарами), чтобы восстановить свой авторитет, столь сильно поколебленный в послед-

нее время» [1]). Если использование пожаров с целью поднятия правительственного авторитета не было доведено до конца, то, по уверению Толстого, лишь потому, что инициатива Валуева не была достаточно оценена, так что в конце концов он добился только усиления петербургской полиции гвардейскими солдатами, да экстренной ассигновки в 300.000 рублей. Но это были, так сказать, организационные результаты политики Валуева, психологический же эффект ее был гораздо полнее: чуть не все «образованные классы», от светской дамы, писавшей тверскому архиерею, что студенты собираются перерезать всех дворян за их преданность престолу, до профессора Кавелина, были в разной степени убеждены, что пожары не обошлись без участия «революционеров». И раньше некрепкая связь «просвещенной части нации» с революцией была прорвана окончательно, и последний удар нанесла ей сама революционная молодежь, как раз в это самое время выступившая впервые с манифестом уже совершенно социалистического характера. То была знаменитая прокламация «Молодая Россия». Нам теперь крайне трудно объективно отнестись к этому произведению, — так оно юно, и в своей юности — не побоимся употребить это слово — нелепо. Теперь не только студенты, а и гимназисты наверно сумели бы написать что-нибудь гораздо более толковое и последовательное. Но теперь столько трафаретов, готовых формул, отштампованных схем — только выбирай. «Молодая Россия» была *первой* попыткой русской социалистической молодежи формулировать свои требования и свои надежды. С иностранной литературой ее авторы, повидимому, вовсе не были знакомы, никаких следов того, чтобы они читали, например, «Коммунистический Манифест», не заметно: им поневоле приходилось быть вполне оригинальными. Притом надо было торопиться: время, по их представлению, не терпело, да и места в их распоряжении было немного; в одной прокламации нужно было высказать все — дать и критику настоящего, и программу будущего, и способы осуществления этой программы. «Волнуясь и спеша», «Молодая Россия» громоздит в одну гигантскую кучу весь «старый порядок». «В современном общественном строе... все ложно, все нелепо, от религии до семьи, ячейки общества, ни одно из оснований которой не выдерживает даже поверхностной критики,

---

[1]) Цитаты см. у *Барсукова*, цит. соч., XIX, стр. 133.

от узаконения торговли, этого организованного воровства, и до признания за разумное положение работника, постоянно истощаемого работою, от которой получает выгоды не он, а капиталист; женщины, лишенной всех политических прав и поставленной наравне с животными» (!). При такой спешке, — читатели заметили, что в последней фразе, о женщине, нет ни подлежащего, ни сказуемого, — что мудреного, если в перечне практических требований «Молодой России» мы находим невообразимую чехарду, где рядом стоят уничтожение брака и уничтожение монастырей, «увеличение в больших размерах жалованья войску» и замена этого войска «национальной гвардией». Но мы обнаружили бы большое легкомыслие, если бы только посмеялись над этим ученическим произведением и отошли прочь. Историки литературы не гнушаются ученическими стихотворениями Пушкина, они в них находят зародыши мотивов, игравших впоследствии в творчестве Пушкина серьезную роль. В «Молодой России» впервые, после Пестеля и его товарищей, — а печатно вообще впервые на Руси, — произнесено слово «республика». Нужно оценить, какой подъем настроения предполагало это слово в те дни, когда даже Бакунин на «царскую доброту» возлагал по крайней мере половину своих надежд... В ней впервые поставлены вопросы о *прогрессивном подоходном налоге*, о даровом обучении в школах всех типов, о *замене постоянной армии милицией*, *о полном и безусловном равноправии* женщин. По части национализации земли и выборности всего чиновничества нечего было прибавить уже к прокламации Шелгунова: тут «Молодая Россия» только повторяет «Молодое поколение». Но она делает еще шаг дальше по направлению к социализму, по крайней мере, субъективно, в своем понимании «социализма». «Мы требуем заведения общественных фабрик, управлять которыми должны лица, выбранные от общества, обязанные по истечении известного срока давать ему отчет; требуем заведения общественных лавок, в которых продавались бы товары по той цене, которой они действительно стоят, а не по той, которую заблагорассудится назначить торговцу для своего скорейшего обогащения». Кооперативные мастерские и кооперативные лавки еще не социализм, конечно, но давно ли их перестали смешивать с социализмом?

Уже своим *содержанием* эти требования должны были показаться до-нельзя дикими не одним темным черносотенцам,

монахам и светским дамам, а и многим из читателей Герцена. Но что окончательно должно было привести последних в ужас, — это тот *способ*, каким «Молодая Россия» надеялась провести свои требования в жизнь. И Герцен, и Чернышевский не прочь были поиграть на идее народного восстания [1]). Но и у того, и у другого эта неприятная вещь рисовалась как отдаленная перспектива; в их читателях она вызывала трепет, скорее приятный, как у людей, которые смотрят на далекий пожар: до нас, слава богу, не дойдет. Читая «Молодую Россию», они должны были испытывать то же, что почувствовали бы люди, имеющие несчастие жить рядом с пороховым погребом, видя, как какие-то молодцы с горящими папиросами в зубах подваливают к погребу кучи соломы. Люди обсуждали вопрос — подавать адрес, или нет (а вдруг сошлют?), а тут им говорят, что единственный выход из настоящего положения «революция, революция кровавая и неумолимая — революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка». «Прольется река крови, погибнут, может быть, и невинные жертвы...». Нет, это уж что же такое! — должен был воскликнуть самый либеральный помещик, вполне согласный, что адрес подать нужно, и готовый даже забастовать в подкрепление своих требований (тверские дворяне в 1860 году, после столкновения с правительством, отказались производить выборы в губернские должности). Как силен был вопль, поднявшийся из этой либеральной среды, показывает лучше всего тот факт, что Бакунин, и здесь представлявший собою эхо редакции «Колокола», нашел нужным, самым категорическим образом, отмежеваться от «Молодой России». «Редакторов «Молодой России» я упрекаю в двух серьезных преступлениях», писал он в той же, цитированной уже нами прокламации. «Во-первых, в безумном и в истинно доктринерском пренебрежении к народу; а во-вторых,

[1]) «Мы еще верим в вас, вы дали залоги (Герцен имеет в виду декабристов), наше сердце их не забыло, вот почему мы не обращаемся прямо к несчастным братьям нашим... чтобы сказать им: ну, братцы, к топорам теперь...» («Юрьев день»). «Мы посмотрим, какое действие произведет наше приглашение на образованные классы. Мы обращаемся к ним, как обещали. Но если мы увидим, что они не решаются действовать, — нам не останется выбора: мы должны будем действовать на простой народ... народ неудержимо поднимется летом 1863 года. Отвратить это восстание патриоты будут не в силах» («Великорусс», № 3).

в нецеремонном, бестактном и легкомысленном обращении с великим делом освобождения... Появление «Молодой России» причинило положительный вред общему делу, и виновниками вреда были люди, желавшие служить ему...». А Герцен — Герцен поспешил успокоить своих читателей, что если авторам «Молодой России» и удастся пролить чью-нибудь кровь, то это будет «их кровь — юношей-фанатиков». Во всех произведениях автора «Былого и дум» нет страницы, читать которую было бы грустнее.

Правительство, в лице Валуева, чрезвычайно быстро и ловко использовало конфликт между «буржуазией» и «революцией». Конфликт чисто-литературный, правда, но ведь и все, о чем мы рассказываем теперь, было пока литературой, а не жизнью. В жизни были лишь, не освещенные никакой идеей, волнения крестьян, чувствовавших, что их обманули, но не умевших даже разобраться, где именно обман, и ждавших спасения единственно от царя. И удары правительства обрушились на литературу: были закрыты «Русское Слово» и «Современник» [1]), арестован Чернышевский. Демократическое крыло оппозиционного движения было разбито, и пропасть между «юношами-фанатиками», с одной стороны, публикой «Колокола» — с другой, стала еще шире. Для правительства оставался вопрос, нельзя ли эту последнюю публику просто привлечь на свою сторону путем грошевых или даже чисто бумажных уступок? Практически это могло быть полезно в виду надвигавшейся, как казалось, войны с западными державами из-за Польши. С этим и связана относящаяся к весне 1863 года — разгар польского восстания — попытка «увенчать» земское здание: проект Валуева создать при государственном совете «съезд государственных гласных», из представителей губернских земств и городских дум некоторых, важнейших, городов. «Съезд» должен был явиться чем-то в роде совещания при совещании: он имел предварительно обсуждать вопросы, подлежавшие обсуждению государственного совета, в самых заседаниях которого принимали участие только 16 человек из числа «государственных гласных». Вполне возможно, что перед глазами Валуева была «конституция» Серно-Соловьевича и что он только «приспособил» ее к «традициям» русского государственного строя, совсем исключив из представи-

[1]) На 8 месяцев — окончательно их запретили в 1866 г.

тельства «мужиков» (косвенно, однако же, имевших что-то в роде голоса, ибо гласных губернских собраний выбирали, между прочим, и крестьяне, сидевшие в уездном собрании), да еще более сузив полномочия «народного собрания», и у Серно-Соловьевича не широкие. Но военная гроза прошла стороной, а «общество» задаром, без всяких конституционных подачек, обнаружило такой «патриотизм», что Александр II и его министр быстро успокоились. Когда московское дворянство спохватилось и заговорило об «увенчании здания», было уже поздно... Литературной угрозы социальной революцией оказалось достаточно, чтобы «дворянская буржуазия» надолго спрятала в карман свои конституционные проекты. Но это потому, что самые проекты были литературой, — в своей массе, дворянские манчестерцы вовсе в конституции не нуждались, как это прекрасно было объяснено Кавелиным. Не забудем, что «освобождение» далеко не было доведено до конца — выкупная операция только что начиналась. Теперь ли было ослаблять твердую руку?

ГЛАВА XVI.

Революция и реакция.

1. Социализм 70-х годов.

Через пять лет после того, как было подавлено польское восстание, «Петербург Чернышевского» стал «Петербургом кафешантанов и танцклассов»: такое впечатление произвел он на наблюдателя, видевшего русскую столицу в разгар реформ — и вернувшегося туда, после долгого отсутствия, в разгар «пореформенного» настроения. Буржуазная монархия стояла в полном цвету. «После освобождения крестьян открылись новые пути к обогащению, и по ним хлынула жадная к наживе толпа. Железные дороги строились с лихорадочной поспешностью. Помещики спешили закладывать имения в только что открытых частных банках. Недавно введенные нотариусы и адвокаты получали громаднейшие доходы. Акционерные компании росли, как грибы после дождя, и учредители богатели. Люди, которые прежде скромно жили бы в деревне на доход от ста душ, а не то на еще более скромное жалованье судейского чиновника, теперь составляли себе состояния или получали такие доходы, какие во времена крепостного права перепадали лишь крупным магнатам». В то же время «вкусы общества падали все ниже и ниже. Итальянская опера, прежде служившая радикалам форумом для демонстраций, теперь была забыта. Русскую оперу... посещали лишь немногие энтузиасты. И ту, и другую находили теперь скучной. Сливки петербургского общества валили в один пошленький театр, в котором второстепенные звезды парижских малых театров получали легко заслуженные лавры от своих поклонников — конно-гвардейцев. Публика валила смотреть «Прекрасную Елену» с Лядовой в Александринском театре, а наших великих драматургов забывали. Оффенбаховщина царила повсюду». Разочарованный Петербургом провинциал искал утешения в литературных кружках, но уте-

шения и тут было мало. «Лучшие литераторы — Чернышевский, Михайлов, Лавров — были или в ссылке, или, как Писарев, сидели в Петропавловской крепости. Другие, мрачно смотревшие на действительность, изменили своим убеждениям и теперь тяготели к своего рода отеческому самодержавию. Большинство же хотя и сохранило еще свои взгляды, но стало до такой степени осторожно в выражении их, что эта осторожность почти равнялась измене...». «Чем сильнее радикальничали они десять лет тому назад, тем больше трепетали они теперь. Нас с братом очень хорошо приняли в двух-трех литературных кружках, и мы иногда бывали на их приятельских собраниях. Но как только беседа теряла фривольный характер или как только брат, обладавший большим талантом поднимать серьезные вопросы, направлял разговор на внутренние дела или же на положение Франции, которую Наполеон III вел к страшному кризису 1870 года, — так кто-нибудь из старших уже наверное прерывал разговор громким вопросом: «А кто был, господа, на последнем представлении «Прекрасной Елены»? или: «А какого вы мнения, сударь, об этом балыке»? Разговор так и обрывался» [1]).

Буржуазный либерализм, казалось, так же «крепко умер», как в свое время император Павел. «Отеческое самодержавие» давало буржуазии все, что ей было нужно: его лозунгом на берегах Невы, как и на берегах Сены, было — «обогащайтесь»! Но чего же буржуазия, *как класс*, может другого требовать? Она становится оппозиционной лишь тогда, когда существующий порядок начинает мешать обогащению, революционной — лишь тогда, когда защитники этого порядка, в черносотенном ослеплении и упрямстве, начинают прямо разорять буржуазию своими нелепо «охранительными» мерами. Правительство Александра II нельзя было обвинить ни в том, ни в другом. Оттого недоразумения этого правительства с буржуазией и кончились, как только с достаточной определенностью наметился круг реформ, *необходимых* для того, чтобы процесс обогащения протекал беспрепятственно. Не все желали довольствоваться этим необходимым минимумом, — находились охотники из категории

[1]) «Записки» *Кропоткина*. Мы привели эти выдержки лишь как образчики *настроения*, почему и не находим нужным исправлять фактические неточности. Писарев, например, был тогда не «в крепости», а уже на том свете.

необходимости перейти в категорию возможности, но этим скоро указали их место. До последнего времени довольно прочно держалась иллюзия, будто под самый конец царствования Александра II положение снова изменилось; будто буржуазная оппозиция в конце 70-х годов снова подняла голову — притом даже более дерзко и заносчиво, чем даже в начале 60-х. Документов, подтверждавших такое мнение, не было; а поскольку документы были, они указывали на нечто такое, к чему крайне трудно применить термин «оппозиция». Но, за недостатком документов, были легенды, семейные предания, «рассказы современников», видевших, будто бы, что-то крупное и значительное. Под страхом обнаружить недостаток «объективности» приходилось им верить. Но — увы! — пришел исследователь, в «объективности» которого не может быть никакого сомнения, — достаточно сказать, что его работа появилась на страницах «Русской Мысли». Пришел, бестрепетной рукой поднял завесу — и показал почтеннейшей публике, что за этой завесой ничего нет. «Земское движение» 70 — 80-х годов приходится причислить к разряду таких же мифов, какими давно стали бескорыстие помещиков 19 февраля или необыкновенное мужество и стойкость декабристов на допросах. Для всех этих мифов были, конечно, известные исторические основания: *некоторые* декабристы, например, действительно держали себя порядочно даже перед лицом Николая Павловича. Некоторые, очень немногие, либералы времен Лорис-Меликова действительно добивались конституции, но их было чуть ли не еще меньше, чем в годы, предшествовавшие польскому восстанию, и влияние их на своих собратий было совершенно ничтожно. Выступление тверского дворянства в 1862 году по силе и яркости далеко оставляет за собой все, что на самом деле происходило в некоторых земских собраниях конца 70-х или начала 80-х годов. В либеральной журналистике этих лет мы тщетно стали бы искать что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее энергический стиль Чернышевского. Тихим голосом скромно просили люди о чрезвычайно скромных вещах — притом очень немногие люди, при гробовом молчании большинства. Перешагнуть через такой «протест» было гораздо легче, нежели перешагнуть через дворянские адреса 60-х годов: правительству Александра III понадобилось, для борьбы с «оппозицией», куда меньше гражданского мужества, нежели правительству его отца. В этом — ключ и ко всей трагедии народо-

вольчества. При нормальном ходе вещей, народовольцы составили бы крайнее левое крыло «общественного движения». Это левое крыло могло быть разбито, но феодальной реакции пришлось бы купить свою победу ценою уступок центру; так и было, приблизительно, двадцать пять лет спустя. У движения, достигшего кульминационной точки в 1881 году, только и было что левое крыло, состоявшее притом тоже из немногих единиц, беспримерной духовной силы, но и беспримерной материальной слабости. «Дерзость» этой кучки так напугала правящую феодальную группу, что та сгоряча двинула в поле всю свою тяжелую артиллерию, но после первых же залпов она увидела, что стрелять не по ком. Победа над революцией недешево досталась *лицам*, — пал не один Александр II, — но она никогда не доставалась так дешево *порядку*. Оттого феодальный режим 80-х годов и вышел из испытания столь свежим и бодрым, каким он ни разу не был после смерти Николая Павловича.

Попытки революции, сначала социалистической, потом демократической, составляют все содержание русской истории 70-х годов, если вычесть из этого содержания внешнюю политику да «правительственные мероприятия», важнейшие из которых, впрочем, были только реакцией на те же самые попытки. Следующее же десятилетие точно так же сплошь заполнено «реакцией» — контр-реформами Александра III. Название «революция и реакция» вполне исчерпывает, таким образом, основное содержание этого периода нашей истории. И у того, и у другого явления была, конечно, своя материальная подкладка — свой «социальный базис», делавший данное явление объективно необходимым. Но этот базис был, если так можно выразиться, в обоих случаях, «революции» и «реакции», *различной ширины*. В то время как экономических условий, определивших реакцию дней Александра III, приходится искать в тогдашнем, 80-х годов, положении мирового хозяйства, русский социализм 70-х годов являлся отражением интересов и миросозерцания очень небольшой и экономически совершенно невлиятельной общественной группы. Этим объясняется относительная степень прочности «революции» и «реакции». В то время как результаты последней откристаллизовались необыкновенно твердо, — перед земскими начальниками мы и после 1905 г. стояли, как перед глухой стеной, — революционные организации были историческими эфемеридами, растаявшими чрезвычайно быстро и вновь

возродившимися только благодаря факту, отчасти ими непредвиденному, отчасти ими с негодованием отвергавшемуся, как нечто безусловно «отрицательное», — развитию в России промышленного капитализма в 80 — 90-х годах. С чисто теоретической точки зрения, изучение этих эфемерид, может быть, дает и не бог весть какие важные результаты, и для позднейших социологов история русской деревни с 60-х по 90-е годы, например, будет во много раз поучительнее, нежели история тех студенческих кружков, которые в этот период времени создали, пропагандировали и отчасти даже собственными силами пытались осуществить своеобразный российский «социализм». Но для историка недавних событий *практическое* значение этих последних может перевесить их теоретический интерес; а каково было практическое значение революционного народничества, читатель без труда оценит, если вспомнит хотя бы то только, что первая русская революция, несмотря на официальный марксизм большинства руководивших ею групп, прошла под народническими лозунгами. Изучая народнический социализм, мы изучаем свое собственное прошлое, которое нужно же знать, независимо от того, интересно оно для будущих социологов или нет. Последующие страницы не претендуют, само собою разумеется, на изображение генезиса революционного народничества в сколько-нибудь полном виде: такому полному изображению место не в общем историческом курсе, а в специальной работе. Лишь потому, что таких специальных работ пока еще нет (полемической литературы мы не считаем, само собою разумеется), приходится не ограничиваться общей характеристикой, опирающейся на всеми признанные, бесспорные данные, а привести несколько подлинных цитат, подбор которых — это можно заранее предсказать — многим читателям и критикам настоящей книги покажется «односторонним». Что же делать! Всякий историк изображает ту сторону прошлого, которая ему самому виднее; пусть другие изобразят другие стороны — в целом и получится нечто «разностороннее».

Основные идеи социализма приняты русской литературой целиком с Запада, выяснять поэтому их генезис значило бы повторять всем давно надоевшие трюизмы. Но как только идеи были усвоены, немедленно же явился вопрос: насколько можно рассчитывать на их реализацию в *русских* условиях? В Западной Европе социализм явился логическим итогом длинной цепи

развития, которой русский народ не прошел, которую ему еще предстояло, повидимому, пройти. С все упрощающей классовой точки зрения (которую и не любят больше за ее простоту: с одной стороны, для фантазии простора не остается, с другой, — и это главное — иллюзиям места нет, утешиться нечем) ответить и на этот вопрос нетрудно: судьбы социализма связаны с судьбами определенного общественного класса — рабочего класса пролетариата. Есть в России пролетариат или нет его? Ежели есть, есть и почва для социализма или будет в более или менее скором времени — притом тем скорее, чем быстрее будет расти пролетариат. Если нет, ни социалистической теории, ни, тем более, практических попыток ее осуществления — в масштабе, больше комнатного — ждать нечего. Но для литературы 60-х годов дело стояло совершенно иначе. Может быть, смутно сознавая, что политической роли пролетариата России ждать еще долго — может быть, значит, руководимая смутным инстинктом самосохранения, русская социалистическая литература совершенно устраняла пролетариат из своих расчетов. Не только для Чернышевского, но еще и для Лаврова пролетариат — «язва», одно из явлений «вырождения» [1]). Западная Европа уже имеет эту «язву вырождающегося или волнующегося пролетариата»: европейцам от нее не отвертеться. Но зачем же нам брать на себя все чужие язвы? Нужно ли и нам переболеть этою болезнью пролетариата, чтобы войти в царство небесное социалистического строя? Этот вопрос — не существующий для марксизма — был кардинальным вопросом для Чернышевского и Герцена. Первого, с его громадным теоретическим чутьем, вопрос прямо бесил. Та концентрированная злость, которою проникнута каждая строчка «Критики философских предубеждений против общинного владения землею», показывает, чего стоили Чернышевскому те логические прыжки, на какие осуждала его безвыходность положения. Возможен ли социализм в России сейчас, в 1860 году? Инстинктом Чернышевский понимал, что *нет*, — вот почему *на практике*, как мы видели, патриарх народничества был буржуазным демократом, не более. Но по долгу совести он считал себя обязанным презирать буржуазный демократизм, как нечто, теоретически давно преодоленное — мысленно уже давным давно осуществившееся, ставшее банальностью. Теоретически нужно

[1]) «Исторические письма», изд. 1906 г., стр. 301, ср. 353.

было обосновать неизбежность социализма для России, — России 1860 года! И с яростью, направленною, формально, против его тупоголовых противников, фактически — против нелепости задачи, которую навязывало ему его положение русского радикального публициста времен крестьянской реформы, он «долбит» в голову своего читателя истины, которые — увы! — ему самому едва ли казались такими, когда он оставался наедине с самим собою. «Согласитесь, — иронизирует он, — редко приходилось вам испытывать такую страшную скуку, какая производится чтением нашей статьи, весь характер которой выражается такою формулой: бе-а — ба, бе-а — ба, баба». Но поглядите, какою роскошью аргументов обставляет он свои «трюизмы», — бросаясь от биологии к лингвистике, от истории — к химии, от политической экономии — к технике «ручного оружия». Не слишком ли это много, чтобы доказать, что бе-а — ба. И действительно, присмотревшись к его двум основным заключениям, резюмирующим всю статью, вы видите, что тут всего менее приложим термин «трюизм». Вот эти два заключения в их подлинном виде: «1) Высшая ступень развития по форме совпадает с его началом. 2) Под влиянием высокого развития, которого известное явление общественной жизни достигло у передовых народов, это явление может у других народов развиваться очень быстро, подниматься с низшей ступени прямо на высшую, минуя средние логические моменты». У русского народа есть поземельная община — остаток древнейшего коммунизма: он, поэтому, ближе к коммунизму позднейшему, нежели народ, утративший общину. Притом развитие русского народа пойдет несравненно быстрее, чем шло развитие Западной Европы: «история, как бабушка, страшно любит младших внучат». Стало быть, бе-а — ба — у нас коммунизм не только возможен, но *более* возможен, чем в Западной Европе.

Ход аргументации Герцена настолько похож (оставляя в стороне *художественный* момент), что невольно является мысль о взаимодействии (при этом нужно заметить, что Герцен писал *позже* Чернышевского). «Ученый друг приходивший возмущать покой моей берлоги, принимает, как ты видел, *за несомненный факт, за неизменный физиологический закон*, что если *русские* принадлежат к *европейской семье*, то им предстоит та же дорога и то же развитие, которое совершено романо-германскими народами; но в своде физиологических законов такого § не имеется...

«Общий план развития допускает бесконечное число вариаций непредвидимых, как хобот слона, как горб верблюда. Чего и чего не развилось на одну тему: собаки, волки, лисицы, гончие, борзые, водолазы, моськи... Общее происхождение нисколько не обусловливает одинаковость биографий. Каин и Авель, Ромул и Рем были родные братья, а какие разные карьеры сделали! То же самое во всех нравственных родах или общениях. Все христианское имеет сходные черты в устройстве семьи, церкви и проч., но нельзя сказать, чтоб судьба английских протестантов была очень сходна с судьбой абиссинских христиан, или чтоб очень католическая австрийская армия была похожа на чрезвычайно православных монахов Афонской горы. Что утка не дышит жабрами, это верно; еще вернее, что кварц не летает, как колибри. Впрочем, ты верно знаешь, а ученый друг не знает, что в жизни утки была минута колебания, когда аорта не загибалась своим стержнем вниз, а ветвилась с притязанием на жабры, но, имея физиологическое предание, привычку и возможность развиться, утка не останавливалась на беднейшем строении органа дыхания и переходила к легким.

«Это значит просто-напросто, что рыба *приладилась* к условиям водяной жизни и далее жабр не идет, а утка идет. Но почему же это рыбье дыхание должно сдунуть мое воззрение, этого я не понимаю. Мне кажется, что оно, напротив, объясняет его. Genus «europeum» есть народы, состарившиеся без полного развития мещанства (кельты, некоторые части Испании, южной Италии и пр.), есть другие, которым мещанство так идет, как вода жабрам, — отчего же не быть и такому народу, для которого мещанство будет переходным, неудовлетворительным состоянием, как жабры для утки» [1]).

Физиология тут не при чем, конечно, — но, помимо этой отрыжки сороковых годов, в аргументации Герцена много верного. Не уходя далеко от русской истории, мы найдем случаи, когда явления, необходимые в цепи развития, оставались у одного народа в зачаточной, едва заметной форме, тогда как в жизни других народов те же явления играли выдающуюся роль. Так было у нас с *городским ремеслом*. Всюду обрабатывающая промышленность, в промежутке между деревенским ремеслом и мануфактурой, прошла эту стадию. Самые яркие страницы

---

[1]) «Концы и начала».

в истории западно-европейского города связаны с расцветом именно цехового ремесла. У нас в России эта стадия тоже была — но она едва наметилась. Наши «цеховые» всего менее могли когда бы то ни было притязать на политическую роль. От деревенского кустаря мы сразу перешли даже не к мануфактуре, этой зачаточной форме крупного производства, а прямо к фабрике. Правильно и то, что одни и те же законы развития в разной обстановке дают эффекты, мало похожие друг на друга: в капиталистической Англии крестьянство исчезло, как социальная категория, в не менее капиталистической Германии то же крестьянство не обнаруживает никакой тенденции к «вымиранию». Все это так, — но к вопросу, из-за которого Герцен поднял на ноги физиологию, а Чернышевский все науки об органической и неорганической природе, все это имеет весьма слабое отношение. Теоретически, в отвлеченной форме, вполне можно было бы допустить, что капитализм — «мещанство» Герцена — только «скользнет» по России, как скользнуло по ней городское ремесло, и сейчас же уступит место социализму; может быть, когда-нибудь с какими-нибудь европейскими колониями в Африке так и будет. Но для того, чтобы предсказывать подобное будущее для России, у Герцена и у Чернышевского не было под руками никаких конкретных данных. И тот, и другой опирались на существование в России *поземельной общины*. Но и тот, и другой должны были знать, — ибо уже утопическими соцалистами 30—40-х годов это было поставлено твердо, — что *социализм* есть известная *организация производства*. Где же, однако, в русской сельской общине социалистическая организация производства или хотя бы зачатки ее? Когда позднейшие социалисты-народники, в 70-х годах, поняли это, они стали искать таких зачатков: но должны были признаться, что их *почти нет*. «Возможность общинной обработки земли доказывается тем, что, даже при теперешних условиях, эта общинная обработка существует в некоторых отдельных общинах, — писала «Земля и Воля» в своей программной статье [1]). — *Факты эти крайне немногочисленны*, но для доказательства того, что *общинное владение* землею, как оно практикуется в первобытной общине, *нисколько не мешает коллективной обработке земли*, достаточно было бы и одного факта, с тем условием, конечно, чтобы

[1]) В № 3, от 15 января 1879 года.

он не был создан искусственно». Итак, *из ручательства,* что социализм в России возможен, сельская община спустилась до уровня факта, *не мешающего* развитию социализма. Ну, а разве крупная капиталистическая промышленность, технически, этому мешает? Наоборот, технически она подготовляет социализм. Подготовляет, конечно, в гораздо большей степени, нежели чрезвычайно индивидуалистическая техника крестьянского земледелия. Этот экономический индивидуализм русского крестьянина чрезвычайно поражал народников, которым приходилось сталкиваться с крестьянским хозяйством на практике. «В моих письмах я уже много раз указывал на сильное развитие индивидуализма в крестьянах, на их обособленность в действиях, на неумение, нежелание, лучше сказать, соединяться в хозяйстве для общего дела», говорит Энгельгардт [1]). «Отец с сыном, брат с братом при рытье канавы делят ее на участки, и каждый отдельно гонит свой участок, — писал он же в другом месте. — Даже родные сестры, не говоря уже о женах родных братьев, мнут лен в раздел, каждая на себя, и не согласятся класть лен в одну кучу и вешать вместе, а заработную плату делить пополам, потому что сила и ловкость не равная, да и стараться так не будут и, *работая вместе, наминать будут менее, чем работая каждая порознь.* Только мать с дочерью иногда вешают вместе, но и это лишь тогда, когда мать работает на дочь, и все деньги идут дочери».

Но неужели, спросит читатель, в основе народнического социализма лежит просто *теоретическая ошибка* — ошибка Герцена, Чернышевского, Лаврова и их эпигонов? Конечно, нет; давать такое объяснение значило бы обнаружить наивность во много раз большую, чем наивность самого народнического социализма. Индивидуальные ошибки могут решить судьбу отдельных личностей — самое большее, отдельных эпизодов борьбы; но если какое-нибудь течение держится годами и десятилетиями, переходя от поколения к поколению, очевидно, есть какие-то неиндивидуальные причины, его поддерживающие. При каких условиях можно было признать за социализм, хотя бы за зачатки социализма, такой строй, где нет социализации производства, а есть только социализация владения: где погашена только юридическая категория собственности, но не экономическая

---

[1]) «Письма из деревни», стр. 320.

категория индивидуального хозяйства? Очевидно, при одном основном условии: что та общественная группа, среди которой вербовались сторонники народнического социализма, характеризовалась обоими этими признаками — слабым развитием чувства собственности рядом с полным отсутствием какой бы то ни было производительной организации. Этой группой не могли быть рабочие. Когда социализм, к концу 70-х годов, проник в среду русского рабочего класса, тот сразу же провинился, как мы увидим, во-первых, тем, что обратил слишком мало внимания на великое значение сельской общины, во-вторых, тем, что обнаружил слишком большую наклонность подражать западноевропейскому, промышленному, а не аграрному социализму. Ею не могли быть и крестьяне — как мы сейчас видели, вовсе не социалисты, а индивидуалисты чистой воды. Среди рабочих народнический социализм нашел очень мало адептов, весьма не правоверных, притом: среди крестьян он, кажется, не нашел ни одного, — в политических процессах 70-х годов фигурирует не один крестьянин по паспорту, но, кажется, нет ни одного «земледельца» по роду своих занятий; все политические «крестьяне» тех дней или рабочие, или полуинтеллигенты [1]). Но была общественная группа, где чувство собственности было развито необычайно мало, где этого чувства прямо стыдились и стремились отделаться от последних его следов и где в то же время «производства» никакого не было, почему производственные отношения не только не стояли в центре внимания, но легко от этого внимания вовсе ускользали. «Мы были бедны и едва-едва перебивались; но в то время студент почти гордился бедностью, — пишет Дебагорий-Мокриевич о быте киевских студентов конца 60-х годов. — Бедность была некоторым образом в моде, составляла своего рода шик. Если у кого даже и имелись средства, то это не показывалось, так как на это смотрели нехорошо. Простая, нещегольская одежда являлась признаком студенческой порядочности; над франтами смеялись; так, помню, подняли на-смех одного, явившегося в студенческую столовую с кольцами на руках. Впрочем, наши франты держались в стороне и не посещали собраний, студенческая масса в большинстве состояла из сыновей мелких помещиков, чиновников, священ-

---

[1]) Мы не считаем, разумеется, чигиринского дела: крестьян там сколько угодно, конечно, — но где же там социализм?

ников. Общая нужда вызывала потребность в организации касс и кухмистерских, вызывала сожительство товарищескими кружками и приучала людей делиться друг с другом последними грошами. Таким образом, *студенческая среда представляла как нельзя более благоприятный элемент для распространения социалистического учения*, так как, очевидно, усвоить учение, отвергающее личную собственность, легче было тому, у кого собственности не было и кто обладал к тому же соответственным умственным и нравственным развитием. Отсутствие денежных счетов и товарищеский дележ друг с другом, нередко имевшие место в студенческих кружках, не только сохранились впоследствии, но еще шире вошли в употребление в наших революционных кружках и организациях» [1]). Нужно прибавить, что и социальный состав этих кружков и организаций был чрезвычайно близок к намечаемому автором социальному составу студенчества: в «процессе 50» двадцать два из обвиняемых были дети дворян и чиновников (т.-е. 44%); в «процессе 193-х»—97, (т.-е. более 50%). А борьба за «кассы и кухмистерские» была в буквальном смысле слова исходной точкой всего революционного движения. Прологом этого последнего были студенческие волнения 1868 года. Воззвание «К обществу», выпущенное тогда петербургскими студентами, не даром издателями сочинений Бакунина напечатано во главе «нечаевских» документов. А первый пункт этого воззвания гласит: «Мы, студенты Медицинской академии, Университета, Технологического Института, Земледельческой академии, желаем: 1) чтобы нам предоставлено было иметь кассу, т.-е. помогать нашим бедным товарищам...».

Всякая общественная группа вырабатывает философию общественного процесса, отвечающую объективным условиям существования этой группы. Рабочему классу как нельзя больше подходит материалистическое понимание истории, — «экономический материализм» каждый пролетарий чувствует непосредственно на своей коже. «Своего рода евангелием молодежи» 70-х годов, по словам одного из ее представителей, были «Исторические письма» Миртова (Лаврова). На первый взгляд может показаться, что Лавров чрезвычайно близок к историческому материализму. «При рассмотрении взаимодействия экономических и политических потребностей в истории, — говорит он, —

---

[1]) «Воспоминания», русск. издание, стр. 37—38.

научное решение вопроса склоняется к господству первых над последними, и всюду, где, при помощи исторического материала, можно разглядеть с большею подробностью истинное течение фактов, приходится сказать, что политическая борьба и ее фазисы имели основанием борьбу экономическую; что решение политического вопроса в ту или другую сторону обусловливалось экономическими силами; что эти экономические силы создавали каждый раз удобные для себя политические формы, затем искали себе теоретическую идеализацию в соответствующих религиозных верованиях и философских миросозерцаниях, эстетическую идеализацию — в соответствующих художественных формах, нравственную идеализацию — в прославлении героев, защищавших их начала» [1]). Но если бы книга Лаврова — вся сплошь написанная тем же стилем, как и выписанный нами отрывок — развивала такую идею, она бы, конечно, не сделалась ничьим «евангелием», а сам Лавров стал бы не «революции оплотом», как гласила подпись на известной карикатуре, а лишь одним из полузабытых предшественников позднейшего русского марксизма. Среда, усвоившая «Исторические письма», как евангелие, весьма мало зависела от экономических условий — как ни кажется парадоксальным это утверждение, принимая во внимание неоспоримую бедность большинства принадлежащих к этой среде. Объективное общественное положение человека — а, стало быть, и его идеология — определяются не тем, *сколько* имеет и приобретает человек, а тем, *как* он приобретает то, что имеет. Драгоманов, как и вся наша интеллигенция, привыкший выводить социализм из бедности, был крайне поражен, когда увидел — в Берлине — что «о социальном вопросе говорят не самые бедные, а самые богатые (и, конечно, самые образованные) рабочие [2]). Первыми русскими социалистами-рабочими были заводские мастеровые Петербурга — материально самый обеспеченный разряд русского пролетариата. Товарищи Дебагория-Мокриевича «были бедны и едва-едва перебивались», но то немногое, что у них было, они или получали готовым из дому, или зарабатывали индивидуальными усилиями в области, не имевшей ничего общего с экономикой (уроками, перепиской и т. д.). Нет ничего индивидуалистичнее интеллигентской работы: ни в какой области *личность* не чувствует себя в такой сте-

[1]) 3-е издание, стр. 345.

[2]) «Автобиография». «Былое», 1906, июнь.

пени хозяином всего «процесса производства», с начала и до конца. Учение о «критически мыслящей личности», как основном факторе прогресса, весьма мало гармонирует с учением о преобладании экономических отношений в истории, но тогда никто не думал ставить Лаврову на счет это противоречие. «Как ни мал прогресс человечества, но и то, что есть, лежит исключительно в критически мыслящих личностях: без них он безусловно невозможен; без их стремления распространить его он крайне непрочен». Но студент или сам учится, или учит других — и первое, и второе обыкновенно в довольно тесном кругу: обучение, высоким стилем говоря «проповедь», является для него наиболее обычным способом воздействия людей друг на друга. «Проповедь истины и справедливости шла от убежденных и понимающих единиц в небольшой кружок людей», учили «Исторические письма». Интеллигенция составляет ничтожное меньшинство народа — это не беда: «большинство может развиваться лишь действием на него более развитого меньшинства». Нигде моральный элемент не играет такой роли, как в *личной* деятельности. Говорить о «безнравственности капитализма» почти так же странно, как о «злодеяниях» мессинского землетрясения, но свои собственные индивидуальные поступки всякий расценивает по моральному масштабу — они всегда «хорошие» или «дурные». «Проповедь» для «меньшинства» не только историческая необходимость, это — его нравственный долг. «Член небольшой группы меньшинства, видящий свое наслаждение в собственном развитии, в отыскании истины и в воплощении справедливости, сказал бы себе: каждое удобство жизни, которым я пользуюсь, каждая мысль, которую я имею досуг приобрести или выработать, куплена кровью, страданиями или трудом миллионов. Прошедшее я исправить не могу, и как ни дорого оплачено мое развитие, я от него отказаться не могу: оно именно и составляет идеал, возбуждающий меня к деятельности. Лишь бессильный и неразвитой человек падает под ответственностью, на нем лежащей, и бежит от зла в Фиваиду или в могилу. Это надо исправить, насколько можно, а это можно сделать лишь в жизни. Зло надо зажить. Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и будущем» [1]). Современники в один голос говорят, что ничем

[1]) «Исторические письма», стр. 93.

так сильно не действовали «Исторические письма» на молодежь, как этим учением о *долге интеллигенции перед народом*. Люди питались селедкою с черным хлебом (при чем и селедка уже возбуждала споры: все-таки «предмет роскоши»), жили в обстановке неизмеримо худшей, чем зажиточный крестьянин или хорошо оплачиваемый рабочий, — и мучились мыслью, что эти «удобства жизни» куплены «страданиями миллионов». Так *свежо* можно ощущать свой моральный долг только в известном возрасте: с годами лишь редкие, исключительные люди не становятся, более или менее, циниками. К социальной характеристике социалистов-народников приходится прибавить и *возрастную:* из всех подсудимых «процесса 50» только одному уже стукнуло 30 лет — да и тот оказался к делу непричастным; 22 — 24 года были классическим возрастом. Но и тут мы не выходим за пределы все той же социальной группы: первая половина третьего десятилетия — это ведь классический возраст и для студенчества. С какого бы конца мы ни подходили, революционное движение 70-х годов отовсюду будет нам представляться как *движение учащейся молодежи*.

Первый толчок движению дали, как уже упомянуто, студенческие «волнения» зимы 1868 — 1869 г.г. «Волнения» возникли на чисто-профессиональной почве. Петербургские студенты требовали разрешения устроить кассу взаимопомощи, права сходок и невмешательства полиции в университетские дела. В Киеве «первое пробуждение и оживление студенческой среды стало замечаться осенью 68 года. Насколько помнится, дело началось с устройства кассы самопомощи и кухмистерской. Кассовая организация была составлена из кружков, представители которых в известное время собирались для выдачи пособий своим нуждавшимся членам, а также для принятия решения по разным организационным вопросам. Дела же кухмистерской решались общими собраниями, отбывавшимися в помещении кухмистерской... К этому времени, т.-е. к концу 68-го и началу 69-го года, в наш университет стали определяться исключенные за беспорядки из Петербургского университета и Медико-Хирургической академии, и этот элемент еще более оживил нашу среду. Стали зарождаться литературные кружки. В скором времени кухмистерская заняла центральное положение среди других студенческих учреждений; в кухмистерской собирались для обсуждений по всем интересовавшим студенчество вопросам... Вслед за кухмистерской и студенческой

кассой устроилась студенческая библиотека...» [1]). «Экономический» характер движения в Киеве проявился с особенной яркостью — так что даже умеренно-либеральные профессора остались им недовольны. «Я был очень доволен, что киевские студенты после долгих споров решили никаких петиций о студенческих корпоративных правах не подавать, — пишет Драгоманов: — но с сожалением смотрел, что заведенные и в Киеве тайные студенческие корпорации занялись более кассами, столовою, чем самообразованием и изучением своей страны» [2]). Может быть, это и было причиной, что в Киеве движение не вызвало непосредственных административных репрессий, — по крайней мере, оба наши автора о них не упоминают. Но из их же рассказов мы узнаем, что в других университетах преследования были: там исключали; из других источников мы знаем, что там и арестовывали, и ссылали. Все это поднимало настроение до того, что петербургские студенты говорили уже о своей готовности «скорее задохнуться в ссылках и казематах, нежели задыхаться и нравственно уродовать себя в наших академиях и университетах». С профессиональным движением студенчества происходило то, что впоследствии стало классической картиной российской рабочей стачки: усилиями администрации дело передвигалось на политическую почву. По отношению к студенчеству это было тем легче, что университетская молодежь уже с начала 60-х годов имела известные *политические традиции*. Местами мы можем проследить традицию весьма конкретно: историк саратовских кружков 70-х годов возводит начало движения к влиянию еще Чернышевского и отмечает, что группа каракозовцев, среди московского студенчества, составилась «главным образом из пензяков и саратовцев» [3]). В создании революционной традиции русского студенчества *каракозовцы* играли несомненно выдающуюся роль — и тем больше приходится пожалеть, что об этой «организации» (она так буквально и называлась) мы знаем чрезвычайно мало. Фигура самого Каракозова, с его покушением на жизнь Александра II (4 апреля 1866 года), совершенно заслонила в памяти общества его товарищей — и движение, довольно широкое, свелось к чисто личному эпизоду: как известно, това-

[1]) *Дебагорий-Мокриевич*. «Воспоминания», стр. 35 — 36.

[2]) «Автобиография».

[3]) *Н. Волков*, «Из жизни саратовских кружков». «Русская Историческая Библиотека», № 5 — перепечатано из заграничного «Былого».

рищи Каракозова, за исключением, может быть, одного, не были даже посвящены в его замысел — не только что не принимали в деле никакого активного участия. Необыкновенность события, — покушение на жизнь императора не со стороны придворных (это бывало), а со стороны одного из рядовых его подданных, — те необычайные полицейские репрессии, которые обрушились на общество в результате этого необыкновенного события и сделали «белый террор» 1866 года надолго незабываемым среди русских либералов: все это, как нельзя больше, способствовало исторической аберрации. И это, повторяем, очень жаль — ибо «каракозовщина» сама по себе исторически гораздо интереснее, нежели событие 4 апреля. Завершая собою студенчески-социалистическое движение начала 60-х годов, манифестом которого была «Молодая Россия», оно в то же время, в миниатюрном масштабе и очень элементарных формах, резюмирует все движение вообще, вплоть до «Народной Воли». Здесь мы находим, вкратце, все признаки всех этапов народнической революции: от хождения в народ и попыток кустарей реализации социализма до заговорщической тактики, террора, подготовки вооруженного восстания и цареубийства. «Объяснительная записка» по делу «Организации» — документ, составленный относительно с большой объективностью, не в пример позднейшим обвинительным актам 70-х годов — так определяет цели каракозовского общества: «возбуждение и приготовление народа путем социальной пропаганды к восстанию, требование за сим у правительства уступки, т.-е. введения социализма, и, в случае сопротивления, устройство государства на социалистических началах путем революционным, по захвате верховной власти в свои руки и ниспровержении правительства». Первой подготовительной ко всему этому мерой должно было быть сближение с народом, главным образом через посредство народной школы. «Те члены, которые обязаны были разъехаться по губерниям, как только найдут себе в одном из городов занятия, обеспечивающие их существование, или, если будут средства для открытия губернской библиотеки, должны были знакомиться с семинаристами и вообще молодыми людьми и убеждать их делаться сельскими учителями, стараться открывать различного рода ассоциации, сноситься с сельскими членами и в случае нужды помогать им деньгами и книгами. Сельские члены-учителя должны были устраивать при школах ремесленные заведения, сообразные с потребностями

местности, объяснять крестьянам, что единственное средство улучшить их положение — круговая поддержка и устройство ассоциаций». Рядом с этим «были переговоры о покупке ваточного завода в Можайском уезде для устройства его на социальных началах; было предположение об устройстве того же завода в Жиздринском уезде». Средства для этих «социалистических» предприятий думали добыть при помощи экспроприации: разговаривали об убийстве, с этою целью, одного купца и об ограблении почты. Все это были разговоры, которым обвинительный акт — все же прокурорское произведение — старается придать, конечно, большее значение, чем, вероятно, они имели в действительности. Но террористическое настроение выражалось не в одних разговорах. «Яд был у многих из членов организации, — ассказывает защитник одного из каракозовцев: — «они им запасались для принятия в случае каких-либо покушений и носили его в пуговицах». Из «Организации» выделилась особая группа, ставившая террористические акты своей ближайшей задачей — в шутку эту группу назвали «Адом»: прототип будущего «Исполнительного Комитета партии Народной Воли». Среди членов «Ада», «мортусов», обсуждался и вопрос о цареубийстве, как наиболее решительном виде манифестации, которая «расшевелит молчащую толпу». Но и это, опять-таки, были одни разговоры, — на этот раз даже без всякого «приготовления к действию». Лишь один из «мортусов» принял разговор всерьез: это был сам Каракозов. Тайком от других он поехал в Петербург и там произвел свой знаменитый выстрел. Затем последовал решительный разгром каракозовщины. Участие в этом разгроме — а может быть, и в самом покушении 4 апреля, за спиной Каракозова — провокации чувствуется довольно определенно, но положительных данных нет, как и вообще их для этого дела чрезвычайно мало [1]).

Но позвольте, скажет читатель, несколько знакомый с «литературой предмета»: как же можно считать каракозовщину, с ее экспроприаторскими вожделениями, мечтами о терроре и ядом в пуговицах, прологом социалистического движения 70-х годов, когда всякому известно, что это последнее было движением мирных «народолюбцев-пропагандистов», «в высокой степени безобидным и мечтательным» — сравнительно с которым даже выступления

[1]) См. в апрельской книжке «Былого» за 1906 г. воспоминания бывшего защитника Ишутина — фактического вождя «Организации» — Д. В. Стасова, и приложенные к этим воспоминаниям документы.

земских либералов были, пожалуй, настоящей крамолой? Кому не известно, что если эти овцы обратились в тигров, и «мирнейшие граждане земли своей» начали бросать бомбы, то в этом были виноваты исключительно жестокости начальства, доведшего своими преследованиями «самых обыкновенных культурников» до террора? Быть может, не стоило бы уделять места критике этого либерального предрассудка, — мы имеем право назвать его «либеральным», так как сами уцелевшие участники движения не находили никакой чести в том, чтобы считаться «самыми обыкновенными культурниками», и, как сейчас увидим, весьма решительно этот предрассудок опровергали, — если бы он не был воспроизведен в чрезвычайно категорической форме на страницах специального исследования о «Народной Воле», принадлежащего перу весьма компетентного автора [1]). В подтверждение старого предрассудка этот автор приводит две цитаты из защитительных речей на суде двух народовольцев, — прием, который, сам по себе, нельзя сказать, чтобы не возбуждал никаких возражений с точки зрения исторической критики. Ведь если можно характеризовать политические движения по защитительным речам, то, логически рассуждая, нельзя запретить противной стороне характеризовать их по обвинительным актам — а тогда народнический социализм нам придется признать «походом против государства и цивилизации», как не постыдился написать прокурор, составлявший обвинительный акт по делу 193-х. Если эти цитаты что-нибудь доказывают, то только то, что *некоторые* народники-революционеры были не без греха в создании того предрассудка, от которого их товарищи впоследствии так энергически открещивались. «Первоисточником» легенды тут приходится считать, однако, не те речи, которые цитирует наш автор, а гораздо более раннюю и несравненно более известную речь *Бардиной*, в процессе 50-ти. «Я, господа, — говорилось, между прочим, в этой замечательной речи, — принадлежу к разряду тех людей, которые между молодежью известны под именем мирных пропагандистов. Задача их — внести в сознание народа идеалы лучшего, справедливейшего общественного строя или же уяснить ему те идеалы, которые уже коренятся в нем бессознательно; указать ему недостатки настоящего строя, дабы

---

[1]) *В. Я. Богучарский*, «Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х г.г. XIX века. Партия «Народной Воли», ее происхождение, судьбы и гибель». М. 1912 г. Фразы в кавычках заимствованы оттуда.

в будущем не было тех же ошибок, — но когда наступит это будущее, мы не определяем и не можем определить, ибо конечное его осуществление от нас не зависит. Я полагаю, что от такого рода пропаганды до подстрекательства к бунту еще весьма далеко». Речь Бардиной принято называть «горячей и искренней». Прочитав ее внимательно, нельзя не согласиться, что к ней не менее идут и другие эпитеты — «умной и ловкой», например. Бардина великолепно использовала все промахи прокуратуры и, опираясь на эти промахи, отрицала даже самую свою принадлежность к организации, в которой она играла одну из первых ролей. Никоим образом не приходится ее упрекать за это, конечно: состязательный суд — борьба, потому он и называется «состязательным», а в данном случае борьба была еще и неравная: на одной стороне были и «юстиция, и полиция, и милиция», а на другой — две дюжины молодых девушек и студентов, сильных только своим энтузиазмом. Надо же было показать коронному суду, что он и в каторгу-то не умеет отправить людей сколько-нибудь прилично и с толком! Но раз «адвокатский» характер речи Бардиной не отрицаем, к фактическим ее утверждениям историк обязан относиться с величайшей осторожностью. Нетрудно догадаться, на *кого* были рассчитаны фразы о мирном характере социалистической пропаганды. По оплошности начальства, на процессе 50-ти зала была переполнена публикой, — публикой, конечно «чистой», буржуазной, жадной толпой, сбежавшейся посмотреть на «московских амазонок». Если бы эти последние выступили с резко-революционными заявлениями, впечатление у *этой* публики получилось бы, несомненно, отрицательное: она испугалась бы так же, как испугалась, в свое время, «Молодой России». А между тем был такой соблазн эту публику распропагандировать! И Бардина показала себя гениальной пропагандисткой. Но когда ее товарищам впоследствии пришлось рассказывать о своей деятельности не на суде, а перед публикой, иначе настроенной, они не находили нужным надевать маску. Вот как, например, передает планы и разговоры в киевских кружках Дебагорий-Мокриевич — перед тем как члены этих кружков «пошли в народ». «По нашему убеждению, на Волге, Доне и Днепре сохранилось в народе более революционных традиций, чем в средней России, так как самые крупные народные движения происходили на окраинах: пугачевщина была на Волге, бунт Стеньки Разина — на Дону (!), гайдамачина —

на Днепре. Мы полагали, что где один раз происходило революционное движение, там оно легче могло возникнуть во второй раз, и потому решили, не разбрасываясь по всей России, сосредоточить наши силы в таких именно местностях, которые имели известное историческое прошлое. Таким образом, по нашему плану, одни должны были действовать на Днепре, другие — на Волге. *Вызывая стачки и местные бунты*, во время которых обыкновенно выдвигаются из массы более смелые и энергические личности, мы думали *таким образом намечать годных для дела людей и привлекать их в революционную организацию.* А раз вспыхнуло бы восстание в одной местности, мы надеялись, что оно, подобно пламени, распространится и охватит всю Россию». Дебагорий-Мокриевич принадлежал к так называемому «бунтарскому» направлению — хотя, как он сам же далее объясняет, разница между двумя направлениями была больше теоретической: на практике и «бунтарю» приходилось начинать с пропаганды, да ею же, по большей части, и оканчивать. Но зато, с другой стороны, и пропагандисту приходилось готовить бунт — и иного смысла пропаганда $^{9}/_{10}$ народников того времени не имела. Чистых «лавристов» — единственных, кого можно назвать действительно «мирными культурниками» — было крайне мало, и никакой популярностью они не пользовались. Наиболее влиятельным кружком пропагандистов был кружок *чайковцев.* И вот, что читаем мы у его историка, — бывшего, в то же время, одним из деятельных его членов: «В позднейшее время идейное течение начала 70-х годов многими понималось как отрицание всякой политики, как какое-то антиреволюционное стремление к *мирной* социалистической пропаганде в монархическом государстве. Легко заметить, в чем здесь заключалась ошибка. Революционеры 70-х годов признавали лишь бесплодность и даже вредное значение таких политических переворотов, в которых народные массы не играли бы самостоятельной роли, а служили бы простым орудием в руках буржуазии... Но это еще вовсе не значило, чтобы революционеры 70-х годов считали возможным примирить каким-то путем социалистическое движение с самодержавием и чтобы они понесли в народ *мирную* социалистическую пропаганду. Это значило только, что их политическая программа заключалась в прямом обращении к народу, в призыве к революционному восстанию самих рабочих масс. С этою целью они и двинулись в народ, оставляя пока в стороне

непосредственную политическую борьбу с правительством и отказавшись принципиально от всяких союзов с либералами» [1]). Одного каталога библиотеки тогдашнего пропагандиста достаточно, чтобы избавить его от упрека в излишней «мирности»: французская революция, Стенька Разин, Пугачев, изображение «экономической, политической и религиозной эксплоатации народа, с прямым призывом к восстанию» («Сказка о четырех братьях») — вот темы брошюрной литературы «чайковцев». А уж кого другого, но Стеньку Разина и Пугачева мудрено использовать в целях «мирного культурничества» [2]). В этой «красной» стае Бардина и ее кружок отнюдь, конечно, не являлись белыми воронами. Не говоря уже о том, что к процессу 50-ти относится *первое* в 70-х годах вооруженное сопротивление (кн. Цицианова), — это могло быть случайностью; не цитируя столь использованной обвинением фразы из переписки кружка: «убивайте, стреляйте, работайте, бунтуйте», ибо это могло быть шуткой, — прочтите только совсем нешуточные воспоминания одной из подруг Бардиной, Ольги Любатович, где через двадцать лет так живо чувствуется вся горечь катастрофы. Она рассказывает, как, после побега из Сибири, встретившись в Петербурге с Кравчинским и другими, она разговаривала с ними о «чигиринском деле» — единственной попытке крестьянского восстания, которую удалось вызвать, как, это мы увидим ниже. «Все они чувствовали, однако, как и я, что с идеалом peuple souverain, с идеалом гордого и могучего народа, сознающего свое право и опирающегося на свою только силу, волей-неволей нужно пока проститься». Эту фразу нам еще придется вспоминать: в ней вся философия переворота, испытанного движением 70-х годов, — превращения *пропагандизма в народовольство*. Но мог ли бы ее написать человек, вся цель которого заключалась бы в том, чтобы разъяснить «самодержавному народу» (peuple souverain) выгодность ассоциаций?

Говоря о двух *фазисах* движения—пропагандистском и террористическом—мы, впрочем, несколько упрощаем действительность: на самом деле все время рядом существовали два *типа* революционной работы, один из которых можно охарактеризо-

---

[1]) *Л. Шишко,* «С. М. Кравчинский и кружок чайковцев», СПБ. 1906 стр. 24—25.

[2]) См. этот каталог там же, стр. 26. Мы не приводим его, не желая, затруднять читателя выписками.

вать, как *массовой*, — здесь господствующим методом являлась пропаганда, — а другой, как *заговорщический*, лучше всего приспособленный, конечно, к террору. В зачатке оба типа встретились нам уже в начале шестидесятых годов — и тот, и другой намечались, как мы помним, в прокламации к «Молодому поколению». В каракозовщине преобладал несомненно второй тип. Когда, после двухлетнего перерыва, последовавшего за разгромом каракозовцев, революционная агитация возобновилась, главным образом, в студенческих кружках Петербурга, заговорщический тип почти монополизировал движение: каракозовщина сменилась *нечаевщиной*. Нечаев, с точки зрения исторической психологии один из любопытнейших характеров русской революции, был, можно сказать, фанатиком заговора. Людям, которые совершенно чужды заговорщических настроений и, в то же время, не обладают достаточно живой фантазией, чтобы представить себе настроения, лично ими не переживавшиеся, Нечаев и до сих пор представляется как нечто среднее между мономаном и уголовным преступником. Насколько далек был он от последнего, насколько велико было его революционное бескорыстие, показывает известный эпизод, случившийся незадолго перед 1 марта 1881 года. Нечаеву, которого уже почти десять лет гноили в одиночном каземате Петропавловской крепости, представлялась возможность бежать, из могилы выйти снова на свет божий. Но для этого нужно было, чтобы народовольцы отвлекли от дела часть своих сил, а эти силы, уже очень небольшие в то время, все были сконцентрированы на покушении против Александра II. Нечаев решительно восстал против проекта освободить его такою ценою и предпочел остаться заживо замурованным, чем рисковать, что «из-за него» дело может сорваться. А он не мог не знать, конечно, как мало бывает шансов бежать из Петропавловки! Что касается «мономании», то те, кто изучал французский бланкизм, согласятся, вероятно, что эта нечаевская болезнь обладает весьма большим распространением, и что Нечаев отличается от своих европейских образцов только разве истинно-русскою широтою размаха. Основной же принцип в обоих случаях один и тот же: народ, масса рассматривается как своего рода сырое тесто, из которого революция, воплощенная в кружок заговорщиков, лепит все, что ей нужно. Разговаривать с этой массой, до времени, совершенно излишне: «мы должны народ не учить, а бунтовать», писал Бакунин, вна-

чале, как известно, совершенно солидаризовавшийся с Нечаевым и разошедшийся с ним, насколько можно судить по изданной бакунинской переписке, чисто на личной почве — когда нечаевская тактика стала затрогивать лично близких Бакунину людей. А насколько Бакунин принципиально мало нашел бы возражений против «нечаевщины», видно хотя бы из того знаменитого пассажа, где он рекомендует самым настойчивым образом вниманию русских революционеров — *разбойника*, по его мнению идеальное воплощение самородной русской революции. Любителям уголовщины не мешало бы обратить внимание на этот пассаж — да кстати уже зачислить «по уголовщине» и основателя европейского анархизма. Повторяем, лично нечаевской особенностью является только колоссальность в применении принципа — разница в количестве, а не в качестве. Нечаев находил возможным обойтись вовсе без всякого, сколько-нибудь сознательного, участия народной массы в деле — и перед 1 марта совершенно серьезно советовал народовольцам вызвать восстание при помощи целой серии подложных манифестов, от имени царя, земского собора и т. д. Раньше он, ничтоже сумняшеся, мистифицировал университетскую молодежь своим «обществом» *Народной Расправы*, которое едва ли не состояло только из него самого и двух-трех его ближайших друзей, — ибо и университетская молодежь была для него тоже массой, таким же тестом, только, так сказать, следующей степени революционной всхожести. Попытка создать революцию почти что единоличными усилиями не могла кончиться ничем, кроме краха: стоило одному из кусочков живого теста начать рассуждать — и все поползло врозь. Нечаев не задумался убить рассуждающего (интерес революции выше всего!), но нельзя убить способности суждения. За одним сомневающимся пошли другие, Нечаев скоро остался один уже не по доброй воле, и Народная Расправа умерла в петропавловском каземате вместе с ним. От нее остался только знаменитый «революционный катехизис» (написанный, может быть, Бакуниным, — Нечаев и литературой пренебрегал, как всеми средствами «массового воздействия»), который особенно охотно утилизировался черносотенной публицистикой, когда ей нужно было сделать из революционера страшилище. Не даром и опубликовал его в России впервые «Правительственный Вестник». Среди же самой революционной молодежи нечаевщина надолго дискредитировала заговорщическую тактику.

«Нечаевское дело вызвало тогда (в начале 70-х годов) против себя особенно сильную реакцию», пишет историк «чайковцев»; слово *нечаевщина* стало обозначать всякую неискренность в отношениях между революционерами, всякое стремление к «генеральству» в революционных организациях» [1]).

Но банкротство нечаевщины совсем не обозначало банкротства бакунизма и перехода к «мирной пропаганде»: бакунизм был достаточно широк, чтобы вместить в себя весьма разнообразные революционные течения. Из двух его главных аспектов, заговорщичества и анархического федерализма, среди молодежи теперь взял верх последний. Лозунгом дня стала не централизованная революция, устроенная кучкой заговорщиков, а ряд местных бунтов, подготовленных «самостоятельно организованными революционными группами», в процессе революции развивающимися в «революционные общины». Бакунин в этот, анти-нечаевский, период заявлял себя «прежде всего врагом, так называемой, революционной диктатуры»; образование какого бы то ни было правительства, «даже временного», является, в его глазах, «вырождением революции». Но для того, чтобы подготовить такой разлитой, если так можно выразиться, народный бунт, нужно было «итти в народ», из Питера его не сделаешь. Бакунин был убежден, что в народе его «бунтарей» (тогда фракционная кличка, как позже «большевик» или «максималист») ждет несомненный и быстрый успех; «всякий народ, взятый в своей совокупности, и всякий чернорабочий человек из народа — социалист по своему положению, — утверждал Бакунин: — умный русский мужик — прирожденный социалист». Так как надежда на развитие социализма из крестьянской общины вела к тому же выводу, то объект для «бунтарской» агитации давался сам собою — это было крестьянство: оно должно было составить революционную массу, революционную сознательно. Из этой веры в глубокую прирожденную революционность русского крестьянина часто заключали, что «бунтари» игнорировали рабочих — ближайший-де к ним революционный элемент: искали рукавиц, а обе — за поясом. Современные документы показывают, однако, что именно рабочие-то и были единственным доступным революционерам 70-х годов образчиком

---

[1]) *Шишко,* цит. ст., стр. 15.

«умного русского мужика» и что, при всем желании агитировать среди «настоящих крестьян», они всюду должны были довольствоваться этим суррогатом: и чайковцев, и московский кружок Бардиной, и саратовцев, и, на первое время, даже киевлян мы видим среди фабричного населения, которое и было ими разагитировано весьма недурно; к концу 70-х годов можно уже говорить о настоящем «рабочем движении» в России, притом с окраской, несомненно, революционной [1]). До деревенского «умного мужика» добраться оказывалось неизмеримо труднее. Стоит прочесть рассказ Дебагория-Мокриевича, как ему, однажды, в шинке случайно удалось разговориться с «настоящим» крестьянином и встретить у него понимание и сочувствие, и в каком он был восторге от этого события, чтобы оценить, какой «редкой птицей» был для тогдашнего революционера «настоящий мужик»; а еще киевляне, как мы увидим, оказались потом самыми счастливыми в этом отношении [2]). Большинство бродило по деревням, как в лесу, на каждом шагу проваливаясь по незнанию местного наречия, местных обычаев и т. п. «проваливаясь», впрочем, без всяких, обыкновенно, полицейских последствий (арестовывать стали значительно позже, притом начиная с городов), но и без всякой надежды что-нибудь сделать среди населения, сразу настроившегося относительно агитаторов подозрительно. В лучшем для них случае их принимали — за воров... С мужицкой, буржуазной точки зрения ничем иным нельзя было объяснить, зачем эти люди, в данной местности чужие и видимо очень плохо знающие деревенскую работу, шатаются по деревням. Эта буржуазная точка зрения готовила первое жестокое разочарование «бунтарям», с раскрытым сердцем пошедшим к «прирожденным социалистам». «В тех местах крестьяне очень неохотно пускали в дом прохожих, — рассказывает один пропагандист-семидесятник о своем первом странствовании по северу Московской губернии. — *Пешие* гости возбуждали в них подозрительность. Крестьяне чуть-чуть побогаче прямо отказывали нам в ночлеге или без всяких разговоров, или высказывали кратко и бесцеремонно свой взгляд относительно нечистоты на руку вообще прохожих. И это

---

[1]) Это рабочее движение будет нами рассмотрено отдельно — в главе XVIII.

[2]) «Воспоминания», стр. 240—248.

повторялось много раз. В самые бедные избы нас пускали, но почти везде только после тщательных расспросов, в особенности о нашем маршруте, предыдущем и последующем, а также о наших намерениях...» [1]). «Крестьяне крайне неохотно пускали нас к себе на ночь, — пишет Дебагорий-Мокриевич, — так как наша сильно поношенная, почти оборванная одежда явно возбуждала у них подозрения. Надо сознаться, что этого мы всего менее ожидали, когда отправлялись в наше путешествие под видом рабочих. Мы знали о недоверчивом отношении крестьян ко всем, носящим панский, т.-е. европейский костюм, и полагали, что чем беднее одежду наденем на себя, тем с большим доверием станут они относиться к нам. И в этом ошиблись». Еще больше ошиблись они в своих представлениях *о революционности* крестьянства: «из разговоров оказалось, что крестьянские движения происходили главным образом в конце 50-х и начале 60-х годов, т.-е. в период до и тотчас после освобождения крестьян, и что приблизительно с половины 60-х годов волнения стали происходить реже, а к 70-м годам их почти совсем уже не было» [2]). Не было не только никаких активных попыток восстания, но не было в помине и революционного настроения. «Я начинал с расспросов об их деревне, нужде, о том, как у них себя ведет начальство, и затем уже переходил к своим заключениям и обобщениям, — рассказывает первый из цитированных нами пропагандистов о своем знакомстве с костромичами-плотниками — из того времени, когда он успел уже окончательно приспособиться к деревенской среде и сам поступил в плотничью артель. — Но тут я натыкался всякий раз почти на одно и то же возражение: соглашавшийся с моими посылками кологривец делал из них *свой* вывод или подводил свой итог, а именно утверждал, что сами они, деревенские, во всем виноваты... По этому воззрению, им приходится терпеть нужду, обиды и скверное обращение собственно потому, что они сами поголовно *пьяницы и забыли бога*. Не помню, за давностью, находил ли я аргументы, пригодные для того, чтобы доказать им, что «следствие» в данном случае принималось за «причину», или пытался ослабить в них этот пессимизм как-нибудь иначе... Но остается факт, что я никак *не мог* сбить моих собеседни-

---

[1]) *А. О. Лукашевич*, «В народ!», «Былое» 1907 г., март.
[2]) *Дебагорий-Мокриевич*, стр. 136.

ков с их позиции» [1]). На юге крестьяне жаждали аграрного переворота — «передела земли»; но в 70-х годах память о 19 февраля была еще свежа, и переворот рисовался крестьянам в легальной форме — царского указа, доделывающего то, что оставила в недоконченном виде реформа 1861 года. Это должны были признать даже наиболее оптимистически настроенные пропагандисты. Так, одна из виднейших деятельниц народнического движения, утверждающая, что «на юге России народ далеко не привязан к верховной власти, все традиции его находятся в антагонизме с нею», сообщает, тем не менее, такой любопытный факт: «некоторые крестьяне спрашивали, нет ли под моими грамотами подписи царя или кого-нибудь из его семейства», а один крестьянин-сектант с большой уверенностью принял самое пропагандистку за «царицу или цареву дочку» [2]). Оставалось только упрекать крестьян в «недоверии к собственным силам», в «трусости», но это были уже академические утешения. Тем, кто не хотел им предаваться, оставалось только признать, что *царизм* являлся в самой тесной связи с земельным идеалом крестьян. *Свои* желания, *свои* понятия о справедливости крестьяне переносили на царя, как будто это были *его* желания, *его* понятия. К крестьянам шли, чтобы встретить в них прирожденных революционеров, а они оказывались, употребляя современный термин, «легализаторами». Читатель, помнящий нашу характеристику «пореформенной экономики», не затруднится в объяснении источника этой крестьянской легальности. Несмотря на все ужасы, рисовавшиеся народнической статистикой, экономическое положение крестьян после 19 февраля не ухудшилось, а улучшилось, хотя и незначительно, и этого незначительного улучшения было достаточно, чтобы внушить крестьянам известный оптимизм по отношению к будущему. Только когда, параллельно с аграрным кризисом 80-х годов, дела крестьянского хозяйства быстро пошли под гору, стали возможны настроения, сказавшиеся в дни первой и второй Думы. За четверть столетия раньше «в народе возможно было вызвать восстание только от имени царя, т.-е. не *против* существующего порядка, а *на защиту* его. Ухватиться за такой предлог для восстания можно было, очевидно, лишь с отчаяния. Плохую услугу бунтарям оказал тут известный

---

[1]) *Лукашевич*, «В народ!» Курсив автора.

[2]) *Е. Брешковская*, «Воспоминания пропагандистки».

реакционный историк французской революции Ипполит Тэн. Стремясь изобразить события 1789 года стихийным бунтом, «бессмысленным и беспощадным», Тэн очень охотно подчеркивал тот факт, что крестьяне разных медвежьих углов шли громить замки своих сеньеров «по королевскому указу», предводимые иногда разными «принцами» в голубых лентах. Он не пояснял своим читателям, что смысл движению давали не эти темные вспышки, а гораздо более сознательные выступления парижских мещан и мастеровых, без которых ни о какой «революции» и говорить не пришлось бы. «Бунтари» наивно приняли памфлет французского реакционера за последнее слово науки (можно ли их упрекать за эту наивность, если подобную ошибку делали еще лет десять спустя университетские профессора?) и нашли, что картина, как восстание, поднятое *во имя* короля, обращается *против* него, необыкновенно заманчива [1]). В Чигиринском уезде, Киевской губернии, давно шла глухая, но ожесточенная борьба между двумя разрядами самого крестьянства — из бывших «государственных». Тема спора необыкновенно близка нашему времени: зажиточные крестьяне отстаивали подворное, участковое, землевладение, а бедняки требовали передела земли по душам, т.-е. перехода к общине. Начальство было на стороне первых, и этим воспользовалась работавшая в Чигиринском уезде «бунтарская» группа (Стефанович, Дейч, Дебагорий-Мокриевич и др.). Был пущен слух, что царь давно предписал передел, но чиновники это скрывают; царь не может с ними справиться, а потому обращается прямо к народу; был распространен подложный манифест, приглашавший крестьян вооружаться на защиту царя и поземельной общины. Агитация на этой почве шла необыкновенно успешно между «душевиками» (как называли сторонников передела по душам). «Бунтарям» удалось дойти до организации крестьянских дружин; но тут они наткнулись на затруднения уже чисто технического характера: для того, чтобы сколько-нибудь прилично вооружить своих дружинников, у них не хватило средств, они смогли раздобыть всего 30 плохих револьверов. Дело затянулось и, конечно, раскрылось. До 900 крестьян было арестовано. «Говорят, что крестьяне были вне себя от ярости, когда перед ними раскрылась мистификация «царского комиссара» (так называл себя Стефа-

[1]) *Дебагорий-Мокриевич*, стр. 205 и сл.

нович); особенно они возмущены были священной клятвой, которую он заставил их принести, и ложной присягой, которую он сам принес» [1]). *Единственная* попытка массового движения, которую удалось вызвать революционерам-народникам 70-х годов, кончилась хуже, чем простой неудачей.

---

2. «Народная Воля».

Гораздо раньше, чем «бунтарскую» пропаганду постиг *политический* крах на чигиринском деле, она уже испытала крах *организационный*. Федеральное устройство и общинная автономия оказывались совершенно неприложимыми к тайному обществу, каким неизбежно должен был стать, в данных политических условиях, кружок социалистической пропаганды. По бакунинскому кодексу (усвоенному, фактически, и не-бакунистами) каждый член «революционной общины» должен был знать все о всех своих товарищах: община для «своих» должна была жить как бы в стеклянном доме. При этом предписывалась, с самым важным видом, строжайшая конспирация от «чужих»; но стоило одному из этих последних прикинуться «своим» достаточно ловко (а это легко было сделать в особенности представителям того «народа», до которого так жаждали добраться) — и в революционном деле не оставалось ничего тайного для полиции. Мало того, провал одной общины вел за собою неизбежно провал целого ряда их, ибо, во имя принципа федерации, «управления» всех общин данной местности должны были осведомлять друг друга о всех своих делах, пользуясь для этого общим шифром и сообщая друг другу революционные клички членов «управлений» и т. п. [2]). В наше время такая «конспиративная организация» прожила бы не дольше одного месяца — или с первого же месяца стала бы игрушкою в руках провокаторов. Только совершенной неприспособленностью тогдашней местной полиции к борьбе с какой бы то ни было революцией можно объяснить, что «бунтарские» и пропагандистские кружки 70-х годов держались без провалов по нескольку месяцев и

---

[1]) *Тун.* «История революционного движения в России».

[2]) Устав одной из «общин» — московского кружка, где действовала Бардина и др. — приведен в выдержках в обвинительном акте по делу 50-ти, приведен, по словам одного из участников, вполне правильно.

даже лет. Но стоило полицейским центрам, Третьему отделению и прокуратуре, заинтересоваться делом, как провалы посыпались один за другим. К началу 1875 года в руках полиции было уже более 700 человек, так или иначе скомпрометированных по делам о революционной пропаганде; не разысканными оказалось всего 53 из числа тех, кого полиция желала иметь, а всех активных участников движения едва ли была тысяча человек. Такого полного провала революционное движение в России ни разу не испытывало ни раньше, ни после; даже в дни совсем открытой работы % арестованных работников не достигал такой высоты, несмотря на все новейшие полицейские усовершенствования. Факт не мог не обратить на себя внимания, в особенности тех, в ком живы были нечаевские традиции и кого, не совсем правильно, называли тогда «якобинцами» [1]). Этою кличкой хотели подчеркнуть «антипатичные» черты заговорщической тактики: централизацию, иерархичность и дисциплину, делавшие из мелкого члена организации слепое орудие революционного «начальства». Нечаевец Ткачев, на страницах своего «Набата», блестяще доказал, однако, — анализом как раз процесса 50-ти, разбиравшегося в 1877 году, — что без этих «антипатичных» особенностей никакой конспирации быть не может. Год спустя сознали это и уцелевшие от облавы «бунтари» и «пропагандисты». Скрепя сердце пошли они навстречу централизации, попытавшись влить оставшиеся «революционные общины» в первое тех дней общерусское революционное общество — партию «Земли и Воли». Но массовая работа все же была в их глазах слишком ценной — и от «хождения в народ» не отказались и землевольцы, только «хождение» в собственном смысле они, ценя предыдущий опыт, заменили *поселением среди народа*. Относящееся сюда место из воспоминаний одного из учредителей общества чрезвычайно любопытно, — оно показывает, как была потрясена вера в прирожденный социализм «умного русского мужика» уже к 1878 году. «Прежнее догматическое утверждение, требовавшее, чтобы революционер отправлялся в народ в качестве чернорабочего, потеряло свою безусловную силу. Положение человека физического труда признавалось попрежнему весьма желательным и целесообразным, но *безусловно*

---

[1]) Читателю едва ли нужно напоминать, что настоящие *якобинцы*, времен Великой французской революции, никогда не были заговорщиками.

отрицалось положение бездомного батрака, ибо оно никоим образом не могло внушить уважения и доверия крестьянству, привыкшему почитать материальную личную самостоятельность, домовитость и хозяйственность. А потому настоятельною необходимостью считалось занять такое положение, в котором революционеру при полной материальной самостоятельности открывалась бы широкая возможность прийти в наибольшее соприкосновение с жителями данной местности, входить в их интересы и пользоваться влиянием на их общественные дела. В силу этого люди устраивались хозяйственным образом в положении всякого рода мастеровых заводили фермы, мельницы, лавочки, занимали должности сельских и волостных писарей, учителей, фельдшеров, врачей и проч. Особенно желательным считалось, чтобы в среде поселенцев был по крайней мере хоть один человек из уроженцев данной местности» [1]). Усвоить организационный опыт оказывалось гораздо труднее, чем тактический. Автор отнюдь не желал посмеяться над своими товарищами, но можно ли без улыбки читать такой его рассказ: «Не так скоро покончили мы с уставом. Михайлов [2]) требовал радикального изменения устава в смысле большей централизации революционных сил и большей зависимости местных групп от центра. После многих споров почти все его предложения были приняты, и ему поручено было написать проект нового устава. При обсуждении приготовленного им проекта немалую оппозицию встретил параграф, по которому член основного кружка обязывался исполнять всякое распоряжение большинства своих товарищей, хотя бы оно и не вполне соответствовало его личным воззрениям. Михайлов не мог даже понять точки зрения своих оппонентов...». Революционер наших дней также едва ли бы понял эту своеобразнейшую «точку зрения» на партийную дисциплину, но какой яркий свет бросает этот маленький факт на нравы и обычаи бакунинских «революционных общин»!

«Земля и Воля» была первой русской революционной организацией, имевшей свой литературный орган — газету (правильнее журнал, полное название было «Земля и Воля, социально-револ. *обозрение*»), которой, с октября 1878 года по апрель 1879,

---

[1]) Цитируем по *Серебрякову*, «Земля и Воля».

[2]) А. Д. Михайлов — впоследствии знаменитый народоволец.

вышло 5 №№, не считая 6 № «Листка З. и В.». Организации 60-х годов не шли дальше выпуска, в сущности, прокламаций, хотя и стремились придать им известную последовательность и периодичность («Великорусс» и «Свобода»). Возможность выпускать в течение полугода, под бдительным оком полиции, настоящее периодическое издание, с хроникой, внутренним обозрением, корреспонденциями и т. д. — уже сама по себе свидетельствовала о такой «солидности» нового общества, которая в предыдущем не знала себе примера. Тем не менее, не прошло года, как и оно было ликвидировано — правда, не так, как предшествовавшие ему кружки: те были «ликвидированы» полицией, «Земля и Воля» ликвидировала себя сама, на воронежском съезде в июне 1879 года. Народнические авторы объясняют эту автоликвидацию полицейским террором, будто бы исключавшим для членов общества, поселившихся в деревне — «деревенщиков» — всякую возможность сколько-нибудь производительной работы. Авторы противоположного направления указывают, что землевольцы не туда обращались, куда следовало: «если бы делу сближения с рабочими она (интеллигенция) посвятила хоть половину тех сил и средств, которые потрачены были на «поселения» и на разные агитационные опыты в крестьянстве, то к концу семидесятых годов социально-революционная партия твердо стояла бы уже на русской почве» [1]). Противники могли бы тветить, что *массовая* агитация в городе пока давала столь же жалкие результаты, как и в деревне. На знаменитую демонстрацию 6 декабря 1876 года (у Казанского собора, в Петербурге) ждали 2—3 тысячи рабочих, а пришло 200 человек, по большей части интеллигентов. Из рабочих больше можно было выловить политически развитых *единиц*, чем из крестьян, но рабочая *масса* стала политически-возбудимой гораздо позднее. В 70-х годах к ней можно было подойти только на *экономической* почве. Мифом оказывалась вообще «прирожденная революционность» как городской, так и деревенской бедноты, — вот истина, которую должны были признать агитаторы-народники после того, как опыт с деревней заставил их сознаться, что прирожденный социализм крестьянства — тоже миф. Нужны

---

[1]) *Г. В. Плеханов.* «Русский рабочий в революционном движении». Полемику между народниками и марксистами см. в цит. брошюре *Серебрякова* и предисловии *Плеханова* к его переводу книги *Туна.*

были долгие годы подпольной работы, чтобы чего-нибудь добиться *внизу*. А между тем *сверху*, казалось, так легко было действовать! В беседе с одним близким приятелем Желябов — будущий лидер «Народной Воли» — превосходно выразил это дьявольское искушение — стать из *народника якобинцем*. «Желябов рассказал трагикомическую историю своего народничества. Он пошел в деревню, хотел просвещать ее, бросить лучшие семена в крестьянскую душу; а чтобы сблизиться с нею, принялся за тяжелый крестьянский труд. Он работал по 16 часов в поле, а, возвращаясь, чувствовал одну потребность растянуться, расправить уставшие руки или спину, и ничего больше; ни одна мысль не шла в его голову. Он чувствовал, что обращается в животное, в автомата. И понял, наконец, так называемый консерватизм деревни: что пока приходится крестьянину так истощаться, переутомляться ради приобретения куска хлеба... до тех пор нечего ждать от него чего-либо другого, кроме зоологических инстинктов и погони за их насыщением. Подозрительный, недоверчивый крестьянин смотрит искоса на каждого, являющегося в деревню со стороны, видя в нем либо конкурента, либо нового соглядатая со стороны начальства для более тяжкого обложения этой самой деревни. Об искренности и доверии нечего и думать. *Насильно милым не будешь*. Почти в таком же положении и фабрика. Здесь тоже непомерный труд и железный закон вознаграждения держат рабочих в положении полуголодного волка. Союз, артель могли бы придать рабочим больше силы. Но тут и там натыкаешься на полицию; ей невыгодно такое положение: легче и удобнее давить в розницу. — Ты был прав, — окончил он смеясь, — *история движется ужасно тихо, надо ее подталкивать*. Иначе вырождение наций наступит раньше, чем опомнятся либералы и возьмутся за дело» [1]).

Желябов не был, формально, землевольцем (хотя на автоликвидацию «Земли и Воли» имел громаднейшее влияние), но в официальных верхах партии думали совершенно так же. «В то время все представители «Земли и Воли» ясно сознавали, что *вызвать революцию можно не организацией в слоях народа, а, наоборот, сильной организацией в центре* можно будет

---

[1]) «Из воспоминаний об А. И. Желябове», *Ц. Семнюты*. «Былое» 1906 апрель.

вызвать революционные элементы и организовать из них революционные очаги», пишет один из главных устроителей ликвидаторского воронежского съезда [1]). По документам, оставшимся от последней чисто народнической организации, можно шаг за шагом следить, как боролись ее руководители против дьявольского искушения и как дух заговорщичества и революции сверху отвоевывал одну позицию за другою. Уже на первом, учредительном, съезде «Земли и Воли», весною 1878 г., «целую бурю» вызвало предложение Валериана Осинского, касавшееся «введения политического элемента вообще в нашу программу и *усиления дезорганизаторской деятельности в частности*». Слово «террор» еще не получило права гражданства... «Прения по этому поводу были продолжительны и очень горячи. Но деревенщина еще была тогда в силе. Преобладающее настроение общества было строго народническое. И предложение Валериана было отвергнуто огромным большинством». «А 13 марта (следующего 1879 года) Мирский стреляет в нового шефа жандармов, Дрентельна, и стреляет по решению Большого Совета партии, в котором большинство — «деревенщики». Теория, наконец, удостоилась санкционировать практику, в которую террор, в качестве одного из приемов борьбы, был давно введен, как ни восставала партия против террора официально [2]). А две недели спустя перед партией оказалась следующая ступень: Соловьев явился с предложением убить Александра II. «Администрация» «Земли и Воли» была уже всецело в руках террористов — Большой Совет был еще против проекта Соловьева, но он аргументировал уже не от принципов народничества, а только от практических последствий предлагаемого шага. «Я доказывал, —

---

[1]) *М. Р. Попов*, «З. и В. накануне ворон. съезда», «Былое», 1906, август.

[2]) Первым террористическим покушением был, как известно, выстрел В. И. Засулич в петербургского градоначальника Трепова (24 января 1878 г.), но это было чисто индивидуальное выступление, не связанное ни с какой партийной тактикой. Но *киевские* покушения февраля — мая того же года (Осинский стрелял в прокурора Котляревского, а Попко убил жандармского офицера Гейкинга) носили характер уже организованного террора и были освещены соответствующими прокламациями, где впервые упоминается имя Исполнительного Комитета. См. г. *Богучарского*, цит. соч., стр. 13. 4 августа того же года Кравчинский-Степняк убил шефа жандармов Мезенцева — и это был первый случай организованного террора в Петербурге.

пишет в своих воспоминаниях один из членов большинства Совета, — что тем способом, каким имеется в виду осуществить цареубийство, девяносто девять против одного говорят за полную неудачу попытки. Но покушение тем не менее окажет свое действие: за ним последует *военное* положение, т.-е. такое положение вещей, из которого *единственным* выходом может быть вторичное, третичное — целый ряд покушений на цареубийство, инициативу и исполнение которых должна будет уже обязательно взять на себя *партия*, на собственный страх и риск... Замечательно, что против второго моего положения (что террор ухудшит дело) возражали сторонники цареубийства, те, которым, как я в этом теперь убежден, именно *этого* (т.-е. обострения положения) и хотелось: на самом деле все уже было предусмотрено и решено; обратились же к Совету, главным образом, по настоянию Соловьева, которому сильно хотелось для дела своего заручиться санкцией землевольцев». Официальной санкции он не получил, но и отречься от покушения 2 апреля 1879 года партия была уже не в силах. «Покушением Соловьева, — говорит народнический историк «Земли и Воли»,— революционеры, хотя и против воли большинства, вынужденные обстоятельствами, бросили правительству вызов на смертный бой. Возврата назад не было. Нужно было итти вперед по избранному пути, так как все другие были закрыты. Отступить — значило подписать смертный приговор партии» [1]).

Но партии, как *народнической*, т.-е. массовой, организации, смертный приговор именно и подписывала террористическая тактика. Покушение Соловьева — неудачное, как и предсказывали противники террора — было весною, а летом того же 1879 года состоялся упоминавшийся нами ранее «ликвидационный» съезд «Земли и Воли». На нем «деревенщина» подверглась полному

---

[1]) *Серебряков*, цит. соч., стр. 54. Аргументация землевольца анти-террориста хорошо показывает, как наивно обычное объяснение террора — от преследований, «ожесточивших» «мирных пропагандистов». Что террор вызовет преследования, вдесятеро худшие, это великолепно сознавали гораздо раньше, чем перешли к террористической тактике. Знали, что, вместо ссылки на поселение или даже административной ссылки, будут вешать или замуровывать на всю жизнь в казематы. Но террористические удары в центр казались единственным средством вызвать в России революцию, не дожидаясь «вырождения нации». Ради этого шли на все, отлично зная, что большинство погибнет в этой, буквально «мертвой», схватке с врагом.

разгрому — террор был признан нормальным орудием партийной борьбы по всей линии, от деревни до Зимнего дворца: в этом смысле была дополнена программа, теоретически оставшаяся прежней. Теоретически продолжала признаваться и массовая деревенская агитация: на нее решено было расходовать $^2/_3$ всех средств партии, а на террор лишь $^1/_3$. На деле все прекрасно понимали, что никакой деревенской агитации не будет. Стефанович и его товарищи, правда, обещали в Чигиринщине какое-то «продолжение», но было слишком ясно, что в *таком* направлении лучше не продолжать. Немного месяцев спустя после съезда «деревенщики» формально откололись от террористического теперь большинства, образовав новую группу «Черного передела». Чернопередельчество сыграло известную роль в развитии революционного движения, послужив мостом между народничеством тех годов и позднейшей социал-демократией, но то была связь идейно-психологическая (и больше психологическая, чем идейная), фактического же влияния на революционные события тех дней «Черный передел» не имел, еще раз на опыте доказав, что массовая агитация, как средство вызвать революцию, в данный момент не годится. Впрочем, противники чернопередельцев уверяли, будто те на самом деле даже и не занимались агитацией в массах, а только разговаривали о ней — в каковом виде дело и изображено в известном письме Маркса [1]), инспирировавшегося тогда из террористического лагеря. Как бы то ни было, поле осталось за «якобинцами» (сами они, конечно, так себя не называли), которые очень скоро и формально подчеркнули свой поворот от прежней тактики, приняв название партии «Народной Воли». Что не значило, как объяснял их орган (носивший то же название и оказавшийся самым долговечным из всех русских революционных изданий XIX столетия — с 1 октября 1879 года по октябрь 1885 вышло 12 №№), чтобы они себя считали выразителями воли народа, а значило лишь, что они стремятся создать такие политические условия, при которых эта воля могла бы себя обнаружить. Историческая случайность дала, как-будто нарочно, наглядную иллюстрацию организационным преимуществам нового напра-

[1]) Письмо Маркса приведено у г. *Богучарского*, стр. 470. Комментарии к этому письму с противоположной точки зрения см. в ст *Г. В. Плеханова*, «Неудачная история Народной Воли», в майской книжке «Совр. Мира» за 1912 г.

вления. Землевольческий съезд предполагался в Тамбове, куда и съехалось уже порядочно народу. Но «бунтарская» конспирация давно отстала от событий. Прежние счастливые времена, когда можно было агитировать под носом у полицейских, давно прошли, — «тамбовская полиция сейчас же заметила сборища незнакомых ей молодых людей, державших себя притом шумно и свободно, — началась слежка, и съезд оказался «проваленным». Пришлось спешно перебираться в Воронеж. Тем временем террористы устроили свой «фракционный» съезд в Липецке — оставшийся тайною не только для полиции, но и для противной фракции «деревенщиков». Из Липецка плотной, хорошо спевшейся группой явились они в Воронеж и там одержали легкую победу. С первых же шагов видно было, что эти люди, во всяком случае, умеют устроить заговор.

Торжество *заговорщической* тактики, в самом деле, было наиболее наглядным признаком совершившейся перемены. «Совершение переворота путем заговора — вот цель партии Народной Воли, определяемая программою Исполнительного Комитета... *Строго централистический тип организации, на весь период борьбы, до первой прочной победы революции, мы считаем за наилучший, единственно ведущей к цели*» [1]). Это было торжество *каракозовско-нечаевской* традиции над традицией чайковцев и всех других социалистов-народников 70-х годов, «бунтарей» или «пропагандистов», лавристов или бакунистов безразлично. Преемственность нечаевщины сразу же чрезвычайно ярко выразилась в *названиях*. Встречая два имени: «партия «Народной Воли» и «Исполнительный Комитет», вы, конечно, подумаете о *двух* учреждениях, их которых второе представится вам исполнительным органом первого. Ничего подобного: исполнительный комитет и партия — это было одно и то же. Вернее говоря, партия была такою же фикцией, как нечаевская «Народная Расправа», — комитет был единственной реальностью. Зачем понадобилась мистификация, ответ дает статистика. Г. Богучарский в своей книге довольно точно подсчитал число членов «Исполнительного Комитета» до 1 марта 1881 года: там перебывало с 26 августа 1879 года (дата *первого* заседания комитета) 37 человек, «но и этого числа, разумеется, одновре-

---

[1]) «*Народная Воля*» № 8—9, 5 февраля 1882 г.

менно никогда не было» [1]). Зато бывали случаи, что *одновременно* в России оставался только *один* член Исполнительного Комитета; начал же он свою деятельность при 28 человеках, по подсчету того же автора. Вот сколько было террористов, бросивших в 1879 году «вызов на смертный бой» императорскому российскому правительству! Можно себе представить, какое впечатление произвела бы эта статистика, будь она известна своевременно. Но народовольцы принимали все меры, чтобы замаскировать скромную действительность и от своего врага, и от публики. «Исполнительный Комитет» должен был оставаться для всех, кроме его членов, чем-то таинственным, недоступным и неуловимым. При арестах его члены упорно называли себя агентами, и так же они должны были именовать себя перед провинциальными кружками «сочувствующих». Члена Комитета никто не должен был видеть никогда, а между тем всю работу, до самой черной технической, несли на себе сами члены Комитета, ибо никакой «периферии» к их услугам не было. Едва ли нужно объяснять скромность приведенных цифр: психологически, дело вполне понятно само собою. Вступить в члены террористической организации, где цареубийство стояло первым пунктом в программе деятельности (в заседании 26 августа 1879 г. решено было «все силы сосредоточить на одном лице государя»; этим не исключались покушения на других представителей власти, но намечалась *главная* цель), значило надеть себе петлю на шею — с среднеобывательской точки зрения совершить «замаскированное самоубийство». В момент массового революционного подъема способных на такое «самоубийство» людей могло бы оказаться и довольно много, но в 1879 году никакого массового подъема не было; революционерам приходилось черпать силы из своей собственной среды, а их число, после всех разгромов и разочарований, едва ли выходило из сотен, и даже очень немногих сотен: тут и 40 человек являлись весьма значительным процентом. Притом, для *заговора* количество не так много значит, как *качество*: кучка генералов и офицеров, которым армия слепо предана, могут устроить заговор, низвергающий правительство, вчера еще казавшееся прочнее пирамид, хотя бы посвященных в дело было всего десять человек; чем меньше, тем даже лучше. Русская история богата заговорами: были

[1]) *Назв. соч.*, стр. 44.

и многолюдные, но неудачные, как заговор декабристов; были и очень малолюдные, но весьма удачные, как тот, который сделал Екатерину II из опальной царской жены самодержавною императрицей, а Петра III — из самодержавного императора сначала политическим арестантом, а потом — покойником. У Григория Орлова товарищей было едва ли больше, чем членов в «Исполнительном Комитете»: но у него зато было три гвардейских полка из четырех, составлявших тогда императорскую гвардию. Читатель догадывается, о каком «качестве» идет здесь речь. Личное мужество народовольцев засвидетельствовано всеми политическими процессами того времени, их энергия, их многоразличные таланты от технических до литературных — всей их деятельностью, тогдашней и позднейшей; это, несомненно, был цвет тогдашней молодежи. Но, по пословице: «один в поле не воин», самые выдающиеся личные достоинства не заменят *материальной* силы. Как с этой стороны обстояло дело у «Исполнительного Комитета»? Тот же автор сделал попытку учесть *денежные средства* народовольцев [1]). Цифры его, несомненно, ниже действительности, — по отчетам «Народной Воли» о состоянии партийной кассы судить нельзя, ибо в этих отчетах сознательно пропускались наиболее крупные пожертвования, чтобы не обратить на них внимание полиции (позже отчеты и вовсе прекратились). Но если в данном случае нет возможности оперировать статистическим методом, достаточно выразительны приводимые г. Богучарским цитаты. Вот один пример: ведется подкоп под Курскую дорогу (взрыв царского поезда 19 ноября 1879 г.); для этого специально куплен дом, все, что в нем делается, должно, конечно, быть окружено строжайшей конспирацией, и этот дом закладывают (что было сопряжено с его осмотром) ради того, чтобы получить 600 рублей! Рисковать из-за такой суммы провалить важнейшее, в тот момент, дело партии можно было только при совершенном безденежьи. Вот другой пример: 1 марта у Исполнительного Комитета не нашлось квартиры для собрания — и он собрался в лаборатории, где накануне всю ночь изготовлялись бомбы... И дело опять слишком понятно: только массовое движение может создать приток больших средств в кассы революционных организаций. Когда приходится зависеть от индивидуальных «благотворений», много

---

[1]) *Г. Богучарский*, стр. 236 и сл.

не соберешь. Можно с уверенностью сказать, что из буржуазных кругов революционеры 70-х годов никакой, сколько-нибудь щедрой, поддержки не получали: и для чего бы буржуазия стала поддерживать своими деньгами людей, борющихся с ее собственным, буржуазным, правительством? Капиталы же, какие имелись у самих, отдельных, революционеров, были к народовольческому периоду уже израсходованы или захвачены правительством (первое имело место по отношению к деньгам Войнаральского, отдавшего на революционное дело все свое состояние, около 40.000 р., второе — по отношению к состоянию Лизогуба, повешенного Тотлебеном в Одессе, в августе 1879 года; у него было до 150.000 р., из которых не более трети попало в кассу партии). Чтобы дополнить картину «материальных средств», нам остается сказать, что *людей* в распоряжении Исполнительного Комитета было так же мало, как денег. Много говорилось, и в свое время, и впоследствии, о боевых дружинах из рабочих: никаких следов таких дружин, однако, не найдено,— были отдельные рабочие-террористы (как Халтурин, устроивший взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года), но, считая их, мы едва ли выйдем из первого десятка. Была военная организация, состоявшая исключительно из офицеров, но офицерские кружки были, собственно, группами пропаганды, где читали Лассаля, Маркса и нелегальную литературу и дебатировали политические темы [1]). И хотя организация ставила одной из своих задач «исключительно военное восстание, с целью захвата верховной власти», — никаких, даже подготовительных, шагов к осуществлению этой задачи найти нельзя. Нельзя указать ни одной воинской части, которая была бы целиком в руках народовольцев — как были отдельные полки или хотя роты в руках декабристов. Были, опять-таки, отдельные офицеры-террористы, как лейтенант Суханов, — вот и все.

Мы не даром остановились на этом, может быть, «скучном», вопросе — о материальных силах и средствах народовольцев. Этими силами и средствами определялась всецело их *тактика*, а их тактикой в значительной степени определялась *программа* «Народной Воли». Читатель удивится — он привык слышать,

---

[1]) См. *М. Ю. Ашенбреннера*, «Военная организация партии Народной Воли». «Былое», 1906 г., июль, и «Из истории народовольческого движения среди военных», там же, — август.

что программой определяется тактика, а не наоборот; так *должно* быть, — но в революции, как и всюду, объективное командует над субъективным. Мы до сих пор принимали как бы за данное, что «Народная Воля» была партией *террористической*, и говорили раньше, что заговорщическая тактика всего лучше гармонирует именно с террором. Действительно, без конспирации террор просто невозможен, и почти все заговорщики всех времен и народов не отказывались от этого приема революционной борьбы. Но, кажется, не было ни одного заговора на свете, где к террору, и притом к «центральному террору», т.-е. к попыткам цареубийства, сводилась бы в сущности вся или почти вся борьба. «Центральный террор» сам по себе, без других задач и приемов революционной борьбы, является просто бессмыслицей. На место убитого государя станет другой, его наследник, — и дело придется начинать сызнова. А наивность обывательского представления, что власть можно «запугать» террором, прекрасно понимали сами народовольцы: на психологический эффект испуга они рассчитывали только, как на минутное средство в решительный момент — в начале *народного восстания*. Без этого последнего и помимо него они сами не мыслили террористической тактики. В документе, который мы имеем в виду («Подготовительная работа партии»), «главнейшие задачи» «Народной Воли» являются перед нами в весьма обширном виде: «1) создание центральной боевой организации, способной начать восстание; 2) создание провинциальной революционной организации, способной поддержать восстание; 3) обеспечить восстанию поддержку городских рабочих; 4) подготовить возможноеть привлечения на свою сторону войска или парализование его деятельности; 5) заручиться сочувствием и содействием интеллигенции — главного источника сил при подготовительной работе; 6) склонить на свою сторону общественное мнение Европы» [1]). Много задач, как видите — и среди них террор даже не назван, хотя в пункте 1-м он подразумевается. А между тем к *террору свелось на практике все*, и никаких попыток вооруженного восстания сделано не было даже 1 марта 1881 г., когда будто бы какие-то рабочие предлагали

[1]) «Литература партии Народной Воли», стр 869. «В программе Исполнительного Комитета» сюда присоединяются еще, как агитационные средства, «сходки, демонстрации, петиции, тенденциозные адресы, отказ от уплаты податей и пр.», Ibid, стр. 165.

Перовской увлечь массы на улицу, — из чего, само собою разумеется, не произошло бы ничего дальше повторения, с большим, конечно, кровопролитием, демонстрации 6 декабря 1876 года. С сорока человеками, без всякой массовой организации, восстания устроить было нельзя, — можно было только о нем говорить, тогда как для бомбистских выступлений, даже для рытья мин и подкопов, достаточно было двух дюжин решившихся пожертвовать собою людей. Но и это лишь при условии сосредоточить работу данной кучки лишь на *одной* цели. Даже массового террора при наличных силах Исполнительного Комитета устроить было нельзя, — «центральный террор», ряд покушений на *одно* лицо, оставался единственным объективно-возможным выходом.

Что было с тактикой, то же случилось и с программой. Официально и «Народная Воля» продолжала оставаться *социалистической* партией; «в программе Исполнительного Комитета» мы имеем и «принадлежность земли народу» (п. 4-й), и «систему мер, имеющих целью передать в руки рабочих все заводы и фабрики» (п. 5-й). А на деле, тотчас после воронежского съезда Желябов уже поднял вопрос о том, чтобы не писать больше об аграрном вопросе, «дабы не отпугивать либералов»,— а другой народоволец, Баранников, очевидно основательно вспомнивший нечаевщину, предлагал «мистифицировать либералов изданием особого листка от Исполнительного Комитета, программа которого (т.-е. листка) должна была быть *только политической*» [1]), т.-е. где бы никаким социализмом и не пахло. «Программа Исполнительного Комитета», по духу, несомненно, была *республиканской* («наша цель — отнять власть у существующего правительства и передать ее Учредительному Собранию», которое дальше именуется «имеющим полную власть»), но так как республика могла «отпугнуть либералов» не меньше, чем национализация земли или социализм, то, во-первых, слово «республика» обошли даже и в тексте программы, а затем и самое понятие, обозначаемое этим словом, перестало играть сколько-нибудь серьезную роль в глазах самих народовольцев. «В программе, по которой я действовала, — говорила В. Н. Фигнер в своей речи на суде, — самой существенной стороной, которая имела для меня наибольшее значение, было уничтожение абсо-

[1]) Цитиров. воспоминания *М. Р. Попова*, «Былое», 1906 г., август.

лютистического образа правления. Собственно, я не придаю практического значения тому, будет ли у нас республика или конституционная монархия. Я думаю, что можно мечтать и о республике, но что воплотится в жизнь та форма, к которой общество окажется наиболее подготовленным, так что этот вопрос не имеет для меня особенного значения». В данный момент В. Н. Фигнер, конечно, не руководилась какими-либо «дипломатическими» соображениями, — но привычка террористов «не придавать практического значения» вопросу о республике сложилась, вне сомнения, на почве дипломатии — по отношению к «либералам», единственной возможной материальной базе «Народной Воли», единственному возможному (хотя и не оправдавшему ожиданий) источнику ее средств. Под конец, в период уже разгрома, соглашались «помириться» с правительством даже на условии амнистии политическим, да некоторого расширения свободы печати, собраний и т. п. Логически развертываясь, история «Народной Воли» привела к положению вещей, диаметрально противоположному тому, с чего началось социалистическое движение 70-х годов: там была необъятная программа, ниспровергавшая «все», — и весьма невинная тактика; здесь программа была так «практически» обрезана, что даже движение 1905—1906 г.г. дало более крупные результаты, — но эта скромная программа сочеталась с тактикой самой революционной, какую только можно себе представить.

Слабость сил революционеров вела к террору. «Ни за что более, по нашему, партия физически не может взяться, — писал накануне казни Валериан Осинский находившимся на воле товарищам. — Но для того, чтобы серьезно повести дело террора, вам необходимы люди и средства...». И вот, в погоне за «средствами», пришлось радикально изменить социальный базис революции: крестьяне и рабочие могли еще дать «людей» — последние и давали, но «средства» могла дать только буржуазия. Что революционерам-социалистам приходилось рассчитывать на буржуазию, в этом одном была уже трагедия. Это моральное самопожертвование стоило того физического, на которое обрекал людей террор. Довольно часто приходится слышать, что 1 марта было «агонией» «Народной Воли»: гораздо правильнее сказать, что сама «Народная Воля» была агонией социализма 70-х годов. Но стоило ли, по крайней мере, вторично жертвовать собой — своею нравственной физиономией? Привычка к западно-европей-

скому трафарету, имеющая столь великую власть над русским интеллигентом, мешала народовольцам видеть тот факт, что империя Александра II была уже буржуазной монархией — насколько буржуазная монархия вообще была мыслима на данной ступени экономического развития. На страницах самой «Народной Воли» один весьма талантливый писатель, стоявший чрезвычайно близко к народовольцам, пытался растолковать им эту истину. «Вы боитесь конституционного режима в будущем, — писал Н. К. Михайловский осенью 1879 года, когда идеология народовольцев только складывалась. — Оглянитесь, это иго уже лежит над Россией»... «Россия только покрыта горностаевой царской порфирой, под которой происходит кипучая работа набивания бездонных приватных карманов жадными приватными руками. Сорвите эту когда-то пышную, а теперь изъеденную молью порфиру, и вы найдете вполне готовую, деятельную буржуазию. Она не отлилась в самостоятельные политические формы, она прячется в складках царской порфиры, но только потому, что ей так удобнее исполнять свою историческую миссию расхищения народного достояния и присвоение народного труда... Европейской буржуазии самодержавие — помеха, нашей буржуазии оно — опора» [1]). Если бы народовольцы могли читать буржуазную публицистику, не гласную и явную, газетную,— перед публикой все и всегда прихорашиваются, — а публицистику, так сказать, интимную — публицистику «конфиденциальных» записок, предназначавшихся для личного употребления высокопоставленных лиц, а не для печати, они могли бы найти там сколько угодно «оправдательных документов» к тезису Михайловского. Не менее крупный, в своем роде, идеолог другого крыла российской «общественности», Чичерин, писал в те времена в записке, которую он через посредство Д. А. Милютина доставил Лорис-Меликову: «...Власти необходимо прежде всего показать свою энергию, доказать, что она не свернула своего знамени перед угрозою... Против организованной революции должна стоять крепкая правительственная власть, организации можно противопоставить только организацию». «Толки о представительстве вызваны у нас вовсе не стремлением ограничить самодержавие. *В России большинство не ищет ни большей*

---

[1]) «Политические письма социалиста», «Народная Воля», № 2, от ноября 1879 г.

личной свободы, ни гарантий против власти; той общественной свободы, которой у нас пользуется гражданское лицо, совершенно достаточно. В советах власти призвать к содействию выборных людей сказывается иное побуждение, по крайней мере у тех, кто не примешивает к общественному делу личных целей. Русское общество чувствует, что в виду усложняющихся интересов и грозящих опасностей *правительству необходимо найти лучшие орудия*, и что оно найдет их только в его (общества) содействии...» [1]). От людей ждали, что они предоставят хотя бы свои «средства» в распоряжение революции, а они только о том и мечтали, чтобы сделаться «орудиями» правительства против этой самой революции... Чичерин был очень «правым» либералом, конечно, — но, тем не менее, это был, лично, чрезвычайно независимый человек, отнюдь не наемное перо и не политический карьерист какой-нибудь, в роде Каткова. А либералом он был настолько, что правительство Александра III распространило, как известно, и на него свою опалу. У «левых» либералов мы встречаем, в сущности, совершенно то же отношение к революции, только смягченное некоторою слезливою сентиментальностью по адресу «жертв увлечения». Вот, например, каким стилем выражались авторы известной московской записки (Муромцев, Чупров и Скалон), поданной тому же Лорис-Меликову в марте 1880 года. «Невозможность высказываться открыто заставляет людей таить мысли про себя, лелеять их втихомолку и равнодушно встречать всякую, хотя бы незаконную, форму их осуществления. Таким образом создается весьма важное условие для *распространения крамолы* — известное послабление со стороны людей, которые при иных обстоятельствах *отвернулись бы от нее с негодованием*» [2]). А между тем московская записка была все же самым ярким документом «земского движения» (характерно, что писали-то ее как раз не земцы, а публицисты и профессора), единственным, где вопрос о конституции ставился почти определенно. И только отдельные единицы из числа земцев решались хотя бы вступить в сношения с революционерами — но лишь со специальной целью отговорить их от террора. Так, в декабре

---

[1]) «Конституция гр. Лорис-Меликова», лондонское издание, стр. 22—23. Курсив наш.

[2]) *Богучарский*, цит. соч., стр. 211. Нам, к сожалению, записка была доступна только в тексте, изданном Кеннаном.

1878 года, И. И. Петрункевич, лидер тогдашних «левых земцев», с одним из своих товарищей вели в Киеве переговоры с Валерианом Осинским и его друзьями, — при чем «одним из первых условий для успеха конституционной агитации» ставилось «приостановление террористической деятельности революционеров, *запугивавшей известную часть нашего общества*», а равным образом и правительство [1]). «Правые» негодовали и предлагали себя в «орудия»; «левые» боялись и просили перестать... Народовольцам не оставалось надеяться ни на кого, кроме самих себя.

Революция превратилась в дуэль «Исполнительного Комитета», с одной стороны, русского правительства — с другой. Покушения, убийства и казни — казни, убийства и покушения наполняют, совсем и без исключения, хронику революционного движения с 1878 по 1881 год. При чем сразу бросается в глаза что *казней* было гораздо больше, чем покушений, — неизмеримо больше, чем убийств. С августа 1878 года по декабрь 1879 г. было казнено *семнадцать революционеров* [2]), а со стороны правительства за этот промежуток времени пали только *двое:* харьковский ген.-губернатор кн. Кропоткин и уже упоминавшийся нами шеф жандармов Мезенцев. Тут уже была не «смерть за смерть», а смерть за десять смертей. Желябов правильно резюмировал положение, сказав: «мы проживаем капитал». Сосредоточение всех покушений на *одном* лице — Александре II — еще раз диктовалось объективными условиями: приходилось спешить, чтобы сделать что-нибудь решительное раньше, чем правительство всех переловит и перевешает. На стороне народовольцев была опять неумелость русской полицейской организации: несколько набив руку на ловле пропагандистов, она, эта организация, снова растерялась перед террором. С пропагандистами было, сравнительно, легко: в городе достаточно было следить за молодыми людьми, обладавшими «нигилистическими»

---

[1]) Цитату из воспоминаний Дебагория-М-ча см. там же, стр. 402.

[2]) 2 августа 1878 г. в Одессе расстрелян Ковальский; 20 апреля 1879 г. в Петербурге казнен Дубровин; 14 мая в Киеве — Осинский, Антонов (псевдоним) и Брандтнер; 28 мая в Петербурге — Соловьев; 18 июня в Киеве — Бельчанский, Горский и Федоров; 10 августа в Одессе — Чубаров, Лизогуб и Давиденко; 11 августа в Николаеве — Виттенберг и Логовенко; 7 декабря в Одессе — Малинка, Майданский и Дробязгин. См. «Народная Воля», №№ 2-й и 3-й.

признаками (длинные волосы у мужчин, короткие у женщин, плед, синие очки и т. под.), чтобы с риском громадных ошибок, разумеется, уловлять «неблагонадежных». А так как за ошибки платились арестованные, а не полиция, то последняя могла относиться к своим промахам с равнодушием, истинно философским. В деревне было еще проще: достаточно было присматривать вообще за интеллигентныи людьми, которые там, в деревне, все наперечет. Народовольцы жили как все, одевались как все [1]), притом самая их малочисленность служила для них лишней ширмой: можно было арестовать сотню молодых людей с самой революционной репутацией и не быть уверенным, что среди них есть хоть один член Исполнительнnго Комитета. А к классическому средству новейших дней, к провокации, прибегли только уже в период распада «Народной Воли». Небогатая полицейская фантазия не сразу могла подняться до инфернальной картины — революционера-террориста, человека «обреченного», который согласился бы за хорошую сумму денег предать и свое дело, и своих товарищей. Провалы народовольцев были обыкновенно связаны с чрезвычайно сложной техникой их дела: типографию или лабораторию трудно было замаскировать иногда даже от очень неопытного глаза. Это было бы во сто раз легче, будь они окружены сочувствующей им массой: но этого как раз не было. Первый дворник, первая горничная, заметив что-то «подозрительное», спешили поделиться своими догадками с участком. Но без техники нельзя себе представить террористической организации, — в технике была вся ее сила, и, благодаря прогрессу этой техники, очень большая сила могла быть сосредоточена в руках очень немногих людей. Принято говорить о влиянии русско-турецкой войны 1877—1878 г.г. на общественное движение конца 70-х годов. Влияние это, обычно,

---

[1]) *Г. Богучарский* почему-то очень нервно относится к вопросу об образе жизни и костюме народовольцев (см. назв. книгу, стр. 239), но несомненно, что в этом, весьма частном, конечно, вопросе, его противник, «баснословящий» *Л. Мартов*, совершенно прав. Вот как описывает, например, в своих воспоминаниях, С. А. Иванова «хозяина» первой народовольческой типографии, Буха: «В тех случаях, когда господин Лысенко (под таким именем он был прописан) выходил на улицу, вид у него был настолько внушителен, шуба настолько хороша, и золотое пенснэ так удобно помещалось на носу, что дворник издали приподнимал шапку и отвешивал ему почтительный поклон». «Былое», 1906 г., сентябрь.

представляют себе так: война, с ее колоссальными стратегическими ошибками и сопровождавшим ее дипломатическим позором Берлинского конгресса, обнаружила всю неспособность правительства и тем страшно обострила недовольство общества этим правительством. Но мы сейчас только видели, какой невысокой температуры достигало общественное оживление вне революционных кругов. Не будем спорить — война действительно подняла общественную температуру на два, на три градуса: историческое значение этой оттепели было ничтожно — «общество» все же ничем себя не ознаменовало, кроме робких попыток «содействовать» и «примирить». Несколько больше, может быть, было *моральное* влияние войны на самих революционеров: истинно пошехонская неуклюжесть и трусость, обнаруженные правящими сферами на полях Плевны и в Берлине, сильно обнадеживали насчет успеха новой тактики [1]). Но несомненно громадное влияние на эту тактику *технического* опыта войны. Новые взрывчатые вещества, динамит, пироксилин, впервые были в широком масштабе использованы в этой войне, и сторонники партизанской тактики не могли без восторга видеть, как маленькая лодочка при помощи динамитной мины пускает на дно гордый броненосец, с его сложным механизмом, сотнями людей и огромной артиллерией. Вот что рассказывает автор уже цитированных нами воспоминаний об А. И. Желябове: «Желябов завел обширные знакомства с профессорами артиллерийской академии, разными техниками, офицерами разных специальностей. В Одессе, на рейде, в то время стояли всегда военные суда, миноноски и проч. Он видел действие мин и торпед на воде, присутствовал при разных опытах со взрывчатыми веществами. Эти же офицеры давали ему уроки. Оплачивались они дорого, очень дорого, что-то в роде 25 рублей за час. Вообще Желябов подготовлял себя чуть-что не к службе монтера. Он входил во все детали и как-то по неосторожности на каком-то опыте был ранен. Его очень полюбили, но как-то побаивались, он слыл здесь за «нигилиста», хотя специальных черт этого тургеневского типа у него не было. Покойный лейтенант Рождественский (не надо смешивать с цусимским героем) раза два брал его на свой миноносец, на котором делал разные экскурсии по Черному морю. А другой офицер П. постоянно

---

[1]) См. на этот счет «Воспоминания» *Дебагория-Мокриевича*.

говорил на артиллерийские темы. В гавани почти ежедневно матросы занимались рыболовством, что служило хорошим подспорьем к матросскому пайку. Обыкновенно на паровом катере они ездили верст за 10 — 12 от города к Большому Фонтану и, заметя стаю рыб, бросали в нее шашкой пироксилина на проволоке, замыкая в то же время ток. Взрыв, и масса оглушенной рыбы всплывала на поверхность. Эффект каждый раз превосходил ожидания Андрея Ивановича. У него раздувались ноздри, глаза готовы были выскочить из орбит, весь он дрожал от удовольствия» [1]). У Желябова, вероятно, еще сильнее загорелись глаза в ту минуту, когда он узнал, что это могучее орудие борьбы, динамит, можно приготовлять дома, кустарными средствами. Весь «центральный террор» держался на динамите [2]), и под конец народовольческая техника обогнала даже западноевропейскую: бомбы, приготовленные для 1 марта Кибальчичем, были настоящим «новым словом» в этой области. С другой стороны, именно здесь же выразилась вся беспомощность полиции: когда полицейские при обыске впервые нашли динамит, они стали его пробовать на язык и сначала успокоились, увидав, что это «что-то сладкое». Только потом, когда язык у одного из них стало щипать, они усумнились в невинности найденного продукта...

При отсутствии буфера — каким могла бы явиться либеральная буржуазия, если бы она существовала у нас в сколько-нибудь значительных размерах и в сколько-нибудь организованном виде — реакция правительства на действия революционеров

---

[1]) «Былое», 1906, апрель, стр. 224 — 225.

[2]) Всех террористических покушений на жизнь Александра II, удачных и неудачных, осуществленных или только подготовлявшихся, было 10. Из них лишь одно покушение Соловьева было совершено при помощи револьвера. Ранее этого, в августе 1878 г., хотели взорвать динамитом пристань в Николаеве, куда должен был сойти император. В июле следующего года в Симферополе готовились бросить динамитную бомбу и делали опыты. Вся осень того же года наполнена необычайно упрямыми и энергичными попытками взорвать царский поезд, — под Одессой и под Александровском безуспешно, под Москвой дело дошло до взрыва, но взлетел на воздух не царский, а свитский поезд, так как расписание было изменено из предосторожности. 5-го февраля 1880 г. Халтурин устроил взрыв в Зимнем дворце. В мае того же года был опять подкоп в Одессе, а в августе закладывали мины в Петербурге под Каменный мост. Затем, в январе 1881 г. начали рыть мину под М. Садовой.

могла носить только *полицейский, а не политический* характер. Политика предполагает компромиссы — с либеральной буржуазией они могли быть, с террористами их быть не могло. Сами народовольцы прекрасно это понимали, и горьким укором звучали их слова, обращенные к «земским людям»: «Нам ли одним предстоит вынести на своих плечах историческую задачу переживаемой родною страною минуты? Так пусть же помнят земские люди, что в наших руках есть только одно средство — террор. Не с легким сердцем мы к нему прибегаем, нас вынуждают к тому сила обстоятельств и бессилие людей. Будет еще кровь; будем мы казнить, будут нас казнить. Ответственность за эту кровь падает не только на обезумевшее правительство, а и на тех, кто, сознавая неотложную потребность родины (как сознают ее либеральные земские люди) и имея в руках другие, мирные и легальные, средства борьбы, прячутся по норам, как только на них прикрикнут: молчать! руки по швам»! [1]). «Сила обстоятельств и бессилие людей» были причиной того, что правительство Александра II всегда видело в террористах лишь нечто в роде бандитской шайки особого типа, с которой нечего разговаривать, которую можно только истребить и по отношению к которой «общество» играло роль попустителя. Ибо, ведь в самом деле: это «общество» столь многократно заявляло, что оно «гнушается крамолой»: чего же оно с нею не борется? Сначала, после первых террористических выступлений, это содействие «общества» полиции в борьбе с террором подразумевалось само собою: на этой мысли построено знаменитое «правительственное сообщение» 20 августа 1878 года (две недели спустя после убийства Мезенцева). «Правительство должно себе найти опору в самом обществе, — уверенно говорилось здесь, — и потому считает необходимым призвать к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилии вырвать с корнем зло, опирающееся на учение, навязываемое народу при помощи самых превратных понятий и самых ужасных преступлений. Русский народ и его лучшие представители должны на деле доказать, что в среде их нет места подобным преступлениям...». «Общество» и тут осталось совершенно пассивно: воззвания правительства и воззвания революционеров действовали на него одинаково слабо. Террори-

[1]) Листок «Народной Воли», № 2, 15 октября 1883 г.

стические покушения повторялись и после покушения Соловьева; объявив наспех пол России на военном положении (были назначены временные генерал-губернаторы в Петербурге, Харькове и Одессе, с предоставлением им прав главнокомандующих армией в военное время; те же права получили и постоянные ген.-губернаторы Москвы, Киева и Варшавы), Александр II образовал, под председательством Валуева, особое совещание, которое попыталось детализировать вопрос об «обществе» и расследовать, какие же, собственно, в последнем имеются «разумные и охранительные силы»? Это валуевское совещание имеет очень большое историческое значение: оно дало лейт-мотив всей будущей политике Александра II и Александра III. Оно проектировало, рядом с некоторым облегчением повинностей, лежащих на общественных низах — в особенности на крестьянстве — и некоторыми льготами для общественных групп, опальных только по старой памяти, а к тому времени уже совершенно невинных (раскольники и поляки), ряд репрессивных мер по адресу нового суда и печати. Феодальная реакция поднимала свою голову, — сама еще не зная, что история идет ей навстречу: основной вывод совещания — «*оказать частному потомственному землевладению ободрительное со стороны правительства внимание*» — мог бы стать девизом всей истории 80-х годов. Феодальная камарилья начинала понимать, что, чем дразнить среднее дворянство разными мелкими «шиканами», практичнее будет завербовать его к себе на службу: и экономика, когда-то сталкивавшая эти две группы, крупное и среднее землевладение, лоб со лбом, работала теперь на пользу феодальной камарильи. Террора, конечно, и валуевское совещание не остановило, но назначенный после нового удара террористов (взрыв Зимнего дворца 5 февраля 1880 г.) фактически диктатором России Лорис-Меликов, в сущности, пошел дальше по той же дороге. Начальник «Верховной Распорядительной Комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия» был бы человеком чрезвычайно подходящим для организации буржуазной оппозиции против революционеров, если бы такая буржуазная оппозиция у нас тогда существовала. Можно сказать, что в известном смысле он, со своей точки зрения, вполне разделял иллюзию народовольцев — будто на «общество» можно опереться. Само собою разумеется, что использовать это «общество» он надеялся в целях истребления «крамолы»: народовольцы пытались растолковать это

«обществу» с первых же дней «диктатуры сердца». «Назначение диктатором Лориса наши газеты приветствовали, как начало либеральной эры, — писала «Народная Воля». — Ждали от него чуть не Земского Собора. Оказалось, что ничего этого не будет. «Не толкуйте, пожалуйста, о свободе и конституции», сказал Лорис Суворину, я не призван дать ничего подобного, и вы меня ставите только в ложное положение». Теперь *политика Лориса определилась, он просто — «просвещенный деспот»*. Как человек неглупый, он понимает, что бессмысленно губить людей зря, по-тотлебенски и чертковски [1]), что гораздо выгоднее не мешать жить разным раскаявшимся насекомым... Вместе с тем Лорис понимает, что у него не отвалится язык от лишней либеральной фразы. Ну, а затем — человек действительно порядочный, мысль действительно независимая, — трепещи! *Просвещенный деспот* — это лучшая характеристика, какую можно дать Лорис-Меликову. «Деспотом» он был ровно в такой мере, в какой мог им быть старый кавказский генерал: не говоря уже о том, что он первый познакомил «общество» с применением полевого суда к политическим делам (покушавшийся на него Млодецкий был казнен в 24 часа), в дни «диктатуры сердца» вешали за одну найденную террористическую прокламацию. Но этому деспотизму не чужд был оттенок, который можно назвать «милютинским», в память Николая Милютина, — оттенок, выражавшийся в стремлении демократизировать по-своему феодальный режим, сделав его опорой общественные низы. Этот оттенок нашел себе выражение не столько в фантастической «конституции» Лорис-Меликова, сколько в программе сенаторских ревизий, которые он исхлопотал с первых же месяцев своей диктатуры. «Назначение ревизий не может, по моему убеждению, не произвести весьма *успокоительного* впечатления на общество, как новое доказательство высочайшего вашего величества попечения о благе народном», писал он в докладе Александру II по этому поводу. «Успокоение» и тут было главным, — но его предполагалось поставить прочно и на широком базисе. Ревизующие сенаторы должны были собрать данные и по вопросу об отмене подушной подати, и по вопросу об обязательном выкупе бывшими крепостными крестьянами их наделов,

---

[1]) Одесский и Киевский ген.-губернаторы, вешавшие особенно беспощадно.

и по вопросу о возможности фабричного законодательства («выяснить, насколько необходимы законы, определяющие возраст рабочих и продолжительность дневной и ночной работы»), и по поводу расширения прав земства и т. д. и т. д. Для «раскаявшихся» специально была выдвинута приманка в виде облегчения положения административно-ссыльных и пересмотра самого закона об административной ссылке, — но не уничтожения ее вовсе, однако. То, что эту программу, согласно с административной традицией, держали в тайне, только усиливало ее эффект: «общество» присочиняло к ней все, о чем оно мечтало — и досочинялось до «конституции Лорис-Меликова». А конституция вся состояла, как известно, в проекте — пригласить к участию в окончательной разработке материала, собранного сенаторскими ревизиями, *выборных от губернских земств*, т.-е. представителей крупных и средних помещиков, с совещательным голосом, разумеется. При чем участие их в дальнейшем законодательстве отнюдь не предполагалось само собою, — так что знакомый нам валуевский проект 60-х годов был, несомненно, левее. Оттого, может быть, Александр II, отвергший еще раз валуевский проект (он вновь всплывал в конце 70-х годов), и утвердил, хотя не без колебаний, доклад Лорис-Меликова.

На революцию велась, таким образом, правильная осада: террористов надеялись отрезать от всех общественных слоев, где они могли рассчитывать на какое-нибудь сочувствие. Была не забыта при этом и учащаяся молодежь: уволили крайне непопулярного творца «классической» системы гр. Толстого, и назначили на его место министром народного просвещения «либерала» Сабурова. А когда «высшая полиция» даст свои плоды — и революционная кучка окажется изолированной, полиция обыкновенная, тем временем организовывавшаяся и натаскивавшаяся, должна была покончить с нею несколькими ударами. К несчастию для «диктатуры сердца», всякая правильная осада требовала много времени. Низшая, чернорабочая, полиция далеко не была вся готова, когда Исполнительный Комитет, напрягши последние силы [1]), со своей стороны нанес решительный удар. Что поражает в трагедии 1 марта — если позабыть на минуту трагическую сто-

[1]) Желябов, как известно, был арестован еще до 1 марта, Михайлов — еще раньше. Фактическим организатором последнего покушения была С. Л. Перовская. О ней см. воспоминания *Ивановой* в «Былом» за 1906 г., март, и *С. Иванова* «Из воспоминаний о 1881 годе» там же, апрель.

рону этого события и того, что за ним последовало — это прежде всего полная беспомощность тех, кто должен был охранять особу Александра II. Полиции было отлично известно, что готовится покушение при помощи *бомб*. Три человека, держа в руках бомбы, такого размера, что спрятать их в карман было нельзя, *более часу* ходили взад и вперед по дороге, по которой должен был проехать император. Некоторые из них — например, Рысаков — наверное имели вид очень взволнованный; но вид этих взволнованных молодых людей, с какими-то таинственными свертками расхаживавших по такому месту, не обратил на себя внимания ни одного полицейского. Когда взорвалась первая бомба, не тронувшая Александра Николаевича, его конвой, его специальная охрана, скакавшая за ним в санях, не приняла самой элементарной меры предосторожности — не оцепила места взрыва, что и дало возможность Гриневицкому вместе с толпою подойти вплотную к императору и бросить вторую бомбу, уже смертельную для обоих, и того, кто бросил, и того, в кого бросили. 1 марта было крушением не *политики*, а *полиции* Лорис-Меликова; но так как его политика была лишь полицейским средством, то катастрофа в этой низменной области разрушила весь карточный домик лорис-меликовской «конституции». Александр III, как увидим дальше, осуществил большую часть реформ, намечавшихся «диктатором сердца», — но он осуществил их обычным бюрократическим путем, не прибегая к фиктивному содействию «общества». И если эти реформы не сняли с царствования Александра Александровича эпитета «реакционного», то виною тут было не падение Лорис-Меликова, а некоторые специальные условия, к рассмотрению которых и приходится теперь перейти.

---

3. Аграрный вопрос.

В своем дневнике Валуев окрестил положение вещей, наступившее непосредственно после 1 марта 1881 года, «эрратическим» [1]), — термин, не совсем обычный в политике, но лучше трудно придумать. Начался, действительно, короткий период блужданий и ошибок, притом с обеих сторон, нужно сказать.

---

[1]) От латинского глагола *errare* «блуждать» и «ошибаться», в то же время в геологии валуны называются «эрратическими камнями».

Не иным, как «эрратическим» актом приходится признать, например, знаменитое «письмо Исполнительного Комитета к Александру III», где революционное движение объявлялось «не таким делом, которое зависит от отдельных личностей», а «процессом народного организма»,—и в то же время ставились определенные условия «отдельной личности», новому императору,—условия, по соблюдении которых «процесс народного организма» должен был прекратиться или, по крайней мере, принять иную форму. Если бы Александр Александрович в эту минуту способен был рассуждать хладнокровно, он из одного факта такого письма мог бы заключить о растерянности своих врагов. Но вот как описывает состояние нового государя, в те же первые минуты, самый близкий к нему человек — Победоносцев: «Сегодня вечером, в 12 час. ночи (1 марта) бедный сын и наследник с рыданием обнял меня... Боже, как мне жаль его, нового государя! Жаль, как бедного, больного, ошеломленного ребенка. Боюсь, что воли не будет у него. Кто же поведет его?..» [1]). На последний вопрос очень обстоятельно ответил тот же Валуев. «В течение всего периода царствования с 8 марта по 29 апреля противоположные течения скрещивались около государя, и на первый взгляд могло казаться, что то одно, то другое брало верх. Гр. Лорис-Меликов продолжал, так сказать, наружно играть прежнюю роль, но, в сущности, он утратил свое руководящее или решающее значение. Беспрерывно обнаруживались отрывочные влияния Победоносцева и гр. Воронцова (Дашкова), преимущественно по части личных назначений и анормальной независимости действий, предоставлявшейся разным лицам... Ни гр. Лорис-Меликов, ни его вдохновитель Абаза (министр финансов) не решались бороться с этими вспышками прямого самодержавия. Они думали, как выразился Абаза, что игра таких вспышек пройдет, и они успеют окончательно утвердиться на своей почве и утвердить за собою прочное влияние. Последствия показали, что они ошиблись. Между тем рядом с ними и с Победоносцевым, и с гр. Воронцовым начинало упрочиваться еще другое влияние в лице графа Игнатьева». Вот сколько было охотников «вести»! И всякий из кандидатов в руководители вносил что-нибудь свое в эту какофонию: Лорис-Меликов — свой «просвещенный деспотизм» à la Николай Милютин, Абаза («тайный советник Стрекоза» щедринских рассказов

---

[1]) *Богучарский*, цит. соч., стр. 274 — 275.

этой поры) — свой русско-бюрократический либерализм, Игнатьев — свое славянофильство «последнего образца», Победоносцев — свой фанатизм Торквемады XIX столетия, и, наконец, в лице Воронцова-Дашкова, будущего главы «Священной дружины», выступало нечто до того «сложное», что в этой «сложности» исследователи до сих пор не могут как следует разобраться: с одной стороны, как-будто феодальный конституционализм виднеется, с другой — как-будто народовольчество навыворот [1]). Даже злосчастная «конституция Лорис-Меликова» не дает ясной раздельной черты. На докладе графа Александр II написал сначала: «он (доклад) составлен очень хорошо»; во время знаменитого совещания 8 марта большинство членов было на стороне Лориса [2]), — и даже гораздо после, победившая сторона, в лице Игнатьева и ближайших сотрудников Воронцова-Дашкова, носилась с какими-то проектами то земского собора, то прямо «парламентского образа правления» — непременно с палатой лордов. На совещании 8 марта вопрос, правда, ставился — председательствовавшим на нем императором — так: за конституцию или против нее? При чем Александр Александрович мобилизовал даже свои личные европейские наблюдения (в хорошо знакомой ему Дании). Но, судя по всем рассказам, своего мнения он не навязывал — и явившаяся кульминационным пунктом «совещания» речь Победоносцева поставила дело несравненно шире. Вот наиболее выдающееся место этой речи: «Благодаря пустым болтунам, что сталось с высокими предначертаниями покойного незабвенного государя, приявшего под конец своего царствования мученический венец? К чему привела великая святая мысль *освобождения крестьян*?.. К тому, что *дана им свобода, но не устроено над ними надлежащей власти*, без которой не может обойтись масса темных людей. Мало того, открыты повсюду кабаки, бедный народ, предоставленный самому себе и оставшийся без всякого о нем попечения, стал пить и лениться к работе, а потому стал несчастной жертвой целовальников, кулаков, жидов и всяких ростовщиков. Затем

---

[1]) См. в неоднократно цит. книге г. *Богучарского* главы 10 — 12.

[2]) См. подробный отчет об этом совещании в «Былом», 1906, январь, где только оно ошибочно названо «заседанием государственного совета».

открыты были *земские и городские учреждения, — говорильни, в которых не занимаются действительным делом, а разглагольствуют вкривь и вкось о самых важных государственных вопросах*, вовсе не подлежащих ведению говорящих. И кто же разглагольствует? Кто орудует в этих говорильнях? Люди негодные, безнравственные, между которыми видное положение занимают лица, не живущие со своими семействами, предающиеся разврату, помышляющие лишь о личной выгоде, ищущие популярности и вносящие во все всякую смуту. Потом открылись *новые судебные учреждения, — новые говорильни адвокатов*, благодаря которым самые ужасные преступления, несомненные убийства и другие тяжкие злодеяния остаются безнаказанными. *Дали, наконец, свободу печати, этой самой ужасной говорильне*, которая во все концы необъятной русской земли, на тысячи и десятки тысяч верст, разносит хулу и порицание на власть, посевает между людьми мирными и честными семена раздора и неудовольствия, разжигает страсти, побуждает народ к самым вопиющим беззакониям».

Все это, положим, приводилось как аргумент против «учреждения по иноземному образцу новой верховной говорильни» (о котором в разбиравшемся проекте Лорис-Меликова не было еще пока ни слова); но сопоставьте подчеркнутые нами фразы, — разве это не *полная программа контр-реформ?* Тут все можно уже найти, что отметило царствование Александра III, — от земских начальников, судебных новелл, стеснений печати до антисемитизма и даже до винной монополии, не связавшейся с этим царствованием только по случайной причине — преждевременной смерти императора. И если зловещие слова Победоносцева не остались пустым звуком, а воплотились в жизнь, то, очевидно, *тут* был какой-то «органический процесс», которого не предусмотрели писавшие Александру Александровичу члены Исполнительного Комитета. А в том, что «личности» тут были не при чем, они, конечно, совершенно правы: не Победоносцев своими интригами — которым так много уделяет внимания новейший историк эпохи — повернул ход русской истории, а «органический процесс» подобрал себе исполнителей, какие ему были нужны, в том числе и Победоносцева с Д. Толстым и Катковым.

Мы видели, что настроение буржуазных кругов в конце царствования Александра II — настроение политическое — можно скорее всего охарактеризовать, как *индифферентизм*. Буржуазия

не была настроена относительно правительства враждебно, но и горячей преданности ему (как это было в 1863 г., например) в конце 70-х годов нельзя заметить. Этот индифферентизм, это безразличие обе боровшиеся стороны истолковывали в свою пользу. Революционеры желали видеть в «обществе» оппозиционную силу и сетовали лишь, что эта сила слишком робка, слишком мало дает себя чувствовать. Правительство, в свою очередь, искало в «обществе» опоры против революционеров. В общем, более право, конечно, было правительство — что вскоре после 1 марта и доказал один маленький случай. Самым ярким образчиком «эрратической» политики был, несомненно, «бараний парламент» — совет из выборных от петербургского населения при петербургском градоначальнике ген. Баранове, устроенный с нарочитою целью привлечь «общество» к активной борьбе с крамолой. Выборы были открытые — каждый избиратель должен был вручить свой бюллетень местной полицейской власти, за своею подписью: это, конечно, очень ослабляет значение этих выборов, как выражения общественного мнения. При таких условиях трудно было ожидать, например, чтобы часто повторялись имена «левых» литераторов, профессоров и тому подобных лиц, начальству не угодных. Но выбирала исключительно буржуазия — домовладельцы и квартиронаниматели — люди, стало быть, лично не чересчур зависимые, и «совет» за короткое время своего существования держал себя сравнительно прилично [1]). И вот на этих выборах подавляющее большинство (176 голосов на 228 выборщиков — выборы были двухстепенные) получил генерал Трепов, — тот самый, в которого стреляла Вера Засулич. Он прошел *первым*, остальные получили голосов меньше. При всех минусах барановской системы это, несомненно, была манифестация — не революционная. По случаю вступления на престол Александра III ряд земских и дворянских собраний поднес ему адреса. В некоторых из этих адресов выражались конституционные надежды, — выражались робко и бледно, тем не менее, их было, конечно, достаточно, чтобы адреса повлекли за собою репрессии. Но мы видели, что конституционные надежды были в это время и наверху: земство шло в такт с известной частью правительства. Ни одного адреса, носившего оппозиционный характер, не было

---

[1]) См. о нем в ст. *П. Е. Щеголева*: «После 1 марта 1881 г.», «Былое», 1907 г., март.

не только подано (до этого бы и не допустили), но даже и проектировано: все были одинаково верноподданнические. Словом, нейтралитет «общества» был благожелательным более в сторону правительства, враждебным — более в сторону революционеров. Но все же это был только нейтралитет, и на то были свои причины. Правительство Александра II, когда-то рьяно пошедшее по пути буржуазной политики и внутри страны, и вне ее, в международных отношениях (с одной стороны, «великие реформы 60-х годов», с другой — завоевание Амура и Туркестана, рядом с воздержанием от вредного для развития русского капитализма вмешательства в европейские дела), к концу 70-х годов явно сбилось с этого пути. Русско-турецкая война 1877—1878 г.г. если и отвечала интересам каких-либо буржуазных групп, то групп немноголюдных (главным образом, московских промышленников и железнодорожных грюндеров), и притом интересам довольно отдаленным. Ближайшим образом это была растрата средств и сил, для народного хозяйства совершенно бесплодная и вредная. Внутренняя политика, по мере развития революционного террора, выродилась в систему мер шкурного самоохранения, для той же буржуазии прямо убыточных: одно обязательное дежурство дворников было равносильно налогу в 700.000 руб., наложенному на петербургских домовладельцев. О стране просто забыли: за каждым углом мерещился «нигилист» с бомбой, всецело гипнотизировавший тех, кто управлял. Оригинальность Лорис-Меликова в том и заключалась, что он пытался покончить с этой «охранной» точкой зрения в политике — во имя интересов самой же охраны, решив сделать что-нибудь и для управляемых. И *эту* сторону лорис-меликовской политики правительство Александра III усвоило вполне: оно, не приходится этого отрицать, старалось делать то, что было нужно если не всему «обществу», то, по крайней мере, наиболее влиятельной его части. И если в итоге его «дела» получилось *восстановление крепостного режима* в тех его частях, какие еще можно было реставрировать, то это потому, что *реставрация носилась в воздухе:* ее желали, к ней стремились. Правительство только сыграло свою классическую роль — «комитета правящих классов».

Среди факторов, создававших, в начале 80-х годов, настроение этих «правящих» классов, на первом месте приходится поставить *экономическую конъюнктуру. В промышленности*

господствовал *застой:* несколько цифр дадут о нем понятие лучше длинных рассуждений [1]).

Годы.	Количество привезенного хлопка (тыс. пуд.).	Количество выплавленного чугуна (тыс. пуд.).
1881	9.076	28.662
1882	7.755	28.237
1883	8.949	29.407
1884	7.373	31.106
1885	7.574	32.206

Для самого начала периода можно говорить даже больше, чем о застое. Вот как характеризует положение дела один современный публицист, цитируемый тем же автором: «Зимою 1880—1881 г.г. рабочие во всех отраслях промышленности были поставлены в самое бедственное положение. В Петербурге крупные заводы, особенно механические, стали распускать рабочих... Так, напр., на огромном заводе Берда, где прежде работало 3—4 тысячи человек, теперь осталось 1.000 рабочих, на Александровском заводе вместо 800 осталось 350 рабочих, на Сампсониевском вместо 1.200—1.500 только 450 человек, на заводе Нобеля вместо 900—1.200 около 600; на остальных механических заводах точно так же произошло значительное уменьшение числа рабочих. Вообще, миллионные обороты заводов сократились почти наполовину».

Таким образом, крупная буржуазия, промышленная—к началу 80-х годов уже видный общественный фактор—должна была быть настроена консервативно в силу своего экономического положения. Застой и кризис всегда переводят предпринимателей на оборонительную позицию; они стремятся только к тому, чтобы отстоять свои «обычные» дивиденды: классовая борьба обостряется, а в связи с ее обострением промышленники чувствуют все больше и больше симпатии к полицейской силе. Все это едва ли нужно разъяснять читателю, пережившему 1906—1909 годы. «Полевение буржуазии» всегда происходит на фоне промышленного подъема и оживления, которым устаревшие политические формы ставят препятствия; в минуты застоя буржуазия всегда «правеет». Но уже большая общественная сила, промышленная буржуазия

[1]) Данные заимствованы у г. *Туган-Барановского* «Русская фабрика» стр. 313 (по 2-му изд.).

в России 80-х годов далеко не была еще силой решающей,—какой почти она стала в недавние дни. Решающую роль продолжало играть *землевладение: крупное* — непосредственно державшее в руках политическую власть, *среднее* — господствовавшее в «местном самоуправлении», в земстве. Политическое настроение этих групп в первой половине века диктовалось, как мы видели, прямо и непосредственно — *хлебными ценами*. Вздорожание хлеба на европейском рынке сделало помещиков 50-х годов из крепостников либералами. На «крепких» ценах двух следующих десятилетий держалось «буржуазное настроение» русского дворянства при Александре II. Как обстояло дело при Александре III? Дадим говорить опять цифрам. Вот табличка, характеризующая изменения в ценах на *пшеницу и рожь* на главнейших европейских рынках за двадцатипятилетие с 1870 по 1895 год:

Годы.	Цены пшеницы. В Англии. (В марках за 1000 *кг.*)	В Пруссии.	Цены ржи. Пруссия. (Тоже.)
1871—75	246,4	235,2	179,2
1876—80	206,8	211,2	166,4
1881—85	180,4	189,0	160,0
1886—90	142,8	173,9	143,0
1891—95	128,2	165,5	148,5 [1])

Так обстояло дело на Западе; совершенно естественно, что русский производитель, вывозя свой хлеб за границу, получал за него все меньше и меньше.

Годы.	Вывоз всех хлебов. Миллионы пудов.	Цены за пуд. Пшеницы.	Ржи.
1871—75	193,2	144 коп.	78 коп.
1876—80	279,8	124 »	91 »
1881—85	294,0	118 »	98 »
1886—90	413,3	100 »	67,5 »
1891—95	440,5	81 »	65 »
1896	516,3	74 »	54 »

Цены русского хлебного экспорта дают возможность детализировать слишком суммарное впечатление первой нашей таблицы. Из последней видно лишь, что цены на хлеб в Европе, со второй половины 70-х годов, неуклонно падали — и особенно сильно

---

[1]) Глядя на эту последнюю цифру, читатели не забудут колоссальный русский неурожай 1891 года, сразу вздувший цену.

падали они как раз в 80-х годах. Русская таблица свидетельствует, что это падение происходило не одинаково равномерно для *всех* хлебов: пшеница падала неудержимо, рожь держалась гораздо устойчивее, а в начале 80-х годов даже *поднялась в цене*. Но мы уже знаем различное *социальное* значение обоих этих видов хлеба: *пшеница* всегда была *барским* хлебом, *рожь — мужицким*. Вот табличка, которая еще раз иллюстрирует это:

Земли.	% земли засеянной.			
	Пшеницей.		Рожью.	
	1881 г.	1903 г.	1881 г.	1903 г.
Частновладельч.	21,0%	27,6%	32,2%	27,6%
Крестьянские.	14,9%	18,7%	38,8%	35,1%

Мы не будем останавливаться на этом, чрезвычайно характерном, проникновении «белого хлеба» на крестьянскую землю: это явление лежит вне рамок вопроса, занимающего нас сейчас. Сейчас для нас важно, что падение хлебных цен в 80-х годах должно было сильнее отразиться на положении крупного, помещичьего, землевладения, нежели мелкого, крестьянского. Мы видели, что непосредственно после крестьянской реформы дворянство довольно прочно держало в своих руках землю; обычное представление об «оскудении» помещичьего класса для 60 — 70-х годов является предрассудком. Но оно становится ужасающей, для дворянства, истиной в 80-х и 90-х г.г. «Частная» (не надельная крестьянская) земля так распределялась у нас по сословиям и по годам:

Сословия.	Годы.		
	1877.	1887.	1900.
Дворяне	79,87%	68,25%	52,94%
Крестьяне	5,46%	13,15%	19,50%
Купцы и мещане	14,67%	18,60%	27,56%

Из владельцев более $^3/_4$ «частной» земли в 1877 году дворяне превратились к концу столетия во владельцев едва половины! Тогда как процент земли, состоявшей в частной собственности *крестьян*, увеличился за тот же период времени слишком *втрое*. По отдельным губерниям — и как раз тем, которые являются главными очагами зернового хозяйства — цифры еще рельефнее: в Казанской губернии за *восемнадцать* лет, с 1877 по 1895 год, дворяне потеряли *треть* своей земли (32,8%), в Самарской — *почти треть* (30,5%), почти столько же в Саратовской (27%). Рост же крестьянского землевладения выразился не только

в покупке дворянской земли лицами крестьянского звания, но, и еще рельефнее, *в колоссальном росте крестьянской аренды за эти годы*. Этот спрос на арендную землю выразился в не менее колоссальном росте арендных цен за конец 70-х и начало 80-х годов, — по ним-то мы и можем составить себе представление о размерах явления. В Бугульминском уезде той самой Самарской губернии, которая видела в эти годы такой разгром дворянской земельной собственности, вот какое изменение испытали *арендные цены:*

Годы.	Средн. арендная плата за десят. (в коп.). Земли казенные.	Удельные.	Частные.
1876—80	54,6	64,8	79,3
1881—85	121,7	122,7	153,2
% прироста:	122,9%	89,5%	93,2%

В Бахмутском уезде, Екатеринославской губернии, «последний период (1881 — 84 г.г.) ознаменовался значительным подъемом арендных цен, в $2^1/_2$ и $3^1/_2$ раза против максимальных цен предшествующего периода». В Сычевском уезде Смоленской губернии мы имеем следующую скалу арендных цен, по пятилетиям с 1866 по 1885 год:

Годы.	% отношение по наемной плате за пятилетие 1861—65 г.г.	Коэффициент возрастания для каждого предш. пятилетия.
1866—70	9	—
1871—75	37,7	26,8
1876—80	69,7	23,2
1881—85	150,1	47,2

По годам.	Коэффициент возрастания для каждого года.
1882	1,7%
1883	2,8%
1884	26,5%
1885	34,8%

Автор, у которого мы заимствуем эти цифры, при всем своем народничестве, дает факту объяснение совершенно не «народническое». В Хвалынском уезде (Саратовской губернии) особенно сильное возвышение цен (800 — 1.000%), говорит он, замечается в волостях с «цветущим» земледелием, где спрос на земли превы-

шает предложение. «Переходим к серии *причин вздорожания аренд*... Нельзя не заметить, прежде всего, что *в этом смысле влияет всякое проявление капитализма в применении его к земледелию*» [1]). Знаменитая *дифференциация крестьянства*, на которую возлагали такие надежды марксистские писатели 90-х годов, — надежды, несомненно отчасти обманутые историей следующего десятилетия, — относится главным образом именно к этому времени: некоторая аберрация марксистской статистики тем и объясняется, что в ее распоряжении были преимущественно данные земских переписей 80-х годов, — периода, когда проникновение буржуазных отношений в русскую деревню шло максимальным темпом, как сравнительно с предшествующими, так и сравнительно с последующими десятилетиями.

Основываясь на тех же, знакомых нам, крестьянских «бюджетах» Воронежской губернии, над которыми оперировал Щербина, В. Ильин дал такую выразительную статистическую картину *расслоения* руского крестьянства:

Количество рабоч. скота на семью.	% денежной части. Расхода.	Дохода.
0	57	55
1	46	41
2	44	46
3	41	42
4	45	41
5 и более	60	59

Наиболее «денежным» являлось в 80-» годах хозяйство самой бедной и самой богатой групп: сельского пролетариата и сельской буржуазии. Хозяйство «среднего» крестьянина было гораздо «натуральнее». А каких размеров достигало тогда это расслоение, показывает произведенное тем же автором, по конским переписям 1889 и 1891 г.г., вычисление количества *лошадей*, приходившегося на ту или иную группу крестьянства. Он резюмирует это вычисление так: «в руках 22» процентов дворов сосредоточено 9½ миллионов лошадей из 17 миллионов, т.-е. 56,3% всего числа. Громадная масса в 2,8 миллиона дворов совсем обделена, а у 2,9 миллионов однолошадных дворов лишь 17,2% всего числа

[1]) *Карышев*. «Крестьянские вненадельные аренды» («Итоги экономич. исследования России по данным земской статистики», т. II. Дерпт. 1892), стр. 332. Курс. наш.

лошадей [1]). «Крепкие» цены «мужицкого» хлеба создали расцвет крестьянского хозяйства, прежде всего выразившийся в превращении наиболее сильных элементов крестьянства в мелкую сельскую буржуазию. Продолжайся благоприятная для крестьянства конъюнктура дольше, — и в лице этой сельской буржуазии вырос бы грозный конкурент помещика. Но пора расцвета была короткая: со второй половины 80-х годов и ржаные цены стали падать так же неудержимо, как раньше падали пшеничные: наступило «оскудение» всей земледельческой России. Последующие конские переписи дают чрезвычайно быстро растущую *абсолютную убыль* крестьянского рабочего скота. Для Орловской губернии, например, мы имеем такие цифры:

1888 г.	221.989 лошадей.
1893 »	188.908 »
1899 »	177.539 »

«Если цифру 1888 года мы возьмем за 100, то получится такой убывающий ряд: 100; 85,1; 79,9» [2]). И это на протяжении всего *одиннадцати* лет — трети жизни одного поколения! «Расслоение» крестьянства продолжалось и теперь, конечно, но это было уже разложение не на «буржуазию» и «пролетариат» в европейском смысле этих слов, а на нищих и тех, у кого еще что-нибудь уцелело.

Наиболее наглядным статистическим показателем этой «разрухи» русского сельского хозяйства с конца 80-х годов являются *земельные цены*.

Для *черноземной* полосы их резюмирует такая табличка [3]).

Губернии.	Цена за десятину (в рублях). Годы. 60-е.	70-е.	1883.	1889.
Орловская	52	105	145	116
Тульская	48	95	139	119
Рязанская	50	92	122	107
Тамбовская	50	100	134	107
Пензенская	36	69	100	80
Воронежская	54	113	133	124
Курская	51	94	136	116
Средняя по черноземн. области	49	95	130	110

[1]) *В. Ильин,* «Развитие капитализма в России», стр. 92 и сл., 99 и сл. Для «разложения крестьянства» см. всю 2-ю главу.

[2]) Ст. *Анненского* в сборнике «Нужды деревни», т. II, стр. 564.

[3]) Заимствуемая нами из очерка г. *Семенова* во II томе изд. Девриена «Россия, полное географическое описание нашего отечества», стр. 201.

Высокие хлебные цены половины XIX столетия создали «дворянское манчестерство». Аграрный кризис должен был подготовить его катастрофу, и любопытнее всего, что эту катастрофу мы можем изучать как раз по произведениям того автора, который некогда был если не самым цельным и последовательным, то самым ярким и талантливым, самым ловким практически глашатаем этого самого «манчестерства». Кто лучше Кавелина мог объяснить в свое время самому непонятливому помещику все невыгоды крепостного режима? Кто находчивее мог придумать практические меры для мирного, безболезненного, наиболее для помещика выгодного перехода от крепостного хозяйства к «вольному труду»? Уже в 70-х годах этот прозорливейший из русских дворян должен был прийти к выводу, что «вольный труд» — для помещиков — не удался. «Из всех неблагоприятных условий деревенского хозяйства, которых немало, самое печальное и, к сожалению, самое безнадежное к скорому поправлению — это рабочая сила, которою мы располагаем. Рабочие у нас, как, вероятно, и везде в России, очень дороги и из рук вон плохи как в нравственном, так и в техническом отношении» («Из деревенской записной книжки» 1873 года). Как пример неслыханной «дороговизны» русских рабочих приводится косец, не соглашавшийся косить за 60 коп. в день (от Энгельгардта мы знаем, что косец мог накосить в день сена на 2 рубля); как пример нравственной негодности — горничная, которая *не крала* хозяйских яблок [1]), но она признавалась, что хотела однажды украсть, — не явное ли это доказательство глубокой развращенности? Каким градом сарказмов обрушился бы Кавелин 60-х годов на своего противника из «крепостнического» лагеря, если бы тот вздумал приводить такие «факты»! Но теперь другу Герцена и Николая Милютина приходилось самому, исподволь, подготовлять своего читателя к реставрации крепостного режима — и в его знаменитом «Крестьянском вопросе» (1881 года) мы найдем «в зерне» уже все меры, характеризующие крестьянскую политику 80-х годов: и необходимость *опеки* над крестьянством («до освобождения крестьян от крепостного права и правительственной опеки у них были свои защитники

---

[1]) Этот удивительный пример читатели могут видеть на стр. 791-й II тома «Собрания сочинений» Кавелина.

в лице помещиков, коронных стряпчих и других чиновников. Теперь они совсем предоставлены собственным силам, и им не к кому обратиться за помощью и защитой»); и необходимость «упрочить быт» крестьян, привязав их к месту и создав этим на месте резервную армию труда для помещиков («с упрочением быта земледельцев окрепла бы их оседлость, и прирост населения вызвал бы необходимость постепенного перехода к лучшим приемам земледелия, немыслимым при теперешней наклонности к бродяжеству»; «*избыток населения*, по мере его увеличения, *шел бы на потребности соседних крупных и средних хозяйств*...»); и симпатию к «прочным» крестьянским семьям («когда есть работа поблизости, крестьянин, в большинстве случаев, предпочитает держат сына, внука, племянника поблизости, у себя на глазах, зная по опыту и из примера соседей, что вне надзора, за глазами, молодые парни забалтываются...»); и, наконец, *иммобилизацию крестьянского землевладения*, «признав земли, отведенные в надел крестьянам, за неприкосновенную и неотчуждаемую собственность сельских обществ и предоставя членам обществ лишь право наследственного владения и пользования этою землею, без права ее закладывать» или иначе отчуждать.

И закон 12 июня 1886 года о найме на сельские работы, так энергически боровшийся с «нравственною недоброкачественностью» сельского батрака, и закон 18 марта того же года о семейных разделах среди крестьян, и закон 12 июля 1889 года о земских начальниках, и закон 14 декабря 1893 года о неотчуждаемости крестьянских наделов — все это законодательство «реакции» с полным правом могло бы признать своим, если не родным, то крестным отцом либерального публициста эпохи «великих реформ». И — нет надобности это говорить — фактическая обоснованность всех этих «реформ» была не выше фактической обоснованности жалоб Кавелина на дороговизну и распущенность русских рабочих. Хотите ли вы знать, как велика была опасность обезземеления крестьянства путем отчуждения надельной земли? Это выяснил государственный совет, обсуждая закон 14 декабря 1893 года: «из общего количества земель, полученных крестьянами в надел (96 миллионов десятин), выбыло из их владения за 28 лет, с 1861 по 1889 год, всего около 200 тысяч десятин, т.-е. 0,21%, при чем в эту цифру вошли, в значительной части, земли, отведенные обязательно под желез-

ные и почтовые дороги, кладбища и т. п.» [1]). Очевидно, как ни убедительно и красноречиво доказывал Кавелин необходимость в *интересах крестьянства* изъять из оборота надельную землю, нужно это было не крестьянам, а кому-то другому, как не крестьянам, конечно, нужна была «опека» — в лице земских начальников, а тем паче ультра-крепостнический закон о найме на сельские работы (настолько крепостнический, что он даже, как известно, почти и не применялся на практике: слишком далеко назад хватили!). Приглядевшись ближе, мы видим, что даже, несомненно принадлежавшая к разряду «симпатичных», кавелинская мысль — об организованной помощи крестьянам при покупке ими земли у помещиков — не выводит нас за пределы помещичьих интересов: раз в начале 80-х годов, в период «крепких» цен на рожь, крестьянин является жадным и желанным покупателем барской земли, несмотря на пшеничный кризис, поднявшим ее цену слишком на 30% , сравнительно с ценами за 70-е годы [2]). Учреждение *крестьянского поземельного банка* (18 мая 1882 года) опять-таки лишь по наружности было «крестьянской реформой», на деле и эта «реформа» была дворянская. Учреждение *дворянского банка* (21 апреля 1885 года) подчеркнуло только всю глубину кризиса; даже уступкою части земли крестьянам, даже сдачею в аренду другой части нельзя уже было более продержаться. Если хотели сберечь «разумную и охранительную силу», «заключающуюся в частном потомственном землевладении», — о чем так хлопотало еще валуевское совещание 1879 года, — не было другого способа, как взять эту «силу» прямо на казенное иждивение. Дворянству стали ссужать деньги на условиях более льготных, нежели сама казна их получала· платя по своим обязательствам, фактически, не менее 5%, государство «одолжало» помещика с 1889 года из 4½%, а с 1894 года — даже только из 4%, тогда как частные общества предшествующего периода брали 7%. Дело и началось с конверсии частных бумаг «Общества взаимного поземельного кредита» в гарантированные правительством 4½% закладные листы. А затем «извернулись» еще проще: выпустив в 1889 году по вздутому курсу выигрышный заем, получили деньги с публики, в сущности из 1%; после этого можно было благотворить

[1]) *И. М. Страховский*, в сборнике «Крестьянский строй», т. I, стр. 437.

[2]) См. нашу таблицу на стр. 228.

дворянству, уже не стесняясь; а что 90 миллионов рублей были отвлечены от производительного употребления, это, конечно, озабочивало всего меньше.

Но искусственным закреплением за «потомственным землевладением» его имений нельзя было ограничиться, — приходилось итти по пути «искусственности» дальше, закрепляя точно таким же путем за новыми государственными пенсионерами их власть на местах, власть, которая, без помощи «искусства», так же быстро стала бы уходить в руки иных общественных слоев, как и земля. Земское положение 1890 года органически связано со всем рядом мер «воспособления» дворянству, и считать его продуктом какого-нибудь реакционного самодурства можно менее всего другого. Мы знаем, что уже земское положение 1864 года обеспечивало господство помещиков над «местным самоуправлением». Практика пошла гораздо дальше закона. Назначенные Лорис-Меликовым сенаторские ревизии обнаружили совершенно невероятные факты из области крестьянского «представительства» в уездных земских собраниях. В одном из уездов Черниговской губернии непременный член уездного по крестьянским делам присутствия (должность, сменившая упраздненных в 1874 году мировых посредников), по закону имевший право лишь открывать крестьянское избирательное собрание, в действительности «на выборах сидел на председательском месте, принимал участие в совещаниях выборщиков, сам предлагал лиц баллотировать в гласные, сам первый же себя записал в список, баллотировался и был избран». «По данным другого сенатора, среди 209 гласных, избранных в 1878 г. сельскими съездами Саратовской губернии, насчитывалось 22 крупных землевладельца. Из таких крупных землевладельцев, избранных крестьянской курией в Саратовской и Самарской губерниях, было 5 уездных предводителей дворянства (состоявших ex officio председателями крестьянских присутствий), 4 «непременных члена», 2 брата уездного предводителя дворянства, 6 участковых мировых судей и т. д.». Третий сенатор заявлял в своем отчете, что крестьянами «большею частью в гласные избираются должностные лица, волостные старшины и волостные писаря, влиянию которых при обсуждении дел в земском собрании подчиняются остальные гласные от крестьян, опасаясь высказывать свои мнения и намерения; с другой стороны, волостные старшины и волостные писаря, по собственному их удостоверению, стеснены в свободе

выражения своего мнения тем, что по должности своей подчинены предводителю дворянства, председательствующему как в крестьянском присутствии, так и в земском собрании» [1]). При такой «традиции», введенное положением 1890 года *назначение* гласных от крестьян de jure губернатором, a de facto — земским начальником, в сущности почти не меняло дела. Нововведением «положения» приходится признать, главным образом, замену *земельного* ценза, на котором и ранее держалось дворянское господство в земских учреждениях [2]), цензом *сословным:* первый давал дворянам перевес, как *землевладельцам*, второй обеспечивал этот перевес за лицами дворянского происхождения, как таковыми, независимо от количества земли, остававшейся в руках дворянского сословия в данной местности. Припомните *прогрессию убыли* этой земли, — выразительницей ее может служить таблица, приведенная нами на стр. 227, — и «экономический базис» закона 1890 г. встанет перед вами со всею ясностью. Ни Победоносцев со своим реакционным мистицизмом, ни Катков со своим «человеконенавистничеством», никакие, словом, идеологические факторы тут не при чем: земство грозило уплыть из рук помещиков, как уплывала земля; но помещики одинаково не желали расставаться ни с землею, ни с земством.

Возвращение к сословному строю было одним из самых ярких признаков ликвидации буржуазной монархии: ведь это был, в сущности, эквивалент замены экономического принуждения (в данном случае — *господства общественного класса*) внеэкономическим (*господство сословия*, утратившего экономическое верховенство). Но, очевидно, что настоящим полем этой ликвидации должны были явиться не губерния и не уезд, а средоточие хозяйственной деятельности дворянина — *деревня*. Оттого *закон о земских начальниках* (изданный все в том же, кульминационном для законодательства Александра III, 1889 г.) гораздо глубже врезался в жизнь местного населения, нежели даже новое земство. На счет каприза злой реакции земские начальники могут быть отнесены так же мало, как и сословное земство следующего 1890 года. Напротив, идея этой новой

---

[1]) См. ст. *С. Я. Цейтлина* «Земское самоуправление и реформа 1890 года» в «Истории России в XIX в.», изд. Гранат, т. V, стр. 80—87.

[2]) В уездных земских управах дворян и чиновников было 55,7%, в числе гласных губ. земск. собраний те и другие составляли 81,5%, в составе губернских управ — 89,5%. См. цит. ст. *Цейтлина*.

должности была заимствована «правительством», вне всякого сомнения, у «общества» — воспринята из среды того самого земства, которое якобы этим правительством угнеталось и служило очагом всяческих либеральных «движений». В то же время, историческая связь законодательства Александра III с лорис-меликовскими планами опять выступает здесь достаточно отчетливо. Вопрос о реформе крестьянских учреждений был поставлен циркуляром 22 декабря 1880 года—в разгар «диктатуры сердца». Он обсуждался, в начале 80-х годов, одновременно в правительственной комиссии (так называемой «кахановской», по имени ее председателя) и в комиссиях различных губернских земств. Правительственная комиссия, со свойственною бюрократам отсталостью от жизни, высказывалась было за довершение земской реформы 1864 года книзу — путем создания всесословной волости. Более чуткие к веяниям времени земства решительно восстали против этой идеи. Одно из них, орловское, откровенно мотивировало свои возражения тем, что, при наличных условиях, во всесословной волости взял бы верх «тот влиятельный в сельской жизни и вредный класс», большинство которого составляют «мещане и разночинцы», иначе говоря, *буржуазия*. «Таким образом, низменные и своекорыстные интересы получат преобладание в ущерб интересам общинным, а равно и (весьма хорошо это «равно»!) *интересам* относительно *крупного личного землевладения*, представители коего будут с первого же шага отстранены численною силой». Но если всесословной волости не нужно, это отнюдь не значит, что не нужно и никакой реформы крестьянского управления. Напротив, необходимо было оградить крестьян от «низменных и своекорыстных интересов», и лучше всего, конечно, могли это сделать представители «относительно крупного землевладения». Отсюда, симбирская, например, комиссия находила совершенно необходимым «во главе волостного управления поставить лицо, облеченное значительною властью, независимое по своему положению, представляющее гарантию необходимых нравственных и умственных качеств, способное дать защиту сельскому населению от обид и притеснений и принять на себя ответственность за порядок и спокойствие в волости». Идея эта была чрезвычайно популярна в земских комиссиях, и желательное для симбирцев «лицо», которому они давали наименование «земского судьи», встречается нам в целом ряде и других проектов («участковый член

уездной земской управы» воронежского проекта, «попечитель» пензенского, «окружной член управы» тульского, «начальник земской волости» вологодского и т. д.). Закон 12 июля устранил одну существенную черту проектов — *выборность* этой должности, но так как выбираться «лицо» должно было помещичьим земством, то *сословный признак* земского начальника — непременно из дворян — в полной мере удержал ее социальный смысл, как опека помещика над крестьянином.

Закон 12 июля 1889 года создал в деревне положение, очень близкое к тому, какое получилось бы, если бы крестьяне были освобождены по киселевскому проекту 30-х годов. Люди были изъяты из числа объектов частной собственности, но это было почти все, что уцелело от реформы 19 февраля. От «гражданских прав» сельского обывателя не осталось почти ничего. Ст. 61 положения 12 июля предоставила земским начальникам право арестовывать крестьян без суда и без объяснения причин. Результатом был такой, напр., случай (один из тысячи аналогичных, конечно): один из земских начальников Нижегородской губернии подверг аресту целый крестьянский сход, в несколько сот человек, за нарушение какого-то своего «обязательного постановления»; только грандиозность операции — невозможно было найти помещения для такого количества «арестантов» — обратила на нее внимание высшего начальства: дело дошло до сената, который приговор земского начальника и отменил. В одной Тульской губернии, за период времени 1891 по 1899 год, статья 61 была применена 24.103 раза — в среднем по 2.678 раз в год. А между тем, ст. 61 в сущности — роскошь. Земские начальники имели полную возможность подвергать не только аресту, но и телесному наказанию, не вмешиваясь в дело непосредственно, через волостной суд, прямо им подчиненный: ст. 62 предоставляла земскому начальнику право налагать на волостной суд дисциплинарные взыскания — не исполнить требования земского волостной суд никогда не посмел бы. Оттого, хотя право порки новому крестьянскому опекуну и не было предоставлено, все отлично знали, что применение порки в том или другом участке всецело зависит от усмотрения местного земского начальника: строгий начальник — порка каждый день, добрый — волость вовсе забывает о розгах. Совсем как со строгим и добрым барином в старое время. Но барину его дискреционное право карать и миловать нужно было, прежде

всего, для поддержания *экономической* дисциплины в деревне. В Рязанской губернии, по словам местного «комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности», никакое постановление (сельского схода) по вопросам самым узким, *близко относящимся до сельскохозяйственных нужд*, не только не утверждается, если не было предварительного разрешения (земского начальника) на обсуждение вопроса, но еще может караться арестом». В Самарской губернии требовалась санкция земского начальника даже для найма «пастуха и конюха». Само собою разумеется, что ни один приговор о семейном разделе не обходился без такой санкции, как не посмела бы делиться крестьянская семья без разрешения барина в крепостное время. Как и барин, «земский» мог капризничать, мог предаваться фантазиям маниловского типа за счет своих крестьян: в Стерлитамакском уезде Уфимской губернии, например, «обсаживались проселочные дороги деревьями, — и крепко штрафовали; масса была потрачена труда и времени, а результаты самые плачевные: нет ни одного дерева». Но гораздо чаще, разумеется, вмешательство носило экономически-целесообразный характер. В Рязанской губернии один земский начальник скупил по приговорам крестьян у них право на их местные, давно открытые для общего пользования, дороги и закрыл их благодаря тому, что эти дороги не были показаны на планах специального межевания. Таким путем этот господин регулировал местную сельскохозяйственную промышленность: когда крестьяне и вообще продавцы везли картофель к нему, на его крахмальный завод, дорога открывалась, а когда кто-либо вез этот картофель на завод соседа-землевладельца, сторожа никого не пропускали, и, при необходимости объезда, дорога для конкурентов удлинялась на несколько верст. Тут цели не выходили из области индивидуально-хозяйственного интереса: еще чаще они были экономически-классовые. Дисциплинарные взыскания налагались, по словам одного очень осведомленного наблюдателя, за такие, преимущественно, проступки: «ушел плотник, работающий поденно у помещика, скосить свою рожь — садись под арест на двое суток; не платит мужик долги кабатчику — садись» [1]).

---

[1]) Из «Записок земского начальника», г. *Новикова* — цитир. в ст. *С. М. Блеклова* «История России в XIX веке», т. V, стр. 153. Другие цитаты см. в ст. г. *Розенберга* «Земские начальники» в сборнике «Нужды деревни», т. I.

Но уничтожение зародышей буржуазного правопорядка в деревне не могло остаться местным делом крестьянских низов и не коснуться «политических надстроек». Как реформа 61 года была сигналом и для «нового суда», и для нового, юридически бессословного, самоуправления, так контр-реформы 80-х годов должны были отразиться и на суде, и на земстве. Какое влияние имели они на судьбу последнего, мы уже видели. В области *суда* феодальная реакция выразилась, прежде всего, в усилении *сословного* элемента, как и надо было ожидать. По закону 7 июля 1889 года (все тот же год опять!) все преступления по должности, т.-е. все случаи, где подсудимым являлась власть, в лице хотя бы ничтожнейшего своего представителя, были изъяты из ведома суда присяжных и переданы судебным палатам, с участием «сословных представителей». Но эти последние, начиная с предводителей дворянства и кончая волостными старшинами, сами были чиновниками, — закон 7 июля 1889 года вводил для российского чиновничества своего рода «суд пэров», еще дальше отодвинув границу, которой не могли переступать учреждения «буржуазного» типа. Даже околоточный надзиратель не подлежал уже их ведению! Зато все, что подлежало ведению полиции до судебной реформы, опять в это ведение вернулось Положение «о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия», «положение об охране», как короче говорят обыкновенно (14 августа 1881 года), предоставило администрации, между прочим, «давать распоряжения о закрытии торговых и промышленных заведений как срочно, так и на все время усиленной охраны». На ряду с правом «воспрещать отдельным лицам пребывание в местностях, объявленных на положении усиленной охраны», это возвращало дело снова к тому порядку, когда Третье отделение делало «экономическую политику» — и из судебных процессов (хотя бы дело московского градоначальника Рейнбота) мы знаем, что практика в этом случае не отставала от теории. Как мы видим, крушение дворянского м нестерства унесло в своем водовороте много такого, что не стояло ни в какой, казалось бы, даже отдаленной связи с аграрным кризисом: и между тем, нельзя не отметить характерного совпадения, что режим Николая I, так удачно реставрировавшийся 80-ми годами, сложился на почве такого же кризиса! Так сходные причины дают сходные последствия, на расстоянии даже 50-ти лет. Но *полного* сходства мы стали

бы ждать напрасно. При Николае I помещик, купец и крестьянин исчерпывали весь наличный классовый состав общества. Только к концу его царствования появился свободный рабочий. К концу царствования Александра III этот рабочий был уже крупной общественной силой. Не существовавшая в России первой половины XIX века классовая противоположность буржуазии и пролетариата, к 90-м годам этого века не только существовала объективно, но и сознавалась уже достаточно отчетливо. «Реакция» 80-х годов была попыткою возродить николаевский режим в обществе уже европейского типа. Реакции удалось, на время, завладеть деревнею: но можно было заранее предсказать, что в городе ее победа не может быть такой полной, какой была она в 20-х годах. Так и случилось.

ГЛАВА XVII.

Внешняя политика буржуазной монархии.

Казалось, что Крымская кампания навсегда покончила с *империализмом* николаевской эпохи. На двадцать лет исчезает со сцены наиболее бьющий в глаза его признак — *промышленный протекционизм*. Таможенные тарифы 1857—1868 г.г. были самыми льготными, какими пользовалась Россия в XIX столетии — если исключить короткий фритредерский период в царствование Александра I (1819—1822 г.г.): чугун, например, был в это время обложен в 9—10 раз легче, чем теперь, машины — в 8 раз легче, и т. д. Финансово-экономическая литература 60-х г.г. дает почти сплошной хор фритредеров, — голоса протекционистов почти не были слышны, и, во всяком случае, прислушивались не к ним. Одна из наиболее ранних — и наиболее простых и ясных, в то же время — формулировок господствующих взглядов была дана «Экономическим Указателем» Вернадского, самым популярным из журналов этого рода в те дни. «При свободе торговли положение государств земледельческих самое выгодное, и, следовательно, Россия, как представительница этих государств, при осуществлении идеи о свободе торговли, имела бы, если не первенство, то, по крайней мере, огромный вес в системе мировой промышленности и торговли... *Две крайние точки в системе современной производительности Европы составляют два государства — Россия и Англия, первая — в полном смысле слова земледельческая держава, вторая — мануфактурная*. Обширность России, качество земли ее, делает ее обильным, можно сказать неисчерпаемым, источником сельских произведений... обрабатывание этих самых произведений, сообщение им первой, необходимой для употребления формы, должно быть естественным занятием России» [1]).

[1]) Цитаты у г. *Туган-Барановского* «Фабрика», стр. 523, II изд.

Соперничество России и Англии было бы с такой точки зрения, в самом деле «борьбой слона с китом». Делить тем, кто дрался под Севастополем, оказывалось, было совсем нечего. Восторжествовавший 19 февраля аграрный капитализм, повидимому, окончательно оттеснил на задний план капитализм промышленный. А так как международные отношения строятся, в конечном счете, на отношениях экономических, то и вся система дружбы и вражды, характеризующая царствование Николая I, должна была подвергнуться радикальной перестройке. В 1855 году Россия воевала с Францией и едва не начала войны с союзницей этой последней, Австрией: всего 4 года спустя, в 1859 г., Россия действовала *вместе* с Францией *против* Австрии. Франко-русский союз оказался недолговечен: еще через четыре года Россия оказывается рядом с Пруссией против Франции [1]). Но экономическая подкладка союзов не переменилась: из союзницы одной «мануфактурной» державы Россия стала союзницей другой, враждебной первой, но тоже «мануфактурной». Русско-прусский союз 60—70 г. г., так помогший превращению Пруссии в Германскую империю, до смешного напоминает русско-английский союз начала XIX века. До перехода Германии к аграрному протекционизму (1879 — 1885 г.г.) она была главным потребителем русской ржи и одним из главных — пшеницы, а по ввозу фабрикатов в Россию она занимала первое место, обогнав Англию, хотя на немного, впрочем. Только увидав перед собою барьер *хлебных пошлин*, ставший особенно заметным с 1885 г., руский помещик почувствовал, что перед ним, по ту сторону Вислы, не друг, а враг; немецкий фабрикант начал чувствовать охлаждение несколько ранее, с 1877 г. — но окончательный разрыв дружбы и с этой стороны датируется тем же концом 80-х годов.

Русско-прусский (вначале — потом русско-германский) союз был осью, около которой вращалась русская внешняя политика

---

[1]) Теперь, после опубликования Филлиповичем секретной английской переписки по поводу польского восстания 1863 г., не может быть сомнения, что коалиция, которую пытался организовать в этом году Наполеон III, была направлена своим острием не против России но против Пруссии: заступничество за Польшу было лишь предлогом начать войну на Рейне. Комбинация сорвалась на нерешительности Австрии, побоявшейся попасть в клещи между Пруссией и Россией; за эту минуту трусости Австрия жестоко поплатилась три года спустя при Садовой.

в промежутке между польским восстанием и турецкой войной 1877 — 1878 г.г. В официальных и официозных русских публикациях — других почти нет — можно найти очень красноречивые рассуждения насчет той пользы, какую извлекла из этого союза бисмарковская Пруссия. Россия в этих публикациях представляется бескорыстным и самоотверженным другом, которому заплатили — на Берлинском конгрессе 1878 г. — черной неблагодарностью. Упомянутая выше, в примечании, английская секретная переписка — совершенно случайно попавшая в руки польских ученых и благодаря этой случайности ставшая достоянием науки — служит достаточно внушительным примером того, какие сюрпризы скрывают тщательно охраняемые от взоров непосвященных дипломатические архивы различных европейских государств [1]). Закулисную историю русско-германского союза, составленную по *документам*, написать можно будет только теперь, после октябрьской революции. Но кое-какие сближения чисто внешних, объективных фактов возможны были уже и ранее, — возможны были и на другой день после событий; а кое-какие выводы можно сделать уже из одних таких сближений. Русско-прусский союз датируется февралем 1863 г. (т. наз. «конвенция Альвенслебена»); уже к осени этого года он достаточно «оправдал себя»: заступившиеся за Польшу державы, с Францией во главе, должны были отступить перед грозной аттитюдой Пруссии и России. А следующей весной, в мае 1864 г., начинается вновь, прервавшееся в 1853 г., *наступление русских в Среднюю Азию*. Как относилась к этому наступлению *Англия* (см. выше, стр. 38), мы уже знаем. В период русско-французского союза — весьма знаменательно — и речи не было о продолжении дела, начатого Перовским (взятие этим последним кокандской крепости Ак-Мечеть, теперешнего «Перовска», было последним эпизодом движения, начавшегося при Николае I): Англия была союзницей Франции, хотя все менее и менее надежной. Поворот к русско-прусскому союзу сейчас же возродил русский империализм в том пункте, где он мог встретить наименьшее сопротивление. Первые шаги по давно оставленной

[1]) Подлинные дипломатические документы различных европейских держав, — не исключая Англии и Франции, — если они моложе, примерно, 1850 года (для различных государств сроки различны), доступны для пользования только с особого разрешения, которое дается очень скупо и лишь вполне «надежным» людям.

дороге были робкие; поход ген. Черняева был возвещен Европе циркуляром кн. Горчакова, написанным явно конфузливо и оправдывавшим действия русских войск географическими соображениями, не имевшими никаких точек соприкосновения с реальною географией тех мест. Русское движение направлялось в старинные культурные очаги, где, по отзывам официальных русских наблюдателей, «земледелие находится в прекрасном состоянии и дает блестящие результаты» [1]). А циркуляр толковал о каких-то «полудиких, бродячих народах», «без твердой общественной организации». Важнее этой безусловно «не твердой» географии было *политическое* обещание кн. Горчакова, что русские завоевания ни в каком случае не пойдут далее *Чимкента*, т.-е. что Россия не намерена распространять свое господство на междуречье Аму и Сыр-Дарьи. Мы сейчас увидим, какое это имело международное значение. Но дипломатические канцелярии — добросовестность которых в этом вопросе признавала и наиболее заинтересованная сторона, английская дипломатия [2]) — были не в силах остановить победоносный разбег русских генералов. Летом следующего года Черняев взял Ташкент и, после неудачной, но тоже, надо думать, вполне добросовестной, попытки образовать из этого города особое государство (помимо, кажется, всякого желания самих обитателей Ташкента — они-то, во всяком случае, империализмом не страдали), он был попросту присоединен к России: северная половина междуречья, долина Сыр-Дарьи, стала прочным русским владением. Очень характерно, что уже колебания насчет Ташкента — быть особому ташкентскому государству или нет? — разрешились непосредственно после событий, не имевших к Средней Азии, казалось бы, никакого отношениия: летом 1866 г. Австрия была разгромлена Пруссией, и западная союзница России стала великой державой, а в августе того же года Ташкент был присоединен к России. Но еще характернее, что прусские победы на полях Богемии каким-то мистическим образом дали новый толчок русскому движению в Азии, уже к долине Аму-Дарьи, до сих пор остававшейся, безусловно, вне пределов русской

---

[1]) Слова г. *Гулишамбарова* о Хивинском ханстве. См. «Экономический обзор туркестанского района, обслуживаемого средн.-аз. жел. дор.», Асхабад, 1913, стр. 165.

[2]) См. об этом у *Мартенса* «Россия и Англия в центральной Азии», стр. 42 английского перевода.

досягаемости. Объявив ташкентцам, что они стали русскими, оренбургский ген.-губернатор Крыжановский «вступил в бухарские владения и штурмом взял города Ура-Тюбе и Джизак» [1]). Цитируемый автор, дипломат по профессии, очень хотел бы изобразить это дело Крыжановского, как результат «нарушения преподанных ему наставлений»: так сильна была традиция кн. Горчакова среди русских дипломатов, даже в тех случаях, когда они писали не дипломатические бумаги! Но из приводимых им же фактов видно, что Крыжановский был сменен как раз за противоположное: за несвоевременное заключение мира с Бухарой. Присланный на его место из Петербурга новый, уже *туркестанский*, ген.-губернатор Кауфман самым энергичным образом продолжает начатое движение вплоть до того момента, когда он взял Самарканд и, завладев течением Заравшана, снабжающего водой бухарское ханство, стал фактическим хозяином этого последнего: после этого номинально бухарскому эмиру оставили его «независимость».

Уже за три года до этого, при первых известиях о походах ген. Черняева, английское правительство обратило внимание на возрождение николаевского империализма в Средней Азии. Обещание Горчакова насчет Чимкента было косвенным ответом на английские страхи, а столь быстро доказанная ненадежность обещания не могла, разумеется, успокоить этих последних. Но дать более определенные обязательства русский министр иностранных дел теперь поостерегся. События 1866 — 1868 г.г. обратили на себя внимание уже не только английских дипломатов, но и английского общественного мнения. Крупнейший авторитет по азиатским делам в глазах этого последнего, известный путешественник сэр Генри Раулинсон, составил в 1868 г. наделавшую огромного шума записку, изображавшую русские завоевания в Средней Азии, как начало систематической атаки на *Индию*. Линия Чимкента, линия Ташкента, линия Самарканда образно сравнивались Раулинсоном с рядом параллелей, приближающихся к осажденной крепости: когда Мерв и Герат будут захвачены этими параллелями, русские будут на гласисе, и тогда начнется штурм. Английский ученый делал слишком много чести русскому правительству, приписывая ему столь строгую систематичность действия: можно с полною уверенностью при-

---

[1]) *Татищев.* «Александр II».

нять, что завоеватели Туркестана тогда еще сами хорошенько не знали, какое именно употребление сделают они из своих завоеваний. Просто, отдохнув от крымского погрома, они вновь принялись за прерванное им дело, подчиняясь своего рода инстинкту, выработавшемуся за предшествовавшие 40 лет. Но англичане, в своей колониальной политике, ничего не делают инстинктивно и наобум: Раулинсон судил о русских по себе — и не мог не видеть, что, с захватом не только Сыр, а и Аму-Дарьи, прорезывающей бухарские владения, русские в смысле нападения на Индию оказываются поставленными несравненно более благоприятно, нежели англичане в отношении обороны этой последней. В образе Аральского моря и Аму-Дарьи Россия имела отличный водный путь, подходивший почти вплотную к горным проходам, являющимся воротами из Средней Азии в Индию. Насчет доступности этих проходов для современной армии, с обозом и артиллерией, ничего определенного тогда не знали не только русские, но и англичане: знали только, что все предшествующие завоеватели Индии, двигавшиеся с севера, этими проходами пользовались, — этого было достаточно для того, чтобы опасения Раулинсона не казались бессмысленными. А если прибавить сюда газетные статьи на ту же тему некоторых русских, довольно высокопоставленных и осведомленных (как ориенталист Григорьев, скоро ставший начальником главного управления по делам печати), возможность начинала казаться несомненностью. Что могла противопоставить Англия новому нашествию северных людей на индийский полуостров? Тут надо принять в расчет, что в дни записки Раулинсона *индийская железнодорожная сеть почти не существовала.* На всю Индию было с небольшим 4 тысячи миль рельсовой колеи, из которых на северный конец, Пенджаб, приходилось всего 300 миль. Другими словами, мобилизация англо-индийской армии представляла огромные трудности. И еще труднее было доставить этой армии подкрепление из метрополии: *Суэзский канал еще не был открыт*, и сообщения Индии с Англией шли в объезд Африки. Стоит сравнить, на карте, длину водного пути, имевшегося в распоряжении русских (Аральское море и Аму-Дарья), с английской дорогой вокруг Капа, чтобы решительный перевес России в этом отношении сразу бросился в глаза.

В начале 1869 г. английский министр иностранных дел, лорд Кларендон обратился к русскому послу в Лондоне с формальным

запросом: как ему успокоить английское общественное мнение и предупредить осложнения, могущие возникнуть между двумя правительствами по поводу Средней Азии? Запрос Кларендона был исходной точкой длинного конфликта, закончившегося юридически только в наши дни (англо-русской конвенцией 31 августа 1907 г.): фактически, конфликт потерял свою остроту уже с середины 80-х годов. Но до этого бывали моменты большого напряжения — и, однажды, дело дошло даже до войны, правда, не непосредственно между Россией и Англией, а только между Россией и Турцией. Последняя в это время была, однако же, настолько явно клиенткой Англии, помогавшей туркам прямо деньгами и оружием, а косвенно даже и вооруженной силой (появление английского флота перед Константинополем в начале 1878 г.), что *политически* спор воспроизводил вполне точно кризис 1830 — 50-х г.г., только без севастопольского финала. Мы скоро увидим, что и экономические корни кризиса были те же самые. Пока для ясности остановимся на его внешнем ходе. В ответ на английский запрос барону Бруннову, представлявшему тогда Россию в Лондоне, было поручено дать «положительное уверение», что русское правительство «рассматривает *Афганистан*, как находящийся всецело вне сферы русского влияния». Русских спрашивали, зачем они зашли так далеко. В ответ на это русские намекали, что они могли бы пойти и дальше, но, пока, не хотят. При чем и эта последняя уступка была обусловлена довольно неприятным для англичан ограничением: не вмешиваться в афганские дела Россия обещала только до тех пор, пока Афганистан останется независимым. Но стремление Англии поставить афганского эмира к себе в такие же отношения, в каких был к России эмир бухарский, не составляло ни для кого секрета уже с 40-х годов. При таких условиях напоминание о независимости Афганистана было явной угрозой — и немудрено, что Кларендон отнюдь не чувствовал себя удовлетворенным русским ответом. Мысль — создать из Афганистана государство-буфер — его очень привлекала. Но, чтобы функционировать с пользою для Англии, буфер должен был быть достаточно прочен. В сентябре того же 1869 г. английский министр отправился в Гейдельберг для личных разговоров на эту тему с кн. Горчаковым. Можно думать, что не без задней мысли Кларендон поставил разговор на географическую почву — где, мы знаем, русский министр был особенно слаб. Россия согласна

уважать независимость Афганистана — хорошо: но где же границы этого независимого государства? Англичане находили, что границей может быть только Аму-Дарья: другими словами, они соглашались успокоиться лишь в том случае, если возможная операционная линия русского похода на Индию будет наполовину в английских руках. К несчастию для своего собеседника, Горчаков к этому времени сделал заметные успехи в географии центральной Азии. Он твердо помнил, что большая часть бухарского ханства находится на *левом* берегу Аму: включать весь этот берег в сферу *английского* влияния было бы, после побед Крыжановского и Кауфмана, явной нелепостью. «Независимый» Афганистан должен был начинаться гораздо южнее. Гейдельбергское свидание «не имело никаких практических результатов» [1]). И в конце все того же 1869 г. английский посол в Петербурге «с явным беспокойством осведомлялся»: правда ли, что русским правительством уже решена экспедиция против Хивы? Ответ был отрицательный: русское правительство «надеялось еще обойтись без этой меры». Скоро, однако же, наступили события, сделавшие эту меру совершенно необходимой.

События, по обыкновению, происходили чрезвычайно далеко от берегов Аму или Сыр-Дарьи — и даже от берегов Босфора: их театром были берега Рейна и Мааса. В августе—сентябре 1870 г. прусские пушки покончили со второй французской империей — а в октябре того же года дипломатический мир с крайним изумлением узнал из циркуляра, разосланного кн. Горчаковым русским представителям за границей, что Россия не считает для себя более обязательным парижский трактат 1856 г. Фактически, пока она отменяла лишь ту его статью, которая запрещала ей держать флот на Черном море, но простая логика подсказывала, что если сегодня Россия считает себя в праве односторонним распоряжением отменить одну из статей договора, завтра она отменит другую или все другие. Англичане слов не находили для того, чтобы охарактеризовать горчаковский циркуляр. И так как связь событий была яснее дня, то по поводу *русского* выступления английский уполномоченный Одо Россель явился в *прусскую* главную квартиру, находившуюся тогда в Версале — требовать объяснений. И Бисмарк, и король Вильгельм были немало скандализованы беспримерным поступком

---

[1]) *Martens*, цит. соч., стр. 66.

своей союзницы. Но от союза не отреклись и, отведя душу несколькими замечаниями, не совсем лестными для кн. Горчакова, поддержали его, насколько дипломатические приличия допускали такую поддержку. Одо Росселю было дано понять, что на содействие пруссаков восстановлению парижского трактата нечего рассчитывать. Что же касается главной виновницы этого трактата, Франции, ее положение достаточно иллюстрировалось тем, что ее правительству пришлось отвечать на горчаковский циркуляр из Тура: Париж был уже осажден. С Англией случилось то, что она всегда считала величайшей из неприятностей: она была лишена всяких континентальных союзников. Пришлось пойти на уступки и ограничиться моральным афронтом России (на лондонской конференции января — февраля 1871 г.). Разорванный кн. Горчаковым международный документ не был вновь склеен, и Россия получила теоретическое право построить снова черноморский флот. Что право это осталось пока чистой теорией, на то была добрая воля самой России: как и в Средней Азии, у нас умели взять; что делать со взятым, об этом догадывались долго спустя. Раулинсон со своим рационализмом был решительно неспособен оценить такой глубоко-органический процесс, как внешняя политика царской России.

То, что говорилось — и писалось — на лондонской конференции, было, таким образом, одними словами. Поступки последовали опять чрезвычайно далеко от места этих разговоров. Повидимому, английские дипломаты ошибались, предполагая, что экспедиция в Хиву была решена уже в 1869 г., но после 1870 г. стало совершенно ясно, что государство злочастного хивинского хана скоро «развалится, как карточный домик» (слова директора азиатского департамента министерства иностранных дел английскому послу, лорду Августу Лофтусу). В самом деле, только Хивы недоставало для того, чтобы водный путь Аральское море — Аму-Дарья был *всецело* в русских руках: хивинское ханство, занимавшее низовья реки, как раз его перерезывало. Завоеванию Хивы до сих пор мешали исключительные физические трудности, о которые разбилась экспедиция Перовского в 1839 г. В военном отношении хивинский хан не был, конечно, более страшным противником, чем бухарский эмир. Повидимому, он рассчитывал на непосредственную поддержку англичан: его посланцев мы встречаем в Симле, при дворе английского вице-короля Индии. С русской стороны решили, поэтому, подсластить

пилюлю: в начале 1873 г. кн. Горчаков заявил английскому правительству, что Россия готова признать маленькие ханства Вахан и Бадакшан — юридически спорные между Афганистаном и Бухарой, фактически же не зависевшие ни от первого, ни от последней — афганскими владениями. С английской точки зрения, это могло считаться большим выигрышем: Вахан и Бадакшан непосредственно прилегают к горным проходам, ведущим из Средней Азии в Индию. Но так как индийская экспедиция, вопреки слишком поспешным прорицаниям Раулинсона, вовсе еще не входила тогда в практическую программу русского правительства — так как, с другой стороны, уступка была чисто словесная: на практике в спорных ханствах не имели никакой власти ни бухарский, ни афганский эмиры,—то русское пожертвование было не так велико, как казалось. Чтобы еще лучше прикрыть готовившийся удар, в Петербурге прибегли к следующему приему. В Англию был отправлен генерал-адъютант гр. Шувалов со специальным поручением заявить английскому кабинету, что «император не только вовсе не желает завладеть Хивой, но и дал положительное приказание, дабы предупредить возможность этого завладения, и что Кауфману посланы инструкции, предписывающие наложить на хана такие условия, чтобы занятие Хивы ни в каком случае не могло быть продолжительным» [1]).

Когда в Англии стало, после этого, известно содержание договора, заключенного неизменно победоносным генералом Кауфманом с хивинским ханом в его, занятой русскими войсками, столице, — в «английской печати поднялась буря, и британское общественное мнение было охвачено пароксизмом острой вражды по отношению к России». В самом деле, договор говорил диаметрально противоположное тому, что только что было обещано гр. Шуваловым. Не только занятие Хивы должно было «быть продолжительным» — но хивинский хан признавал себя на вечные времена вассалом русского государя; при чем, дабы не внушить ему излишней гордости, сношения он должен был вести не непосредственно с Петербургом, и даже не непосредственно с туркестанским генерал-губернатором — а с начальником Сыр-Дарьинского отдела Туркестанской области. «Независимый государь» попросту подчинен был уездному исправнику! Что

---

[1]) *Татищев*, «Александр II»; ср. *Мартенс*, op. cit., 82 — 83.

соблюден был *текст* шуваловского обещания — русский гарнизон не остался в Хиве, не имевшей никакого военного значения — это могло только еще более озлобить англичан: ибо, по другой статье трактата, низовья Аму стали русской территорией — и в этом была суть дела. Есть ли внутри глиняных стен Хивы хоть один русский солдат, когда владыка этих стен и все их обитатели дрожали при одном имени этого солдата, — было, практически, совершенно безразлично. В Англии не было ни одного разумного человека, который не считал бы Раулинсона проницательнейшим из всех пророков. Дело ясное: мы накануне последней из предсказанных им параллелей. Русским остается занять Мерв — и тогда начнется поход на Индию. И, как-будто нарочно, для оправдания такого взгляда, на запрос встревоженного лондонского кабинета насчет именно Мерва из Петербурга ответили уклончиво: Мерв слишком далек еще от признанной афганской границы — и русское правительство никак не может обещать, что оно никогда не будет вынуждено принять меры против населяющих его туркменских разбойников. Теперь, после 1870 года, приходилось добиваться от России того, что раньше обещалось очень легко: признания неприкосновенности для русского расширения, по крайней мере, Афганистана. Правда, отречься сразу от обещаний 1869 года, как от парижского трактата, у кн. Горчакова не хватило духу: дело было еще слишком свежо. Но он тянул переговоры, явно домогался от английского министерства гарантий независимости Афганистана (в ответ на подчинение Россией Бухары и Хивы!) — и воспользовался первым же удобым случаем, заявлением английского министра иностранных дел, лорда Дерби, что Англия оставляет за собой полную свободу действий по отношению к Афганистану, чтобы потребовать такой же полной свободы действий и для России. И англичане сейчас же должны были убедиться, что все это не пустые слова. Не прошло двух лет после хивинской экспедиции, как Россия формально аннексировала Кокан — третье «независимое» государство междуречья, с которого начались русские завоевания в 1864 г. и которыми они, к востоку от Аральского моря, кончились. «Буре негодования» в английских газетах после этого не было уже предела.

История присоединения Кокана показала бы английскому общественному мнению — если бы оно могло рассуждать более спокойно — что суть русских поступательных действий, пока

вовсе еще не в подготовке похода на Индию. И завоевание Кокана, как покорение Хивы, было продиктовано русскому правительству, точнее говоря туркестанскому генерал-губернаторству, соображениями «внутренней политики». Несмотря на все уверения официальных бюллетеней, что русских в Средней Азии везде принимают с распростертыми объятиями, на самом деле завоевание Туркестана было не менее завоеванием, чем всякое другое. Покоренные ненавидели покорителей, и достаточно было найтись поблизости хоть одному свободному уголку, чтобы он непременно стал центром сопротивления русскому господству. Реальным поводом к захвату Кокана было поднявшееся там восстание против местного правителя Худояр-хана, слишком усердно служившего русским интересам. Вести войну пришлось не с правительством, а именно с народом. И при свете коканских событий нам становится понятна одна статья, затерявшаяся в договоре с Хивой: «ханское правительство не принимает к себе разных выходцев из России, являющихся без дозволительного вида от русской власти, к какой бы национальности они ни принадлежали, а укрывающихся в ханстве русских преступников задерживает и выдает русскому начальству». Само собою разумеется, что тут имелись в виду не члены кружка Чайковского, а местные, мусульманские агитаторы, непрестанно возбуждавшие местное население к священной войне с неверными всюду, где к этому представлялась малейшая физическая возможность. Эту возможность у них и старались отнять расширением сферы непосредственно русского господства. Но англичане на все смотрели глазами Раулинсона, и ближайшим результатом хивинской экспедиции и аннексии Кокана было то, что английское правительство поставило на первую очередь завоевание Афганистана, а, как к более отдаленному, но все же неизбежному делу, стало готовиться к войне с Россией.

Зная только эти *внешние* факты, можно подумать, что все дело было лишь грандиозным недоразумением. Англия была готова к самым сильным мерам потому, что считала Россию готовой к походу на Индию. Но это была ошибка, — Россия вовсе не собиралась еще завоевать Индию. Может показаться, что отношения двух стран портили, действительно, какие-то «призраки», о рассеянии которых не без пафоса говорил кн. Горчаков в одной из своих депеш. Чтобы правильно оценить положение, нужно помнить, что спор из-за Средней Азии был

только частным, наиболее конкретным эпизодом *общего* конфликта. Этот общий конфликт и давал тон всему делу. Если мы возьмем, в широкой рамке 60—80-х годов, русскую внешнюю политику, с одной стороны, развитие производительных сил России—с другой, мы без труда увидим три параллельные линии, сопровождающие друг друга на всем протяжении этих десятилетий. Этими тремя линиями будут: во-первых, *рост русской обрабатывающей* промышленности; во-вторых, *рост русского промышленного протекционизма*; в-третьих, *ослабление наших экономических связей с Англией и ухудшение наших политических отношений с нею*. Яснее всего эти три линии выступают, когда мы обращаемся к цифровым данным.

Года.	Вновь основано акционерных компаний.	Переработано иностр. хлопка (тысячи пудов).	пряжи пудов).	Выплавлено чугуна (тоже).
1867	12	3.298	184	17.553
1870	33	2.801	254	21.949
1873	106	3.530	323	23.484
1876	41	4.708	340	26.957

Как видим, медленнее всего развивалась за это десятилетие *текстильная промышленность*, не выросшая даже в полтора раза; немного, очень немного, энергичнее шло развитие *металлургии*. Та и другая, однако же, *не стояли на месте*: фритредерский тариф 1868 г. не убил русского предпринимательства; напротив, если судить по цифрам вновь открывавшихся крупных предприятий (акционерные компании), он даже дал ему весьма сильный толчок к поступательному движению. 1876 год был последним годом действия льготного тарифа: в следующем году пошлины стали взиматься золотом, т.-е. были сразу повышены на 33%. Дальнейший ход развития русского протекционизма удобно иллюстрировать на одном примере — пошлинах с *чугуна*:

Тарифы:	1868	1877	1884—5	1885—6	1886	1891
пошлины с пуда чугуна	5 коп.	5 коп. золотом.	9 к. з.	12 к. з.	15 к. з.	45—52½ к.

Производительность русской крупной индустрии при таком действии тарифного пресса росла, однако же, особенно вначале, немногим быстрее предшествующего десятилетия.

Года	1877	1887	1892	1897
Общая сумма производства в милл. р.	541	802	1.010	1.816

Как видим, в России, как и везде в мире, протекционизм был не столько *условием* развития крупной промышленности, сколько *результатом* этого развития. По мере того, как капиталист становился сильнее, он требовал себе все новых и новых прерогатив, все более и более стремился монополизировать внутренний рынок. Когда ему это удалось окончательно (тариф 1891 года), его дела, разумеется, расширились на всю сумму вытесненных им с рынка иностранных продуктов:

Года.	Число фабрик		Производство (милл. р.).		Число рабочих (тысячи).	
	металл.	текстильн.	металл.	текстильн.	металл.	текстильн.
1887	1.377	2.847	112,6	463	103,3	309,2
1897	2.412	4.449	310,6	946,3	152,9	642,5

Но гораздо раньше, чем обнаруживались эти положительные результаты торжества «национального» капитала, его соперники почувствовали отрицательные для них последствия нового порядка вещей.

Ввоз Великобритании в Россию:

Года	1860	1870	1871—80	1881—90
Тысячи фунт. стерл. . .	5.147	10.071	10.007	7.783

Давно уже сделано наблюдение, что Англия никогда не может быть другом державе, которая ведет у себя строго протекционную систему. Одного того факта, что на границах России с 70-х годов вновь поднялась николаевская стена таможенного тарифа, было бы достаточно, чтобы испортить англо-русские отношения [1]). Но это общее наблюдение в данном случае легко детализировать — и *хронологически*, и *географически*. Мы можем довольно точно определить, *когда* и *где* Англия стала чувствовать промышленное соперничество России — и при этом, кстати, еще раз видеть, что протекционизм является венцом промышленного здания, а отнюдь не его фундаментом. Еще действовал тариф 1868 г., даже золотых пошлин еще не было, а уже английский ввоз в Россию стал заметно сокращаться.

Года.	1867	1870	1873	1874	1875	1876
Англ. ввоз в Россию. . (тысячи фунт. ст.) . .	3.944	6.991	8.997	8.776	8.059	6.182

[1]) Речь идет о *промышленной* Англии XIX в. *Банкирская* Англия наших дней держалась в своей внешней политике иных принципов.

Мы не имеем в своем распоряжении детальных данных, которые позволяли бы судить, чем именно было обусловлено падение английского ввоза в Россию в 1876 г. (*накануне* торжества русского протекционизма!) до уровня ниже даже 1870 г. Но для нашей цели — экономически характеризовать внешнюю политику России — достаточно самого факта. *Англия теряла русский рынок.* Повторяем, уже одно это никак не могло усилить англо-русской дружбы. Но у нас есть неоспоримые доказательства того, что русское правительство сознательно пыталось вытеснить англичан и с *соседних* рынков и что театром такой сознательной политики русского правительства был именно *Ближний Восток* — те самые места, где скоро должны были разыграться войны 1876—1878 г.г. В числе второстепенных рынков английского сбыта после Крымской войны заметную роль стала играть Румыния. Освобождение низовьев Дуная из русского таможенного кольца было тут главным благоприятствующим условием. Английский ввоз в Румынию, составлявший в 1860 г. всего 9 милл. франков (*седьмая* часть общей суммы ввоза), к 1875 г. превышал 25 милл. фр., что составляло уже *четверть* всего румынского ввоза. Но это повышение останавливается, опять-таки, на средине 70-х г.г., достигнув максимума (33 милл. фр.) в 1874 г., английский ввоз в Румынию к следующему году упал до 25 миллионов. Маленький эпизод позволяет составить некоторое мнение насчет того, кто именно теснил в этих местах англичан. В конце 50-х годов одна английская компания получила от турецкого правительства концессию на устройства порта в Кюстендже (теперешняя румынская Костанца) и железную дорогу от этого порта к Дунаю. Блестящая роль Костанцы в наши дни показывает, что англичане нащупали место верною рукою. Но Констанца, непосредственно связанная рельсовой колеей с нижним Дунаем, в обход его труднопроходимых гирл, Костанца, гораздо ближе расположенная к Константинополю, чем русская Одесса, угрожала стать страшным конкурентом этой последней. Русское правительство не могло этого перенести — и по его настояниям Порта аннулировала английскую концессию в 1870 г. Можно себе представить, как было принято в английских коммерческих кругах известие, что в России носятся с планом исправить Парижский трактат еще в одном пункте, вернув в русские границы Бессарабию и устье Дуная, потерянные в 1856 г.

А в наличности этого плана нельзя было сомневаться уже тотчас после лондонской конференции 1871 г.: уже тогда на этот счет велись секретные, но не составлявшие, конечно, тайны для заинтересованных лиц, переговоры с Турцией [1]).

На этом общем фоне англо-русского конфликта становятся понятны те осложнения, которые были вызваны в середине 70-х годов фактами, ничуть не более крупными сами по себе, чем имевшие место на десять или пятнадцать лет ранее. Герцеговинское восстание 1875 г. было не хуже и не лучше герцеговинского восстания 1862 г. — а критская революция 1867 г. была значительнее их обоих. Но в 60-х годах, до лондонской конференции и в самом начале средне-азиатских завоеваний, русское правительство еще не дерзало активно выступать на театре своих пораженнй 1853—1856 г.г. Теперь очень быстро вспомнили, что герцеговинцы — братья-славяне, и решили, что оставлять их без помощи никак нельзя. Сентиментальная картина — русского народа, в единодушном порыве устремившегося на помощь вновь обретенным братьям против неверных — картина, к удивлению, повторяющаяся еще иногда и теперь, притом на страницах вполне, казалось бы, приличных книжек [2]), официальными кругами давно сдана в архив за ненадобностью. Авторы, национализм которых вне всякого сомнения, весьма спокойно присоединяются к оценкам, давно данным печатью, всего менее националистической. И мы не находим лучшего способа объективно изобразить дело, как — процитировав генерала Куропаткина, свидетеля, прибавим в скобках, тем более ценного, что он, начальник штаба генерала Скобелева в кампанию 1877 г., был уже сознательным деятелем описываемой им эпохи [3]). «В сущности «вся Россия» вовсе не соединялась в порыве прийти на помощь славянским братьям. Огромная масса русского народа даже понятия не имела, и не имеет его и теперь,

---

[1]) Вышеприведенный цифровой материал заимствован из следующих изданий: Statesman's yearbook—за соответствующие годы; *Гулишамбаров*, «Европейская торговля XIX в. и участие в России»; *Mittschewsky*, «Russlands Handelspolitik» Berlin; 1905, *Туган-Барановский*, «Русская фабрика»; *Baicoiano*, «Handelspolitische Bestrebungen Englands zur Erschliessung d. unteren Donau», München, 1913.

[2]) См. г. *Богучарского*, «Активное народничество».

[3]) См. «Россия для русских. Задачи русской армии» *А. Н. Куропаткина*. Спб. 1910, том II, стр. 444 и сл. Курсив наш.

о славянских народностях и их племенном и религиозном родстве с русским племенем. Это не было патриотическим движением, напоминавшим 1812 год. Тогда это движение проникло вглубь народных масс, ибо было понятно им: враг пришел в пределы России, враг сжег Москву. Ничего подобного, конечно, не было в 1876 г. *Возбуждение в России носило искусственный характер и захватило только поверхностно русский народ.* Главную роль в этом искусственном возбуждении играли славянофилы, искренно верившие в призвание России жертвовать жизнью и достатком ее сынов для устройства славянских дел и расстройства собственных. В военных кругах возможность войны с Турцией встречалась с нескрываемым удовольствием. Наиболее горячие головы, чтобы скорее попасть в бой, шли в добровольцы, некоторые идейно, а некоторые от избытка жизненной энергии. Было патриотическое возбуждение и среди отставных военных; многие и из них пошли в Сербию идейно, но для многих отставных поступление в добровольцы вызывалось желанием новой обстановки, опасности, борьбы, обеспеченного куска хлеба. *Особых же симпатий к сербам у многих заметно не было.* Попадали в добровольцы и такие, которые, кроме вреда делу и русскому имени, ничего не принесли». Но даже и для славянофилов вера в «народное одушевление» была лишь минутой угара — и похмелье наступило очень быстро. Уже в декабре 1876 г. Ив. Аксаков писал в частном письме: «Весь грех сербской войны в том и состоял, что она началась будто бы за освобождение южных славян, а не просто за свержение турецкого сюзеренства, за приобретение Старой Сербии и Боснии, словом, *началась ложью и фразой*». Правильная перспектива получится лишь, когда мы вместо слова «народ» поставим «правящие круги русского общества». «Сочувствие к славянам Балканского полуострова, — говорит ген. Куропаткин, — находило поддержку в Аничковском дворце у наследника-цесаревича и в Зимнем дворце у государыни Марии Александровны. Из приближенных к государыне особенно влиятельною славянофилкою была графиня Блудова, к убежденным сторонникам решительных мер против турок принадлежал и великий князь Николай Николаевич». К ним принадлежали, нужно добавить, и представители *крупного капитала*. Хлудов принимал большое участие в посылке Черняева в Сербию, крупнейшие банки и городские думы щедрою рукою приходили на помощь добро-

вольцам. Собственно «народ» давал и деньги, и людей в минимальном количестве. «Порыв известной части общества к пожертвованиям на пользу славян был непродолжителен и по результатам незначителен. Денег было собрано не много, а число всех добровольцев составило только до 1.500 человек, но и в их числе, по отзывам особо командированных лиц — генерала Никитина и полковника Снессарева — находилось много лиц, о которых пришлось доносить, что среди них господствовали полная распущенность, разлад между собою и ненависть к сербам» [1]).

Для осуществления своих планов славянофилам всего меньше приходилось рассчитывать, таким образом, на «народное одушевление». На кого в действительности, а не на словах, можно было надеяться, это уже давно раскрыли дипломатические разоблачения русских и не-русских авторов. Разоблачения установили факт весьма парадоксальный, но, тем не менее, совершенно несомненный: осуществление славянофильских планов всецело зависело от содействия двух *немецких* держав, Австрии (именно Австрии, а не Австро-Венгрии, ибо венгерцы были безусловно враждебны русским планам) и, в особенности, Германии. Освободить балканских славян можно было только при содействии злейших врагов «славянства»! А так как, само собою разумеется, никакой немецкий политический деятель не стал бы оказывать поддержку «панславизму» — то уже из самой возможности немецкого содействия ясно, что серьезные деловые люди, в роде Бисмарка, никакого значения славянофильской фразеологии русских правящих кругов не придавали, считая все разговоры о «славянстве» простой блажью, которую, конечно, несколько неприятно слушать, но которая никаких практических последствий иметь ни в каком случае не может. С замечательной чуткостью Бисмарк сразу нащупал нерв всего дела, с самого начала взглянув на него, как на *конфликт Англии и России*. Конфликт этот для него был в высшей степени неприятен. Германия уже тогда начинала становиться великой морской державой, ее коммерческий флот рос не по дням, а по часам — соответствующей же ему военной морской силы еще далеко не было налицо. Мир на море был необходим Германии, как никогда — и ничто больше не могло угрожать этому миру, как рус-

---

[1]) Ibid., стр. 447. Курсив наш.

ско-английская война. Еще в 1876 г., поэтому, Бисмарк предложил русскому правительству свои услуги, как «честного маклера», на предмет соглашения с англичанами: с большой опять-таки проницательностью он видел, что конфликт далеко не так безысходен, как казалось Раулинсону и его единомышленникам, в сущности, очень далеко стоявшим от практической политики. Намерение России вернуть себе Бессарабию он считал «безделицей» (bagatelle) и полагал, что она ни в какое сравнение не идет с русско-английским спором в центральной Азии. Стоит России гарантировать англичанам Индию, — Бисмарк предвидел, что для полного успокоения последних придется отдать им Египет, как он мягко выразился «обеспечить безопасность Суэзского канала», с 1875 г. перешедшего фактически в английские руки, так как Англия купила большую часть акций суэзской компании, — и она охотно уступит России «безделушки». В действительности, как мы знаем, так и произошло: завладев в начале 80-х г.г. Египтом, англичане стали гораздо менее непреклонны в Средней Азии. Но в Петербурге насчет действительных намерений Германии находились в самом странном заблуждении: там были уверены, что, в случае войны на Востоке, Германия окажет России не более, не менее, как вооруженную поддержку. Кн. Горчаков писал русскому послу в Берлине, Убри: «В случае разногласия между нами и Австрией по восточному вопросу, мы, как уверял Шувалова Бисмарк, можем безусловно рассчитывать на него. Пруссия, сказал Бисмарк, должница России за ее поддержку в 1866 и 1870 г.г. Расплатиться с этим долгом для нее — дело чести. Поэтому, как дворянин, а не как канцлер империи, он (Бисмарк) заявил, что для поддержания наших претензий Пруссия предоставит в наше распоряжение германскую армию». «Он сделал это заявление *не как канцлер*, — прибавлял Горчаков, — потому, что в политических сношениях он не позволяет себе быть вполне откровенным (il se réservait une espèce d'élasticité dans l'expression de sa pensée)» [1]).

Объяснение этого разговора принесла опять-таки Октябрьская революция. Мы теперь знаем, что перед Горчаковым лежала секретнейшая конвенция, обещавшая России 200 тысяч прусских штыков, конвенция, которой Бисмарк и не думал исполнять.

---

[1]) *Горянов*, «Босфор и Дарданеллы», стр. 316 франц. перевода.

Впоследствии, как известно, он публично высказывал, что весь восточный вопрос не стоит костей одного померанского гренадера. Во всяком случае, здесь шла речь только о *русско-австрийском* споре, как возможности: насчет спора *русско-английского* (а в нем была суть дела) Бисмарк, уже в совершенно трезвой беседе с Убри, вполне определенно давал понять, что на большее, чем безусловный нейтралитет Германии, Россия рассчитывать не должна. Но помимо канцлеров и посланников существовали личные, очень близкие отношения между государями двух стран — и тесная дружба высших военных и придворных чинов, принадлежавших не только к одному социальному классу, но, нередко, и к одной национальности в обеих странах: и не пересчитать остзейских баронов, носивших русский военный или придворный мундир. Когда император Александр II был в Варшаве, к нему явился, с письмом и личным поручением императора Вильгельма, генерал-адъютант последнего, фельдмаршал Мантейфель. Кн. Горчаков поспешил, со своей стороны, побеседовать с доверенным лицом германского императора. На вопрос, окажет ли Германия поддержку России в случае войны, Мантейфель ответил категорически: «Мы вас не покинем». После этого, как было сомневаться, что прусские штыки, можно сказать, в кармане?

Князь Бисмарк был совершенно невиновен в этом упорстве русского самообмана: добиться от него официального подтверждения слов Мантейфеля русским дипломатам так и не удалось, к великому огорчению кн. Горчакова. Только это и побуждало принять, все же, минимальные меры предосторожности и попытаться столковаться до войны, по крайней мере с Австрией — если не с Англией. Австрия чрезвычайно охотно шла навстречу: точнее говоря, она двинулась в путь первая. В свое время не без больших оснований предполагали, что герцеговинское восстание стало серьезным делом при прямом содействии австрийского правительства. По крайней мере, именно оно, в лице канцлера гр. Андраши, первое реагировало на герцеговинские события 1875 года, выступив с планом реформ в соседних с Австриею христианских провинциях Турции. План — его подробности ни для кого теперь не интересны — клонился к тому, чтобы создать перманентный повод для австрийского вмешательства в Боснии и Герцеговине, вмешательства, которое рано или поздно должно было привести сначала к военной оккупации Австриею

этих областей, а потом и к аннексии их. Согласие на все это Германии имелось уже с 1871 — 1872 г.г. Англия в этой части Балканского полуострова насущных интересов не имела и относилась к делу безразлично. Оставалась Россия. Когда выяснилось горячее желание тех, кто ею управлял, вмешаться в дело, гр. Андраши сейчас же сообразил, какую из этого можно извлечь пользу. При единоличном действии Австрии дело могло дойти до австро-турецкой войны: к чему так рисковать, когда можно заставить воевать Россию — и в результате русско-турецкой войны получить Боснию и Герцеговину даром, не вынимая шпаги из ножен? На свидании двух императоров, австрийского и русского, в Рейхштадте (26 июня 1876 г.) весьма легко пришли к соглашению, по которому Австрия получала Боснию (о Герцеговине, как цинически объяснял потом Андраши, «случайно забыли» упомянуть), а Россия — Бессарабию и Батум в Азии. Ни то, ни другое, скажет читатель, не имеет никакого отношения к балканским славянам, которых стремились освобождать. Подождите: не все славяне были так «случайно забыты», как герцеговинцы. Относительно других было положительно установлено, что они ни в каком случае не могут образовать на Балканском полуострове *одного* большого государства. Это, конечно, очень плохо лодило со славянофильской фразеологией: но это же лишний раз доказывает, что дело было вовсе не в ней. А так как — ген. Куропаткин в этом прав — в русских правящих сферах встречались все же и «искренние славянофилы», то рейхштадтскую сделку решено было держать в строжайшем секрете не только от публики, но и от русского посла в Константинополе, Игнатьева. Так как последний был главным рычагом славянского «освобождения» на Балканах, то удобнее было не повергать его в ослабляющее волю состояние психической раздвоенности. Игнатьев, вместе со всем русским общественным мнением, продолжал верить, что Австрия — «коварный враг», а на самом деле австрийцы были, вполне формально, нашими союзниками...

Труднее, неизмеримо труднее дело было с Англией. Выборы 1874 г. поставили у власти консервативное министерство с Дизраэли, впоследствии лордом Биконсфильдом, во главе. То была первая яркая вспышка английского империализма после многих лет. Экономической почвой был кризис, охвативший всю Европу; англичанам, до тех пор верившим в свое промышленное первенство, как в закон природы, вдруг стало тесно на европейском

рынке: выше мы видели, какие специальные причины еще усиливали тесноту. Перспектива — пусть даже просто мираж — экзотических завоеваний и новых колониальных рынков, перспектива, развернутая Дизраэли, сделала его богом буржуазного общественного мнения (английские рабочие тогда стояли в стороне от политики). Но поддержать такую репутацию было нелегко. Нужны были если не громкие дела, то громкие фразы; если не решительные действия, то резкие, кричащие эффекты. Без континентальных союзников Англия также мало могла воевать с Россией, как и 40 годами раньше. Единственным возможным союзником казалась Германия — но она была союзницей России [1]). Вдобавок, в русско-английском конфликте роль наступающего неизменно принадлежала России: Англия оборонялась. Но как раз к середине 70-х годов условия обороны стали изменяться к большой выгоде англичан. Во-первых, был прорыт — и, как мы видели, попал в английские руки — Суэзский канал: британские войска на месяц пути оказались ближе к Индии, чем были раньше. Затем индийская железнодорожная сеть, почти не существовавшая в 60-х годах, к середине следующего десятилетия считала уже 6½ тысяч миль, из которых на Пенджаб приходилось 664 (против 246 в 1867 г., иными словами, северо-западный, обращенный к России, угол сети вырос в 2½ раза). Нападение России теперь было менее страшно, чем в дни записки Раулинсона; нападение на Россию — менее нужно. Этими двумя соображениями и определялась политика Биконсфильда в восточном кризисе 1875—1878 г.г. Он до последней степени поднял *тон* разговоров с русским правительством, и это чрезвычайно льстило английскому общественному мнению. В то же время, по существу, он весьма готов был «выжидать событий» — и дождался, наконец, такого момента, когда русское положение было хуже, чем оно могло бы быть после двух сражений, проигранных в Афганистане, Англия же была поставлена так выгодно, как никогда. В результате, без прямого участия в войне, Англия добилась не меньшего, чем ей дала бы война. Но она обязана была этим отнюдь не одному только дипломатическому

[1]) Может быть, уже в это время мало надежной. Поддержка, оказанная Россией Франции в 1875 г., очень раздражила Бисмарка, и он — есть известия — предлагал Англии свою поддержку в обмен за союз *против Франции*. Английский министр отказался, сославшись на то, что такого союза английское общественное мнение не потерпит.

искусству Дизраэли: еще более помогли ей в этом беспримерные неискусство и неловкость его противников. Пословица «на ловца и зверь бежит» никогда еще так не оправдывалась, как в англо-русских отношениях этих лет. Русские дипломаты делали все от них зависящее, чтобы дать пищу громким фразам английского империализма, и ничего не делали такого, что могло бы в самомалейшей степени служить ему серьезной угрозой.

Слухи о воинственных намерениях России относительно Турции, несомненно, обеспокоили английское правительство. Война с Россией казалась неизбежной — а, мы знаем, вести эту войну для Англии было совсем нелегко. Затруднительность положения англичан нашла себе выражение в до-нельзя странных советах, которые они сочли себя обязанными давать Турции. Ей рекомендовали из Лондона «как можно скорее подавить» начавшееся между балканскими славянами движение. Турки поняли это, как только они могли понять — и целый болгарский округ был вырезан баши-бузуками. В Англии это произвело такое впечатление, что Дизраэли на несколько месяцев сделался почти непопулярен, а его либерального противника, Гладстона, обличившего турецкие зверства, публика носила на руках. При таких обстоятельствах, британский кабинет должен был очень обрадоваться, узнав, что русское правительство и с ним готово договориться относительно своих действий на Балканском полуострове. В «секретной» депеше — содержание которой стало, конечно, сейчас же известно англичанам хотя бы через того же Бисмарка — кн. Горчаков шел так далеко, что соглашался ограничить русские военные операции северной Болгарией — не переходя, стало быть, балканского хребта. Официально было обещано, что русские войска ни в каком случае не войдут в Константинополь. Понять эти обещания можно, только припомнив тот наивный византинизм, которым сопровождалась хивинская экспедиция. Хотели «усыпить внимание» соперника — и дали ему возможность вставить нам палку в колесо в самую критическую минуту. В самом деле: псевдо-секретная депеша Горчакова гласила, что русские не перейдут Балканы, *если султан обратится к императору Александру с просьбой о мире ранее, нежели военные операции подойдут к Балканам.* Для того, чтобы аннулировать это условие, передовой отряд генерала Гурко и был командирован занять балканские проходы

немедленно после переправы через Дунай. Турки были лишены физической возможности просить мира ранее, чем русские спустились в долину Тунджи. Но удержаться там Гурко не смог, военного значения его набег не приобрел — а Дизраэли получил превосходный повод декламировать на тему о русском вероломстве. Когда после этого английский флот сначала был сконцентрирован у входа в Дарданеллы, а потом появился перед Константинополем, у Принцевых островов, все это были шаги, формально, строго оборонительные и вполне законные, как ни негодовало на них русское правительство. Никто не обязан верить обещаниям державы, которая систематически свои обещания нарушает.

Но Англия была врагом — по отношению к врагам допускаются военные хитрости, хотя, может быть, тот тип хитростей, который применен был русской дипломатией с кн. Горчаковым во главе, и являлся для второй половины XIX века несколько устарелым. Гораздо удивительнее, что эта дипломатия считала позволительными для нее аналогичные шаги относительно держав, связанных с Россией союзными договорами.

Выше мы говорили, что еще летом 1876 г. между Россией и Австрией состоялось соглашение, обеспечивавшее Россию от всяких сюрпризов со стороны ее соседки на случай войны с Турцией. Собственно только это соглашение и делало войну физически возможной: имея австрийскую армию с тылу, русские, как показал опыт кампании 1853 — 1854 г.г., не смогли бы предпринять поход в Болгарию. Вот почему император Александр II и медлил с начатием военных действий до тех пор, пока австро-русская конвенция не была выработана во всех деталях — а это взяло много времени. Рейхштадтское соглашение лета 1876 г. было только принципиальным. Когда дело дошло до конкретной формулировки русских требований, Андраши обнаружил крайнюю недоверчивость, сильно оскорблявшую кн. Горчакова: последствия показали, что Андраши был более чем прав. Благодаря ожесточенным спорам из-за каждой мелочи, текст конвенции был готов только в марте следующего 1877 г. (хотя датировали ее, зачем-то, 3 (15) января). Когда она была, наконец, подписана, Александр Николаевич двинул свою армию против Турции (манифест о войне был дан 12 апреля 1877 г.). Казалось бы, совершенно ясно, что австро-русская конвенция — вещь серьезная. Полный текст ее напечатан только теперь, но

и русские, и австрийские дипломаты признавали в общих чертах точным изложение, появившееся в австрийских газетах ровно десять лет спустя после событий, в 1887 г. [1]). Седьмой, и последний, пункт конвенции гласил: «не должно быть устроено на Балканском полуострове значительное славянское государство в ущерб неславянским племенам». О том, как гармонировал этот пункт с официальными славянофильскими лозунгами нашей дипломатической кампании, уже говорили выше. Теперь дело не в этом. Как никак, Россия обязалась не создавать больших славянских государств из обломков Европейской Турции, — на этом условии ей позволили вести войну. А когда война кончилась полной, хотя и достаточно-таки дорого купленной победой России, последняя, С.-Стефанским трактатом 19 февраля 1878 г., превратила почти всю Европейскую Турцию именно в *одно* огромное славянское государство, Болгарское княжество, занимавшее, по Сан-Стефанским условиям, пространство от Дуная до Эгейского моря с севера на юг, и от Черного моря до Охридского озера в Албании с востока на запад. Один из русских дипломатов, участников берлинского конгресса, и через 30 лет после событий недоуменно спрашивал: «Если Россия хотела остаться верной конвенции с Австрией, зачем же было забыть об этом при заключении Сан-Стефанского договора? Были ли и какие даны по этому поводу инструкции Н. П. Игнатьеву?» [2]). Что Игнатьев *лично* не знал ничего о конвенции, об этом мы упоминали. Но Сан-Стефанский трактат не был личным соглашением Игнатьева с Турцией. Он был утвержден русским правительством — тем самым, что заключило соглашение с Австрией. Единственное возможное объяснение заключается в том, что вера в прусские штыки, якобы готовые прийти на помощь России, пережила и плевненские неудачи, и победоносный переход через Балканы. И под Сан-Стефано в ушах стояли слова Мантейфеля: «мы вас не покинем»! И эти слова, которые сказал *сам* генерал-адъютант германского императора, затмевали в сознании русских дипломатов всякую писаную бумагу — тем более, что писали эти дипломаты так много, что и сами едва

---

[1]) См. на этот счет *Д. Г. Анучина*, «Берлинский конгресс 1878 г.» («Русская Старина» за 1912 г. — для данного случая особ. *январь*, стр. 44 — 45).

[2]) *Анучин*, там же, май, стр. 35.

ли могли упомнить все написанное. Что удивительного, в самом деле, что забыли какую-то статью какой-то конвенции: по уверению того же участника Берлинского конгресса, русская дипломатия запамятовала о существовании на Балканском полуострове целой страны, именуемой Грецией. Спасибо, французы напомнили. Тогда начались хлопоты, стали бросаться друг к другу за справками: но оказалось, что никто ничего не знает, как же решено в Петербурге насчет Греции. Горчаков, может быть, и знал — но забыл. Так и положено было оставить Грецию за французами. Они первые заговорили — значит, им есть, что сказать...

Сан-Стефанский трактат — он стал известен австрийскому правительству еще ранее своего официального утверждения, в виде проекта — произвел в Вене впечатление разорвавшейся бомбы. Еще не дальше, как в июне — июле 1877 г. Горчаков заверял Андраши, что Россия останется верна принципам рейхштадтского соглашения. Австрийские разговоры о вероломстве России были теперь едва ли не энергичнее английских. И — это нетрудно было предвидеть — Англия поспешила использовать положение. По ст. 2-й все той же австро-русской конвенции, по окончании войны никакие новые порядки на Балканском полуострове не должны были быть устанавливаемы «помимо участия великих держав, гарантировавших целость турецкой империи». Берлинский конгресс был предусмотрен, таким образом, *до* войны, и позднейшие ламентации славянофилов насчет, якобы, западни, в которую заманил Россию Бисмарк с англичанами, могут быть объяснены только тем обстоятельством, что русско-австрийская сделка от славянофилов была скрыта. Но русская дипломатия, с характеризующим ее на всем протяжении рассматриваемого нами кризиса наивным лукавством, пыталась истолковать эту статью так, что «новые порядки» касаются только Константинополя и проливов — о всем же прочем Россия может договариваться с Портой tête-à-tête. Само собою разумеется, что эта военная хитрость удалась не лучше всех остальных. Австрия начала мобилизацию — и положение Биконсфильда сделалось блестящим, как никогда. Наконец, Англия имела то, что ей так давно не хватало: континентального союзника! Военное одушевление английских консерваторов достигло размеров бреда. Хорошо знакомые всем читателям газет термины «джинго» и «джингоизм» родились именно в те месяцы и обязаны своим

происхождением одной песенке, распевавшейся во всех music-hall'ях Лондона, где это словцо [1]) повторялось в каждом куплете, подчеркивая ультра-воинственное настроение поющего. В Константинополь был послан самый энергичный из дипломатов «раулинсоновского» направления — Лейард. Парламент был созван на две недели ранее обычного срока. Тронная речь королевы с грозной неопределенностью говорила о «неожиданных событиях, которые могут сделать необходимыми меры предосторожности». Канцлер казначейства потребовал кредита в 6 миллионов фунтов стерлингов на чрезвычайные военные и морские расходы. В газетах печатались подробные известия о составе английской армии, предназначавшейся для действий против России (ее исчисляли в 150.000 человек), сообщались имена главнокомандующего и его штаба. Словом, такой военной шумихи Великобритания не переживала с тех месяцев, которые предшествовали Крымской войне.

Предшествовал ли теперь этот шум чему-нибудь серьезному? Политические противники лорда Биконсфильда все время видели во всем этом одну комедию. Никакой 150-тысячной армии в распоряжении английского правительства не было. Был сосредоточен на о. Мальте корпус англо-индийских войск, где имелись образчики контингентов и «независимых» раджей Индостана, но эти живописные отряды годились более для феерии, нежели для военных действий; солдаты Сулеймана или Османа-пашей, только-что разбитые русскими, были, сравнительно с этим, серьезной боевой силой. Шесть миллионов фунтов (60 милл. руб. зол.) были ничтожной суммой для войны с Россией — сулившей издержки в сотни миллионов. В одном отношении, правда, война могла казаться менее опасной, чем, например, в 30-х годах: тогда у Николая Павловича был внушительный флот, в 70-х годах у России, в сущности, никакого флота не было. Был *один* крупный броненосец, два-три броненосных крейсера да несколько наскоро вооруженных коммерческих пароходов, которым дали пышное имя Добровольного флота. Но даже и эти ничтожные силы могли более навредить английской морской торговле, нежели весь великобританский флот — русской, по той простой причине, что последней вовсе не существовало. Словом, с какого

---

[1]) Джинго значит «чорт».

конца ни взять, у противников консервативного министерства были основания считать все дело грандиозным bluff'ом. Далее большой военной демонстрации Биконсфильд едва ли собирался итти. Можно сказать больше: производя неслыханный джингоистский шум, руководители английской политики превосходно сознавали, вероятно, что практически никакая война невозможна — ибо Россия уже истощила на борьбе с Турцией все свои военно-финансовые рессурсы. «Прибыв в Петербург 30 апреля, — рассказывает официозный историк царствования Александр II, — Шувалов (русский посол в Лондоне, о котором будет сейчас речь ниже) нашел высшие правительственные круги утомленными войной и единодушно расположенными в пользу мира. Средства государства были истощены, боевые запасы израсходованы. В трудности, едва ли не в полной невозможности продолжать войну уверяли посла высшие государственные сановники, гражданские и военные» [1]). Сановники были совершенно правы. Война стоила уже около миллиарда рублей. Половина этого расхода была покрыта печатанием бумажных денег — что уронило курс кредитного рубля с 87 до 63 коп. золотом. Внутренний кредит был исчерпан — внешнего не оказывалось: попытки заключить заем за границей не удались. Золотые пошлины 1877 г. были не только меркой политического влияния крупной индустрии, но и попыткой достать во что бы то ни стало необходимого для заграничной кампании золота, которое естественным путем не притекало в страну, а уплывало из нее: за пятилетие 1871 — 1875 г.г. наш средний вывоз составлял всего 470 милл. р. против 565 милл. р. ввоза. Если русско-турецкая война только угрожала банкротством — угрожала по мнению таких компетентных людей, как министр финансов Рейтерн — то русско-англо-австрийская вела к такому банкротству неизбежно. России все равно пришлось бы сдаться — и даже форма капитуляции, пересмотр сан-стефанского трактата на международном конгрессе, была подсказана русско-австрийской конвенцией. Но Биконсфильду нужно было показать, что Россия сдалась именно перед военной угрозой Англии, и судьба, в образе русской дипломатии, распорядилась так, что у него в руках оказались даже документальные доказательства для такого, в сущности, совершенно неисторического, утверждения.

---

[1]) *Татищев*, «Александр II».

Как это ни странно, но в Петербурге Англию считали и более вероятным, и более грозным противником, нежели Австрию. Относительно этой последней упорно продолжали верить в магическую силу прусских штыков — как ни явственно говорил Бисмарк о несбыточности такой надежды. «Русская дипломатия все еще рассчитывала на содействие князя Бисмарка для образумления Австрии», говорит тот же сейчас цитированный нами официозный историк. В то же время тот факт, что у Англии никаких штыков не было, и что одна она была, пожалуй, менее страшна для России, чем даже Турция, как-то не вмещался в воображение тех, кто ведал русской внешней политикой. Гипнотизировало могущество английского флота, и картина появления английских броненосцев перед Кронштадтом заставила умолкнуть все здравые стратегические и дипломатические соображения: хотя английский флот перед Кронштадтом едва ли был бы страшнее в 1878 г., чем в 1854 — 1855 г.г., когда обещание Непира взять русскую крепость бессильной угрозой повисло в воздухе. Как бы то ни было, *решили сдаться именно Англии*. Посредником явился гр. Петр Шувалов, русский посол в Лондоне. По своей предыдущей карьере — граф был сначала петербургским обер-полициймейстером, а потом шефом жандармов — он, быть может, не был наиболее из русских дипломатов подготовленным для переговоров о восточном вопросе: злые языки уверяли потом, что ему случалось смешивать Босфор с Дарданеллами, для разъяснения какового географического казуса пришлось командировать из Петербурга особого чиновника, так как все переговоры с англичанами, ради большей конспирации, велись изустно. Но по тому доверию, каким пользовался бывший шеф жандармов в Петербурге, едва ли можно было найти более подходящее лицо. Английский министр иностранных дел — тогда Салисбери — оценил это, и поставил разговор с Шуваловым на вполне деловую почву. Шувалов не без крайнего удивления узнал от него, что, собственно, Англия ничего не имеет против честного выполнения Россией конвенции 3 января 1877 г. Поморщились англичане только по поводу Бессарабии, но, в конце концов, Бисмарк и тут оказался прав, что здесь английские интересы имеют минимальное значение. Зато они очень охотно соглашались на аннексию Россией Батума и на превращение северной Болгарии, до Балкан, в полу-независимое княжество: что, впрочем, они сами, по собственной инициативе, предлагали

добиться от султана еще до войны. Когда в Петербурге — где, очевидно, мерещилось чуть не требование восстановления Парижского трактата — узнали об английской умеренности, там ее поняли не так, как только следовало и возможно было понять: что англичане воевать не хотят и не могут. Там в первую минуту не поверили даже пользовавшемуся безграничным доверием сфер гр. Шувалову. Решили, что он что-то путает. А когда Шувалов сообщил, что англичане не прочь облечь свои условия в письменную форму, как было не ухватиться за эту неожиданно упавшую с неба благодать? Шувалову немедленно были посланы все необходимые полномочия, — и 18 мая в Лондоне был подписан ряд протоколов, в сущности, закреплявших согласие Англии на русско-австрийскую сделку. В Лондоне Россия вновь изъявила согласие на то, на что она однажды уже согласилась в Рейхштадте, но о чем она позабыла под Сан-Стефано. Ничего ровно нового в англо-русских конвенциях 18 мая (они официально были «секретными», но чуть ли не тотчас же были оглашены лондонской консервативной печатью) не было. Но Биконсфильд мог теперь показать своим поклонникам осязательные плоды империалистской политики. «Биконсфильд сказал: русские не войдут в Константинополь! И не вошли», в упоении восклицали «джинго». А разбираться в истории дипломатических трактатов было не их дело: управлявший Англией великий антрепенер знал свою публику.

По существу, лондонскими конвенциями 18 мая дело было кончено. Но для поставленной Биконсфильдом политической феерии это был слишком скромный конец: ему нужен был апофеоз его политики перед всей Европой. С другой стороны, его противникам тоже было бы приятнее чувствовать себя побежденными всей Европой, а не одной Англией: так для самолюбия было легче. Наконец, и Бисмарку не могла не быть приятна роль супер-арбитра англо-русского спора, притом купленная по такой дешевой цене — не потратив не только костей ни одного померанского гренадера, но даже ни одного миллиона марок на мобилизацию. Ко всеобщему удовольствию, таким образом, и решено было покончить дело, гласно и официально, на всеевропейском конгрессе, который и собрался в Берлине 1 июня 1878 г. Он не дал, и не мог дать, ничего нового, кроме второстепенных деталей, но так как «показала себя» русская дипломатия именно на нем, то нельзя не дать его краткой характеристики,

при чем мы можем пользоваться подлинными словами одного из его участников. Приехав в Берлин, этот участник пошел представляться кн. Горчакову — назначенному первым уполномоченным России, так сказать, по собственному выбору: предполагалось, собственно, первым послать Шувалова, но Горчаков захотел непременно ехать, и нельзя же было его подчинить его вчерашнему подчиненному. В ту минуту, когда был допущен к русскому канцлеру автор цитируемых нами воспоминаний, Горчаков был занят оживленной беседой с черногорцами, которых он уговаривал быть умереннее и не настаивать на приобретении во что бы то ни стало Антивари. «Если вам так понравилось Антивари, то отдайте Австрии за это хоть Спицу», говорил Горчаков. «С удовольствием, — ответил ему черногорский уполномоченный: — да жаль, что она и без того австрийская». Присутствующие были бы очень рады провалиться сквозь землю, но глава русской дипломатии нисколько не чувствовал себя смущенным своей маленькой обмолвкой. Он продолжал вести свою линию и убеждал черногорцев отвести границу «к вершинам гор». «Но здесь никаких гор нет, а лежат пахотные земли», возражали все более и более приходившие в отчаяние братья-славяне. Настроение же русского канцлера становилось с каждой минутой лучше. Он мило шутил и все продолжал уговаривать своих собеседников не спорить с Австрией. «Развяжитесь с ней: она покровительствует теперь Сербии, вы и отдайте сербам Подгорицу». «Все мы,—говорит автор,—в замешательстве переглянулись»... Горчаков это, наконец, заметил и спросил: «В чем дело»? «Нельзя отдать Подгорицу, — ответили ему: — она лежит на противоположной границе». «А нельзя отдать Подгорицу, так отдайте Спуж». «Спуж еще дальше вглубь страны». «Что-нибудь надо отдать,—сказал канцлер,—я слаб в географии этих мест. Для меня существуют только основные линии» [1]). Нам становится понятно, почему Бисмарк пришел в отчаяние, узнав, что первым русским уполномоченным будет Горчаков, и собрался даже, вместо того, чтобы председательствовать на конгрессе, уехать в Киссинген. Большее доверие чувствовал германский канцлер к Шувалову, который, в трудные минуты, по крайней мере, ясно и отчетливо сознавал свою беспомощность. Вот какую речь держал этот, фактически главный русский уполномо-

[1]) «Русская Старина» 1912 г., январь, стр. 55 — 56.

ченный (читатели догадались, конечно, что с Горчаковым никто серьезно не считался), своим коллегам перед началом работ конгресса. «Меня учили на медные деньги. Я знаю очень, очень мало. Прежде всего позаботились научить меня иностранным языкам, и я говорю по-французски, по-немецки и по-английски, может быть, лучше, чем по-русски, но этим и ограничиваются мои положительные знания — вне языков ничего не знаю, и прошу вас, господа, помочь мне вашими знаниями. Научите меня всему, что сами знаете и что в настоящем случае необходимо. Мы сделаем так: каждый раз перед заседанием конгресса — или когда понадобится — мы будем собираться у меня: я укажу предметы обсуждения и попрошу вас высказаться. Поверьте, что выслушаю вас внимательно и *постараюсь понять* (sic!). Затем, если не потребуется для меня разъяснения чего-либо неусвоенного, я передам вам резюме наших суждений прямо по-французски, как буду говорить потом на конгрессе. Любезный барон Жомини согласился присутствовать на наших совещаниях, чтобы следить, не употребляю ли я, когда нибудь, в моих объяснениях, какого-либо недипломатического выражения или оборота. Заметит что-либо подобное или какой грех против французского языка — он поправит. Итак, господа, помогите и начнемте». «Любезный барон Жомини», очевидно, был величайшим дипломатическим авторитетом в глазах Шувалова: полезно, поэтому, оговорить, что и этот великий дипломат не знал точно, где находится Филиппополь, к северу или к югу от Балкан... Фактически, судьба России была в руках «столоначальников» — подтверждая известное изречение, вырвавшееся в минуту отчаяния у императора Николая I. Но и положение этих последних было не из завидных. «Когда мы (военные) узнали, что на нас будет возложено проектирование границ,—пишет наш автор,—мы обратились в путевую канцелярию канцлера за необходимыми для нас картами. *Никаких карт для подобных занятий не оказалось.* У меня решительно ничего не было с собой, так как меня схватили на дороге, Бобриков имел карту Сербии, а Боголюбов — Черногории. Бросились в магазины — тоже нет полного экземпляра австрийской карты Балканского полуострова. *Пришлось явиться на первое заседание без всяких карт*». Потом карты выписали из Вены. Любопытнее всего, что фактом защиты русских интересов против Австрии по австрийской карте автор уже и не смущается. Что могла бы быть *русская* карта

Балканского полуострова, ему просто не приходит в голову. Где уж тут! [1]).

Биконсфильд мог торжествовать над Россией еще раз — теперь уже на самой большой сцене, какую только можно было найти на земном шаре. Через 10 дней после открытия конгресса Шувалов должен был донести в Петербург: «Обстоятельства настолько выяснились, что теперь мы ясно видим против нас всю Европу, за исключением Германии. Европа ничего не сделала для нас, но произведет репрессию, чтобы поддержать противу нас Австрию и Англию. Если бы только нашлась возможность без войны — которой не хотят — отнять у нас все нами достигнутое, то отняли бы охотно. Германия с нами, но ничего сделать не может для нас, и князь Бисмарк преспокойно уедет в Киссинген, оставив нас драться с Англией и Австрией, а может быть, и еще с кем-нибудь. Что мы можем выиграть? а) В нравственном смысле: 1) независимость Румынии, но это мало нас занимает; 2) независимость Сербии, но ей хотят дать больше, чем мы желаем; 3) образование княжества Болгарского (*NB.* в тех пределах, которые англичане наметили, в сущности, до войны. *М. П.*); б) в материальном: Бессарабию, часть Малой Азии с Карсом и Батумом. Об остальном думать невозможно» [2]). При этом, действительно, и пришлось, в конце концов, остаться. Не только на св. Софии не был снова водружен православный крест, но не удалось добиться даже открытых ворот в Средиземное море: Берлинский трактат 1878 г. давал меньше, чем Хункиар-Искелесский договор 1833 г. Козлом отпущения для славянофильской печати явился Бисмарк, будто бы «предавший» и «продавший». На самом деле, Бисмарк не хвастал, когда говорил, что он сделал для защиты интересов России больше, чем все ее уполномоченные, вместе взятые. Но было бы ошибкой думать, что Биконсфильду его успех прошел совсем «даром». Непосредственным результатом событий 1877 — 1878 г.г. было то, что поход русских на Индию, раньше бывший чем-то в роде навязчивой галлюцинации «знатоков» азиатских дел, в роде Раулинсона, теперь вдвинулся в сферу практических возможностей, и последние годы царствования Александра II отмечены первым

---

[1]) Для приведенных цитат см. *Анучина*, «Берлинский конгресс». «Русская Старина» за 1912 г., январь — май.

[2]) Ibid., май, стр. 227.

шагом в этом направлении. Русская операционная линия в Средней Азии резко переместилась. До сих пор о предвидевшейся Раулинсоном параллели Мерв — Герат никто не думал: теперь, ахалтекинским походом Скобелева (1880 — 1881 г.г.), Россия начинает наступать со стороны Каспийского моря, и на конце линии ее наступления оказывается именно Герат — «ворота в Индию».

Проект похода на Индию, собственно, старше не только Берлинского конгресса, но даже войны России с Турцией: он связан с именем генерала Скобелева, и письмо последнего из Кокана — где он был военным губернатором — излагающее этот проект, датировано январем 1877 г.; но это — хронология чисто литературная, так сказать; в уме автора письма война с Турцией и участие, прямое или косвенное, в этой войне Англии — дело решенное, и он пишет так, как если бы оба факта уже были налицо. «Как бы счастливо ни велась кампания в Европе и Азиатской Турции, на этих театрах войны трудно искать решения восточного вопроса, — говорит Скобелев, ссылаясь на авторитеты Мольтке и Паскевича. — Не лучше ли воспользоваться нашим новым могущественным стратегическим положением в Средней Азии, нашим сравнительно гораздо лучшим против прежнего знакомством с путями и со средствами в обширном смысле этого слова в Азии, чтобы нанесть действительному нашему врагу смертельный удар, в том случае (сомнительном), если ясные признаки того, что мы решились действовать по самому чувствительному для англичан операционному направлению, не будут достаточны для того, чтобы побудить их к полной уступчивости» [1]). По мнению будущего победителя турок под Шипкой и Адрианополем, Россия смело могла бы ограничиться на Дунае и в Азиатской Турции *оборонительной* кампанией: но зато выдвинуть 30 тысячный корпус к Астрабаду, который оттуда двинулся бы через Герат к Кабулу — в то время как 18 тысячный отряд, выделенный из войск Туркестанского военного округа, двинулся бы в том же направлении от Самарканда, через Гиндукуш. Этот горный поход настолько практически занимал Скобелева, что он предпринял в этом направлении ряд опытов, убедивших его в воз-

---

[1]) «Исторический Вестник» 1884 г., кн. XII. Ср. *Edwards*, Russian Project against India, London, 1885.

можности перейти Гиндукуш с артиллерией даже в феврале месяце, когда горные проходы завалены снегом. Раулинсон, как видим, географически и стратегически не фантазировал, когда говорил о возможности появления русских штыков в Пенджабе, раз уже они стояли на Аму-Дарье. То, что ему грезилось до 1877 г., было *политически* неосуществимо, т.-е не входило в политические расчеты русского правительства. Этих политических расчетов сначала не изменила и записка Скобелева. Вопреки его советам, активную кампанию вели по старым путям, через Дунай и Балканы в Европе, на Карс и Эрзерум в Азии. Но когда выяснилось, что *здесь* борьба с Англией ни к чему привести не может, план бывшего кокандского губернатора вновь всплыл наверх. Хотя опубликовавшие письмо Скобелева и рассматривают его, как чисто литературный документ, интересный для личности автора, но не имевший влияния на события эпохи, бросается в глаза, что две существенные черты письма нашли себе конкретную реализацию в 1878 и следующих годах. «Когда последует объявление войны с Англией, то в Туркестане следовало бы начать с того, что послать немедленно *посольство* в Кабул, — пишет Скобелев. — Цель посольства втянуть в союз с нами Шир-Али (афганского эмира) и войти в связь с недовольными в Индии». «Период дипломатических переговоров с Афганистаном» является, в его проекте, неизбежным прологом всей кампании. А затем — со слов одного английского автора — Скобелев очень тешится мыслью о *железной дороге*, связывающей Среднюю Азию с Европейской Россией. И вот, летом 1878 г. мы находим в Кабуле русское посольство Столетова (отозванное в результате заключения Берлинского трактата), а два года спустя, по следам наступающего по линии Герата отряда Скобелева, начинает строиться Закаспийская железная дорога. Трудно видеть во всем этом только случайные совпадения.

Теперь становится понятно и то, почему Скобелев, занявший после войны 1877 — 1878 г. г. одно из самых почетных мест в русской армии, не погнушался два года спустя такого скромного поста, как начальство над небольшим отрядом (и Скобелев находил еще, что отряд слишком велик!), посланным расправляться с текинскими «разбойниками», грабившими, впрочем, не Россию, а Персию. Это была «усиленная рекогносцировка» будущего главнокомандующего перед самой блестящей кампанией, которая могла только пригре-

зиться русскому военному. Что мысль об Индии не оставляла его и *после* текинского похода, свидетельствуется его письмом к Каткову, написанным в августе 1881 г. «Без серьезной демонстрации к Индии, по всей вероятности, к стороне Кандагара, немыслимо себе представить войны за Балканский полуостров», читаем мы здесь. Но за этими строками, напоминающими письмо 1877 г., следует совершенно неожиданное заключение: «*Всю Среднюю Азию можно было бы отдать за серьезный и прибыльный союз с Англией*». И хотя дальше опять развивается любимая мысль о походе через Герат на Индию, но она переплетается с другою, совершенно новою: пожеланием, чтобы Россия не стала «Липпе-Детмольдом или княжеством Монако, или Швейцарией», но была «Россией настолько грозной, чтобы не отдать немцам на поругание колыбель своей веры, всю славу исторического прошлого, миллионы кровных, братских сердец»! В последние два года жизни Скобелева мечты о войне с Германией — и, по его всегдашнему обычаю, практическая тренировка солдат в этом направлении — совершенно вытесняют прежние, англо-индийские планы. Он пишет и говорит — о немцах, и только о них. Англо-русский конфликт дал еще одну яркую вспышку—в начале 1885 г. Но это был последний рикошет по инерции катящегося ядра, на самом деле давно утратившего силу. «Враг» был теперь не в Лондоне, а в Берлине, — в Лондоне же был возможный союзник.

Так, уже в 80-х годах наметился кризис, разрешение которого суждено было увидеть ныне живущему поколению. Обстоятельства, осложнившие конфликт в последние годы, выходят за хронологические рамки этой части «Русской истории». Но основной *смысл* конфликта, *соперничество русского и прусского помещика в борьбе на хлебном рынке*, было только подчеркнуто лишний раз самым последним из эпизодов, предшествовавших русско-германской войне: введением в России пошлин на германскую рожь. Как ни мелок кажется этот факт, но именно он должен был окончательно убедить более чуткую часть публики, что роковая развязка близится. Русско-французский союз был неизбежным *политическим* выводом из этой экономической схемы: как в 60-х годах быть с Пруссией значило быть против Франции, так в 80-х быть против Германии значило быть с Францией.

ГЛАВА XVIII.

Конец XIX века.

Реакция 80-х годов, казалось, отнимала у России всякую надежду стать когда-нибудь «буржуазной» страной. К концу этого периода народническая точка зрения безусловно господствовала в нашей экономической и исторической литературе. То впечатление катастрофы, которое получилось от первых выступлений «легального марксизма» середины 90-х годов, главным образом объясняется полной отвычкой русской публики от иных, ненароднических, точек зрения: а между тем, как близок был к «экономическому материализму» еще Лавров, не говоря уже о Чернышевском! А с экономическим из русской литературы исчез и всяческий вообще материализм. Около 1890 года Владимир Соловьев становится самым популярным философом среди молодежи: к нему ходят толпами спрашивать, «как жить?» — и остаются очень недовольны, когда скромный автор «Оправдания добра» уклоняется от навязываемой ему роли светского пророка и внецерковного исповедника. Можно ли было бы тогда представить себе, что всего через десять лет в устах такой же молодежи, младших братьев и сестер тех, кто ходил исповедываться к Соловьеву, слово «идеалист» будет равносильно самому грубому философскому ругательству?

Начало поворота современники, почти единогласно, связывают с неурожаем 1891 года. «Неурожайный 1891 год перед всеми обнаружил то, что раньше замечали только профессиональные ученые, статистики и экономисты: он показал, что крестьянство разорено, что блестящий государственный бюджет покоится на зыбкой почве. Неурожай вызвал голодовку в 20 губерниях. Правительственная ссуда на продовольствие и обсеменение достигла 150 милл. рублей... Массовые известия о широко разлившемся голоде несколько всколыхнули спавшую интелли-

генцию... Добросердечная учащаяся молодежь, еще чуждая определенных политических взглядов, откликнулась на призыв о помощи голодающим. Начался сбор денег, подготовка к отъезду в деревню. В 1892 г. многие вернулись из деревни с определившимся революционным настроением» [1]). Сам же автор статьи, откуда мы цитируем этот отрывок, рассказывает, перед этим, о ряде проявлений рабочего движения *раньше* 1891 года. Первые, и очень большие, студенческие беспорядки имели место в 1887 году: созданное ими среди учащейся молодежи настроение было если и не очень определенным, то революционным во всяком случае. Те формы, в которые постепенно отлилось движение — «легальный марксизм», с одной стороны, нелегальные «союзы борьбы за освобождение рабочего класса», с другой — никакой, ни внутренней, ни внешней, связи с крестьянской бедой 1891 года не имели. Наконец, неверно и утверждение автора, будто крестьянского разорения до этого года никто, кроме «профессиональных ученых», не замечал: мы видели, что, напротив, вся революционная программа 70-х годов была построена на предполагавшемся разорении деревни и отчаянии крестьянства, как последствии этого разорения. И, тем не менее, автор выражает мнение подавляющего большинства своих современников, русских интеллигентов, переживших сознательно 1891 год. Это была своего рода массовая галлюцинация, лишний раз подтвердившая безраздельное господство народнической идеологии в предшествующие непосредственно годы. Так привыкли представлять себе, что всякое революционное движение *должно* итти из деревни, что не могли отрешиться от этой исходной точки, даже став самыми ортодоксальными марксистами в Европе. На самом деле, именно в деревне в 90-х годах не происходило ничего нового. Аграрный кризис, достигший своего апогея в 1894 — 1896 годах (в эти годы цена ржи на берлинском рынке упала до 117 — 118 марок за тонну против 140 марок 1885 года), продолжал «крепостить» русскую деревню — делая крепостником помещика и полукрепостным полуосвобожденного в 1861 году крестьянина. Только с 1897 года хлебные цены начинают отвердевать — и только после 1906 г. начинается новый их подъем: учитывая буржуазные настроения нашего среднего землевладе-

---

[1]) *М. С. Александров*, «Группа народовольцев» (1891 — 1894), V, «Былое», 1906, ноябрь.

ния перед 1905 годом, быстрое разложение общины под влиянием указа 9 ноября следующего, 1906 года, не надо упускать из виду этого факта. Но когда сказались его последствия, «общественное движение» уже было налицо: его создало, очевидно, что-то другое. Что было нового в 90-х годах, сравнительно с предшествующим десятилетием, лучше длинных рассуждений покажут несколько цифр. В 1888 году русскими мануфактурами было переработано 8.362.000 пудов хлопка; в 1898 году — 16.803.000 пудов; в первом году русскими заводами было выплавлено 40.716.000 пудов чугуна: в 1898 выплавка дошла до 135.636.000 пудов, в 1900 г. последняя цифра поднялась до 177½ миллиона. «В то время, как Франция увеличила свою выплавку чугуна за 1890—1900 г.г. на 58%, Великобритания на 13%, С. Штаты на 76%, Германия на 61%, в России она возросла на 220%» [1]).

В начале 80-х годов народникам даже Маркса удалось убедить в незыблемости «устоев» русской экономики и в том, что «общинное землевладение в России может послужить исходным пунктом коммунистического движения». Представлять себе какое бы то ни было будущее для России вне аграрных отношений казалось прямо бессмыслицей. Пятнадцать лет спустя даже и не марксисты стали говорить о «предрассудке — считать Россию земледельческой страной». Мы теперь одинаково далеки от обоих этих конечных пунктов размаха нашего исторического маятника. Русская община для нас — не зачаток коммунистического строя, а только пережиток «первобытного землевладения» (Маркс и Энгельс были бы ближе к истине, употребив термин «феодального»), но и Россия в наших глазах все же — страна прежде всего земледельческая, и без решения аграрного вопроса мы не можем себе представить развязки назревшего к первым годам XX века кризиса. Но именно с точки зрения современного понимания промышленный взлет земледельческой страны, именуемой Россией, в 1890-х годах, не может быть принят так просто, как принимали его современники (то-есть мы же сами двадцать лет назад). Отношение промышленности к земледелию, вульгарно, представляется так: процветание земле-

---

[1]) *А. Финн-Енотаевский.* «Промышленный капитализм в России за последнее десятилетие»; предыдущие цифры взяты у *Туган-Барановского,* «Фабрика», стр. 313.

делия создает *рынок* для обрабатывающей промышленности; оттого первое — необходимое условие для развития последней, если не рассчитывать на заграничные рынки, представляющиеся вульгарному взгляду, как нечто, экономически противоестественное — хотя никогда и нигде в мире не было капитализма без внешних рынков. Но и эти внешние, противоестественные, как и «естественный» внутренний рынок, капитализм создает себе сам, ничьего процветания для этого ему не нужно, — наоборот, пролетаризация крестьянства, например, очень выгодна. Но для чего, казалось бы, действительно необходимо было процветание земледелия — это для самой возможности быстрого развития капитализма в земледельческой стране. Рынок является следствием по отношению к капиталистическому хозяйству, но *капитал* является его причиной. Без накопления капитала все дальнейшее, если брать процесс изнутри, оказывается загадкой. Но *накопление туземного капитала в России прямо пропорционально хлебным ценам:* достаточно присмотреться к следующей табличке:

Четырехлетия.	Накопление туземн. капитала. (миллионы руб.).	Ценность русского вывоза. (тоже).	Цена ржи на берлинском рынке (в марках за тонну).
1893— 96	103,7	661,4	122,5
1897—900	111,8	700,5	141,2
1901—904	209,4	907,4	138,0
1905—908	339,1	1.055,2	173,0

Характерное исключение — 1901 — 1904 годы — только подтверждает правило: на эти годы, как увидим ниже, падает промышленный кризис. К началу этого периода были реализованы результаты предшествующего промышленного подъема 90-х годов, но капитал не шел в дело, выжидая в банках новой благоприятной конъюнктуры. Зато промышленный кризис не в силах был остановить дальнейшее накопление: несмотря ни на войну, ни на революцию, великий чародей новейшей русской истории, хлебные цены, делали свое: поднимались они, раздувалась и мошна русского капитализма [1]). Но как раз в начале рассматриваемого периода, в 80-х годах, чародей отсутствовал.

---

[1]) Первые три столбца таблицы заимствованы нами из статьи *С. Н. Прокоповича* «Задачи таможенной политики», «Современник», 1912 г., июль. Некоторые дальнейшие цифры оттуда же.

Хлебные цены слабели, дойдя к началу 90-х годов до своего минимума за все XIX столетие. Накопление туземного капитала должно было итти очень туго, и все время, с середины 70-х годов до середины 80-х, мы видим кризис денежный и промышленный, прервавшийся только на два-три года, непосредственно после русско-турецкой войны, когда российскому капитализму было впрыснуто возбуждающее, в виде подрядов и поставок, связанных с войною, и обусловленных ею же выпусков новых кредитных билетов, не на одну сотню миллионов рублей. Но очень скоро возбуждающее перестало действовать, — и российское предпринимательство вновь сникло, как покажет читателю пара выразительных цифр. В 1880—84 годах капитал вновь возникших в России акционерных компаний составлял 231 милл. руб., тогда как сумма капиталов акционерных предприятий, основанных в следующие четыре года, 1885—1889, равнялась только 175 милл. руб. И вдруг, в последние годы этого четырехлетия, произошло нечто чудесное; сухая история народного хозяйства явно начинает принимать романтический оттенок. «До 1887 года на юге России работало только два железоделательных завода — Юза и Пастухова. С этого года заводы начинают расти, как грибы. За короткое время возник целый ряд чудовищных чугуноплавильных заводов — Александровский, Каменский, Гданцевский, Дружковский, Петровский, Мариупольский, Донецко-Юрьевский, Таганрогский и пр. Число рабочих на чугунно-плавильном заводе Юза около 10 тыс. чел., на прочих немногим меньше. В 1899 г. на юге было 17 больших чугунно-плавильных заводов с 29 действующими доменными печами и 12 вновь строящимися» [1]). Чудесный характер явления исчезает, как только мы вспоминаем, что 1887 — 1889 годы отмечены, в русской финансовой истории, знаменитыми *конверсиями* Вышнеградского — фактически сводившимися к переводу русских долговых обязательств за границу: благодаря понижению %, плативших по русским государственным займам, русские бумаги стали невыгодны для русских держателей, привыкших к % более высокому. По расчету одного новейшего исследователя, такой перевод долгов на заграницу освободил не менее *полутора миллиарда рублей*, которые и были затрачены, преимущественно, в промышленность:

---

[1]) *Туган-Барановский*, цит. соч., стр. 337 — 338 по *Брандту*, «Иностранные капиталы».

только в одно четырехлетие — 1897 — 1900 г.г. — поступило из этого источника в русские промышленные предприятия 915,6 миллионов руб. — более 43% всего капитала, вложенного за этот период времени в русскую промышленность [1]). Производительность этой последней, оценивавшаяся в 1887 г. в *один миллиард триста миллионов*, в 1900 г. оценивалась в *три миллиарда двести миллионов* руб. зол. Пусть эти цифры преувеличены — в обоих случаях преувеличение было одинаково, и сравнение все же получается достаточно рельефное. Но само собою разумеется, что иностранцы не по доброте душевной оказали нам эту услугу: *капитал никогда еще не был так дешев на Западе, как в 90-х годах XIX столетия.* В 1895 — 1897 годах учетный процент в Париже и Лондоне был не выше 2 — 2½, в Берлине — 3 с небольшим, а французская трехпроцентная рента стояла выше пари. При таких условиях русские бумаги 4% номинально, а на деле 4½%, были явно выгодным помещением капитала. Но еще более выгодно было, очевидно, для иностранцев помещать деньги в русские промышленные предприятия. Столь близкое к бирже министерство Вышнеградского предвидело и эту комбинацию, сделав со своей стороны все, чтобы ее облегчить. Таможенным тарифом 1891 года пошлины на чугун были подняты с 7 коп. до 45 — 52 коп. за пуд, на листовое железо — с 74 коп. до 7 р. 20 к., косы и серпы — с 65 коп. до 2 р. 8 к., бумажную пряжу — с 4 р. 81 к. до 7 р. 20 к. и т. д. [2]). Барыши русских предприятий повысились в соответствующей прогрессии, и западно-европейские капиталы обильно потекли в русскую промышленность: за то же четырехлетие 1897 — 1900 г.г. из этого источника пришло 762,4 милл. руб. — 35,9% всей затраченной суммы. Рядом с этим роль туземного накопления, давшего 447,2 милл. р. — 21,1%, представляется очень скромной.

Завоевание России иностранным капиталом имело громадные экономические последствия. Только этим фактом объясняется, например, колоссальный взмах железнодорожного строительства в России в конце XIX века. «Как казна, так и частные общества строили дороги с лихорадочной быстротой. Министерство финансов было буквально завалено проектами новых железнодорожных линий. В продолжение 7 лет (написано в 1900 г. *М. П.*)

---

[1]) Назв. ст. г. *Прокоповича.*

[2]) Заимствуем цифры из цитиров. ст. г. *Финна-Енотаевского.*

наша железнодорожная сеть выросла более, чем на половину. Ни в одной европейской стране, в период самого оживленного железнодорожного строительства, постройка дорог не шла так энергично. Так, за последнее пятилетие средняя длина ежегодно открываемых железных дорог в России составляла 2.812 верст, а в Германии, в период железнодорожной горячки 1870—1880 г.г., открывалось, средним числом, 1.496 километров, во Франции, за то же время — 873 км., в Англии за 1840 — 1850 г.г. — 931 км. и т. д. Еще недавно наша железнодорожная сеть уступала по протяжению французской и английской, не говоря уже об американской и немецкой. Теперь же наша сеть уступает только американской» [1]). Железнодорожная горячка 90-х годов была гораздо интенсивнее той, которую переживала Россия в 60—70-х: тогда рекордным годом был 1870 г., в течение которого было открыто 2.960 верст новых линий, а в 1899 году, например, было открыто 4.692 версты. Но современники видели, главным образом, не это. Экономический подъем ценился не сам по себе — тут народническая традиция была слишком крепка и живуча: что возить по железным дорогам мужику, когда ему есть нечего? Но с точки зрения общественной теории, явившейся, в России, прямой реакцией на неудачу народнической революции 70-х годов, новые экономические факты сулили совершенно новые и необыкновенно привлекательные политические перспективы. «Русское революционное движение, торжество которого послужило бы прежде всего на пользу крестьянства, почти не встречает в нем ни поддержки, ни сочувствия, ни понимания», констатировала в 1885 году группа «Освобождения Труда» — по своему личному составу почти прямая наследница «Черного Передела», т.-е. той группы революционеров-народников, которая заранее отказалась от терорра и от сближения с либералами. «Главнейшая опора абсолютизма заключается именно в политическом безразличии и умственной отсталости крестьянства. Необходимым следствием этого является бессилие и рабство тех образованных слоев высших классов, материальным и умственным интересам которых противоречит современная политическая система. Возвышая голос во имя народа, они с удивлением видят, что он равнодушен к их призывам. Отсюда неустойчивость политических воззрений, а временами уныние и полное разочарование нашей интеллигенции».

---

[1]) *Туган-Барановский*, цит. соч., стр. 343 — 344.

Итак, мужик был виновен даже в трусости российской буржуазии («образованные слои высших классов»): такого полного и совершенного мужикофобства мы не встретим и в позднейшей марксистской литературе,— с этой точки зрения, «проект программы» «Освобождения Труда» навсегда остался наиболее решительным и последовательным памятником русского марксизма. Но, глубочайшими пессимистами выйдя из русской революции через одну дверь, первые русские марксисты не меньшими оптимистами возвращаются в нее через другую. «Такое положение дел было бы вполне безнадежно, если бы указанное движение русских экономических отношений (выше мы читаем: «старая система натурального хозяйства уступает место товарному производству и тем самым открывает огромный внутренний рынок для крупной промышленности») не создавало новых шансов успеха для защитников интересов трудящегося класса. Разложение общины создает у нас новый класс промышленного пролетариата. Более восприимчивый, подвижной и развитой, класс этот легче отзывается на призыв революционеров, чем отсталое земледельческое население. Между тем, как идеал общинника лежит назади, в тех условиях патриархального хозяйства, необходимым политическим дополнением которых было царское самодержавие, участь промышленного рабочего может быть улучшена лишь благодаря развитию новейших, более свободных форм общежития». Группа «Освобождения Труда» не говорила, станет ли от выступления рабочего буржуазия более революционной: в этом пункте параллель между «отсталым крестьянством» и «подвижным, восприимчивым промышленным пролетариатом» оказывалась недоделанной. Но о чем мудро умалчивали основоположники русского марксизма, то не возбуждало никаких сомнений среди их ближайших учеников. Мы не будем загромождать наш очерк выписками из писаний легальных марксистов 90-х годов (развивавших, применительно к условиям русской цензуры, те самые идеи, которые десятью годами раньше были формулированы группою Освобождения Труда): для таких выписок у нас не хватило бы и места,— а иллюстрировали бы они факт, в сущности, общепризнанный. Мы возьмем резюме, принадлежащее очень известному марксистскому же автору. «Литературные представители новой марксистской группы (во главе с П. Струве) в своих первых произведениях выступают прежде всего, как *защитники* рус-

ского капитализма от народнических обличений и как *обличители* некапиталистических экономических отношений, идеализируемых народничеством. Они доказывают прогрессивность капиталистического развития и убожество, неспособность к развитию и невыгодность для самих трудящихся отсталых форм производства... Защита капитализма, подкрепляемая аргументами, взятыми у Шульце-Геверница или Брентано, превращалась в почти абсолютную его идеализацию; внутренняя противоречивость защищаемого от народнических обличений капиталистического строя затушевывалась, и антагонисты народничества вплотную подходили к той границе, за которою временное совпадение некоторых интересов капитала и труда (в лице пролетариата капиталистической промышленности) начинало приобретать вид прочной и длительной их гармонии» [1]). Автор усваивает эту аберрацию, главным образом, той части русских марксистов, которые довольно скоро совсем перешли на позицию «Шульце-Геверница или Брентано»: но объективность историка заставляет его признать, что к нашему «буржуазному марксизму» «снисходительно относились» и сами бывшие члены группы «Освобождения Труда». Г. В. Плеханов «поправляет П. Струве с его призывом «итти на выучку к капитализму», но оправдывает эту заключительную тираду «Критических заметок», как естественное «благородное увлечение западника», аналогичное тем, которые совершал Белинский». Провести разграничительную черту между «апологетическим отношением к русскому *капитализму*, освобождающему страну от крепостничества», и «апологетизмом по отношению к *буржуазии*» удалось, с достаточной отчетливостью, по мнению нашего автора, только Тулину (Н. Ленину): но, прибавим мы от себя, и Тулин не предвидел того, что дала русская действительность, — что, при известной конъюнктуре, на рынке в особенности, крупная промышленная буржуазия может стать вернейшей опорой политической реакции — не менее надежной, чем крупное землевладение. Оптимистическое настроение группы «Освобождения Труда» действовало сильнее, чем ее логика: на палитре всех теоретиков российского капитализма 90-х годов были одни розовые

---

[1]) *Л. Мартов*, «Общественные движения и умственные течения, в период 1884 — 1905 г.г.» «*История русской литературы XIX века*», изд. тов. «Мир», т. V, стр. 18—19.

краски, когда дело заходило о *политическом* будущем. Буржуазия казалась классом, самою природою предназначенным для того, чтобы быть либеральным: заранее предполагалось, что она, в известный момент, «изменит», и что к ее, слишком купеческому, либерализму придется вносить поправки в демократическом духе; к этому и должна была готовиться рабочая партия: но к тому, что в самый критический момент буржуазия громко и внятно выразит свое сочувствие военно-полевым судам — к этому решительно никто не готовился. В недолгой тогда еще истории германской социал-демократии таких эпизодов не было, — а далеко за пределы этой истории тогдашний кругозор не шел. Казалось бы, имелся довольно свежий пример — Парижская Коммуна 1871 года, но по-французски читали мало, французской историей интересовались еще меньше. А главное, свойственная русскому интеллигенту международная скромность мешала делать какие бы то ни было сопоставления ближайшего *политического* будущего России с *ближайшим* же политическим прошлым западно-европейских стран. Когда рисовали себе русскую революцию, образцом был 1789 — самое новое 1848 год: что в первом из них на всю Францию была *одна* паровая машина, а во втором на всю Германию две тысячи верст железной дороги, что в революционной Франции крупный промышленный капитализм почти не существовал и в зародыше — а в революционной Германии было не много больше зародыша, на это как-то не обращали внимания, хотя бы, казалось, для «экономических материалистов» анализ экономической действительности должен был стоять в центре всего прогноза. Быть может, эта скромность по отношению к «буржуазной революции» была искуплением переходившей всякие границы самоуверенности старых народников в вопросе о социализме: как бы то ни было, предвидели и меньше, и больше того, что случилось; остроту классовых противоречий в России 1900 года считали меньшей, нежели она была на самом деле — а потребность буржуазии в политической свободе далеко большей, чем действительная. И тут уже не хватало наблюдательности прямо в кругу русских отношений: достаточно было присмотреться к тому, *кто* делает русскую экономическую политику, чтобы понять, что в «парламентском образе правления» русские фабриканты и заводчики нуждаются не так уже жгуче — особенно, когда парламент приходилось покупать ценою 8-часового рабочего дня, приличного

фабричного законодательства и прочих неприятностей. При полной, официально, бесправности «общества» в делах, его касающихся — при чем самое упоминание, публично, о возможности каких-либо прав каралось, как преступление — фактически, ни один закон, задевавший интересы русских предпринимателей, шло ли дело о таможенном или о фабричном законодательстве, не проходил без их согласия, — не говоря уже о том, что им же нередко принадлежала и инициатива. Так, пошлины на каменный уголь (с 2 коп. за пуд золотом в 1884 г. до 4 коп. в 1892-м) были прямым ответом на ходатайства съездов южных горнопромышленников, — самостоятельность правительства выразилась только в том, что оно позволяло себе «торговаться»: копевладельцы просили 3½ копейки — им давали 3; просили 6 — получали 4. Но когда речь заходила о металлургии, даже и торг становился весьма робким: пошлина в 15 коп. зол. с пуда чугуна аккуратно отвечала заявлениям 5-го — 8-го съездов, при чем последний заявил свое «прошение» в 1883 году — а уже в 1884-м оно было полностью удовлетворено. Немедленно же, следующий съезд пожелал получить 25 копеек: помявшись года три, министерство финансов уступило и в этом пункте — в 1887 году горнопромышленники получили свой четвертак. Представитель министерства строго держался пределов истины, когда он заявлял на торгово-промышленном съезде 1896 года (том самом съезде, по поводу которого газета «Волгарь» писала, что купечество в России «все может»): «Министерство финансов признало нужным ознакомиться со взглядами представителей торгово-промышленного класса по вопросам, наиболее их интересующим. *Так поступало оно и прежде.* Свыше 40-летняя деятельность моя по министерству финансов дает мне право и основание засвидетельствовать, что министерство всегда чутко прислушивалось к голосу промышленников и купечества». А когда речь заходила о сюжетах, не особенно приятных сердцу предпринимателя, в роде рабочего законодательства, в голосе представителей правительства слышались, иной раз, прямо рыдающие ноты. В комиссии, вырабатывавшей в 1897 г. проект закона о нормировке рабочего дня, председатель ее, В. Ковалевский, держал такую речь: «Я должен обратить внимание г.г. присутствующих здесь на то, почти невозможное, положение, в которое ставят нас, представителей министерства финансов, некоторые из находящихся здесь промышленников. Они

направляют свои возражения не только против существа проекта, но и против самого способа его выработки... Мы пригласили в совещание 20 декабря минувшего года больше 30 представителей промышленности; нам говорили, что этого мало. Теперь мы вызвали около 200 человек и снова слышим, что этого также недостаточно» [1]).

Итак, политически, отсутствие оппозиционного настроения среди русских капиталистов совершенно понятно: в этой, политической, области купец имел полное основание находить, что стражники и жандармы гораздо лучше оградят его «материальные и умственные интересы», нежели это мог бы сделать парламент. «Выборные учреждения для России вообще новы, — говорил в 1882 г. Крестовников, — и вряд ли могут считаться хорошо привившимися, а потому полагаю, что польза от сих учреждений *сомнительна* по отношению к интересам промышленности и торговли...»

Если мы сопоставим эту позицию русских *капиталистов* 80 — 90-х годов с тем, что выше говорилось о происхождении русского промышленного *капитала*, экономический базис «благонамеренности» Крестовниковых и Комп. будет для нас совершенно ясен. Если бы русский предприниматель зависел исключительно, или хотя бы главным образом, от туземного накопления, он не мог бы оставаться равнодушным к режиму, который ставил всяческие препятствия на пути развития производительных сил России. Усилившееся значение туземного капитала в первое десятилетие XX века не осталось без влияния на — весьма, конечно, относительное — «полевение» крупной буржуазии после 1910 г. В предыдущие десятилетия всего приходилось ожидать не от роста национального богатства, — при данной конъюнктуре на хлебном рынке этот рост мог быть лишь очень медленным, — а от заграничного кредита. Но посредником в сношениях с заграницей было правительство — и чем прочнее было оно, тем надежнее был кредит: играть в оппозицию при таких условиях значило подрубать тот сук, на котором сам сидишь, — и российское купечество было слишком умно для этого. С другой стороны, тот же заграничный кредит делал это правительство независимым от туземной буржуазии более, нежели в ка-

---

[1]) *А. Ерманский*, «Крупная буржуазия до 1905 года», passim («Общественное движение в России в начале XX века», т. I).

кой бы то ни было другой стране: отношение правительства и туземных капиталистов было в России диаметрально противоположным тому, какое установилось, например, с XVII века в Англии. Там буржуазия держала в руках кошелек правительства, у нас последнее держало в руках кошелек буржуазии. Не нужно забывать и того, что, в классовом смысле, правительство это было чужое — дворянское. Протекционизм был нужен для фабрикантов, — для помещиков, напротив, он был убыточен, заставляя их втридорога покупать необходимые им фабрикаты, начиная с сельскохозяйственных машин. По существу дела, отказаться от протекционизма русское дворянство не могло, все из-за того же заграничного кредита: но этот кредит был нужен опять-таки для поддержания *существующего* порядка. Русские либералы искони были фритредерами, — отступление от этой вековой традиции наблюдается только в XX столетии. Переход власти в руки либеральной оппозиции ничего доброго не сулил купечеству, и не даром сама эта оппозиция так твердо держалась народнических, т.-е. антикапиталистических теорий. Словом, с какого бы конца мы ни подошли к вопросу, политическая позиция русской буржуазии конца XIX века всегда будет представляться нам диаметрально противоположной классическим образцам в западной истории. Революционный, как и на Западе, в области народного хозяйства, крупный капитал был у нас политически-консервативной силой: чудо, которое осталось бы необъяснимым, если бы Российская империя конца XIX века представляла собою нечто столь же архаическое, как Французская монархия старого порядка, например. На самом деле в городе и в кругу отношений городского типа — на фабрике, в амбаре, на железной дороге и пароходной пристани — у нас и после реакции 80-х годов продолжали господствовать те минимально-буржуазные порядки, которые были закреплены реформами 60-х годов. От этих порядков почти ничего не осталось в деревне, в кругу отношений сельского типа, между помещиком и крестьянином: это делало город европейским островом среди азиатского океана. Но на фоне промышленного подъема островитянам жилось недурно, и они старались не думать, что когда-нибудь азиатские, крепостнические волны могут снести их наскоро сколоченную европейскую постройку. Напротив: наиболее оптимистически настроенным казалось, что море сохнет, и они с радостью спешили возвестить это всей «городской»

Руси. За это легкомыслие пришлось заплатить довольно дорого: волны морские, правда, начали опускаться, но лишь после такого — будем надеяться, финального — прилива, который поставил перед несчастными островитянами давно забытый ими вопрос — в Европе они или в Азии? Захват города крепостным режимом, как и то «дерзновение» города, которое дало повод к этому захвату — вне хронологических рамок нашего изложения. Но и то, и другое необходимо все время не выпускать из виду, если мы хотим понять относительные позиции русских общественных классов в период, предшествовавший 1905 году.

Лет за десять до этой знаменательной даты взаимная ситуация классов была такова: в деревне развитие буржуазных отношений не только приостановилось, но очень заметно пошло назад, к status quo ante 1861 года; в городе крупная капиталистическая буржуазия, именно благодаря сверхъестественно быстрому развитию русского капитализма, за счет чужих сбережений, оказывалась прикрепощенной к помещику и вынужденной его поддерживать, вопреки своей собственной, буржуазной, сущности; благодаря тому же катастрофическому развитию капитализма, мелкая — ремесленная — буржуазия исчезала, не успела даже образоваться как следует: вернейший оплот демократической революции на до-капиталистическом Западе у нас отсутствовал; в деревне, правда, возрождение до-реформенных отношений воскрешало и до-реформенные, «пугачевские», настроения среди крестьянства; но от пугачевщины до демократической революции была дистанция гораздо большего размера, чем казалось народникам 70-х годов; практически, революции в России не на что было опереться, кроме *рабочего класса:* он и оказался единственным действительно революционным классом на всем протяжении новейшей русской истории; но его революционность была своеобразного типа, — игнорирование этого своеобразия привело к ряду ошибок, если и не определивших собою победы «деревенских» отношений над «городскими» в 1905—1907 годах (эта победа заранее определялась фактическим соотношением сил), то все же сделавших эту победу более легкой, нежели она могла бы быть при большей сознательности руководящих элементов движения.

Положение рабочего класса в России 70 — 80-х годов определялось, главным образом, двумя условиями: во-первых, почти непрерывной промышленной *депрессией*, дошедшей к началу

80-х годов до размеров настоящего *кризиса*; во-вторых, тем способом, каким было произведено «освобождение» крестьян в 1861 году. Мы помним, что «освобожденного» крестьянина поостереглись сделать пролетарием,—его пролетаризация, напротив, была даже искусственно затруднена. Крестьянин был сделан «принудительным владельцем» небольшого клочка земли, недостаточного, чтобы с него существовать, не приарендовывая барской земли или не прирабатывая в барской экономии, но юридически привязывавшего крестьянина к деревне. На первых порах это «освобождение с землею» как-будто вредно отразилось на интересах русского фабриканта: ему стало чуть ли не труднее находить рабочих, нежели до 19 февраля, когда этих рабочих можно было нанимать прямо от барина. За пятилетие 1863—1867 г.г. число рабочих (на фабриках и заводах, не обложенных акцизом) увеличилось крайне незначительно: с 358 тысяч до 407 тысяч [1]). Но нет худа без добра: привязанный к земле рабочий обходился зато хозяину гораздо дешевле, нежели его пролетаризованный собрат за границей. *Денежная* заработная плата рабочего Московской губернии в 80-х годах прошлого столетия была *вчетверо* ниже, чем в Англии, и *впятеро* ниже, чем в Соединенных Штатах. Уже с первого взгляда видно, что *реальная* плата никоим образом не могла быть равна у нас и в Англии или Америке: ибо цены на продукты у нас и в этих странах не могли различаться так сильно. Детальные вычисления автора, у которого мы заимствуем эти данные, показывают, что если «первый взгляд» грешит чем-нибудь, то разве излишним оптимизмом по отношению к русским ценам и пессимизмом по отношению к ценам английским и американским. В общем, последние выше первых были тогда не вчетверо или впятеро, а самое большее в *полтора раза*, при чем по главной статье питания, хлебу, английские и американские цены были выгоднее русских (не забудем, что мы в разгаре аграрного кризиса). Цитируемый нами автор считает себя в праве заключить, что *реальная* заработная плата в Московской губернии была в 1884 году *втрое* ниже, чем в Массачусете [2]). Как бы низко ни ставили мы потребности московского рабочего той поры сравнительно с аме-

---

[1]) *Туган-Барановский*, цит. соч., стр. 313. Для сравнения отметим, что за пятилетие 1893—1897 г. крайние цифры будут 860 тыс.—1.100 тыс.

[2]) *Е. М. Дементьев*, «Фабрика», 2-е изд., стр. 164—183.

риканским, такую колоссальную разницу мы можем объснить только специфическими особенностями русского рабочего рынка. В то время, как американский или английский рабочий *всецело* существовал на свой фабричный заработок, его русский собрат покрывал им только *часть* своих расходов: другую часть он — или его семья — находили в своем принудительном деревенском хозяйстве, опять-таки недостаточном, чтобы жить только им одним, но вместе с фабрикой кое-как заполнявшим бюджет. Детальное обследование положения рабочих на московской фабрике Цинделя, в 1898 году, показало, что почти для $^3/_4$ всех эксплоатируемых им «пролетариев» фабрикант имеет это «подспорье»: 11,9% цинделевских рабочих сами уходили ежегодно на полевые работы, и 61,4% вели сельское хозяйство при помощи своих семей. А если прибавить к этому 12,3%, сдавших свои наделы в аренду, т.-е. тоже кое-что получавших из деревни, — то фабрикант оказывался «разгруженным» от необходимости платить своим рабочим полным рублем почти на $^9/_{10}$ всего своего персонала [1]). Промышленный кризис 80-х годов толкал в том же направлении еще дальше: *заработная плата русского рабочего не только была ниже заграничной, но ниже даже той, какую получали русские рабочие в предшествующую эпоху.* Тот же автор составил сравнительную таблицу средней месячной платы рабочим в Шуйском уезде во второй половине 50-х годов и в 1883 году. За исключением квалифицированных рабочих, главным образом кузнецов и столяров, плата которых повысилась в $2^1/_2$ раза, остальные получали, в среднем, лишь на 50% больше прежнего, а некоторые разряды — механические ткачи, например, всего на 4%. Между тем цена хлеба в Шуйском уезде повысилась, за то же время, на 95%. Отсюда автор сделал заключение, что «реальная заработная плата рабочих на хлопчатобумажных фабриках Шуйского уезда понизилась, в общем, не менее чем на 20 — 30%». Немудрено, если, по отзыву одного местного автора-фабриканта, во Владимирской губернии в это время замечалась обратная тяга — с фабрики в деревню: «начинается опять поворот к земледелию». То же было и в Московской губернии. Но если рабочему центрального района сравнительно

---

[1]) Цит. соч. *Туган-Барановского*, стр. 449. У автора в этом месте очень резко сказался марксистский «оптимизм» 90-х годов, но факт он все же признал и вывод из него сделал (стр. 450).

легко было произвести такой «поворот», — его деревня, откуда он пришел на фабрику, была тут же, рядом, — то гораздо труднее было превратиться снова в крестьянина рабочему Петербурга или юга России, за тысячи верст ушедшему от родного угла и часто сохранившему лишь номинальную связь с родиной. Особенно трудно было проделать эту операцию «заводскому» рабочему — с машиностроительного, литейного и т. под. заводов. Уже в Московской губернии лишь ничтожный процент машиностроительных рабочих (по вычислениям д-ра Дементьева, 2,7%) уходил на лето на полевые работы. В Петербурге дело шло, конечно, еще дальше. Вот как описывает эту среду, по личным воспоминаниям, Г. В. Плеханов, работавший среди петербургских «заводских мастеровых», в качестве пропагандиста, в середине 70-х годов: «Я с удивлением увидел, что эти рабочие живут нисколько не хуже, а многие из них даже гораздо лучше, чем студенты. В среднем, каждый из них зарабатывал от 1 руб. 25 коп. до 2 рублей в день. Разумеется, и на этот, сравнительно хороший, заработок нелегко было существовать семейным людям. Но холостые, — а они составляли между знакомыми мне рабочими большинство — могли расходовать вдвое больше небогатого студента... Все рабочие этого слоя одевались несравненно лучше, а главное, опрятнее, чище нашего брата студента»... «Чем больше знакомился я с петербургскими рабочими, тем больше поражался их культурностью. Бойкие и речистые, умеющие постоять за себя и критически отнестись к окружающему, они были *горожанами* в лучшем смысле этого слова. Многие из нас держались тогда того мнения, что «спропагандированные» городские рабочие должны итти в деревню, чтобы действовать там в духе той или иной революционной программы. Мнение это разделялось и некоторыми рабочими... Господствовавшие в среде революционной интеллигенции народнические идеи, естественно, налагали свою печать также и на *взгляды рабочих*. Но *привычек* их они переделать не могли, и потому настоящие городские рабочие, т.-е. рабочие, совершенно свыкшиеся с условиями городской жизни, в большинстве случаев оказывались совершенно непригодными для деревни. Сойтись с крестьянами им было еще труднее, чем революционерам-«интеллигентам». Горожанин, если только он не «кающийся дворянин» и не совсем проникся влиянием дворян этого разряда, всегда смотрит сверху вниз на деревенского человека. Именно так смотрели на этого человека петербургские рабочие. Они

называли его *серым* и в душе всегда несколько презирали его, хотя совершенно искренно сочувствовали его бедствиям» [1]). Между тем, уже в первой половине 70-х годов положение и этого верхнего слоя рабочего класса должно было итти не в гору, а под гору. Мировой кризис 1873 года совпал с сокращением железнодорожного строительства в России около того же времени. Выплавка чугуна — верный показатель положения металлургического производства — за 10 лет, с 1862 по 1872 год, поднявшаяся с 15 до 24 миллионов пудов, застыла на этой цифре, с небольшими колебаниями, до 1878 года. Крах следовал за крахом: в округе одного московского коммерческого суда за 1876 год было 113 несостоятельностей с общим пассивом в 31½ миллион рублей [2]). Правда, больше всего доставалось от кризиса мануфактурным предприятиям: но отмечаемая единогласно всеми современниками связь кризиса с приостановкой в постройке железных дорог сама по себе уже достаточно показывает, что на заводах дело не могло итти в обратном направлении, и что знакомый нам крах начала 80-х годов [3]) давно здесь подготовлялся. Мануфактуры были лишь точкой наименьшего сопротивления; здесь прежде всего начали распускать рабочих, понижать заработную плату, вводить более тяжелые условия труда — и здесь же, в Петербурге на Новой Бумагопрядильне, у Кенига, Шау и т. д., начались первые *забастовки*, т.-е. первые исторически известные: стачечное движение, до 90-х годов прошлого века, не привлекало к себе ничьего особенного внимания, редкая стачка попадала даже в газеты, и написанная по архивным документам история забастовок в России времен Александра II, несомненно, сулит много «открытий». Если мартовская забастовка 1878 года (на Новой Бумагопрядильне, в Петербурге) сразу стала в центре внимания тогдашней петербургской публики, на это был целый ряд специальных причин. «Зимою 1877—1878 г. «интеллигенция» находилась в крайне возбужденном состоянии,— говорит близкий свидетель событий, Г. В. Плеханов: — процесс 193, этот долгий поединок между правительством и революционной партией, в течение нескольких месяцев волновал все

---

[1]) *Г. В. Плеханов.* «Русский рабочий в революционном движении», стр. 9—11.

[2]) *Туган-Барановский,* цит. соч., стр. 328.

[3]) См. выше, стр. 225.

оппозиционные элементы. Особенно горячилась учащаяся молодежь. В университете, в медико-хирургической академии и в технологическом институте происходили огромные сходки, на которых «нелегальные» ораторы «Земли и Воли», нимало не стесняясь возможным присутствием шпионов, держали самые недвусмысленные речи... Когда среди петербургской интеллигенции разнесся слух о стачке, студенты немедленно собрали в пользу забастовавших очень значительную сумму денег». Впрочем, прибавляет автор, «деньги давали не одни студенты. Все либеральное общество отнеслось к стачечникам весьма сочувственно. Говорили, что даже г. Суворин разорился для их поддержки на три рубля. За достоверность этого слуха не могу, однако, поручиться» [1]). Сочувствие «либерального общества» выражалось в формах, иногда комических, но оно спасло питерские стачки 1878—1879 годов от забвения, в котором безвозвратно потонула масса их современниц и предшественниц.

Сначала движение отнюдь не носило революционного характера: достаточно сказать, что самым эффектным моментом первой стачки была подача прошения рабочими наследнику-цесаревичу Александру Александровичу. Попытки интеллигентов разагитировать их на первый случай не дали никаких результатов: «сначала рабочие совсем не понимали, чего хотят от них «интеллигентные» собеседники и совершенно нелицемерно поддакивали людям противоположных мнений» [2]). Но уже и тогда, по словам того же автора, на забастовавшей фабрике был «небольшой революционный кружок». Из записок Кропоткина мы знаем, что революционная пропаганда среди петербургских ткачей велась чайковцами еще в самом начале 70-х годов. А среди механических рабочих у чайковцев была целая небольшая школа — человек в тридцать. Но, по словам того же Кропоткина, к практическим результатам вся эта пропаганда и агитация не приводили [3]): *стачечное движение началось только тогда, когда его вызвали объективные условия.* И благодаря этим последним, совершенно независимо от «внушений» со стороны, движение *должно* было принять революционный характер: уча-

---

[1]) «Русский рабочий», стр. 45—46.

[2]) Ibid. стр. 51.

[3]) См. ст. «Пропаганда среди петербургских рабочих в начале 70-х годов» в заграничном «Былом» 1900 года, выпуск 1-й.

стие «бунтарей» было здесь только случайностью. Петербургские стачки 1878—1879 г.г. были чисто *оборонительными:* это была самооборона против *ухудшения* условий труда, а не борьба за их *улучшение.* Но ухудшение вызывалось причинами, в пределах буржуазного хозяйства неотвратимыми: благодаря кризису падала предпринимательская прибыль, и благодаря тому же кризису предпринимателю не на чем было возместить свои убытки, кроме заработной платы его рабочих. Нужно было или распустить часть этих последних (в московском районе так именно и поступали), или уменьшить плату всем — иногда и то, и другое сразу. Так или иначе, налицо оказывалась масса безработных или недорабатывающих, масса озлобленных и не видящих выхода из своего положения. Стачки не улучшали его, как это бывает со стачками *наступательными,* в период благоприятной промышленной конъюнктуры. В сущности, в пределах буржуазного хозяйства, повторяем, результат этот неотвратим: предпринимателю «не из чего» уступать рабочим — иначе говоря, он мог бы уступить только путем уменьшения своей прибыли ниже обычного минимума, — а какой же предприниматель захочет это сделать? Если же предприниматель ведет дело в кредит, то ему и фактически «не из чего» уступать иногда, ибо проценты кредиторам он должен платить прежние, и уменьшившейся прибыли может на это и не хватить: уступи он рабочим — его ждет банкротство. Забастовки на почве кризиса дают в руки пропагандиста единственные по своей силе аргументы против буржуазного строя вообще. Мы не знаем, насколько воспользовались этим случаем тогдашние «бунтари»-народники. Кажется, они использовали положение довольно плохо: более активные их элементы уже тогда тяготели к *политической* агитации, а менее активные просто ничего не умели сделать именно в силу малой своей активности. Но предшествующая пропаганда, тянувшаяся не один год, и ясное, как кристалл, экономическое положение сделали свое независимо от уменья или неуменья вращавшейся среди рабочих интеллигентной молодежи. Именно конец 70-х годов видел появление в русской рабочей среде первых и, для первого случая, очень ярких проблесков *социализма.*

История первых рабочих социалистических организаций в России чрезвычайно типична для эволюции нашего рабочего движения. Первой, из успевших оформиться, был *Северный*

Союз Русских Рабочих, возникший, может быть, уже в 1877 г.— хотя выступил на сцену он только в декабре следующего, 1878 года, параллельно с упоминавшимся нами выше стачечным движением в Петербурге, а свою программу он опубликовал в январе 1879 года. Почти немедленно после этого «Союз» пал жертвою провокации, которая свила себе гнездо в его среде с самых первых дней его существования. Не приходится говорить, поэтому, о деятельности «Союза», — была лишь *попытка* организации, что, однако, не лишает «Союза» крупного исторического значения. Характерно, прежде всего, то, что оба его основателя принадлежали к крайнему левому крылу тогдашних революционеров: Виктор Обнорский был очень близок к набатовцам, Степан Халтурин явился потом одною из самых ярких фигур народовольческого террора, — ему принадлежит устройство взрыва в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года. Вы ждете, поэтому, призыва к решительной борьбе, к непосредственным выступлениям самого революционного характера — и встречаете, вместо того, призыв «опоясаться духовным мечом истины» и заняться мирной пропагандой («идите проповедывать свое учение по городам и селам»). Напоминание о «великих словах Христа», сравнение с апостолами, «простыми поселянами» приглашение «не стыдиться поругания» (как будто хуже ничто. не могло ждать в тогдашней России рабочего-пропагандиста!)— все это придает программе «Союза» такой сентиментальный характер, что сочетать ее с «Набатом» и взрывом Зимнего дворца кажется необычайно мудреной задачей. Тогдашние революционеры-народники остались очень недовольны малой революционностью программы, составленной рабочими-революционерами. Автор статьи о «Северном Союзе» в «Земле и Воле» был очень рад, что хоть стачки-то допускают, в качестве орудия борьбы, эти подражатели апостолов. Но последователи «первых христиан» были, в сущности, очень практическими людьми — и прекрасно понимали, что никакая борьба немыслима *без организации*. В первых же строках программы они и ставят целью «Союза» «сплачивая разрозненные силы городского и *сельского* рабочего населения и выясняя ему его собственные интересы, цели и стремления, — служить достаточным оплотом в борьбе с социальным бесправием и давать ему ту *органическую внутреннюю связь, какая необходима для успешного ведения борьбы*». Упоминание на ряду с «городским» и «сельского

рабочего населения» (разумелся, очевидно, не сельский пролетариат, а *крестьяне*) было единственной данью официальному тогда народничеству русских революционеров; центральный орган этих последних, в упоминавшейся выше статье «Земли и Воли», горько жалуется на эту скупость: «аграрные вопросы оставлены втуне». Фактически, это неверно, — программа содержит в себе пункт об «уничтожении поземельной собственности и замене ее общинным землевладением». Но автор статьи правильно, со своей точки зрения, реагировал на *дух* программы: она, действительно, имела в виду, прежде всего, *городского* рабочего, и когда она говорила, что «в члены «Союза» избираются *только рабочие*», то это значило, разумеется, что «Союз» представлялся составителям программы как *организация чисто пролетарская*. Сквозь народничество петербургские рабочие «своим умом дошли» до классовой точки зрения. Это был, несомненно, более крупный успех, чем обыкновенно выдвигаемое на первое место усвоение тою же программой социал-демократической («энгельсовской», можно бы сказать, применительно ко времени, когда была выработана программа) точки зрения на конституционные «свободы», как необходимое условие успешной борьбы за интересы рабочего класса. Землевольцев всего больше огорчал именно этот пункт, а социал-демократические авторы всего более им довольны. Очень интересно, конечно, что первыми социал-демократами «энгельсовского» типа были в России не интеллигенты, а рабочие: но как раз в этом пункте мы имеем определенное указание на влияние, идущее из интеллигентской среды. «Лекции полковника А. Н. Фалецкого, читавшего в Петербурге в 1873—1874 г.г. лекции о немецкой социал-демократии, несомненно, отразились на взглядах многих из рабочих, впоследствии вошедших в Союз», констатирует историк этого последнего [1]). С точки же зрения той задачи, которую *непосредственно* ставили себе Обнорский и Халтурин — организации рабочей массы — конституция являлась, само собою разумеется, очень облегчающим дело фактором. Но основатели «Союза» не давали обещаний, что рабочие будут действовать исключительно конституционными средствами и после того, как они сорганизуются. Поставленная «Союзом» рабочему движению конечная

---

[1]) *В. Л. Бурцев.* «Северно-русский рабочий союз» — «Былое», 1906, январь.

цель была бы не-конституционной и в тогдашней Германии, с ее исключительным законом против социалистов (принятым рейхстагом 19 октября 1878 года — как раз в те месяцы, когда вырабатывалась программа «Союза»). Мы не знаем, сыграло ли какую-нибудь роль, в выработке воззрений «Союза», позорное поведение германского народного представительства в этом случае: но характерно, что как раз *парламентаризма* программа-minimum «Союза» не требует. В ней есть свобода слова, печати, собраний, сходок, передвижения, уничтожение сословий, отмена косвенных налогов, замена постоянной армии милицией; но требования созыва народных представителей в ней нет. А пункт 2 программы-maximum: «учреждение свободной народной федерации общин» так далек от классического социал-демократизма, как только можно... Ни Бакунин, ни Энгельс не признали бы программы своей, а в ней есть и от того, и от другого: и это потому, что она была отражением не той или иной *теоретической* линии, а *практических* требований *русского* пролетариата конца 70-х годов, и в осуществлении этой программы пролетариат не рассчитывал ни на кого, кроме самого себя.

То немногое, что известно о «Южно-русском рабочем союзе», возникшем почти ровно через год после «провала» «Северного», не позволяет судить, была ли эта позднейшая организация в какой-либо идейной связи с более ранней. Можно только сказать, что не было никакой организационной связи: «Южный союз» развился из кружка, основанного интеллигентами-анархистами (Е. Ковальской и Щедриным), вышедшими из рядов «Черного Передела» [1]). Сопоставление программ производит такое впечатление, как-будто автор южной программы имел перед глазами северную: но, как последовательный анархист, он вытравил в ней все, что было «от Энгельса», и оставил лишь то, что было «от Бакунина». Программа очень выиграла в смысле логичности и стройности, но связать ее с практическими задачами рабочего движения оказывается уже почти невозможно. То, что прекрасно понимали Халтурин и Обнорский — необходимость, прежде всего другого, организовать рабочую массу, повидимому,

---

[1]) О более ранней рабочей организации на юге известно еще меньше — и самое существование ее оспаривается, см. ст. *Е. Ковальской* в «Былом».

не только не сознавалось интеллигентами чернопередельцами, руководившими «южным союзом», но едва ли не отрицалось ими сознательно.

Универсальное средство для достижения цели они видели в *терроре* — аграрном, «промышленном или фабричном», «военном» и политическом. Первая же прокламация, выпущенная «Союзом», давала «трехнедельный срок начальнику (киевского) арсенала, полковнику Коробкину, для выполнения требований рабочих, из которых главные были: увеличение платы и уменьшение рабочего дня. В случае отказа ему грозили смертным приговором». Помещик Левандовский теснил чиншевиков, сидевших на его земле: «Союз» потребовал, чтобы Левандовский разделил между ними всю землю и вознаградил их за все потери которые они потерпели по его вине. «В случае же, если г. Левандовский не подчинится вышеизложенным требованиям, Общество приговорит его к смертной казни [1]). Непосредственный эффект такой тактики был оглушительный: «спустя четыре дня, главная, существенная часть требований рабочих (киевского арсенала) была удовлетворена». «После такого успеха первой прокламации, рабочие повалили к нам в таком количестве, что мы не знали, где найти место для собраний», пишет Е. Ковальская.

«Союз» в короткое время собрал (никак нельзя сказать «сорганизовал») до 700 человек. Но читатель догадывается, что никакого «рабочего движения» таким путем вызвать было нельзя. Напротив, внушив рабочим мысль, что одного смелого человека с бомбой или револьвером достаточно для осуществления какой угодно программы, можно было совсем отучить их двигаться самостоятельно: после ареста руководителей (опять-таки через провокатора) крупнейший рабочий союз тогдашней России (в «Северном» было не более 200 человек, здесь 700) перестал существовать, потому что «была потеряна связь у рабочих с интеллигенцией». Какого-либо успеха от экономического террора, кроме указанного случая в арсенале (собственно, значит, не в промышленном предприятии), повидимому, не получилось. Но что анархическая пропаганда и позже легче всего прививалась на *юге* России, имело, вероятно, свои причины, — детальная история русского рабочего движения, еще не написанная, должна их раскрыть.

---

[1]) «Русская Историческая Библиотека«, вып. 5-й, стр. 151 и 159.

Как бы то ни было, симптомом революционного брожения среди рабочих был и «южный союз» не меньше, чем «Северный». И главный стимул этого брожения, кризис, чем дальше, тем давал себя чувствовать больше. Рассказав, как голодают крестьяне и рабочие в провинции, «Рабочая Газета» — издававшаяся в Петербурге, в конце 1880 года, народовольцами для рабочих — дает такую петербургскую картину. «Первым делом зайдешь на какой-нибудь завод, либо фабрику; всюду только и слышишь, что рассчитывают. Например у Голубева, у Лесснера рассчитали четвертую часть всех рабочих; у Путилова, у Нобеля, на Балтийском — третью часть; у Растеряева, на Патронном, у Петрова — половину; завод Берда совсем стал, а было в нем 1.500 рабочих. То же и на фабриках. Выходит, значит, что и постоянным питерским рабочим некуда деться, а тут на несчастье неурожай нагнал из провинции немало рабочего люда. Как теперь поглядишь на все это, так тебе и видно станет, почему на некоторых улицах проходу нет от нищих, почему полиция, хоть и высылает нищих тысячами из города, все же не может очистить улиц от них». «Оборонительные» забастовки продолжались — «хоть рабочий и понимает, что теперь не время тягаться с хозяином, забастовку делать, а все же иной раз и невтерпеж». Газета перечисляет и несколько случаев самодельного фабричного террора. Раз народовольцы писали об этом — значит, видели «это»; казалось: что могло быть соблазнительнее совпадения революционного брожения среди рабочих с революционной атакой, которую как раз в эти самые дни «Народная Воля» вела против правительства? И однако — нам приходилось об этом говорить в своем месте — никакой попытки вызвать в Петербурге рабочее движение мы не видим, и не за недостатком желания, а за полным отсутствием сколько-нибудь широких рабочих организаций. Почему же среди революционно-настроенных рабочих революционеры-народовольцы не имели сколько-нибудь заметного успеха? Почему их силы в этой среде ограничивались отдельными рабочими-революционерами, да и то распропагандированными, преимущественно, в предыдущий период? В социал-демократической литературе народовольцев обвиняли в «преступной небрежности» своего рода: не вели пропаганды, стремились только к тому, чтобы «завербовать в среде рабочих подходящих для террористической борьбы лиц». Народовольческая литература с негодованием опровергла обвинение;

работали усердно, кружков было много, пропаганда, ведшаяся «на широких политических и экономических началах», отчасти заложила даже фундамент для позднейшей социал-демократической. Но ведь совсем не к этому стремились, и не это было нужно: оправдание только подчеркивает неудачу. Фатальная неизбежность этой последней вскрывается маленьким фактом, который сообщает упоминавшаяся нами выше Е. Ковальская. «Киевские народовольцы, — говорит она, — вошли с нами в переговоры насчет нашего вступления в «Народную Волю». Но так как они ставили условием отказаться от экономического террора, то мы отказались присоединиться». Вы радуетесь: вот, наконец, нашлись умные люди, которые поняли, что бомбой рабочего вопроса не разрешишь. Вовсе нет: народовольцы были против экономического террора, потому что он «по их словам, *отпугивал либералов*». Воспользуйтесь этим лучом света, осветите при его помощи «Программу рабочих членов партии Народной Воли» — вы поймете, почему этих членов было так мало. Программа вся построена на систематическом затушевывании *классовых* противоречий: для нее есть угнетатели — «правительство, помещики, фабриканты, заводчики, и кулаки», и угнетенные — крестьяне, рабочие и интеллигенция. «Во многих случаях он (народ) найдет поддержку в отдельных лицах из других сословий, в *людях образованных*, которым также хотелось бы, чтобы в России жилось свободнее и лучше»; «рабочий народ не должен отвергать этих людей: *выгодно добиваться расширения свободы рука об руку с ними*» [1]). Не надо отталкивать от себя образованную буржуазию: и вот, ради того, чтобы «не оттолкнуть», сначала смягчают аграрный вопрос, потом рабочий... Не нужно, чтобы температура рабочего движения доходила до красного каления, — надо, чтобы было так, градусов 60,— не то буржуазия обожжется и убежит. Но температуру революции нельзя регулировать по термометру — либо есть рабочая революция, либо нет ее; и если она есть, она может питаться только классовыми противоречиями: чем они острее, тем она сильнее и тем неизбежнее превращается она в борьбу пролетариата с предпринимателями. Никакой общественный класс не

[1]) Программа эта была, как известно, в руках К. Маркса, который «испещрил» ее своими отметками. Издатель программы в заграничном «Былом» усмотрел здесь признак *сочувственного* внимания Маркса; не было ли это скорее признаком противоположного?

может делать революции за другой класс, и никогда история не видала *сознательного* пролетариата, делающего буржуазную революцию. Бессознательный бывал иногда слепым орудием в руках буржуазии — но, конечно, не народовольцам было обращать рабочих в слепое орудие: от этого упрека они чисты.

Но если на бессознательности рабочих не могли играть народовольцы, от этого не отказались их противники справа. Единственные мероприятия правительства Александра III, которые не сводятся к влиянию аграрного кризиса, это — фабричные законы, градом посыпавшиеся, начиная уже с 1882 года. Закон 1 июня этого года запретил работу малолетних до 12 лет и ввел *фабричный инспекторат*; законы 12 июня 1884 г. и 3 июня 1885 г. развили дальше первый закон и сделали попытку урегулировать работу женщин и подростков; наконец, *закон 3 июня 1886 г.* был настоящим фабричным регламентом, впервые «европеизировавшим» русскую фабрику: «патриархальному быту», сводившемуся к формуле «захочу — держу, захочу — прогоню и подохнешь с голоду», был положен конец. Наиболее неприятным для фабрикантов нарушением «обычного права» было обязательство расплачиваться с рабочими наличными деньгами в определенные сроки: в былое время расплата натурой, купонами дальних сроков и т. п., притом тогда, когда хозяину удобнее, была едва ли не таким же важным источником дохода, на мелких фабриках в особенности, как и само производство. Другим, не менее важным, источником были произвольные штрафы: теперь и они попали под контроль правительственной инспекции. Что все это било, главным образом, мелкого и отсталого фабриканта, помогая, таким образом, конкуренции с ним крупных, европейски обставленных предприятий, что фабричное законодательство Александра III юридически доделывало то, что экономически подготовил кризис, губящий сотни мелких фабрик в пользу немногих фабричных гигантов, — это не подлежит никакому сомнению. Но этим лишь подтверждается банальная истина — что никакое законодательство в мире не может итти *против* экономического течения, всякое оперирует на той экономической почве, какую дает ему исторический момент. *Мотивы* же, которыми сознательно руководилось правительство, не имели ничего общего с интересами крупнейшей буржуазии, которая являлась для министров Александра III, с этой точки зрения, случайным попутчиком. Эти мотивы достаточно вскры-

ваются уже хронологическим сопоставлением фактов: крупнейший из законов, 3 июня 1886 г., непосредственно следовал за крупнейшими забастовками, 1884—1885 г.г., из которых забастовка на морозовских фабриках в Орехове-Зуеве, давшая повод к громкому судебному процессу и снова, на минуту, приковавшая внимание образованного общества к рабочему вопросу, осталась одной из важнейших дат русского рабочего движения. Но вдохновитель, вообще, законодательства Александра III, его министр внутренних дел гр. Толстой, избавил нас от всякой надобности прибегать к методе «косвенных улик», оставив совершенно ясное письменное изложение тех мотивов, которые руководили им (а «Толстой» и «правительство» были тогда понятиями, покрывавшими друг друга) в издании закона 3 июня, лишь номинально шедшего от министерства финансов, фактически же созревшего в министерстве внутренних дел (еще точнее — в департаменте полиции, во главе которого тогда стоял Плеве). «Исследование местными властями причин означенных стачек рабочих, — писал Толстой министру финансов Бунге, 4 февраля 1885 г., — обнаружило, что они грозили принять размеры серьезных волнений и произошли, главным образом, *вследствие отсутствия в нашем законодательстве общих постановлений, на основании коих могли бы определяться взаимные отношения фабрикантов и рабочих*. Такой пробел в законодательстве, обусловливая разнообразные порядки на фабриках, открывал широкий простор произвольным, клонящимся к ущербу рабочих, распоряжениям фабрикантов и ставил первых в крайне тяжелое положение: несоразмерно высокие штрафы, в виду временного упадка промышленной деятельности, часто служили в руках фабрикантов способом искусственного понижения заработной платы до того, что рабочий лишался возможности уплатить лежавшие на нем повинности (!) и прокормить свою семью; высокие цены в фабричных лавках и недобросовестность приказчиков вызывали *справедливый ропот и недовольство рабочих*, а недостаток точности при составлении условий с малограмотными людьми порождал постоянные споры в расчетах задельной платы... Совокупность всех изложенных и многих других причин влекла за собою, как показал опыт, возникновение беспорядков, а необходимость для прекращения их прибегать к содействию войска в достаточной степени свидетельствовала о настоятельности приступить к составлению,

в развитие действующего фабричного законодательства, таких нормальных правил, которые, *ограничивая в известной степени произвол фабрикантов*, способствовали бы устранению в будущем прискорбных случаев, имевших место в Московской и Владимирской губерниях» [1]). Если припомнить, что фабричное законодательство входило уже в программу Лорис-Меликова, картина будет совершенно закончена: мы имеем несомненный опыт — осуществить на русской почве «социальную монархию», о которой любил помечтать тогда и Бисмарк, и — в дни своей юности — Вильгельм II. «Мы знаем нужды рабочих не хуже ваших социалистов, — самодовольно говорил знаменитый Судейкин еще в 1881 году попавшему к нему на допрос рабочему: — мы сами социалисты, но социалисты мирные...» [2]). Несомненный упадок революционного рабочего движения в середине 80-х годов показывает, что контр-мина под революцию была подведена довольно удачно. Дело стояло хуже, чем не только в дни расцвета «Народной Воли», но едва ли не хуже даже, чем во времена чайковцев. Работавшая в 80-х годах в Петербурге, преимущественно среди металлистов, «благоевская» группа, теоретически, по словам очень к ней расположенного историка социал-демократической партии, ухитрилась отстать даже от «Северного Рабочего Союза»: а мы знаем, что как раз теоретическая выдержанность отнюдь не составляла сильной стороны этой последней организации. Практическое положение достаточно характеризуется тем, что группа «состояла исключительно из одних интеллигентов» и дальше связей с *отдельными* рабочими не шла. И Плеханов, вероятно, был прав, когда он явно беспокоился в те дни: устоят ли рабочие перед соблазном «социального» миража? «Без политических прав вы никогда не добьетесь экономической независимости», писал он в издававшейся «благоевскою» группой газете «Рабочий» Но моральные увещания не изменили бы дела, если бы не пришла на помощь та *экономическая* революция, о которой мы столько говорили в начале этой главы. Промышленный подъем сразу вырвал почву из-под ног у «мирных социалистов».

Борьба между рабочими и предпринимателем из-за уровня зароботной платы, с одной стороны, уровня прибыли — с другой,

[1]) Цитируем по г. *Туган-Барановскому*, «Фабрика», стр. 411. Курсив наш.

[2]) *В. Панкратов*, «Из деятельности среди рабочих в 1880—1884 г.г.». «Былое» 1906 г., март.

происходит и при подъеме так же, как и во время кризиса: но условия этой борьбы иные. По мере подъема прибыль растет, и растет всегда *быстрее* заработной платы. Предпринимателю есть с чего «спустить», и хотя он старается присвоить себе возможно большую долю прибавочного продукта, но, в случае надобности, он может увеличить плату своим рабочим и не терпя «убытков», т.-е. не понижая своей прибыли ниже обычного уровня и не рискуя банкротством. Теперь для рабочих открывается возможность борьбы за улучшение условий существования даже и в пределах буржуазного хозяйства. Борьба эта облегчается еще тем, что предпринимателю, при подъеме, крайне невыгоден малейший перерыв в производстве: не говоря уже о прямом убытке от остановки течения золотой реки, льющейся в его карман, при подъеме новые предприятия растут, как грибы, — стоит потерять рынок на минуту, как на нем появились уже десятки конкурентов. Оттого в минуты наиболее интенсивного подъема предприниматель готов примириться даже с существованием рабочих организаций, лишь бы не терпеть разорительных остановок в производстве — предупредить *стачки*: на промышленном подъеме выросла «фабричная конституция» Англии. Рабочие, само собою разумеется, смотрят на предмет с другой стороны, и для них подъем всюду бывает периодом стачек особенно интенсивных и победоносных, — *стачек наступательных* в противоположность оборонительным стачкам периодов упадка. Промышленный подъем 90-х годов был и у нас временем *повышения заработной платы*. На фабрике Цинделя средний годовой заработок рабочего-мужчины в 1886 г. составлял 235 р., а в 1896 г.—270 р.: между тем цена хлеба за этот промежуток времени понизилась, так что реальная заработная плата должна была увеличиться еще значительнее, чем номинальная. Повышение продолжалось и в следующие годы: средняя поденная плата на той же фабрике Цинделя 1895—1896 г.г. равнялась приблизительно 60 копейкам, а в 1898—1899 г.г. уже 67—68 к. На Юзовском заводе, Екатеринославской губернии, в 1884—1885 г.г. минимальная заработная плата была 30—40 к. в день, а максимальная 3 р. 70 к.; в 1897 первая не спускалась ниже 70 коп., а вторая поднялась до 6 рублей [1]). Но те же

---

[1]) *Туган-Барановский*, «Фабрика», стр. 440—441.

девяностые годы отмечены, в то же время, интенсивным *забастовочным движением* [1]).

Всего менее можно отнести это последнее насчет пропаганды. Она, правда, не прекращалась ни на минуту, но район ее влияния был крайне незначителен, и, что более важно, по характеру своему она отличалась чрезвычайной скромностью и умеренностью. Когда, согласно решению международного социалистического конгресса в Париже (в 1889 г.), 1 мая стало официальным праздником рабочих всего мира, на русской территории это решение было проведено в жизнь только поляками: целый ряд варшавских фабрак стоял 1 мая 1890 года; была демонстрация, были, разумеется, аресты. В Петербурге было все тихо. Только год спустя петербургские пропагандисты решились напомнить миру, что есть рабочие и в столице России. «В мае того же (1891) года состоялось первое в Петербурге *тайное* собрание рабочих, посвященное празднованию первого мая, — рассказывает современник. — Устроено оно было центральным кружком... *Факт собрания хранился в глубокой тайне. Только осенью* один из рабочих решился дать текст речей знакомой учительнице воскресной школы за Невской заставой. От учительницы речи попали в руки только-что образовавшегося народовольческого кружка и тотчас изданы на гектографе, к большому неудовольствию социал-демократической петербургской интеллигенции. Затем речи были перепечатаны за границей «Группой Освобождения Труда» [2]). Нет надобности говорить, что если полицейские условия Петербурга чем-нибудь отлича-

---

[1]) Для наглядности приводим следующую табличку:

Годы:	Число бастовавших рабочих: по офиц. данным.	по вычислениям Л. Мартова.
1894	?	17.000
1895	31.195	48.000
1896	29.527	67.000
1897	59.870	102.000
1898	43.150	87.000
1899	97.498	130.000

См. *Л. Мартова.* «Развитие промышленности и рабочее движение с 1893 по 1904 г.» в «Истории России в XIX в.», изд. Гранат, т. VIII, стр. 69.

[2]) *М. С. Александров.* «Группа народовольцев (1891—1894)», «Былое» 1906 г., ноябрь. Курсив наш.

лись от таковых же Варшавы, времен Гурко, то разве к лучшему, а никак не худшему. И все-таки, пропагандисты были бы не прочь, чтобы «манифестация» осталась тайною ото всех, кроме них самих и кучки собравшихся рабочих... Речи, которые держались на собрании этими последними, вполне гармонировали со скромностью самого выступления. «Нам стоит только вооружить себя сильным оружием, — а это оружие есть знание исторических законов развития человечества, — тогда мы всюду победим врага,— говорил один из них.— Никакие его притеснения и высылки на родину, заточение нас в тюрьмы и даже высылки в Сибирь не отнимут у нас этого оружия». «В настоящее время, — говорил другой, — нам остается только возможность заняться развитием и организацией рабочих, — возможность, которою, надеюсь, мы и воспользуемся, несмотря ни на какие препятствия и угрозы. А для того, чтобы наша деятельность была как можно плодотворнее, нам необходимо стараться умственно и нравственно развивать себя и других, и более энергично действовать для того, чтобы окружающие нас смотрели на нас как на людей умных, честных и смелых и потому с большим доверием относились бы к нам и ставили нас в пример себе и другим». Автор, у которого мы заимствуем цитаты [1]), совершенно правильно говорит о «религиозной торжественности и глубоком идеализме», которыми дышали эти речи: кроме нескольких бранных слов по адресу правительства (произносившихся, не забудем этого, под покровом глубочайшей тайны), в них нельзя найти даже отдаленного намека на революцию. Что касается стачечной борьбы, то вот как относились к ней даже еврейские рабочие — гораздо лучше организованные и более сознательные, чем русские. На маевке 1892 года одна виленская работница говорила: «Мы должны устраивать стачки. Но—устроить стачку! Нас пугает самое это слово. Мы из-за этого можем совсем лишиться места! Да, друзья, я это вполне чувствую и понимаю. Я знаю, что значит для нашего брата рабочего лишиться места. Но у нас не должны опускаться руки при первой неудаче. Мы должны преследовать нашу цель до конца жизни» [2]).

[1]) *В. П. Акимов-Махновец,* «Первое мая в России». Ibid., октябрь.
[2]) Ibid., стр. 170.

Один тогдашний петербургский пропагандист оставил чрезвычайно живую и наглядную картину первой забастовки, какую ему пришлось в 1894 году наблюдать — в качестве зрителя, с империала трамвайного вагона. Как вылитые перед нами и разгромленная контора Семяниковского завода, с выбитыми стеклами, и обступившие завод «тысячи» рабочих, и скачущие казаки. Пропагандист честно признает, что во всем этом своеобразном зрелище он и его лекции об «исторических законах развития человечества» были совершенно не при чем: «я должен прибавить, что во всей этой истории «наши» рабочие не принимали ровно никакого участия», говорит он [1]). «Вся история» возникла совершенно стихийно, на чисто экономической почве: затягивали расчет, подходило, между тем, рождество — и рабочие рисковали остаться к празднику без денег. Но финал «всей истории» должен был заставить задуматься и пропагандистов, по крайней мере, тех из них, в ком билась политическая жилка. Победа семянниковских рабочих привела к тому, что «*жандармские офицеры* в ту же ночь выдавали рабочим давно требуемую получку». «Мирные социалисты» не дремали — а стихийные забастовки шли, как волны, одна за другой. В декабре 1894 года «отбунтовали» семянниковцы, — а на масленице следующего года был столь же грандиозный «бунт» в порту нового адмиралтейства. Потом пришла очередь бумагопрядилен. «Среди кружков рабочих наступает пора новых веяний. Совершается перелом. Все сильнее и сильнее укрепляется мысль, что действительно сознательный рабочий должен ближе стоять к окружающей жизни, должен активнее отноОиться к нуждам и требованиям массы рабочих и к повседневным нарушениям всяких человеческих прав; что сознательный рабочий должен участвовать в этой окружающей жизни, а *не сторониться от нее, как он делал до сих пор*... Весною 1895 года оттенки нового направления становятся гуще. Раздается уже довольно резкий протест против прежнего способа ведения дела... Начинается явное неудовлетворение «кружковщиной» и «саморазвитием». Является жажда новой плодотворной работы...». Кружковая интеллигенция уступала не сразу: «*после горячего спора* представителей группы рабочих района Невской заставы

---

[1]) *К. М. Тар,* «Очерк петербургского рабочего движения 90-х годов», изд. 2-е, стр. 15.

с представителем от группы интеллигентов, «старых социал-демократов», иначе «литераторов», было решено начать применять новую тактику массовой агитации на основании насущных потребностей рабочих той или иной фабрики» [1]). В западной России процесс шел быстрее, — там переход к агитации назрел уже в начале 1894 года, и на совещании виленцев с москвичами возникла идея известной брошюры «Об агитации» [2]).

Разрешения той задачи, которую ставила себе эта брошюра, пришлось ждать довольно долго. Забастовочная волна, поднимаясь все выше в течение зимы 1895 — 1896 года (за эту зиму в одном Петербурге приходится отметить: «бунт» папиросниц на табачной фабрике Лаферма, стачку на фабрике «товарищества механического производства обуви», забастовку на ткацкой фабрике Торнтона, ткацкой же Лебедева, у Кенига, на Сампсоньевской мануфактуре, на бумагопрядильне Воронина, в Новом Адмиралтействе, на Александровском чугунном заводе, на Сестрорецком оружейном, на Калинкинской мануфактуре, в мастерских Варшавской железной дороги, на Балтийском судостроительном и т. д., — не считая нескольких повторных [3]), достигла своего апогея в мае и июне 1896 года, когда стали все ткацкие и прядильные фабрики Петербурга и число бастовавших одновременно рабочих достигло 30.000. Стачке предшествовала майская прокламация только-что возникшего «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Борьба шла уже не так стихийно, как раньше, но все же, по признанию близкого свидетеля, «Союз был еще слишком слаб, чтобы руководить таким широким движением», а повод к этому «широкому движению» был, опять-таки, чисто экономический: требование заработной платы за дни коронации, когда фабрики стояли не по вине рабочих. Материально, движение, длившееся почти месяц (с последних чисел мая до 18 июня), питалось не средствами какой-либо организации (в кассе «Союза борьбы» было всего 3.000 рублей!), а, главным образом, щедрой поддержкой небастовавших рабочих (преимущественно с механических заводов). Правительственное сообщение не было так неправо, когда оно говорило, что политическая агитация воспользовалась «уже

---

[1]) Ibid., стр. 17 и 21. Курсив наш.

[2]) Об этой брошюре и различных точках зрения на нее у *М. Лядова*, цит. сочин., стр. 85—87.

[3]) См. цит. соч. *К. Тара*.

совершившимися стачками»: без агитации стачка прошла бы более хаотически, менее сознательно, но она все-таки имела бы место. Правительство (фактически, Витте) открещивалось от агитаторов, главным образом, ради спасения собственного достоинства: ибо стачки 1896 года вынудили его обещать *сокращение рабочего дня*. Признав, что «агитаторы» вызвали стачку, пришлось бы признать, что правительство сделало уступку «политической агитации»! Но, чтобы добиться реализации обещания, рабочим пришлось еще раз бастовать (зимние стачки 1896—97 года): результатом явился *закон 2 июня 1897 г.*, установивший в России, теоретически, 11½-часовой рабочий день. «Практическое значение закона 1897 года не подлежало бы спору, — говорит историк русской фабрики, — если бы постановления закона о предельной норме рабочего дня не парализовались отсутствием мер наказания и разрешением сверхурочных работ. Циркуляр министра финансов от 14 марта 1898 г., разрешивший в неограниченном размере сверхурочные работы, почти лишает закон 1897 г. всякой силы» [1]). Уступка была, таким образом, только принципиальной, но и принципиальные уступки могли внушить мысль, что стачечной борьбой можно многого добиться *даже в условиях русского политического строя*. Это и высказала, всеми буквами, «Рабочая Мысль» — орган петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (в передовице своего 4-го №, вышедшего в октябре 1898 г.): «Нет! довольно той лжи, по которой рабочее движение оттого развивается, что уже налицо политическая свобода... Нет! настоящая свобода оттого развивается, что рабочее движение двинулось и неудержимо стремится вперед! Истина в том, что всякая стачка, всякая касса, всякий рабочий союз только тогда становится «законным», когда стал делом обычным». *В результате успешной наступательной стачечной борьбы 90-х годов складывалось настроение не революционно-социалистическое, а реформистское.* На русской почве этот своеобразный реформизм в обстановке самодержавной монархии получил название «экономизма». В нем было, несомненно, две здоровых мысли: что основой всякого серьезного рабочего движения должна быть широкая *массовая* организация, и что вовлечь массы в такую организацию можно

---

[1]) *Туган-Барановский*, цит. соч., стр. 429—430.

только на почве их повседневных, будничных нужд и требований. Но «экономисты» были убеждены, что этого и достаточно, — остальное само приложится; ближайшее же будущее готовило им жестокое разочарование.

Последним годом промышленного подъема была 1898-й. Показателем наступавшей реакции было повышение учетного процента на западно-европейских биржах (в Париже с 2,20 в 1898 году до 3,06 в 1899, в Лондоне до 3,75, в Берлине даже до 4,98, тогда как в 1895 году берлинский учетный процент был 3,15). «Зима 1899 — 1900 г. была посвящена ликвидации предшествовавшего промышленного подъема. Из всех концов России приходили известия о застое торговли, банкротствах, безработице». В Иваново-Вознесенске «фабрики и заводы с 1 октября (1899 года) сократили свою работу, и лишний контингент рабочих увольняют на все четыре стороны...» «Иди, мол, батюшка, — спокойно приговаривает богатый фабрикант, — ты мне теперь не нужен, дела тихи». В Нижнем тою же осенью «усиленно сокращали штат рабочих на Сормовских заводах и на заводе Доброва и Набгольц: сокращение это продолжалось до доброй половины зимы. Рассчитывали рабочих и на заводе Курбатова». В Туле к весне следующего года «положение рабочего населения становилось все более и более тягостным. Фабрики и заводы, писали оттуда, сокращают или вовсе приостанавливают свою деятельность, уменьшается точно так же спрос на рабочие руки; напротив, количество последних увеличивается. Многие рабочие давно уже перезаложили свои более или менее ценные вещи, даже кое-что из домашнего скарба, чтобы только не остаться без хлеба» [1]). Дальнейший ход кризиса рисует следующая табличка:

Годы.		Количество: переработанного в России хлопка тысяч	выплавленного чугуна пудов.
1896	подъема	12.861	98.951
1897		15.110	114.782
1898		16.803	135.636
1900	кризиса	16.007	176.828
1901		16.123	172.876
1902		17.427	156.919

[1]) Цитаты из газетных корреспонденций у г. *Туган-Барановского*, стр. 355 и сл.

А вместе с кризисом поднималось и настроение рабочих. Уже харьковская маевка 1900 года не имела ничего общего с теми тайными собраниями, где говорилось о пользе наук, как это мы видели в Петербурге в 1891 году. Десятитысячная толпа рабочих, с красными знаменами, прошла весь город от одного конца до другого, выдержав целый ряд схваток с казаками. А в 1901 году дошла очередь и до Петербурга. Попытка отпраздновать 1 мая на Обуховском заводе привела к репрессиям, а репрессии вызвали забастовку (с чисто принципиальным требованием — 8-часового рабочего дня: такие принципиальные требования, столь отличные от требований «практических», выставляемых рабочими во время обычных, экономических забастовок, сами по себе характеризуют уже движение, как революционное) и демонстрацию. Толпа в несколько тысяч человек вышла на Шлиссельбургский тракт и здесь, по словам обвинительного акта, повела себя «крайне вызывающим образом, осыпала бранью и насмешками чинов полиции, по адресу же патрульных раздавалась площадная ругань и крик, что ни полиция, ни солдаты ничего не значат. Скоплением народа окончательно было прекращено всякое уличное движение и остановлен проезд конных патрулей, которым толпа опускала на головы брусья шлагбаума; подошедший же вагон конной железной дороги с чинами полиции был засыпан градом заранее заготовленных камней. Заперев и забаррикадировав изнутри ворота кирпичной фабрики, толпа стала бросать камни и кирпичи; жандармы и конная стража вынуждены были отступить. Захватив пеших городовых, полицеймейстер Полибин трижды тщетно пытался подойти к воротам с целью их выломать: большинство сопровождавших его городовых получили ушибы, а сам он был сбит с ног ударами камней. Вытребовав эскадрон жандармов, две роты пехоты и отряд городовых, Полибин выстроил прибывшую на место морскую команду и открыл огонь вдоль проспекта» [1])... «Мирные социалисты» и после таких событий не теряли еще надежды, но грубость средств, пускавшихся теперь ими в ход, сама по себе достаточно ясно показывала, как много воды утекло с 80-х годов и наверху, и внизу, в рабочих массах. Тогда, в дни фабричных законов 1882 — 1886 г.г., были реальные *уступки*

[1]) Цит. по статье *В. П. Акимова-Махновца* «1-е мая в России» — «Былое» 1906, ноябрь.

рабочему классу — уступки, останавливавшиеся, правда, весьма рано, но манившие перспективами на дальнейшие уступки, уже гораздо более крупные. А теперь была одна видимость, шитая белыми нитками: в московские организации, связанные с именем Зубатова, рабочих заманивали обещаниями «самодеятельности», которой пелись дифирамбы на страницах «Московских Ведомостей», а в проекте устава «Общества рабочих механического производства города Москвы» рабочие могли прочесть: «в списки избирателей (совета «общества») имеет право быть записан всякий рабочий механического производства города Москвы, уплачивающий установленные для сего членские взносы. *В случае протеста* со стороны собрания рабочих механического производства или со стороны *Московского Обер-Полицеймейстера данный кандидат к зачислению в списки не допускается... Совет рабочих механического производства* гор. Москвы *составляется из лиц*, принадлежащих к числу рабочих этого производства, избранных Собраниями Общества и *утвержденных Московским Обер-Полицеймейстером*... Совет обязан, по требованию Московского Обер-Полицеймейстера, способствовать администрации в разъяснении и улажении мирными и законными средствами недоразумений, возникающих между рабочими и хозяевами на фабриках и заводах». На «самодеятельность» это было похоже так же, как «бараний парламент» 1881 года на конституцию. И, несмотря на «зубатовщину», политические требования все чаще и чаще встречаются в первомайских воззваниях этих лет, эволюционируя, притом, весьма быстро — от «участия народа в управлении» (харьковская прокламация 1900 года) к «политической свободе, созыву выборных от народа для управления государством и контролю над министрами» (воззвание 1901 г.) и «народному полновластию» (петербургская прокламация 1903 г.). А социал-демократическая партия, возникшая — более номинально — в марте 1898 года как результат объединения нескольких «Союзов борьбы» и еврейской рабочей организации «Бунда», становится все более и более «рабочей» не только по названию, — и внутри ее самой «экономическое» направление, господствовавшее в «Рабочей Мысли», сменяется революционно-политическим, представительницей которого явилась заграничная «Искра».

Мы не претендовали на то, чтобы дать сколько-нибудь полное изображение русского рабочего движения конца XIX —

начала XX века: для этого слишком мало было бы нескольких заключительных страниц общего исторического курса. Мы хотим лишь дать читателю понятие об *условиях*, которыми это движение определялось; и если читатель вынес из этого беглого очерка представление, что характер рабочего движения той или иной эпохи зависел не от каких-либо внешних, наносных влияний, а диктовался объективными, экономическими условиями, — наша цель достигнута. Этот характер не был привит извне российскому пролетариату девятисотых годов, — он не мог не быть иным. Но революционен в эти годы был не один пролетариат. Мало того: хотя рабочие были главной революционной силой эпохи, хотя типическая форма рабочей борьбы, забастовка, отразилась на формах революционной борьбы всех, без исключения, общественных групп, — идеологию движения дали не они. Гораздо раньше, чем городской «остров» был затоплен волнами «деревенского» мира физически, гораздо раньше, чем русский «город», русская Европа должны были согнуть выю под игом крепостных порядков русской Азии — деревня идейно уже взяла верх над городом, навязав городской революции деревенские идеалы. Экономически этот факт был, нужно сказать, глубоко закономерен: напротив, было бы совершенно противно всяким «законам истории», если бы вчера родившийся промышленный пролетариат сразу стал руководящей политической силой в стране, глубоко и исконно земледельческой. Но его закономерность не мешает ему быть роковым: ибо, как-никак, все стремившиеся к революции в России имели в виду европеизацию русских отношений, а никак не «азиатирование» их. Между тем, передвижка борьбы в плоскость отношений крестьянина и помещика способствовала именно этому последнему процессу. В деревенской революции, первые шаги которой отмечены циркуляром министерства внутренних дел, от 17 июля 1898 года, впервые упоминающем о «*ряде* крестьянских беспорядков» и о движении «*целых деревень*», совершающих «вооруженные нападения на экономии и усадьбы землевладельцев» [1]), отчетливо выступают две стороны. Одна из них — экономическое движение, напоминающее рабочее движение 90-х годов, между прочим, тем, что, как и это последнее, оно было известной реакцией

---

[1]) Полностью см. этот циркуляр в статье *В. Горна*, в I т. «Общественного движения в России в начале XIX века», стр. 241 — 242.

крестьянства на *аграрный подъем*, намечавшийся уже с последних лет XIX века. С подъемом хлебных цен читатели уже знакомы [1]): им соответствовал *подъем арендных цен* в черноземных губерниях, в Полтавской, например, с 6 р. 85 к. за десятину под озимое в 1896 году до 14 р. 46 к. за такую же десятину в 1902 г. (для посева под яровое соотвстствующими цифрами будут 6 р. 26 к. и 13 р. 58 к.). Аграрный капитализм, совсем сникший в 80-х годах, снова подает признаки жизни: мы слышим, что помещики начинают сдавать в аренду «только плохую, выпаханную землю», предпочитая землю получше обрабатывать самостоятельно, притом не по старому, при помощи крестьян с их первобытным инвентарем, а «при помощи годовых рабочих и машинной обработки». Сельскохозяйственное предпринимательство опять, как в начале 80-х годов, начинает глубоко захватывать и крестьянскую массу: раньше, рассказывает один современный наблюдатель, «хлеборобов было мало», а теперь «самый бедный купил себе лошадку за 15 руб. и вспахал (железным плугом) свою земельку, лошадку на зиму продаст за 3 рубля, он и в барышах». «Вся рабочая сила накинулась на хлебопашество», пишет другой. При таких общих условиях, в деревне должна была начаться та же *борьба за повышение заработной платы*, какую пятью годами раньше мы видели в городе. И действительно, начиная с 1902 года, всюду на черноземе, особенно в «колониях», где процесс возрождения аграрного капитализма шел особенно интенсивно, проходит волна *забастовок сельскохозяйственных рабочих*: в Ставропольской губернии, в Кубанской области, где «число участников стачки доходило до 10.000», позже в Киевской, Подольской и других юго-западных губерниях [2]). Это статечное движение, еще несравненно шире развившееся в 1905—1906 г.г., было наиболее «европейской» формой нашей деревенской революции, — и притом революции-то здесь было всего меньше, как и в чисто экономических забастовках городского пролетариата 90-х годов. Кое-что от «азиатского» примешивалось, однако, уже и сюда; в известной анкете Вольного Экономического Общества мы находим такой, например, факт: при забастовке в Данковском уезде, в Рязанской губ., в мае — июне 1906 года «некоторые

---

[1]) См. выше, стр. 226.

[2]) Фразы в кавычках — из цитир. выше ст. *В. Горна.*

крестьяне требовали, чтобы хлеб убирался косами, а не конными жнеями, молотился цепами, а не паровой молотилкой»; при разгроме усадеб паровые молотилки ломали. Фабричный русский пролетариат уже в 70-х годах перерос эту стадию рабочего движения, — даже анархисты-рабочие юга не ломали машин и не предлагали вернуться к ручному производству. Но это — отдельный случай: гораздо ярче проступает реакционная струя крестьянского движения в *борьбе из-за земли*. «Земля — божий дар и должна принадлежать тем, кто на ней трудится, а не господам», говорили нередко восставшие крестьяне, и слушавшая их интеллигенция, переводя крестьянские речи на свой язык, утверждала, что среди крестьянства существует сильное тяготение к «национализации» или «социализации» земли. Сами крестьяне едва ли вкладывали тот же смысл в свою общую формулу. «Помещичьи крестьяне старались прежде всего добыть землю своего помещика», говорит цитированная нами выше анкета Вольного Экономического Общества. «*О претензиях крестьян на землю своих прежних помещиков пишут корреспонденты всех губерний.* В Саратовском уезде крестьяне «добывали землю бывшего своего крепостного барина». В Макарьевском и Горбатовском уездах, Нижегородской губернии, крестьяне рубили лес у «своего» помещика и считали себя «в праве» это делать. В Пензенской губернии, Инсарском уезде, крестьяне ожидают общего передела частновладельческих земель, но считают, что земля бывшего их помещика принадлежит пока им, и этой земли они никому до всеобщего передела не уступят: «этого барина земля наша, и пока мы не отдадим ее никому ни арендовать, ни покупать» [1]). В истории «городской» революции были случаи объявления фабрик «общественной собственностью», но нигде рабочие не требовали, чтобы фабрика «ихнего» фабриканта была отдана именно им, с исключением всех других. И уж, конечно, нигде они не требовали, чтобы в их собственность были отданы продукты этой фабрики — даже не ставя вопроса о праве собственности на эту последнюю. Между тем, захват и истребление продуктов помещичьего хозяйства был самой обычной формой нашей деревенской революции. Уже во время

[1]) *Труды В. Э. Общества* 1908 г., № 3, стр. 95 — 96 — из введения к обзору аграрного движения в средневолжских губерниях, составленному *И. В. Чернышевым*. Для других губерний см. там же, стр. 51, 59, 62, 67, 80 и др. Курсив наш.

первого большого движения (в Полтавской и Харьковской губерниях, весною 1902 года, когда в первой из этих губерний было «разобрано» 54 поместья, а во второй 25) население «*отобрало в целом ряде имений весь хлеб, запасы сена и соломы*. Крестьяне действуют спокойно, с полным сознанием своей правоты, — писал по этому случаю корреспондент «Искры». — Часто со старостами и сотскими во главе подъезжают они к усадьбе и требуют ключей от амбаров и складов. Обыкновенно владелец предупреждается за день, что у него назначен разбор хлеба. Если владелец не дает ключей, то замки срываются, повозки нагружаются хлебом, и все разъезжаются по домам. Крестьяне объясняют, что «царству панов пришел конец» и что «велено забирать по 5 пудов на душу». Один помещик отвесил эту препорцию 80 крестьянам, явившимся к нему, и у него больше ничего не тронули» [1]). В 1905 — 1906 годах не было и следа «мирного» характера движения, но его экономические задачи очень часто оставались те же самые. Корреспондент Вольного Экономического Общества из Бобровского уезда, Воронежской губернии, дает такую картину — классическую не для одного этого уезда и этой губернии. «Ход погромов почти во всем уезде одинаков: сначала шли ребятишки, девки и бабы, бросались в сад на фрукты, а затем уже подходили взрослые и начинали грабеж, при чем большинство владельцев уходили или уезжали из хуторов при первом появлении грабителей, которые говорили что за ними идут «600 студентов с пушкой» и «все равно все сожгут». Уже от «600 студентов с пушкой» веет на нас чем-то очень архаическим: но соседняя Курская губерния видела картинку еще более, если можно так выразиться, «стильную»: «парень из соседней деревни, бывший смотрителем на бурачных плантациях одной из разграбленных экономий и почему-то рассчитанный и оштрафованный на 3 рубля, явился в полушубке, поверх которого были надеты синие и красные ленты. Он сидел на кресле и распоряжался разгромом» [2]). Едва ли этот парень видел картину Перова и соблазнился случаем воспроизвести ее в такой подходящей обстановке. Если в борьбе с паровыми молотилками перед нами Англия начала XIX века, то здесь мы видим русский XVIII век, подлинный, без всякой примеси.

---

[1]) Цитата в названн. выше ст. *В. Горна*.

[2]) «Труды В. Э. О.», стр. 57.

Воскрешенное в 80-х годах крепостное право воскресило и крепостную идеологию во всех ее чертах — в том числе и идеологию крепостного бунта. Поджоги 1905 — 1906 годов [1]) были жестоким ответом за попытку лишить крестьянина и той жалкой «воли», какую дали ему в 1861 году. Но стремление к *воле* нашло здесь, как видим, реакционный или, чтобы избежать неприятного синонима — *реставрационный* характер: желали восстановить то, что было, а не установить что-нибудь новое. О «воле» в том смысле, как понимала это слово интеллигенция в лозунге «земли и воли», крестьянство думало весьма мало — вызвав у одного наблюдателя горькое замечание, что девиз «земля и воля» можно бы и укоротить — только «земля» [2]). Просмотрите все два тома анкеты Вольного Экономического Общества, — вы едва найдете дюжину случаев смены местного, сельского и волостного начальства и замены его «революционным»: случаев введения революционного самоуправления в целом уезде мы не имеем, в самой России, *ни одного*. Кругозор революционного крестьянина, если у него не было интеллигентного руководителя, не шел дальше околицы его деревни, самое дальнее — его волости. Все, что выше, было уже не крестьянское дело. И что всего любопытнее: более общую постановку хотя бы земельного вопроса можно было встретить как раз не у того элемента деревни, на который возлагала все надежды революционная интеллигенция, не у «деревенской бедноты», а у ее социального противника — у так ненавистного интеллигенту-народнику сельского *кулака*, которого этот интеллигент готов был зачислить в первые друзья исправника и помещика. Уже так хорошо знавший русскую деревню Энгельгардт, в начале 80-х годов, предостерегал от этой ошибки поверхностного народничества. «*Богачи-кулаки, это, — самые крайние либералы в деревне,* — писал он, — *самые яростные противники господ*, которых они мало того, что ненавидят, но и презирают, как людей, по их мнению, ни к чему не способных, никуда не годных. Богачей-кулаков хотя иногда и ненавидят в деревне, но, как либералов, всегда слушают, а потому значение их в деревне, в этом

---

[1]) Подлинное крестьянское выражение: во время 2-й Думы крестьяне Рязанской губернии говорили между собою: «Коли и эту думу разгонят, тогда одно останется — такую *алюминацию* устроить, чтобы небу было жарко». «Труды В. Э. О.» ibid., стр. 67.

[2]) Ibid., №№ 4 — 5, стр. 53.

смысле, громадное. При всех толках о земле, переделе, о равнении, кулаки-богачи более всех говорят о том, что вот-де у господ земля пустует, а мужикам затеснение, что будь земля в мужицких руках, она не пустовала бы, и хлеб не был бы так дорог» [1]). Двадцать пять лет спустя мы застаем в деревне ту же самую картину. Один балашовский, Саратовской губернии, помещик писал Вольному Экономическому Обществу в начале 1908 года: «Верхний зажиточный слой крестьянства овладел аграрным движением. «Чумазый», который так недавно хватал «сицилистов» и представлял по начальству, теперь почти целиком записался в ряды революционеров». Балашовский помещик, как видим, разделял обще-народнический предрассудок о реакционности «кулака», — ему наблюдаемое им казалось свежей новостью, хотя деревенские пропагандисты, и социал-демократы, и социалисты-революционеры, еще лет за пять согласно отмечали то же самое явление. Но продолжим выписку, — вот что говорил «чумазый»: «Купцу и барину земля без надобности: сами земли не пашут и за хозяйством не доглядывают. А *бедному мужику земля и совсем ни к чему*: он и с наделом управиться не может. Неурожаи от непропашки; нужен хороший скот, сбруя, семена, плуг, хороший ремонт, да денег в кармане на случай неурожая. А бедный мужик только царским пайком и дышит. *Безземельных да малоземельных наделять — это все барские затеи*: надел изгадили и банковскую землю изгадят. Банк землю должен хозяйственным мужикам определять, да не по 13 десятин на двор, а по 50, по 100». «Таковы речи, которые мне чуть не каждый день приходится слышать от хозяйственных мужиков, *причисляющих себя обыкновенно к левым партиям*», резюмирует корреспондент Вольного Экономического Общества [2]). Единственный элемент деревни, у которого интеллигенция могла встретить политическое понимание, оказывался «по ту сторону баррикады» в социальном отношении. Ибо, не нужно этого забывать, наша крайняя левая интеллигенция и в начале XX века продолжала оставаться *социалистической*, какой она была в 70-х годах XIX-го; и причина была та же: по-прежнему главный корпус этой интеллигенции составляло *студенчество*.

---

[1]) «Письма из деревни», стр. 515.

[2]) «Труды», № 3, стр. 105. Примечание.

Читатель-интеллигент, быть может, обидится на такое отождествление революционной интеллигенции с «возрастной категорией», столь ядовито отмеченной в свое время буржуазной публицистикой. Но клевета (или ошибка: мы не беремся судить — чужая душа потемки) буржуазного публициста заключалась в том, что он, сознательно или бессознательно, выдавал *часть за целое*. Ни рабочую, ни крестьянскую революцию не приурочишь к определенному возрасту: и тут молодежь была подвижнее и решительнее, но, поскольку движение было массовым, в нем смешивались все поколения. Что касается третьей струи революционного движения, интеллигентской, то тут старшие поколения появились на сцене необыкновенно поздно. Только зима 1904—1905 г. увидела *массовое* движение «третьего элемента» и представителей свободных профессий: до этого, в данной среде, движение не выходило из *кружковой* стадии, масса даже не без пугливости сторонилась «радикалов», с которыми еще беды наживешь... Но к этому времени студенчество «бунтовало» уже лет пять, — а если считать «академический» период движения, то и лет пятнадцать. Беспристрастная история должна свидетельствовать, что в *пределах интеллигентской революции* буржуазный публицист был прав, если не для того именно момента, когда он писал (осенью 1905 года под ружьем были уже все возрасты русской интеллигенции), то вообще: а если этот публицист не заметил ни крестьян, ни рабочих, так на то он и был *буржуазный* публицист, а не пролетарский или крестьянский. Студенческое движение, предшествовавшее 1905 году, не нуждается в подробном описании для своего понимания: ибо, и в своих причинах, и в своей форме, и в своих исходных требованиях, оно было точной копией движений 60-х и 70-х годов, отличаясь от них только *размерами*: тогда участвовали сотни, теперь тысячи. Почва была та же самая. Экономическое положение студенчества, всегда в России неважное, к 90-м годам заметно ухудшилось от целого ряда причин: увеличение платы за ученье, сокращение стипендий, введение формы, вызвавшей лишние расходы, более тяжелой конкуренции в поисках заработка — благодаря быстрому росту числа слушателей и слушательниц высших учебных заведений, и т. д. В 1880 году плата за слушание лекций, в среднем на каждого студента, составляла 28 руб. в год; в 1894 — 37 руб. В то же время расход на стипендии, в 1880 году составлявший, в среднем на слушателя,

62 р., в 1884 г. упал до 37 р., а в 1891 г. до 23 р. 30 к. В 1884 г. было освобождено от платы 26,3% всех студентов, в 1891 г. 16,5%. Число студентов всех русских университетов выросло с 8.193 человек в 1880 году до 13.944 в 1894 г., при чем в столичных университетах оно росло быстрее, нежели в провинции: московский, например, университет, имевший в 1880 г. 1.881 слушателя, в 1894 г. считал уже 3.761 — вдвое более; в первом названном году московские студенты составляли 22,9% всех русских студентов, в последнем % повысился до 27,5 [1]). На ухудшение своего материального положения студенчество, с конца 80-х годов, начинает реагировать, как это раньше бывало, попытками взаимопомощи: и не случайно именно в московском университете, где замечалось наибольшее скопление студентов, начинают быстро расти *землячества*, — к 1894 году их считалось 43, с общим числом членов до 1.700 — почти половина всего числа студентов московского университета. Объединявший эти землячества «Союзный совет», в глазах московской публики того времени, был таинственным учреждением, чуть что не в роде «Исполнительного комитета партии Народной Воли». На самом деле это была организация в высокой степени мирная и благонамеренная, стремившаяся «рассеять ходячие ложные представления в обществе о студенческой организации и вызвать его сочувствие, заставить администрацию считаться с ней, понять ее неизбежность, целесообразность, справедливость ее требований, безопасность ее существования для общественного спокойствия и порядка...» [2]). Если ей приходилось прибегать к конспирации, то только потому, что устав 1884 года, рассматривавший каждого студента как «отдельного посетителя университета», не допускал и мысли о возможности каких бы то ни было студенческих организаций, хотя бы самого «академического» типа. Хор и оркестр — и то под неусыпным наблюдением субинспекторов: это был максимум того, что допускалось начальством; собираться вместе для чтения научных рефератов можно было уже только на конспиративных началах. Тем более страшна была организация, имевшая свою *кассу* (подумайте только!): начальство — нужно сказать, правильно ценившее свою репутацию —

[1]) Цифровые данные заимствованы нами из ст. *П. Н. Милюкова*, «Университет», в Энциклоп. слов. Брокгауза и Ефрона, полутом 68.

[2]) Из «письма» Союзного Совета от 14 ноября 1894 г. — цитированного в «Обществ. движ. в России в начале XX века», т. I, стр. 264.

было убеждено, что если молодежь собирает деньги, то не иначе, как с революционными целями; ибо уже если молодежь не даст ни копейки на революцию, то кто же тогда даст? На этом маленьком примере мы можем видеть, как полицейская тактика всегда ровно на поколение отставала от событий. Свирепое преследование студенческих касс вдохновлялось, очевидно, воспоминаниями о «Народной Воле», материально обеспечивавшейся, действительно, только теми — весьма скудными — средствами, которые притекали к ней из «общества»; того, что у революционного движения 90-х годов вырастает под ногами почва гораздо более твердая, в виде все более и более возбуждавшихся рабочих и крестьянских масс, начальство просто не замечало до тех пор, пока эти массы не хлынули в те самые аудитории, где начальство «содержало» своих «отдельных слушателей». Тогда начальство, наверно, с глубоким сожалением вздохнуло о гнавшихся им за десять лет перед тем академических организациях. А эти последние так далеки были от того, чтобы создавать боевые кассы для революции, что лишь к 1901 г., когда «политика» уже царила в университетах, петербургская касса взаимопомощи додумалась до «пожертвования каждым студентом 5% месячного дохода на революционные цели». Да и это была скорее угроза, чем реальное практическое предложение. «Если бы мы протестовали каждый раз таким способом, то этим скорее добились бы исполнения наших требований, чем отбыванием воинской повинности», говорила «Касса взаимопомощи». К этому времени начальство давно уже трактовало студенческое движение, как разновидность революционного: «временными правилами» 1899 года постановлено было за участие в студенческих «беспорядках» отдавать в солдаты без очереди. Но сами студенты еще весною этого года ни о чем так не заботились, как о том, чтобы в своих выступлениях не нарушить полицейского порядка. В официальном докладе Ванновского по поводу студенческих волнений 1899 года в Петербурге мы находим такие, например, строки: «В текущем году студенты подавляющим большинством решили 8 февраля не устраивать никаких шествий, увеселительных заведений вечером и ночью этого дня не посещать, выходить из университета по окончании акта не толпою, а отдельными группами и *избегать всяких столкновений с полицией*». А когда, благодаря бестактности министра народного просвещения Боголепова, — пожелавшего непременно «пригро-

зить» ничего еще на этот раз не сделавшим студентам, — бестактности, усугубленной ректором Сергеевичем, вывесившим в университете нарочито вызывающее объявление, «беспорядки» все-таки начались, собралась сходка, на ней еще раз «было подтверждено о необходимости соблюдать в день акта порядок на улице и избегать всяких столкновений с полицией». Для осуществления этого решения были приняты особые меры: «в дверях университета были поставлены особые счетчики из студентов, которые с часами в руках выпускали на улицу через каждые 1 — 2 мин. человек 6 — 8 товарищей; некоторые пробовали запевать песни на улице, но тотчас были останавливаемы другими... По удостоверению свидетеля-очевидца, поручика жандармского дивизиона Маркевича, студенты выходили чинно; по словам проф. Введенского, — никогда еще студенты не выходили из университета в таком порядке». Но никакая «чинность» не помогла, — охранка желала, чтобы непременно были «беспорядки», и ей удалось их провоцировать. Только приведение в действие диких «временных правил» 1899 года (студенчество долго хотело думать, что это лишь пустая угроза), отдача в солдаты 183 студентов Киевского университета в 1901 году, окончательно погубило идею легальной борьбы за профессиональные студенческие нужды. Московская сходка 9 февраля 1902 года приняла такую резолюцию: «считая ненормальность существующего академического строя лишь отголоском общего русского бесправия, мы откладываем навсегда иллюзию академической борьбы и выставляем знамя обще-политических требований...» [1]). И, хотя демонстранты 9 февраля тщетно ждали появления перед московским университетом «кадров рабочих» (в Москве тогда ходил слух, что этот абсентеизм рабочих не был случайностью: все пути от фабричных окраин к центру города были в этот день заняты усиленными нарядами полиции и казаков), упоминание о них в резолюции не было фразой: именно наличность революционного рабочего движения сделала движение студенческое окончательно и бесповоротно революционным.

Из этого, казалось бы, само собою вытекало, что идеология рабочего движения должна была стать идеологией и студенческого, что передовыми студенческими группами должен был быть усвоен марксизм, в его революционном аспекте (т.-е. учение

---

[1]) «Общественн. движение», ibid., стр. 281.

самого Маркса, а не приспособление этого учения к германской конституции, например). Это, однако, случилось только отчасти. Правда, руководящий состав социал-демократических кружков 90-х годов и социал-демократической партии начала девятисотых пополнялся преимущественно из рядов учащейся молодежи; но масса этой последней, несомненно, чем далее, тем более тяготела к революционному народничеству, в отдельных кружках пережившему разгром «Народной Воли» и в 1901 году официально возродившемуся в партии социалистов-революционеров. Причины этого тяготения студенчества к народническому социализму в основе были те же, что и в 70-х годах, — они уже выяснены нами ранее, и мы не будем возвращаться к этому вопросу [1]). Разница только в том, что теперь у народнического социализма, как будто, была под ногами недоставшая ему за двадцать лет перед этим почва, в лице разгоравшегося с каждым годом крестьянского движения. Говорим «как будто», потому что на самом деле, как мы видели, политически наиболее сознательные элементы крестьянства всего дальше были от какого бы то ни было социализма. Но революционное народничество девятисотых годов далеко не было только повторением семидесятых: народовольческая стадия движения не прошла бесследно, и молодежь привлекала к социалистам-революционерам не только, лучше сказать не столько, вера в общину и другие залоги своеобразного российского коммунизма, сколько острый политический интерес, сказавшийся всего сильнее в террористической тактике этой партии, с этой стороны являвшейся формальным возрождением народовольчества. В этом пункте социалисты-революционеры даже отрывались от только-что обретенной народничеством реальной почвы: мы помним, что террор народовольцев был заменой отсутствовавшего массового движения; «герои» потому и понадобились, что не было «толпы». Теперь последняя была налицо, в образе волновавшегося крестьянства: казалось, что оставалось делать другого, как не организовывать это крестьянство, стремясь отдельные «бунты» довести до размеров и сознательности народного движения, — словом, что оставалось делать, как не то, к чему безуспешно и безнадежно стремились «бунтари» 70-х годов? На самом деле, образование революционного «крестьянского союза» пришло лишь в последний час, когда движение

---

[1]) См. выше, стр. 174 и сл.

само собою начинало уже превращаться в революцию. Задолго до этого работала уже «боевая организация партии с.-р.», и совершались террористические выступления, по большей части не имевшие никакого отношения не только к народническому социализму (таких, конечно, вовсе не было), но даже и к крестьянскому движению вообще (таким было только одно: неудачное покушение Фомы Качуры на жизнь «усмирителя» харьковских крестьян, харьковского губернатора кн. Оболенского). Попытка сочетать народовольчество с землевольчеством на практике, таким образом, не удалась, — и народовольчество победило. Но и у той, и у другой фазы народнического социализма, теоретически, был различный классовый фундамент: землевольчество надеялось опереться на крестьянство, народовольцы мечтали использовать оппозиционную буржуазию. Социалисты-революционеры в обоих отношениях оказались счастливее своего старшего поколения: к их услугам было не только не фантастическое, а вполне реальное крестьянское движение, но и не фантастическая, а вполне реальная буржуазная оппозиция. И так как последняя была ближе, виднее, ее поддержка была осязательнее, ее понимания было легче добиться, то искушение, в которое впала революционная молодежь, вполне понятно: а что в дальнейшем обе социальные базы народнического движения могут стать на дыбы друг против друга, что именно крестьянская революция может отбросить направо (и как далеко!) буржуазную оппозицию — это предусматривал в 1879 году Желябов, но не предусмотрели в 1904 — 1905 г.г. социалисты-революционеры. Менее счастливые их предшественники обнаружили больше политической проницательности.

Буржуазная оппозиция, о которой идет речь, не охватывала собою промышленной буржуазии. Эта последняя, в силу глубоких экономических оснований, была консервативной, и в 90-х годах, и еще более в девятисотых — кризис, как всегда, оттолкнул ее еще дальше вправо. Только лет 10 спустя, с новым промышленным подъемом и с увеличившимся значением национального накопления в промышленности, фабриканты и заводчики стали леветь, — и то очень медленно, не дальше «прогрессизма», иначе говоря, либерализма недемократического даже в теории. В 1904 — 1905 годах только панический ужас перед надвинувшейся революцией мог заставить их пойти на уступки, взятые назад тотчас же, как только ужас прошел. Вот почему

глубоко не-историческим является то объяснение, в силу которого «отказ» буржуазии от революции был последствием «неумеренности» социал-демократов: умеренны или неумеренны были рабочие и их партия, они обращались со своими требованиями к такому «союзнику», который ни о чем другом не мечтал, как только о том, чтобы дезертировать при первой возможности. Та часть буржуазной публицистики, которая пришла в ужас после октябрьской забастовки 1905 года, смотрела на вещи слишком «из города», в этом отношении вполне разделяя ошибку своих антагонистов, социал-демократов: как тем казалось, что в городе вся сила, так этим чудилось, что здесь все зло. А на самом деле как раз такой силы, которая смогла бы причинить «все зло», здесь и не было. Иначе стояло дело в деревне. Как это ни странно покажется на первый взгляд, но добившееся, в пределах мыслимого, восстановления до-реформенного права земельное дворянство очень скоро оказалось в оппозиции к тому правительству, которое провело столь благодетельные для помещиков «реформы» 80-х годов. Экономическую подкладку этой оппозиции помещики назвали сами, — нет надобности о ней гадать. На всероссийском съезде сельских хозяев, в 1895 году, держались такие речи: «наш сельскохозяйственный кризис есть последствие колоссального нарушения равновесия между обрабатывающей промышленностью и сельским хозяйством, в привилегиях первой и угнетении в ее пользу второго. Если высшая державная власть, в доброжелательстве и заботливости которой мы нимало не сомневаемся, не придет к нам на помощь, то нам останется одно: с ясным сознанием причин подавляющего нас критического положения итти к неминуемому и общему разорению» [1]). Исторически, нельзя было сказать большего вздора: критическое положение русских землевладельцев зависело от мирового кризиса, в свою очередь, вовсе не зависевшего от русского правительства. Это правительство, учреждением крестьянского и дворянского банков и разными иными воспособлениями, давным-давно «пришло на помощь» землевладельцам в максимальной степени. На разные неприятные для этих землевладельцев меры, в роде высокого таможенного тарифа, правительство пошло поневоле, так как иначе невозможно было добыть из-за границы денег, необходи-

---

[1]) Из речи В. П. Муромцева. Цит. по «Общественн. движению» I, стр. 301.

мых для поддержáния того же дворянского государства. Словом, сердиться на правительство было совершенно не за что, но обозленный своим личным разорением дворянин не разбирал и, впервые после пятнадцатилетнего промежутка, начинал опять прислушиваться к голосу оппозиции, слабо, гораздо слабее даже, чем в 1880 г., но все еще звучавшему изредка в земских собраниях. В начале того же 1895 года этой оппозиции удалось добиться от целого ряда губернских земских собраний (Тверского, Тульского, Уфимского, Полтавского, Саратовского, Тамбовского, Орловского, Курского и Черниговского) подачи адресов, доходивших до весьма прозрачных намеков на желательность совещательного народного представительства [1]). Странно подумать, что это было менее тридцати лет тому назад: но все на свете относительно, и после дикого разгула черносотенства в предшествующее десятилетие, даже такое пожелание, особенно высказанное устами *дворян*, хотя и одетых в «земский» костюм, говорило многое. В частных беседах говорилось, конечно, гораздо больше, и немудрено, что уже в те годы нашлась группа интеллигентов, проповедывавшая «отказ от социализма» (приблизительно наподобие народовольцев), дабы опереться на земскую оппозицию в попытке серьезного политического переворота. За этой партией «Народного Права» земцы, однако, не пошли, ограничившись верноподданническими адресами, — а так как и более серьезная часть революционной молодежи к ней не примкнула, то попытка дальнейших последствий не имела, и «провал» народоправцев, арест их главного штаба полицией, положил конец существованию всей партии. Но влияние оппозиции в земских собраниях становилось все больше, а ее программа все шире, и тут мало-по-малу между самодержавно-буржуазным правительством и его дворянством стало намечаться уже действительно принципиальное расхождение. Аграрный кризис проходил мало-по-малу, аграрный капитализм возрождался, возрождение аграрного капитализма означало собою и возрождение «дворянского манчестерства». Уже в адресах 1894 — 1895 г.г., как их толковала оппозиция (едва ли это было толкованием большинства тех земских собраний, которые принимали адреса), была идея *гражданского равноправия крестьян-*

---

[1]) См. *С. Мирный.* «Адресы земства 1894 — 1895 г.г. и их политическая программа», Женева 1896 г.

ства: новое крепостное право оказывалось уже невыгодным, а потому нежелательным и несимпатичным. «Комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности» (1902 — 1903 г.г.) показали, что возродившееся «дворянское манчестерство» захватило очень широкие круги. Земские съезды, начиная с 1902 г., все определеннее усваивают себе конституционную точку зрения. Аналогичный партии «Народного Права», «Союз Освобождения» (в котором вопрос о социализме не устранялся, а просто замалчивался) делает уже гораздо более успешную попытку опереться на «левых земцев», которые под давлением «освобожденской» интеллигенции (преимущественно из земского «третьего элемента») доходят до программы почти демократической. А под давлением самих «левых земцев» «Частное совещание земских деятелей» 6 — 9 ноября 1904 года, представлявшее собою если не «большую часть русского общества», как оно само о себе думало, то все же очень широкие земские круги, подавляющим большинством приняло резолюцию о необходимости уже не совещательного, а настоящего народного представительства: за совещательный земский собор высказалось меньшинство, — что было максимумом в 1894 году, стало минимумом в 1904 г. То, чего тщетно ждали народовольцы, буржуазное политическое движение, несомненно существовало уже в России в начале XX столетия и, как ни тщательно отгораживало оно себя от революции [1]), волей-неволей, на ближнем этапе до конституции, это были попутчики. Но поместное дворянство, добиваясь, в лице земцев, упразднения самодержавия, вовсе не добивалось самоупразднения: и когда крестьянское движение обнаружило явную тенденцию взяться сначала не за политическую вершину дворянского государства, а за его экономическое основание, единственный буржуазный попутчик революции быстро отстал и прибег даже снова к весьма оригинальной форме правительственного «воспособления», арендуя, на льготных условиях, казенные пулеметы для защиты своих имений от тех самых, на ком строила все свои надежды народническая революция. Буржуазия сомкнулась в одну сплошную реакционную массу, которая, навалившись всей своей тяжестью, задавила бы,

---

[1]) До того тщательно, что заседания устраивались тайно не от полиции, — она, напротив, любезно провожала заблудившихся членов по надлежащему адресу, — а от студентов и рабочих! См. ст. *бар. Будберга* «Съезд земских деятелей 6 — 9 ноября 1904 г.». «Былое», 1907, март.

при современных средствах борьбы, движение и более серьезное, чем наша деревенская революция. А охваченному кольцом «усмиренных» деревень городу ничего другого не осталось, как сдаться...

Так рисовался исход первой рабочей революции в России около 1911 года, когда писалась книга. Никто не подозревал, что мы стоим перед новым подъемом пролетарской волны — в сравнении с которым маленьким покажется и движение 1905 г. Город победил, наконец, деревню, вычистив то, что оставалось в ней от крепостного режима, так основательно, что слово «земский начальник» придется объяснять в школьных учебниках так же, как в дни нашего детства нам приходилось объяснять «наместника» и «волостеля». История этой победы — как и детальное изложение истории самого 1905 года — составит содержание будущих томов этой книги. Там мы вернемся и к тем явлениям, что так бегло затронуты на этих последних страницах.

Этот том, таким образом, не заключительный, как было раньше, — за ним должны последовать еще три, по крайней мере. Твердое намерение автора — довести изложение до октября 1917 года. Дальше еще нет *истории*: Октябрьская революция еще не кончилась; было бы величайшей самонадеянностью ставить теперь точку на каком бы то ни было месте этого живого процесса. Но то, что привело к ней и ее обусловило, это уже чистая история, это уже бесповоротно прошлое, и его анализ может и должен быть дан в наших курсах.

Когда автору удастся осуществить свое намерение? Очень хотелось бы обещать давать по тому в год, как это было десять лет назад. Но тогда был фактор, еще Лермонтовым достойно оцененный, как весьма способствующий литературному творчеству: изгнание. Сидя дома, в нормальной обстановке рабочего человека, так много времени исключительно писанию не отдашь... Зато, с другой стороны, и материала подготовленного у автора теперь неизмеримо больше, чем было, когда он принимался за первые части своей работы. Все на все считая и отвлекаясь от вмешательства сил стихийных, могущих принять самый разнообразный облик, субъективно автор твердо убежден, что сле-

дующие тома явятся раньше, чем понадобится новое переиздание первых.

Как не последний, настоящий том может теперь и не иметь того «заканчивающего» вида, какой ему был придан в предыдущих изданиях. Там была, например, библиография — по год издания. Теперь она не нужна, во-первых, потому, что соответствующие указания даны в «Очерке истории русской культуры», который дождется нового издания, конечно, много раньше, нежели закончится эта книга. А затем, подводить библиографические итоги мы будем уже к году выхода последнего тома: авось, тогда можно будет назвать больше книг, действительно научных — т.-е. стоящих на чисто материалистической точке зрения. В так называемой «всеобщей» истории прилив идет уже довольно давно — «русскую» он захватит непременно в ближайшие же годы. Сохранять же старую библиографию, безусловно устаревшую, конечно, не имело смысла.

СИНХРОНИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Столетия [1]) и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
IV век нашей эры.	*Западная* Римская империя (со столицей в Риме) начинает разлагаться; ее провинции занимаются понемногу «варварами» (германцами — предками теперешних немцев, голландцев, англичан, швейцарцев и т. д.). На первое место начинает выдвигаться *Восточная* Римская империя, со столицей в Константинополе (Византия), на греческой основе.	Первые упоминания об *антах* (славянах) между низовьями Дуная и Доном.
V—VII века.	Расцвет Восточной империи, которая при Юстиниане (527—565) завладевает почти всем бассейном Средиземного моря; на основе рабского и крепостного труда возникает яркая и блестящая *византийская* (греческая) *культура*.	«Бесчисленное множество» *антов* у Азовского моря.
VIII—IX века.	В Западной Европе вновь образуется «Западная империя» из разрозненных ранее германских племен; в нынешней Персии и Азиатской Турции образуется огромная империя арабов (халифат), которая начинает теснить Византийскую империю.	Кочевники оттесняют понемногу славян от Черного и Азовского морей, но славяне распространяются севернее, в бассейне р. Днепра (до верховьев Волги и Оки к северо-востоку).
X век.	Византия в борьбе с арабами начинает искать помощи между прочим и у русских славян; с ними завязываются тесные сношения; византийские миссионеры стараются подчинить их влиянию византийской культуры, сталкиваясь при этом с пропагандой западных миссионеров из Рима и Западной империи. Славяне принимают азбуку *греческого* образца, чем технически обеспечивается перевес Византии.	Славяне, организуемые норманнами, начинают вести успешную борьбу с кочевниками, вновь пробиваясь к берегам Черного и Азовского морей. С другой стороны, славянская колонизация спускается вниз по Оке и верхней Волге (Ростов, Муром, Суздаль), оттесняя *финские* племена и пробиваясь к странам *арабской* культуры (волжские болгары).

[1]) Столетия обозначаются *римскими* цифрами I (1), II (2), IV (4), V (5), VI (6), IX (9), X (10).

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.
Набеги «антов» на Восточную империю.	Ничего не известно.
Набеги славян на империю Юстиниана; византийское правительство устраивает против них оборонительную линию по Дунаю.	Рассказы византийских писателей о славянах, как дикарях; бродячее земледелие и лесные промыслы; живут *родами*, т.-е. большими семьями.
Появление на русской равнине *варягов* (норманнов), в качестве разбойников, поставлявших на восточные, византийские и арабские рынки живой товар—невольников, а также предметы роскоши, меха. 862 год условно долго считался годом «основания русского государства».	Славянские роды смыкаются в племена (славяне, кривичи, дреговичи, древляне, поляне, дулебы и бужане, или волыняне, тиверцы и уличи, радимичи, вятичи, северяне), с *князьями* во главе. Племенные *веча*.
Образование варяжских княжеств, смыкающихся—не очень тесно—в большую варяжскую державу, с центром в Киеве. Оживленные дружеские и враждебные соприкосновения киевских князей с Византией. Первые *исторические* князья, известные нам по именам (Олег, Игорь, Святослав, Владимир). Первые *исторические события* русской истории, годы которых нам известны (набег Олега на Константинополь 907 г., первый договор Киевской державы с Византией 911 г. и т. д.).	Племенной быт переходит в *городской*; туземные славянские князья сменяются норманнами, которые правят не из старых племенных центров, а из своих стоянок по речному пути «из Варяг в Греки», превращающихся мало-по-малу в города (Киев, Чернигов, Переяславль, Любеч, Смоленск, Полоцк, Новгород). Над сельским населением вырастает городская рабовладельческая аристократия (бояре и старцы градские), стремящаяся резко отделиться от массы «смердов» и усваивающая себе, вслед за князьями, византийскую культуру (так называемое «крещение Руси» при Владимире, в 987—989 годах, с внешней стороны, как результат формального *союза* Византийской империи и киевского князя). Первая запись судебных обычаев (древнейшая редакция «Русской Правды»).

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XI век.	Западная империя распадается на ряд мелких государств, слабо объединяющихся в группы по *национальному* признаку (королевства: французское, английское, германское и т. д.) Развитие торговых сношений и образование *торговых центров* (ранее всего в Италии, потом в западной Германии, Франции и т. д.). Под влиянием торговой буржуазии и главного центра первоначального накопления той эпохи, папского Рима (церковной столицы всего Запада), набеги западных норманнов на Византийскую империю превращаются в *крестовые походы* (Клермонский собор в 1095 г.), на словах—для «освобождения гроба господня», на деле —для захвата в руки итальянцев, французов и западных немцев торговли с Востоком, ранее бывшей в руках греков и арабов.	Славяне все более плотно заселяют междуречье Оки и Волги, где возникает целый ряд новых городов (Владимир и пр.) и княжеств. Движение на юг приостановлено новой волной кочевников (половцы).
XII век.	Византийская империя разлагается, все более и более, оттесняемая на второй план «крестоносцами», т.-е. западно-европейским торговым капиталом. Передвижка мировых торговых путей из Восточной Европы в Западную (путь Константинополь—Западная Европа через Днепр сменяется путем Средиземное море—альпийские проходы — Рейн).	Продолжающаяся колонизация северо-восточной (суздальской) Руси, где окончательно складывается *третий* славянский центр на русской равнине, равносильный двум более старым,—киевскому (то, что в то время именно и называлось «Русью») и новгородскому. Первое упоминание о Москве (1147 г.). Образование в Москве узлового пункта одного из новых княжеств (постройка московского кремля, 1156 г.). Продолжение колонизации на восток в 1181 г. Новгородцы основывают Хлынов (Вятку).

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.
Первая половина века отмечена окончательным разгромом старого кочевого населения южно-русских степей (*печенегов* киевским князем Ярославом, в 1034 г.). Вторая — появлением новой, гораздо более сильной, орды кочевников, *половцев*, в свою очередь разгромивших сыновей Ярослава (1068 г.). Конец века наполнен борьбою с половцами.	Образование в городах многочисленного торгово-ремесленного населения, которое эксплоатируется ростовщическим капиталом в лице городской аристократии. Начало классовой борьбы. Первая киевская революция 1068 года. Сборники судебных обычаев — «Русская Правда» — второй и дальн. редакций, отражающая уже следы классовой борьбы.
Продолжение борьбы с половцами, все менее и менее удачной, по мере постепенного развала киевской державы, под влиянием противоположных интересов различных городов, что выражается рядом междугородских войн (так называемой «усобицы князей»). Старый центр, Киев, опустошив все вокруг себя, падает жертвою нового северо-восточного центра, Владимира (разгром Киева войсками суздальско-владимирского князя Андрея Боголюбского в 1169 г.).	Расцвет городской демократии на юго западе и начало демократического движения на севере и северо-востоке. Вторая киевская революция (1113 г.). Ограничения произвола ростовщического капитала; князе Владимир Мономах; «Мономахова Правда». Духовенство пытается спасти княжескую власть, идеализируя ее (легенда о призвании князей). Но это не мешает тому, что *киевское вече становится рядом с князем* (1146—1147). Революция на северо-востоке: убийство Андрея Боголюбского и двукратное восстание Владимира против княжеской власти (1175 и 1177). Зарождение новгородской демократии (1126 — первый выборный посадник). Расцвет дружинной поэзии и церковно-публицистической литературы («Слово о полку Игореве» и летописные своды).

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XIII век.	В начале столетия во главе стоит еще старое гнездо торгового капитала — Италия. Папа Иннокентий III (1198—1216) организует 4-й крестовый поход, во время которого французские рыцари, руководимые итальянскими (венецианскими) купцами, берут и грабят Константинополь (1204). Византийская империя фактически перестает существовать с этого времени. Одновременно в южной Италии возникает первое *национальное государство* торгового капитала (Неаполитанское королевство Фридриха II Гогенштауфена, около 1230—1250 г.г.). Но очень быстро торговый капитал создает и другие национальные объединения, раньше всего во Франции (крестовый поход короля Людовика «Святого», 1249). К XIV веку всюду, на основе торгового капитала, начинает складываться *централизованная бюрократическая монархия* (Кроме Англии — «хартия вольностей» 1215, первый парламент 1265). Церковное ростовщичество начинает вызывать отпор народных масс; особенно более развитых горожан, — отпор, облеченный также в религиозную форму: учения, что церковь «не настоящая» (так называемые «средневековые ереси», катары или «альбигойцы», патарены, тиссераны (ткачи). Церковь душит «еретиков» со зверской жестокостью («крестовые походы на альбигойцев» 1209—1229; *инквизиция*).	Земли вокруг Киева («Русь» в собственном смысле слова) все более пустеют и послетатарского нашествия (см. соседний столбец справа) совсем выходят из русской истории до XV столетия. На сцене остаются северо-западный и северо-восточный центры (Новгород и Суздальская земля, где руководящие городские центры меняются—сначала Владимир, затем Тверь, наконец, Москва). Новгородцы, в погоне за мехами и серебром, все дальше углубляются на восток, в *Заволочье* (страну по ту сторону «волока» — водораздела между бассейном Сев. Двины, с одной стороны, бассейном волжским и Балтийского моря — с другой). Заволочье, это нынешние Архангельская, Северо-Двинская, отчасти Вятская и Пермская губернии.

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
Падение Византии окончательно обессмысливает торговый путь «из Варяг в Греки» и уничтожает последнюю спайку былой Киевской державы. Русь дробится все более и более («удельный период»). И раньше плохо выдерживая борьбу с половцами, отдельные княжества оказываются совершенно бессильны объединиться для борьбы с новой и еще более страшной степной ордой — *татарами* (битва на Калке 1224, нашествие Батыя 1237—1240). Юго-западная Русь была опустошена более всего и окончательно добита; северо-западная отделалась признанием власти хана и уплатой дани (татарское «число» в Новгороде, 1259). Северо-восточная, сильно опустошенная, была подчинена татарам, фактически сделавшись предметом эксплоатации восточного «ордынского» капитала, что клало зерно ее будущего объединения под властью главного ханского приказчика, каким стал, в следующем столетии, князь московский. С этого времени направление внешней политики северо-западного и северо-восточного центров резко разделяется: Новгород наступает на северо-востоке и отбивается на западе (разгром шведских «крестоносцев» на Неве 1240 и немецких на Чудском озере 1242), Москва смотрит на юг и юго-восток.	Однообразное развитие русского города в сторону демократии, наблюдавшееся нами в предшествующем столетии, дробится: юго-западные вечевые города исчезают, в северо-восточной Руси, после ряда неудачных восстаний (в Ростове, Владимире, Суздале и Ярославле, в 1262 и 1289 г.г.), князья, при помощи татар, решительно берут верх над вечем, но, не опираясь более на городскую силу, вынуждены поделиться властью с крупным землевладением: северо-восточная Русь, начиная с XIII века, окончательно *феодализируется*, уподобляясь Зап. Европе X—XI в.в. В Новгороде, наоборот, демократическое развитие продолжается беспрепятственно (1209—новгородская революция, аналогичная киевской 1113 г.; 1218—выборные городской общины становятся несменяемыми для князя; 1265—первая писаная новгородская конституция, грамота, по которой присягал князь Ярослав Ярославич, брат Невского). Попытка Александра Невского (1236—1263), пользуясь затруднительным положением Новгорода в борьбе с западными «крестоносцами» и опираясь на татарскую помощь, провести и здесь суздальские порядки, успеха не имела. Новгород становится фактически *вечевой республикой*: князь опускается до положения наемного главнокомандующего.	Шведы завоевывают Финляндию (основание Выборга 1293) и подходят вплотную к новгородской земле. На восточных берегах Балтийского моря развивается немецкая колонизация (орден «меченосцев»; основание Риги 1201). Пользуясь ослаблением южной Руси, Литва, которая раньше была предметом русских набегов, начинает отчасти из обломков южной Руси, образовывать самостоятельное государство (князь Миндовг, умерший 1263; Витовт 1293—1316). В средине века образуется союз северо- и западногерманских городов (Любек, Гамбург, Бремен и вестфальские города, так называемая Ганза, 1256 г.), втянувший в сеть своих торговых операций и Новгород, где была одна из ганзейских контор. Для Ганзы Новгород был главным источником *пушного товара* и рынком сбыта зап.-европ. мануфактуры, главным образом, *сукна*. В 1261 г. греки прогоняют «крестоносцев» из Константинополя, и Византийская империя возрождается в виде маленького госу-

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XIV век.	В Западной Европе окончательно складывается национальное государство торгового капитала в виде централизованной бюрократической монархии, раньше всего во Франции (Филипп «Красивый» 1285—1314), поднимающее знамя восстания против старых «накопителей» (борьба Филиппа с папой Бонифацием VIII; процесс *тамплиеров*—одного из последних рыцарских орденов, образовавшихся в Палестине: истребление остатков «крестоносцев»). Но гнет торгового капитала, выражающийся в неслыханной прежде эксплоатации сельских и городских масс, вызывает в свою очередь восстания против новорожденной бюрократической монархии (восстание парижских горожан под предводительством Этьена Марселя в 1355—1358; «жакерия»—французская пугачевщина—в 1358). В Англии аналогичные явления связаны с царствованием Эдуарда III (1327 — 1377), но орудием торгового капитала становится там не бюрократическая монархия, а парламент (так называемое «рабочее законодательство Эдуарда III»); массы ответили и на эту форму гнета тем же (восстание Уста Тайлера 1381). Начало *борьбы за рынки*: Столетняя война» между Англией и Францией из-за Фландрии, мануфактурного центра тогдашней Европы (фландрские сукна; 1337—1453). В этой войне впервые появляется новый род оружия, огнестрельного (артиллерия).	Приблизительно та же, что и в предыдущем столетии: давление татар с юга и юго-востока мешало движению в эту сторону. В Заволочье новгородцы, достигнув, с одной стороны, берегов Ледовитого океана, с другой—бассейна Печоры и Уральского хребта, не имели перед собой пространства, пригодного для колонизации. Далее на восток проникают только экспедиции за пушным товаром; одна из таких новгородских экспедиций, 1364 года, достигла берегов р. Оби; в погоне за мехами, русские впервые вступили в Сибирь.

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
		дарства; Константинополь сохраняет значение церковной столицы православия, экономически он остается в руках итальянских купцов.
Основной факт—образование Московского великого княжества, охватывающего сначала бассейн р. Москвы (Можайск и Коломна), потом Москвы и Клязьмы, т.-е. державшего в руках как связи западной Руси с восточной (Смоленска и Чернигова с Нижним-Новгородом), так и Новгорода с тогдашним югом России (Рязань). Узловое положение давало перевес городу Москве и московской буржуазии над остальными городами северо-восточного центра: Москва конца XIV в.— вероятно, уже крупнейший город России после Новгорода и Пскова. Благодаря тому же узловому положению, Москва становится центром *заграничной* торговли с южными странами и Средней Азией, как Новгород—с Западной Европой (средне-азиатская торговая колония в Москве—улицы «Ордынки» — и русская на низовьях Волги; «сарайская епархия» еще 1265 г.; 1356 «гости-сурожане», генуэзские купцы из Крыма в Москве). Внешним выражением этих торговых связей были политические связи московских князей с Ордою (Юрий Данилович, 1303—1324, женатый на сестре хана; Иван Калита, 1324—1341, главный ханский приказчик; «Симеон Гордый», 1341—1351, которому хан отдал «под руки» всех князей русских; Иван II, 1353—1359).	Главной прогрессивной силой является *церковь*, роль которой, как представительницы *первоначального накопления*, начинается в России как раз тогда, когда в Западной Европе она заканчивается. Поднимается к этой роли церковь сначала в союзе с Ордою (ордынские «ярлыки» митрополитам Петру, Алексею [1357] и др.). Но уже очень скоро она начинает тяготиться этой зависимостью и подталкивать московского князя, превращенного ею в своего клиента (митрополит Алексей правит Московским княжеством в малолетство Дмитрия Донского), на борьбу с татарами (роль игумена Сергия в куликовском походе). Отождествляя свои интересы с интересами Москвы, церковь помогает этой последней громить ее противников (Тверь, Нижний-Новгород) и начинает поддерживать ее в борьбе с Новгородом, где образовалась своя, автономная церковь, связанная с новгородским торговым капитализмом и зреющая еще быстрее московской. Церковные вымогательства и здесь, как в Западной Европе, создают почву для «ересей» того же типа, что и за-	Литовское государство продолжает расти на счет обломков старой «Руси» и все более превращается в «литовско-русское» (Гедимин, 1316—1341, завладевает Минском и Пинском; Ольгерд, 1345—1377, — Киевом, Черниговом, Волынью и Подолией; его племяник Витовт в 1395 г. — Смоленском). Общая опасность от немецких «крестоновцев», грабивших Литву и запиравших польской торговле дорогу к морю, повела к «унии» Польши и Литвы в 1386 г. На запад от Московского вел. княжества вырастает огромная польско-литовская держава — союзница Твери и Новгорода против Москвы. На востоке Орда понемногу разваливается, но выделяющиеся из нее ханства, главным образом, Казанское, Астраханское, и Крымское, оказываются еще на первое время довольно сильными для Москвы противниками.

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XV век.	На Западе является классическим веком «Возрождения», а также веком «изобретений и открытий». И «Возрождение» (подразумевается, древнего мира), выразившееся в расцвете литературы и искусства, и «открытия и изобретения» одинаково были дальнейшими последствиями развития капитализма. В самой Европе капитал не довольствуется уже эксплоатацией мелкого производителя, а начинает переходить к организации производства, ранее всего в Италии (флорентийские суконные и шелковые мануфактуры). Появляются первые зачатки кредита и биржи: средневековый «меняла» превращается в банкира (Медичи во Флоренции, Жак Кер во Франции и т. д.) Торговый капитал, в погоне за прибылью, начинает отправляться в далекие страны, ища прямой, непосред-	Положение, в общем, прежнее. Распадение Орды дает временно некоторую возможность для движения на восток (московская рать на средней Волге, в «Булгарах» — 1431 г.), но образование Казанского царства вновь останавливает движение. В последний год века москвичи переходят Уральский хребет на севере (из бассейна Печоры, 1499), продолжая новгородское движение предыдущих столетий.

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
Главным соперником Москвы была Тверь (бассейн верхней Волги,—другая, более кружная, но более удобная дорога с запада на восток и из Новгорода на юг). Но Тверь, непосредственно командуя выходами из новгородской земли, являлась ближайшим соперником новгородской торговой аристократии, — последняя была естественным союзником Москвы; только разгромив Тверь, московская буржуазия решается сама выступить соперником Новгорода (первое столкновение Новгорода и Москвы из-за Заволочья, 1397 — 1398). Ранее этого, найдя точку опоры в ранних формах туземного «первоначального накопления» (церковь—ср. предыдущее столетие западно-европейской истории), Москва пытается стряхнуть власть ордынского капитала (Дмитрий «Донской», 1362—1389; Куликовская битва 1380), но неудачно (разгром Тохтамышем Москвы, 1382).	падно-европейские («стригольники» стригали сукна — во Пскове, новгородском пригороде, который в 1348 г. становится самостоятельным). Восстание московской буржуазии в 1382 г. во время набега Тохтамыша	Зато всякое политическое влияние утрачивает Византия, духовенство которой старается, по старой памяти, восстановить свое былое влияние на Руси, но безуспешно: русская церковь все более и более *национализируется*.
Неудачная попытка сбросить Орду в 1380-х годах возвращает московских князей на привычную колею союза с татарами: Василий I (1389—1425) при их помощи захватывает Нижний-Новгород — узел двух конкурировавших до тех пор торговых путей, тверского и московского. Северо-восточный центр и Московское великое княжество с этих пор почти сливаются. Последний спор двух путей разрешается уже в форме усобицы *внутри* потомства Калиты (войны сына предыдущего, Василия Васильевича «Темного». 1425—1462, с его дядей Юрием Галицким [Костромским] и сыновьями	В Новгороде торговый капитализм окончательно складывается и переходит к эксплоатации массы населения (подобно тому, как это было в Западной Европе XIV в.), которое реагирует на это так же, как и на Западе (новгородское восстание 1418 г.). Но на первое время это идет лишь на пользу более отсталой Москве, которая опирается на новгородские раздоры при покорении Новгорода. В самой Москве начинает намечаться расслоение феодального общества: ниже крупного *вотчинного* землевладения старых	Союз Литвы и Польши против Немецкого ордена дает блестящие результаты в начале века (1410—разгром «крестоносцев» при Танненберге). Но затем Литва быстро подпадает влиянию экономически более развитой Польши, которая вытесняет литовцев из ю.-зап. Руси и полонизирует самое Литву. На место литовско-русского государства начинает складываться польско-литовское (соглашение

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	ственной связи с Индией и Китаем (в поисках этого пути, теоретически разработанного уже тогдашними географами, Колумб открыл в 1492 году Америку; а шесть лет спустя португалец Васко де-Гама нашел и самый морской путь в Индию). Промышленное предпринимательство создает почву и для технических изобретений (самым важным был *типографский станок*, 1450, сделавший промышленным предприятием изготовление книг, раньше бывшее в руках кустарей-переписчиков). Одновременно все больше и больше разваливается цитадель старого «первоначального накопления»; сжегши в 1415 г. Яна Гуса, западная церковь празднует свою последнюю победу над «еретиками», но гуситы, восставшие крестьянские и мещанские массы, держатся целых полстолетия. В то же время попытки пап возобновить крестовые походы (против *турок*) для спасения Константинополя, в 1439 г. признавшего главенство западной церкви, терпят полное крушение. Константинополь в 1453 г. взят турками; Византийская империя окончательно сходит с исторической сцены.	

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
последнего—Васильем Косым и Дмитрием Шемякой). Спор окончательно решается в пользу Москвы, Только набеги татар (главные в 1408 и 1445, когда был взят в плен сам Василий Темный) напоминают Москве, что она не полная хозяйка. Успешнее идет начавшаяся ещё в предыдущем столетии борьба с Новгородом из-за Заволочья. Москва теперь экономически господствовала над Новгородом, она могла не пустить к нему хлеба с «низу», т.-е. с юга, и в ее же руках был весь рынок сбыта новгородских товаров. Ряд московско-новгородскнх войн (1417, 1441, 1456) кончаются формальным подчинением Нов. республики московскому вел. князю (вечевые грамоты действительны лишь с печатью вел. князя, который получает право облагать новгородцев податью, «черным бором»). Последний удар Новгороду наносит сын Василия Т., Иван III (1462—1505; с 1471 г. Новгород становится в вассальные отношения к Москве, а его область оккупируется московской армией. Еще раньше (в 1456 г.) в такие же отношения попадает Рязань, а в 1485—Тверь. Год спустя эта старая соперница Москвы становится частью непосредственных владений Московского великого княжества, чем уже с 1463 г. был другой верхне-волжский центр — Ярославль. Московское княжество превращается в *государство Московское*. Его «самодержавность» закрепляется формальным прекращением отношений к Орде («падение татарского ига», 1480), что имело мало значения, ибо настоящими противниками были не Орда, а Казань и Крым.	бояр и бывших князей просвечивает более широкий слой мелкого *поместного* землевладения (будущего дворянства). В раздел между ним идут конфискованные земли новгородского боярства, и оно является уже политической силой (совещание Ивана III со «всеми воями» в 1471 г. перед походом на Новгород). Усиление влияния московской буржуазии сказывается в разгроме новгородской торговли (1494— закрытие немецкого двора в Новгороде, что означало переселение центра заграничной торговли в Москву). Превращение Московского княжества в государство, охватывающее оба старых центра, северо-западный и северо-восточный (в юго-заподном утверждается Литва, см. соседний столбец), создает новую *идеологию*: после «измены» Константинополя, признавшего в 1439 г. власть папы, московская церковная интеллигенция начинает учить, что центр православия отныне Москва — «третий Рим»; отсюда логически вытекало, что московский великий князь есть наследник византийских императоров (внешнее выражение это нашло себе в женитьбе Ивана III на византийской принцессе Зое — у нас названной Софией — Палеолог в 1472 г.). Новая идеология осмысливает такие факты, как захват Новгорода, облеченный в форму крестового похода, прекращение подчинения Орде и т. д. Комбинация: московский князь — цер-	в Городло 1413 — общий литовско-польский сейм). Поворот польско-литовской политики на запад и юг ослабляет Литву на востоке, где бывшие черниговские княжества переходят к Москве. Война Литвы против Москвы (1499) кончается поражением литовцев. Одновременно Москва, начиная пробиваться к берегам Финского залива, вступает в борьбу с другим остатком немецких «крестоносцев», Ливонским орденом (постройка Ивангорода против Нарвы в 1492).

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XVI век.	Открытие Америки и морского пути в Индию имеет следствием новую передвижку мировых путей, несравненно крупнее той, которую произвели «крестовые походы». «Средиземные» моря (южное, собственно так называемое, и Балтийское, «Средиземное» море Северной Европы), с впадающими в них реками, отступают на второй план и сохраняют лишь местное значение. Настоящей всемирной торговой дорогой становится океан, и руководящее значение сохраняют или приобретают лишь страны, владеющие выходами на океан. Из передовых стран средневековья в таком положении оказывается лишь *Франция*, рядом с нею выдвигаются, не игравшие до тех пор большой международной роли, *Англия* и *Испания*. Напротив, *Германия*, с ее Рейном и балтийскими портами, центр средневекового торгового оборота, падает на второе место. И совсем теряет какую-либо руководящую экономическую роль *Италия*—колыбель европейского торгового капитализма и XI—XIII в.в., еще в XV в. во многом показывавшая дорогу другим странам (банки и мануфактуры Флоренции, венецианская и генуэзская торговля; Америку открыл итальянец Колумб, действуя по плану итальянского географа Тосканелли; итальянское искусство эпохи «Возрождения» носит мировой характер и т. д.). Упадок Италии сделал совершенно бессмыслицей господство	Образование крупного государства в средней России (Московское государство к XVI в. охватывало, приблизительно, теперешние губернии: Московскую, Тверскую, Новгородскую, Череповецкую, Псковскую, восточную часть Смоленской [город Смоленск перешел в московские руки в 1522 г.], северные части Калужской и Тульской, Рязанскую, Владимирскую, Нижегородскую, Иваново-Вознесенскую, Костромскую, Ярославскую, Вологодскую, большую часть Северо-Двинской и Архангельской) дало сильный толчок возобновлению колонизации в южном и юго-восточном направлении, остановившейся с XIII в. Московское государство начинает наступать, с одной стороны, в Поволжье (постройка Свияжска 1550 г., взятие Казани 1552, Астрахани 1556, постройка Самары, Саратова, Царицына и Уфы в 1580), с другой,—в южнорусские степи (граница, проходившая в XV веке

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
	ковь сохраняется, но приобретает иной смысл: наверху становится князь, а церковь — его служебная сила. Попытки отдельных представителей власти обойтись вовсе без церкви (ересь «жидовствующих») оказывается преждевременными, но делают церковь еще более смирной и послушной. *Издание Судебника* фиксирует право нового государства (1497).	
На внешней политике московских государей XVI в. (Василий III, 1505 — 1533, Иван IV «Грозный», 1533—1584, Федор Иванович, 1534—1598) уже определенно начинают отражаться интересы начинающего концентрироваться в Москве *торгового капитала* (ср. Францию и Англию XIV в.). Московское правительство все более и более сознательно стремится к разрешению двух задач: 1) захватить в свое монопольное обладание речной путь из Европы в Азию (Балтийское море — Волга — Каспийское море) и 2) непосредственно связаться с «океанскими» западными странами. Кульминационного пункта эта политика достигает при Грозном в 1550-х годах, когда, с одной стороны, Москва становится хозяйкой всего волжского пути до самого Каспия, с другой — устанавливаются прямые сношения Москвы с Англией (Ричард Ченслер в Холмогорах и в Москве в 1553 г., посланник Ивана IV, Непея, в Лондоне в 1557). Попытка выпрямить слишком кружный (Волга — Северная Двина—Белое море—Ледови-	Основным фактом внутренней истории Московского государства XVI в. является *закрепощение крестьян*, развертывающееся в форме длительного процесса, корни которого уходят еще в XV в. (Псковская судная грамота и *монастырские* документы), а результаты закрепляются лишь в следующем — XVII. В основе процесса лежало начинавшее развиваться, в связи с общим развитием обмена, *торговое земледелие*. Процесс обостряется во второй половине века, благодаря массовому отливу населения, вследствие колонизации, на юг и юго-восток. Обострение выразилось рядом *указов о беглых*, один из которых, 1597 г., послужил основанием для легенды о *государственном* прикреплении крестьян, имевшем место якобы в 1592 г. Отсутствие формальной правительственной меры не мешает, однако, тому, что именно в это время зависимость крестьян от помещика чрезвычайно	1569 — Люблинская уния; ю.-зап. Русь переходит непосредственно к Польше. 1596 — Брестская церковная уния — отделение «хлопской веры», православия, от «панской» — католицизм и униатство. «Хлопская» становится знаменем крестьянско-мещанского движения, опирающегося на *казачество*. 1499 — первое упоминание о запорожцах; 1572 — попытка, подчинить запорожцев польской администрации; 1595 — 1596 — начало больших казацких восстаний — бунт Наливайки и Лободы.

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	римской церкви над всею Западной Европой. Оттого описанный экономический переворот сопровождается на всем Западе завершением того процесса образования *национальных* церквей, который начался для Франции и Англии еще в XIV в. и продолжался, для центральной Европы, гуситскими войнами XV. При чем для идеологического обоснования своей борьбы с Римом «реформаторы» (Лютер, 1483—1546, в Германии, Кальвин, 1509—1564, в романских странах и др.) в большей или меньшей степени пользовались идеями «Возрождения», возникшими в мелко-буржуазной ремесленной среде и сводившимися в основе к *индивидуализму*, требованию свободы личного суждения, критики и т. д. На деле «свобода» нужна была лишь, пока шла борьба со старой церковью: как только возникала новая, национальная, государственная церковная власть (монархическая в лютеранской Германии и в Англии, по большей части республиканская, но узкобуржуазная, у кальвинистов), она к своим противникам применяла все приемы инквизиции. Наивнее поняли «свободу» народные массы, которые увидали в *«реформации»* свержение всякого гнета, не только старо-церковного, для массы в это время уже и не очень тяжелого («Крестьянская война» в Германии 1524—1525, Фома Мюнцер; анабаптисты в зап. Германии, в Мюнстере в 1536; и то, и другое восстание были подавлены имущими классами с варварской жестокостью).	по Оке, берег которой для москвичей был «берегом» вообще, и ее верхнему притоку, Угре, передвигается на линию Рязань — Тула — Одоев—Мценск, с рядом форпостов еще южнее: Орел, Новосиль, Данков в 1560-х г. Ливны, Воронеж, Елец, Кромы в 1580—1590 г.г.: самым южным был Белгород). Вся эта колонизация носит *государственный* характер и руководится из центра; еще южнее захлестывают волны нелегальной, *казацкой* колонизации (первые упоминания о донских, волжских и уральских—«яицких»—казаках в 1540 г.). На востоке эта «вольная» колонизация, под непосредственным руководством торгового капитала (Строгоновы), начинает *завоевание Сибири* (поход Ермака 1581—1582); государственная колонизация здесь идет уже по ее следам (закладка Тюмени 1585, Тобольска 1587, Нарыма 1596 и Томска уже в 1604).

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
тый океан — Атлантический океан) и полгода запертый льдом путь, захватив один из балтийских портов (Нарву, в 1558 г.), привела к *Ливонской войне*, сначала с государством, основанным некогда «крестоносцами» («Ливонский орден»), позже с Швецией и *Польшей*, которая в руках Стефана Батория (1576—1586) и оказалась противником, неодолимым для Московского государства. Нарва была потеряна, и неудача первой попытки пробиться к берегам Балтики закреплена перемириями с Польшей (1582) и Швецией (1583). Возобновление наступления, в 1590 г., несколько сгладило впечатление ливонской неудачи, но не имело дальнейших последствий. Успешнее шла борьба на юге и на востоке, где не было таких противников, как Польша (см. соседний столбец слева). Но и тут крымские татары отвечали на московское наступление довольно жестокими ударами: особенно памятны остались москвичам набеги 1521 и еще более 1571 г., когда крымцы сожгли весь московский «посад», не успев взять только Кремля. Но закрепить результаты этих набегов татары уже не могли, и не задержали даже ими сколько-нибудь серьезно московского наступления (см. соседний столбец слева).	возросла (особ. значение имели переписи 1590—1593 г.г.). Другим последствием запустения центральных уездов, на ряду с погоней помещиков за рабочими руками, была свирепая *борьба из-за земли* между средними и мелкими землевладельцами нового предпринимательского типа, (дворянство), с одной стороны, и старыми феодальными вотчинниками (бояре и монастыри)— с другой. При этом обе борющиеся группы старались иметь на своей стороне нарождающуюся буржуазию, и обе одинаково стремились закрепостить крестьянство. Крупная буржуазия держалась сначала союза с боярами (особенно после московского бунта 1547 г.) и от боярского правительства добивалась льгот (земские уставные грамоты, первая Важская, Архангельск. губ., 1552, отдача на «веру» сбора налогов крупным капиталистам с 1551. Губные учреждения—полицейский террор для крестьянства, 1539). Но общий реакционный характер боярской политики (стоглавый собор, 1550, закрепление наследственных прав знатных боярских семей, составление «родословца», около того же времени; тогда же сост. *Царский Судебник*), а особенно ливонская неудача отбросили ее к дворянству. Переворот 1564—1565 г.г. (опричнина) дворянство и торговый капитал делают уже вместе. 1566 — первый земскийсобор, 1584—стеснение	

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XVII в.	Продолжается эволюция, начавшаяся в предшествовавшем столетии. На первом плане остаются «океанские державы», Германия падает все более и более, став уже в первой половине века объектом борьбы опередивших ее стран («Тридцатилетняя война», 1618—1648). Но в этой борьбе, рядом с Испанией (действующей через посаженную ею в Австрии династию, наследников короля испанского и императора германского, Карла V, 1500—1558) и Францией, выступает, как решающая сила, и северная «средиземноморская», неокеанская держава Швеция (Густав Адольф, 1594—1632); мировые захваты торгового капитализма океанских стран дают новый толчок в балтийской торговле, связывающей «океанские» государства с Восточной Европой, откуда к ним идет сырье (железо и лес из Швеции, хлеб из Польши и т. д.). Здесь до уровня «великих держав» поднимаются раньше других Польша и Швеция (см. последний столбец справа), позже Пруссия (Фридрих Вильгельм, «Великий Курфюрст», 1640 — 1688), составившаяся из остатков Немецкого ордена на нижней Висле и колонизованных немцами в средине века славянских областей к востоку от Эльбы, и *Россия*. Но соотношение между самими океанскими странами меняется. Ранее всех выступившая и захватившая обширнейшие колонии Испания, величайшая держава XVI века, господствовавшая до начала XVII и в военном, и в культурном отношении (испанская литература — Сервантес, — испанское искусство приобретает мировое значение), после ряда неудач, начинающихся катастрофой грандиозной испанской экспедиции против Англии (так называемая «непобедимая армада», 1588), сходит на второй план, а к началу следующего столетия падает до поло-	На Востоке, почти не задерживаемый событиями, разыгрывавшимися в это время в центре (см. ближ. столбцы справа), продолжается *захват русскими Сибири* (1618—основание Енисейска, 1628—Красноярска, 1632—Якутска; в 1646—Поярков достигает берегов Охотского моря, а в 1648 Дежнев проходит будущим Беринговым проливом из Ледовитого океана в Тихий). На юге эти события на четверть века задерживают наступательное движение и даже отодвигают границу назад, сметя наиболее южные форпосты. Но уже к 1636 году вновь закрепляется «Белгородская черта», в Тамбове (постр. в том же 1636 г.), смыкающаяся с «Симбирской чертой». К 1650-м годам к последней примыкает «Закамская черта», далее на восток заканчивающаяся Мензелинском. На западе колонизация идет уже с Украины: украинцы в те же десятилетия заселяют Полтавскую, Харьковскую, южную часть Курской и западную Воронежской губерний. К концу столетия правительственная колонизация *достигает берегов Донца*, за казацкой, вольной, колонизацией остается только среднее и нижнее течение Дона.

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
	монастырского землевладения (отмена «тарханных грамот», обеспечивавших за монастырями их имения).	
Фронт русской внешней политики окончательно поворачивает на запад; набеги крымцев, в XVI в. еще серьезно беспокоившие центр, в XVII интересуют только население южного рубежа и становятся местным явлением. Вопросы жизни и смерти русского торгового капитализма решаются на берегах Балтийского моря и на Днепре. Здесь в первой половине столетия продолжается тот «отлив», который наметился к концу Ливонской войны (см. предыдущую таблицу). Торговый капитал и выдвигаемые им правительства (Борис Годунов, 1598—1605; Василий Шуйский, 1606—1610; Михаил Романов, 1613—1645), схваченные с тыла восстанием эксплоатируемых масс, или связанные необходимостью ликвидировать последствия такого восстания, не только вынуждены отказаться от наступления, но сдают одну позицию за другой. К 1610 году поляки занимают Москву, шведы — Новгород; на московском престоле оказывается на пару лет польский королевич. По Столбовскому миру с Швецией (1617) Московское государство получает обратно Новгород, но оказывается совершенно отрезанным от берегов Балтийского моря. По Деулинскому перемирию с Польшей (1618) Москва теряет Смоленск; с этой стороны государство Романовых возвращается к границам XV века. Первая попытка	Отлив населения на восточные и юго-восточные окраины, в связи с хищническим хозяйством первых «предпринимателей» — помещиков, приводит к быстрому истощению земли и колоссальному сокращению пашни в центральной России. Непосредственным результатом были неурожаи и голод 1602—1604 г.г. На их основе развиваются, с одной стороны, безудержная хлебная спекуляция (где в последний раз ярко выступает церковный капитализм) и самые дикие формы закрепощения голодающего населения, с другой — массовый побег более стойких элементов крестьянства на «вольные» земли. Отношения между московским правительством и вольной казацкой колонизацией обостряются, как никогда раньше. Попытка «взять в руки» казаков (постройка Царева - Борисова у самой окраины донских поселений) ускорила взрыв. Казацкая революция пошла под знаменем «настоящего царя» Дмитрия Ивановича (будто бы сына Грозного) против узурпатора Годунова 1604). Смерть Бориса (13—IV 1605) и гибель его династии открывают эру новой политики («крестьянское законодательство» Димитрия — ограничение кабального	Попытка польско-литовского правительства прибрать к рукам днепровское казачество, подобно тому как правительство Бориса Годунова хотело этого относительно донского (1635 — постройка Кодака в начале Запорожья, 1638 — отмена казацкого самоуправления), приводит в зап. России к тем же результатам 1648—1649 — начало крестьянско - мещанско - казацкой революции Хмельницкого). Но восстание здесь идет успешнее благодаря лучшей организованности горожан и казаков, в пользу которых оно и оканчивается, и благоприятным внешним условиям (поддержка Крыма, Швеции, воевавшей с Польшей из-за Балтийского моря, и *Москвы*). Украина, в лице гетмана Хмельницкого, становится в вассальное подчинение царю Алексею (1654), скоро превращающееся в окончательное подданство (но остатки автономии сохраняются до середины следующего

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	жения Германии, становясь объектом англо-французской борьбы («война за испанское наследство» начин. в 1701). Великими океанскими державами становятся Франция и Англия, притом в XVII в. более первая, чем вторая (ей принадлежала большая часть доступной тогда для европейцев Северной Америки, колонии в Индии и т. д., но и в Англии уже с 1602 г. действует Ост-Индская компания). Быстрое развитие капитализма в этих двух странах приводит к окончательной ликвидации феодальных отношений и в той, и в другой, но в диаметрально противоположных направлениях: в Англии, после «Великого Бунта», являющегося одновременно последним взрывом «народной реформации» (1642—1649, см. предыдущую таблицу), окончательно утверждается парламентаризм (вторая революция 1688). Во Франции после ряда неудачных восстаний дворян, и отчасти буржуазии, окончательно складывается централизованная бюрократическая монархия (Людовик XIV, 1643—1715). То же развитие капитализма дает в Англии, во Франции и в следующей за ними на третьем месте Голландии могучий толчок развитию научной и философской мысли (Декарт, 1596—1650, и Спиноза, 1632—1677, наносят смертельные удары средневековому богословию; Ньютон, 1642—1727, устанавливает первый научный закон, начиная тем ряд открытий, которые делают всякое вообще богословие невозможным).	

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи России.
реванша кончается неудачей (нападение на Смоленск и Поляновский мир, 1634 г.). Дела начинают поправляться, когда восстание эксплоатируемой массы охватывает восточные области Польско-Литовского государства (восстание Хмельницкого, см. последний столбец справа). Московские войска быстро завладевают всей Белоруссией и доходят до Вильны (1654 г.); одновременно возобновляется борьба и с Швецией, при чем двух фронтов для Московского государства оказывается слишком много; после неудачной осады принадлежавшей тогда шведам Риги, здесь дело кончается в ничью (Кардисский мир, 1661). Зато Польша, в то же время разгромленная Швецией, не только должна была возвратить Смоленск, но и уступить весь левый берег Днепра, и даже Киев (Андрусовское перемирие, 1667). Конец века отмечен опять поворотом на юг, но уже более против Турции, чем против Крыма (взятие Азова, 1696).	холопства и смягчение указов о беглых). Боярско-купеческий заговор обрывает ее (убийство Димитрия 17 мая 1606), но новое правительство Василия Шуйского (реакционное — 15-летний срок для отыскания беглых) оказывается лицом к лицу уже не с одними казаками, а со всею восставшей массой (октябрь 1606 — Болотников под Москвой, октябрь 1607 — падение Тулы и смерть Болотникова, но уже 1608 второй Димитрий в Тушине). Ни поддержка городов, охваченных демократической революцией (наивысший подъем во Пскове, авг. 1608), ни союз со шведами (1609) не могут спасти Шуйского, но союз со Швецией втягивает его в войну с Польшей. Имущие классы в безвыходном положении ищут помощи у последней и низлагают Шуйского в пользу польского королевича (февр.—авг. 1610). Выяснившееся бессилие Польши придает смелости «национальному» капиталу (нижегородское ополчение 1612), но восстановить «порядок» удается лишь ценою еще 5 лет войны, приняв нового царя из рук казаков (тушинская кандидатура Романовых). К 1640-м годам удается прикрепить к местам сельское население (отмена сроков для отыскания «беглых» 1645) и приручить мелкими поблажками казачество, не слишком прочно (1668 — 1670 — восстание Степана Разина). Последние всплески городского движения	XVIII в., как и самостоятельность Запорожья). Крестьяне снова попадают в крепостную зависимость от нового туземного (а не польского, или ополяченного, как раньше) дворянства, вышедшего из рядов *казацкой старшины*. Польша не могла более оправиться от двух ударов — казацкой революции, стоившей ей самых хлебородных провинций, и вторжения шведов, занимавших одно время Варшаву и Краков. С половины XVII в. начинается упадок Польши.

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XVIII в.	Все столетие наполнено прежде всего продолжением начавшейся еще в предыдущем ожесточенной борьбы между Англией и Францией из-за *колоний*. Война за *испанское* наследство (1701—1713; кончилась тем, что Франции удалось посадить на испанский престол «своего» короля, внука Людовика XIV, но Англия захватила Гибралтар), затем война за *австрийское* наследство (1741—1748; кончилась вничью), потом *Семилетняя война* (1756—1763; Франция теряет свои лучшие колонии в Северной Америке [Канада] и в Индии), наконец, участие Франции в войне за независимость Америки (1775—1783), которая кончилась образованием Соединенных Штатов, но колониального положения Франции не восстановила. Удар, нанесенный колониальному капитализму Франции, потряс все государство торгового капитала. Его диктатура, отлившаяся в самодержавие Людовиков XIV и XV (1715 — 1774), стала бессмыслицей.	В первой половине века колонизация продолжается, главным образом, на *восток* (постройка Екатеринбурга, 1723, перенесение «закамской» линии к Самаре, 1730, и постройка Самарско - Оренбургской линии в 1734—1744; русская колонизация доходит здесь до границ степей, отделяющих Поволжье и Приуралье от Туркестана), во второй—на *юг* и *юго-восток*. В 1731 — 1735 правительственная колонизация не шла еще дальше линии Верхнеднепровск—Змиев, т.-е. вне границ «империи» оставалась еще Екатеринославская губ. 40 лет спустя «днепровская» линия спускается уже к берегам Азовского моря. После «первой

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи России.
	улегаются также лишь к концу века (новгородские и псковские волнения 1650 г., московские — 1648, 1662 [медные рубли], перерождаясь в «стрелецкие бунты» конца столетия). Тем не менее, уже в середине века второй Романов (Алексей Михайлович, 1645—1676) находит возможным закрепить право окончательно сложившегося крепостнически-бюрократического государства («Уложение царя Алексея», 1649). Как и в Западной Европе, торговый капитал создает себе национальную, подчиненную государству, церковь (суд над патриархом Никоном, 1666), что вызывает резкий отпор со стороны части духовенства, верной традиции XVI в. (раскол).	
Внешняя политика России в XVIII в. отчетливо делится на 2 периода. До 1760-х г. г. она решительнее, чем когда-либо, ориентируется на Запад; столкновения с Турцией остаются эпизодами, еще более—попытки проникнуть в Среднюю Азию и завязать сношения с Дальним Востоком. С 1760-х г. г., не оставляя западной ориентации, эта политика в то же время не менее решительно поворачивается к югу: борьба за Балтийское море сменяется борьбой за Черное море. Новый «западный» перерыв, до начала XX столетия последний, падает уже на первые годы XIX в. Интересы торгового капитала на всем протяжении XVIII в. остаются господствующими; в этом отношении Россия, с опозда-	Во внутренней жизни царствование Петра (1682—1725) было последней и чрезвычайной яркой вспышкой русского торгового капитализма первоначального типа, аналогичного западно-европейскому XIV — XVI в.в. Никогда в России, ни раньше, ни после, торговые интересы и торговая буржуазия не играли такой роли. Но русский торговый капитал оказался слишком слаб, чтобы выдержать прямую конкуренцию с западно-европейским. Европейский капитал (преимущественно англо-голландский) больше выиграл от «реформы», чем туземный, русский, и оттеснил последний на второй план. На такой	В XVIII в. окончательно падает великая держава XVI столетия, Польша. Слегка оправившись от своих неудач середины XVII века (царствование Яна Собесского 1673 — 1696), она была вновь расшатана ударами Северной войны, доставшимися более всего на ее долю. Для развития польского *торгового* капитализма было роковым отсутствие выходов к морю; в то время как Россия складывалась около большого торгового пути, постепенно завладевая всем его

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	Среди буржуазии начинается движение против нее, идущее от либерализма и увлечения парламентскими порядками побеждавшей Францию Англии (Монтескье 1689—1755; «Дух Законов») до идеологий последовательно демократических (Руссо 1712—1778; «Общественный договор») и увлечения порядками только что народившейся американской республики. В то же время городские и деревенские низы все нетерпеливее переносят гнет того же торгового капитала, восставая против наиболее к ним близкой и осязательной формы этого гнета, в виде *феодальных привилегий* землевладельцев в XVIII в., игравших уже только роль пресса, при помощи которого из мелкого самостоятельного производителя выжимался прибавочный продукт. Между тем войны разорили Францию, королевская казна была пуста, и для ее пополнения пришлось воззвать к помощи «общественного мнения», созвав (1789) собрание представителей имущих классов («государственные чины»). Это совпало с неурожаем и безработицей в городах, явившейся опять-таки следствием неудачной конкуренции с Англией. Для этой последней XVIII в. был не только веком великих колониальных завоеваний, но также и веком быстрого расцвета *обрабатывающей промышленности* (первые шерстяные мануфактуры в Англии еще с XVI в.); «промышленная революция XIII в.» характеризуется 3 моментами: 1) ростом пролетариата под влиянием «первоначального накопления», 2) обилием ценного колониального сырья (хлопок, краски), 3) применением науки—выше всего стоявшей тогда в Англии—к промышленности (плавка чугуна на каменном угле—раньше плавили на древесном—1735, литая сталь—1750, прядильная машина—1767, паровая машина Уатта—1769, механический ткацкий станок—1785). Во Франции также начал уже складываться промышленный капитализм (были и свои изобретения—паровой котел Папина еще в 1680 г.), но развитие его шло медленнее. Когда неудачные войны	турецкой войны» (1769—1774, см. столб. справа) вне границ остался только Крым; с его захватом—1783—границей России на юге стало Черное море. С конца 70-х годов начинается колонизация северного Кавказа («кавказская линия» по рекам Кубани и Тереку, 1779—1799). Вольная, казацкая колонизация, с окончательным подчинением Дона (Булавинский бунт 1708) и ликвидацией Запорожья (1775), сменилась колонизацией *белыми*, формально уже внутри государственной границы, но с молчаливого согласия местных властей; так была колонизована *Новороссия* при Потемкине, между 1-й и 2-й турецкими войнами Екатерины II (см. столбец справа). Запорожские казаки частью переходят на Кубань, частью выселяются за пределы России, в Турцию («некрасовцы»).

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи России.

нием на столетие, точно повторяет историю «океанских» держав XVII в. Первая война (так называемая «Северная», 1700—1721, в союзе с Данией и Польшей против Швеции) выполняет в пользу русского и насчет шведского торгового капитала шведскую программу 1650-х г. г.: перенесение торговли с Белого моря на Балтийское, что означало увеличение торгового барыша вдвое, если не втрое. Швеция ожесточенно отстаивала свою балтийскую монополию (разгром русской армии под Нарвой 1700), но после Полтавского поражения (27 июня 1709) должна была сдать русским почти все свои позиции на восточных берегах Балтики. По Ништадскому миру (1721) Россия получила не только Нарву, Ревель и Ригу, но и старинейший шведский форпост на границах Новгородской области, Выборг. За шведами осталась только (до 1809 г.) северо-западная (бо́льшая) часть Финляндии. С этого момента начинается политическое падение Швеции, как раньше, с половины XVII в., Польши. За этой последней остается до конца века Курляндия, с дальнейшими, уже незамерзающими, балтийскими гаванями—Либавой и Виндавой. Ради приобретения этих гаваней Россия вмешивается в Семилетнюю войну (см. 1-й столбец слева и последний справа) на стороне Франции, но в конечном счете, несмотря на отдельные победы русских войск над союзниками Англии — пруссаками (битва при Кунерсдорфе 1759; набег на Берлин 1760), неудачно. Дальнейшие захваты на Западе предпочитают делать поэтому

почве неизбежна была *реакция*, которая должна была принять *антибуржуазный* характер, поскольку неудачу потерпела диктатура торговой буржуазии Этой *дворянской* реакцией наполнены все следующие за Петром царствования: Екатерины I (1725 — 1727), Петра II (1727 — 1730), Анны (1730—1740), Ивана VI (1740—1741), Елизаветы (1741 — 1761) и Петра III (1761—1762). Перелом наступает с 1760-х г.г , когда, под влиянием дифференциации населения, развития отхожих промыслов, начинает расширяться *внутренний* рынок, на ряду с усилением русского вывоза, главным образом сырьевого, но отчасти и в виде полуфабрикатов (железо) и даже фабрикатов (холст). Обрабатывающая промышленность, которая, несмотря на все «поощрения», чахла в первой половине века, начинает развиваться во второй, сначала как придаток к крепостному имению. Настоящего промышленного капитализма Россия XVIII в., таким образом, еще не знала. Тем не менее в 1725 г. в России было всего 195 фабрик и заводов, кроме горных, а в 1796 г. уже 1161 (главнейшими датами развития русской крупной промышленности могут служить: 1632 — первый железоделат завод, 1634 — первый стеклянный завод, 1650 — первая суконная фабрика (мануфактура), 1712 — указ Петра «о размножении заводов», 1714—

протяжением, поляки лишились выходов к Черному морю, не владея вполне и выходами на Балтийское. Политически, уже в 1730 г., Польша стала так низко, что вопрос о польском короле решался в Париже, Вене и Петербурге, а не в Варшаве (так называемая «война за польское наследство»). В 1760-х г. г. русский и прусский резиденты в Варшаве распоряжались в Польше, как в своей провинции, держа на своем жалованьи группы польских помещиков. Попытка Франции вмешаться в дело (Барская конфедерация 1768) только ускорила первую катастрофу — раздел 1772 года. Лишь под самый конец века буржуазия, крупная (конституция 3 мая 1791) и мелкая (восстание Костюшки 1794), пытается взять дело в свои руки, но слишком поздно: Польша была уже не в силах бороться с коалицией России и *Пруссии*. Эта последняя вместе с *Австрией*, т.-е. пестрой кучей земель, теми или иными путями сосредоточившихся в руках Габсбургской династии (потомство брата

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.

вынудили Францию заключить с Англией торговый договор, открывший французский рынок английским товарам, это вызвало закрытие во Франции фабрик и массовую безработицу. Столкновение короля Людовика XVI, 1774—1792, с государственными чинами и развитая на этой почве буржуазией агитация были искрой в порох; летом 1789 г. в Париже произошло восстание, часть войск перешла на сторону народа, что обеспечило победу последнему (взятие Бастилии, парижской Петропавловки, 14 июля). Следом за парижскими рабочими и ремесленниками восстало крестьянство, начавшее громить помещичьи усадьбы. Испуганная результатами собственной агитации буржуазия быстро справилась с еще более перепугавшейся королевской властью, в первую минуту отменила феодальные привилегии (4 августа), но так как капитал был в них заинтересован, то под разными предлогами уступку взяли назад, заставив крестьян *выкупать* привилегии. Это вызывало все новые и новые восстания в провинции, а в Париже продолжали свирепствовать голод и безработица. Революция продолжалась, несмотря на попытку буржуазии ввести ее в русло (конституция 1791 г.) и даже подавить открытой силой (расстрел парижан на Марсовом поле 17 июня того же года). Наконец, крупнейшее из парижских восстаний (10 августа 1792) сбросило королевскую власть и вместе с нею буржуазное «законодательное собрание». Но пролетариат во Франции был еще слишком слаб и совершенно не организован. Движением овладела мелкая городская буржуазия, преимущественно парижская. Было созвано второе учредительное собрание (Конвент, 1792 — 1795; первым учредительным собранием объявили себя государственные чины 1789 года). Только к лету 1793 года удалось изгнать из него крупно-буржуазные партии (жирондисты—соотв. нашим «кадетам»). Диктатура мелкой буржуазии держалась немного более года (2 июня 1793—27 июля 1794). Она довела до конца ликвидацию

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи России.
в союзе со своей противницей Семилетней войны, Пруссией (*Раздел Польши*, в 1772 г., когда Россия получила Белоруссию, 1793 и 1795 г. г., когда ей достались сохранившиеся еще в руках поляков остатки Украины [Волынь и Подолия—вост. Галицию получила Австрия], большая часть Литвы [меньшую получила Пруссия] и давно желанная Курляндия). Самостоятельно Россия вела политику на юге, эпизоднически уже в первой половине века (Пруеский поход Петра, 1711, взятие Очакова Минихом, 1737), систематически с 1768 г. («Первая турецкая война», закончившаяся Кучук-Кайнарджийским миром, открывшим России выход в Средиземное море, т.-е. наиболее прямую и удобную дорогу на Запад, 1775, и «вторая турецкая война», 1787—1791, закончившаяся миром в Яссах). Без будущности осталось пока движение на юго-восток, открывшееся персидским походом Петра (1722—1723) и экспедицией Бековича-Черкасского в Хиву (1716). Основная цель его для того времени—захватить в русские руки начало торгового пути Каспий — Волга — Балтийское море, из Азии в Европу, фактически была достигнута—на Каспии не было другого флота, кроме русского. Захват же *колоний* входил еще только в *проекты*, но не в реальные ближайшие цели русского *меркантилизма* XVII—XVIII веков. Остатками борьбы за северный конец того же пути, Балтийское море, были две войны с Швецией (1741—1743 и 1788—1790), лишний раз подчеркнувшие бесповоротный	первая шелковая мануфактура, 1717 — первая игольная мануфактура, 1721 — разрешение покупать деревни к фабрикам). Создание буржуазной администрации в центре и на местах приходится на 1698 (первый указ о ратуше) — 1700 г.г.; в 1703 г. ратуша (собрание крупных купцов) получило право контроля над употреблением собранных ею денег. Но уже в 1707—1708, с возникновением губерний, на первый план выступило военное, т.-е. дворянское, начальство. Контроль остался за буржуазией дольше всего (1711, фискалы «из какого чина ни есть»), но фактически, по мере того, как с катастрофической быстротой росло государство торгового капитала, власть переходила к бюрократии (1711 — сенат, 1718 — коллегии, 1722 — генерал-прокурор). Главнейшие даты дворянской реакции: 1730 — попытка навязать Анне дворянскую конституцию, 1762 — манифест «о вольности дворянства» (освобождение от повинностей, особенно тяжелых в эпоху Северной войны), 1785 — жалованная грамота дворянству; но это лишь позднее осуществление пожеланий, высказанных дворянством еще в 1767 г. («Комиссия для сочинения нового Уложения»). На деле с промышленным оживлением второй половины века во главе дворянства становятся экономически-прогрессивные элементы («дворянская буржуазия»; основание Вольного Эко-	Карла V, см. XVII в.; собств. Австрия, Венгрия, Богемия, Тироль, южно-славянские земли и проч.), и выдвигаются теперь на место ближайших соседей «Российской империи», сменяя Польшу и Швецию. В XVIII в. между Австрией и Пруссией уже начался тот спор за первенство в центральной Европе, который закончился только в следующем столетии (1866). Во время «войны за австрийское наследство» (1741—1748) Пруссия (Фридрих II, 1740—1786) захватила Силезию — центр текстильной промышленности тех дней. Попытка Австрии отнять Силезию обратно, во время Семилетней войны (см. 1-й столбец слева), где она была на стороне Франции, не имела успеха. К концу столетия, увеличившись еще обломками Польши, Пруссия становится на то место одной из великих восточно-европейских держав, которое в XVII в. занимала Швеция. Во внутреннем управлении Пруссия Фридриха II представляла попытку приспособить бюрократическую монархию

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	«старого режима», уничтожив без выкупа феодальные привилегии и провозгласив демократическую республику. В то же время она подавила контр-революционное движение внутри страны при помощи *террора* и победоносно отбила нападение Австрии и Пруссии, вмешавшихся в пользу Людовика XVI; непобедимой осталась только Англия, продолжавшая добивать свою соперницу под предлогом борьбы с революцией. Измены и раздоры вождей мелкой буржуазии (Дантон, Робеспьер, Эбер, Шометт) создали благоприятную почву для буржуазной контр-революции (заговор «9 термидора»—27 июля 1794). После этого гниение и распад демократической революции продолжались еще 5 лет, пока переворот 18 брюмера (9 ноября 1799) не привел к установлению военной диктатуры в лице Наполеона Бонапарта (1769—1821). Запоздалая попытка пролетариата захватить власть и установить социалистическую республику (Бабеф 1760—1797) была последним отпором нараставшей буржуазной реакции. Начавшееся в XVII в. развитие научной философии в XVIII в. сосредоточивается, главным образом, во Франции, отливаясь в цельную систему материалистического «просвещения», и облекшись в популярную форму *Энциклопедии* (1751—1772).	

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие сеседи России.
упадок шведского влияния к востоку от Балтики и послужившие прологом к окончательной потере Швецией всех ее забалтийских владений (Финляндии в 1809). Последний год века отмечен участием России в коалиции против революционной Франции (1799)—первый акт формального русско-английского союза, намечавшегося в течение всего столетия, особенно на почве общих интересов русского и английского торгового капитала в Черноморье.	номического Общества, 1765), а политически *пугачевщина* (восстание казаков, уральских горнорабочих и крестьян восточной России в 1773 — 1774 г.г., как ответ на усилившуюся капиталистическую эксплоатацию), вместо ограничения самодержавия, поставила на очередь *полицейскую диктатуру*, первым представителем которой явился фаворит Екатерины II (1762 — 1796), Потемкин (ум. в 1791). При продолжавшем ту же политику Павле, сыне Екатерины (1796 — 1801), гнет становится невыносим для самого дворянства. Основной мерой Павла было почти полное упразднение дворянского самоуправления, служившего единственной сдержкой бюрократии на местах (1775 — положение о губерниях). Еще раньше полицейская диктатура вызывает отпор со стороны зарождающейся *интеллигенции* (Радищев, «Путешествие из Петербурга в Москву», 1790). К числу общих мер, заканчивающих в XVIII в. образование централизованной бюрократической монархии, принадлежат: уничтожение внутренних таможен (1753) и конфискация правительством Екатерины II монастырских имений (1764); еще раньше, при Петре, было закончено образование *государственной церкви* учреждением Синода, фактически заведывавшегося чиновником — обер-прокурором (1721).	к потребностям быстро растущего капитализма: Фридрих успешнее боролся с остатками феодализма, чем, напр., современная ему Франция. Еще решительнее по этому пути пошла его неудачная соперница Австрия, при Иосифе II (1780—1790), ограничивавшем крепостное право, боровшемся с влиянием духовенства и т. д. Австрии и на этом пути не повезло: реформы Иосифа II («просвещенный деспотизм») не имели успеха, но Пруссии ее приспособляемость очень помогла в следующем XIX столетии.

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XIX в. 1801—1830 г.г.	Первая треть века является продолжением и заключением последних десятилетий предыдущего столетия. Французская революция продолжается в другой форме. Лишенная, после разгрома мелкой буржуазии и пролетариата, своей демократической сущности, отлившись в форму наглой и циничной диктатуры крупного капитала, быстро росшего на почве военных подрядов, поставок и т. п., она нисколько не утратила своего антифеодального смысла, закрепив юридическую ликвидацию «старого порядка» в «Гражданском кодексе» (иначе «Кодекс Наполеона», 1804). Что военная диктатура в том же году была увенчана императорской короной, не изменило дела, так как солдатская империя ген. Бонапарта, ставшего Наполеоном I, отнюдь не была восстановлением старой монархии и управлялась бывшими членами конвента и генералами революции, пошедшими на службу к капиталу. *Франция начала XIX в. была первым чисто буржуазным государством Европы*, опередив в этом отношении Англию, где крупное землевладение с наследственными привилегиями продолжало играть командующую роль. Более буржуазные порядки можно было найти только в Америке, — в Европе Франция была охвачена кольцом полуфеодальных держав, противоречие которых с французской революцией было безвыходное. Этим пользовалась сама полуфеодальная в эти дни Англия, организуя против Франции одну «коалицию» за другой (война Англии и Франции лишь на очень короткое время была прервана Амьенским миром, 1802): Россию и Австрию, 1805, Пруссию и Россию, 1806—1807, одну Австрию, 1809, одну Россию, 1812, Россию, Пруссию, Австрию и Швецию, 1813—1814. Громя эти коалиции (Аустерлиц, ноябрь 1805, Иена, октябрь 1806. Фридланд, июнь 1807, и т. д.), армии Наполеона невольно разносили по всей Европе идеи «Гражданского кодекса»; их появление сопровождалось всюду, где почва была сколько-нибудь подготовлена, падением «старого порядка» (полнее	Девятнадцатый век уже не знает вольной колонизации, правительственная же принимает форму аннексии (захвата) чужих земель, не столько экономически нужных русскому племени, сколько политически и стратегически необходимых «Российской империи». В самом начале века эта последняя переходит Кавказский хребет (присоединение Грузии, 1801, Мингрелии, 1803, Имеретии, 1810, восточного Закавказья до Аракса и Каспия по гюлистанскому [1813; Баку] и туркманчайскому [1828; Эривань] договорам с Персией — после почти 20-летних войн). Немного позднее ликвидируются последние владения Швеции на восточном берегу Балтийского моря (присоединение Финляндии до р. Торнео, 1809) и Турции на север от Черного моря (Бессарабия, 1812, и, Анапа, 1829). Еще позже захватывается, в лице «Царства Польского», переделанного из созданного Наполеоном «Герцогства Варшавского» (частичное восстановление Польши, 1806 — 1813), плацдарм, дающий русской армии командующее положение в центральной Европе (1815). Во все эти места не происходит никакого переселения русских народных масс, русское племя представлено там только чиновниками и солдатами.

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи России.
Все тридцатилетие заполнено *русско-английским союзом*, завязавшимся еще в конце предыдущего,—разрыв его стоил жизни Павлу I (1801),—и начавшим ослабевать лишь к самому концу, по мере развития в России промышленного капитализма. В основе политического союза лежал союз английского промышленного и русского торгового капитала: последний выкачивал из России необходимое английской промышленности сырье (лес, пеньку, сало, несколько позже пшеницу), из Англии Россия получала все необходимые ее командующим классам фабрикаты. Союз прерывался лишь на 5 лет (1806—1812) из-за военных неудач русско-английской коалиции, принудивших Александра I (1801—1825) заключить *Тильзитский мир* (1807) и подчиниться условиям «континентальной блокады» Наполеона (см. первый столбец слева). Уже в 1810 г. экономическая необходимость принудила русское правительство нарушить блокаду, так как Франция могла доставлять только предметы роскоши: массовый привоз товаров исключался отсутствием между Россией и Францией дешевого водного пути (море было заперто англичанами). Политически Александр I использовал тильзитский мир, захватив в этот пятилетний промежуток Финляндию и Бессарабию (см. столбец слева). Начавшаяся с 1810 г. война разразилась в 1812 (так называемая «Отечественная война»), закончившись лишь в 1814 взятием русскими Парижа. Вся война велась на английские субсидии. Война сделала	Основным фактом тридцатилетия является возникновение в России *промышленного капитализма* (число фабрик суконо-ткацких 1804—155, 1825—324, бумаго-ткацких 1804 — 199, 1825 — 484, чугунно-литейных и железоделательных заводов 1804—26, 1825—170, первая мануфактурная выставка 1829), который получает сильный толчок от *континентальной блокады* (см. 1-й столбец слева) и приносит с собой новую *идеологию, буржуазную*, напоминавшую идеологии французской революции. Официальными кругами усваивались при этом идеи уже наполеоновской Франции, а передовой интеллигенцией — французские идеи предшествующего периода. Из первых вышли проекты *Сперанского* (более умеренный 1803 г., более радикальные 1809—1810 г.г.), из второй — проекты *декабристов* (см. ниже). Общею их чертой было отрицательное отношение к крепостному праву и стремление освободить крестьян на условиях, обеспечивавших быстрый рост в России необходимого промышленному капиталу пролетариата. Обстановка, обусловившая первый взрыв буржуазно-промышленной идеологии в России (изоляция России от иностранной конкуренции благодаря континентальной блокаде и резкое вздорожание хлеба, под влиянием роста английского пролетариата и наполеоновских войн, что давало объективную	Пруссия после разгрома ее Наполеоном (1806—1807) попадает в почти вассальную зависимость от Франции и косвенно втягивается в сферу действия «Гражданского кодекса» (реформы Штейна и Гарденберга: освобождение крестьян и т. п.). После падения Наполеона зависимость от Франции сменяется зависимостью от России (Фридрих-Вильгельм III, 1797—1840, «друг» Александра I). Больше самостоятельности сохранила Австрия, хотя также разгромленная французами, и даже дважды (1805 и 1809) воевавшая — как и Пруссия—вместе с Францией против России в 1812 г. Австрия совершенно не попала в сферу влияния «Гражданского кодекса» и представляет собою, после 1815 г., тип чисто реакционного государства торгового капитала, с полицейщиной, крепостным правом и т. д. (канцлер Меттерних, 1773—1859). На ней держалась реакция в Германии (карлсбадские постановления 1819), а она сама при этом опиралась на Россию, но сохраняя гораздо

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	всего в западной Германии и северной Италии, но косвенно и в Пруссии, и в Польше, см. посл. столбец справа). Англия имела успех сначала исключительно на море (Трафальгар, 1805), на что Наполеон ответил *континентальной блокадой* (1806), запершей континент для английских товаров. Но непрерывавшаяся в сущности война и русская катастрофа (1812, см. справа) настолько истощили Францию, что в 1814 г. она вынуждена была сдаться, а после новой вспышки 1815 окончательно разгромлена (Ватерлоо, 18 июня). После этого феодальная реакция завладела на короткое время и самой Францией (*реставрация* старой монархии в лице Бурбонов, 1814—1830, «Редкостная палата», 1815—1816 г.г., из черносотенных помещиков). Но экономическое развитие Франции брало свое: *июльская революция* 1830 окончательно закрепила буржуазный режим (Луи-Филипп, 1830—1848). Общее экономическое развитие (не только Франции) выразилось между прочим и в целом ряде научно-технических открытий, падающих на 1-ю треть XIX в. (1807—пароход Фультона, 1810—скоропечатная машина, 1827—гребной винт, 1830—локомотив Стефенсона; специально французские изобретения: усовершенствованный ткацкий станок Жаккара—1802, механическое льнопрядение Жирара—1810).	

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи России.
Александра «царем царей» «Агамемноном Европы» и т. д., а фактически хозяином *центральной* Европы, ибо русская армия с берегов Вислы одинаково могла нанести удар и на Берлин, и на Вену. Это положение вещей было закреплено «Венским конгрессом» и «Священным Союзом» (1815), фактически объединением восточно-европейских держав под гегемонией России (Англия не присоединилась к «Священному Союзу», Франция в это время потеряла международное значение). Политическая гегемония России была лишь подготовкой к установлению экономической гегемонии русского торгового капитала над всем бассейном Черного моря, для чего нужно было утвердиться в *Константинополе*. Попытка использовать и для этого Тильзит (на так называемом «Эрфуртском свидании» Александра и Наполеона в 1808 г.) не удалась, что обессмыслило *турецкую войну*, ведшуюся 6 лет (1806 – 1812). Дело было отложено до 1820-х годов, когда восстание греков против турецкого владычества дало новый повод для открытия «Восточного вопроса». Войну за Константинополь пришлось вести уже Николаю I (1825—1855). Вмешательство в греческо-турецкие дела началось в союзе с Англией и Францией (Наваринская битва, октябрь 1827, уничтожение турецкого флота английской, французской и русской эскадрами), но самую войну (1828—1829) пришлось вести одной России, и для захвата Константинополя у ней не хватило сил. По Адрианопольскому миру (1829) Россия должна была удовольствоваться аннексиями в Азии.	возможность перехода к вольно-наемному труду в земледелии), была кратковременной: с 1819 г. вновь начинается ввоз английских товаров, а цены на хлеб начинают падать. Барщинный труд опять оказывается выгоднее батрацкого, а промышленность начинает испытывать острую нужду в сильной центральной власти для охраны интересов промышленного капитала от иностранной конкуренции («покровительственные» таможенные тарифы, начиная с 1823 г., и войны Николая I, завоевавшие для русских товаров турецкие и персидские рынки). Такой поворот дела заранее осуждал на неудачу замыслы *тайных обществ* (1814 — «Орден Русских Рыцарей», 1816—1817 — «Союз Спасения», 1818 — «Союз Благоденствия», с 1821 начинается *заговор декабристов*, разразившийся восстанием 14 декабря 1825, на юге — 31 декабря), скомпрометированные к тому же нерешительностью их тактики. В результате все свелось к *окончательному закреплению бюрократически-полицейского строя* (начало еще в 1802 — учреждение министерств): создание *корпуса жандармов* и Третьего Отделения императ. канцелярии (июнь — июль 1826). Воспоминаниями о противоположных тенденциях остались: закон о «вольных хлебопашцах» (1803) и учреждение Государственного Совета (1810). 1828 – Мануфактурный Совет.	большую независимость по отношению к последней, чем Пруссия. Более всех стран восточной Европы подверглась французскому влиянию Польша, непосредственно зависевшая от Наполеона в период «герцогства Варшавского» и сохранившая особую конституцию при переходе под власть Александра I; систематические нарушения этой конституции вызвали восстание поляков в ноябре 1830 г.

Сто летия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XIX в. 1831—1866 г.г.	Промышленный капитализм, распространившись на всю Европу, завладевает ее западом и центром; Франция и Германия становятся такими же индустриальными странами, какой в XVIII в. была одна только Англия. Франция после *июльской* революции (1830) окончательно освободившаяся от остатков «старого порядка», вместе с династией Бурбонов, при Орлеанской династии (Луи-Филипп, 1830—1848) принимает форму цензовой парламентской монархии, все время подмываемой снизу непрекращающимся с 1830 г. движением пролетарской и пролетаризуемой массы. В 1848 г. движение достигает силы и размеров новой революции (*февральская революция*), но буржуазии, при помощи кулацкого крестьянства, удается разгромить центр рабочей революции («июньские дни», 1848)—Париж, после чего снова устанавливается режим начала столетия («Вторая империя» племянника Наполеона I, Луи-Наполеона III, с конца 1848 г. президента провозглашенной в феврале республики, после переворота 2 декабря 1851 г. утратившей парламентскую форму, в 1852 превратившейся в монархию типа «Первой» империи). Вторая империя идет по следам Первой и в области внешней политики (участие Франции в «Крымской» войне против России, 1854—1856, война с Австрией 1859, экспедиция в Китай, 1860, и в Мексику 1862—1866; еще раньше, с 1830 г., Франция завоевывает Алжир), но чем дальше, тем больше натыкается на сопротивление других государств промышленного капитала, раньше всего складывающихся под гегемонией Пруссии, Германии («Таможенный Союз» герм. государств, с 1831—1835). В борьбе промышленных буржуазий разных стран за рынки развивается *национализм*, который Наполеон III старается использовать (объединение Италии под властью экономически наиболее развитого Пьемонта, 1859—1861, при помощи французов). В Англии победа промышленной буржуазии выразилась в ликвидации политической монополии крупного землевладения	В Европе, в общем, окончательно складывается к началу 2-й трети XIX стол. (частичное колебание — потеря Бессарабии в 1856 г., возвращенной в 1878). Завоевание *Кавказа* (оконч. 1864) спаивает старую «кавказскую линию» с аннексированным в начале века Закавказьем и начинает собою серию азиатских захватов (Средняя Азия: Ак-Мечеть [Перовск] 1853, Ташкент 1865. Дальний Восток: берега Амура еще при Николае I, окончательно Амурский и Уссурийский край в 1858—1860). Разведки проникают еще дальше (1836 русская миссия в Афганистане, 1853—1854 русская экспедиция в Японию и т. д.; уже с конца VIII в. русская компания эксплоатирует так называемые «российско-американские владения»—полуостров Аляску и Алеутские острова, в 1864 г. проданные Соед. Штатам.

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи России.
По мере приближения к 1848 г. разваливается «Священный Союз». Николай I, после известия об июльской революции, собиравшийся двинуть свою армию на Париж, по отношению к революции 1848 г. должен был занять уже чисто оборонительную позицию. В частности, Пруссия при Фридрихе-Вильгельме IV (1840—1857) совершенно выбивается из-под русской опеки. Россия пробует опереться на Австрию, почти развалившуюся благодаря революции 1848 г. (см. посл. столбец справа), но, оправившись при содействии Николая I, Австрийская империя немедленно «изменяет» ему на почве *Восточного вопроса*. Этот последний стоит в центре всей русской внешней политики данного периода. Не добившись Константинополя Адрианопольским миром (см. предыдущ. таблицу), Николай пытается косвенно наложить руку на проливы (Ункиар-Искелесский договор, 1833 г.), но наталкивается на решительное противодействие Англии (лондонская конвенция о проливах, 1841). Русско-английская война носится в воздухе уже с 1830-х г. г. После неудачной попытки столковаться с англичанами и своих «побед» в Венгрии (1849), Николай вновь решается напасть на Турцию (1853 г.), но встречает на своем пути не только Англию, а и Францию и даже Австрию. Начавшаяся с двумя первыми война приводит к потере Севастополя (27 авг. 1855 г.) и черноморского флота, который Россия потеряла, и права вновь построить по Парижскому миру (1856— уже при Александре II,	Центральный пункт — ликвидации барщинного хозяйства, или, как тогда говорили, «освобождение крестьян» (термин, явно неверный при сохранении политического самодержавия). Задержанная в начале периода продолжавшимся аграрным кризисом (см. предыдущ. таблицу), она получает экономическую почву с конца 40-х годов, когда начинается повышение хлебных цен. Основным стимулом продолжали быть интересы обрабатывающей промышленности (см. там же), которая и ликвидировала у себя крепостной труд (закон 18 июня 1840 о посессионных фабриках). Попытки ликвидации этого труда в земледелии терпели неудачи до 1850-х годов (6 дек. 1826 первой Секретн. Комитет Николая, заним. крест. вопросом; 2 апр. 1842 указ об «обязанных крестьянах», пытавшийся провести компромиссную точку зрения, создав полуфермера, полукрепостного, и оставшийся мертвой буквой). Рескриптом Александра II виленскому ген.-губернатору Назимову был поставлен вопрос об *освобождении крестьян без земли* (20 ноября 1857), т.-е в направлении, наиболее выгодном для промышленного капитала. Одновременно началось образование *губернских комитетов* (1-й Нижегородский, дек., 1857). Но уже через год (резолюция «Главного Комитета» 18 октября и 4 декабря 1858) берет верх идея *освобождения*	Польская революция ноября 1830 г., спасши Зап. Европу от вмешательства Николая, сама быстро была ликвидирована последним (взятие Варшавы 26 августа 1831). Польша потеряла конституцию 1815, но «Царство Польск.» сохранилось, как особое целое («Органический статут» 26 февраля 1832). Фактически там во все царствование Николая была военно-полицейская диктатура наместника Паскевича. Франко-русский союз после Крымской войны заставил пойти на уступки, неискренние и половинчатые («Без мечтаний!» слова Александра II представителям польского дворянства и буржуазии при первой встрече в 1856 г.), только дразнившие польскую массу, в городах гораздо более политически развитую, чем русская. Манифестации этой массы (в феврале — марте 1861) были расстреляны. Революционное настроение нарастало и в январе 1863 разразилось вооруженным восстанием. Но надежды поляков на помощь Западной Европы не оправдались, благодаря

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	(парламентская реформа 1832) и торжестве свободы торговли (отмена пошлин на хлеб 1846). Широкое рабочее движение (*чартизм*, от «народной хартии» 1838 г.) и здесь потерпело неудачу, хотя и не кровавую, как во Франции. Рабочее движение создало популярность для *социалистической литературы*, которая сама по себе, до Маркса еще не была прямым его отражением, а продолжала развивать идеи «Просвещения» XVIII стол. (Оуэн в Англии, 1771 — 1858, С.-Симон, 1760—1825, и Фурье, 1772—1837, во Франции). По мере обострения классовой борьбы зарождается чисто пролетарский *коммунизм* (Коммунистический Манифест, 1847) и складывается международное рабочее движение (Первый Интернационал, 1864).	

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи России.

Николай умер 18 февр. 1855). Одновременно обнаружилось полное отпадение от России Пруссии, и на сцене вновь появилась даже Швеция, о которой с 1809 г. забыли и думать. Полный разгром восточной политики рядом с полной утратой всех западных позиций заставили резко переменить направление: Константинополь временно оставляется в стороне, на Западе ищут не клиентов, а союзников. Сначала находят такового в лице Франции (русско-франц. союз во время франко-австрийской войны 1859), но с ней, как и после Тильзита, не удается наладить экономической связи. Таковая завязывается с *Пруссией* по мере развития прусской промышленности: Пруссия сменяет с 1860-х г. г. Англию, как потребительницу русского хлеба и как поставщица фабрикатов. На этой почве русско-французский союз в 1863 г. (поводом было неловкое вмешательство Наполеона III в польские дела, см. посл. столбец справа) сменяется русско-прусским, направленным прямо против Австрии, но косвенно и против Франции. Русско-английский конфликт принимает тем временем более притушенный характер, перенесясь с ближнего Востока в Среднюю Азию, где с 1864 г. начинается движение в Туркестан. Одновременно с этим заканчивается, начавшаяся еще в первой четверти века, война на Кавказе, высшим моментом которой была борьба с военно-теократической державой Шамиля (1832—1859; мюридизм).

с землей, т.-е. с сохранением мелкого крест. хозяйства в неприкосновенности. Так как при этом крестьяне не получили всех прав «свободы сословий» и была сохранена опека дворянства над ними (мировые посредники), то «освобождение» стало весьма условным. Для проведения в жизнь этой новой линии были созданы, в сущности, параллельно с комитетами, *редакционные комиссии* (дейст. в 1859—1860 г.г.). Окончательно испортила реформу предпринятая, под давлением черноземных помещиков, *отрезка* части крестьянских наделов (местами до 40%). Обрезанное такими способами «освобождение» (манифест был подписан Александром II 19 февраля 1861) вызвало резкий отпор крестьян, «терпеливо ждавших воли» в предшествующие г о д ы (более 2000 волнений в 1861 — 1862 г.г. и отказ крестьян подписать «уставные граматы» в 50% всех случаев). Это вызвало революционные надежды у левой и н т е л л и г е н ц и и (Чернышевский, Добролюбов, Шелгунов, Михайлов) и несколько напугало правительство, которое, чтобы привлечь на свою сторону буржуазию, решительнее пошло по пути буржуазных реформ (20 ноября 1864 — судебные уставы, 1 янв. 1864 — земское положение, 17 апр. 1863 — отмена телесных наказаний, 6 апр. 1865 — отмена [условная] предварит. цензуры), не брезгуя провопомощи, которую оказала России Пруссия («конвенция Альвенслебена» 8 февраля 1863). Восстание было подавлено, члены революционного правительства («Ржонда народового») постепенно арестованы и казнены. Польша превратилась в ряд русских губерний («Привислинское ген.-губернаторство»).

Февральская революция 1848 г. не оставалась изолированной во Франции, как р е в о л ю ц и я 1789 г.: теперь общественные условия Западной и Центральной Европы, благодаря развитию промышленного капитализма, были ближе друг к другу. 15 марта вспыхнула революция в Вене, 18 — в Берлине. И там, и тут монархия, в первом испуге, капитулировала, отказалась от абсолютизма и ввела конституцию, но ни там, ни тут власть не перешла в руки народной массы. Мало-по-малу реакция собралась с силами, в октябре была бомбардирована и взята правительственными войсками Вена, а в ноябре Ф р и д р и х - В и л ь г е л ь м IV разогнал народное собрание. Обще-гер

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XIX в. 1867—1896 г.г.	Франко-прусская война (июль 1870—янв. 1871) кладет конец существованию «Второй империи» и дает толчок новой французской революции, четвертой по счету (Парижская Коммуна, март—май 1871) и первой, которая проходит под социалистическими лозунгами. Революция, хотя и неудачная (расстрел 30 тыс. чел.), делает невозможным простое восстановление старого порядка: Франция становится «республикой без республиканцев», что закрепляет конституция 1875 г. В промежутке 1877—1879 республиканская партия (Гамбетта) завладела властью. Рабочее движение, придушенное разгромом Коммуны, вновь оживает уже	Завоевание Ферганы (Коканд 1876), движение в Закаспийский край с 1880; 1884 занят—Мерв. Россия к востоку от Каспийского моря становится непосредственной соседкой Персии и Афганистана. В Закавказье по берлинскому трактату 1878 г. к русским владениям присоединяются Батум и Карская область. За исключением Туркестана, куда еще направляется очень слабая струя русской колонизации,

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи России.
	кацией для ее устрашения (петербургск. пожары лета 1862) и жестоко расправляясь с революционерами (ссылка Чернышевского и Михайлова). Крестьянские волнения, вопреки ожиданиям, не слились в общий революционный пожар, интеллигентское движение осталось изолированным, найдя отклик только среди учащейся молодежи (первые студенческие волнения осенью 1861). Из ее рядов вышло первое революционное выступление царствования Александра II — покушение на него Каракозова (4 апр. 1866 г.).	манский парламент во Франкфурте оказался бессильной говорильней. Восстания в Саксонии и в Бадене были подавлены прусскими войсками (1849). Объединению Германии под властью Пруссии помешала Россия, поддерживая готовую развалиться Австрию («Венгерская кампания» Паскевича, 1849). Но национальное объединение, начавшееся *таможенным союзом* (1831 — 1835), под влиянием экономических причин неудержимо идет вперед, и гегемония Пруссии окончательно утверждается после войн 1864 (с Данией за Шлезвиг и Голштинию) и 1866 (с Австрией; поражение австрийцев при Садовой 3 июля).
Почти весь период проходит под знаком русско-германского союза и русско-английского конфликта; только в течение последнего десятилетия замирает второй, а первый сменяется союзом русско-французским. Наивысшего развития и прочности русско-германский союз достиг во время франко-прусской войны, когда правительство Александра II оказало Пруссии огромную услугу, помешав Австрии вмешаться в пользу Франции. Россия в вознаграждение немедленно	Хронология событий, подробно изложенных в тексте книги; *революционное движение*: 1868 — 1869 — агитация Нечаева; 1870 — первые большие петербургские стачки, напугавшие правительство; 187? — 1875 — «хождение в народ»; 6 дек. 1876 — демонстрация у Казанского собора в Спб.; 1877 — большие процессы пропагандистов; 24 янв. 1878 — выстрел В. И. Засулич в петерб. градонач. Трепова; 1878 — 1879 — «Земля и Воля»;	Франко-прусская война создала *Германскую империю* под главенством Пруссии (18 янв. 1871). Фактический ее основатель, Бисмарк (1816—1896), демагогически использовал демократические течения, оставшиеся от революции 1848 г. (рейхстаг со всеобщ. избират. правом). Это, а также блестящие успехи внешней

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	с 1876 (первый рабочий конгресс; с 1877 выходит газета «Равенство» Ж. Гэда—возрождение франц. социализма; 1879—1880 амнистия коммунарам) и к средине следующего десятилетия заставляет считаться с собою правительство (закон о свободе союзов 1884). С 1880 г. вновь возникают соц. партии (объединившиеся только к 1905), с 1893 они начинают играть видную роль в парламенте. Англия в течение этого периода заканчивает свое превращение в буржуазную демократию (избир. реформы Гладстона 1867 и 1884—1885 г.г.). Рабочее движение, начавшееся чартизмом (см. предыдущую таблицу), притуплено, благодаря монополии на всемирном мануфактурном рынке, завоеванной английской промышленностью, и быстрому росту английских колоний (Австралия, Канада, Южная Африка): это позволяло предпринимателям поддерживать высокую заработную плату при низкой цене съестных припасов. В Англии развивается преимущественно не революционная, не социалистическая форма рабочего движения—трэд-юнионизм. Более радикальное движение начинается с промышленного кризиса 80-х годов (митинги безработных 1886—1887, 1889—стачка рабочих в доках). 1892—первые рабочие социалисты в английском парламенте. Первый Интернационал распадается в 1872 г., начало Второго 1889 (первый международный конгресс соц. партий в Париже), 1883—ум. Маркс, 1895 — ум. Энгельс.	остальное увеличивает собою количество земель не русского языка и культуры, входящих в состав «Российской империи».

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи России.

же потребовала и добилась отмены наиболее стеснительных для нее статей Парижского трактата (1871). А в 1873, одновременно с возникновением почти открытого «союза трех императоров» (Австрия, Германия, Россия), заключается секретная военная конвенция с Германией, гарантирующая вооруженную поддержку этой последней России, в случае «нападения» какой-либо третьей державы. На самом деле Александр II имел намерение сам напасть на Турцию, возобновляя прерванную Крымской войной политику своего отца. Это должно было его, как в свое время Николая, столкнуть лбами с Англией, не допускавшей мысли о том, чтобы какая-нибудь из «великих держав» утвердилась в восточной части Средиземного моря, на путях в Индию. Опасение за последнюю подготовляло конфликт издалека: к русскому движению в Туркестан Англия относилась крайне подозрительно с самого начала. Когда, подготовив новую русско-турецкую войну движением балканских славян (герцеговинское восстание, лето 1875, сербско-турецкая война и болгарское восстание 1876) и секретными соглашениями с Австрией (рейхштадтская сделка, июнь 1876, окончательная конвенция, март 1877), Александр II двинул армию на турок (19 апреля 1877), Англия стала помогать последним почти открыто. А когда Россия после ряда поражений (8 и 18 июля, 30—31 авг.—три «Плевны») добилась сан-стефанского мира, почти ликвидировавшего Европейскую Турцию (19 февр. 1878), она оказа-

2 апреля 1879 — Соловьев стреляет в Александра II; июнь — воронежский съезд — ликвидация «З. и В.», «Народная Воля»; 19 ноября — взрыв царского поезда на Курской дороге, 5 февр. 1880 — взрыв Зимнего дворца; 1 марта 1881 убит Александр II; 1883 — группа Освобождения Труда; 1884 — ликвидация посл. сост. Исп. Ком. Нар. Воли; 1885 — морозовская стачка; 1887 — покушение на Александра III (1881—1894) Ульянова и др.; 1892 — первые с.-д. кружки; 1895 — Союз борьбы за освобожд. рабочего класса; 1896 май — июнь — большие петербургские забастовки.

Правительственная реакция 24 апр. 1881 — маниф. Александра III о незыблемости самодержавия; 14 августа — положение об охране; 1882 — крестьянский банк (ставка на кулака); 1885 — дворянский банк; 1882—1886 — фабричные законы (попытка подкупить рабочих); 1886 — закон о найме на сельскохозяйств. работы (уголов. ответств. рабочего за уход); 1889 — земские начальники (упразд. мировых судей в деревне); ограничение суда присяжных (преступления по должности перед судебн. палатой); 1890 — новое земское положение (сословн. ценз); 1892 — новое городовое положение (города отданы домовладельцам).

политики и быстрое развитие германской промышленности совершенно примирили массу буржуазии с прусской реакцией. Единственной оппозицией оставалась рабочая с.-д. партия (1869 — съезд в Эйзенахе; 1875 — слияние «эйзенахцев» с «лассальянцами» [Лассаль 1825 — 1864, основание всеобщ. герман. рабоч. союза]; Готская программа), протестовавшая против условий Франкфуртского мира с Францией (1871, насильственное присоединение к Германии Эльзаса и Лотарингии). Попытка Бисмарка бороться с ней при помощи исключительных законов (1878—1890) привела только к увеличению популярности с.-д. и колоссальному росту партии (на выборах 1890 г. 1¼ милл. голосов). Этому способствовало и ухудшение положения рабочего класса, благодаря растущей дороговизне: падение хлебных цен заставило Бисмарка, под давлением помещиков, ввести хлебные *пошлины* (1880, увел. 1885 и 1887). Все это, вместе взятое, побудило Б. пойти на соглашение с Россией

Столетия и годы	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи России.
лась на пороге войны не только с Англией, но и с Австрией, секретная конвенция с которой была нарушена этим миром. Россия должна была сдаться (18 мая 1878 «лондонские протоколы», 1 июня Берлинский конгресс). На неудачу в Европе Россия ответила ударом в Азии: Скобелев взятием Геок-Тепе (12 янв. 1881) открыл поход на Герат, «ворота Индии». Дальнейшее движение по этому пути повело к новой и последней вспышке конфликта, когда Россия и Англия снова очутились на пороге войны (1885). Но к этому времени был налицо уже русско-германский конфликт, внешним образом из-за Болгарии, по существу из-за экономических трений (хлебные пошлины). На этой почве возникает *франко-русский союз* (1890 г., военная конвенция 1893).		(торговый договор 1894), чем закончилась 1-я фаза русско-германского конфликта. Австрия, с 1867 года превратившаяся в Австро-Венгрию, — последняя была признана равноправной с немецкой половиной империи, — окончательно сходит на 2-е место и идет в хвосте за Германией (союз 1879 против России, превратившийся в 1887 с присоединением Италии в «Тройственный Союз»). 1888 — основ. австр. с.-д. партии (Гайнфельдская программа).

ОГЛАВЛЕНИЕ

IV том Русской Истории с древнейших времен

(стр. 1—331).

Стр.

XIV глава. Крестьянская реформа 3

1. Социальная политика Николая I—3; 2. Кризис барщинного хозяйства — 45; 3. 19 февраля — 62.

XV глава. Шестидесятые годы 96

1. Пореформенная экономика — 96; 2. Буржуазная монархия — 112.

XVI глава. Революция и реакция 165

1. Социализм 70-х годов — 165; 2. «Народная Воля» — 194; 3. Аграрный вопрос — 219.

XVII глава. Внешняя политика буржуазной монархии 241

XVIII глава. Конец XIX века 277

Синхронистические таблицы (стр. 333—375).

Главные события всемирной истории; территория, занятая русским племенем; главные события внешней истории; главные события внутренней истории; ближайшие соседи русского племени (стр. 339), **России** (стр. 351) 334

Столетия и годы: IV в. нашей эры—334; V—X в.—334; XI—XII в.—336; XIII в.—338; XIV в.—340; XV в.—342; XVI в.—346; XVII в.—350; XVIII в.—354; XIX в.: 1801—1830 г.г.—362; 1831—1866 г.г.—366; 1867—1896 г.г.—370.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАД—МОСКВА.

Серия „Библиотека Обществоведения".

Аржанов, С. П. — Практические занятия по экономической географии. (Опыт практического руководства). Стр. 94. Ц. 50 к.

Большаков, А. М., и Н. А. Рожков. — Хрестоматия по истории хозяйства России. Вып. I. С приложением шести исторических карт, составленных К. В. Кудряшовым. Стр. 248. Ц. 1 р. 50 к.

Большаков, А. М., и Н. А. Рожков.—Хрестоматия по истории хозяйства России. Вып. II. С приложением пяти исторических карт, составленных К. В. Кудряшовым. Стр. 289. Ц. 1 р. 75 к.

Боргман, А. И. — Сборник упражнений по обществоведению. (Методические опыты). С приложением 3 синхронистических таблиц на отд. листах. Стр. 257. Ц. 1 р. 50 к.

Бронштейн, И. — Хрестоматии по истории материальной культуры. С 63 рисунками в тексте. Стр. 335. Ц. 1 р. 40 к.

Ден, В. Э. — Курс экономической географии. С картой на отд. листе. 2-е изд.

Левин, М., и О. Юргенс.—Литературная хрестоматия по политической экономии. Ч. I. От ремесла к машине. 2-е изд. Стр. 167. Ц. 80 к.

Левин, М., и О. Юргенс.—Литературная хрестоматия по политической экономии. Ч. II. Вып. 1. Капитализм. 2-е издание. Стр. 179. Ц. 80 к.

Ч. II. Вып. 2. Капитализм. Разложение капитализма. 2-е изд. Стр. 187. Ц. 80 к.

Левин, М. и О. Юргенс. — Хозяйство Советской России. Научно-литературная хрестоматия.

Ленин, В. И. — Развитие капитализма в России.

Лилина, З. И. — От коммунистической семьи к коммунистическому обществу. 2-е изд., переработ. и дополн. Стр. 171. Ц. 50 к.

Маслов, Петр. — Курс истории народного хозяйства. От первобытных времен до XX столетия. 6-е издание.

Пархоменко, В. А. — У истоков русской государственности. (VIII — XI в.в.) Стр. 113. Ц. 90 к.

Старый и новый быт. — Сборник. Под редакцией проф. Б. Г. Тана-Богораза. Стр. 143. Ц. 60 к.

Тахтарев, К. М. — Очерки по истории первобытной культуры. Первобытное общество. С приложением глав о тотемизме и эксогамии. Изд. 4-е. Стр. 189. Ц. 80 к.

Тахтарев, К. М. — Сравнительная история развития человеческого общества и общественных форм. Часть I. Введение. Тотемическое общество. Родовое общество. Стр. 371. Ц. 2 р.

Тахтарев, К. М. — Сравнительная история развития человеческого общества и общественных форм. Часть II. Земляческое сельско-общинное общество. Феодальное общество. Политическое общество. Стр. 365. Ц. 1 р. 50 к.

Феноменов, М. Я. — Современная деревня. Опыт краеведческого обследования одной деревни (д. Гадыши, Валдайского уезда, Новгородской губ.). С многочисленными рисунками в тексте, записями и нотами современных деревенских песен.

Ч. I. Производительные силы деревни. Стр. 259. Ц. 1 р. 60 к.

Ч. II. Старый и новый быт (социальные навыки). Стр. 211. Ц. 1 р.

Ч. III. История деревни.

Фингерт, Б. А. — Краткое руководство по истории социализма. 2-е издание.

Фингерт, Б. А. — Практические занятия по обществоведению в трудовой школе II ступени. Допущено ГУС'ом. Стр. 102. Ц. 50 к.

Цинзерлинг, Д. — Практическое руководство статистики. С приложением 7 табл. на отдельных листах. Стр. 167. Ц. 1 р. 60 к.

Цена 1 р. 40 к.